

АНДРЕЙ ЛАЗАРЧУК

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРЕДЧУВСТВИЕ

ШЕСТОЙ ВОЛНЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Андрей Лазарчук

Предчувствие: Антология «шестой волны»

От составителя

Сейчас об этом почти забыли, а когда-то фантастику считали в «волнах».

«Первая волна»: от начала начал и до Ефремова (и включительно, и исключительно). Почему так? Нипочему. Считать легче.

«Вторая волна»: «шестидесятники». По срокам волна примерно и уложилась в это славное победами и поражениями десятилетие.

«Третья волна»: семидесятые и добрая половина восьмидесятых — да чуть ли и не все восьмидесятые.

«Четвёртая волна»: пришлась на «великую сушь» — конец восьмидесятых и первую половину девяностых.

«Пятая волна»: со второй половины девяностых и по настоящее время.

«Шестая волна»:...?

Присмотримся и попробуем определить видовые признаки.

(Всё, что будет сказано ниже, является частным мнением составителя. Кроме того, составитель прекрасно понимает, что любое обобщение ложно, поскольку из заявленного множества всегда можно вычленишь то, что в это множество попало по недоразумению. «На примере данного „Собачьего сердца“ я доказываю...» — и так далее. Но! Не составитель вводил когда-то это деление на «волны». И вообще: попробуем более внимательно присмотреться к тому, что объединяет, а не к тому, что разделяет; к принадлежности, а не к уникальности. Это тоже интересно.) \* \* \*

Для «первой волны» характерно пристальное внимание к собственно фантастическому допущению. Фантастическая идея — это было наше всё. Завораживала сама возможность изобразить нечто такое, чего раньше никогда не было. Именно поэтому, как правило, всё прочее, что не входило в состав «фантастической идеи», выписывалось схематично, небрежно, штрихами.

«Вторая волна» родилась, на мой взгляд, из отрицания этой парадигмы. Пристальный интерес к фантастической идее остаётся, но главным становится другое, а именно: как влияет вот это фантастическое — на человека, общество, страну, человечество? На жизнь? Когда принцип сформировался, когда ему стали следовать многие авторы, — вот тогда и

родился тот замечательный пласт фантастической литературы, который стал классикой жанра.

«Третья волна», как и положено, возникла из отрицания «второй». С одной стороны, это произошло по причине нарастания цензурного гнёта; с другой — сам метод «шестидесятников», развиваясь, приводил в близкой перспективе к слиянию фантастики и «мэйнстрима», то есть к исчезновению фантастики как таковой; это многих не устраивало. Поэтому вновь в центре внимания появилась «фантастическая идея» — но, разумеется, уже второй свежести; кроме того, в дополнение (а в конце концов и на смену) позитивистской научной мысли пришла мысль паранаучная, псевдонаучная и попросту религиозная.

Схематичность только выросла.

«Четвёртая волна», понятно, родилась из отрицания «третьей»... Роль фантастического допущения стала ничтожной, оно использовалось уже откровенно как приём. Напротив, изображение окружающего мира сделалось предельно реалистичным, гиперреалистичным, натуралистичным. Человек стал мерилем всего. Погружение в психологию достигло... и т. д.

Нет, кроме шуток: «четвёртая волна» обещала чертовски много. Не произошло — потому что именно на эти годы пришлись сначала издательский кризис, а следом — великая экспансия на наш рынок западной фантастики. «Четвёртая волна» не сдалась, не прогнулась, удержала фронт — но при этом погибла сама (как явление).

Неспроста, наверное, генеральной темой «четвёртой волны» было героическое поражение...

«Пятая волна» возникла из отрицания идеалов покойной «четвёртой». На смену теме героического поражения пришла тема героической победы над всем, что шевелится. Больше я, пожалуй, ничего не могу сказать о «пятой волне». Разве что — такой огромной ещё не было. \* \* \*

И вот — «шестая»... Время её пришло. Характерные черты можно только предполагать, идеалы — прогнозировать и предчувствовать. А пока — просто читаем.

Андрей Лазарчук

ДАО

Ирина Бахтина

По пути в никуда

Часть I

Я представлял, как умру: будет непременно открыто окно, в нём небо, не важно какое, лишь бы не плотно задёрнутые шторы и не стена за окном. Ветер волнует занавески, если они есть. Занавески — не важно. Ночь, день, солнце, дождь — тоже не важно.

Я хотел бы умирать на снежно-белых, хрустящих от крахмала простынях. Пусть кто-нибудь будет рядом, пусть звенят склянки, чашки, пусть пахнет кофе. Потом запах пропадёт, стихнет звук...

Если бы я верил в другую жизнь, выпорхнул бы в окно из обмякшего тела. А так — мне всё равно, закроет ли кто-нибудь глаза моему труп.

Всё вышло не по-моему. Я не помню своей смерти. Последнее, что я помню, это как сидел у телевизора с чашкой чая. Был ранний вечер, но я никуда не собирался идти. Как видно, я не запомнил не только своей смерти, но и всего, что ей предшествовало. Хорошо, если я умер в больнице, на свежей простыне. Но может случиться, что я сдох под забором, уткнувшись носом в собачье дерьмо. Так или иначе, я умер, и всё началось.

Мой агент сидит в кресле напротив, нога на ногу, откидывая голову при каждой фразе, которая кажется ему удачной. Он битый час рассказывает мне, что здесь нет времени, что это не чистилище, это не злая шутка чужой воли, он не знает, как это объяснить и вообще есть ли этому объяснение, но мы не израсходовали себя до конца, что-то в нас не позволяет нам исчезнуть...

— Прежде чем погрузиться в абсолютное небытие, нужно додумать, доделать, дочувствовать, допережить... Да, в известной степени допережить тоже.

— Но я умер, — напомнил я.

— Смерть не способ сбежать от забот. — Агент улыбнулся, не размыкая губ, и тряхнул головой.

— Не понимаю, зачем я буду что-то допережёвывать, если я уже мёртвый?! Или...

— Ну, это вряд ли, — утешил меня агент. — Выхода отсюда нет.

— А какой смысл?

— Вы при жизни исповедовали экзистенциализм?

— Да.

— Тогда к чему вам смысл? — Агент тряхнул головой.

Мы встали, он оставил на столе свою визитную карточку, ещё раз тряхнул головой на прощание и вышел.

Я огляделся. В комнате было пять углов. Две из пяти стен зашторены тяжёлыми зелёными портьерами. Мебель обита зелёным бархатом. На полу белый с зелёными листьями ковёр. Кресла, в которых мы только что сидели, расположились в центре комнаты у большого овального стола. В таких квартирах я при жизни даже в гостях не бывал. Следующая комната — кабинет: чёрный письменный стол, ленинское кресло в чехле, шкафы с книгами, кажущимися знакомыми мне. Я подёргал выдвижные ящики стола. Они оказались доверху набиты бумагами. Я достал из одного сверху линованный тетрадный лист. На нём детским

почерком написано «Здравствуй». Под ним ещё два помятых листа, соединённых скрепкой. Текст отпечатан на плохой машинке, так что бумага кое-где пробита насквозь. Я сел в ленинское кресло и стал читать:

## ВСЁ ТА ЖЕ ПЕСНЯ

Случилось так, как случалось прежде: две частицы в хаотичном движении притянулись друг к другу. На короткий миг им показалось, что они составили целое. Но они были со всех сторон остроугольны и только изранились. А кто целовался в губы и не ранился? «Мне не надо чужого», — сказали они друг другу и снова растерялись в хаосе.

Пластинка заела на слове «ты». Ты проплываешь по небу; отражаешься на воде; ты сонмами прохожих идёшь по улице; твой далёкий голос будит меня ночами; в книге, в газете, на чистом листе бумаги написано о тебе... Кто-то один ел суп и слёзы капали в кипяток. Кто-то один выучил потолок наизусть.

Пластинка заела на слове «нет». Нет-почему-потому что-нет. Нет, потому что вместе больно; нет, потому что каждый движется по своей орбите. Ты вытеснил меня из меня, но как: тебя ведь нет.

Ты — уже не ты. Пока ещё каждый шорох за дверью — твой невозможный приход, но я уже не помню, как ты выглядишь. Мы не узнаем друг друга, если столкнёмся на улице. Мы посмотрим друг другу в глаза, извинимся и разойдёмся. И только когда каждый смотрит в темноту за своим окном, между нами устанавливается связь, а потом мы возвращаемся к своим иллюзиям. А когда наши останки удобряют землю, песня наша будет где-то звучать, потому что наши слова и музыка созданы друг для друга. Они, а не мы с тобой.

Наверное, мы жили в разное время и на разных концах Земли. И каждый из нас мог бы быть счастливым, и был. И не исключено, что мы были одного пола и никогда не встречались. И не исключено, что мы были одним человеком, так и не нашедшим своего Я.

В дверь позвонили. Я поспешно сложил листы обратно в ящик стола и пошёл открывать. Не спрашивая, «кто там», я распахнул дверь, тут же получил по лицу и отлетел в угол. А когда поднялся, никого уже не было: я стоял перед открытой дверью совершенно один. Из носа у меня текла кровь. Я закрыл дверь и вернулся в квартиру.

Электрический свет умножался, блестел в никеле, эмали, стекле, сверкал в зеркале над раковиной. Из зеркала на меня смотрела подозрительно знакомая рожа, несколько не изменившаяся после смерти. Весьма удивлённая рожа, нос в крови. Несколько капель упали и расплылись по рубахе. Я взял полотенце, намочил его под краном, в струе такой холодной, что вода на лету рисковала превратиться в сосульку. Приложил полотенце к лицу, на ощупь закрыл кран и, запрокинув голову, пошёл в гостиную. Там завалился на диван и велел себе перестать думать. Я так сосредоточился на этой задаче, что едва не заснул.

Сквозь уютную, тёплую дрему мне послышалось, что рядом со мной в комнате кто-то дышит. Прислушался. Наваждение не исчезло. Я вскочил. Полотенце упало к моим ногам.

— О! — вздрогнула девица. — Ты меня напугал.

— Как ты сюда вошла? Я не запер дверь?

— Ну ты даёшь, парень! У меня есть ключ.

— Откуда?

— Ты же сам мне дал! — нагло соврала девица, высоко подняла плечи и сразу опустила их. И они упали, как будто были у неё на шарнирах.

Мы замолчали. Она уселась на стул, достала пудреницу и занялась своим носом. Я разглядывал её пристально и пристрастно. Похоже, ей уже стукнуло тридцать, и случилось это не один год назад. Вся она какая-то пожухлая. Соломенные волосы сохраняли память об искусственных кудрях. Эти позавчерашние кудри спутались, забились за воротник несвежей, кофейного цвета, блузы. Блуза, в свою очередь, как попало заправлена в широкую суконную юбку. Девица положила ноги на соседний стул, продемонстрировав штопку на чулках. Она явно забавлялась моим замешательством и поддразнивала меня: потянулась, встала, пошла к окну. Сдвинув портьеру, она впустила в комнату чёрный свет зимнего вечера, отблески чужих окон и фонарей. И холод. Я подобрал полотенце, кинул его на ближайший стул и тоже пошёл к окну. Заглянув через плечо девицы, я увидел улицу в снегу, в гирляндах огней. Вид из окна напомнил рождественскую открытку.

— Какой сейчас месяц? — спросил я, надеясь услышать, что Новый год не за горами, но вместо этого наткнулся на раздражённое непонимание.

— Что такое месяц?

— В данном случае — время года, — пояснил я терпеливо.

Старательно изображая сожаление, девица покачала головой:

— Нет здесь времени. Совсем нет. И времени года тоже.

— И сейчас не зима? — на всякий случай уточнил я.

— Нет, — твёрдо сказала она.

Я отошёл от окна. Снова раздался звонок в дверь. Дикая девица обогнала меня на повороте. Я крикнул, чтобы она не открывала. Но она, конечно, открыла. И в мою квартиру вошла девочка в серой шубке и такой же шапке с балаболками на длинных шнурках. Она сказала: «Привет». Девица присела перед ней и стала расстёгивать тугие пуговицы на шубе. Я застыл памятником удивлённому человеку. Во всём этом с самого начала была какая-то ошибка.

— Не узнаёшь? — спросила меня девочка.

— Анжелка?...

Анжелка дожила до своей девятой весны и на этом закончила. Она умирала долго. Попала в больницу в каникулы после первой четверти, а хоронили её в летние каникулы. Я был в это время в лагере. Первого сентября нашего четвёртого учебного года в школу пришла её мама, раздала всем конфеты, расплакалась, и учительница вывела её из класса. До этого нам раздавали конфеты только по случаю дня рождения или Нового года. Мы были сбиты с толку. Наверное, никто из нас не понял, что значит «умерла». Но на всякий случай за парту рядом со мной ещё пару месяцев никто не садился.

Анжелка стояла передо мной совсем такая, какой приходила каждый день в школу. Только осунулась и от этого казалась старше. Те же светло-русые, почти белые косы с вечно развязанными бантами. И ляпка фартука спала с плеча. Та ляпка, на которой красовался октябрятский значок.

— Анжелка! Что происходит на свете!

— На каком?

— Анжелка, ну... Ты же ребёнок, а туда же.

— Ребёнок, ребёнок. У тебя конфеты есть?

— Не знаю, — признался я.

— Тогда идём в ларёк, — распорядилась Анжелка.

И девица, не поднимаясь с колен, начала её одевать обратно.

Мы шли вдоль улицы, медленно перебираясь от ларька к ларьку. Под паутиной золотых гирлянд мы остановились, и заботливая девица снова присела перед Анжелкой. Суконная юбка накрыла тающий снег и закопалась в белые мягкие хлопья, и ворс на юбке намок. Девица вытащила руки из рукавов, чтобы поправить шарф на Анжелке и ту же завязать шнуры шапки под подбородком. А потом достала из кармана две монетки и положила их в маленькую ладошку. Монетки сразу показались большими и тяжёлыми. Я вспомнил, как приятно они холодят руку, когда тебе девять лет и когда они вот сейчас превратятся в плитку шоколада в хрустящей фольге, когда снег искрится в конусе света под фонарём, через два дня каникулы, пахнет апельсинами и хвоей... Девица поднялась, поправила Анжелке чёлку, подтолкнула Анжелку к окошку ларька и снова спрятала руки в рукава.

К обочине тихо подъехал антикварный автомобиль гангстерского вида. Задняя дверца распахнулась, и стало видно красную обивку салона. В этом было что-то символически похоронное. Моя девица шагнула к автомобилю, чуть наклонилась над открытой дверцей и стала разговаривать с тем, кто внутри. Она говорила очень тихо, отвечала на вопросы, с чем-то соглашалась, потом повернулась ко мне и сказала:

— Я сейчас уеду. Смотри за Анжелкой. — И, несколько не усомнясь в уместности своего тона, добавила: — Ты мне за неё отвечаешь, — затем отступила к обочине и скрылась в красных недрах автомобиля.

Дверца громко хлопнула, будто лязгнули хищные челюсти. Автомобиль отъехал от тротуара, унося на своём заднем запасном колесе. Анжелка смотрела ему вслед, прижимая к груди плитку шоколада. Потом взяла меня за руку, и мы пошли.

Я стал расспрашивать о блондинке и узнал, что это Анжелкина сестра. Зовут её Владлена. Она строит из себя вредную и злую, но в душе она глубоко несчастная. Анжелка так и сказала: «В сущности, глубоко в душе она очень, очень несчастна». Несколько манерно для октябрёнка. Я попросил показать мне город. Анжелка вроде как кивнула, и мы побрели дальше по чернеющей зябкой улице, пока не вышли на перекрёсток. Я остановился, Анжелка тоже остановилась, потому что её рука была крепко зажата в моей.

Четыре дороги, четыре угла, четыре дома пододвигают свои ободранные бока к уличным фонарям, как будто хотят согреться. Дыхание ночного ветра, далёкий скрип. Далёкие шаги. Ничего.

С моей тенью скрестилась другая. Из темноты, подобно шахматному королю, выдвинулась фигура в чёрном.

— Ба! Лазарев! — сказала фигура, воздевая к небу рукава и перчатки. — Какая встреча! А я тебя ищу. Заходил даже к тебе домой, но, представь, оба раза не застал!

Я уставился на Кешу Вирсавина и только и смог сказать, что:

— И ты... Когда?

— Да только что, — радостно ответил он. — Пойдём немедленно со мной. — Кеша схватил меня за рукав и тут заметил Анжелку. — Твоя?

— Ты умер? — снова спросил я.

— Как нетактично! — подмигнул Кеша Анжелке, а та ехидно сморщилась, как маринованный огурец, но сохранила дипломатичное молчание.

— Пойдём, — продолжал Кеша, снова обращаясь ко мне, — непременно, срочно пойдём на радио.

— Почему на радио? — слабо отбивался я, увлекаемый Кешей и, в свою очередь, увлекаая Анжелку. Мы скакали по мокро-снежной мостовой, как три пингвина на одной верёвочке.

— На Город надвигается Океан, — сообщил на скаку Кеша.

И я почувствовал, что ночной ветер пахнет йодом.

— Я видел сегодня мёртвую чайку, — рассказывал Вирсавин, оглядываясь к нам, — или, может быть, альбатроса. Я в них не разбираюсь. Белая птица с изогнутым хищным клювом и перепончатыми лапами. Мёртвая. Она валялась в подворотне, в сером снегу, как в грязной пене. Навзничь, раскинув крылья. Чудесно некрасивая. Просто бодлерщина какая-то.

— Какая чайка? Какое радио? Какая бодлерщина? — бормотал я, подпрыгивая средним пингвинчиком.

— Сценарий у меня в кабинете. Вчера утвердили его окончательный вариант. Это мой сценарий. Но Боже, Господи, кто его прочтёт, подумал я — и сразу вспомнил о тебе. Ну конечно! Сама судьба послала тебя мне. Ты это прочтёшь, и никто другой!

— Я был актёром? — спросил я.

— Ты же умница, большой талантище. И никто не сможет почувствовать Ка так, как ты.

— Я?

— Ты!

Дверь на тугой пружине захлопнулась за нами и разнесла по коридорам холодное эхо: ы-ы-ы... а-а-ах... Мы догоняли Кешу, взбирались по лестницам, прятались в закоулках, прошивали пустые коридоры пулемётными очередями торопящихся шагов.

— Мой кабинет, — торжественно заявил Кеша Вирсавин и с облегчением перевёл дух, будто только что удачно скрылся от погони.

Мы тоже переводили дух и оглядывали комнату, похожую на приёмный пункт макулатуры. Анжелка высвободила свою руку из моей, уселась на стул, поболтала ногами и спросила у Кеши:

— Кофе есть?

— Анжел, кофе вреден для растущего организма, — наставительно сказал я.

— Полагаешь, я ещё вырасту?



Кофе оставлял во рту привкус ожога. За окном тьма. Сухое шуршание бумаг. Кажется, что-то такое со мной уже было. Я пробежал глазами текст: жил-был писатель К. Безнадёга одолевала его в жизни. Безысходняк описал он в романах. Хотите, докажу на примерах.

Я попробовал на вкус несколько фраз. Кеша не удержался, перегнулся через стол, схватил меня за руку, расплескал мой кофе, в сердцах отобрал чашку... И вот мы с Анжелкой несёмся за ним, как хвост за кометой. Лестница раскатывается небесными громами. Как страницы перелистываем мы комнаты. За кем мы гонимся? От кого убегаем?

— Это студия, — сказал Кеша.

Когда я прочёл текст в микрофон в последний раз — не сбившись, не скрипнув стулом, не ошибившись, — по моим подсчётам, наступило утро. Анжелка спала на кожаном диване, укрывшись моим пальто. Кеша Вирсавин присел рядом с ней на краешек дивана. Анжелка недовольно разлепила глаза. Он протянул ей апельсин. Она взглянула презрительно, но апельсин взяла. Спустила ноги с дивана.

— Пойдём, что ли? — сказала она мне.

Мы с Кешей обули, одели её, застегнули пуговицы, завязали шнуры шапки под подбородком. Она терпела и зевала. Кеша проводил нас до выхода, и мы, снова вдвоём, взявшись за руки, нырнули в предрассветные сумерки.

Мы брели в лёгком тумане, глядели себе под ноги и были одни в затаившем дыхании Городе, пока из подворотни не вынырнул тихо, будто подстерегающий хищник, гангстерский автомобиль. Он перегородил нам путь. Задняя дверца распахнулась, чтобы поглотить Анжелку. Алчно переливалась красная обивка. Во мраке салона блеснули глаза. Женский голос поблагодарил меня. Это была не Владлена. Я наклонился над дверцей к Анжелке, чтобы рассмотреть ту женщину, но Анжелка сонно сказала: «Пока», — и мне пришлось самому захлопнуть тяжёлую дверцу.

Я шёл один. Тихо, очень издали урчал, надвигался на сумеречный Город блуждающий Океан. По улицам и переулкам гулял сквозняк. Изредка, с безумным отчаянием, кричала невидимая для меня, заблудившаяся чайка.

Вверившись интуиции, я угадал среди тёмных громадин дом, и подъезд, и нужную кнопку в барском лифте за ажурной решёткой.

Войдя в квартиру, я сразу услышал запах — и поскользнулся на свежей кучке дерьма. Включил свет. Желтоватое вещество, размазанное по ковру, выглядело так же натурально, как и пахло. Я пошёл за бумагой и тряпкой, чтобы убрать эту дрянь, и выяснил, что, помимо смрадных гор и морей, по квартире разбросаны изъеденные книги, в ванной разбит круглый аквариум, мёртвые, потускневшие рыбки до бесконечности тиражируются в зеркалах и блестящем кафеле. Я подбираю, подтираю, выбрасываю, а меня кидает в озноб и в жар от досады и, кажется, от голода. Прибрав всё или всё, что заметил, я вошёл в пятиугольную комнату. Не включая света, сел в кресло и отдался смертельной усталости. Мне адски хотелось проснуться живым, и с этим я уснул.

Снилось каменистое взморье. По прибору прохаживается ворон. Если волна покрывает пеной его когти, он расправляет крылья и клекочет, как будто ему больно или страшно, но не отходит от воды. Ворон ходит туда-сюда, как маятник, и в этом есть обречённость. Шум прибора нарастает.

Я открыл глаза. От моего лица вспорхнуло вороново крыло. Чёрная женщина вытянулась в струну и настороженно замерла. Она застыла спиной к окну, мерцая в сочащемся скудном свете. Он осыпается блестками на её воронёные пряди, ломается в серьгах, дрожит на изгибах платья. Я отвлекся от созерцания мыслью о том, что второй раз меня будит неизвестная женщина. Спросил на всякий случай:

— Я дал вам ключ?

— Дверь была не заперта, — ответила она.

Я узнал этот голос. Она вроде немного боялась меня, но ещё больше казалась огорчённой.

— Это ваша квартира? — спросила она. — Давно?

— Не знаю.

— Нет. Этого не может быть.

Отступив на два шага, женщина окинула меня быстрым взглядом и, хоть ей было мало что видно, всё-таки догадалась, что я не виновен в том, в чём она меня до сих пор подозревала.

— Я личный агент — хранитель того, кто был здесь до вас.

Опустилась в кресло напротив, бросила руки на колени и начала рассказывать. Во Владимире Николаевиче заключено мировое зло. Он то ли историк, то ли философ, то ли теолог. Определённо, он — последний смертный. Если бы у этой женщины когда-нибудь была жизнь, она с удовольствием отдала бы её за него, так она сказала.

Когда-то приснилось, а может и нет, как вошёл в комнату, где ждала меня эта женщина... Будто бы посреди стояла ванна с холодной водой, а в ней полно роз и бутылки жмутся друг к другу. Я прошёл к столу, кинул перчатки между приборами, уселся на стул. Она села напротив, наполнила бокалы, подала меню: пустыни, небесные светила, грозы и циклоны, даже жизнь... Она без конца курила, ждала: выберу ли я то, что указано в меню последним. Начался шторм. Волна разбила окно. Я неловко отбил горлышко у бутылки и поранил руку. В комнате уже ничего не было видно из-за дыма. И стало очень холодно. Мы забрались в ванную. Вокруг нас хозяйствовал Океан. А мы сидели в битом стекле, колючих розах и в окурках, смотрели друг на друга, истекали кровью... Может быть, мне всё пригрезилось, пока незнакомка сидела передо мной, бесконечно печальная. Но после с нами всё так и случилось. Или почти так. А сейчас я даже не знал, как её зовут.

Она оставила кресло и ходила по комнате. Сколько группировок и одиночек, называющих себя антисатанистами, охотились за тем, кто был здесь до меня! Вдруг она замолчала, остановилась, испуганно глядя под ноги.

— Какой это этаж?! — закричала она, шарахнулась к окну, потом от окна — и выбежала из квартиры, забыв перчатки и туфли, которые сняла, пока шагала туда-сюда мимо меня.

Я остался один. Подождал немного, потом встал и включил свет. На столе, никем не тронутая, лежала визитная карточка моего агента. На ней было написано одно слово: «Ангел». Я вышел в кабинет. Там, устроившись в ленинском кресле, снова залез в стол. Болела голова, но я хотел хотя бы дочитать те машинописные листы. Вот что я прочёл и ничего не понял:

Конечно, ни слова о любви. Просто мы боялись ошибиться. И ошиблись бы, клянусь нам в этом. Клянусь. Хотя «Мы» никогда не существовало, я плюс я не равно любовь, но я равно любовь, и я равно любовь, и они вертятся и вертятся в хаосе, сталкиваясь, раня друг друга и ошибаясь, всегда ошибаясь...

Нет, слишком болит голова. Я сжимал виски и мучился, и наконец решил принять ванну.

Долго нежился в зеленоватой воде, потом тщательно мылся, брился. Благоухая, как свежесрезанный нарцисс, и абсолютно нагой, я вышел в коридор. У входа стоял мой агент во фраке. «Вы ещё не готовы?!» — воскликнул он. К чему не готов? «Но мы должны явиться на приём. Одевайтесь скорее». Он вышел вслед за мной в гостиную и стал подавать мне предмет за предметом чужую, но хорошо отстиранную и отутюженную одежду, а попутно рассказывать, как Марку пришлось второпях развешивать картины, пока не накатила Океан и не смыл краску с холстов. Кончил агент тем, что помог мне натянуть фрак. Уже в прихожей я втиснул ноги в штиблеты и, схватив пальто, побежал вниз по лестнице следом за моим агентом — Ангелом.

— В музей, — велел Ангел водителю.

Машина зачавкала по тающему снегу.

— Как быстро теплеет, — пожаловался он мне.

Я тоже хотел ему пожаловаться, но он предупредил меня. Он сказал: всё это из-за Океана.

Возле музея, очертания которого расплывались во тьме, собрались лоснящиеся автомобили, как морские котики на лежбище у скалы. Мы поспешили ко входу, поглубже запахивая пальто от ветра.

Открыв четыре двери, пройдя через три застеклённых тамбура, мы возникли в просторном ярко освещённом холле и отдали кому-то любезно подоспевшему свои пальто. Я заметил у лестницы женщину в узком блестящем платье, а рядом с ней невысокого паренька во фраке. Он всё тянул руки к горлу: бабочка душила его. Ангел подвёл меня прямо к этой паре и представил. Так я узнал, что парень с двумя макушками и беспокойной улыбкой — это Марк, художник, на чью выставку мы и явились. Женщина кивнула мне, сказала Ангелу, что мы знакомы. Тогда я узнал, что её зовут Валерия Юрьевна.

Позади них, на оттоманке, задвинутой в угол между стеной и лестницей, сидела Анжелка. Я сначала не увидел её, но Валерия чуть сдвинулась в сторону и скосила глаза в тот угол, чтобы обратить моё внимание на девочку. Анжелка крикнула: «Привет!» — и помахала рукой. Она снова показалась мне старше своих лет. Глаза у неё блестели, как они блестят далеко не от детских удовольствий, а белокурые волосы по-взрослому были собраны в пучок. Ангел легонько подтолкнул меня, и мы стали подниматься по лестнице в зал, увешанный картинами и заполненный нарядами людьми. Ангел сообщил, что мы опоздали и выставки не увидим — невозможно смотреть, когда вокруг толкотня и говор. Мы пристали к одному из кружков. Там рассуждали о том, чем лучше замазать двери и окна для защиты от надвигающегося Океана. Одна дама в брильянтах рекламировала масляную замазку. Во-первых, она водонепроницаема, а во-вторых, после отхода Океана легко снимется с оконных переплётов, в отличие от цемента или монтажной пены. Другие дамы, а также господа размеренно кивали головами. «А вы чем будете замазывать окна?» — спросила меня дама в брильянтах. «Ничем», — ответил я, услышал недоуменный ропот и краем глаза уловил иронично-одобряющую улыбку на лице Ангела. Самый молодой из господ, с кривым ртом, с припудренными угрями и при этом бледный, словно вампир, сказал что-то о Марке, я не расслышал. Кружок воспринял эту невнятную фразу, как хлопок стартового пистолета. Завязался разговор, в котором восклицания и междометия имели больше смысла, чем слова. Тем не менее мне удалось понять, что я нахожусь в обществе муз Марка обоего пола.

Стало скучно, я начал смотреть по сторонам и заметил Анжелку. В нескольких шагах от нас она рассматривала картину. Жёлто-оранжевый цвет пах навсегда потерянным солнцем и неодолимо притягивал. Светящийся человек вырос на картине из темноты, закрывая лицо ладонью. Над его головой висела красная ветка. Ангел осторожно сжал мне руку и нахмурил брови. Я переспросил: «Да?» Никто не повторил вопрос, и я наобум ответил: «Нет». Почему-то все смутились. Ангел, мой спаситель, ловко извинился, откланялся и вывел меня из кружка... В толпе мелькнул Кеша Вирсавин. Он вспыхнул мне навстречу великолепной светской улыбкой, но заметил рядом со мной Ангела, сразу потух, затушевался в гуще фраков. В тот же миг толпа разом пришла в движение. Мы с Ангелом тоже придвинулись к подиуму, на который уже поднялись Валерия и Марк. Художник встал перед микрофоном. Он с ещё большим отчаянием тянулся к бабочке на своей шее, растерянно улыбался, потом сказал:

— Вот, — и неопределённо повёл рукой в сторону одной из стен. — Это я... Этим я... заслужил свой покой. Мне жаль...

Он запнулся. Толпа ждала. Тогда он махнул рукой:

— А-а, идём на банкет.

Раздались аплодисменты. Валерия шагнула к микрофону, склонила голову и объявила, что Марк считает свою выставку открытой. Потом поцеловала художника в щёку.

Пока я следил за действиями на подиуме, какая-то девушка, стоящая перед нами, всё время оглядывалась на меня и улыбалась. Толпа потекла в соседний зал. Улыбающаяся девушка, я, Ангел — тоже. Только на пороге я на минуту замер: длинный, как железная дорога, стол покрыт белой скатертью, по ней караваном движутся фарфоровые ладьи со снедью. Двигутся на меня. Огибают острые вершины тёмных бутылок, трутся боками о соусники, пристают к фруктовым тропическим островам...

Я сел рядом с Ангелом, и он немедленно позаботился о моей тарелке. Мне захотелось помолиться перед едой, хотя не помню, чтобы я когда-нибудь делал это при жизни.

Мясо в розовых и атласно-белых прожилках растекалось по языку и разбегалось по телу до самых кончиков пальцев. На горизонте стола был произнесён тост. И я тоже выпил за Марка и глупо засмеялся, потому что прежде мне не приходилось так чувствовать каждую клеточку моего тела.

Сзади подошла Анжелка.

— Господа, — обратилась она, просунув голову между моим плечом и плечом Ангела, — пойдёмте со мной.

Мы, извиняясь, заскрежетали стульями и вышли вслед за порхающей Анжелкой. Она привела нас в комнату, тесно заставленную мебелью. Со стороны двери в ней был слышен шум банкета, а за окном урчал голодный Океан. Нам навстречу встала Валерия.

— Вот человек, которому я от отчаяния всё рассказала, а он этим не воспользовался, — громко объявила она и указала на меня.

Марк, избавившийся от душительницы-бабочки да и от фрака заодно, подошёл ко мне, пожал руку и остался рядом, продолжая засучивать рукава рубахи. Собственно, за этим занятием мы его и застали. Валерия отрекомендовала мне человека, сидящего в центре на диване: наш спаситель. Именно ему мы обязаны сегодняшним праздником. Спаситель — нескладный человек с редкой бородкой, несчастно свисающими усами и косящим взглядом — поднялся с дивана, глядя в сторону, пожал мою руку, пробормотал что-то невнятно и снова сел. Его рука

напомнила мне тех мёртвых рыб из разбитого аквариума в моей ванной.

Анжелка попросила:

— Присаживайтесь, господа, — и заняла стул у самого выхода.

Я тоже сел на стул, лицом к окну. Ангел утонул в диванных подушках рядом со спасителем. Он положил ногу на ногу и тряхнул головой, откидывая набриолиненную прядь. Валерия сбросила туфли и забралась на диван по другую сторону от спасителя. На пол свешивался длинный хвост её блестящего платья. Она пригладила чёрные, стриженные под каре волосы и предложила мне место сторожа в музее. После моего недолгого молчания Марк, который так и оставался стоять, начал разводить руками, пожимать плечами и топтаться на месте, всеми силами пытаюсь показать, как ему неловко. И что он, конечно, меня понимает...

— Не будь дураком, — сказала мне Анжелка.

Тогда я согласился. Ангел заплодировал. Валерия перегнулась через мягкий диванный подлокотник и достала бутылку. Марк разлил вино по фужерам. Мы встали, чтобы выпить по глотку. Вино было сладким, как свежая малина.

Спаситель ушёл. Марк ушёл к гостям. Ангел вызвался привезти из дома мою одежду, потому что к обязанностям надлежало приступить немедленно. Анжелка тоже куда-то вышла. Мы остались наедине с Валерией. Именно тогда она предложила отказаться от отчеств. Она смотрела лукаво и, видимо, хотела мне ещё что-то рассказать, на этот раз не от отчаяния. Вот она взяла со стола мой фужер и уже поднесла его ко рту... Ха-а — дверь отворилась. Анжелка крикнула:

— За тобой приехал Юрий Валерьевич.

Валерия отстранила лицо от вина. Пройдясь по комнате и уперевшись бедром в подоконник, она потянула створку окна, выбросила туда фужер, закрыла створку и тогда ответила Анжелке:

— Скажи, что я иду.

— Ну так и пойдём, — возразила Анжелка.

Валерия послушно обула туфли, кинула мне «пока» и вышла. Проходя мимо Анжелки, она ласково щёлкнула её по носу. Анжелка показала мне на прощание язык, и я остался один на один с недопитым вином. Один с не случившимся брудершафтом. Один между дверью и окном. Один между говором банкета и океана. Я поглядел в тёмное стекло: там отражалась комната и человек во фраке.

— Несравненная будет петь.

Я оглянулся. Со мной говорила голова с двумя макушками. Марк не изволил войти в комнату, он ограничился тем, что просунул голову в приоткрытую дверь.

Зал с картинами снова был полон народу. Все непременно хотели услышать певицу — невысокую красивую женщину в низкодекольтированном платье, украшенном бутоньеркой в виде двух цветков красного мака. Несравненная стояла на подиуме, улыбалась публике и слегка склоняла голову, обещая. Но вот она откинула роскошные чёрные кудри и дирижёрским жестом остановила звук в зале. Отступив на шаг от микрофона, она запела.

Голос её, поначалу тихий, обретал силу, взбирался по октавам вверх, дрожал в колоратурах,

падал, шептал, возрождался и наполнял зал до краёв. Трепетал воздух в зале, трепетало что-то внутри меня.

Несравненная закончила и снова улыбнулась. Толпа помедлила, ловя последний отзвук, и взорвалась восторгами. Мне показалось, что эта женщина живая...

Несравненная согласилась спеть ещё, если ей принесут гитару. Гитары не нашлось, и она, с видимым удовольствием уступая настойчивой толпе, согласилась спеть так. Она объявила песню, придуманную славной девочкой — Ангелочком. Зал замер. Несравненная запела звонким голосом, варьируя мелодию и веря каждому своему слову. И я верил. И помню все эти слова. Я не тогда их запомнил, но не важно. Вот они:

Когда-нибудь я стану эхом  
и полечу на край вселенной,  
но заблужусь в пути, и в море упаду,  
и стану пеной.

Густым туманом поднимусь я к небу  
и выпадут дождём холодным,  
чтобы впитаться в кожу ваших туфель,  
чтоб вымыть ваши ноги,

чтоб смыть с вас мой испуг последний,  
осевший серой пылью к вам на лица.  
Я буду долго, долго гибнуть,  
чтоб никогда ни в чём не воплотиться.

Когда же путь мой до конца свершится,  
на тёмном небе душной летней ночи  
в том мире, где меня уж нет,  
сверкнёт зарница.

Женщина замолчала и замерла, откинув голову. Толпа задвигалась, захлопала, и тогда Несравненная засмеялась: «Но какова же я, а?» Потом она пела на чужом языке очень красивую, но непонятную песню. Наконец восторги ей надоели, и она капризно сказала, что хочет уже не петь, а пить, но толпа отпустила её только после обещания спеть застольную.

Я вместе с остальными перешёл в банкетный зал и нажрался там как свинья, но только не в смысле напился, а в смысле наелся. Когда приехал Ангел, я уже спал в комнате, заставленной мебелью. Банкет закончился, гости разъехались. Автомобили отхлынули от входа, будто морские котики ушли в море. Тьма за окнами заслезилась туманом.

Ангел настойчиво звонил у входа. Я впустил его и запер дверь. Он сообщил мне, пока выкладывал вещи, что в моём доме его чуть не застрелили. Я сказал, что это дело обычное, не стоит беспокоиться. И спросил про неведомое животное, наводящее разрушения в квартире. А, вы имеете в виду вашего домашнего любимца? Так Океан отмоеет всё. А если вы будете его вовремя выгуливать, кормить, ну и вообще, заботиться, так не придётся ждать Океана. Постарайтесь полюбить его, ладно? Как, если я его даже не видел? Но людям не обязательно видеть предмет забот, не так ли? Так ли? Я спросил о Валерии: вы ведь с ней хранители? Ну, иногда это так называется. А как это? Это что-то вроде касты, ответил Ангел, повесил мой фрак в шифоньер и попросил закрыть за ним дверь. Мы вместе спустились по лестнице, прошли три застеклённых тамбура, Ангел шагнул за порог и сразу исчез из виду. Туман успел облизать меня огромным липким языком, прежде чем я успел затворить дверь и опустить засовы.

Я пошёл бродить по музею. Свет во всех залах оказался погашен. В комнате, заставленной мебелью, горело несколько бра. Там я нашёл в коробке под столом свечи и спички и, прихватив их с собой, отправился смотреть картины. Вернее, только одну из них — ту, что рассматривала Анжелка. Придя в зал, я зажёл свечу, прикрывая пламя ладонью, пошёл вдоль стены и скоро наткнулся на светящегося человека, приложившего пальцы ко лбу, под золотистую прядь, спадающую на бровь. Другая его рука опущена, в ней надкушенное яблоко. На обнажённом плече огромная чёрная бабочка. Над ним ветвится красная молния. Позади и внизу мрак. И взгляд на него немного сверху. Я склонился над рамой и прочёл: «Грех».

Где-то, как будто в соседнем зале, хлопнуло окно. Я вздрогнул так, что пришлось снова зажигать свечу. Но, верно, выпитое вино прибавило мне храбрости: я пошёл в банкетный зал. С порога крикнул:

— Кто здесь?

Услышал:

— А-ах, ты снова меня напугал. Ха-ха, вот дурак. Ну кто, кроме меня, может вломиться на охраняемый объект, да ещё после того, как её не пригласили на праздник? Можно я закрою окно?

Владлена закрыла окно и подошла ко мне. При свете свечи она выглядела гораздо лучше. Я заметил, что она переделалась и привела в порядок свои волосы. Я спросил, зачем она явилась.

— Можно, я поем? — сказала она, схватила птичье крылышко и принялась его глотать. — Я ужасно боюсь Океана, просто не знаю, что с собой делать, мечусь по Городу, ищу, где спрятаться от страха, но страх сидит у меня на плечах. Я совсем не сплю. Как только я останавлиюсь, страх сожрёт меня.

Она жадно обглаживала крыло и посматривала на меня. И вдруг, плаксиво:

— Давай вызовем живых, пусть они защитят нас. Давай устроим спиритический сеанс. Ты хочешь узнать, как ты умер? Ведь хочешь!

Снова не дождавшись от меня ответа, Владлена выбросила крылышко, сдвинула на столе приборы и стала писать на скатерти буквы и цифры, обмакивая палец в соусник. Нашла тарелку поменьше, высыпала из неё смятые бумажки, перевернула дном вверх. Затем она оторвала полоску от салфетки, поплевала на неё, налепила на край блюда.

— Иди сюда, — позвала она.

Я сделал шаг.

— Нет, не подноси свечу слишком близко.

Я, как замороженный, послушно закрепил свечу между остатками еды на ближайшей тарелке. Владлена подала мне руку:

— Левой рукой возьми мой указательный и средний пальцы, а правой — безымянный и мизинец, и сжимай как можно крепче.

Я сел рядом и сделал всё, как она велела.

— Мы почувствуем покалывание в пальцах, потом пульсацию, потом удары в плечо, — прорицала Владлена.

Но я не почувствовал даже, как пальцы занемели, — пока она не вырвала у меня свою руку. А после, конечно, началось покалывание.

— Мы забыли поцеловаться, — спохватилась Владлена и потянулась ко мне.

Губы её блестели от жира, и она часто дышала от возбуждения. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого, но почти сразу не выдержал и с силой оттолкнул её от себя. Владлена упала вместе со стулом, хрипло рассмеялась:

— Ты думал, я стану тебя целовать!

Я наблюдал, как она поднимается, отряхивается, медленно идёт вдоль стола. Владлене удалось ещё раз меня напугать, когда она вдруг схватилась за скатерть и сдёрнула её со стола. Не всю, конечно, ведь скатерть длиной со стол, а стол длинный, как железная дорога. Посуда с лязгом и звоном порушилась вниз. Владлена постояла, перевела дух и решительно захрустела по битому фарфору к окну.

— Я пошла! — крикнула она, не оборачиваясь. — Можешь меня не провожать.

Она открыла окно и, как была, в одном платье, выбралась на пожарную лестницу. Я тоже подошёл к окну, чтобы закрыть за ней шпингалеты. Заодно я проверил шпингалеты на других окнах. А возле последнего почувствовал дикую усталость и пошёл спать. Но долго не мог уснуть, перебирая в голове всё, что ещё не случилось, но случится, и я даже знал, как именно.

Меня разбудил спаситель, невнятно поблагодарил и, пока я ещё не успел опомниться от сна, вытолкнул за дверь. Постояв немного у входа, я стал звонить и стучаться, чтобы он впустил меня обратно. Он открыл дверь, чтобы сказать мне, что я свободен, и снова захлопнуть её перед самым моим лицом. Тогда я поднял воротник и пошёл, полагая, что, какое направление я ни изберу, всё равно конечная цель выбрана не мной.



В подъезде возле лифта стоял высокий мужчина, статный, как лорд. В первое мгновение меня впечатлило его царственное белое пальто, потом — когда наши взгляды встретились — его глаза: предгрозовые, слишком выразительные глаза. Потом — его бледность, яркая, почти как царственное пальто. Мы вместе вошли в широкую кабину лифта, закрыли решетку.

— Шестой, — сказал я.

— Так это вы, — отозвался мой попутчик так, будто премного обо мне наслышан. — С некоторых пор лифт не доезжает до моего этажа, а только до вашего. Так что впредь смело жмите на цифру «семь», если хотите попасть к себе.

И он нажал на цифру «7». Но кто-то ворвался в подъезд, раздались выстрелы. Лифт поехал и сразу застрял между этажами. Топот по лестнице, тяжёлое дыхание, стрельба. Две пули ударились в крышу лифта, одна повредила боковую панель. Ещё топот, хлопок подъездной двери и тишина.

— Никогда не могут попасть. Просто нелепо, — сказал мой попутчик.

Мне тоже стало досадно, что из-за какого-то неудачника с пистолетом мы застряли в клетке.

— Кто они? — спросил я.

— Не знаю. Но убивают они меня без отдыха. И никак не могут верно прицелиться. Они и голыми руками пробовали, но всегда пугаются, второй раз не бьют, убегают. Кстати, меня зовут Владимир.

— Алексей.

Мы пожали друг другу руки.

— Будем выбираться?

Выбрались через люк в крыше кабины. Открыли решётку следующего этажа и, подтянувшись на руках, выползли на площадку. Потом, для порядка, закрыли за собой решётку и пошли вверх по лестнице. Я не считал этажи. А вместо этого разглагольствовал, что, вероятно, они не хотят убить его по-настоящему, потому что иначе им после пришлось бы искать другой объект преследований, а это разве просто? И потом, никого из нас невозможно убить — мы уже все мертвы. Владимир вежливо со мной не соглашался. И, не заметив как, мы добрались до последнего этажа.

— Зайдите ко мне, — предложил Владимир, открывая дверь, ничем не отличающуюся от моей.

Я не мог не зайти.

Мы сидели в пятиугольной гостиной. Здесь гостиная красная, пол шахматный, между креслами небольшой пурпурный коврик с длинным ворсом. Наши головы окружал нимб слабого света из-под низкого круглого абажура над столом. Тихо бормотал приёмник, перемежая свой лепет шумом и треском помех. Мы пили горький зелёный чай из круглых чашек, нежных, как раскрывшиеся цветы, и разговаривали о чём-то далёком. Люди с пистолетами, домашние любимцы, великосветские пьянки, хранители и спасатели всех мастей и даже сам Океан отступили от нас.

Я пересказал на свой лад то, что прежде узнал от Ангела.

— Всякая сущность должна наиболее точно воплотиться в саму себя, — говорил я, — и только достигнув своей абсолютной полноты, она как бы свершается и становится готова к

распаду. Надо исчерпать все ресурсы своей души, почувствовать тщетность всех своих мыслей, чувств и действий, только тогда получишь покой. До тех пор успокоиться нам не даёт собственное сознание. В нём существует некая инерция жизни. Эта инерция создаёт тормозной путь. Или как бы нейтральную полосу между жизнью и смертью.

— Величайшую? — переспросил Владимир. — Для бессмысленности слишком лестно.

— А может быть, наше сознание ещё не готово, может быть, существует некая инерция жизни. И мы в ней, как в нейтральной полосе между жизнью и смертью.

— Это вы сами придумали?

— Нет, но я начал это понимать. Сумеречное сознание, будто бы есть такой термин. Мы здесь, потому что мыслим. Бытие наше определяется границами и ущербностью нашего сознания, которое не готово не быть. Что мы имеем? Бесплодную игру умирающего воображения. Игру изначально нечестную, с неизвестными правилами или вовсе без правил. Хаотичное блуждание мысли во мраке, причём не в поисках света, а бесцельное, агонизирующее, — как вы думаете?

— М-м, — отозвался Владимир. — Гипотеза ваша допустима. С тем, что границы сознания и границы бытия совпадают, я абсолютно согласен. Но что касается нечестной игры... По-вашему выходит, что кто-то играет нами. А мне приятнее думать, что всё происходящее с нами — результат только нашего выбора. Причём не бессознательного, как вы утверждаете, а вполне ответственного. В идеале. Вот вы говорите: сущность должна... Кому? Сущность желает, стремится, меняется... Сущность — сложный процесс и осмысленный. А в абстрактную волю и обстоятельства мне как-то не верится. Мы не по гололёду катимся юзом, а вполне даже жмём на газ.

— Сознательно?

— Что делать! — Владимир развёл руками. — Город — это форма нашего сознания. Вы и сами это говорили. Поэтому странно лишать его смысла и говорить, что правила игры нам не известны.

— Выходит, вы признаётесь, что сами посадили себя в тюрьму и приговорили к казни.

— Сам, — согласился Владимир.

Мы поразмысляли молча, пока Владимир вдруг не возразил вслух:

— А вот это, пожалуй, совсем не правда.

Он сделал радио погромче, и я услышал собственный голос. Звучала та самая запись, сделанная Кешей Вирсавиным: «...герой, не понимая своей вины, знает, что виноват. Он виновен по своей сути. Но его заставляют не только признать свою виновность, но и почувствовать её. И он хочет её почувствовать, чтобы приобщиться к космическому бытию через идею первородного греха, через долженствование искупить свои каждодневные греховные помыслы готовностью к расплате...»

— Я читаю по чужому тексту, — сказал я Владимиру. — Это Иннокентий Вирсавин написал. Кажется, когда-то где-то мы с ним вместе учились. Не помню. Я вообще мало что помню о своей прошлой жизни.

— То есть это Иннокентий Вирсавин так думает. А вы нет?

— Я вообще не читал Ка.

— А если отвлечься от Ка и его героя, который намерен приобщиться к космосу, то, положим, себя-то вы считаете виноватым?

— В чём?

Владимира развеселило моё непонимание:

— По сути?

— Нет... Но разве наше пребывание здесь не есть искупление некой вины?

— ...признанной нашим сознанием. Ведь именно оно обрело формы сумеречного Города.

— Выходит, я сам себе противоречу?

— Выходит, что вы рассуждаете: с этой стороны... с той стороны... А вы просто решите для себя: вы виноваты?

Я мгновенно решил:

— Не больше, чем ребёнок до рождения.

Владимир засмеялся.

— Странно, — сказал я, — но я не помню вас на открытии выставки Марка.

— Меня там и не было. Но я хорошо знаком с Марком и видел его работы, когда их ещё только готовили к выставке.

— Вы помните его светящегося человека? Человек надкусил яблоко, и его озарило, и он схватился за голову. Картина называется «Грех».

— Да, я видел её. Но совсем иначе: человек сияет от счастья. Откусил от яблока и хлопнул себя по лбу: «Ну и дурак я был!»

— А ваша гипотеза допустима! — улыбнулся я.

— Чудная песня, — сказал Владимир и сделал радио ещё громче.

— Это Несравненная!

Владимир кивнул. Она пела по-русски. Голос звенел, не уставая, словно ей вообще не нужно было брать дыхание. Кажется, взаправду едет на тройке с бубенцами, да не просто так, а корону пропивать. Владимир покачал головой: какова? Радио замолчало.

— Кармину все называют несравненной, голосом восторгаются. А она душой поёт. Мне когда-то приснилось, что я умер под эту песню. Было очень светло. Свет белый-белый, какого нет. Я перехожу дорогу. Много людей вокруг. Там, на другой стороне, вроде возле лотка с цветами, среди других, спиной ко мне стоит девушка. Я её не знаю, но она чем-то дорога мне. И я её, наверное, окликнул. Она медленно оборачивается... Я так счастлив, как бывают только во сне. Как будто я сделал очень важный выбор. Улица полна звуков, откуда-то звучит эта самая песня, людской гомон, звонок трамвая... И крик той девушки, что оглянулась. Что скажете, сны — не доказывают ли они, по-вашему, многовариантность нашей жизни?

— Не знаю, мне часто снятся кошмары, а такие варианты не могут нравиться. Простите за нетактичный вопрос, но вы помните свою настоящую смерть?

— Хм-м, вопрос-то, как я понимаю, насущный. — Владимир помолчал. — Я в затруднении.

Кажется, мне приходилось умирать не один раз, чтобы начать с той же цифры в другом месте. Начал я с того, что умер новорождённым. Меня выбросили в мусор. Вы считаете, смерть достойна нашей памяти?

— Может, и нет, но мне очень хочется узнать, как я умер. Я не помню, на что потратил жизнь, и не помню, как она закончилась. Теперь я не знаю, зачем я и где. Вы меня понимаете?

— Да.

Мы помолчали в унисон. Я вспомнил о Несравненной.

— Владимир, вы знакомы с Несравненной? — спросил я. — Вы назвали её по имени.

— Кармина. Её имя — Кармина. Да, я знаком с ней. Иногда она поёт для меня. Она, как бы сказать, чтоб не ляпнуть красоту? Никак ведь не скажешь иначе... Она — словно душа песни. Она поёт всегда, для всего и всех, и даже ни для кого. Воплощённая песня. Она, кстати, тоже не помнит другой своей жизни. Иногда говорит, что у неё был любовник и была дочь, но, похоже, сама в этом сомневается. Впрочем, у неё совершенно точно была прежняя жизнь. И в ней Кармина не была паинькой. Водку она умеет пить с отменным вкусом и удовольствием. А уж как умеет ругаться.

— Я слышал её в музее. Она много пела. Но одна вещь особенно поразила меня. Её будто бы написала маленькая девочка — ангелочек. Эта девочка собиралась погибнуть, чтобы не воплотиться ни во что.

— Вы говорите про Анжелкину песню?

— Анжелкину? Моей белокурой Анжелки? Не может быть.

— Почему не может?

Владимир встал, включил проигрыватель, положил на него виниловый диск. Ш-ш-ш, и детский голосок, такой тонкий, что страшно (вдруг разобьётся?), запел: «Когда-нибудь я стану эхом...»

— Анжелка, — узнал я.

Тогда Владимир сказал, что, как видно, фрукты-то мы одного сорта и надо нам как-нибудь собраться и отпраздновать встречу.

— И хранителя своего пригласите, у вас ведь наверняка есть хранитель, это самое ценное, что у нас здесь вообще есть.

Радио неожиданно проснулось и возвестило голосом Кеши Вирсавина, что, по прогнозам синоптиков, Океан пройдёт мимо Города. Он так и сказал: «Синоптики считают, что блуждающий Океан лишь вскользь коснётся северной части Города. Но затопит разве цокольные этажи». Невыносимо свистела «с» и все шипящие. Из этого свиста следовало, что беспокоиться не о чем. Не о чем беспокоиться жителям западной части, восточной части, центральной части и, самое главное, южной части Города. Про «жителей» Кеша сказал или уже я? Неважно. Я готов был обрадоваться по Кешиней команде. Владимир остановил меня, чуть не придержал за рукав:

— Убить неуютное настоящее — разве не ради этого люди врут? Вы боитесь утонуть?

— Утонуть мне не придётся. Но Океан такой большой...

— Неужели страшно?

— Вы меня поймали. Была не была, пусть топит!

Я потянулся в кресле. Если бы здесь было время, то вышло бы, что мы просидели всю ночь. Но за окном по-прежнему было темно. Чай остывал уже много раз. Мне пора было собираться.

— Будем друзьями? — Владимир протянул руку.

Я легонько ударил его в ладонь — будем.

Этажом ниже, в моей квартире, сидела Анжелка.

— Владлена считает, что ты тоже должен со мной водиться, не против?

— Совсем наоборот. Ты не скучала?

Анжелка никогда не скучала. Она стала у меня частой гостьей. Иногда её забирала Валерия, иногда Владлена (она ни разу с тех пор не явилась в музей, не напомнила мне о спиритическом сеансе и не пыталась меня поцеловать).

Владлена и Валерия — родные сестры Анжелки. Валерия — хранитель Владимира, когда-то она родилась мёртвой. Она курит, красит волосы в чёрный цвет и ищет выход в восточных сказках. Ещё она замужем за неким Юрием Валерьевичем, о котором говорят, что он космонавт, и которому принадлежит гангстерский автомобиль. Но из перетасовок трёх сестёр и автомобиля я понял, что фактически замужем за космонавтом всё-таки Владлена. Владлена родилась живой. По меркам, которые не имеют здесь никакой силы, она младше Анжелки на 9 лет, значит, настолько же младше меня. По виду этого и предположить невозможно. Она говорит, это оттого, что я не жил, а спал. Владлена и Валерия соблюдают молчаливое мирное соглашение. Не говоря друг другу ни слова, они делят на паритетных началах мужа-космонавта, его машину, мою квартиру, Анжелку и весь остальной безлунный мир.

Я приходил в музей, когда мне того хотелось, и всегда оказывался там кстати. Спаситель оставлял мне еду на полке в шифоньере, в той самой заставленной мебелью комнате. Как-то раз случилось мне заговорить об оплате и рассердить гневливого спасителя. Он не уставал придумывать для меня всяческие взыскания. Например, за то, что я пускаю посетителей. Зато Маркуша был мне благодарен и предложил взять себе какие-нибудь его картины. Я взял «Грех». А он ещё извинялся, что скоро светящегося человека смоет Океан. Он часто заскакивал в музей в своём растянутом свитере и плаще без пуговиц. Заскакивал, просто чтобы поболтать со мной.

— Моя выставка, — говорил Маркуша, — это не этап, это итог. Океан смоет меня совсем. Перед открытием я думал, что выставка — эксгибиционизм души. Мы все были во фраках. Но я поначалу чувствовал себя не то что голым, а просто без кожи. Но все веселились на моих поминках, и мне стало легче. Банкет хороший получился, да? А после в полутёмном зале стало вдруг так жалко... Так нестерпимо жалко, что всё исполнилось. Сколько, мне казалось, меня было! И вот я весь. И ничего уже не переделаешь. И не добавишь...

Маркуша молчал, ходил потерянный от холста к холсту. И, подойдя ко мне вплотную:

— Если кто-нибудь захочет взять мою картину — пусть берёт.

Я повторял это каждому проходящему. Спаситель обещал меня уволить, но всё забывал.

Как-то Маркуша приволок труп чайки, бросил его на стол в комнате, заставленной мебелью, и рисовал тонким углем: грязные намокшие перья, окоченевшие перепончатые лапы и пустой водянистый взгляд. Рисовал прямо в пасть Океана. В зале уже взбух паркет и покрылся известковыми хлопьями, летящими с потолка и стен. Рыжая собака, очень грустная, а поэтому не прельстившая никого, выплакала глаза морской водой. Она умирала — я видел это. Откуда здесь столько смерти? Ангел не мог мне ответить. Он вообще только изредка справлялся обо мне. Какая-то скотина драла ковры и книги в моём доме и гадила по углам. Анжелка говорила, что весело играет с этим животным, ласково называла его Скотта и не верила или назло мне говорила, что не верит, будто я его не вижу. В нашем с Владимиром подъезде не прекращалась стрельба. Океан неотвратимо надвигался на Город.

Как-то, вернувшись из музея, я нашёл дверь в свою квартиру открытой. В гостиной Валерия читала Анжелке, а та лежала на диване, закутанная в плед. Увидев меня, она приложила палец к губам. Я прислонился к косяку и тоже стал слушать:

«...братья разъехались кто куда. Сы Пу Мин просил смилостивиться над ним. Владыка увещевал его:

— Вас смущает, что здесь подземный мир. А между тем у вас будет щедрое жалованье и вы ни в чём не будете нуждаться. Ваше довольствие, наряды и выезд будут такими, о которых при жизни вы не могли бы и мечтать.

И вновь Сы Пу Мин настоятельно просил, лил слёзы и отбивал поклоны.

— Я не буду вас неволить, — наконец молвил владыка. — Достоин сожаления, что вы не пошли навстречу нашим желаниям.

Тотчас он взял со стола свиток с записями гражданских дел и сделал в нём соответствующую пометку. Сы Пу Мин стал благодарить владыку за оказанную милость, а тот предложил напоследок:

— А не угодно ли вам, сударь, проявить заботу об умерших прежде вас родственниках?»

Валерия прервала чтение, повернулась ко мне:

— Как похоже, не правда ли?

— Что было дальше? — капризно спросила Анжелка.

«С Сы Пу Мином послали провожатого, и тот повёл его к городской стене. Ворота города были воротами тюрьмы. Сы Пу Мин и провожатый вошли в город и пошли по улице. Дома стояли вплотную друг к другу. Они вошли в последний. Там Сы Пу Мин увидел девушку и узнал в ней свою сестру. Сестра тоже узнала его, стала плакать и жаловаться...»

Раздался звонок в дверь. Явилась Владлена. Она принесла бумажный пакет с бутербродами. Чтение было забыто. Мы с ней пододвинули стулья к дивану, уселись в кружок все вчетвером и стали есть бутерброды, запивая водой из литровой бутылки, передаваемой по кругу. Я спросил у Анжелки, с чего началась эта история, которую они тут читали.

— Сы Пу Мин заболел и умер, — ответила Анжелка.

У Валерии я спросил, чем эта история закончилась.

— Он ожил, потому что у него оставались недоделанные дела. Он доделал их и умер снова.

«Разве так бывает?» — подумал я и откусил от своего бутерброда. Было слышно, как мы жуем, как булькает в бутылке вода и как падает, глухо ударяя в толстый ковёр, отсыревшая лепнина с потолка в кабинете. Владлена так и не сказала ни слова.

Кеша Вирсавин не заходил ко мне после того, как возле моей двери ему попала в голову самопальная бомба. Бомба не взорвалась, но шишку набила. Но это я узнал уже не от него. От него я узнал только, что утешительные прогнозы синоптиков он придумал сам. Ему было невыносимо смотреть, как люди сходят с ума от страха. Они думают, что Океан зальёт Город, и они не смогут дышать, забыв, что дышать им уже не обязательно.

Мы собрались у Владимира, потому что у меня было ровно настолько же опасно, но в моей квартире Океан уже смыл ковры, а этажом выше всё оставалось по-прежнему. Только сумасшедшая чайка, ударившись в стекло, проделала кривую трещину.

Мы с Владимиром сидели напротив друг друга. Слева от меня Валерия. Слева от Владимира Маркуша, в честь праздника надевший рубаху. Вихры на двух его макушках торчали рожками. Следующей за Валерией сидела Анжелка, следовательно, от Владимира по правую руку. Следующим за Маркушей — Ангел, значит, справа от меня. Мы сидели за круглым столом и предавались воспоминаниям. Владимир утверждал, что помнит звёздное небо. Точь-в-точь таким, каким видишь его в первый и последний раз со дна мусорного бака. Анжелка не верила. Она сказала, что Владимир придумал звёздное небо. А Маркуша, напротив, говорил, что по описанию узнал все созвездия Северного полушария. Потом он почему-то вспомнил, как жалел свои зубы, пока их выбивали о край унитаза в армейской уборной. Он тогда ещё надеялся выйти оттуда живым. Анжелка сказала Маркуше, что, пусть все его картины смоев Океан, он их всё же написал. Ради этого стоило попасть сюда. Сказала: здорово, что все мы здесь, хотя и очень больно.

И я почувствовал, что всем действительно больно. Больно всё время. Привычно. Но нет-нет и ещё чуть больнее становится, вот и вспомнишь про надоевшую душевную мигрень. Владлена говорила, что я не жил, а спал. Но спал-то я с открытыми глазами. Я помню, как от пощёчины люди могут не чувствовать ничего, кроме прикосновения к щеке. Здесь воздух взрезал лёгкие, от боли становясь горячим.

Анжелка рассказала, как ждала моего прихода в больницу. Всё так просто. Я должен был прийти. Если не в больницу, то на могилу. Она грустно, без упрёка посмотрела на меня. Я посмотрел на неё: сколько раз вообще я не пришёл, не ответил, не...

Я рассказал совсем другую историю. О том, как стоял на краю крыши, но не сделал шаг. Я думал тогда о той, единственной, и мне было почти так же больно, как сейчас. Я думал, что не смогу пожелать и сотой доли этого даже заклятому врагу, даже дьяволу... Слева от меня вздрогнула Валерия, справа — Ангел. Я и сам вздрогнул, невпопад сказал:

— Клеветнику.

— Оклеветанному, — тихо поправила меня Валерия.

Я перехватил её нежный, материнский взгляд, обращённый к Владимиру.

— А потом, — закончил за меня Ангел, — она вышла замуж за другого, родила ребёнка, стала дородной, непохожей на себя, так?

— Не знаю. Но мне всё равно. И тогда, на крыше, мне было всё равно, что будет с ней. И я не

сделал шаг, но это не важно.

Валерии нечего было рассказать, и все продолжали смотреть на меня. Потух свет (это случилось всё чаще и чаще: чайки обрывали провода), я говорил в темноте:

— Никогда я не хотел бы стать причиной такой же боли для другого, какую пережил сам.

Свет вдруг включился. Неожиданно озарённые лица были грустны, как у святых мучеников. Мы переглянулись и засмеялись.

— Это экзистенциальная боль, — смеясь сказала Анжелка.

И я снова порадовался её манере изъясняться. Внешне она всё-таки оставалась девятилетней девочкой.

— Я мыслю, следовательно, существую. А это значит, что больно дышать, смотреть, ходить... Попробуй морфий.

Внизу загрохотало. Похоже, в моей квартире выломали дверь. Мы снова засмеялись: как ловко вышло, что им и в этот раз не в кого стрелять.

— Послушай, — Ангел взял меня за плечо, — а если бы к тебе обратились, скажем, так: удели-ка мне немного из своей вечности, а то мне больно. Ты бы согласился?

Я ответил, потом задумался.

— Ну и напрасно, — пробормотал Ангел.

Отчаянная чайка разбилась о стекло. Окровавленные осколки посыпались в Океан, чтобы отмыться в нём до прозрачности. А мы сидели и смеялись.

Последнее, что я успел сделать, это спуститься к себе, достать из ящика стола тетрадный линованный листок, зачеркнуть «Здравствуй» и написать:

Анжела, ты не умерла, потому что я не видел тебя мёртвой. Ты не изменилась, потому что моя память сохранила твой образ. Ты повзрослела, потому что жила в моих мыслях. Сейчас я понял это и благодарен тебе за то, что ты всегда была со мной.

Вечно твой одноклассник, Лёша Лазарев

Я сложил из письма самолётик и запустил его в белую мглу за окном.

Потом мы с Владимиром шагали через площадь, а худая чёрная тень выслеживала нас, и назойливо целилась из пистолета, и забавляла нас своими ужимками. Тень бежала вокруг на полусогнутых ногах, выстрелы напоминали о новогодних хлопушках. Тень обогнала нас. Владимир чуть не стукнулся лбом в дуло пистолета. Хлоп!

Он лежит на краю лужи в хлопьях грязного снега. Его невидящие глаза становятся прозрачными, как раух-топазы, а в середине лба зияет ещё один зрачок. Зрачок нацелен вслед пропавшей тени. Я стою рядом на коленях. Держу Владимира за ещё тёплые руки, а он тает. Как кусочек сахара.

Я лечу над ступенями:



— Владлена, помоги мне, он исчезнет...

Владлена прыгает и хлопает в ладоши:

— Как хорошо! Есть справедливость! Есть справедливость!

Снова я бегу через площадь, бегу мимо белого пальто, сползающего пеной в мутную лужу. Я бегу в музей. Кто-нибудь, помогите мне: я лежу в хлопьях грязного снега посреди площади и не вижу неба. Спаситель выходит из музея. Я в отчаянии кричу ему, что это я, что нужна помощь. Он суетливо оглядывается и поспешно сворачивает за угол. Я, не понимая зачем, бросаюсь в погоню за ним. Мы бежим, путаясь в закоулках, разбивая тонкий лёд на лужах, вздымая холодные брызги, оскальзываясь, трудно дыша. Я кричу. Чайки кричат над домами, бьют стёкла, рвут провода, падают замертво. Спаситель бежит, нелепо подбрасывая вверх коленки, и постоянно оглядывается на меня. Вдруг он пропадает в тумане, и тогда я стараюсь бежать быстрее, ориентируясь на топот его ботинок. Я не упускаю его, но догнать всё равно не могу.

И я остановился. Отдышался и побрёл неизвестно куда, натыкаясь на дома, спотыкаясь о мёртвых птиц. В лужах искрят синим светом оборванные провода. Влага мелкими каплями оседает на лицо. Я иду и иду. Я не знаю, где я. Я заблудился.

## Часть II

Что было вначале: радио или небо в окне? Вначале было небо. Посветлевшее грязно-серое небо, переплетённое в окно. Потом было радио — звук. Потом возник потолок. Потом стало — я есть. Кто? Где?

Я лежу на высокой жёсткой кровати, на снежно-белых, хрустящих от крахмала простынях...

Ангел пришёл ко мне в больницу и сознался, что сам сбил меня машиной. Меня приняли за Владимира. Ангел сел в гангстерский автомобиль. На заднем сиденье рыдала Валерия. Автомобиль чёрной акулой устремился между домов. Я стоял в луже Океана, над трупом чайки, в кругу чёрных теней. Им надо было видеть меня поверженным. Ангел разорвал круг, взял меня на мушку металлического плавника на капоте и, повалив навзничь, пропустил между колёс. Мы с мёртвой чайкой лежали в луже валетом и бессмысленно таращились вверх. Через квартал Ангел развернулся и снова въехал на площадь. Валерия перестала рыдать. Они вместе с Ангелом втащили меня в красную пасть автомобиля.

Когда они за мной вернулись, на площади никого не было. Только я и мёртвая птица. Она, наверное, до сих пор там.

Я выслушал Ангела и уснул.

— Может быть, я не умирал никогда, просто летаргия... Когда-нибудь я проснусь.

— Знаешь, как это называется? Надежда. Конец настоящего. Грёза, бред, болезнь...

Валерия остриглась наголо и купила билет на пароход. Она выбрала буддийский Китай.

Мне трудно давалось различать границы сна и яви. В больнице я попробовал морфий и валялся в плену душных фантазий, тяжёлого сна. Ничем это не легче настоящего.

— О, Господи, — прошептал я.

— Ты веришь в Бога?

— А ты нет?

Что можно вычитать в зеленовато-серой мути за окном? Даже если смотреть на неё вечность?

— Но кто-то же всё это сделал? Ведь не мы с тобой?

— Мы с тобой. Больше никому.

«Город лёг в дрейф, — сказало радио. — Трансгрессия Океана успешно завершилась».

Океан накрыл Город и выдрал его из земли вместе с подземными коммуникациями, которые теперь назывались подводными. И радио сообщало, что начались подготовительные работы к первому тимбированию этих подводных коммуникаций. Аварийная осадка почти полностью ликвидирована, брекватеры установлены. Килем выбран самый крупный, некогда подземный, склад. Сублиторали вокруг Города больше нет. В пригородах устанавливаются понтоны и леера. Налаживается люминофорное освещение. Город скоро будет полностью отакелажен. Почему на весь сумеречный Город не нашлось ни одного моряка, чтобы запретить им пороть этот бред? И интересно, сколько градусов долготы и сколько широты там, где пересекаются параллели: я и реальность. Я просыпаюсь один и засыпаю вновь, и зову Ангела. И он входит сквозь дверь: дымчатые глаза, светлые пряди разбиваются о волнорез обнажённого плеча, на нём чёрная бабочка.

— Пресветлый Ангел, есть ли якорная цепь крепче человеческой любви, не дающей нам умереть после смерти?

— Память, мой друг, память, — отвечает Анжелка.

Когда Валерия отплывала в Китай, голова её уже покрылась золотистым пухом. Куда же делась Анжелка? Неужели Валерия взяла её с собой? А Маркуша? Океан смыл его «Грех». Целомудренный холст в золочёной раме висит где-то там, над моей пустой кроватью, а мимо проплывают стулья. Неужели Анжелку, и рыдающую хранительницу оклеветанного Владимира, и Маркушу, убитого в армейской уборной, Океан смыл навсегда?

— Настоящее бессильно перед прошлым, — говорит мне Ангел, — то, что сделано, не сделаешь во второй раз.

— Это всё категории времени, — тихо возражаю я, — а времени здесь нет, значит, не может быть и настоящего с прошлым.

— Или это не категории времени, ты подумай как следует.

На лице моего Ангела бледные веснушки, и от него едва уловимо пахнет кардамоном, а в другой раз лимоном, а ещё гвоздикой.

— Скотти пропал, — говорит мне Ангел.

Он приносит показать морской бинокль. Я живу на последнем этаже. Если встать у окна и приложить бинокль к глазам, то можно представить, что видишь горизонт.

Мне снится, что мы ходим в резиновых сапогах по размытому пустырю. Океан — что лохань с водой после большой стирки. Грязная пена стекает плевками с голенищ. Мы говорим, говорим, говорим о чём-то важном. И договариваемся. Я просыпаюсь и не помню, о чём.

В моей квартире нет ковров и мягких кресел. В ванной висит небольшое круглое зеркало. На окнах куцые бесцветные занавески. Над моей кроватью чистый холст в золочёной раме. На дощатом полу годовые кольца соляных разводов.

Покинув больницу, я остался лежачим бездельником. Укладывал книги стопками у кровати, рядом с чайником ставил стакан. Заваливался на кровать и начинал с верхней. Дочитав, я метко отправлял книгу в форточку. Книга взмахивала страницами и улетала на волю, окольцованная моей памятью. Я брался за следующую, открывал на том месте, где когда-то закончил её чтение, дочитывал до конца, пил воду, изредка поглаживал корешок на прощание и отпускал её вслед за предыдущей. Книга разворачивалась, ловила воздушный поток и уносилась прочь. Они-то, оказывается, были живыми. А вот я оставался мёртвым.

За этими занятиями я не заметил, когда начала приходить ко мне улыбающаяся девушка и когда перестала уходить. Вода больше не иссякала в моём чайнике, а обнаружив возле кровати наполненную тарелку, я по привычке стаскал всё, что на ней было, в рот. Когда же я наконец заметил, что вокруг меня кто-то ходит, хлопчет и хохочет себе под нос? Вероятно, я пошёл в кабинет за следующей стопкой книг. А она встала на пути и улыбается. Я подумал — немая. Оказалось, она говорит по-французски. И не только. Подражая чужим голосам, она без слов рассказала мне, как мы виделись в музее. Правда, ей пришлось кивать на чистый холст, и взбираться на воображаемый подиум, и оборачиваться на меня, улыбаясь. Её имя — Нинет Нида. Она давно рядом. Она решила заботиться обо мне. Ну и пусть.

Я пожаловался Ангелу на скуку.

Я выходил бродить по Городу, увидел, что ветер разогнал туман, а Океан нанёс на улицы много хлама. И везде следы разрушений. Я хотел добраться до Океана, но никак не мог. Полузатопленный Город. Редкие прохожие в высоких сапогах. Полумгла. Запах гниения. Бесконечный Город.

На маленькой площади среди перевернутых скамеек я различил высоченного человека: памятник. Он стоял без постамента, заложив руки за спину, и смотрел в темноту. Ноги его утопали в воде. Пробыльвав к нему, я встал рядом, но не достал памятнику и до груди. Мы постояли молча, посозерцали ничто.

— Кто ты? От какого вдохновения ты сначала не мог умереть, а теперь не можешь быть забыт? И каково это — навечно утратить небытие? И видишь ли ты предел Города? Ведь если у Города нет предела, то не может быть ни Китая, ни даже Океана. В самом устройстве этого мира есть какая-то ошибка, а?

Памятник на этот раз мне ничего не ответил.

Дома меня ждал Кеша Вирсавин. Он собирал полотна Марка, не до конца смытые Океаном, и пришёл посмотреть мой «Грех». Нинет его чем-то кормила. Он пытался щебетать с ней. Но до чего же он изменился! Ссутулился, поплёк.

— Я теперь главный музейщик, — сказал он мне. — Я собираю выставку «Конец реальности». Останки вещей, обглоданные Океаном. Хожу среди них и вдруг понимаю: они другие, бесполезные, испорченные, но они реальны. А реальность-то заканчивается там, где начинается её восприятие. Что же после? Чувственно-интеллектуальный мир — каждому свой. Мы все одиноки, как чучела чаек, набитые пережитым. Трухой памяти, вчерашним счастьем. А вечное искусство — капкан на мгновение. Оно ловит мгновение, но потом умирает само. Понимаешь? Смытый холст, он как человеческий череп. Ты ведь помнишь, что было на твоей картине? И я помню. Но наша память превратится в труху. Так где же оно — Вечное? Его нет. Больше того, мы помним с тобой совсем разные картины. «Грех» Марка, твой «Грех», мой «Грех» — всё это не одно и то же. Вот — Конец Реальности.

— Ты, наверное, прав, — сказал я Кеше, — но «Грех» я тебе не отдам. Пусть другие, как хотят, находят свой Конец Реальности. Моя Реальность ещё не закончилась.

Кеша не обиделся. Он рассеянно улыбнулся: так ты тоже считаешь, что всё напрасно? Посидел ещё немного, вежливо простился и ушёл. Он потерял одни иллюзии и выстраивал новые. Мне было жаль его, но я ему не помощник. Мы с Нинет остались наедине, и она принялась заботиться обо мне. Она стала уже так привычна... Я не удивлюсь, когда однажды обнаружу её в своей постели. Может быть, это и называется: уделить немного вечности? Я ничего не знаю о ней, она — обо мне. Наверное, прибор принёс её.

Пришёл ко мне Ангел и спросил: ну что тебе стоит полюбить её, если ты такой добрый, а она маленькая, беззащитная и милая, как котёнок? К тому же душу надо истратить. Тебе важен конечный результат, не так ли? Тогда не плевать — на кого и на что? Нет, Ангел, не плевать. И я не добрый. Я такой же ни нет, ни да, как Нинет. Ни рыба, ни чайка; ни суша, ни море. Ни тьма, ни свет, продолжил Ангел, и мы поиграли ещё в эту игру. Нинет принесла чаю и присела попопотать с нами. Хранитель послушал и согласился: не люби.

Вышло так, что мы здорово поладили с Ангелом. Он часто заходил и как-то принёс мне радио. И теперь я не только спал, гулял, отпускал книги на волю, но и слушал сводки погоды, которая не менялась. И ещё про альмукуантарат, шпангоуты, футшток, лаглинь, про сулой и льяло.

Я спросил у Ангела, за что он не любит Кешу Вирсавина. Он ответил, что Кеша — светский прихлебатель и лжец. Но он же не из корысти. Тем глупее. Но он же хочет как лучше. Тем опаснее. Ангел, а ведь вы были с ним друзьями? Ангел смолкает.

В другой комнате детский голос читает. Слышно, как он разбирает слова, сбивается, начинает снова. Я подхожу к двери, берусь за ручку, приоткрываю... Как можно читать в такой темноте?

...наедине с собой...

Узнай себя в далёком ветре, волне, сухом цветке. Душа вечно умирает и не-уста-нно рож... рождает... рождает-ся. Чувствуешь, как пахнет вечность? как бесконечность преломляется через хрусталик глаза? как сознание затягивается в перспективу отражений?...

Ни один ребёнок, кроме Анжелки, не смог бы читать этого. Я открыл дверь. Пусто. Анжелкин голос продолжает из следующей комнаты. Уже не сбиваясь:

Восприятие — это огранка реальности.

Где-то в глубине тебя спит солнце, которое вдруг сверкнёт на грани между живым и вечным, и ты прозреешь, чтобы в единый миг увидеть всё, понять, принять, стать всем...

Я открыл дверь: Анжелка!

Тёмная комната пуста.

И всё будет тобой, — предрёк голос за следующей дверью.

Я вошёл. Возле стола, при свете керосиновой лампы, в высоком жёстком кресле спал Ангел, держа перед собой развёрнутую газету.

Мы неразлучны с моим Ангелом. На горе Нинет и всему сумеречному Городу — два бесшабашных смутьяна. Вот Ангел прижимает палец к губам и разыгрывает пантомиму, как мы с ним подходим на цыпочках к двери, неслышно закрываем её за собой и спускаемся по лестнице; как Нинет не находит нас и плачет по-французски. Нинет в облике Ангела похожа на Пьеро, и я смеюсь: весёлый всё же у меня агент.

Беззвучно поаплодировав Ангелу, я первый направился к двери. Он последовал за мной на цыпочках, с деланным ужасом озираясь. Со всевозможной тщательностью мы затворили дверь и побежали по лестнице. Придерживать дверь подъезда не было уже нужды и возможности. Мы смеялись как сумасшедшие. «Почему мы не познакомились при жизни?» — спросил я Ангела. Он пожал плечом: «Ты лучше спроси, зачем мы вообще толклись в том мире, вместо того чтобы сразу попасть сюда. Ведь мы ничего там не сделали. Всё доделываем здесь». И мы почти в обнимку, как подгулявшие студенты, отправились в кабак.

Там веселилась Несравненная. Увидев нас, она помахала рукой, отколола бутоньерку от лифа и кинула мне. Я поймал мак, смяв большие тонкие лепестки, поднёс к губам и чуть не вскрикнул: он настоящий... «У неё всё настоящее», — уверил меня Ангел. Несравненная подошла к нашему столику, сказала: «Ребята, заберите меня отсюда, они меня замучат». «Пойдём», — согласился Ангел. Кармина обрадовалась, быстро сняла юбку, под которой оказались джинсы, заправленные в резиновые сапоги. Она бросила юбку на стол, и под недовольное улюлюканье мы вышли из кабачка. Я решил показать Кармине памятник. И мы пошли туда, ступая огромными сапогами по воде. А сверху пошёл снег, и от этого казалось светлее.

На площади у памятника стояла девочка с поломанной шарманкой. Она крутила ручку: ш-ш-ш... и молчание. Потом смотрела вместе с памятником вдаль и снова крутила ручку: ш-ш-ш... Кармина монотонно, в ритме шаркающей ручки, тонким голосом запела:

Случилось так, как бывало прежде:

Двум сердцам вдруг единым быть...

Прильнули друг к другу в напрасной надежде

Свою жажду в другом утолить.

Девочка обрадовалась, закрутила ручку быстрее. И Кармина запела быстрее.

Не сказано было, ни слова всуе,

Лишь одно: «Мне не надо чужого».

Больно ранившись поцелуем,  
Оттолкнулись один от другого.

Пластинка заела на слове «нет».

Я клянусь, мы ошиблись бы, если  
На двоих поделили бы белый свет...  
Но из нас получилась песня.

Девочка смеялась, и крутила ручку, и гладила шарманку, что так дивно поёт. И вдруг отпустила ручку и захлопала в ладоши. А Кармина продолжала. И девочка вдруг поняла, что её дурачат. В сердцах выбросила она шарманку в воду, плюнула вслед и ушла. А мы остались стоять. Кармина не пела.

— Кто тебе рассказал?

— Никто мне ничего не рассказывает. Я всё чувствую. Как ты чувствуешь дождь и темноту, понимаешь?

— Но слова — те самые...

— В меру пошлые слова для шарманочного мотива. Но я пою все песни, которые слышу. Я есть, пока пою. А если вдруг я не услышу или мой голос дрогнет — меня уже не будет. — Несравненная вдруг рассмеялась и крикнула: — Айда на край мира!

— А он есть?

— Есть. Надо только не сворачивая идти на далёкий звук.

И мы пошли. И дошли до края.

Дорога спускалась в Океан. Он выкладывал её ракушками, наползал на неё, просачиваясь в Город. Выедал фундамент у пакгауза, хотел сожрать нашу провизию.

Я протопал по дороге прямо в Океан, докуда хватило высоты сапог и дальше. И стоял в холодной грязной воде до судорог. Имея большую склонность к сумасшедшим выходкам, Несравненная спустилась ко мне. Ангел кричал нам с берега, что мы простудимся. А Кармина кричала, подражая птицам, пока вконец не охрипла и не оглохла, как Океан.

Мы вышли из воды рука в руке. Терпеливо выслушивали упрёки Ангела и выливали Океан из сапог. И тихонько поплелись прочь. Мечта сбылась — я вышел к границе Океана и... не увидел ничего.

Потом Ангел отпаивал нас грогом в каком-то притоне и смешивал для Несравненной гоголь-моголь. Несравненная протянула мне недопитый бокал:

— Будешь, Владимир?

— Я не Владимир.

— Ты точно знаешь? Ха-ха-ха, а кто ты? Будешь?

Я взял бокал из рук Несравненной.

— Ты хорошо его знала?

— Пей, пей.

— Ты хорошо знала Владимира?

— Он противный, как ты. И в нём ни капли лукавства, правда же, сумасшедшие идеи — вот и всё. Ха-ха-ха, как смешно, он рассуждал, в чём суть клеветы, и ошибся, бедняжка.

Ангел подал Несравненной другой бокал и подсел ко мне ближе.

— Я тоже был на той лекции, — сказал он, наклонившись к моему уху. — Владимир Николаевич читал публичные лекции по философии, одно время они стали популярны. Только выяснилось, что никто его не понимал. Он говорил, что философия — это припираание себя к стенке, это один на один, это когда нельзя ответить: я, как все, или я поступаю так, ибо это верно, а верно, ибо написано. Чтобы узнать себя, выходило, надо ошибиться. Ну вот, собственно, он — ошибся...

— Владимир думал, что сознание это и есть бытие, — вдруг сказал я.

— Да, да, — подхватил Ангел, — и коль скоро оно субъективно — оно ошибочно, а объективного просто нет. Суть бытия — творчество. Неизбежное, стихийное. Само рождение — созидательный творческий акт, и достойная причина для дальнейшего существования, и, что удивительнее всего, начальная ступень к абсолютной смерти демиурга, которая будет апофеозом творческой воли...

Язык Ангела заплетался, мысль терялась за словами. Мешал постоянный шум, далёкая ругань. И то, что руки прилипали к столу. В голове туманилось.

— А ещё, — вмешалась Несравненная, — он уверял, что если говорить честно, всё, как думаешь и чувствуешь, как я пою, то выходит, это уже и не правда вовсе. Правда, смешно?

Мы стали совсем пьяны. Несравненная склоняла голову на любое подвернувшееся плечо, капризничала и бросала на меня жаркие взгляды. Наверное, от них у меня поднялась температура, и в полубреду я вышел на воздух. Горели мусорные баки. Огонь отражался в воде. Едко пахло дымом. Я пошёл по Городу и, само собой, снова пришёл к памятнику. Сел там на скамейке и сидел во мгле и одиночестве, пока кто-то большой и холодный не пристроился рядом.

— Почему ты не читал моих книг? — спросил меня памятник.

— А ты писал их для меня?

— Я — Ка, — сказал памятник. — То, что я написал, тебе бы понравилось.

— Не знаю. Скучно.

— А другим нравится, — оправдательно сообщил памятник.

— Скажи мне, Ка, почему ты не оставлял шанса своим героям?

— Не оставлял?

— Нет.

— А может, они сами этого не хотели?

— А если не по их воле, а по твоей? Ты ведь мог бы их спасти? Неужели тебе было их совсем не жаль?

— Жаль. Но навряд ли они нуждались в спасении.

— Всё-таки стоило попробовать, а?

— Это не было бы правдой.

— А ты назло правде. Освободи их от чужого порядка.

— Но я не знаю, как это описать.

— Что же делать?

К. побарабанил чугунными пальцами по скамейке: бом-бом-бом...

— А что, если оставить всё как есть?

— Но мне не нравится как есть.

— Ты же не читал.

— Мне не нужно читать про себя. Про себя я и так всё знаю.

— Если так, то сам и освобождайся, — заявил обидевшийся К.

— Но ты же парализовал мою волю. Ты не дал мне узнать, кто я и где. Ты лишил меня почвы под ногами и обделил любовью. Зачем?

— Не знаю. Не я придумал это. Я написал как есть. А ты зря жалуешься. У тебя ещё есть Ангел.

— Он плохо обо мне заботится.

— А ты и вовсе о нём никак не заботишься. А ведь он единственный, кто не оставит тебя. Все мы уйдём в Океан, и Океан уйдёт. Всегда с тобой пребудет только Ангел.

Я встал со скамейки и пошёл к Ангелу, и нашёл его в прежнем притоне. Лицо его с бледными веснушками утратило чёткость очертаний от духоты и грога. Он встретил меня с преувеличенной весёлостью.

— Зря ты пропустил, — сказал он, — речь Несравненной о «Душе в заветной лире». Я не люблю скабрёзностей. Но это было сильно сказано.

Несравненная снова пела. Пела на незнакомом языке, а по лицу у неё текли слёзы. Её слёзы, её голос, она сама растворялись в тусклом свете притона.

— Скажи, Ангел, — обратился я к хранителю, — кто приставил тебя ко мне?

Ангел удивился, он даже плечом пожал и руками развёл:

— Да никто не приставлял, почему ты так подумал, ну скажи, почему?

— И у тебя нет никакого начальства, и никто не просил за меня?



— Никто.

— Тогда как?...

Ангел часто заморгал, как от соринки, и не отвечал.

— А я мог бы стать хранителем? — догадываясь, спросил я.

Ангел быстро закивал. Ему, кажется, стало неловко. Он был пойман нетрезвым и не успел спрятать свои тайны. Я не хотел спрашивать, что мне нужно сделать, чтобы стать хранителем. Пусть в наших отношениях останется хоть какая-то недосказанность. Ангел подал мне кружку. Я послушно выпил, сел в углу дивана и уснул. Во сне мне было душно, тело покрывалось липкой испариной. Сквозь сон я слышал крики, хлопанье дверей. Кто-то будил меня, тёр уксусом виски. Но я был в оцепенении, и, думаю, зрачки мои не реагировали на свет. Потом всё стихло. Мне снился сон: прибор играл мёртвой птицей. Выносил её на берег, бросал там, слизывал обратно. Крылья птицы складывались и разворачивались веером, и было так светло-светло, как не бывает.

Я проснулся с тяжёлой головой. В притоне никого не было. Пахло вчерашним перегаром и настоявшимися окурками. Меня морозило. Половицы скрипели, и хрустел под ногами мелкий сор. Я ушёл оттуда.

Нинет ждала меня. Бормотала непонятные нежные упрёки. Чуть не плакала от радости. Уложила меня на кровати. Сама принесла новую порцию книг, воды и хлеба и потихоньку исчезла за дверь.

Какое оно, спасение? Хочу ли я его? Нет. Не хочу больше торчать здесь. Вымалывать снисхождения у пустоты. Допережёвывать, тратить душу ни на что... Ни на что, ради небытия... Даже шторм в аквариуме — игра воображения. И каждый просит у другого то, что другой не в силах ему дать. Все мы хаотично стекаем в никуда. Нелюбившие солнце и утратившие его навсегда. Морок и мрак... Если я сотворил это, я это и разрушу! Я вцепился в подушку и порвал ткань пальцами, и заплакал от злого бессилия. Я взбесился. Страшно, бесцельно, неостановимо. Я начал выбрасывать в окно всё, что попадалось под руку. По комнате летали перья и вылетали сквозь разбитые стёкла вслед за стульями, матрасом. Мне даже удалось выпихнуть наружу стол. Пришлось сломать раму. На шум прибежала Нинет. Я схватил её и тоже выбросил в окно. Это доставило мне особенное удовольствие. Я даже отряхнул руки. И остановился, озирая опустевшую комнату. Я чувствовал прилив сумасшедшей радости. Разбив надоевший мир, я сел на пол под окном, ласково посмотрел на чистый «Грех» и на потолок и спросил у потолка: «Ну что?»

— Вот так, аккуратней, — раздался голос Ангела из прихожей.

И стук шагов, как будто Ангел ковылял на трёх ногах. В дверном проёме они возникли вдвоём: Ангел и маленькая мокрая Нинет, повисшая на его шее. Она подогнула одну ногу и не переставала виновато улыбаться.

— Ну ты даёшь! — сказал Ангел, как будто не было вчера. Такой он снова казался самоуверенный: набриолиненная чёлка, безапелляционный тон. — Не знал, что ты умеешь скандалы закатывать.

Он покачал головой и повёл Нинет, чтобы уложить её на кровать. Ведь где-то в этом доме у Нинет была кровать.

Скоро Ангел вернулся и сообщил, что нашёл для меня работу: вычерпывать воду из затопленных подвалов Города. А мне уже стало всё равно. Я кивнул.

## Post scriptum

Когда творчество умерло, я научился просто жить. Каждый раз я просыпался с чувством предрассвета, умывался пресной водой из бочки под водопроводной трубой, обходил обрывок Города, доставшийся мне на попечение. Каждый раз, как первый, как последний...

Океан разорвал Город на части, словно дождевого червя. Гладкая мгла вокруг пахла свежестью. Люминофорам нечего было отсвечивать, нигде ни малейшего источника света. Настал абсолютный мрак, и покой, и порядок.

Козырёк над крыльцом, две ступеньки, капель с козырька, неслышное, но осязаемое в дрожащей прохладе дыхание Ангела за плечом... Я в дверном проёме. Откуда-то детский плач. Я пошёл на далёкий звук. За мной Ангел. Только влажный шорох одежд, удаляющаяся капель и приближающийся плач свидетельствовали о нашем движении.

Так: однажды проснулся слепым. До этого вода всё поднималась из подвалов, требовалось больше рук, вёдер, насосов, всё меньше сна, меньше страха, больше уверенности в ожиданиях: с небытием лицом к лицу... Я так устал, так по-человечески устал, что не открыл глаз — взглянуть, как распадается Город. Он распался без моего участия... А твердь и хлябь, а тьма и свет воссоединились, как до начала времён, а я спал, снов не видел, открыл глаза — всё равно что не открывал. Спокойствие, как температура, поднималось во мне, как усталость, накапливалось в мышцах... За спиной молчал Ангел, и чувство равновесия не покидало меня, такого вселенского равновесия, словно я гигантская мёртвая бабочка, приколотая к Городу земной осью.

Я стукнулся о железную перегородку, провёл по шероховатой, хрупкой от ржавчины поверхности вверх, пока ладони не легли на борт мусорного бака. Там, в бездонных недрах, корчилось судорогами рыданий маленькое горячее тельце, сокращалось и вытягивалось обнажённым нервом; движения тревожили воздух; волны звуков и запахов ударяли в невидящие глаза, в уши, нос, в безмолвные губы. Я почувствовал, как Ангел перегибается, погружает в глубину руки, тянет их, тянет, касается, обхватывает, тащит сгусток захлебнувшегося плача наружу, мимо моего лица, прижимает к груди бьющуюся сущность; вскрик, всхлип, всхрип...

Я постигаю неведомое для меня доселе. Успокоенный Дух и погибшая Душа — Ангел и я — по очереди, не говоря ни слова, рассказываем Разуму, вернувшемуся к изначальной беспомощности, сказку о тонущем Городе:

Город брал курс на Запад, но Запада не было; Город растворялся в Океане, отмывался, становился гладким и маленьким. Движения Города теряли скорость и направление, сам Город терял вес, объём и плотность. Бунт не встречал сознательного сопротивления, проваливался в вязкое непонимание. Тот, кому душа хотела молиться — бесстрашный, но и беззащитный, — упал в грязь, смешался с нею и возродился по-прежнему бессильным. Той, которую душа хотела любить, никогда не было. Но был спазм вдохновения: душа молилась и любила, молится и любит, и никогда нет ей ответа, и просьба её затухает в том, что не есть ни твердь, ни хлябь, ни тьма, ни свет...

Чувствуя лёгкость падения, поднял голову (к небу):

Зарница?...

Карина Шаинян

Малина

Нашла почти целый свитер. Помнится, такие были в моде лет за пятьдесят до Пришествия — пушистая шерсть и на груди вышивка. Хороший свитер, тёплый. Была пара дырок на рукаве, заштопала, а пятна крови и мазута кое-как отмыла, не до конца, конечно, ну да кто сейчас на это смотрит. Зато вышивка сохранилась — такими ярко-малиновыми бусинами. А главное, тёплый, длинный. Хозяйева одежду дают, но жёсткую, колючую, и не греет она почти. Сейчас эту пластмассовую хламиду сниму и в свитер залезу...

Почуднее устраиваюсь на матрасе и думаю: сходить в обновке покрасоваться или перемещатель включить. Пожалуй, перемещатель. Всё равно темно на улице и смотреть некому — все по блокам сидят с перемещателями, одни Хозяева летают, а Хозяевам на то, как мы выглядим, наплевать. Слегка дёргаю себя за ухо, и перемещатель включается... \* \* \*

И вот мы раскачиваемся, озираясь, чтобы не засекали взрослые. Поймают — будут ругаться. Одного пацана вообще заставили заново вкапывать: он железяку так расшатал, что она уже падала...

Ворона с Дианкой спрыгивают с железки, а я не успеваю. В ухо впиваются горячие сухие пальцы, щёку обдаёт перегаром.

— Ой, дядь Амерхан, пусти-пустииии!

— Мммалина, — грозно рычат за спиной, — малина. Мммаме.

По газетному кульку расползаются грязно-розовые, красные, фиолетовые пятна, одуряюще пахнет солнечным садом. Дядя Амерхан, длинный и тощий, нависает над нами, покачивается, седые усы хищно шевелятся. Он запускает тёмную ладонь в кулёк и вытаскивает горсть малины. По пальцам течёт горячий сок.

Мы берём по ягоде. Юлька-Ворона давит смешок, закрываясь ладонью.

— Мммалина, — мычит дядя Амерхан, — ммаме моей малину... отнесите. Мне самому стыдно.

Мама Амерхана — крохотная сухонькая старушка, похожая на бело-голубую птицу, и голос у неё птичий. Строгое недоброе лицо и острый язык. Она редко выходит на улицу, а если уж выходит, то сразу начинает пророчить конец света. Мы её боимся и не любим. Прячем руки за спину, хихикаем, отнекиваемся, но дядя Амерхан уже всунул мне газетный кулёк, придётся идти.

Стоим под дверью, перешёптываемся, толкаем друг друга локтями. Дианка давит на кнопку звонка и, взвизгнув, бежит вниз. Юлька, покраснев, летит за ней, а я остаюсь. Хватаю ртом горячий воздух, от прижатого к груди кулька по пушистому свитеру расплываются пятна. За дверью шелестят шаги. Положить малину на коврик и убежать. Но дверь уже открывается, из тёмной прихожей тянет сладковато-прохладным, химическим.

— Опять? — сердито спрашивает старуха. Я молча киваю. — Опять? Да сколько ж ты будешь сюда ходить, бесстыжая тварь?! — старуха срывается на визг, а я, почти теряя сознание от ужаса, зажмурившись, протягиваю ей кулёк.

Мокрая газета расплзается, на порог с сухим пластмассовым треском сыплются красные бусины.

— Перестань сюда ходить, — воет старуха, — оставь меня в покое, не носи кульки эти шайтановы, уйди-и-и-и!

Я кубарем скатываюсь по лестнице, в спину мне кричат:

— Скажи, пусть домой идёт, что ж он позорит меня, пускай домой идёт...

Я отлепляю от свитера кусок газеты. В малиновом соке расплывается заголовок: «Лингвист Юлия Вороненке пытается расшифровать язык Хозяев». Вытираю о штаны ошмётки малины, смешанные с типографской краской, мимолётно жалею, что не надела лёгкую майку, — тепло всё-таки, надо же было модничать, а теперь под мышками мокро, то ли от жары, то ли от страха. Ещё раз отряхиваюсь, делаю независимое лицо и выхожу во двор.

— Я только прощения прошу, — проникновенно объясняет девчонкам алкоголик.

— Дядь Амерхан, она говорит, чтоб вы домой шли.

— Э-э-э, — он машет рукой и, ссутулившись, тяжело кренясь на бок, уходит.

Мы молчим. Юлька пинает железяку, а Дианка возит палочкой по грязи.

— Пойдёмте лучше орехи обносить.

— Я не могу со двора, мне ещё с сестрой гулять. У неё жених... — Дианка изображает презрение, и мы с Юлькой тоже. Дианкина мама отправляет её со старшей сестрой, когда та идёт на свидание. Чтоб присматривала.

— Может, в резиночку? — тоскливо предлагает Юлька.

— Она чокнутая, — говорит Юлька между прыжками.

— Нет, она ведьма, — возражает Дианка, — она моей бабушке говорила — к ней духи ходят.

— Какие, к чёрту, духи? — спрашиваю я. В животе холодно, натянутая резинка режет ноги.

— Ну... — Дианка оглядывается и продолжает шёпотом: — Души... умерших...

Юлька вертит пальцем у виска и спотыкается.

— Мне бабушка говорила, — оправдывается Дианка.

— Твоя очередь, — Юлька влезает в резиночку и убирает влажные волосы со лба, — а эта бабка просто чокнутая. И дядя Амерхан — алкаш.

— Юлька, ты кем будешь, когда вырастешь? — зачем-то спрашиваю я.

— Филологом, — гордо отвечает Ворона.

Я молчу, делаю вид, что поняла.

— А я знаю, — говорит Дианка, — это всякие иностранные языки учить.

— Вроде того, — лениво отвечает Юлька, — ты прыгай, прыгай.

Дианка прыгает. Толстая черно-рыжая коса хлопает по спине. \* \* \*

Заело. Заело перемещатель, точно. Который раз в ту же историю попадаю, надоело, ухо уже болит из-за этого алкаша. Надо на улицу сходить.

У подъезда мусорная куча, от неё тянет сладковато-прохладным, химическим. Холодный ветер гоняет обрывки газет. Раз уж вышла — посмотреть, что пишут... Давно всё ясно, было Пришествие, появились Хозяева, ну и чёрт с ними. А эти всё пишут и пишут, непонятно, где время берут, перемещателей им не выдали, что ли? «Лингвист Юлия Вороненко пытается расшифровать язык Хозяев». Знакомое имя... Охота ей возиться, кому он нужен, этот язык, если Хозяева наш знают...

Пробираюсь по тёмной улице. Ну и грязищу развели, по колено, и холодно... Сумасшедший в канаве ворочается... Бросаю газету. Неохота куда-то идти, где же Хозяева?

Из переулка вылетает пластиковая бело-голубая птица. Ну наконец-то... Хозяин зависает передо мной, из ящичка на груди металлически чирикает:

— Еды? Одежды?

— У меня перемещатель заело, — на всякий случай заискивающе улыбаюсь.

Хозяин кивает, вцепляется лапами в волосы, голову пронзает короткая боль.

— Может быть, еды? Одежда? Что-нибудь выпить?

— Нет, спасибо, — я отворачиваюсь от навязчивой птицы.

— М-м-мне выпить, — раздаётся из канавы.

— Всего хорошего, — чирикает Хозяин и зависает рядом с пьяницей.

Доносится озадаченное посвистывание. Чем-то этот алкаш Хозяина смущает...

— Перемещатель? — наконец неуверенно спрашивает птица. — Снабдить вас перемещателем?

— М-мне не надо. Мне только выпить.

С лёгким хлопком в воздухе появляется бутылка и валится в канаву. Хозяин неловко разворачивается, задевает острой кромкой крыла мой свитер и улетает. С порванной нити сыплются малиновые бусины, подскакивают с сухим треском на щербатом асфальте. Сумасшедший падает на колени, бросив бутылку, подбирает бусины сухими тёмными пальцами.

— М-м-малина-а, — мычит он, — м-м-маме... малина...

Я смотрю, как он подбирает обрывок газеты, сворачивает в кулёк, запикивает в него бусины. Мне холодно в пластиковой хламиде, перемещатель уже починен, ну его к чёрту, этого алкаша, что я здесь делаю? Домой надо идти. Отступаю, но что-то в канаве привлекает внимание. Тяну клочок пушистой светлой ткани; сзади шумно дышит бродяга, дёргает меня за рукав, о чём-то просит. Я отбрыкиваюсь, вытаскиваю из-под завалов мусора свою добычу и бегу домой.

На редкость удачный день. Перемещатель наконец-то починили, да ещё и свитер нашла. Помнится, такие были в моде лет за пятьдесят до Пришествия — пушистая шерсть и на груди вышивка бусинами и бисером. Хороший свитер, тёплый. Грязноват, но не беда, постираю. Да и кто нынче на это смотрит? Зато вышивка почти сохранилась. Сейчас переоденусь и включу перемещатель. Жёсткая ткань хламидки задевает издёрганное ухо, и я морщусь. Ну ничего, главное, перемещатель теперь не заедает.

Юрий Гордиенко

Мы нарисовали небо

Любимой книгой Шалвы была повесть «День ремесленника», рождённая ещё в конце тысячелетия согдианским поэтом Пехлеви. Он берёт страницы, как мог, оборачивал томик в пергамент, но бумага всё равно желтела со временем, а края страниц стали серыми от бесконечного перелистывания.

Других книг Шалва почти не читал. Не то чтобы ему не нравилась современная литература Побережья, но никакой «музыки» он в ней не находил.

Вообще-то музыкой Шалве заниматься было особенно и некогда. Разве в выходные. В будни он с утра растягивал мехи, наблюдая за термостатом, чтобы в горне всё время поддерживался тот «волшебный» жар, при котором рождается их знаменитый металл, лучшее железо на Побережье, слава и гордость Хеттэбета.

Ближе к полудню приходил Панкрат, сонно оглядывал заготовки, пробовал на вкус шихту, гремел щипцами, бросал в огонь ароматные травы. И настолько сильный дух шёл от них, что до заката к храму никто не подходил ближе чем на стадий. Панкрат был настоящий халкид, магистр металлов. И священное железо, и красная податливая медь, и серое олово в его расплаве становились необыкновенной чистоты. Но для этого нужен был именно тот огонь, который раздувал и поддерживал Шалва.

Впрочем, Шалве не нравилось, как называли их ремесло на Побережье — халкид. И не потому, что музыки в этом названии не было, а просто из врождённой горделивости коренного горца, который с трудом помнит язык предков, но каждый раз брезгливо морщится, когда произносит слова на всеобщем.

Хха-Ввал-Ки, «медный бог». Именно так звучало имя его рода, оно же — название родового ремесла и пароль-заклинание, в котором был сокрыт тысячелетний опыт древних металлургов. И его собственное имя, как имя братьев, отца и деда, на родном наречии звучало так же, как шипение и харканье огненного клинка, опускаемого в прозрачную родниковую воду, — кх-ха-вл-кхи. Это уже на Побережье он стал Шалвой; всеобщий язык совсем не походил на музыку.

После обеда, состоящего неизменно из лепёшек овечьего сыра и прохладного тёмного пива, Шалва бросал мехи и становился у горна. Тот самый, нужный, жар уже жил своей жизнью, не позволяя углям остывать. Иногда Шалве казалось, что в горне пляшут странные огненные человечки — вот карикатурные ножки и ручки, вот кружок головы размером с дирхем. Они танцевали в извилистом круге, переступая с ноги на ногу, и вроде бы что-то пели.

Шалва добавлял в горн шихту медленно, по кусочку, замороженно наблюдая при этом, как

человечки, один за другим, ныряют в мягкое железо. Поверхность заготовки темнела, бралась коркой, но Шалва поворачивал брусок щипцами на длинной ручке, и цвет металла снова становился ярким.

Алан и Руслан, двухметровые братья-близнецы, прозванные за глаза Молотком и Кувалдой, приходили в храм только после обеда, к моменту, когда заготовки уже рдели закатным цветом. Человечков в горне они не замечали, а над рассказами Шалвы посмеивались.

Шалва этому не удивлялся. Работа близнецов была мало связана с рождением металла. Лишь когда Шалва с Панкратом осторожно вытягивали заготовки из горна и железо, темнея на глазах, остывало, братья придавали благородному, всё ещё податливому металлу законченный вид: будь то плуг, коса, серп, клинок или подкова.

И тогда музыка становилась громче. Кроме привычного шипения, тонкого гудения пламени, сопения Панкрата, прикорнувшего в углу до следующей закладки, в храме теперь всюду звенели колокола и барабаны. У-ух! Бил молот Руслана-Кувалды, который был пошире в плечах и на добрый палец выше. Дзинь-дзинь — вторили звоночками инструменты Алана-Молотка, более проворного и ловкого.

Конечно же они любили свою работу, и не только из-за ощутимой денежной выгоды. Кузнецов на Побережье уважали. Но всё же для них это была просто работа.

А вот Шалва жил своим ремеслом, и не в смысле тех двухсот дирхемов, которые выручал за сороковню. Да, на них можно было жить безбедно, а чуть поднакопив, купить дом с участком или небольшое торговое судно. Но дело в другом. Привкус холодного железа был, казалось, ещё в молоке его матери. Для родного племени Шалвы этот металл был священным элементом жизни, символом власти человека над безумствами природы. Младший из рода просто следовал велению крови предков, несмотря на то что мир давно заполнили композиты, кремний, органика. Всё это не имело «музыки» внутри. А железо жило и дышало, и вера в него не исчезла из душ людей. Просто стала религией, традицией, не чуждой даже тем, кто давно забыл о своих корнях.

И поэтому их ремесло всё ещё имело ценность. Особенно на Побережье, где своих мастеров учить было некому. Поэтому и сходились сюда с гор, и из-за Понта, и с окрестных степей, и с загорных земель те, кому в наследство досталось ремесло, превратившееся из будничного в священное, — рождение металла. Шипение и харканье клинка, опущенного в воду.

А под вечер, когда в кадке у входа стыли закатными каплями выкованные за день предметы, приходил пятый. Имени его никто не знал, поэтому звали его просто: Пятый. Он приносил с собою ужин на пятерых, бутылку молодого вина из Картли и новую песню. Песню полагалось петь после ужина, размеренно читая слоги под внутреннюю музыку. Получалось всегда: к концу дня созвучие нот слагалось для каждого в храме в одну мелодию.

Уже после песни Панкрат доставал из своего мешочка буркун-траву из прошлогодних сборов, набивал трубку вишневого дерева, прикуривал от последнего уголька в горне и пускал трубку по кругу. И тогда усталость от проведённого дня исчезала напрочь. Каждый из Пятерых вспоминал что-то, что щемило в сердце. Шалва — дымную лачугу под скалой, храм в их деревне, где дед учил его держать пламя ровно, идеально ровно, так, будто воздух не движется нигде в обитаемом мире. Алан и Руслан, те видели бескрайнее пастбище и дудку деда Баадур, звуки которой растекались за дальние ущелья, обволакивая хребет за хребтом. Панкрат же, и без того пребывающий в вечном полусне, зрел бесконечную синь морской глади, изрезанный скалами берег и белый мрамор эллинских храмов, где под чарующую мелодию танцевали юные гречанки. И только видения Пятого оставались тайной — он был немым и не мог о них поведать.

Так проходил каждый из девяти будних дней, словно кто-то записал их на ветхую киноплёнку и крутит с утра до вечера. Выходные же Шалва, если выпадала не его очередь стоять на рынке, посвящал любимому занятию.

Получая расчёт у Панкрата каждую девятницу, Шалва шёл к духанщику и покупал у того с десяток больших листов хорошей мелованной бумаги, цветные мелки и краски. Затем он брёл в свою лачугу с низким потолком, расстилал на широкой лавке набитый соломой тюфяк, выпивал на ночь кружку козьего молока и заваливался спать. В это время Алан и Руслан добирались до ближайшего портового кабака и упивались вдрызг, тиская мощными лапами моряцких подруг (сказано ведь: девятница-развратница). Панкрат рассказывал на ночь сказку своим внукам, затем выходил посмотреть на звёзды: с возрастом его одолевала бессонница, тем более что он умудрялся выспаться днём в храме. Пятый же пропадал из Хеттэбета неведомо куда, обычно до утра.

Рано утром десятого дня, в здешних краях именуемого «шабат»... Так вот, рано утром, пока Побережье ещё видело десятые сны, а светило лишь слегка окрашивало оконечность бухты в розовые тона, Шалва прихватывал в походную котомку свёрнутые в рулон листы, краски, мелки, четверть хлеба, пару луковиц и сыр — и отправлялся прочь от моря, вверх, к пастбищам в предгорье, за дальний ручей.

Путь туда был непростым, но Шалва родился и вырос в горах, поэтому добирался до места быстро. Там, среди вздыбившихся камней прибрежного хребта, сочилась зеленью вечно молодая трава, среди которой то тут, то там вспыхивали огоньки горных цветов: синие, красные, белые, лиловые. Побережье лежало внизу узкой полоской, начинавшейся на восходе и убегавшей в закат. Хеттэбет сверху казался игрушечным. Обострённое зрение горца выхватывало из общей картины поочерёдно пристани, базар, затем перебиралось выше, к храму. Отсюда белое округлое здание с задымлённой крышей было не больше горошины или морского перла, какие часто привозили с Понта торговцы. Оно, казалось, висело, не опираясь на фундамент: светило поднималось выше, земля в долине прогревалась, и снизу колыхалось марево нагретого воздуха.

Дальше, за Побережьем, была сплошная синь, в ветреные дни подёрнутая белой рябью. Где-то там, Шалва знал об этом из рассказов бывалых моряков, лежали земли за Понтом, сказочные и далёкие. Древняя Эллада, откуда родом был Панкрат, хищная и ненасытная Порта, под чьим протекторатом находилось Побережье, и далее — Подгория, Иберия, Аскония, Шем, Галлахэдовы земли и Западные острова.

Забираясь по выходным в горы, Шалва иногда мечтал о том, что когда-нибудь накопит столько денег, что сможет нанять трёхмачтовое судно и посетить все известные страны, выведать секреты тамошних мастеров, чтобы затем вернуться и создать чудесный металл невиданной чистоты, сочетающий в себе свойства всех сразу. Он должен быть текучим, как ртуть; холодным и твёрдым, как железо; блестящим, как золото; податливым, как медь, и незаметным, как олово. Такой металл нельзя будет продать, им будут украшать храмы, он будет жить собственной жизнью.

А пока Шалва садился на плоский нагретый камень у ручья, раскладывал краски и мелки, брал лист бумаги и рисовал. Иногда это были холодные мгlistые горы его родины, иногда — окружающий пейзаж с овцами на лугу или дымные припортовые лачуги Хеттэбета. Задумавшись о странах за Понтом, Шалва пытался изобразить их на холсте, причём сначала рисовал море, корабли на нём, паруса, полные ветра. Затем возникали краски, краски, краски... Невообразимое кружение красок в карнавальном пляске.

Если смешать сок чистотела с хорошо прокалённой охрой, получалось нарисовать горн, и волшебный огонь, и металл в нём. Было это обычно пополудни, когда Шалва уже настолько увлекался рисованием, что забывал про обед, про чистую прохладную воду из ручья, лишь



изредка облизывая шершавым языком потрескавшиеся губы. А в пламени, как и в том, настоящем, горне, что в храме, неистово плясали человечки, круг за кругом, ныряя затем поочередно в огонь вокруг рдевшей алым заготовки.

Приходил он в себя, когда тени ровными полосками ложились на луг, а светило клонилось к закатной оконечности бухты. Картина получалась отменной, словно живой. Шалва встряхивал головой, и вечер оживал, переходя с бумаги на Побережье. К этому моменту внутри него полыхало пламя жарче самого горнового жара. Гасил он его по-разному. Чаще — в духане, за пивом, оставляя в засаленном халате духанщика дирхем за дирхемом и наблюдая, как мир вокруг постепенно становится плоским.

Иногда это были посиделки у Панкрата за травяным чаем или вполовину разбавленным водой розовым вином. Внуки играли вокруг стола в хоп-даль-хоп или в салки, а Панкрат всё рассказывал и рассказывал свои бесконечные истории. То о десятилетней войне, начавшейся с яблока, то о злом правителе острова, собиравшем дань юными воинами да девами, то о золотом руне. Шалва любил слушать, как Панкрат, поначалу покряхтывая, в середине рассказа вдруг превращался в молодого горячего юношу, словно сам совершал подвиги и общался с богами, здесь и сейчас. Словно бы его слегка сгорбленные плечи вдруг расправлялись, волосы снова становились цвета воронова крыла, а глаза загорались горновым огнём.

Время от времени к Панкрату приезжали гости из-за Понта: сыновья с невестками ли, дочери ли с зятьями, и тогда в его доме становилось слишком шумно. В такие вечера десятого дня Шалва заглядывал к Алану и Руслану, и они вместе отправлялись в порт, захватив игральные кости. Шалва играл редко, потому что почти всегда выигрывал. Братья же, напротив, обычно продувались вчистую. Вместе они составляли отличную троицу, одновременно опустошавшую карманы портовых завсегдатаев и вновь наполнявшую их звонкой монетой. Как говорится, никто не уходил обиженным, разве что изрядно напившимся.

В несчётный, одиннадцатый, день Шалва никогда не поднимался за ручей. Он предпочитал, по обычаю горцев, заниматься домашним хозяйством. Иногда подправит крыльцо, иногда вычистит у коз, которые в будние дни были предоставлены сами себе, скача по окрестным холмам и привлекая охочих до бесплатного ужина бродяг. Молоко козы давали отменное, целебное. Поутру одиннадцатого дня хорошо было выгнать из себя перебродивший хмель, опрокинув большую кружку холодного козьего молока. До вечера Шалва погружался в нехлопотные домашние дела, часто и надолго прерываясь на мечтания и размышления. Вечером же пораньше ложился спать, чтобы, по обычаю, к утру новой десятницы, только рассветёт, быть в храме.

Кроме путешествия по дальним странам, у Шалвы была ещё одна заветная мечта. Рано или поздно он хотел скопить денег, вернуться на родину и выстроить собственный храм на соседнем с их аулом склоне. Пройдут годы, и вокруг храма вырастет новый аул, аул его рода, и его правнуки будут бегать через ущелье играть с правнуками его братьев, и окрепнет род Хха-ввал-ки. Тогда не станут младшие сыновья уходить из дому в поисках работы, а дочерей выдавать за женихов из дальних земель, потому что из множества аулов встанет государство Хха-ввал-ки, где каждый будет равным в труде и достатке.

Знал Шалва и то, что этой мечте не суждено сбыться. С Побережья никто и никогда не возвращался. Так было всегда, с тех пор как поднялись горы и наполнились моря.

Об этом рассказал ему Панкрат, ещё тогда, когда совсем юный Шалва спустился с гор в поисках работы.

Первым делом он тогда зашёл в храм, над которым не вился дымок, несмотря на полуденную

пору. В храме сидели без дела четверо: пожилой седой травник, два великана-кузнеца и немой подмастерье. При входе в храм неслышно звякнул колокольчик, и сидевшие заметно обрадовались этому.

— Привет тебе, Горновой! — сказал за всех травник и протянул руку ладонью вверх.

Вечером десятого дня, когда Шалва впервые пил чай с чабрецом в просторном доме Панкрата, он и узнал обо всём.

— Сюда все приходят за работой. И все её находят, и находят жильё и прочее. Но вернуться домой никто не может. Так уж повелось. Мы, жители Побережья, остаёмся на нём до конца дней. Не журись, сынок, так уж устроен мир.

— Но если люди приходят сюда каждый день, из года в год, и так веками, где же они находят себе работу и жильё? Как им всем хватает места?

Панкрат какое-то время молчал, прежде чем ответить. Затем продолжил:

— Знаешь, большинство из нас не задаются таким вопросом. А ответ, я думаю, в том, что Побережье не имеет пределов. Оно бесконечно в обе стороны. Видишь, вон в ту сторону, на восход, за Хеттэбетом следует Семендер, Белендер, Урукта, Ынычкон. И так далее, далее, без края. А пойдёшь в закатную сторону, будут тебе Каварна, Тэссала, Новеград, Триновант, и тоже до бесконечности.

— А как же моряки, дальние страны, твоя родина, наконец? Странно всё это.

— Ничего странного. Они тоже на Побережье. Я, как и многие здесь, тоже родился не в Хеттэбете, просто переплыл в молодости из одного края в другой. А дети вот вернулись в Элладу, побросав на меня со старухой внуков. Другое дело вы, горцы. Вы из-за хребта приходите. Поэтому и говорится, что не можете вернуться. Нам-то, по большому счёту, и возвращаться некуда.

Последних слов Панкрата Шалва почти не понял, да и вдаваться в их смысл не стал. Гораздо важнее и больнее были предыдущие, о том, что пути домой нет.

Поначалу Шалва не поверил, но сколько раз ни подымался за ручей, не мог найти той тропы, которая увела бы его дальше, в горы. И что самое странное, он совершенно не помнил пути, по которому спустился на Побережье.

Смирившись, Шалва перестал жить верой, но надежда находила лазейки, ему казалось, что когда-нибудь сон кончится и он вернётся домой, к родным.

В этот десятый день Шалва рисовал поход Искандера Великого на Индию, о котором в прошлый раз рассказывал Панкрат. Как обычно, старик так увлёкся рассказом, что чуть ли не сам превратился в полководца.

— Эх, будь у меня порох, я бы наверняка одолел эти Небесные горы и вошёл в долину Ганга!

Булатная сталь звенела о кованые доспехи на картине, как настоящая. Шалва знал, что её секрет открыл ремесленник Джава из Мзымты, и было это гораздо позже походов Искандера, но не справился с искушением. Ну не могли же великие воины прошлого драться простым сыродутным железом!

Сама собой битва за Бхарати на бумаге сменилась набросками заготовок дляковки. Затем в ход снова пошла охра с чистотелом, и в горне заплясали человечки. Они заполняли собою

весь объём печи, в которой больше не было металла и огня. Они и были — яркий живой металл, который плясал без устали, желая вырваться из тесных объятий горна.

Вдруг Шалва заметил, что язык пламени перекинулся с края бумаги на ближайший сухой куст. Тот вспыхнул мгновенно, ровным жаром, и человечки, увеличившись в размерах, продолжили в нём свой танец. Шалва хотел закрыть глаза, чтобы избавиться от видения, но по векам полыхнуло огнём.

Голос прозвучал, как весенний гром в горах. Казалось, его имя произнесли все человечки разом.

— Хха-ввал-ки!!!

Шалва сжался внутри, внешне сохраняя достоинство. Лишь спустя несколько секунд он понял, что слышит родное горное наречие.

— Что?

— Мы нарисовали небо, — теперь говорил один.

— Ну и что?

— Ну и всё. Остальное, — невозмутимо продолжил огненный лилипут.

Шалва потихоньку приоткрыл один глаз, затем другой. Веки тут же перестало печь, в глазах высохли слёзы. Человечки продолжали танец в горящем кусте, а один из них, самый высокий, стоял рядом с камнем, на котором рисовал Шалва.

— Мы нарисовали небо, — шептал человечек.

— А я нарисовал вас! — дерзко возразил горновой.

Сказать, что человечек смутился, так нет. Просто на секунду задумался.

— Знаешь, в некотором роде ты прав. Но ведь мы с тобой — одно целое. Как и весь этот мир. Ты думаешь, что знаешь его секрет, но ты знаешь не всё.

Шалва решил притвориться, что не понимает, о чём речь. Но человечек, теперь более похожий на двуногую ящерицу, без труда проник в его мысли.

— Не бойся, человек. Ведь это мы подарили твоему народу секрет обращения с огнём и металлом.

— Кто вы?

— Мы — это ты, и каждый из Пятерых, и любой, кто ходит под этим небом. Потому что небо нарисовали тоже мы.

— Вы — боги?

Человечек рассмеялся так, что у Шалвы заложило уши.

— Боги? Что ты! Мы просто пляшущий в горне металл. Но, пожалуй, мы — единственное, что есть в этом мире настоящего. Всё остальное — это кадка с выкованным за день железом. Всего лишь один день.

Шалва слушал оцепенело, не пытаясь очнуться. Он подозревал, что даже если захочет прийти в себя, вряд ли сможет.

Громоподобный голос снова стал едва различимым шёпотом.

— Всего день. Да и тот ещё не закончен. Наковальня гудит, ухает Кувалда, звенят Молоточки, и Пятый придёт ещё не скоро. А люди рождаются, живут и умирают так быстро, что просто не успевают узнать о нашем существовании. Ты же — Хха-ввал-ки! Поэтому мы говорим с тобой.

— А зачем? Зачем Настоящим говорить с простым человеком, пусть даже Избранным?

Человечек не ответил. Вместо этого он повернулся к танцующим, словно обсуждая с ними вопрос дерзкого человеческого сына. Ничего, кроме гула пламени, Шалва не расслышал.

Танец прекратился. Все огненные фигурки повернулись к нему и словно бы уставились на него тёмными провалами глаз, или что там у них было.

— Хочешь, мы покажем тебе, как на самом деле выглядит Побережье?

«Не хочу», — подумал Шалва, но губы не слушались, выплюнув только: «Хочу!»

Картина, открывшаяся перед глазами, была настолько страшной и непонятной, что сначала распалась на отдельные куски. Чуть позже Шалва понял, что именно видит перед собой. Насколько хватало глаз, перед ним открывалась бесконечная пустошь, заваленная, устеленная, засыпанная коричневыми останками того, что рождалось когда-либо в храмах. Груды ржавых мечей, плугов, серпов, колёс, остовы кораблей, повозок, совсем уж невиданных механизмов величиной с дом и больше заполняли всё пространство вокруг. Не было ни деревца, ни птицы, ни лугов, ни моря. Светило неестественного цвета клонилось к... Непонятно, к чему оно клонилось, потому что здесь не было ни восхода, ни заката.

Человечек снова заговорил, и Шалва вздрогнул, вырываясь из оцепенения.

— Небо-то мы нарисовали, да, видно, плохо. Мир этот походит к концу, хотя конца не увидят даже твои правнуки. Рано или поздно таким станет не только Побережье, но и Дальние страны, и земли за хребтом.

— И мои горы?

— И твои горы.

Огненный демон замолчал, Шалва тоже. Над ржавым миром снова воцарилось безмолвие, заглушавшее даже гул пламени.

Внезапно видение ушло, мир снова стал привычным, и идиллию вечера десятого дня нарушал только куст, объятый пламенем.

— Ты хочешь вернуться домой?

— Но ведь с Побережья не возвращаются?

— Глупости. Кто не приходил, тот и не возвращается. Ты — Хха-ввал-ки, твоё место рядом с твоим народом. Вместе вы сможете встретить конец света достойно, как подобает настоящим горцам.

— А как же остальные? Панкрат, братья, Пятый? Они могут пойти со мной?

— У них здесь работа. Их место — тут. Да и не захотят они с тобой, проверено.

Шалва снова замолчал, на этот раз надолго. В голове всё перемешалось, хотелось верить, что всё происходящее с ним сейчас — только видения увлечшегося работой художника. Но

что-то внутри подсказывало, что это не так.

— Что я должен для этого сделать? — ровным голосом спросил Шалва.

— Приходи завтра к полудню на это же место, увидишь.

— Но здесь никто не поднимается за ручей в одиннадцатый день! Он же несчётный!

Казалось, человек пожал плечами.

— Если хочешь попасть домой — придёшь! — коротко отрезал он и отвернулся.

Затем вошёл в куст, нырнул в огонь и исчез. Его примеру последовали остальные огненные человечки. Пламя исчезло, а засохший куст превратился в молодое цветущее деревце.

Те, кто в этот вечер забредал в духан, могли видеть за столиком в углу молодого горнового Шалву из Мукуса. Столик был заставлен пустыми пивными кружками, а горец лежал щекой на свёрнутых листах бумаги и горланил дикарские песни.

Очнулся Шалва в своей лачуге, в позднее утро несчётного дня. В углу хлопотал над завтраком Пятый, мыча под нос какую-то мелодию. Шалва приподнялся, охнув, и протянул руку к столику. Взяв ковш, зачерпнул ягодного кваса из жбана, заботливо приготовленного у постели (таки десятая кружка пива была лишней).

— Спасибо, друг! — выдохнул Шалва, и Пятый, не оборачиваясь, кивнул: мол, свои люди, чего там.

Затем горец поднёс ковш к губам и жадно выпил. В глазах резко просветлело, глухой гул в ушах превратился в прекрасную музыку. Шалва блаженно улыбнулся. Всё произошедшее с ним вчера теперь действительно казалось сном.

Однако когда немой подмастерье повернулся к лежаку и посмотрел горновому в глаза, взгляд его показался тревожным. Он протянул Шалве руку ладонью вверх по местному обычаю, затем быстро показал на гору, в направлении храма и приложил палец к губам, зачем-то заглянув Шалве прямо в зрачки.

— Пятый, я не понимаю, зачем мне идти в храм? Сегодня же несчётный день! — тихонько возразил Шалва.

Тут произошло нечто неожиданное. Пятый прокашлялся, выпил квасу и довольно внятно произнёс:

— Не сразу в храм. В полдень тебя ждут за ручьём.

Шалва почти не удивился заговорившему немому. В голове окончательно прояснилось, он вспомнил вчерашнее уже не как сон, а как явь.

Пятый слыл вообще странным типом. Панкрат, например, считал, что тот вовсе не немой, а просто дал обет молчания. Оказалось, он был прав. Или же это проделки огненных человечков?

Пятый же как ни в чём не бывало продолжил готовить завтрак.

В полдень его уже ждали. На этот раз не понадобилась ни бумага, ни охра. Человечки

танцевали в солнечном блике, прямо в ручье. В небе, от холма до холма, раскинулась яркая семицветная арка. Вместо камня стоял настоящий горн, правда очень старый, таких сейчас уже не строили. Он был сложен из обожжённых глиняных кирпичей, изрядно закопчён, а мехи были огромными, двуручными, из потёртых козьих шкур. Видно было, что не одно поколение халкидов стояло у огня и поддерживало жар, а кузнецы в это время охаживали наковальню.

Рядом с горном были аккуратно сложены вперемешку металлы и камни. Присмотревшись, Шалва сразу же различил их, лежащие в ряд: красная, с тёмным налетом, медь, янтарь цвета закатного солнца, тусклое жёлтое золото, зелёный с прожилками малахит, серебро небесных оттенков, крупный необработанный сапфир, и в самом конце — темно-лиловое, почти чёрное, холодное железо.

С ним наконец заговорили:

— Пришёл? Не передумал? Вот и отлично. Видишь радугу над холмами?

— Вижу, — спокойно ответил Шалва.

— Когда ты пройдёшь точно под центром её свода, дом будет совсем близко. Но сначала...

— Я знаю, — всё так же невозмутимо продолжил горновой. — Мне нужно выковать врата. Точнее, арку над вратами.

Человечки переглянулись. На их карикатурных лицах мелькнула тень не удивления даже, а некоторой досады.

— Если ты всё время знал Путь, почему не вернулся раньше?

Шалва не ответил. Он надел прихваченный с собою фартук, рукавицы и принялся за дело.

Когда жар ожил, он заполнил горн брусками и шихтой, нарыл в кармане передника Панкратовых трав, отмерил горсть и бросил в огонь.

Не беда, что братьев нет. Для тонкой работы сгодится и один молоточек.

Человечки молча наблюдали за его работой, не переставая танцевать и в пламени горна, и вокруг него, и даже, казалось, на крыльях радуги.

Наконец работа была закончена. Арка сияла не хуже той, в небесах, и жила уже своей жизнью. Шалва снял рукавицы, вытер пот со лба и спросил:

— Что дальше?

Человечки, казалось, обрадовались, что их ещё замечают.

— Всё. Путь свободен.

Шалва окинул взглядом луг, и холмы, и синюю нитку Понта внизу.

— А как же это? Неужели нельзя ничего сделать?

— А сам ты как думаешь? — Один из них снова вышел вперёд и оказался выше остальных.

Шалва отдышался, словно после крутого подъёма, сложил руки на груди, закрыл глаза и сделал шаг, но не под радугу, а на её левый склон. Невидимый колокольчик звякнул коротко, и тут же его звук оборвался...

...Говорят, травники, спускавшиеся с гор в позднее утро несчётного одиннадцатого дня осени, видели, как над храмом повисло ослепительно белое облако, в центре которого будто был виден лик горного Шалвы из Мукуса. Он вознёс над Хеттэбетом руки, скорее похожие на большие белые крылья, и растворился в небесной синеве.

Больше его никто не видел. Зато слухи ходили разные: и про чудное озеро где-то в горах, где Шалва будто бы удит рыбу перед самым закатом, по ночам охраняя путников от лавин; а моряки рассказывали, что в лютый шторм словно бы слышали звон колокольчика, совсем рядом, и их благополучно выносило от прибрежных скал; иным Шалва являлся перед значительным событием в жизни, вроде свадьбы или рождения наследника, и благословлял их. Самой же странной была сказка внезапно обретшего речь Пятого, который клялся, что Шалва стоит, прикованный дюжими цепями к самой высокой скале самой высокой вершины Небесных гор, и каждое утро к нему прилетает железный орёл, терзая плоть и выклёвывая печень. За ночь та отрастает, но приходит утро, и мучения повторяются снова. И так каждый будний день, и в десятый, кроме несчётного одиннадцатого, когда Шалва отдыхает.

Может, то и сказка, но над входом в храм и по сей день красуется чудная кованая арка тонкой работы, расписанная под колючий горный терновник. В самом своде её выгравирован прикованный человек с блаженной улыбкой.

А ржавчина арку не берёт, потому что чистый металл не ржавеет.

Дмитрий Колодан, Карина Шаинян

Затмение

Июль слоновьей тушей навалился на город, дыша в лицо зноем. На боках переполненных трамваев, завязших у светофора, вскипало солнце. Перекрёсток взрывался гудками и руганью, металлический скрежет больно отзывался в ушах; над улицей плыл запах горелой резины.

Теодор шёл прогулочным шагом, и поток прохожих болтал его, как морская зыбь буёк. Лысина побагровела, горячие подтяжки врезались в плечи, раскалённый костюм, казалось, весил целую тонну. От едких капель пота щипало глаза и запотевали очки, но Теодор упрямо продолжал ежедневную прогулку к порту.

У входа в Морской Банк, из которого в одуряющую жару улицы волнами вырывалась прохлада, Теодор прислонился к блестящим перилам и утёр лоб. Ожидая, — когда одышка станет полегче, он рассеянно поглядывал на людей, проходящих в стеклянные двери. Помахал рукой швейцару — тот вежливо поклонился в ответ, но в его кивке Теодору почудилось неодобрение. Без всяких приёмов чтения мыслей он знал, о чём думает этот усач в галунах: вот человек, который мог бы сделаться даже помощником директора, если б постарался, да вот несчастье со сбежавшей невестой подкосило. Ни должности, ни семьи — лишь казённая квартира да сварливая домработница. Швейцары всё знают, с досадой подумал Теодор. Тридцать лет безупречной работы и слабое здоровье — достаточный повод выйти на пенсию. Зачем примешивать Алису? Он потёр вспотевшую грудь, прислушиваясь к суматошным ударам сердца, и покосился на швейцара.

Что-то однообразно и беспокойно зудело в ухе — в грохот улицы вплеталось тихое бормотание. Теодор заворочал головой и расплылся в изумлённой улыбке. Под каменной стеной банка, у лужицы, натёкшей из кондиционера, сидела белая собака в колпаке с обтрёпанным помпоном. Теодор не мог взять в толк, как не заметил её раньше. На собачьей

шее болтался замусоленный гофрированный воротник, бок перепачкан мазутом и тиной. Капли конденсата оставили тёмные дорожки в густой шерсти, пожелтевшей от пыли. Рядом стояла коробка, обклеенная обрывками афиш.

— Дайте монетку, дайте монетку! — бубнила собака, уставившись в асфальт и мерно раскачиваясь.

Теодор сделал пару шагов в сторону и застыл посреди людского потока, склонив голову и рассматривая собаку с видом знатока. Его тут же сильно толкнули в плечо.

— Извините! — воскликнул Теодор, прижимая пухлую ладонь к груди и пытаясь увернуться от нового столкновения.

— А, ч-чёрт... Ничего-ничего, — пробормотал прохожий на бегу. Проходя мимо собаки, не глядя швырнул монету.

Собака не отреагировала — лишь колыхнулся помпон на колпаке. Теодор поддёрнул брюки и грузно нагнулся, оперев руки в колени. Он разглядывал пса, пытаясь сообразить, кукла перед ним или настоящее, идеально выдрессированное животное. «Дайте монетку, дайте монетку», — бормотала собака: глаза прикрыты белёсыми ресницами, голова качается, как у китайского болванчика. Теодор выпрямился, растирая поясницу, и огляделся в поисках хозяина.

На всей улице нашёлся один-единственный человек, спокойно стоящий на месте, — швейцар, ни капли не похожий на владельца циркового пса. Теодор прошёлся по тротуару, высматривая афиши, и вернулся ко входу в банк. Стараясь выглядеть празднично, поднялся по широкой лестнице и остановился у входа.

— Ох и духота сегодня, — сказал он, — весь взмок.

Швейцар солидно кивнул.

— Говорят, это какие-то пятна на Солнце. Затмение скоро, вот и жарит.

— Хоть из кожи выскакивай, — заметил Теодор, — нам ещё хорошо, а как собакам, например?

— А, заинтересовались собачкой? — усмехнулся швейцар. — Весь день сидит, гнал — не уходит... Хотел полицию вызвать, да всё-таки божья тварь, пусть себе...

— А хозяин где? — с напускным безразличием спросил Теодор.

— Не видел. Сама пришла, с коробкой в зубах. Так и торчит здесь — не кормлена, не поена. Таких хозяев в кутузку! — сплюнул швейцар. — Хотя, может, там и сидит, за бродяжничество...

Теодор покачал головой. Он не сомневался, что имеет дело с ловким и скрытным чревоушателем. Представив, как фокусник хихикает в кулак, глядя на суету вокруг собаки, Теодор покраснел и улыбнулся. В душе мешались стыд, восторг и восхитительное чувство причастности — в конце концов, он хотя бы знал принципы, на которых строился трюк.

Изнывая от любопытства, Теодор вернулся к собаке в надежде разобраться, что написано на обрывках афиш на коробке. Осторожно протянул руку.

— Хорошая собачка, хорошая собачка, — приговаривал он. Аккуратно потрепал горячие уши — собака продолжала бубнить, будто не замечала его.

Теодор потянулся к коробке. Собака замолкла, чёрные губы приподнялись, обнажив клыки —



чистые и белые, как на рекламе зубной пасты. В зверином горле зарокотало, и Теодор отступил.

В полном расстройстве он вытащил из кармана часы и решительно уставился на циферблат. Бесплодная возня с собакой отняла слишком много времени. В порт уже не успеть: Агата не простит опоздания на обед. \* \* \*

Вентилятор сухо клацал в пыльной духоте гостиной. Пластиковые лопасти потрескались, грязь глубоко въелась в решётку. Теодор поймал себя на том, что считает обороты: шестьдесят — и прошла ещё одна минута. В лучах солнца стайки пылинок сплетались в причудливые спирали. Лёгкий бриз топтался на пороге, как неумелый коммивояжёр, не решаясь предложить свой скромный товар — запахи бензина, лета и морской соли. Щёлк, щёлк...

Теодор с тоской обозревал бледные обои в цветочек. На кипящих жизнью улицах творятся чудеса, а он по-прежнему сидит и ждёт, сам не зная чего. Просто трусит, как много лет назад, когда ему не хватило смелости догнать Алису.

Воспоминание отозвалось щемящей болью. За десять лет Теодор так и не смог смириться с потерей. Не помогла даже добросовестная работа в Морском Банке — наивная попытка задавить тоску бумажным однообразием. Аргентина, Австралия, Китай — он убеждал себя, что это лишь слова. Но, читая на бланке «Гонконг», он видел Алису на крошечных, переполненных людьми площадях, бесстрашно входящую в клетку с хищниками. Лима, Пуэрто-Рико... Нет ничего глупее, чем сбежать с бродячим цирком и стать ассистенткой дрессировщика, но в глубине души Теодор восхищался Алисой. Что осталось ему? Квартира в центре города да индивидуальная пенсия за отличную работу; на мемуары хватит и тетрадного листка. Но, похоже, судьба дала ещё один шанс. Теодор ждал его всю жизнь: сделать шаг — и, может быть, он снова встретит Алису?

Теодор ковырялся в овощном супе. Агата, его домработница, всегда готовила одно и то же: суп, овсянка, слабый чай. Теодор уже смотреть не мог на рыхлую цветную капусту и бледные звёзды моркови. Он гонял по тарелке разварившуюся луковичу, похожую на дряхлую медузу. По бульону расползались белёсые кружочки остывающего жира.

Перед Теодором, подпертая солонкой, стояла «Всемирная история чудес» Гиббсона и Кара — настольная книга любого иллюзиониста. Теодор раз пять прочитал её от корки до корки, избранные главы мог пересказывать дословно, но постоянно возвращался к засаленным страницам.

Книга была раскрыта на главе «Чревовещатели». Египетские жрецы, говорящие камни и статуи, весёлый король Эдуард Седьмой и нерадивые придворные — Теодор медленно погружался в историю древнего и невероятного искусства. На арену чревовещание вышло в конце восемнадцатого века, вместе с Чарльзом Эльворти и его знаменитой куклой Мистером Боксом. Животных использовали редко: научить зверей сложной мимике почти невозможно. С той собакой работал настоящий профессионал. Теодор не мог придраться — пасть она открывала вовремя, слова явно звучали из собачьей глотки, а то, что не было видно самого чревовещателя, говорило о высочайшем мастерстве. Такие не работают в одиночку — Теодор не сомневался, что в город приехал Цирк.

Из кухни выплыла Агата с дымящейся тарелкой овсянки.

— Вы ведь знаете, что читать за столом вредно. — На остром лице застыло осуждение.

Теодор попытался ответить, не раскрывая рта, — вдруг у него тоже есть задатки чревовещателя? Способности, может, и были, но оказалось отсутствие тренировок. За хрипами, гудением и кряхтением он и сам не понял, что сказал, смутился и замолчал.

— Простите? — переспросила Агата. Поставила перед Теодором кашу и поморщилась, забирая суп. — Пожалуйста, не надо говорить с набитым ртом, не дай бог, подавитесь.

— Нет-нет, — поспешил успокоить её Теодор. — Я... это дыхательная гимнастика, знаете, очень полезно для сердца.

Агата покосилась на раскрытую книгу: полполосы занимала фотография знаменитого Элиаса Шангале.

— Когда я была маленькой, ходила на его выступление. Дыхательная гимнастика, ну-ну...

— Давайте я покажу вам фокус? — поспешил сменить тему Теодор. — Это быстро... Я много тренировался, и мне хотелось бы услышать ваше мнение.

Агата вздохнула и с показным смирением присела за стол. Теодор торопливо, пока она не передумала, открыл книгу. Загнутый уголок страницы отмечал номер, над которым он сейчас работал. Теодор проделывал фокус десятки раз и отлично помнил порядок действий, но решил подстраховаться. Как любой артист, он нуждался в зрителе и в то же время боялся его — боялся, что собьётся и опростоволосится. Под суровым взглядом Агаты это было легче лёгкого.

— Номер называется «Исчезающие предметы». Суть его в том, что предметы... э... исчезают. Для примера возьмём вот эту ложку, — Теодор протянул её домработнице. — Можете осмотреть и убедиться, что это самая обыкновенная ложка, из тех, что вы используете на кухне.

— Знаю, — сказала Агата. — Эту ложку я мою три раза в день уже восемь лет.

— Ну да, — смутился Теодор. — Понимаете, так положено говорить, всегда находятся люди, которые сомневаются. Сейчас эта давно известная вам ложка таинственным образом испарится. Смотрите внимательно...

Теодор сжал ложку двумя пальцами и принялся выводить вокруг неё пассы. Главное — отвлечь зрителя, ослабить внимание. Теодор не сводил глаз с лица домохозяйки, высматривая малейшие признаки рассеянности. Сквозь вежливый интерес явно читалось: «Ну и долго это будет продолжаться?» Ничего, если он собирается достичь успеха, надо уметь работать с любой публикой.

— Ой! Что...

Как только взгляд Агаты метнулся в сторону, Теодор разжал пальцы. Сталь скользнула по ладони. Ложка зацепилась за манжет, на миг замерла и, вместо того чтобы провалиться в рукав, грохнулась в тарелку. Теодор попытался поймать ложку-предательницу и вместо этого с размаху хлопнул по краю тарелки — та подскочила и сорвалась со стола. Овсянка шмякнулась на ковёр. Теодор замер с раскрытым ртом, не находя слов от стыда и досады.

— Это всё? — уточнила Агата. Дождаться ответа она не стала. — Как я погляжу, исчезла ваша каша. Суп вы не доели... Прикажете снова готовить?

Теодор сглотнул и виновато улыбнулся.

— Простите... Не надо готовить, я не голоден, спасибо. Я сам всё уберу, и...

Агата покачала головой. Лицо её смягчилось.

— Ничего страшного — я сварю кашу ещё раз. Пропускать обед нельзя — для вашего желудка это вредно. И, мой вам совет, бросайте вы эти фокусы, всю эту мумбу-юмбу. В

вашем возрасте как-то не солидно. Придумайте более спокойное хобби. Вы никогда не думали коллекционировать марки?

Щёлк, щёлк... Ещё одна минута вентиляторного времени. Теодор побарабанил пальцами по столу.

— Знаете, в город приехал Цирк, — заговорил он. — Настоящий бродячий цирк-шапито. С тиграми и слонами, цветными шатрами и акробатами...

— Ничего подобного, — Агата мотнула головой, словно отбрасывая саму мысль о цирке. — С чего вы взяли? Я читаю все утренние газеты, и разговоры там только о грядущем затмении да о том, как оно повлияет на здоровье. Про слонов ни строчки. Афиш по городу я не видела, а без рекламы они как без рук. Вам надо прекращать утренние прогулки — жара и солнце плохо на вас влияют. Похоже, вы просто перегрелись. Может, вызвать врача?

К счастью для Агаты, тарелка с кашей лежала на полу, иначе бы Теодор не сдержался и запустил её прямо в костистую физиономию. Как иллюзионист, аристократ арены, он с предубеждением относился к клоунаде, но сейчас ощутил себя вправе пойти на смешение жанров.

— Спасибо, я прекрасно себя чувствую, — сухо ответил он.

Агата покачала головой.

— Всё-таки вам лучше полежать, прийти в себя. Всё проклятое затмение — в газетах так и пишут, что для метеочувствительных людей эти дни опасны. Протуберанцы и солнечный ветер; говорят, там какая-то буря, и нужно быть очень осторожным. Я добавлю вам в чай успокоительных капель. \* \* \*

На следующий день Теодор вышел из дома пораньше, сбежав от Агаты сразу после завтрака. Надо было найти цирк хотя бы ради того, чтобы уговорить домработницу, — её заботливость выросла до угрожающих размеров. Собаке необязательно сидеть под афишами — место, где их расклеили, могло оказаться неудобным, или их сорвали хулиганы, а газеты... Всем известно, как дороги нынче объявления в газетах!

Теодор выкатился из трамвая у Морского Банка и разочарованно вздохнул: собаки не было. Сгорая от нетерпения, он прошёлся по улице, снова оглядывая стены и афишные тумбы, вернулся по другой стороне и поднялся ко входу.

— Вчера не дошли до порта? — первым заговорил швейцар.

— Не успел, — ответил Теодор. — А что, собака сегодня не появлялась?

— Какая собака?

Теодор сердито взглянул на швейцара, но усатое лицо выражало искреннее недоумение. Не помнит ни загадочного пса, ни вчерашних эволюции Теодора, за которыми следил с такой насмешливостью! Неужели чревовещатель — ещё и гипнотизер? Но оба искусства требуют долгих тренировок, вряд ли можно достичь мастерства в обоих разом. Наверное, швейцар вчера перегрелся, да и жуткая пробка действовала на нервы... Куда теперь? В парк?

— А вы бы сходили, прогулялись по набережной, — продолжал швейцар. — В такую погоду морской ветерок — милое дело. Я бы сам с удовольствием...

Теодор уже не слушал его. Как он не догадался! В порту найдётся если не цирк, то хотя бы люди, видевшие его прибытие. Не попрощавшись, Теодор бросился к остановке, и вскоре маршрутка везла его в порт. \* \* \*

По набережной прогуливались люди принаряженно-официального вида, и Теодор вспомнил, что сегодня отмечают юбилей Морского Вокзала. Огибая закованных в пиджаки менеджеров, он зашагал вдоль причалов, сосредоточенно оглядывая мощные обводы пассажирских лайнеров.

Один корабль пришвартовался совсем недавно — по трапу спускалась стайка пассажиров. Теодор скользнул по ним взглядом, даже не надеясь, что меж кисей и зонтиков мелькнёт лицо Алисы. Она должна вернуться на том же корабле, что и сбежала, — Теодор ждал, когда на рейде бросит якорь «Великолепный», на котором проклятый Просперо увёз все его мечты и надежды. Давным-давно он прочёл в газетах, что пароход пропал без вести во время шторма, однако окутанная блестящей дымкой полоска горизонта и бередящие душу гудки были убедительнее газетных строчек.

На краю причала курил пожилой моряк. Его красная физиономия располагала к доверию, и Теодор подвинулся ближе.

— Извините, не могли бы вы сказать...

Моряк вынул изо рта сигарету и выжидающе посмотрел на Теодора. Тот помялся и, собравшись с духом, выпалил:

— Вы не знаете, в порт не прибывал цирк?

— Цирк? — задумался моряк. — Нет, не видал. Да вы не там ищите. Вам вон куда надо, — он кивнул туда, где городская набережная упиралась в причалы для грузовых судов и склады.

Но среди барж, ржавых каботажных посудин и остро пахнущих рыбой сейнеров не нашлось ни «Великолепного», ни другого корабля, на котором мог бы приехать цирк. Отчаявшись, Теодор попытался проникнуть в доки, где звенел металл и орали озверевшие от жары механики, но его выгнали, не пожелав и слушать.

Теодор доковылял до набережной и присел на чугунную скамью. Тоскливо взглянул на гавань, куда входила баржа, гружённая блестящими цистернами, и хлопнул себя по лбу: можно попытаться найти груз, принадлежащий цирку! На контейнерах наверняка есть маркировка — Теодору отчётливо представилось схематичное изображение слона. Не отдышавшись толком, он заспешил к складам.

Застоявшийся воздух в узких проходах между контейнерами походил на воду в нечищеном аквариуме. Под ногами хлюпали тухлые лужи, покрытые радужной плёнкой, грязные обрывки пеньки и шпагата цеплялись за ботинки. Меж пышущих жаром стен стояла вязкая тишина, изредка нарушаемая приглушённым говором порта. Похоже, поиск циркового багажа — затея пустая: Теодор и не думал, что портовые склады так огромны. Он остановился, не представляя, как выбраться из этого лабиринта.

Над головой нависал гигантский дощатый ящик; дерево посерело и обросло понизу зеленоватыми ракушками, но ещё пахло опилками. Теодор с удовольствием вдохнул смолистый аромат и услышал тихие, мягкие шаги. Доски показались вдруг совсем тонкими. В ноздри ударил острый звериный запах, низкий гул отозвался дрожью в диафрагме. Гудение перешло в грохочущий рокот, эхом прокатившийся по лабиринту. Со всех сторон разом донеслось громовое фырканье, и наступила тишина — лишь тонко звенела полоска жести.

Теодор задохнулся. Рядом — клетка с тигром! Он снял очки и приник к узкой щели между досками, но увидел темноту. В досаде Теодор хлопнул ладонью по дереву, и в ответ снова зарокотало — но тихо-тихо, издалека. Теодор опрометью бросился на звук, под ногами зачавкала грязь, заглушая рычание. Он застыл и прислушался.

Снова отчётливый рык — теперь справа. Теодор ринулся в боковой проход и тут же услышал, что рычат уже впереди. Слабый ветерок завонял кошачьей мочой. Издали неслось громыхание кранов, крики портовых рабочих, но для Теодора существовал только лабиринт контейнеров, по которому катился, дразня и убегая, тигриный рёв. Сердце трепетало в горле. Дневной свет померк и стал синевато-холодным, будто в небе вместо солнца подвесили тусклый прожектор. Потеряв голову, Теодор кидался в разные стороны, то и дело уверяясь, что звери совсем близко, но рычание затихало, вновь появлялся сильный дух зоопарка и развеивался, сменяясь запахом машинного масла или щекоочущим ароматом специй. Рычание доносилось всё реже и вскоре стало совсем тихим, заглушённое чьими-то криками. Очки запотели, Теодор теперь метался вслепую, оскальзываясь и задыхаясь в погоне за призрачным звуком.

Голоса становились всё ближе, и Теодор счастливо всхлипнул: между контейнерами сверкнуло яркое и блестящее. Хватая ртом воздух, он вывалился на площадку перед причалами. Ноги не держали. Он прислонился к горячей стенке контейнера. Руки тряслись от нетерпения, пока Теодор протирал очки. Заранее улыбаясь, он водрузил их на нос — и не смог удержать разочарованного крика. Среди луж и куч мусора стоял алый лимузин. Теодор знал эту машину: она принадлежала начальнику порта. Из салона в открытое окно текла струйка сигарного дыма.

Рядом разгружали баржу. Портовый кран полз по ржавым рельсам. На телях раскачивался оранжевый контейнер — он кренился, готовый выскользнуть из толстых цепей. Порывы ветра раскачивали его, как огромный маятник. Снизу смотрели несколько угрюмых грузчиков. Они передавали по кругу сигарету и то и дело начинали кричать, размахивая руками. Теодор сомневался, что крановщик слышит их указания — скорее грузчики красовались перед начальником порта.

Рельсы заканчивались рядом с лимузином. Вздогнув тоннами железа, кран остановился. Контейнер качнулся, надрывно взвыли блоки, опуская груз. Он с грохотом ударился о крышу соседнего железного ящика и на секунду замер. Раздался предупреждающий крик. Контейнер с диким скрипом начал сползать вбок. Одно из звеньев не выдержало, цепь лопнула. Стальной хлыст звонко ударил по железным бортам — так дрессировщик подстёгивает тигра к прыжку. Контейнер сорвался и обрушился на автомобиль.

«Кранты начальничку», — прошептал кто-то в наступившей тишине. Очнувшиеся грузчики бросились к машине, но из-за груды железа появился директор порта. Его щёки побелели, обтянутое потной рубашкой брюхо ходило ходуном, но он был цел и невредим. Директор слабо улыбался столпившимся вокруг рабочим. По лицу пробегали остатки пережитого страха, глаза походили на кружочки застывшего жира. Они постепенно оттаивали; растерянная улыбка сползла с губ, и в голосе зарокотал начальственный гнев.

Теодор в полуобмороке смотрел на дверцу контейнера: её украшал затёртый рисунок улыбчивого слона, стоящего на шаре. Крякнули грузчики, сдвигая контейнер с крыши машины, железо застонало и ударилось об асфальт. Стенки не выдержали, и через щели в лопнувшем железе на землю посыпались блестящие пачки чая. Теодор поднял одну. Чай как чай — такой можно купить в любом супермаркете. Теодор подбросил пачку, поймал и тихо рассмеялся.

— Ваш груз? — раздался за спиной суровый голос.

Рядом, оперев руки в бока, стоял начальник порта. Его подбородки тряслись, в глазах сверкали молнии. Не дожидаясь ответа, он продолжал:

— Это грубейшее нарушение техники безопасности! Ваш контейнер не был закреплен надлежащим образом! Вы знаете, сколько стоит эта машина? Я буду требовать возмещения

морального и материального ущерба в трехкратном размере.

— Извините, это не мой, — залепетал Теодор. — Я совершенно случайно оказался рядом.

Начальник порта пристально посмотрел на Теодора.

— Случайно? — переспросил он. — Тогда что вы здесь делаете? А, ясно! Шли на юбилей вокзала и решили сократить дорогу через склады? Зря, здесь нечего делать посторонним, — он отвернулся к искалеченной машине.

— Я не... — начал Теодор и смолк.

Почему бы и нет? После бессмысленных блужданий, страхов и поисков официозная скука будет лучшим лекарством.

— Да, хотел побыстрее и немного заплутал, — угодливо улыбнулся он.

— Вам надо идти прямо, — буркнул толстяк и покосился на часы. — Церемония начинается через полчаса. \* \* \*

Солнце плясало в стеклянных стенах Морского Вокзала. Яркие блики резали глаза, под веками щипало от слёз. Сквозь стену открывался вид на главный причал. Мраморная набережная выгибалась широкой дугой, обнимая залив. Вдалеке над зелёными волнами словно парил утёс с башенкой маяка. Этот пейзаж, растиражированный на открытках, был визитной карточкой города. Танкеры и сухогрузы никогда не подходили сюда, здесь швартовались только белоснежные круизные лайнеры. Плавные обводы причудливо преломлялись в стекле, и корабли казались нереальными, будто прибыли прямо из Зазеркалья.

— И что их сюда тянет? — бормотал Теодор, протискиваясь сквозь толпу оживлённых клерков. — Прошу прощения... Скучнейшее же мероприятие. Извините... Заранее заготовленные речи по бумажкам. Вы не позволите?

Вокзал украсили воздушными шарами и цветными лентами. Чуть в стороне, на драпированном красной тканью помосте, сидел духовой оркестр. Над залом гремел гимн города. Бравурная мелодия взмывала к ажурным перекрытиям и металась в стекле и металле, словно птица в силках.

Начальник порта вышел к микрофону, и толпа взорвалась аплодисментами и одобрительными выкриками. Рыхлое лицо начальника светилось уверенностью и силой; а ведь полчаса назад он чуть не погиб. Он широко улыбался, дожидаясь, пока стихнет шум. Постучал по микрофону, и оркестр замолчал.

— Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественном праздновании юбилея Морского Вокзала! В этот день, десять лет назад, впервые открылись двери этого, не побоюсь слова, шедевра архитектурной мысли. И я горжусь тем, что...

Начальник порта говорил вдохновенно, но в какой-то момент Теодор обнаружил, что совершенно не понимает, о чём идёт речь. Слова кружились, не давая ухватиться. Уже мерещилось, что он видит их — маленьких разноцветных рыбок, скользящих в густом воздухе. Теодор тряхнул головой, гоня наваждение.

— Нельзя недооценивать тот грандиозный вклад, который внёс Морской Вокзал в развитие структуры...

Теодор огляделся. Толпа замерла, боясь пропустить хоть слово. Клерки, их жены и дети с обожанием смотрели на толстяка. У некоторых на глазах блестели слёзы. Похоже, они даже

дышали в такт голосу начальника.

— Но не будем забывать и о тех людях, без которых мы никогда бы не увидели...

Кто-то едко хихикнул. Теодор обернулся на звук, но лица, обращённые к толстяку, были абсолютно серьёзны. Смех зазвучал снова — колючий и звонкий, он просыпался на толпу, словно горсть ракушечных осколков. Толстяк сбился, проглотив конец фразы, и откашлялся.

— Может, кому-то это и кажется смешным, но этот грандиозный проект...

Теодор вытянул шею, высматривая шутника. На краю помоста с оркестром сидел клоун. На набелённой щеке чернела клякса слезы. Колпак сползал на глаза. Клоун корчился, держась за живот и тыча пальцем в начальника порта. Музыканты его не замечали. Клоун то и дело вцеплялся то в одного, то в другого клерка и шептал ему на ухо. Люди расплывались в улыбках, но спустя мгновение на лица вновь напознала серьёзность.

Теодор дёрнул за рукав соседа.

— Прошу прощения, — спросил он. — Вы тоже видите...

В водянистых глазах сверкнуло раздражение.

— Что? — зло спросил клерк, и Теодор отпрянул.

— Нет, извините, я не хотел...

Клерк отвернулся. Теодор взглянул на клоуна. Тому, похоже, наскучили бесплодные попытки расшевелить публику. Он так сокрушался, что Теодору стало искренне жаль его. Заметив взгляд, клоун печально развёл руками, и Теодор едва не рассмеялся от нахлынувшего счастья. Он не заметил, как в руках клоуна появились чёрные мячи — они взмывали над головой, кружились невероятными петлями. Один в воздухе, два, все три... Клоун вскочил на ноги.

— Уважаемая публика! Мы страшно рады, что вы почтили вниманием наше представление! Самый невероятный номер за всю историю цирка! Ему рукоплескали зрители пяти континентов!

Клерки оборачивались, и недоумение сменялось улыбками. В задних рядах рассмеялся ребёнок и захлопал в ладоши. Толстяк замолчал и беззвучно зашевелил губами, как рыба. Его лицо побагровело. Дрожащей рукой он указал на клоуна:

— Что за фиглярство, чёрт возьми? Вызовите охрану...

— Почтенная публика, капельку терпения! Сейчас на ваших глазах произойдёт чудо! Номер называется «Возмездие»! Оркестр, туш!

Музыканты вскочили, грянули трубы. В воздухе вспыхнуло, запахло жжёной серой. Над клоуном закружились яркие огоньки, и три бомбы тускло блеснули воронёной статью. Короткие фитили брызгали искрами. Клоун перехватил первую бомбу и швырнул её в президиум. Вторая и третья полетели следом. Толстяк рефлекторно выставил руки, пытаясь поймать брошенный предмет, и в это мгновение ухнул взрыв.

Горячая волна ударила в Теодора. Его отбросило на соседнего клерка, и они вместе рухнули на пол. Уши заложило; он не слышал новых взрывов — только два оранжевых сполоха мелькнули в клубах едкого дыма. Не понимая, что делает, Теодор рванулся, но на него кто-то упал, и по лицу хлестнуло тёплым и липким. Теодор забился в истерике, пытаясь сбросить навалившееся тело. Ему удалось выбраться, а клерк так и остался лежать. От резкого запаха

горелого дерева и мяса к горлу подступила тошнота. Едва сдерживая спазмы, Теодор на карачках пополз вперёд.

На полу сидела женщина с окровавленным лицом; у её ног валялся искорёженный микрофон. Кто-то плакал.

— Почтенная публика застыла в восхищении! Но я не слышу аплодисментов! Пролейте же бальзам на сердце артиста...

Клоун раскланивался. К ужасу Теодора, раздались хлопки — один, другой, и зал разразился овациями, заглушившими стоны. Оркестр заиграл марш.

— На этом позвольте попрощаться!

— Держите его. — прохрипел Теодор, но никто не услышат.

Клоун смотрел прямо на него.

— Хватайте...

Клоун подмигнул, ещё раз поклонился, сорвал с помоста гирлянду воздушных шаров и вприпрыжку направился к выходу. Теодор побежал за ним и врезался во всё ещё аплодирующих людей. Клоун, казалось, тёк сквозь толпу: перед ним расступались, никто не пытался его остановить, Теодора же все толкали и пихали. Клоун задержался лишь на мгновение: перед маленькой девочкой он достал из рукава бумажный цветок, вручил, потрепал ребёнка по белокурой головке и вышел на улицу.

— Уйдёт ведь! — выдохнул Теодор.

Он оттолкнул вставшего на пути долговязого клерка. За спиной завизжали. Теодор ударил в дверь плечом и выскочил наружу.

Клоун стоял на площади перед вокзалом, словно ждал Теодора. Лёгкий бриз колыхал воздушные шары. Теодор шагнул к клоуну, сжав кулаки.

— Вы чудовище! Как можно... — Теодор зарычал, не находя слов.

Нарисованные брови клоуна взметнулись вверх. Он попятился, всем видом показывая, как испугался.

— Стой! — заорал Теодор.

Клоун хихикнул и, семеня, отступил ещё на несколько метров. Порыв ветра дёрнул шары вверх, и огромные ботинки оторвались от мостовой. Покачиваясь, клоун взмыл над площадью. Теодор задрал голову, не веря своим глазам. Клоун приставил к носу руку с растопыренными пальцами и показал Теодору язык.

Злость придача сил. Теодор ринулся следом, не обращая внимания на предательские колики в боку. Ветер нёс клоуна над центральной улицей. Шары, казалось, летели медленно, однако Теодору с трудом удавалось просто не отставать. Но рано или поздно клоуну придётся спуститься, и тогда...

Навстречу мчались кареты «скорой помощи» и пожарные машины. Вой сирен, яркие огни мигалок, крики и гудки для Теодора уже не существовали. Он видел только болтающиеся в воздухе красные ботинки и гнусную ухмылку на белом лице. Слеза на щеке! Грубая насмешка над всеми, кто остался лежать в зале, истекая кровью. Надругательство над воспоминаниями об Алисе — ведь она ушла не ради убийц и террористов.



Из-за угла вынырнул трамвай и затормозил, пропуская стаю полицейских машин, чёрных и поджарых, как пантеры. Клоун завис над выпуклой крышей вагона и неспешно опустился. Выругавшись, Теодор прибавил скорости. Клоун уселся, по-турецки сложив ноги, и выжидающе посмотрел на Теодора. В глазах застыл вежливый интерес. Взгляд показался Теодору до боли знакомым. Он хорошо помнил это выражение — именно так банковские клерки смотрят на клиентов. Неужели клоун на самом деле обыкновенный служащий, вымазавший лицо гримом и напяливший костюм? Теодор вдруг понял, что они несколько лет проработали в одном отделе.

Трамвай зазвонил. Теодор рванулся из последних сил и успел схватиться за поручень. Ботинки заскребли по асфальту. Он подтянулся, протиснулся в узкий проход и рухнул животом на горячую резину. Пассажиры выпучили глаза и отступили. Теодор немного прополз вперёд, чтобы ноги не торчали из вагона, — наверное, со стороны это выглядело забавно, но ему было не до смеха. Грудь разрывало на части, каждый удар сердца болью отдавался во всём теле — скорей бы уж выпрыгнуло. Как же его звали? Тибальт? Или Гораций?

— Мне нужно на крышу! — прохрипел Теодор, приподнимаясь на руках. — Остановите немедленно трамвай!

Волоча ноги, подошёл кондуктор в тёмно-синей униформе. Его щёки исполосовали дорожки грязного пота.

— Оплатите проезд, — выдавил он.

Теодор опёрся о деревянное сиденье и встал на колени. Трамвай дёрнулся, заворачивая, и Теодор снова упал.

— Вы что, не видите? — запричитала какая-то старушка. — Человеку плохо! Ему нужен свежий воздух. Остановите трамвай!

— Не имеем права, — буркнул кондуктор. — Скоро остановка у парка, там свежий воздух... Оплатите проезд.

Теодор вытащил из кармана горсть мелочи и протянул кондуктору. Тот старательно отсчитал монетки и вернул остаток вместе с шершавым розовым билетиком. Цепляясь за поручень, Теодор поднялся. За окном плыла чугунная ограда, кусты шиповника и барбариса.

— Городской парк! — крикнул кондуктор.

Теодор, пошатываясь, вывалился из трамвая. Клоун сидел на прежнем месте. Увидев Теодора, он соскочил с крыши. Налетевший ветер понёс его к воротам в парк. Теодор прыгнул следом и чудом умудрился схватить клоуна за ботинок.

— Попался!

Клоун дёрнул ногой, освобождаясь от обуви. Теодор остался стоять, сжимая в руках нелепую добычу. Клоун-Гораций перелетел ограду и на мгновение замер. Теодор заковылял к воротам, размахивая ботинком. Клоун захихикал и снова показал язык. Не в силах больше терпеть издевательства, Теодор запустил башмаком в белую физиономию. Клоун дёрнулся, задрогал ногами и пригрозил Теодору пальцем. Новый порыв ветра поднял шары над кронами и понёс в глубь парка.

— Гораций! — крикнул Теодор вслед улетающему клоуну.

В ответ тот помахал рукой, и шары исчезли за каштанами. Теодор в сердцах топнул и пошёл к ближайшей скамейке. \* \* \*

Он отдувался и утирал пот, бездумно прислушиваясь к крикам детей. «Теперь моя очередь дрессировщиком!» — донеслось с площадки. Теодор приоткрыл глаза и скривился: яркие ребячьи одёжки напоминали воздушные шары. Теодор надел очки и обмер: по дорожке неторопливо бежала собака в клоунском колпаке. Она взглянула на Теодора и быстро отвернулась. Уголки чёрных губ оттянулись — будто животное еле сдерживало издевательскую ухмылку. Протрусив мимо, собака приостановилась и оглянулась через плечо. На морде была написана столь явная насмешка, что Теодор вскочил. В глазах собаки мелькнуло одобрение, и она зарысила дальше. Теодор двинулся за ней, даже не думая угнаться, — он еле ковылял на подгибающихся, стёртых до волдырей ногах, — но надеясь хотя бы не упустить её из виду.

На развилках собака садилась, высунув язык и часто дыша, — казалось, она трясётся от сдавленного смеха. Всё реже встречались коляски, детские крики затихли, приглушённые деревьями, и только изредка навстречу проносился велосипедист или проходил собачник с намотанным на руку поводком. Красноватый гравий сменился асфальтом, потом покрытие и вовсе исчезло. Теодор шёл по тропинке, усыпанной листьями и обломками сухих ветвей. Собака вдруг заторопилась и теперь мелькала далеко впереди, то и дело исчезая за орешником.

Тропинка нырнула в бурно разросшуюся сирень. Теодор протиснулся сквозь кусты и замер в изумлении. На огороженной зеленью поляне стоял шатёр — мрачная клякса на цветной бумаге летнего дня. Бурый бархат, ещё сохранивший в складках глубокую синеву, был расшит потускневшим золотом. Изнутри доносился надтреснутый голос — бессмысленное жужжание постепенно складывалось в заунывную мелодию со сбивчивым ритмом. Теодор огляделся в поисках звонка или колокольчика, ничего не нашёл и громко откашлялся.

— Прошу прощения, — проговорил он, — вы не позволите войти?

Мелодия стала отчётливей, она оплетала дремотой, на дне которой колыхалось предчувствие кошмара. Собравшись с духом, Теодор отодвинул засаленный полог и на мгновение ослеп — переход между солнечным светом и полумраком шатра оказался слишком резким. В нос ударил запах кофейной гущи и пудры, Теодор чихнул, и песня оборвалась.

— Кто здесь? — раздался тревожный старческий голос.

Теодор шагнул вперёд, растопырив руки. Пальцы въехали в мягкое и мохнатое, и он вскрикнул.

— Кто здесь? — снова спросили его.

— Я хотел узнать... — выдавил он, но договорить не успел.

— Ви-и-ижу... — завывали из глубины шатра.

Глаза постепенно привыкали к темноте, из сумрака проступали отдельные предметы. Россыпь лоснящихся подушек на полу. Хлам на почерневшем столике: карточные колоды, перья, чашки тончайшего фарфора, изуродованного чёрными потёками; камешки, грязные стопки бумаг. В углу на груде древних попон лежала собака. Хозяйку Теодор увидел последней — иссохшая старуха, закутанная в цветные лохмотья, тонула в резном кресле. Прозрачный венчик волос окружал раскрашенное лицо. На запястьях позвякивали медные браслеты. Казалось, старуха сейчас рассыплется зеленоватым прахом.

Наверху что-то качнулось, задев лысину Теодора. Он шарахнулся, пригибаясь, и поднял глаза. С потолка свисали связки замызганных помпонов, какими украшают костюмы клоунов. Они неуловимо напоминали трофеи охотников за головами — особенно страшными казались

тёмные пятна, от которых слиплись пушистые нити. Теодора передёрнуло.

— Я ищу... — заговорил он, стараясь, чтобы голос звучал грозно.

Старуха вскинула когтистую руку, будто приказывая замолчать. Она всматривалась в мутный стеклянный шар, неподвижная, словно ящерица на горячем камне. Тишина засасывала, как тряпина, и в голове зудела диковинная мелодия. Пауза затягивалась; казалось, гадалка заснула. Теодор кашлянул, напоминая о себе, — звук вышел приглушённый, почти робкий.

— Давно мы здесь не были, истосковались вы по нам, — сказала старуха, не поднимая глаз.  
— Но слышишь? — она ткнула в потолок костлявым пальцем и склонила голову к плечу.

Будто принесённый ветром, налетел обрывок бравурного марша и шелест аплодисментов. «Самое грандиозное представление в мире!» — прокричал сорванный голос.

— Господину шпрыхсталмейстеру тяжело, тяжело, — шептала гадалка, — устал, бедный. Но ничего, скоро, скоро уже на покой, смена идёт...

Изнывая от смутной тревоги, Теодор на цыпочках шагнул к стене — на ней поблёскивала свежей краской афиша. Сверху свисали яркие платки, будто извлечённые из цилиндра фокусника. Теодор прищурился, разбирая строчки:

«...акробаты, жонглёры, клоуны!

Просперо и его дрессированные тигры!

Впервые на арене — Великолепный Теодор и полёт на солнце!

Только один сеанс! Все зрители сидят в первом ряду!»

Теодор почувствовал мимолётную зависть к своему тёзке, и тут же испуганно застучало сердце.

— Все зрители сидят в первом ряду, — прошептал Теодор.

Косясь на старуху, отодвинул платки, чтобы прочитать верхнюю часть афиши, — волоски на запястье встали дыбом, тонкий шёлк жадно облепил руку и громко зашуршал. Теодор повернулся к гадалке, инстинктивно прижавшись спиной к стене. Бархат предательски прогнулся, Теодор взмахнул руками, выдираясь из душных складок, и чуть не рухнул на столик, в последний миг сохранив равновесие. Старуха вышла из транса, сморщенные веки поднялись, и Теодор облился холодным потом: в его лицо уставились мёртвые бельма.

— Вижу, — снова провыла старуха. — Дайте монетку, дайте монетку, — забубнила она. — Всю правду расскажу, всю правду покажу, будущее, прошлое, тайное и скрытое! — Она провела ладонью по шару, такому же безжизненному, как её глаза.

Мгла заclubилась, собираясь к центру. Теодор разглядел человека в красном фраке и блестящем цилиндре — тот стоял посреди арены, вскинув руку. Вместо лица циркача дымился клочок тумана.

Предсказательница снова провела по шару. Сквозь мутную пелену проступил девичий силуэт. Очертания ловкой фигуры были томительно знакомы, и Теодор почти уткнулся носом в стекло, боясь и желая верить сам себе. Девушка, затянутая в белое трико, стояла к нему спиной. Она чуть подалась вперёд, будто готовясь сделать сальто. Теодор присмотрелся и еле сдержал подкатившую к горлу тошноту: в каштановых волосах, скрученных в узел, копошился белёсый краб-паук — он всё дёргал, дёргал ломкой ногой, силясь освободиться из шёлковой ловушки. Теодор отшатнулся, давя крик брезгливого ужаса, и девушка исчезла, на

прощанье улыбнувшись через плечо.

— Алиса! — закричал Теодор, хватая шар.

Стекло выскользнуло из рук и с тяжёлым грохотом покатилося по ковру. Взметнулся багровый рукав, холодные когти предсказательницы впились в руку.

— Дайте монетку, дайте монетку, — снова забормотала она.

Не помня себя, Теодор выхватил деньги и швырнул их гадалке. Старуха зашарила по столу, вцепилась в покрытый пятнами листок бумаги — от него несло солёной сыростью. В одном углу ещё сохранилась виньетка — это была истлевшая цирковая программа.

— Всю правду скажу, никак не обману, — прошелестела гадалка, слепо глядя в расплывшиеся строчки. — О чём мечтаешь, то и сбудется, а выступать тебе в третьем отделении...

— Я вас не понимаю, — Теодор еле шевелил онемевшими губами.

— Господин шпрыхсталмейстер устал. Час близок...

Веки снова поднялись, но теперь вместо белёсых белым на Теодора смотрели пустые провалы глазниц. Из черноты черепа высунулся сердитый рак-отшельник, похожий на пожилого усатого униформиста. Стены шатра покачнулись и приблизились, над бархатом взлетели клубы ядовитого праха, забивая глаза и лёгкие. Теодор рванулся, запутался в тяжёлых складках и закричал. Заложило уши, под веками поплыли огненные кольца. Сквозь них проносились гибкие молнии, оседали где-то в уголках глаз и превращались там в тигров.

Ноги Теодора подогнулись, и он осел на ковёр. За спиной, шипя и булькая, захихикала старуха, что-то скользнуло по лодыжке. Теодор замычал от ужаса и пополз, обрушивая на себя груды пыльной ткани. Мимо прокатилась тумба — виден был только торец, блестящий золотистый ободок вокруг чёрной пустоты. Из неё вынырнула тигриная морда. Сверкнули оскаленные клыки, Теодор вдохнул густой запах сырого мяса и потерял сознание.

Он очнулся на скамейке. Голова гудела, как после многих часов в душной конторе. Полумрак шатра казался дурным сном. Чего только не случится из-за жары! Теодор улынулся, захваченный утешительной мыслью. Сверху донёсся тихий смех. Теодор поднял голову и почувствовал отвратительную слабость в коленях. К океану летели грозди разноцветных шаров, и на фоне побелевшего от жара неба чётко виднелись силуэты циркачей. \* \* \*

Добравшись до дома, Теодор несколько минут сидел, бессильно вытянув измученные ноги, и наконец заворочался в кресле, пыхтя и постанывая.

— Агата, будь добра, завари мне чаю!

Ответом была непривычная тишина.

— Агата! — снова позвал Теодор, добавив жалобных ноток, и прислушался.

Ни звона тарелок, ни запаха супа — мёртвое безмолвие царило в квартире.

— Агата! — уже испуганно крикнул Теодор.

Заглянул в кухню, обошёл комнаты — Агаты не было.

Теодор бросился к телефону. Выслушав серию тоскливых гудков в квартире домработницы,

собрался с духом и позвонил её племяннику — развязному молодому человеку, который однажды в случайно подслушанном разговоре назвал Теодора «наш шарик». Племянник ничего не знал; в его голосе сквозило весёлое недоумение. Теодор с досадой повесил трубку. Необъяснимо и возмутительно, но Агата исчезла — без предупреждения, без предварительной договорённости... Мелькнула мысль, что надо обзвонить больницы, — и пропала, задавленная наконец проснувшимся голодом.

До ближайшего кафе всего полквартиры, но, представив, каково будет натягивать на стёртые до крови ноги ботинки, Теодор застонал. Волдыри и свинцовая усталость — достаточные причины; признаваться себе в том, что выйти на улицу попросту страшно, Теодор не собирался. Он даже немного радовался, что Агаты нет: необходимость готовить ужин отвлекала от переживаний.

На кухне нашёл свежий хлеб и кусок варёного мяса. Соорудив гигантский бутерброд, Теодор щедро намазал его горчицей, налил в большую кружку крепчайшего чая с лимоном и машинально потянулся за «Всемирной историей чудес». Спыхватившись, посмотрел на книгу с мрачным подозрением. Чудес на его долю сегодня выпало более чем достаточно. Но потёртый бордовый переплёт выглядел так уютно, и золотые буквы на обложке подмигивали так заманчиво, обещая привычное, спокойное удовольствие. «Подобное подобным», — пробормотал Теодор. В пустой квартире голос звучал странно, и он, смутившись, поспешно откусил от бутерброда.

«Всемирная история» сама собой раскрылась на статье об Элиасе Шангале, и Теодор удивлённо заметил, что на страницах нет ни пометок, ни жирных пятен от супа, — как будто он, годами перечитывая книгу, избегал этой главы. Пожав плечами, Теодор с головой погрузился в восхитительно обстоятельные попытки Гиббсона и Кара раскрыть секреты гениального чревоугодника. Описания номеров, история карьеры — от ученичества до собственной труппы. Дрессированные животные, создающие полное впечатление говорящих... Аншлаги, гастролы, и вершина — личный цирк. Постаревший, но всё ещё бодрый Элиас берёт на себя роль шпехтальмейстера: номера объявляет то слон, то собака. И катастрофический закат — всего пара сухих строчек:

«Из-за конфликта с властями был вынужден покинуть город под предлогом мировых гастролей. Спустя год судно, на котором Элиас Шангале и его труппа пересекали Атлантику, попало в шторм. Гениальный чревоугодник пропал без вести». Теодор нахмурился и захлопнул книгу.

Алиса тогда от корки до корки прочитывала газеты — история задела её за живое. Гигантский шатёр, окружённый россыпью подсобных построек, стоял там, где буквально через месяц после закрытия цирка принялись строить Морской Вокзал. Земля требовалась под новое здание, Элиас переезжать отказался. «Как они не понимают, — всплёркивала руками Алиса, — он же гений!» Теодор посмеивался над её горячностью. На цирк обрушились проверки, Шангале обвинили в уклонении от налогов, Морской Банк, напуганный перспективой закрытия цирка, потребовал срочного возврата старого кредита.

Поклонники Элиаса сбились в комитет защиты цирка, и Алиса стала его секретарём. Тогда она и познакомилась с Просперо. Теодор видел его лишь мельком, дрессировщик показался ему грубым и самодовольным типом. Его неожиданная дружба с Алисой представлялась Теодору немного странной, но несущественной. Если бы он знал...

Алиса писала во все газеты, собирала подписи под петицией мэру. Пыталась подсунуть бумагу Теодору, но он ответил: «Что изменится от одной подписи? Малышка, я вот-вот жду повышения, а шеф и так рвёт и мечет от этой возни. Ты же не хочешь мыкаться по съёмным квартирам, когда мы поженимся?» А потом Шангале объявил, что цирк уезжает в гастрольное турне по всему миру, и Алиса поднялась на борт «Великолепного» рука об руку с Просперо.

В комнате сгущались сумерки, но Теодор, погружённый в воспоминания, не спешил включать лампу. «Алиса, Алиса», — пробормотал он, но перед мысленным взором появилась не скромная девушка в элегантном платье, а гибкая циркачка в трико.

Теодор дёрнулся, как ужаленный. Строчки афиши, предсказание гадалки... Зажмурившись, Теодор помотал головой и отхлебнул из остывшей кружки. Мечтал выступить хотя бы на любительском представлении, и вдруг получает ангажемент у самого Элиаса Шангале! Это преступники, напомнил он себе. Старуха морочила ему голову, чтобы дать уйти убийцам. Теодор вдруг обнаружил, что стрижёт и без того короткие ногти, чтобы сделать руки чувствительнее, — приём, вычитанный в главе о Гудини.

Отшвырнув ножницы, он заходил по комнате. Порывшись в шкафу, извлёк старый потрёпанный цилиндр в потёках желтка — как-то Теодор попытался повторить знаменитый фокус с сырыми яйцами, а потом засунул шляпу подальше, надеясь, что мерзкие яичные разводы станут не так заметны, когда засохнут. Следом на столе оказался остальной реквизит — мешочек с крючком, чтобы привешивать его под рукав, зеркальца, плотный чёрный платок...

Теодор сделал круг перед воображаемыми зрителями, показывая, что внутри цилиндра пусто. Взмахнул рукой и принялся вытаскивать целые каскады разноцветных шёлковых платков. «Браво!» — крикнул чей-то бас в голове, щекам стало горячо, и Теодор раскланялся, растерянно улыбаясь. Среди его реквизита таких платков никогда не было. С неприятной тяжестью под ложечкой он затолкал платки обратно и хлопнул шляпой о стол. Перевернул — платки исчезли. Теодор отодвинул цилиндр и застыл, нервно потирая грудь. Потом, усмехнувшись, сходил на кухню и вернулся с ложкой. Встал лицом к невидимой публике и принялся выделывать пассы. Он немного отвлёкся, вспоминая порядок действий, и вздрогнул, почувствовав между пальцами холодящую пустоту. Ложка исчезла. На лбу Теодора выступил пот.

Нежный девичий голос пропел: «У него прекрасно получается, правда? Попробуй ещё, милый!» По комнате пробежали отсветы цирковых прожекторов. Чувствуя, что сходит с ума, Теодор накрыл цилиндр платком, напустил на себя загадочно-мрачный вид и щёлкнул пальцами. Откашлялся — в горле стоял ком.

— А теперь, уважаемая публика... — прокаркал он в пустую комнату, замялся, не зная, что сказать дальше, и просто выкрикнул: — Алле!

Платок упал с цилиндра. Теодор с опаской заглянул внутрь. На дне сидела пегая морская свинка и помаргивала на Теодора белобрсыми ресницами. Он потрогал её пальцем — свинка была живая, тёплая и пушистая; к кургузому задку прилипла веточка кружевных водорослей. Держа цилиндр на вытянутых руках и стараясь не дышать, Теодор подкрался к шкафу, сунул шляпу в самый дальний угол и захлопнул дверь. Со скрежетом провернулся большой медный ключ. Теодор метнулся к выключателю, и комнату залил электрический свет.

На столе грудой лежал хлам, совсем не похожий на цирковой реквизит. Теодор был уверен, что цилиндр, запёртый в шкафу, абсолютно пуст, — настолько уверен, что даже не стал проверять. На полу валялась ложка. Теодор представил, как качает головой Агата, и, озабоченно хмурясь, отправился в постель.

Выключать свет он не стал. \* \* \*

Тревога за Агату всю ночь не давала сомкнуть глаз. Вдруг домработница пошла на юбилей Морского Вокзала, а теперь лежит в муниципальной больнице и умирает от потери крови? Теодор ворочался, мучаясь от духоты, простыни насквозь пропитались потом.

Солнце едва тронуло крыши розовой акварелью, а Теодор уже вышел из дому. Придётся начинать с худшего: списки погибших и пострадавших от взрывов наверняка уже опубликовали. Если же имени домработницы там не будет... Что ж, он проверит все больницы и морга, но найдёт её. Теодор направился в сторону порта.

Часы над входом в банк показывали без четверти семь. В распахнутые двери втекали сонные клерки. Теодор печально улыбнулся, вспомнив, как сам тридцать лет подряд так же спешил занять своё место. Сейчас это представилось смешным и глупым, и захотелось крикнуть офисным теньям: давно пора бросить ерунду и заняться чем-нибудь стоящим. Жаль, шляпа осталась дома — вот бы показать им фокус с морской свинкой! Теодор запнулся: прежде он не замечал за собой таких желаний... настолько неуместных, будто кто-то нашептал это на ухо.

Вместо швейцара у дверей банка стоял невысокий толстяк. Монокль в левом глазу поблёскивал на солнце, словно передавал зашифрованное послание. Теодор узнал этого человека сразу: старший комиссар службы безопасности Морского Банка, бывший начальник полиции города. Он механически кивал проходящим мимо людям, на губах застыла официальная улыбка. За спиной неподвижно, как манекены, стояли два охранника в тёмных очках.

«Какая смешная игрушка, — снова услышал Теодор чужую мысль, — как заводная кукла. Ну, разве не смешно?»

Теодор усмехнулся: а комиссар действительно похож на куклу! — и потряс головой. До сих пор Теодор с уважением относился к начальнику полиции. Тот навёл в городе порядок, полностью избавил от бродяг. А сейчас вышел лично поддержать сотрудников банка, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мельком взглянув на лица клерков, Теодор насторожился: в уголках тонких губ разгорались злые улыбки.

— Хо-хо-хо! — полетело над толпой. — Замечательная публика собралась сегодня! Я так рад всех вас видеть!

Теодор метнулся к лестнице и укрылся за перилами. Серый камень ещё хранил прохладу ночи. Теодор прижался к нему щекой и осторожно выглянул меж балясин. Неужели снова Гораций?

Клерки оглядывались, не понимая, что происходит. Растерянность появилась и на лице комиссара.

— Хо-хо-хо! Сейчас мы повеселимся! Вы готовы хохотать до упаду?

Из проулка появился клоун. Толстенький и невысокий, он с лихвой компенсировал свой рост ходулями. В петлице клетчатого пиджака полыхал алый цветок. Крошечный котелок съехал на затылок и чудом не падал.

Комиссар шепнул одному из охранников. Тот кивнул и зашагал к клоуну, на ходу вытаскивая из-за пояса пистолет. Второй загородил начальника широкой спиной и тоже потянулся к оружию.

— Здравствуйте, все здравствуйте! — хохотал клоун. — Чудесно работать перед столь отзывчивой публикой! Вы рады видеть меня?

Ответом ему было смущённое «Да!». Охранник, грубо расталкивая служащих, пробирався вперёд. Клоун наклонился на ходулях, и его лицо оказалось на одном уровне с тёмными очками.

— Какой серьёзный молодой человек! Вы хотите автограф? Как же я могу вам отказать? Хотите, подарю вам цветок?

Охранник ткнул пистолетом в размалёванную физиономию.

— Покиньте территорию.

— Какой образованный юноша! — изумился клоун. — Ваша матушка наверняка гордится тем, что её сыночек знает такие умные слова! Ой! А что это у вас?

В дуле пистолета с громким хлопком возник бумажный цветок.

— Ух ты! — обрадовался клоун. — И как он здесь очутился?

На лице громилы застыла счастливая улыбка. Он взмахнул пистолетом-цветком, и клерки вокруг одобрительно зашумели.

— Вы тоже хотите цветы? — спросил клоун.

— Да! — на этот раз в хоре не было ни капли нерешительности.

Второй охранник подпрыгивал от нетерпения, размахивая оружием.

— Будет, будет! — заверил их клоун. — А теперь — нечто совершенно иное!

В руках у него появился пистолет — огромный, ярко-жёлтый, с дулом-раструбом.

— Сейчас прямо на ваших глазах я попаду в самую сложную цель этого города! Лучшие стрелки пытались поразить эту мишень, но до сих пор это никому не удавалось! Поговаривают, что она заговорена от пуль... Но ведь мы не боимся рискнуть! Как вы думаете, попадём?

— ДА!!!

— Бегите! — заорал Теодор, вскочив.

Комиссар дёрнулся, обернулся на крик, но было поздно.

— Пиф-паф!

Выстрел прозвучал, как хлопок петарды. Клоуна окутало облако дыма, закружилось конфетти. Публика зааплодировала.

Комиссар лежал лицом вниз. Сколько покушений он пережил? Наверное, не один десяток. А жизнь нелепо оборвалась ранним утром от выстрела сумасшедшего клоуна. Комиссар приподнялся на руках и пополз, цепляясь ногтями за скользкий мрамор. Перевернулся на спину. По белоснежной рубашке размазалось багровое пятно. Вытянув руку, комиссар указал на кривляющегося клоуна.

— Он убил меня, — хихикнул он. — Вы только посмотрите, он убил меня!

Комиссар сбился на кашель и, харкая кровью, откинулся назад. Тело изогнулось, ноги дрожали, но он продолжал выдавливать смех вперемешку с мокротой и кровью.

— Я нечаянно! — плаксиво крикнул клоун. — Ой! Ой! Ой! Какое горе!

Из глаз струями хлынули слёзы. Дружно расхохотались клерки. Клоун раскланивался, раздавая бумажные цветы. Теодор перелез через перила и подбежал к комиссару. Оба



охранника веселились вместе с остальными служащими, и никому не было дела до умирающего у них на глазах человека.

Теодор рухнул на колени перед комиссаром. Лицо полицейского стало бледнее зимней луны, пухлые щёки обвисли, как лопнувший воздушный шарик. Рот был вымазан кровью и выглядел страшной пародией на улыбку клоуна.

— Всё будет хорошо, — сказал Теодор, кладя руку на плечо комиссара. Тот едва повернул голову. — Скоро приедет врач, и всё будет хорошо. Потерпите немного...

— Какой смешной, правда? — Комиссар вцепился в рукав Теодора.

— Вам нельзя говорить, — сказал Теодор. — Скорая уже едет. Не двигайтесь.

— Я тоже хочу цветок! Почему мне не дают? — голос переполняла детская обида.

Комиссар снова закашлялся и обмяк.

Теодор зажмурился. Руки заскользили в воздухе, выписывая сложные пассы. Пальцы задели жёсткую проволочку, торчащую из рукава. Не думая, Теодор резко потянул её вверх. Тонкая бумага зашуршала, и в руке распустилась белая лилия.

— Вот...

Комиссар пустыми глазами смотрел на бесполезный цветок. Теодор положил лилию ему на грудь. Бумажные лепестки медленно краснели, впитывая кровь.

— Браво!

Теодор поднял голову. Клоун смотрел прямо на него и хлопал.

— Господин шпрыхсталмейстер будет в восхищении!

— За что? — спросил Теодор, поднимаясь.

— Не догадался? — ухмыльнулся клоун.

— Закон о бродяжничестве?

— За всё приходится платить, а в море было холодно. — Клоун отсалютовал ему пистолетом.  
— До скорой встречи, фокусник.

Теодор молча смотрел, как он пробирается сквозь толпу клерков, похожий на нелепую длинноногую птицу. Клоун нырнул в проулок, и оттуда донёлся пронзительный смех.

Держась за перила, Теодор спустился. Его мутило. Вокруг пересказывали друг другу шутки клоуна, надрываясь от хохота. Кто-то попытался изобразить умирающего комиссара, — это вызвало такой взрыв смеха, что Теодор не выдержал. Грубо оттолкнув вставшего на пути клерка, он побежал вниз по улице.

Через два квартала Теодор остановился. Прижавшись спиной к стене, он озирался, готовый к тому, что из-за угла в любой момент появятся акробаты или жонглёры, карлики или силачи, а может, и сам таинственный шпрыхсталмейстер Элиас Шангале. Значит, «Великолепный» всё-таки не утонул? Наверное, шторм выбросил корабль на пустынное побережье где-нибудь в Африке или Южной Америке. Сколько лет циркачи прожили там, выступая перед мартышками и попугаями?

Мимо, громыхая тележкой с горячей едой, проковылял торговец-китаец в широкой

тростниковой шляпе. Из распахнутых лючков валил густой пар, до Теодора долетел резкий запах жареной рыбы и специй. Голод до боли сжал живот. Теодор поспешил за торговцем и догнал его у поворота в узкий проулок. Купил два сэндвича с тунцом и стаканчик растворимого кофе и набросился на еду с таким наслаждением, словно голодал месяц.

— Не хотите сахарной ваты? — предложил китаец.

— Простите? — удивился Теодор.

— Сахарная вата, — повторил торговец. — Помните? Выходишь из шатра на солнце и чувствуешь аромат...

— Из какого шатра? — Теодор попятился.

Китаец мечтательно закатил глаза.

— Нет, вы не можете отказаться! — Он достал из тележки розовое облако на палочке. — Держите!

Китаец вложил вату в руку Теодора и, улыбаясь чему-то своему, поковылял дальше. Теодор с раскрытым ртом смотрел вслед. Цирк пропитывал город — даже уличные торговцы начали сходить с ума. Может, и Агата решила податься в гимнастки? Образ домохозяйки в блестящем трико, раскачивающейся на трапеции под куполом цирка, подействовал, как холодный душ. Теодор чуть не забыл, ради чего вышел из дома!

В утренней газете не нашлось ни строчки об убийстве начальника порта, не говоря уж о списках погибших и пострадавших. Первую полосу занимала статья о слоне в городском парке. Автор совсем не удивлялся появлению животного, зато взахлёб рассказывал, сколько радости слон принёс детворе. Теодор швырнул газету в урну и направился к Морскому Вокзалу.

На площади акробаты строили живую пирамиду. Вокруг стояли служащие порта и грузчики со складов. Теодор подошёл к стеклянным дверям, но они оказались заперты. Внутри виднелись раскуроченные остатки помоста, по полу катались цветные шары, но тел не было. Теодор повернулся к ближайшему клерку.

— Где я могу найти списки?

— Списки? — переспросил служащий. — Какие списки?

— Погибших и пострадавших от взрывов.

— Каких взрывов? — удивился клерк. — Надо же, как ловко! Bravo! Бис!

На вершине пирамиды, опираясь на голову усатого крепыша, стояла на одной руке девушка-акробатка. Рыжие волосы развевались на ветру, как знамя. Понуро опустив голову, Теодор пошёл прочь.

До позднего вечера он метался между больницами и клиниками, но не нашёл и следа своей домработницы. Дважды заходил к её племяннику: в первый раз тот сказал, что понятия не имеет, где Агата; во второй — вышел в клоунском колпаке и захохотал. Теодор убежал.

Солнце спряталось за крышами. Теодор сидел за столиком уличного кафе и изо всех сил старался не смотреть на выступление карликов-мимов. В кафе было почти пусто, лишь за дальним столиком высокая блондинка потягивала текилу. На красивом лице нелепо торчал фиолетовый нос на резинке.

Теодор спрятался за газетой; ему удалось найти выпуск двухдневной давности, где не было ни строчки о цирке. Он читал сухие банковские сводки, постановления, отчёты о проделанной работе — скука цифр и эвфемизмов казалась единственной защитой от безумия мира. Карлики и не думали уходить. Теодор дочитал газету до конца; остался только список прибывших в порт кораблей. Раньше он никогда не читал этот раздел, но сейчас... Теодор впился в газету.

Первым номером значился «Великолепный». Теодор моргнул, ещё раз перечитал короткую строчку. Побарабанил пальцами по столу, нервно улыбаясь. Вскочил и направился к порту.

Карлики, перешёптываясь, смотрели ему в спину. \* \* \*

Ночь пахла ржавчиной и нефтью. Над портом катилась луна, похожая на огромный жёлтый глаз. Глаз хищно выглядывал из-за клочковатых облаков, высматривая жертву. Хотелось бегом броситься домой, забиться под одеяло и не высовывать носа, пока не рассветёт.

Маслянистый свет едва проникал в проходы между контейнерами, и Теодор шёл практически на ощупь. Под ногами чавкало. Стены железного лабиринта наваливались, сжимали невидимыми тисками. Теодору казалось, что он топчется на месте, а вокруг всё движется и меняется, словно в центре огромной китайской головоломки, которую как раз начали собирать. Прямо сейчас кто-то огромный и страшный переставляет контейнеры, как игрушечные кубики, выстраивает их рядами, подчиняясь сложным правилам неведомой игры. Теодор боялся обернуться и увидеть за спиной сплошную железную стену.

Он шёл, ориентируясь на бормотание океана. Лабиринт искажал звуки — берег казался то ближе, то дальше, и определить истинное расстояние было невозможно. Теодор даже не был уверен, что выбрал правильное направление, но убеждал себя, что если пойдёт не сворачивая, рано или поздно выберется к пирсам. Всё должно кончиться там, где началось, — где он потерял Алису, там и найдёт.

Расчёт оказался верен. Теодор не заметил, как вышел на причал. Океан встретил порывом ветра и горстью солёных капель в лицо, приведя в чувство. Луна плясала на мелких волнах; от воды поднимался едва заметный пар. Узкий луч маяка пробежал по облакам, расплылся в тумане и погас.

Стоящие на рейде корабли походили на призраков. Ни на одном не горел свет. Теодор пошёл вдоль причалов, всматриваясь в изломанные ночью силуэты. Из-под ног метнулось светлое пятно и скрылось, пахнув псиной. Невдалеке мелькнул огонёк. Теодор прижал очки к переносице, пытаясь разглядеть, что скрывается за густой темнотой. Снова вспышка — холодный флуоресцентный отблеск. По позвоночнику скользнули мурашки, но Теодор всё же шагнул на свет, как рыбка на огонёк удильщика.

Корабль стоял у развалившегося причала, у которого, наверное, лет двадцать не швартовалось ни одно судно. Это был «Великолепный». За годы он ничуть не изменился — пузатый пароходик с низкой осадкой и трубой, похожей на бочонок. Выходить на таком в открытый океан было чистым самоубийством.

Трап оказался спущен. Теодор заколебался: а вдруг, стоит ступить на борт, и корабль погрузится в пучину вод? Может, он и вернулся для того, чтобы забрать его с собой? Теодор потрогал ногой гнилые доски. Сырое дерево отозвалось всхлипом — того и гляди, развалится на части. С фальшборта свисала плеть бурых водорослей. От парохода тянуло сыростью и гниением.

Собрав всё мужество, Теодор шагнул на трап. Доски угрожающе стонали, но вскоре он, опираясь о ржавый леер, выбрался на палубу и нерешительно огляделся. Корабль был пуст, лишь в лужице под ногами копошилась пучеглазая каракатица. Дряблое тельце вспыхнуло

голубым и тут же погасло. Всего лишь светящийся глубоководный моллюск.

Хотя... Теодор невольно отпрянул. Как каракатица попала на борт? Ведь они живут в океанических впадинах, в царстве вечного холода и мрака. Теодору стало жутко: из каких глубин вернулся «Великолепный», если привёз такого пассажира? И какие чудища скрываются в тёмных трюмах?

Луна выползла из-за облаков, залив «Великолепный» серым светом. Теодор быстрым шагом направился к корме. Прошёл мимо покосившейся рубки, в которой за задраенными иллюминаторами плескалась вода и шевелились тени. На стене висел разбухший от влаги спасательный круг, обросший гроздьями морских уточек.

Теодор вскарабкался по маленькой лесенке и вышел на бак. Посреди широкой площадки птичьей лапой торчали остатки пляжного зонта, под которыми стоял шезлонг. Сидящая в нём сгорбленная фигура в высоком цилиндре не шевелилась, и Теодор решил, что незнакомец спит.

— Прошу прощения, — окликнул Теодор.

Набежавшая волна качнула корабль. Голова человека дёрнулась, и на Теодора уставились пустые глазницы. Вечная улыбка скелета сверкнула в лунном свете. От неожиданности Теодор взвизгнул.

Человек в кресле был мёртв, и мёртв давно. Плоть истлела, кости покрывала зеленоватая плесень, и они слабо светились. В руке скелет держат бокал с тёмной жидкостью.

— Доброй ночи, господин фокусник! — скелет приветственно взмахнул бокалом. — Пришли обсудить гонорар за завтрашнее представление? Смею заверить: вы останетесь довольны. В моём Цирке всё по высшему разряду.

Теодор попятился, задыхаясь от ужаса. Спустя мгновение он нёсся прочь с проклятого корабля. Он не оборачивался, но был уверен, что слышит за спиной пощёлкивание костей, мерное и сухое, как щелчки вентилятора.

Теодор промчался по пирсу и устремился в спасительную темноту лабиринта контейнеров. Оставалось пробежать совсем чуть-чуть, когда он споткнулся о железную балку, замахал руками и упал в лужу. В ноздри ударил запах гнилой воды и мазута.

— Свет!

Фонарь на маяке вспыхнул с невероятной силой. Луч прожектора осветил Теодора, барахтающегося на земле, как упавший на спинку жук. Он поднялся, щурясь от яркого света. Казалось, из темноты на него глядят сотни жаждущих глаз. Несмотря на дрожь в коленях, Теодор невольно поклонился. Он ждал, что сейчас к нему выйдет скелет, но секунды тянулись, а никто не появлялся. Теодор попятился к контейнерам. Луч прожектора полз следом. Не выдержав, Теодор рванулся и едва успел остановиться, увидев, что ждёт его впереди.

В узком проходе возвышалась тумба, и с неё скалил клыки белый тигр. Утробный рык громовым раскатом заметался в железных стенах. Тигр потянулся, выгнув спину, и шагнул к Теодору.

— Рад снова встретиться! — раздалось над головой.

На крыше контейнера стоял Просперо. Лицо дрессировщика тонуло в полумраке, мускулистые руки масляно блестели. Он поигрывал длинным хлыстом.

— Здравствуйте, — прохрипел Теодор.

Тигр обошёл его по кругу. Теодор чуть не вывихнул шею, стараясь не упустить зверя из виду. У тигра были синие глаза.

— Зигфрид! — Просперо щёлкнул кнутом, и зверь, глухо ворча, отступил. — Не бойтесь, он совершенно ручной и своих не трогает. Ведь вы с нами, господин фокусник?

— Простите? — обмяк Теодор.

— Мы слышаны о вашем невероятном номере. Правда, Зигфрид?

Тигр зарычал, соглашаясь.

— Конечно я с вами! — заискивающе улыбнулся Теодор хищнику.

— Вам будет нужна ассистентка. Могу предложить свою бывшую. Вы знакомы и прекрасно работаетесь. Себе я нашёл новую. Госпожа Агата!

Из темноты выступила ещё одна фигура. Вечно недовольное лицо Агаты сейчас лучилось таинственностью. Красный костюм сверкал блёстками. В руках она держала обруч. Домработница кокетливо улыбнулась Теодору.

— Госпожа Агата, покажите господину фокуснику, чему вы научились.

— С превеликим удовольствием! — томно произнесла Агата.

Она подняла над головой обруч, и на ободке заплясали оранжевые язычки пламени. В центре огненного кольца жёлтым бельмом висела луна. Агата улыбалась.

— Алле-оп!

Удар хлыста. Зигфрид прыгнул, устремившись к луне, как к мишени. Белая молния прочертила небо. Тигр взмахнул лапой, ударил по светилу, и — Теодор был готов поклясться — на луне появились четыре тёмные полосы. В ту же секунду Зигфрид приземлился по ту сторону от обруча.

— Завтра мы собираемся повторить этот трюк на новом уровне, — Просперо хохотнул. — Но он ни в какое сравнение не идёт с вашим номером! А теперь позвольте раскланяться, нас ждут репетиции. Желаем удачи!

Свет погас.

Когда глаза снова привыкли к темноте, рядом никого не было. Теодор побрёл по причалу. Возвращаться домой не хотелось. Что его там ждёт? Шляпы, полные кроликов, да порхающие по квартире голуби? Вскоре он нашёл вытасненную на берег рыбацкую лодку и забрался под брезент. Лёжа на жёстких мотках сетей, Теодор думал о завтрашнем затмении.  
\* \* \*

Его разбудило солнце — время шло к полудню; отвесные лучи проникли под брезент и затанцевали на веках. Теодор потянулся и дёрнулся, ощутив вместо мягкой постели жёсткие борта. Затёкшее тело ныло, в спину врезалось что-то угловатое, и голова казалась тяжёлой, как пушечное ядро. Он сел, и вчерашний день навалился на него вместе с отсыревшим за ночь брезентом. Теодор испуганно посмотрел на солнце — оно ровно сияло в прозрачном небе. Как Теодор ни старался, он не мог разглядеть признаков затмения. Мелькнула надежда, что всё обойдётся, и тут же исчезла: порыв ветра принёс с набережной карнавальный гул. Город по-прежнему сходил с ума. Теодор выдернул из-под себя что-то жёсткое и жалобно

вздыхнул: в руке оказался старый цилиндр, и не нужно было искать потёк желтка, чтобы узнать его. Теодор оглядел себя и обомлел: вместо привычного коричневого костюма на нём оказался невообразимый фрак — алая ткань металлически блестела, пуская весёлые зайчики.

Захрустела галька под ногами идущего вдоль берега клоуна. Фигура и походка показались Теодору знакомыми.

— Гораций! — крикнул он.

Клоун оглянулся и расплылся в радостной улыбке. Остановился, поджидая Теодора.

— Гораций... ты... зачем?! — только и смог пропыхтеть тот.

— Ай-ай, — ответил клоун, и жирно намалёванные брови взлетели вверх. — Какая жалость! Вы меня с кем-то спутали, молодой человек.

— Тебе не поможет грим, Гораций, — сердито ответил Теодор. — Перестань валять дурака.

— Грим? Не понимаю, о чём вы, — хихикнул клоун.

Рассвирепев, Теодор схватил его за грудки. Тело Горация неожиданно подалось, как тряпичная кукла. Бессвязно вскрикивая, Теодор подтащил его к воде. Повалил на гальку, сунул лицом в мелкие волны и принялся оттирать краску. Клоун хихикал и подёргивался, слабо дрыгая ногами.

— Ай-я-яй, какой сердитый юноша, — пробулькал он.

Теодор оттолкнул его и уселся на землю, обхватив голову руками. Клоун так и остался лежать — он вывернул шею, обратив лицо к Теодору, и посмеивался. Половина рта и один глаз скрывались под водой. Щёки по-прежнему покрывали белила, и весело кривился огромный рот — море не смыло грим. Теодор взглянул на промокший рукав — ткань испачкалась краской. Забыв о клоуне, он поднялся и пошёл к набережной. \* \* \*

Цирковая толпа несла Теодора в центр города. Под ногами шуршало — асфальт почти скрылся под слоем растоптанных бумажных цветов и опилок. Пахло карамелью и потом, ванилью и порохом. Машины исчезли с улиц, и все шли, как заблагорассудится, не надо было шаррахаться от ревающего и гудящего железа. На перекрёстке жонглировали гантелями силачи в полосатых трико. В небо взлетали гроздьё разноцветных воздушных шаров. Люди стекались отовсюду, и было невозможно разобрать, где зрители, а где артисты, — каждый готов был выкинуть коленце. Теодор затерялся среди этой оравы. Ради маскировки он иногда взмахивал цилиндром — из него то бил цветочный фонтан, то, потешно подсакивая, выбегал кролик. Теодора хлопали по плечу. Из-под ног вывернулась маленькая девочка и писклявым голосом попросила автограф — Теодор, улыбаясь, извлёк из воздуха полосатую ручку, открытку со слоном на шаре и вывел размашистую подпись. Шевельнулась робкая гордость — Элиас не зря пригласил, публика узнаёт.

Озабоченный униформист с охалкой булавы в руках пребольно ткнул Теодора в бок, и он очнулся. Единственный нормальный человек в этой безумии, он должен сохранить здравый смысл. Пожилой матрос с медным кольцом в ухе вдруг подпрыгнул и повис на трапеции вниз головой. Теодор поднял голову и обмер: на солнце быстро напозла тень. Затмение началось.

По толпе прокатился восторженный гул. Люди доставали припасённые заранее закопчённые стёкла и тут же отбрасывали, смотрели на солнце незащищёнными глазами, даже не шурясь. Серебристый серпик мигнул и погас, проглоченный тенью. На город опустились призрачные

сумерки; с моря налетел порыв холодного ветра, пахнуло гнилыми водорослями. По небу покатилося колесо солнечной короны. Тяжко толкнулось сердце, будто придавленное огромной ногой, и сквозь гомон толпы и визгливый смех клоунов Теодор слышал глухие удары, словно швыряли на асфальт мешки с опилками. Задребезжали окна. От мягкой и тяжелой поступи заложило уши, и из сумрачного переулка выдвинулся слон.

Крутой лоб, прикрытый мишурой и бархатом, плыл вровень с третьими этажами. На спине покачивался красно-зелёный паланкин. Шторы отёрнулись, и на макушку слона выпрыгнул Элиас Шангале. Долговязая фигура ни капли не походила на скелет, лишь в движениях шпрыхсталмейстера проскальзывала угловатая разболтанность. Слон пронзительно затрубил, улицу захлестнули аплодисменты. Элиас вскинул руки.

— Вот и мы, уважаемая публика, вот и мы! — В руках Элиаса не было мегафона, но его звучный голос легко заглушил шум. — Наш цирк вернулся, чтобы дать самое грандиозное представление в мире — для вас, дорогие зрители!

Ему ответили вопли восторга и свист. Теодор вдруг понял, что кричит и хлопает вместе со всеми, орёт во всё горло, размахивая шляпой. Он испуганно замолчал. Цирк вцепился в него, как гигантский спрут: Теодор отсекал щупальца наваждения, но взамен появлялись новые, затягивая во всеобщее безумие. А может, не надо сопротивляться? За что он держится? За пустую квартиру, мерзкую овсянку да остывший суп? А здесь его все любят, здесь кипит настоящая жизнь, полная чудес и волшебства...

Теодор встретился взглядом со шпрыхсталмейстером. Элиас улыбался — широко и чуть снисходительно. Он поклонился Теодору и обвёл рукой веселящуюся толпу, приглашая присоединиться. Вспыхнула римская свеча. Лицо Элиаса исчезло за веером цветных искр, но в последний момент Теодор успел увидеть оскаленную ухмылку скелета.

Неслышно подошёл Просперо, поигрывая хлыстом. За его спиной стояла Агата с обручами.

— Вот она, наша цель! — дрессировщик вскинул хлыст, указывая на солнце. — Мои тигры будут первыми, кто прыгнет сквозь этот обруч!

Теодор посмотрел на пылающее в небе огненное кольцо. Просперо выбрал лучшую мишень; это действительно величайшее представление в мире. Безумие прервётся лишь с первыми лучами — но солнце не спешило выходить из тени, и Теодор с ужасом понял: затмение будет длиться столько, сколько нужно для шоу.

Сверху грянул хриплый рёв. Над входом в Морской Банк сидел белый тигр. Просперо щёлкнул бичом, снова прокатился рык — ещё два хищника сжались в пружины на козырьке подъезда в доме напротив. В воздухе вспыхнули огненные круги, тигры прыгнули навстречу друг другу, и над толпой поплыл запах палёной шерсти. Громадные звери метались над улицей в диком танце; Агата швыряла всё новые и новые обручи, пока тигры и огонь не слились в единое целое.

Новый щелчок бича — обручи рухнули на асфальт и погасли. В небе остался лишь серебристый солнечный ободок. Пробежали лучи прожекторов, в охватившей улицу тишине раздалась барабанная дробь — и прервалась выкриком Просперо. Три тигра молниями взмыли в небо. Теодор явственно, словно в замедленной киносъёмке, увидел, как тигриные морды впиваются в лунную тень. Дрогнули ставшие отчётливыми протуберанцы, по толпе пронёсся протяжный вздох, и тигры пронзили солнечную корону насквозь.

— А теперь — наш главный номер! — разнёсся над улицей голос Элиаса.

Теодор вдруг понял, что должно произойти дальше. Сердце ушло в пятки; он пригнулся и, пихаясь локтями, начал пробиваться сквозь толпу в подворотню.

— Позвольте, — бормотал он, — извините... я страшно спешу.

Хлопнула петарда, взмокшее лицо облепили кружочки конфетти. Перед глазами заплясала раскрашенная физиономия клоуна и с хохотом провалилась в темноту. Теодор лез вперёд, не обращая внимания на оттоптанные ноги. Спасительный проулок был совсем близко, но толпа отхлынула, и Теодор оказался в центре пустого, ярко освещённого круга. Толстый слой опилок пружинил под ногами, и от этого тоскливо тянуло в коленях. Теодор понял, что стоит на арене — одинокий и беспомощный под взглядами нетерпеливой публики. А ведь он так толком и не репетировал, да ещё и растерял в давке весь реквизит. От ужаса засосало под ложечкой — перед мысленным взором встало укоризненное лицо Элиаса, слёзы Алисы... Он, Великолепный Теодор, не может провалиться! Лучшие иллюзионисты мира обходились без всяких инструментов, чем он хуже? Горячая щекотка куража овладела Теодором.

Он взмахнул цилиндром, и из раструба вырвался шлейф ярких бабочек. Они закружились над головой; Теодор щёлкнул пальцами, и бабочки осыпались облачком конфетти. Толпа взревела от восторга. Теодор поклонился. Между пальцев вспыхивали крошечные искорки, словно его окутало мощнейшее электрическое поле. Теодор достал изо рта яйцо, показал его зрителям и раздавил в кулаке. Когда он разжал ладонь, на палец прыгнула жёлтая канарейка.

— А сейчас номер, которого мы все так ждём! Великолепный Теодор и полёт на Солнце! — загремел шпрыхсталмейстер.

В центре манежа возникла пузатая пушка, сверкающая медью. Короткий ствол целился в застывший обруч солнца. Из дула торчал плотно обмотанный корабельным канатом толстяк в колпаке с помпоном — виднелись только голова и плечи. Багровая лысина потно блестела. Толстяк замычал, и на Теодора повеяло бумажной пылью — будто он вновь оказался в офисе, погребённый под квитанциями и счетами. Он рефлекторно сорвал с головы цилиндр и поклонился.

— Извините, господин директор, — прошептал он, — что вы здесь делаете?

Банкир снова застонал. Его рот был заткнут жонглёрским мячиком. Теодор бочком подскочил к пушке, торопясь вытащить кляп, и остановился, счастливо заулыбавшись: на арену гимнастическим шагом вылетела Алиса. В её руке шипел и трещал огромный бенгальский огонь. Алиса изящно раскланялась и протянула его Теодору. Тот недоумённо принял свечу. Присмотрелся к пушке — и увидел бикфордов шнур. Банкир закричал сквозь кляп; щёки стали сизыми от напряжения, глаза безумно ворочались. В глазах Алисы мелькнуло нетерпение.

— Ты же всегда мечтал это сделать, — шепнула она.

— Я... — замялся Теодор.

Разве этого он хотел?

— Чего ты ждёшь? Твои мечты перед тобой — протяни руку и возьми. В моём цирке всё по высшему разряду!

— Но это же живой человек!

— Такая маленькая цена! Посмотри на эту жирную рожу — кто он такой? Мешок, набитый деньгами. Пустышка. Тень.

Алиса обняла Теодора за шею.

— Теперь всё будет хорошо! — зашептала она ему на ухо. — Навсегда! Целый мир лежит перед нами...



Из толпы вышла белая собака в гофрированном воротнике.

— Дайте монетку, монетку для глаз...

Алиса подтолкнула Теодора к пушке.

— Твой ход! Сделай же это! Ради меня...

Теодор шагнул вперёд. Рука застыла над фитилём. Бенгальский огонь разгорелся ярче, колючие искры щипали кожу. Теодор взглянул на дрожащее лицо банкира. По щекам толстяка катились слёзы. Он умоляюще затряс головой.

— Монетку для глаз...

Нет, не тень, не пустышка...

Теодор повернулся к публике. Копперфилд как-то заставил исчезнуть товарный поезд, а кто такой Копперфилд по сравнению с ним?

— Номер называется «Исчезающие предметы», — голос не дрожал. — Сейчас на ваших глазах исчезнет...

Он выдержал драматическую паузу.

— Мешок с деньгами! — ухнула толпа.

— Цирк!

Слон угрожающе затрубил. Элиас вскочил на ноги. От элегантного шпрыхсталмейстера не осталось и следа — на спине слона дёргался скелет.

— Не смей! — завизжала Алиса.

— Дайте монетку...

Теодор печально улыбнулся и взмахнул плащом. Мир исчез за всплеском красной ткани. Теодор поднял цилиндр, накрыл его полой, и стало тихо. Ни криков, ни аплодисментов, ни рёва животных... Слыша лишь глухие удары собственного сердца, Теодор сдёрнул с цилиндра покрывало плаща. Шляпа была пуста.

Теодор огляделся. Не осталось ни чудовищного шпрыхсталмейстера, ни Просперо с его тиграми, ни говорящей собаки, ни Алисы. Вокруг стояли растерянные люди. Обычные клерки, зачем-то вырядившиеся в карнавальные костюмы.

Луна дёрнулась, и небо прочертил тонкий серп солнца.

— Смотрите, затмение! — крикнул кто-то, и ему ответили возгласы удивления.

Теодор повертел в руках цилиндр, грустно усмехнулся и надел на голову. Повернулся к хлюпающему носом директору банка, присел на корточки и принялся снимать тугие веревки.

— Господин Теодор! — раздалось за спиной. — Господин Теодор!

Он обернулся. К нему, шатаясь, шла Агата, — красное трико болталось нелепыми складками. Теодор освободил руки банкира, поднялся и шагнул навстречу. Агата остановилась, неодобрительно оглядела Теодора с ног до головы.

— Вам не кажется, что красный фрак — это немного эксцентрично? — спросила она и

разрыдалась.

Теодор обнял её за острые плечи.

— Пойдёмте домой, Агата, — устало сказал он, — пойдёмте домой. Вам надо выпить успокоительных капель.

Он взял её под руку и поправил цилиндр.

## ВЗГЛЯД НАЗАД

Николай Желунов

Проект «Ленин»

«В сущности, — подумал я, — этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всём своём душевном уродстве, были всё-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утёс, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая всё на своём пути. И при том — подумайте! — камень, в силу какого-то волшебства — мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая — уничтожаю». А. И. Куприн, «Ленин. Моментальная фотография»

Ленин говорит мальчику: — Хочешь, я тебе куплю эту лодочку?

А это была чудная маленькая лодочка. С парусом. И парус поднимался и опускался. И около паруса стоял маленький матросик. И там были устроены скамеечки, маленький руль и флаг. Ну, удивительно интересная игрушка! Мальчик ужасно обрадовался. И Ленин купил ему эту лодочку. М. Зощенко, «Рассказы о Ленине»

Эта история началась прохладным и зыбким августовским вечером, в час, когда ночная мгла, взявшая в союзники ослабленный по причине уикенда смог, спикировала на столицу — и тут же в отчаянии отступила под шквальным огнём неоновой ПВО. В отместку ночь тяжёлым покрывалом затянула звёзды, и лишь надкусанный блинчик Луны непобедимо и жирно поблёскивал над горизонтом, с недоверием поплёвывая на своё отражение в бензиново-радужных волнах реки.

Сейчас мы можем с точностью до минуты установить время, когда произошло событие, положившее начало череде великих потрясений, ужаснувших и навсегда изменивших Россию.

Итак, Великое Откровение началось в субботу, 26 августа 2006 года, ровно в 22:45 по московскому времени.

Откровению было угодно снизойти на одноглазого паупера, навсегда оставшегося для нас

безымянным. Вопреки укоренившемуся в общественном сознании стереотипу, паупер не был пьян, не рылся в урне в поисках бутылок и не выпрашивал у прохожих деньги. Паупер в задумчивости стоял на булыжной мостовой у Исторического музея, там, где Никольская улица вываливается на Красную площадь, и в памяти его, как на экране телевизора, мерцали картины далёкого прошлого. Вот здесь — да-да, по этой самой булыжной мостовой грохотали танки под алыми знамёнами, ползли чудовищные сардельки межконтинентальных ракет, а следом за ними радостно шагали колонны советских граждан, размахивающих цветами и воздушными шариками. Граждане волнами прибоа обнимали утёсы-транспаранты с портретами мудрецов, а сами мудрецы улыбчиво приветствовали их с гранитного борта Мавзолея.

И так глубоко погрузился безвестный паупер в воспоминания, что показалось ему — тонкая ткань реальности двадцать первого века не выдержала напора образов века ушедшего и беззвучно расползлась горячим полиэтиленом.

Стремительной походкой, словно крылья, раскинув в стороны полы френча, летел через московский сумрак Владимир Ильич Ленин. Ленин-видение. Ленин-песня. Тот, кто рос осенённым добротой его бесчисленных портретов, сразу узнал бы этот лукавый прищур пронзительных узких глаз, и аккуратную бородку, и высокий сияющий лоб. Левая половина ленинского лица полыхала голубыми отсветами рекламы Samsung, на правой алел inferнальный отблеск кремлёвских звёзд, в глазах отражались разноцветные огни вывески над рестораном «Дрова». Нет, не карикатурный двойник в мятом кепарике пробежал по Красной площади в поиске желающих за полтинник сфотографироваться в обнимку с «вождём пролетариата» — воскресший Ленин рвал стонущее пространство, мыслящей бомбой уносясь к обречённым основам миропорядка.

И когда встретились их взоры, Владимир Ильич ещё сильнее прищурился, будто фотографируя беднягу своим восьмимегапиксельным взглядом, и тут же исчез в водовороте голов, дрейфующем по направлению к Тверской.

Безвестный же паупер немедленно лишился рассудка, и до утра слушали его бессвязные вопли жители района Китай-город. В бледных отсветах на животах облаков высоко в небе страшным флэшбэком хмурилось ему волевое лицо Ильича, и бедный безумец кричал благим матом, возвещая начало новой эры.

Магнитофонная запись сделана незадолго до описанного выше происшествия. Имена беседующих, обстоятельства и место встречи разглашению не подлежат. Голоса изменены.

У.: — Дорогой [

удалено цензурой ], я так настаивал на встрече, потому что наш проект вошёл в завершающую фазу. До возвращения вождя остаются считанные дни.

З.: — Подождите-ка! Вы хотите сказать, что без согласования со мной начали эксперимент?!

У.: — Извините, [

удалено цензурой ], но согласовано всё было ещё в девяносто первом, вы сами понимаете с кем. Я ставлю вас в известность как лидера оппозиции. Надеюсь, самоотверженность работников Института не останется незамеченной!

З.: — Вы так уверены в успехе? Кто поверит, что предъявленный миру Ленин — действительно Ленин, а не Мария Дэви Христос в кепке?

У.: — Это уже политика, а не наука. Я думаю, живой Ильич сам ответит на этот вопрос. Нас ждёт великое будущее!

Слышен звук льющейся жидкости, звяканье блюдец.

З.: — Вы уверены, что здесь нет «жучков»?

У.: — Голову даю на отсечение. Это дача тёщи двоюродного брата моего друга.

З.: — Ну хорошо. Однако в двадцать четвёртом году Ленин был очень плох...

У.: — Помилуйте, [

удалено цензурой ], неужели выдумаете, что мы потратили пятнадцать лет и миллионы долларов, пожертвованные верными ленинцами, чтобы возродить безнадежного больного? Калеку с фотографий в масонской прессе? Ильич вернется в прекрасной форме, дьявольски энергичным и абсолютно здоровым, уверяю вас. Мы вернем ему мозг... а хоть бы девятнадцатого года!

З. (раздражаясь): — Всё это пахнет авантюрой. А если он будет невменяем? Под ударом окажется партия...

У.: — Ваши сомнения меня настораживают, [

удалено цензурой ]. Все необходимые органы уже изъяты у доноров или клонированы, мертвые ткани удалены методом тотал-пилинга — это новейшая, очень дорогая технология. Впрочем, это мелочь, семечки. Главное: регенерация мозга почти завершена. К нам возвращается гениальный разум!

З. (сдавленно): — И он будет способен управлять страной?

У.: — Он будет способен на всё. Дорогой [

удалено цензурой ], Ильич вернется к нам в ещё лучшем виде, чем был при жизни! Ещё более сильным, здоровым, мудрым! Ильич яростный! Ильич карающий и беспощадный!

На этом отрезке фонограммы зарегистрирован посторонний звук. Собеседников было только двое, и тем не менее загадочный ТРЕТИЙ голос явственно произнёс короткую нечленораздельную фразу. Специалисты сотни раз прокрутили плёнку, подвергли её компьютерному анализу и в конце концов смогли разобрать одно-единственное слово. Это слово «жопа». В результате проведённого расследования обладатель наглого мистического голоса так и не был установлен.

У. (кашляет): — Что? Вы что-то сказали?

З.: — Я думал, это вы... Боюсь сойти за оппортуниста, но не кажется ли вам, что многие ленинские идеи и методы устарели? Вы представляете, как потрянёт мир? Это не наука, это политика, уважаемый [

удалено цензурой ]. Я не могу дать добро на проведение эксперимента.

У.: — Вы и есть оппортунист, [

удалено цензурой ]! И добра вашего никому не надо. Тело из Мавзолея давно вывезено. Ильич придёт в себя в Подмосковье, в одной из наших секретных лабораторий. После завершения процедур у него будет время ознакомиться с текущей политической обстановкой. Мы предоставим ему возможность своими глазами увидеть, до чего довели страну

«демократы»! А затем, я уверен, нас ждёт тяжёлая и долгая политическая борьба — до полной победы социализма в мировом масштабе.

З. (агрессивно): — Вы не посмеете пойти против решения руководства партии!

У. (пылко): — Ильич — наша партия! И не пытайтесь нам помешать!

Конец записи.

Второе пришествие Ленина началось вполне обыденно — со слухов и пересудов. Волшебные лучи Великого Откровения далеко не сразу проникли в каждый мозг, на это потребовалось время.

Лидеры всевозможных коммунистических партий и движений, — а их на момент Откровения насчитывалось в стране около десятка, — отреагировали первыми: недоверием и возмущением, сравнимыми только с изжогой и аллергией. Пока оживлённый Ильич отъедался, изучал в тиши кабинета историю двадцатого столетия, а затем стремительно перемещался по стране, знакомясь с жизнью простого народа, левая оппозиция закипала и бурлила на заседаниях ячеек и комитетов. С трибун митингов летели молнии. У посольства США выстроился круглосуточный пикет с плакатом «Янки, гоу хоум!». Министерство здравоохранения фиксировало рост потребления валерьянки и корвалола.

В унылый и промозглый осенний день, когда представителю любой прослойки классового общества хочется сидеть в тёплых тапках у телевизора и пить чай с домашними пирожками, в центре Москвы начался экстренный съезд коммунистов России. Привлечённые слухами, слетелись на сборище и коммунисты братских стран СНГ и Балтии, подтянулись также некоторые товарищи из дальнего зарубежья и даже несколько коммунистов из Америки (надо ли говорить, что все американцы, как один, были цээршниками и подлецами), в общем, то был полноправный съезд всех коммунистов мира.

На деньги, подаренные коммунистам доброй феей, съезд на неделю арендовал Колонный зал Дома Союзов.

— Ну и где этот Ленин? — усмехались одни делегаты. — Видел его кто-нибудь?

— Провокация дерьмократов, — глубокомысленно встревали другие, — ничего святого для них нет.

— Эдичка Лимонов балуется, — уверенно говорили третьи, — выбрил голову, переокрасил бородёнку в рыжий цвет и вставил контактные линзы.

В буфете шёпотом сообщали друг другу на ухо, что антинародный режим готовит государственный переворот. Общее мнение было единодушным — во всём виноват Чубайс.

Но когда в гомонящем, разгорячённом людском море появилась вдруг невысокая, облачённая в тёмно-коричневый френч фигура в легендарной кепке, Откровение глубинной бомбой накрыло всех, кто был в зале. Ильич шагал вдоль рядов к Президиуму, и говорливые рты захлопывались один за другим, воспалённые от чтения «Программы КПРФ» глаза лезли на лбы, свежие номера газеты «Завтра» с шорохом выпадали из ослабевших рук и, словно чайки, медленно планировали на вытертый миллионами ног синюшно-алый палас. То был Ленин, вне всякого сомнения! В гробовой тишине прошествовал он к трибуне, ласково улыбаясь бледнеющим делегатам и милосердно кивая хватающимся за сердца старушкам с бэйджиками на кофтах. За его спиной плыла троица телохранителей в тёмных очках.

— Здравствуйте, товарищ, — мягко, с неповторимой картавинкой бросил Ильич охраннику,

замершему у входа на сцену, и в тот же миг съезд вскочил на ноги и взорвался такой овацией, какой не слышал ещё за свою долгую историю Колонный зал, да что там — ни один зал на свете. Хрустальные сталактиты люстр задрожали и провисли на крюках, осыпая крошками штукатурки головы собравшихся, свет несколько раз мигнул, и зал погрузился в полумрак; лишь над сценой ярко горели софиты; даже мраморные колонны завибрировали, как при землетрясении. Ильич же, спокойный и уверенный, протянул руки к залу, успокаивая его.

И когда крики и хлопки смолкли, а Ленин взобрался на трибуну и изготовился сказать аудитории нечто совершенно потрясающее, из середины Президиума поднялся вдруг некто и взял микрофон. Был этот человек богат плотью и багров лицом, и взгляд его упёрся в висок вождя, словно Капланов браунинг, — один из всех присутствующих знал он о Проекте «Ленин» и готовился к появлению воскресшего вождя на съезде.

— погоди, не говори ничего, — пробасил кумачовый человек, и каждый в зале вздрогнул, предчувствуя нехорошее. — Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком хорошо знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришёл нам мешать? Ибо ты пришёл нам мешать, и сам это знаешь.

— Что он несёт? — зашептали меж собой головы в зале. — Он бредит или сошёл с ума?

Ленин же с удивлением повернул к оратору лобастую голову и слушал.

— Посмотри на верных партийцев, собравшихся перед тобой, — продолжал кумачовый человек, нахмурившись. — Каждый из них живёт с именем твоим на устах, носит у сердца красную книжечку с твоим профилем, желчно плюёт в телевизор, когда приспособленцы охаивают начатое тобой дело. Ты — романтический символ, лицо на знамени... Но давно уже не вождь и не учитель! Нужно ли сегодняшним людям то, что ты обещал сто лет назад?

Вспомни, как трещала по швам империя, а немощный царь в ужасе трясся на троне! — возвысил он голос, перекрывая нарастающий в зале шорох. — Какие волшебные слова развернули перед тобой целую страну, как скатерть-самобранку? Земля! Диктатура пролетариата! Национальный вопрос!

Такая стеклянная тишина повисла в зале, что кумачовый человек, уже не боясь, что его перебьют, налил в гранёный стакан минеральной воды «Бонаква» и сделал большой глоток, после чего заговорил тише, спокойнее, проникновеннее:

— Кому сегодня идти за тобой? Крестьяне осели в городах и оторвались от груди вскормившей их матери-земли, забыли её. Они ездят в метро и ходят на футбол, поедая аргентинское мясо и канадские картофельные чипсы, а те, кто остался, в непрекращающемся похмелье возделывают свои крошечные частные наделы, едва сводя концы с концами. Крестьянин-кормилец истаял в числе, сменил соху на мотоблок и плевать хотел на любое коллективное хозяйство.

Позовёшь рабочих? Где он — суровый путиловец в кожанке, с измазанным угольной пылью лицом, падающий с ног от шестнадцатичасовых смен, радующийся возможности променять станок на винтовку? Им давно уже нечего диктовать, потому что дурман голубого экрана куда как слаще церковного опиума! В постиндустриальном мире пролетарий измельчал куда страшнее крестьянина, ему нужны лишь простые радости — хлеб и зрелища двадцать первого века. И никакие листовки, никакие подполья не выдернут его из мягкого кресла, не оторвут от крутящихся барабанов шоу и калейдоскопа штампованных сериалов без начала и конца. Кому дашь ты винтовку, кто возьмёт её из твоих рук?

Латышские стрелки да кавказские комиссары? Задумайся теперь, столетие спустя, к чему они

стремились, вставая под твои знамёна. К светлому будущему в братской семье народов или к обособлению от державы, экономическому и культурному сепаратизму? Кто сейчас считает Россию главным врагом и пресмыкается перед Западом — не потомки ли тех латышских стрелков? Кто раздробил Кавказ на тысячу осколков, отбросив его в Средневековье, — не духовные ли наследники твоих соратников? Да что далеко ходить — каждый в этом зале предпочтёт посудачить о кознях масонов, возвращении Крыма... Да о чём угодно, лишь бы не потревожить священную корову — собственность на средства производства!

Так что задумайся, нужен ли ты сейчас нам со своим «Фабрики — рабочим, земля — крестьянам»? Ты гений красноречия и непревзойдённый теоретик революционной борьбы, ты можешь снова зажечь их и, как прежде, воздвигнуть знамя смуты и потрясений, знамя борьбы за мифическую свободу — этого и хотят те, кто вернул тебя к жизни, — но знамя это в итоге воздвигнут против тебя самого. Будут десятилетия бесчинств и антропофагии, но потом эти же люди, которых ты поднимешь на бой кровавый, святой и правый, — эти же люди приползут к нам и откажутся сами от твоей свободы, моля вернуть им телешоу, аргентинское мясо и чипсы из картофельной шелухи. И тогда мы — мы! — сядем на зверя, имя которому «парламентаризм», и воздвигнем чашу, на которой будет написано «закон о выборах». Тогда и лишь тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Поэтому я говорю тебе: не произноси с этой трибуны ни слова и лучше уйди сейчас, не ломай то здание, что мы возводим долгие годы. Твоё время прошло. Просто уйди. Я сказал.

И оратор тяжело опустился в кресло, смахивая градины пота, а ошеломлённый и униженный зал сидел, каменея, в ожидании разящего ленинского ответа. Ленин же, который несколько раз менялся в лице во время этой речи, долго стоял над трибуной без слов, и все взгляды были устремлены на него. Двадцать две телекамеры молниеносно цифровали картинку с его историческим прищуром, гнали в переплетения чёрных кабелей, оттуда — в тарелки спутниковой связи в фургончиках у подъезда, и уж через них, сквозь освобождённый для такого события телекомпаниями всего мира эфир — в миллионы квартир, где человечество замерло перед телевизорами, схватившись за головы, впитывая и переваривая Откровение. По всей планете бросали люди свои дела и бежали к экранам, пожирая глазами строчки субтитров, — и Фидель на Кубе нервно покусывал сигару, и Джордж Буш-младший в страхе подсчитывал остатки баллистических ракет, и даже гарлемские негры ненадолго оторвались от рэпа и баскетбола. Мир застыл.

Наконец Ильич стряхнул оцепенение, молча шагнул к своему оппоненту и тихо поцеловал его прямо в сомкнутые уста. После этого он всё так же молча повернулся и стремительным вихрем вылетел из зала прочь.

Следующая запись сделана двадцатью минутами позже в одном из кабинетов соседствующего с Колонным залом здания Государственной Думы.

У. (в исступлении): — Боже мой, боже мой, зачем?! Зачем вы это сделали?!

Ленин: — Я просто не смог удержаться. Сценка в точности из Достоевского.

У.: — Вот ведь свинья... вот ренегат... оппортунист... меньшевик! Это я не о вас, Владимир Ильич, не о вас!

Слышно, как У. мечется по кабинету.

Ленин (невозмутимо): — А вам не кажется, что он во многом прав?

У.: — Владимир Ильич, вы знаете, я очень вас уважаю... да что там, я преклоняюсь перед вашим гением...

Ленин: — Прекратите сей же час, товарищ [

удалено цензурой ]!

У.: — Простите... но как вы — вы! — можете утверждать, что эта холуйская проповедь, этот, я извиняюсь, бред сивого мерина — может содержать хоть крупицу здравого смысла!

Ленин: — Вот что, дорогой товарищ, вам нужно успокоиться. Давайте вернёмся к этому вопросу попозже.

У: — Поймите же, мы так ждали вашего возвращения! Какая бездна труда вложена в этот научный подвиг! Какие горы нам пришлось сдвинуть с места!

Ленин (вздыхает): — Понимаю, я многим обязан вам.

У: — Господи, Владимир Ильич! Это мы вам всем обязаны!

Ленин: — Полно, полно, батенька. Да успокойтесь вы наконец! Вот, выпейте.

Звяканье графина, звук льющейся воды.

У. (тяжело дыша): — Благодарю вас.

Сквозь булькающие звуки прорывается полифоническая мелодия Гимна СССР.

У.: — Да? Слушаю вас... уже собрались?... Хорошо... через две минуты будем.

Ленин: — Удобная штучка.

У.: — Что? Ах да. Владимир Ильич, в малом конференц-зале собрались журналисты. Они просто жаждут пообщаться с вами.

Ленин (устало): — Ну их к чёрту. Я не готов.

У.: — Но это же такой шанс! Господи, ведь вы можете заявить всему миру...

Ленин (брезгливо): — Что вы заладили: «Господи, Господи»... словно вы не коммунист, а поп на панихиде.

У.: — Я... э... простите...

Ленин: — Может, вы ещё и верующий?

У: — Ну... не то чтобы верующий... то есть... вы не так меня поняли...

Ленин (крайне брезгливо): — Да всё понятно. Идеальный марксист-материалист, поминающий Боженьку... верующий на всякий случай, надо полагать? Что молчите? Чёрт с вами, идёмте в конференц-зал.

Конец записи.

Он сидел за маленьким столиком на сцене, а перед ним клубился, гудел, наступал себе на ноги и ослеплял лицами чёрный взволнованный рой.

— Владимир Ильич, как вы намерены позиционировать себя в многопартийной массе российской политической элиты? — крикнул из глубины роя прокуренный женский голос.



— Впереди, — брякнул он, не раздумывая, и рой сладко вздрогнул от этого мягкого «р».

— Владимир Ильич, как вы расцениваете претензии, высказанные в ваш адрес на съезде? — сказал другой голос.

— Что тут расценивать? Меня даже не выслушали, сразу погнали взащей.

— А вы ответили поцелуем! — В глубине роя прокатился смешок, вспышки блицев усилились.

Ленин прикрыл глаза рукой:

— Вы не могли бы поменьше сверкать?

— Владимир Ильич, как ваше самочувствие?

— Благодарю вас, чувствую себя отлично.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Во-первых, — Ленин прокашлялся, — я хотел бы опровергнуть всю ту ересь, что обо мне понаписали, пока я был... в общем, пока меня не было. Все вот эти книжечки, знаете ли, так называемых писателей, Зощенко, например, или Бонча-Бруевича. Почитал я тут на досуге... «Общество чистых тарелок», «Ленин и печник», или про то, как я графин в детстве разбил, а потом не хотел признаваться, это же всё галиматья, высосанная из пальца. Сделали из меня какого-то идола, дурака! Архисмешно и архиглупо.

Смех в зале.

— Подобные идеализация и ретуширование, — продолжал Ленин, — политического, как теперь выражаются, имиджа категорически неприемлемы и абсолютно антиисторичны.

Аплодисменты.

— Кроме того, — постепенно входил в раж Ильич, — многие факты моей биографии были сознательно искажены и в исторической науке. Я ещё далеко не всё прочёл, но то, что попало мне на глаза, например поганенькая книжонка некоего гражданина Радзинского...

— Господин Ленин, — нагленько встрял молодой голос, — а правда ли, что вы лично отдали приказ о расстреле царской семьи?

Рой мгновенно затих. В наступившей тишине слышались только шуршание ног и хриплое покашливание из задних рядов.

— Без комментариев, — выдавил Ленин.

Рой снова загудел, взорвался криками, засеребрился молниями блицев.

— А правда ли, что вы санкционировали «красный террор»?

— Это вы придумали лозунг «Грабь награбленное»?

— Учредительное собрание зачем разогнал?!

В секунду из гения Ильич превратился в злодея. Подгоняемый улюлюканьем и свистом, проталкивался он к выходу. Навстречу бросились телохранители — и уже вытащили вождя в спасительное пространство курилки на лестнице, когда словно из-под земли пред ним выросла совершенно неопишуемая скользкая физиономия в очках.

— Владимир Ильич, — жарко зашептало существо, нечеловечески цепко ухватив вождя за локоть и увлекая вниз по лестнице.

— Без коммента...

— Владимир Ильич, нет, вы послушайте, — бесцеремонно твякнула физиономия, — я предлагаю вам миллион долларов!

— Что ещё такое? — Ленин махнул охранникам, те перестали душить бесцеремонного и переключились на прущую сверху толпу журналистов.

— Заработать миллион долларов за одну минуту, буквально за одну только минуточку, — хитро улыбалась очкастая физиономия, — вдумайтесь — миллион!

— Я вас слушаю. — Ильич подозревал тут какой-то подвох, но размер суммы его ошеломил, и он не смог удержаться.

— Сногшибательное предложение, — прошипела физиономия ему в ухо, — рекламный контракт.

— Что?!

— Я представляю фирму «Пэрэдайз лост энд фаунд», эксклюзивного дистрибьютора косметических товаров. Предложение такое: вы снимаетесь в рекламном ролике нашего нового брэнда, в одном малюсеньком рекламном ролике — и мы отваливаем вам миллион долларов наличными и сразу. Ну как? Заманчиво? Вот вам и деньги на пролетарскую революцию!

— А что я должен рекламировать? — оторопело спросил Ленин.

— Это новейшее, очень эффективное революционное американское средство от облысения! — ликующим голосом возвестило скользкое существо.

В следующее мгновение тяжёлая ленинская ладонь впечаталась в его щёку.

— Позвольте! — ахнуло существо.

— Хамская рожа! — крикнул Ильич, сбегая вниз по ступенькам.

И вовремя — глумливая толпа журналистов опрокинула жиденький заслон из телохранителей и хлынула за ним. — Миллион двести! — прохрипело существо, прижатое к стенке ревущим потоком.

— Увижу ещё раз — пристрелю! — исчезая в дверях, погрозил ему кулаком Ильич.

Плотно надвинув на глаза кепку и задрав ворот пальто, Ленин вбежал в вестибюль метро «Охотный ряд». Чтобы окончательно оторваться от погони, он проехал одну остановку и выбрался на улицу прямо напротив библиотеки своего имени.

«Чёрт знает что, — плевался он, быстро шагая в сторону Арбатской площади, — просто чёрт знает что такое. Они ещё меня судить будут! Учредительное собрание, видите ли, разогнал. Будто сами тут, в будущем, из танков по парламенту не лупили! А собственность всенародную кто приватизировал? Это не грабёж, спрашивается?»

— Ленин! Смотри, Ленин, твою мать!

Ильич затравленно огляделся. Из переулка таращилась на него парочка блондинистых метросексуалов в рваных джинсах. Он ускорил шаг.

«Эдак мне покоя не будет, — с беспокойством думал Ильич, — вот что, пора избавиться от кепки».

Навстречу ему, ссутулившись и заплетая ноги, шёл невысокий мужчина в васильковом плаще и чёрной фетровой шляпе. Его круглые рыбы глазки шарили по асфальту в поисках артефактов. На обвисших щеках голубела щетина.

— Любезнейший, — крикнул Ильич, — да-да, вы!

— А? — притормозил обладатель шляпы. — Вы меня?

— Я бы хотел купить у вас головной убор, — Ильич извлёк из кармана пачку денег и быстро отсчитал несколько сотенных, — этого хватит?

— Боже ж мой, — просипел мужчина, хватаясь за сердце, — это вы?!

— Вам показалось, милейший, — терпеливо сказал Ленин, — это не я.

— А кто?

— Тьфу! Вот дурак... так продаёте шляпу или нет?

— Владимир Ильич, дорогой, — мужчина вытянулся в струнку, его рыбы глазки ещё больше округлились, — возьмите даром!

— Прекрасно, — Ильич выхватил шляпу, нахлобучил на голову и был таков.

В несколько прыжков пересёк он пешеходную «зебру» на Арбатской площади и зашагал по Гоголевскому бульвару, пиная носком ботинка мокрые листья.

«Кем ты стал, Ильич? — шептали столетние тополя над ним. — Ведь мы помним тебя совсем иным. Когда-то ты бросал в бой миллионы, и они шли на смерть по одному твоему слову. Неужели теперь ты неспособен вдохнуть в людей революционный пыл, что сжигает твою душу? Где тот Ильич, перед которым трепетали враги? Где тот гений, что поставил мир с ног на голову?»

«Я тот же, что и был, — качал головой в ответ Ленин, сжимая кепку в кармане, — только мир вокруг изменился настолько, что все мои способности теперь ни к чему. Все, кого я встречаю, или обмирают передо мной, как перед ожившим божком, или шипят проклятия; но никого из них не дано мне понять. Что я могу сделать, если потерял способность понимать простых людей? Да и кто я сам в этом мире? Ходячий кусок истории, случайно ожившая биомасса?»

Глаза его увлажнились, Ленин пошатнулся, ухватился рукой за чугунную изгородь.

«Ты должен бороться. Хочешь изменить мир — начни с себя».

— Владимир Ильич, вам плохо?

Оказалось, что мужчина в васильковом плаще шёл за ним следом. Сейчас он бережно взял Ильича под локоть и по-собачьи преданно смотрел ему в лицо своими мутными круглыми глазками.

Первым желанием Ленина было отдёргнуть руку и прогнать мутноглазого, но усилием воли он подавил этот порыв.

— Благодарю вас, товарищ. Всё уже хорошо.

— Может, «скорую» вызвать?

— Кого вызвать? Ах, нет... спасибо, мне уже лучше. Не желаете прогуляться?

— Извольте, — охотно отозвался мужчина, подхватывая деловой тон Ильича.

— Расскажите о себе.

— Моя фамилия Махров. Махров Егор Иванович. Родился в 1950 году в Свердловске, закончил Институт потребительской кооперации...

Они медленно шли по скверу, Ильич внимательно слушал рассказ Махрова, чувствуя, как душа его успокаивается, пылающий разум остывает, фокусируется на первой, пусть маленькой и незначительной цели, воплотившейся в синем лице его собеседника. Хиленькое осеннее солнце отогнуло лучиками пелену облаков, прострелило янтарные кроны тополей и лип, заиграло на румяных щеках вождя, лизнуло синеву опухшего лица Егора Ивановича.

— В годы так называемого застоя и в перестройку я работал сотрудником Госкомстата, — вздыхая, вспоминал Махров, — но в девяностые был сокращён и с тех пор хлебнул горя. В разных конторах пришлось мне зарабатывать на жизнь; вот сейчас я опять сменил работу... устроился агентом по продаже недвижимости. Знаете, некоторые из этих агентов неплохо живут. Но у меня не получается ничего продать!

— Так-так, — кивал Ленин.

— Понимаете, Владимир Ильич, — воскликнул Махров, — я ведь не торгаш какой-нибудь! Я специалист-плановик. Это они, там, на Западе, рождаются с искусством продавать в крови. Там все впаривают друг дружке что-нибудь и тем живут, а производят всё мексиканцы и негры! Ведь так? Так?

— Несомненно.

— Вы всё знаете, Владимир Ильич, как хорошо, что я вас встретил! Поймите, что я страдаю от этой неустроенности, от осознания собственной ненужности государству и своей фирме. Они и без меня прекрасно обойдутся, если что. Ведь это трагедия, это такая трагедия!

— Не волнуйтесь, товарищ, — похлопал его по плечу Ленин, — это не навсегда.

Кто-то ухватил его за край пальто. Ильич обернулся, готовый ко всему.

— Это ты, батюшка, Ленин будешь?

Перед ним стояла маленькая старушонка в красном платочке, засаленной чёрной телогрейке и валенках. Её сморщенные губы под щёткой усов тряслись и всё время как будто что-то пережёвывали. В руках бабка сжимала прозрачный пластиковый пакет с пустыми бутылками.

— Я самый.

— Дай я тебя поцелую, сынок, — вскрикнула бабушка и мгновенно впилась высохшими губёшками в ленинскую щёку.

Ильич кисло улыбнулся в ответ.

— Экой ты красавец и умник, батюшка, — лепетала бабка, — вот тебя нам в президенты-то и надо.

— Точно, — вставил Махров.

— Как вас звать, матушка? — спросил Ленин, прикрывая нос от нестерпимой вони.

— Лизавета Потапова я, сыночек.

— Оставьте свои бутылки, Лизавета, и идите со мной. Они двинулись дальше по скверу — вождь в середине и двое верных последователей по бокам. Повеселев, Ильич вернул шляпу Махрову и надел кепку на место.

— А церкви ты зря ломал, батюшка, ой зря, — лопотала старуха, заглядывая снизу и сбоку на Ленина, — церковки златоглавые, храмы Божии зачем ты порушил? Священников в тюрьмы сажал, отбирал у Церкви Православной имущество? Я всё знаю, я ведь телевизор смотрю.

— Поверите ли мне, если скажу вам, что искренне во всем раскаялся?

— И-и, — всплеснула руками бабка, — поверю, сыночек! Тебе — поверю! — И вдруг перекрестила Ильича троекратно, а тот улыбался ей ласково, с искоркой, с тёплыми лучиками в морщинках вокруг глаз.

Когда кончился бульвар и свернули они на Пречистенку, вокруг Ленина образовалась уже целая стайка преданных учеников и последователей. Каждый из них истово заглядывал Ильичу в рот, когда тот говорил; каждый выкладывал ему наболевшее, и для каждого находил вождь доброе слово утешения и ободрения.

И кто-то уже суетился и звал всех в гости, кто-то бежал в магазин за чаем, баранками и водкой.

И не успел Ильич оглянуться, как вся компания уже сидела в уютном помещении какой-то гостеприимной жилконторы — первая ячейка нарождающейся на глазах новой ленинской партии. Аппетитно похрустывали малосольные огурчики на одноразовых пластиковых вилках, трещали баранки, хлюпала водочка в алюминиевых кружках, гудела весёлая разноголосица, ни дать ни взять — день рождения или ещё какой добрый семейный праздник. Ильич во главе стола молчаливо улыбался, словно мудрый дедушка в гостях у внуков, да ведь если подумать, так оно и было на самом деле.

Но закончилась водочка, и опустели стаканчики с чаем, и весёлые голоса вдруг умолкли, головы все как одна поворотились к Ленину, десятки ушей встали торчком в ожидании мудрого слова, сверкающей мысли, что поведёт их к новой, прекрасной мечте.

Замерла с баранкой во рту старуха Лизавета Потапова, и чудился ей родной, покинутый давным-давно совхоз, гуси, бредущие мимо околицы, и аромат навоза, и крик петуха на заре, и муж её, Степан, погибший от пьянства в эпоху борьбы с самогонварением, снова молод и полон жизненных соков, как Ленин; Степан возвращается с работы, входит в хату, и вокруг него плавают облака запахов — крепкого мужского пота, забористой махры, кисленького перегара, он подходит к Лизавете, широко улыбается, и...

А справа от Лизаветы сидел, не дыша, Махров и в мечтах своих уносился в далёкий таёжный край, где могучие сосны подпирают небо, а над холодным зеркалом Байкала кряжистые плакатные комсомольцы рвут тротилом тоннели в скалах, валят тысячелетний лес, и под их руками растёт, километр за километром, стальная дорога — легендарный БАМ. По вечерам собираются они у костра и, вдыхая запах хвои, поют под гитару о палаточном Братске и о незнакомой звезде, что светит, словно памятник надежде. Ведь и сам Егор Иванович когда-то брэнчал на гитаре, так, «для себя», три блатных аккорда, но ведь попади он в такую компанию — был бы свойским парнем, полноправным членом общества, человеком с большой буквы «Ч». И вот уже кто-то из комсомольцев с добрым смехом протягивает ему

шестиструнное чудо, Егор Иванович крутит колки, подстраивает инструмент под свой голос, вот закрывает на миг глаза, взмахивает рукой, и...

А по левую руку от Лизаветы рассеянно ковырял прыщи сутулый пятнадцатилетний паренёк Димка Кириленко, и виделась ему революция — жестокая, кровавая, но справедливая и очистительная. И вот революция победила, и он, Димка, стоит на Мавзолее рядом с самим Лениным и другими вождями, приветствуя парад, а перед ними проходят колоннами загорелые физкультурницы в белоснежных бикини с алыми знамёнами в мускулистых руках, и все они улыбаются Димке, и вот одна из них как бы невзначай отцепляет какую-то застёжку на купальнике, белая полоска соскальзывает, и...

Каждый представлял что-то своё, сокровенное и выстраданное, далеко улета в мечтах, растворяясь в широком потоке грёз, и каждый верил, что теперь, когда Ленин с ними, всем мечтам, какими бы дерзкими и безумными они ни были, суждено сбыться.

Ильич кашлянул, с лукавым прищуром оглядел собравшихся и весело сказал:

— Прочитал я, товарищи, на днях в Интернете, что на Соколе есть парк, где водятся самые настоящие белочки. А не поехать ли нам на Сокол, не покормить ли белочек орешками? Как думаете, това'ищи?

Азамат Козаев

Двое... Один...

Ещё день пути. День-денёк. Солнцу встать да упасть, холмам круто воспрять и полого раскатиться. Расступятся старые, горбатые, ветрами углаженные, и вылежится в низинке деревня, точно нагая, бесстыжая баба, что сраму не с'имеет, а лишь ноги зазывно распахнёт. Вот, мол, я какая! Бери, дескать, не хочу. И взяли ведь... Ус кусаю да вперёд шагаю, раз-два, раз-два... Гляжу на небо. Звёзд раскатилось — что гороху по столешнице. Которые в кучку сбились, а которые врассыпную брызнули вверх, вниз да к середке близ. И ничего им не надо, только друг дружку светом и балуют да вниз печально таращатся. Ну, чего уставились, лупоглазые? Чего смурнину гоните, чего глядите недобро? Я до смеху охоч, удержаться невмочь, а вот гряну среди ночи хохотом, зверьё всполошу, птицу оглушу, то-то порядку в мире убудет! Весел я да хохотлив — домой иду. Почитай, пришёл уже... Ещё денёк пути...

Что с дурака взять? Не смог уснуть. Лишь глаза плотнее смыкал да ус крепче хватал — так зубы сводило, аж-но стук выводило. Залязгал, ровно голодный волчище. До родины рукой подать, тут и сердцу бы от радости зайтись, а оно лишь прынет испуганно, глубже жмётся... Ну и пусть жмётся...

Утро. Бреду по тракту, по сторонам глазею. Ох, не к добру в лесу блеском блещет, ох, не к добру! Не иначе солнце на булате играет. Там сучок хрустнет, тут валежина скрипнет. Будешь круглым дураком, всё равно умишка достанет. По всему видать, лихие в лесу притаились. Ждут, что ли, кого? Не меня ли? Ах, бедовые! Голь ведь я перекатная, сума необъятная, добра тыщи — прорехи да дырищи.

Я парень весел, хохотлив, мне палец покажи, лопну со смеху. Ой, божечки мои, смешно сделалось, утерпеть невмочу. Сейчас ка-ак гряну смехом, да на два голоса! Изготовились, дурачьё... учуяли поживу... ой, смешно, аж в горле щекотно.

Один, другой, третий... полтора десятка из лесу выметнулось, добычи алчут, слюной давятся. Будто оглохли и ослепли, ничего не видят.

Тащу меч из ножен. Шкуры с меня не добудешь, только свою потеряешь. Как в той песне поётся: «Ой, мне бы времечка — жирком обрасти, ой мне бы свары — жирок растрясти».

Не все лихие оказались в разладе с головой, средь прочих нашёлся один глазастый да головастый, сложил два и два.

— Вороти взад, олухи! — рявкнул. Главарь, видать. — Обороту дай!

Поздно. Только глупые улыбки на устах и заиграли. Да отыграли враз. Сперва трое полегли как один, троих следом укосил. Значит, шестерых будто корова языком слизала. А мне смешно. Глупость людская, нету тебе переводу! Ну что с меня, горемыки, возьмёшь? Гол ведь как сокол...

...седьмой...

...Разве что ремней со спины настругаешь, но и тут не всё просто — за один свой ремешок пяток в меню возьму. Счёту не веду, а зубов об меня поломалось — мало не покажется. Люд не чета этим жизнь на жизнь менял...

...восьмой, девятый...

...Иду себе дальше, да никак не уймутся, дурни...

...десять, одиннадцать...

— Взад сдай, недоумки!

Наверное, тот голосище в слободке слышали, а до слободки день пешего ходу. Мне что — махнул мечом крест-накрест, кровь стряхнул и тряпкой вытер. Мало смех не разобрал, едва на лихих посмотрел — один к другому жмутся, улыбки как постирало, куда только всё подевалось...

Усмехнулся и какое-то время гляделся с предводителем лихих глаза в глаза. Тот, бедолага, отчего-то побелел, борода затряслась, сдал шаг назад, потом ещё и ещё. Что-то зашептал — жаль не слышать, шагов десять меж нами встало, — глядь, и остальные сдали взад, те, что в живых остались. Зенки широки, точно блюдца, сами зелёные, трясутся. А мне, дурню, смешно! Ржач из меня прёт, как из мерина. Грохочу так, что в лесу птицы слетают с гнезд.

Дал главарю знак, мол, ближе подойди, не бойся. Меч оножил, смех придушил. Тряский весь, какой-то валкий, белый, что некрашеное полотно, разбойник подошёл ближе, встал в шаге от меня. Молчу. И слова не дам. Просто в глаза посмотрю. И того достанет. Колюч я, будто ёрш речной, и склизок так же. Разве не видно? А может, борода у меня золотом обсыпана, за перестрел блещет? Тоже нет. Чего ж лезли?

Истинно говорю, не поспел я ребят упредить, ох не поспел! Едва глянул на того смешливого — как ножом по сердцу полоснуло. Враз понял — не будет нам удачи этим днём, ох не будет. Так зыркнул, будто нутро выморозил. До дна достал. Чисто кусок льда о двух ногах. Меня не обманешь, я стар, бит, удачею сыт. Смешливый ровно не из этой жизни. Да и не сказать, что по-настоящему весел, словно под личину спрятался. Предчувствую беду, но сделать ничего не могу. Дурни, ох, дурни, чего ж не послушались, чего ж поперёк батьки в пекло сунулись?! Мало глотку не сорвал, но бедняг точно блеском злата ослепило! Как замороженные под меч встали. Но и будь нас вдесятеро против давешнего, все едино полегли бы. Как будто не один

смешливый озорует — двое спина к спине встали, всё видят, не обойдёшь. Такие сами, ровно булат, тускло блещут, кровящей плещут, таких в руки брать — самому до кости изрезаться, чур меня, чур...

Иду, бреду, гол как сокол. Рубаха на мне, да воздух в суме. Под самую ночь холмы раздадутся, и встанет на пути деревня. Иду себе, молчу, думы прочь гоню. А чего мне думы? Только печаль от них и неудобство. Ничего в них светлого да безбедного. Где думки светлые, беспечные? В далёком далеке, чумазом, беспортошном, при отце с матерью, за дедками и бабками. А нынче в себя гляжусь, диву даюсь — мои думки тяжелы, колючи, зубьями клацают, рыком рычат. Не солнышко блеснёт, не радуга встанет, только ветрище свищет да тучи хмурятся. Иду себе, хохотом заливаюсь, грохочу на два голоса. Всё у меня не как у людей. Иной в мир глядится, как дышит, — на душе смурно, так и он сер, а как внутри поётся, так и сам чисто рубль золотой. Я же... Солнце падает, вдалеке холмы завиднелись. К ночи в деревню войду, то-то хохоту будет...

Убрались холмы с пути, один вправо подался, другой влево принял, а как месяц взошёл, тут и деревня на глаза явилась. Излучина, коса поодаль, месяц лыбится. Спит деревня, огонька не блеснёт. Не знай, что избы впереди, ни за что бы не догадался. Разве что... по запаху. Тянет малёшка палевом, не иначе у кого-то костерок в очаге теплится. Знал я одного, много лет не был на отчине, а как ступил в родные пределы — пал в траву, объял землю и носом потянул. Я же... смехом давлюсь, еле держусь.

Деревня как деревня. Избы в низинке слеплены кучно, собаки кормлены, месяц масляен, вода мокрая, дым печной коромыслом. Не сдержался, заготовал во всю глотку, аж собаки в ночи разбрехались, мало злобой не захлебнулись. Месяц чудом в реку не сверзился. Я ржал, эхо вторило, собаки лаяли... Так и жизнь, говорят, проходит, в гоготе и лае собачьем. А как вошёл в деревню, как повёл колыбельную, да на два голоса — зубастые унялись, забрехали редко-редко, через раз.

На краю деревни — пожалуй, и вовсе на отшибе — спокон веку ворожеи жили. Уходила одна, приходила другая, а сколько себя в памяти держу, столько и помню старуху не старуху, бабу не бабищу, а только годы будто мимо ведуньи неслись. Иного так приголубят — еле сидит, пыхтит да кряхтит, эту же ровно гладят, а не бьют. Не дамся удивлению, если и поныне жива.

Нет, ты глянь! Тень по воздуху стелется, лишь глаза блескучие месяцем светятся. Дурачок, молод ещё. Молчалив, растерян, но зубаст и зол. Хватаю под горло, увожу мимо себя, проваливаю да сверху валюсь.

Тише, дурень, зажимаю псу пасть,

тише. И тихонько напеваю в оба уха да на два голоса:

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю... Пес умиротворился, руку мне облизал, дурень зубастый...

Дверь толкаю, вхожу. Она ждёт, будто знала, что иду, светец воспалила, глядит исподлобья. Молчит. Молчим. Я молчу, да на два голоса. Пес молчит. Косит на меня... на неё...

— Место, Влаш, место! — скрипнули друг за другом старуха и дверь за псом.

А потом ворожея долго на меня смотрела, что-то за спиной выглядывала, в тень угловую косилась. Не изменилась ведунья нисколечко. Ровно в воду канули те двадцать лет, все ко



мне ушли, минули старуху.

— А ведь помню я тебя! Мальцом был таким щекастым да сердитым...

Ты, бабка, помнишь, зато я памятью не силён. Для мамки с отцом, для бабок с дедами был я чадушком, пострелёнком, горбушкой с мякушкой, горшочком с кашкою. Всяко разно звали. Потом ровно отрезало. То ли я из детства вышел, то ли детство меня бросило, а верное и то, и другое.

— Ты вернулся...

Да, я вернулся. Ржач меня разбирает, еле держусь, а ворожея куда-то в угол глядит, глаза щурит, ровно видит нечто во тьме.

— Что делать станешь?

— Поживём — увидим. Утра бы дожждаться.

Старуха лишь улыбнулась, легонько, светло так.

А никак меня ворожея не представила деревне. Пришёл чужак и пришёл себе. Кому любопытно — спроси сам. Никто я и звать никак. Пришёл с холмов, уйду за реку, был человек и не станет однажды. Старшак всё косился на меня, репу чесал. И так поглядит, и эдак, один глаз прикроет, второй зажмурит. Сплюнет, отойдёт, с другого боку присоседится. Вот уж кого времечко не пощадило, иссекло за будь здоров! Стар, сив, даже отпрыск его сединой трачен, а Углач всё в старшаках пребывает.

Старшак деревенский сив да кослив, а я, чужак-чуженевич, хохотлив да шкодлив. Что старшак, вся деревня кослива, скоро окривеет на сторону. Кто на какую. Косят, молчат. Только дети глядят в упор, в носах ковыряют и любопытствуют, мол, дядька, ты кто таков будешь? Отвечал, дескать, я — счастье-марево, багровое зарево, реки молочные, берега песочные. Да? — спрашивают, даже рты раззявили. Ага, отвечаю, истинно так. А дети лишь звонками залились. Одного карапуза даже на руки взял, над головой поднял, то-то визгу было...

Пог?дки деревенские вокруг меня просто извертелись. Всё зыркали исподлобья да шипели, чисто змеи. Сначала на меч косились, потом перестали. Бывало, дамся хохоту, на плетне вишу, а те глазами так и жрут. Или сказать что хотят? Углачёв первак, Ляпо — тот ещё детина, звероват, быковат, как брови сомкнёт, ровно пасмурно делалось. Он хмурится, я ржу, он хмурится, я ржу.

— У нас тоже мечи имеются, — не глядя на меня, будто в небо прогудел как-то Ляпо. — И остры, и блескучи, не тусклее некоторых.

Мне надо было ответ учудить? Не знаю... я гоготал, не мог остановиться. Ляпо насупился, щёки надул, побагровел, чисто свёкла огородная. Не сегодня-завтра очертя голову кинется бодаться. Плечами меряться, кулаками вешаться. Ржу во всё горло да на два голоса...

Охотой промышляю, добычу к ворожее сношу. Не объём старуху. Не был подъяедалой и не стану.

— А норманны что? Озоруют?

Старуха глядела на меня долго, даже задышала через раз.

— Эвон что удумал! — протянула ворожея и в ужасе прикрыла рот ладонью.

Молчу. Мрачно усмехаюсь. Ржач разбивает, давлюсь смехом, пополам ломает. Держусь, пока могу, но недолго. Никну к полу и падаю. Гогочу так, что голуби с балки снимаются.

Жду и дожидаясь. Как-то утром раздался лошадиный топот. Норманн. Лошадёнка приземиста и коренаста, шелом на варяге рогат, а бородища у пришельца рыжа и окладиста.

— Эгей, Углач! Надеюсь, ты жив и здоров? — загрохотал норманн и широко разлыбился.

— А что со мной сделается? — помрачнел старшак.

— Уж не знаю, — гремел вестник. — А только усы твои за зиму малость пообвисли! И дадут боги,

только усы!

Углач хмуро улыбнулся. Весна — это норманны, норманны — это набег, набег — это дань. Или кровь. Но последний раз кровь была двадцать лет назад. Двадцать лет назад...

Недолго говорили Углач и варяг, рыжий весть донёс и был таков. А стан «гостенёчки» разбили неподалёку и сроку дали три дня. Должно хватить. Всегда хватало...

Накануне отдачи дани встал ещё затемно. Ни зги не видать. Но ворожея что-то учуяла, вот ведь нюх у старой! Снесло бабку с ложа, вынесло во двор да напрямик ко мне в сарай.

— Не пущу! — Дорогу мне загородила, руки выпростала, в створ упёрлась. Встала намертво.  
— Тогда не уберегла, теперь сохраню!

— Дурак ведь я, — меня вот-вот смех разобьёт, успеть бы договорить. — А дуракам везёт. Я вернусь.

Обхватил бабку лапищами, развернулся и поставил за собой. Обнял, как родную, погладил по голове, скользнул в предутреннюю мглу... насилиу ржач удержал.

Стою посреди деревни, угрюмо кошу по сторонам и мерно отряхиваю меч. Кап-кап-кап — стекает с клинка кровь, шу-шу-шу — несётся со всех сторон, ха-ха-ха — разбирает меня гогот.

— Ты что ж сотворил, поганец? — Старшака перекосило, а Ляпо, обнажая клыки, злорадно буркнул:

— У нас тоже мечи имеются. И острые, и блескучи, не тусклее некоторых!

— Вяльте мясо, зимой сгодится, — отираю меч полотниной. — А скотину не жалейте. Всё едино теряли.

— Ах ты, поганец, вот ведь падаль! — завёлся старшак, а я, дурень, мало не ржу. Еле

держусь, горло щекочет.

Старые зароптали, молодые за кольями потянулись.

— У нас тоже мечи имеются. И острые, и блестящие, не тусклее некоторых...

— Во гнев норманна ввёл! Полетят нынче наши головы, да твоя раньше всех...

— Бей поганца...

Нахожу глаза Углача. Смотрю. Молча. Ни слова не дам. И того достанет.

— Сто-о-ой, — взревел вдруг старшак. — Стой, дурачье!

Куда там! Яркой кровью молодцам очи залило да слух забило. Со всех сторон ринулись, кто с колом, кто и вовсе с косой...

Ворочаюсь. Корчусь. Встать не могу. С рук валюсь, ноги не держат. Нутро болит, брюхо тянет. Кровищей перепачкался. Еле привстал. Еле присел. Не могу больше. Все силы смех забрал, мало пузо не лопнуло. Не могу больше ржать.

Молодые вповалку лежат, тот на этом, этот на том. Стонут, воют, хрипят. Старики глаза тарашат, рты раззявили, того и гляди, муха залетит. Бабы в плач. Я же, дурень, в смех. Они плачут, я смеюсь. Кто в лес, кто по дрова...

В кольцо меня взяли, смотрят, ровно в душу лезут, уставились как на заморскую диковину. Человек двадцать вокруг лежит, постелил наземь, точно дерюжку подсенную. Ничего, до свадеб заживёт. Дурачье. Развожу руками, дескать, не виноват я, они первые начали. Старшак-бедолага побелел, лицо в ладони спрятал, охнул, зашатался. Его подпёрли плечами, усадили на пень. Глядит на меня, зенки выкатил, глотает воздух, как рыба на берегу, пальцем тычет. Нешто узнает?

— Тве... Тве... Тве... — И слова сказать не может. Ровно язык узлом завязали.

— Твердяк! — прошептал Зыряй, а сам аж побелел.

— Жив! — зашелестели старики. — Глядь, выжил...

Видать, в рубахе, замазанной чужой кровью, я сделался на удивление похож на отца.

— Чего притихли, старые? — развожу руками. Погодки в удивлении, старики в смятении. — Чего рты раскрыли? Не ровён час, варяг явится, меч принесёт, так и будете мух пугать?

Лёгко на помине. Лошадь взмылена, борода торчком, шлем на боку, сплеча ка-а-ак рванёт... и только гул пошёл, как секира в тын ушла. Звенит да трепещет.

— Нет дани? Тогда кровь на кон! Сильнейшего воя и чадо. Мальчишку! Иначе быть сече!

Деревня ровно вымерзла, только я нашёлся, чем ответить. Так уржался, что варяг побелел. От злобы. С чего ж ещё? Не с довольства же? Закусил ус, рыкнул, будто зверь полуденный, и только пыль за норманном встала столбом.

— Сильного да слабого варягу подай, — киваю норманну вослед.

Божечки мои, до чего тяжело ржач даётся. Который день смеюсь, уже не вмоготу. А только всё у меня не как у людей. Дурень же дурнем! Шутиху выплакиваю, слезу выхохатываю.

Глядят на меня, как будто сожрать готовы. Сырьём, без соли.

— А воеводой у норманнов не Чёрный ли Ус? — выпрашиваю.

Кивают. Он.

— Сдаётся мне, такое уже было когда-то, — махнул за спину, якобы в прошлое. — Или я памятью нетвёрд, а, сородичи?

Сородичи, седые да греховитые, ровно с лица спали, так вдруг сделались бледны и немощны.

— Который из детей пойдёт в откуп? Бери, Углич, покрепче да позлее. Мне ли не знать, о чём говорю?

Старшак молчит, слушает меня да глаза пучит. Испуган, будто призрака видит.

— Слыхал варяговы речи? — чую, звенит голос. Чеканю каждое слово, ровно молотом по булату. — Который из мальцов пойдёт в откуп?

Молчит.

— Который? — звенит голос почище норманновой секиры, когда в тын ушла.

Углич уши зажал, смотрит на меня и рассудком плывёт. Разве смеются на крови младенцев? А я ржу на всю деревню почём зря.

— Который?

Старшак вконец потерялся, взором помутнел. Указал на мальчика, что стоял подле бабки Пспелихи. Никак сиротка? И всей-то защиты — немощь седая.

— Поди сюда, малец. А ты, старая, не бойся.

Подошёл беспортошный, глянул на меня синими глазенками, щербато улыбнулся.

— А сильным кто пойдёт? — оглядываюсь кругом. — Тот? Или этот?

Указую пальцем на одного, второго, третьего. Которые в себя помалу приходят — ворочаются, которые в беспамятстве пока — лежат снуло, точно прелая рыба.

— Может, Ляпо сдадим? Вон каков загривок!

— Ты пойдёшь! — рассвирепел вдруг Углич. Ещё бы! Родного дитятку задели. — Бык быком, потянешь волок?м!

— Разве я сильнее всех? — Кому горе, а мне веселье, счастья полные ладошки.

Как и не было двадцати лет. Будто снова стою мальцом на лобном месте, вот-вот уведут норманны, а я, дурачок, никак от павшего отца не отпряну, слезами залит, вижу, ровно в дымке, бьюсь, кусаюсь...

— Да ни в жисть! — развожу руками. — Нешто я самый сильный? Кто глупость ляпнул, выходи на середину, держи ответ!

Ногами раскатил стонущих погодков, расчистил место. Руки — в боки. Так и стою посреди деревни, ржу, точно конь. А и встать некому: кто в пыли лежит, кто на пне сидит.

Ворожея к Угладу вышла. Встала на тень, ровно грех на душу, подбоченилась.

— Поди, вспомнил Твердяков, отца и сына, старый пень? Всё тебе аукнулось, дряхлая нежить, всё! Отольются тебе сиротины слёзки, калением нутро пожгут! Больше не воспится сладко!

Гляжу на мальчика, и сам ровно в детство впал. Только не плачет пострел, а смеётся. Небко синее в глазках плещется, забавляется, гуськом вокруг меня ходит, весело ему.

— Мечи по избам схоронены? Те, что остры и блескучи, не тусклее некоторых?

Старые долго молчали, потом слово дали:

— Да.

— На варяга пойдёте. Полно бока отлёживать. А не норманн — я порублю. Ратиться всё едино придётся.

— Много норманна-то. Который уйдёт — всё попомнит. На следующий год вдвое обернётся. Беды не нажить бы.

— Так пусть до единого сгинут, — ржу звонко да на два голоса. — Места свои. Сам поведу...

А ворожея-старуха мне за спину кивает, близливо щурится да приговаривает:

— Тот, второй, давно ли с тобой?

— Как меня к норманнам, тут и он со мной. С тех пор и ходит за мной тенью, спину прикрывает...

Вся деревня головою крутит — ничего не видит. Нешто заговаривается старая? Видения мерещатся? Ворожея заходит мне за спину, приподнимается на цыпочках и глядится ему в глаза. А он ржёт чисто конь, да только... я молчу. И рта не раскрыл. Лишь улыбнулся, не размыкая губ. Тут деревня и опешила! Гогот есть, человека нет. Чудеса!

— Тьфу, дурень старый! — Ворожея плюнула в сторону Угладу. — Счастье ж вернулось! Почитай, двадцать лет без оного — и не нюхали! Думал, мальчика норманну отдал? Не одним — двумя откупился. Своими руками долю светлую выгнали...

Долго ещё судили-рядили, кто за кем встанет, а мы знай себе ухмылялись да переглядывались. И грохотал на всю деревню чистый голос... вот только я помалкивал...

Сергей Ястребов

Лунная соната

Ах, как мне хотелось бы попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. Небо там серое, часто идут дожди, ветер воет в трубах. Там одно вытекает из другого. Необыкновенные события случаются там так редко, что люди не узнают их, даже когда они всё-таки наконец приходят. Сама смерть там выглядит понятной — особенно смерть чужих людей. И нет там ни волшебников, ни чудес. Удивительный мир, счастливый мир! Е. Шварц

Гремит фугасная медь латыни,  
Летит слепой мотылёк к огню,  
Ты слышишь — звёздами золотыми  
Небо падает на броню...

О. Медведев

1

Стена крепости была очень высокой, а стрелы сыпались с неё так часто, что люди внизу почти уже перестали обращать на них внимание. Они просто время от времени поднимали щиты, словно отгоняя мух, — и продолжали заниматься своими делами. Подтягивать осадные башни. Заключительный акт драмы медленно, но верно приближался, и было понятно, что никакая меткость и никакая отвага защитников крепости ничего изменить уже не могут.

Штурмовые части, считавшиеся элитными, к борьбе за башни, разумеется, не привлекались. Они вели свою собственную войну — ту самую, о которой когда-нибудь станут рассказывать в стихах и в романах. Только не забыть бы при этом упомянуть о такой примитивной вещи, как тенденция к позиционности в тактике. Когда схлестываются две линии панцирной пехоты, обычно возникает тупик: какое-то время ни одна сторона не может уничтожить другую. Воины напирают стенкой на стенку, кого-то убивают, но в линиях много шеренг, и такое топтание на месте может длиться очень долго. Средство выхода из тупика — только прорыв. А прорывать пехотные цепи — это работа совершенно не почётная, очень тяжёлая и невообразимо кровавая. Не для героев. Для простых смертных. Для тех, кем не жалко жертвовать.

И только когда прорыв завершится и герои пройдут — в буквальном смысле! — по телам своих ратников, — только тогда они смогут начать эффектный поединок между собой.

За время Осады всё это успело мне изрядно надоесть. Вот почему я почти не смотрел в район прорыва и не сразу понял, что именно там произошло.

Командир первого из штурмовых отрядов, человек в сверкающем шлеме, упал на землю. В него попали из лука.

Чтобы свалить нормально экипированного тяжёлого пехотинца, лучник должен послать стрелу в стык доспеха. С гребня стены осуществить такой выстрел очень трудно. Здесь нужен профессионал высочайшего класса, обучавшийся своему ремеслу с детства.

Два таких попадания разом — это практически невозможно.

Факты — упрямая вещь.

Одна стрела пробила ему ступню, другая торчала из груди.

Почти одновременно. Небывалая случайность.

А случайности, как известно, — это язык, на котором с людьми разговаривают боги.

Цепи воинов всколыхнулись и на какое-то время замерли. Поле боя застыло в неустойчивом равновесии. Скомандуй я сейчас своим копейщикам: «Вперёд!» — и мы с налёту наверняка пробили бы вражеские ряды. Но как раз это и было невозможно. Потому что нельзя отдавать команду без уверенности, что её выполнят. А сейчас её не стали бы выполнять. С какой стати? Вдруг показалось, что на какое-то мгновение война, окончилась. И, похоже, такое ощущение было не только у меня — у всех.

Эти мои мысли промелькнули за долю секунды — раньше, чем раздался крик. Забавно, что в первый миг я спросил себя: кто может так орать — старик? зверь? ребёнок? — этот ужасный звук никак не соединялся с образом знакомого мне человека в сверкающем шлеме. Но факты — упрямая вещь. Стрела, скользнувшая под нагрудник, должна была попасть ему в сердце. Наверняка попала. И всё-таки он ещё жил — и даже находил в себе силы шевелиться и кричать. Это было совершенно невероятно, но он кричал. Он никогда не умел сдерживаться.

Когда крик затих, у меня, признаюсь, отлегло от сердца.

Теперь, по крайней мере, всё стало абсолютно ясно. Никаких чудес и неожиданностей в этой войне больше не будет. Последнее действие пьесы написано до конца — нам осталось только доиграть его. И я обернулся к своим ратникам.

У противника оцепенение прошло быстрее: я видел, что боевые порядки под стеной, пользуясь моментом, активно перестраиваются. Что ж, понятно. После нарушения всех клятв, какие только можно было придумать, и после нашего ультиматума о безоговорочной капитуляции защитники крепости решили стоять до конца. Им нечего было терять теперь.

Но и мы тоже не могли отступить.

Больше всего мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть дальнейшего, но это было, разумеется, невозможно.

Осаждённая крепость билась в агонии.

...А «леопарды» всё-таки шли, только теперь в сцене что-то изменилось — было похоже, что они возвращаются, но это по-прежнему выглядело очень красиво: по склону горы, по серому лесу ползёт чёрная коробочка с длинным торчащим хоботом; вот она поворачивает, и ещё быстрее поворачивается её хобот, и вспыхивает разрыв термитного снаряда — как маленькое солнце... и я уже понимаю, что всё это не просто так, что из-за горизонта наступают бронечудовища, их просто пока не видно, и слава Богу — смотреть на них у меня нет никакого желания... и далеко впереди назойливый перемежающийся шум — гул патрулирующих самолётов, вечный рефрен здешних скучных полей, всем привычный, надоевший за эти годы, как жужжание мух... и дождь, дождь, дождь... вот они, «леопарды» — ракурс сменился, они уже близко, месят грязь, как вездеходы... как элекфантерия Ганнибала итальянской осенью... как колонна грузовиков на руднике, чёрт побери... заворачивают на улицу, гусеницами раскатывая в крошку поребрики тротуаров, задевая углы домов, сбивая, как спички, растущие в неподходящих местах деревья...

Всё. Встали.

Нет, ещё не всё. Из-за строя «леопардов» выезжает автомобиль: крыло помято, борта забрызганы грязью так, что дальше некуда, и всё равно на фоне всего окружающего он

кажется игрушкой, неведомо как сошедшей с витрины богатого магазина... Открывается дверца. Офицер в зелёной полевой форме выходит под дождь, с отвращением оглядывается — в какой-то момент мне даже кажется, что он сейчас отряхнётся, как собака; и проходит некоторое время, прежде чем я понимаю, что он направляется прямо ко мне. Я успеваю швырнуть сигарету в грязь. Всё нормально.

В общем, полковника тоже можно понять. Он и изначально-то, наверное, не жаждал нашей помощи, а уж сейчас... Впрочем, вот об этом пока лучше не будем. Пока лучше ещё на минуту расслабимся. Я же сейчас один, я всё ещё стою под караульным навесиком, и мне абсолютно ничто не мешает нащупать свой полутрофейный стальной портсигар, вытащить ещё одну пахнущую бумагой сигарету, щёлкнуть бензиновой зажигалкой и закурить... Вот так. Ну что, стало легче?

Наверное, да...

Сейчас бы ещё кружечку горячего кофе. Но это — мечта, пока неосуществимая.

Так что остаётся только стоять по-прежнему под навесом, глотать дым и... ну, скажем, любоваться окружающим пейзажем. Век бы его не видеть, этот пейзаж! Но ведь не торчат же тут с закрытыми глазами — мир всё равно проникнет под веки, как сказал бы Дима Бальмонт...

А ведь когда-то здесь было, наверное, красиво. Поросшие лесом многовершинные горы, и маленькое озеро, и разбросанные хутора, и совсем на горизонте — старый монастырь, который сейчас, правда, закрыт туманом. Вполне идиллический вид. Таким он и станет опять — через какое-то не слишком долгое время...

Опять брюзжу — даже наедине с собой. Плохой признак, между прочим. Во всех моих мыслях — очевидный подтекст. И не надо быть психоаналитиком, чтобы понять, в чём дело.

Хотя вот насчёт подтекстов — это как раз спорно. Сколько себя помню, я всегда был человеком одной идеи. То есть идей, конечно, могло быть и несколько, но они тогда разделялись — или во времени, или как-то ещё более хитро. Параноидальный склад ума. Это когда одна мысль — крутится, крутится, набирает обороты, пока от неё не начнёт уже в буквальном смысле тошнить...

Не этому ли складу я обязан всем, что мне в своё время всё-таки удалось сделать в науке? Точнее, что могло бы удаться, если бы не всяческие проблемы, внутренние и внешние...

И не потому ли мне почти не снятся сны?

Читал я однажды странную сказку, написанную кем-то из романтиков, — про человека, который не видел снов. Оказалось, он когда-то крупно проигрался, и с тех пор — по заключённому договору — его душу каждую ночь забирал к себе Король небытия. И всё было бы не так уж плохо, если бы он всегда успевал вовремя вернуть её обратно...

Впрочем, сны мне в детстве всё-таки снились. Про полёты. Единственные сны, которые я помню. Я лечу, реально ощущаю себя в воздухе, вижу внизу земные предметы, а потом падаю, и это всегда так страшно... После этих снов я боюсь высоты — до сих пор. Слава богу, в наш просвещённый век солдатам не приходится лазать по штурмовым лестницам. И кипящим маслом не обольют... и чумой не заразят... И даже дороги сейчас всё-таки немного получше, чем во времена ландскнехтов — или, скажем, Рене Декарта, который, кстати, воевал почти в здешних краях...

Хорошая вещь — чёрный юмор. Давным-давно — в прошлой жизни, когда я жил очень далеко отсюда и был не поручиком пехоты, а всего лишь аспирантом классической филологии, — так



вот, ещё в той жизни мой коллега Дима Бальмонт говорил: юмор — антитеза мужеству. Когда не хватает мужества, можно закрыться юмором. Как щитом. Найти способ взглянуть со стороны на болото, в котором тонешь, и оценить — как смешно твоё барахтанье...

И если тебя хватит хоть на секунду улыбки — ты победил.

Бальмонт пропал осенью тридцать пятого года. В Оршинском котле. Вместе с ещё полумиллионом человек. Самый большой котёл в истории — вполне под стать нашему национальному размаху. Чёрт, до сих пор не хочется об этом думать. Хотя именно это и стало тогда одной из причин, толкнувших меня на решение...

Ну, так как там с юмором?

— Эй, как у тебя с юмором? — говорю я громко, обращаясь к солдату, который спит, накрывшись драным плащом, под тентом в полутора метрах от меня. Один из недостатков всей здешней обстановки — редко удаётся побыть в уединении. Но это, как видим, имеет и развлекательные стороны...

— Да, господин поручик? — Человек уже поднялся.

Не солдат, а ефрейтор. Причём резервных войск — из нестроевых, наверное. Физиономия у него настолько грязная и заросшая щетиной, что трудно определить даже возраст.

— Я спросил, как у вас с юмором, — говорю я отдельно.

— Хорошо, — отвечает он, не выражая никаких эмоций. Вообще.

Я ожидал не этого, и мне становится неуютно. Чтобы не сказать — жутко.

— А если хорошо, то оцените, пожалуйста, тот факт, что вот эти трубы, — я показываю ему за спину, — кто-то сложил прямо на дороге. Здесь только что проезжал полковник, и он был очень недоволен...

Я договариваю автоматически, уже без всякого запала — только чтобы закончить. Ефрейтор пару раз моргает, окончательно просыпаясь. Забавно, что ресницы — это сейчас, пожалуй, самое светлое, что осталось на его лице. Да, приятель, зря я тебя разбудил. Не удалась проба. Плохо у нас с тобой с чувством юмора. Даже и не понять — у кого хуже...

— Разрешите идти? — спрашивает он хмуро.

Я только киваю — меня отвлекает порыв ветра, чуть не задувший сигарету.

Я в третьем круге, там, где дождь струится...

Как, однако, отсюда выбираться? Только сдав пост, я сообразил, что от центра города меня отделяет ещё километров двадцать, — а с неба между тем всё льёт и льёт. Дорога здесь, наверное, когда-то была нормальной, но сейчас она по разным причинам так разбита... в общем, идти по ней в дождь — удовольствие маленькое.

По дороге тянутся грузовики — не то чтобы сплошными потоками, недовольно часто. И вперёд, и назад: вперёд — со снабжением, назад — с ранеными или порожняком. Мне не хочется проситься, но я уже понимаю, что выбора нет, и, когда проходит очередная пустая машина, поднимаю руку. Грузовик тормозит, обдавая мои сапоги водой из лужи.

В кабине — очень молодой светловолосый лейтенант. Лицо тонкое, парень явно не из

рабочих. Тотальная мобилизация.

— До города, если можно.

Лейтенант секунду думает, потом тянется к дверце, и она с лязгом откидывается на сто восемьдесят градусов, словно всю жизнь только этого и ждала.

— Садитесь. Поехали.

Поехали...

За окошком тянутся хутора и маленькие деревни. Булыжные, хотя и разбитые дороги; аккуратные белые домики, наполовину закрытые яблонями и каштанами; лежащие на мокрой земле заплатками квадратики полей. И снова — деревья, домики, поля...

Первые пять минут мы молчали: мне говорить просто не хотелось, а лейтенант, видимо, стеснялся. Или тоже не хотел — в конце концов, я ведь всего только на чин его старше...

Первым заговорил всё-таки я.

— Вы не застревали в пути? — Я пытаюсь улыбнуться. — Кажется, светские правила предписывают, когда нет другой темы, заговаривать с попутчиками о погоде. Сейчас это как раз кстати.

Лейтенант тоже улыбается.

— Нет, мы не застревали. Легковушки иногда застревали, их приходилось вытаскивать. Да ещё по пути туда нас один раз чуть не накрыли — но пронесло.

Пронесло... Штурмовики у противника великолепные, и об этом всегда следует помнить, — впрочем, лейтенанту объяснять такие вещи уже не надо. Да и вообще — на этом этапе войны никто не станет целиться в пустой грузовик. Так что именно сейчас мы практически в безопасности.

А насчёт лейтенанта я не ошибся: он явно из того социального слоя, который в России сейчас принято называть «интеллигенцией». Студент, скорее всего.

— Повезло. Хотя штурмовики — это и не совсем из области погоды...

Он опять улыбнулся.

— Вы случайно не интендант?

Я несколько удивляюсь.

— Нет. С чего вы решили? Здесь нашей части поручена охранная служба. А вообще... вообще у нас бывали разные задачи. Как правило, всё-таки не в тылу, — добавляю я, не удержавшись.

— То есть сейчас вы закрываете сзади линию фронта? На это поставили именно вас? — уточняет он.

Я молча киваю.

— А вам не кажется, что это странно?

На редкость прямой молодой человек — а я-то думал, что такие здесь уже перевелись. Заблуждался. А в общем, логично: ведь Империя сознательно воспитывает в своих

подданных привычку к максимальной прямоте. Будем говорить и действовать прямо, даже если от этого рухнет мир... Связвить на эту тему? Ох, не стоит. И я изображаю индифферентное пожатие плечами:

— Не кажется. В конце концов, ещё у Тиберия была охрана из германцев.

— Да. — Он задумывается. — А у нынешних живых богов, значит, вторая линия из славян...

Мы оба не слишком весело улыбаемся. Что ж, какое-то взаимопонимание прорезалось.

— Вы из студентов, наверное?

Он кивает:

— Студент. Только не философ, как можно было бы подумать, а математик.

— Ну да. Философу здесь, конечно, самое место... Где же вы учились, если не секрет?

Он называет знаменитый — классический, можно сказать, — университетский город. Почти три года назад я был там проездом. К тому времени у меня, конечно, основными были уже совсем не академические заботы — я тогда только что освободился из лагеря, и... ах, чёрт... но всё равно, а может — именно поэтому: часы на кирпичной башне учебного корпуса, парк с сумрачными аллеями, раскидистый зелёный дуб у старой заставы... Открытка, в общем. Пошлая открытка. И всё равно меня там не покидало странное, неожиданное, дурацкое ощущение красоты. Я даже тогда подумал: а может, всё-таки не зря меня занесло в эти края?

Кошусь на лейтенанта. Самое время обменяться сентиментальными впечатлениями...

И именно в этот момент по нам бахнуло.

Впрочем, «бахнуло» — это неточно. Это слово подразумевает краткий миг сильного переживания. А когда на тебя налетает звено пикировщиков, ни для каких переживаний времени просто не остаётся.

Ты регистрируешь своим слухом шум — а в следующий момент уже лежишь в придорожной канаве и благодаришь силы небесные, что жив. Если, конечно, твой шофёр — опытный человек, который за оставшийся у него бесконечно малый промежуток времени... нет, не сориентировался, а просто на уровне рефлекса успел совершить нужные действия, чтобы съехать с дороги или хотя бы затормозить...

Наш шофёр успел. Видимо, сказала фронтальная тренировка.

— Боже, на кого вы похожи, — сказал лейтенант, когда мы оба поднялись.

Тут я осознал, что перемазался в грязи. Грязь на краю этой дороги была жидкая и однотонная — почти как горячий шоколад.

Всё-таки я не смог сдержать усмешку.

— Солдат ничего не должен бояться. Если ты упал в сортирную яму — облизись и иди дальше в бой...

— Что?

Мои слова поразили его явно гораздо больше, чем атака бомбардировщиков.

— Это из одного чешского писателя, — объясняю я.

Вообще-то, конечно, подобные авторы не слишком подходят для упоминания в разговоре с имперским лейтенантом; тут можно, и даже нужно, быть поосторожнее... Впрочем, плевать.

Вот, лейтенант сразу развеселился. Улыбается.

— Повторите, пожалуйста, — просит он.

Я повторяю цитату.

— Подходящая рекомендация, — замечает лейтенант, подбирая палочку, и начинает энергично чистить свои брюки.

Исключительно подходящая, думаю я. Причём сразу ко всем нашим обстоятельствам...

Стоп. Спокойно. Давай-ка лучше отчищай грязь.

...А внезапно нахлынувшее отчаяние всё равно плещет в глубине, как разбушевавшиеся подземные воды... тугие волны гноя... да что с тобой, ты же давно знаешь, отчаяние — это наше нормальное состояние, да, да, да, настоящая жизнь начинается только по другую его сторону... по ту, по другую, как будто отчаяние — это плёнка, которую можно проколоть швейной иглой... только главное, что с обеих сторон ты всегда будешь служить тем, кого ненавидишь, и делать то, для чего не предназначен... и даже умереть, когда захочется, будет нельзя... чёрт побери, чёрт побери, чёрт побери... так устроен мир. Вот и всё.

И успокойся, наконец.

Мы привели себя в некоторый порядок, влезли обратно в машину и поехали дальше, огибая свежие воронки.

Маленькие сады, домики, поля. Окраина. Полицейский пост при въезде в город.

— Всё так странно... — Лейтенант не заканчивает фразу.

Он уже давно хочет что-то сказать, но не отваживается и мнётся. Странно, что он решил затеять проблемный разговор со случайным попутчиком; хотя — что странного? Именно случайному попутчику иной раз выбалтываешь такие вещи, в которых не признаешься близким знакомым...

— Странно?

Лицо моего спутника морщится. Кажется, будто он сейчас заплачет, но в следующий момент я понимаю, что он просто хочет чихнуть.

— Именно странно, — говорит он, справившись. — В последнее время здесь небо стало слишком низким...

Что?! Опомнись, парень, кто из нас сумасшедший? До сих пор я считал, что это моя прерогатива...

— Низким? — я не нахожу ничего лучшего, как переспросить.

— Как потолок казармы, — поясняет он. — У вас нет в связи с этим соображений о том, где мы находимся?

Тон такой, словно он спрашивает: на каком километре дороги?

Я делаю вид, что не понимаю, и он, выждав секунду, поясняет:

— Коридор с низким потолком. Место, откуда нет выхода. А такое место называется...

Я знаю, как оно называется. Не трудись, спутник, я почти сразу понял, куда ты клонишь.

Инферно.

— Я думаю, что мы ещё не там. Я думаю, что мы ещё только на пути.

Эти слова я произношу неожиданно для самого себя. Как будто чужие — хотя я чётко понимаю, что это именно моя мысль. Просто до сих пор я о ней не знал. А вот пришёл момент — и она выплыла из подсознания.

На пути. Только вот туда или оттуда? Круг за кругом...

Или есть области, где вообще не имеют смысла такие понятия — «туда» и «оттуда»?...

Лейтенант не говорит больше ничего. Он просто смотрит на дорогу — довольно спокойно; в выражении его лица я никак не могу разобраться. Впрочем, и не пытаюсь.

Не всё ли равно? Если теме суждено развиваться, она разовьётся сама. Зачем форсировать? Тем более, когда не очень-то и хочется...

И вдруг мне делается невыразимо противно. Всё это я уже слышал сотни раз — и слышал, и говорил себе сам. Я уже сто раз проезжал по этой мокрой дороге, и у меня было сто одинаковых провожатых, которые произносили одни и те же слова. Трогаешь обычную шахматную пешку, а за ней тянется ступенчатый шлейф отражений — пешки, пешки, пешки... Я не знаю, какого вы цвета, ребята, но вы мне надоели. Они так бесполезны, все наши попытки... все ваши попытки понять, где мы находимся и что с нами происходит, потому что понять по-настоящему можно только тогда, когда не понимаешь. Знание — это незнание. В знание не надо играть, эта игра слишком азартная. Хочешь, чтобы она тебя не затянула, — не садись играть вовсе. Уже сел — постарайся прервать. Если это возможно. Попробуем. Итак, я расплачиваюсь по счёту и поднимаюсь из-за стола... то есть я просто говорю:

— Остановите. Мне здесь выходить.

И дальше всё идёт, как вереница кинокадров, которые прокручиваются почему-то с очень маленькой скоростью. Знакомая улица. Трамвайная остановка. Серый кирпич типовых домов. Ещё одна знакомая улица, на которой почти темно; по времени полагалось бы уже включить фонари, но фонари здесь давно вышли из строя, и по соображениям светомаскировки их не чинят. А в подъезде сейчас будет совсем темно. Совсем. Я ощупью поднимаюсь по лестнице; окно на лестничной площадке закрыто щитом, и здесь мне всё-таки приходится искать спичку. Копшусь, как крыса в наглухо закрытом ящике... Вот спичка вспыхивает, и внутренность ящика заливают густо-жёлтый свет; на стенах движутся мои огромные тени — кажется, что их несколько и они кривляются друг другу... Я жму на кнопку звонка и понимаю, что надо что-то ещё сказать, и мой голос кажется мне неожиданно чужим, когда я произношу:

— Привет, Ольга. Это я.

Свет. Целое море света. Свет зажжён по всей квартире — и в коридорчике, и в комнатах, и даже, кажется, в кладовке, и после темноты подъезда это производит на меня почти шоковое действие. Ольга стоит, чуть облокотись на полку занимающего половину прихожей книжного шкафа, и с лёгкой усмешкой смотрит, как я щурюсь. Вообще-то выражение лица у неё сейчас немного странное, но вникать в это мне, по понятным причинам, совершенно не хочется.

Потом она переводит взгляд на мой мундир.

— О боже. Ну ты хоро-ош, — говорит она с оттенком детского восторга.

Я почему-то сразу же начинаю чувствовать себя крайне глупо.

— Угу. Скажи, у тебя тут можно?...

— Можно. — Она на мгновение задумывается. — Где ванная — ты знаешь, горячая вода есть...

Она сторонится, пропуская меня, и, когда я уже захожу в ванную, добавляет:

— Собирался прийти Михаил. Думаю, вскоре после тебя.

Я никак не реагирую, хотя это известие меня и радует — Миша Маевский, как же... я не видел его месяц и уже, пожалуй, скучаю... Просто время поговорить у нас ещё будет. А пока я закрываю дверь на щеколду и на секунду замираю, осознав себя находящимся в ванной комнате. После этого бесконечного холодного дождя, и бесконечно грязных дорог, и набегающего от горизонта почти невидимого дыма, после... Я даже встряхиваюсь. Невыносимо белая эмалированная ванна, аккуратные кафельные плитки, электрический свет от лампы под потолком, — всё это, взятое вместе, смотрится сейчас настолько неестественно, что я просто пугаюсь, и приходится покрепче вцепиться в раковину. Хотя головокружения я вовсе не чувствую. Ничего, пройдёт. Всё в порядке. Я просто пришёл с войны.

Между прочим, я не раз наблюдал, как человек, побывавший — нет, не на нормальном фронте, как я сейчас, а в совершенно иных, предельно острых ситуациях, где плющатся под молотом Тора абсолютно все этические концепты и люди на время перестают быть людьми... — как такой человек приходит в дом к обычным людям, у которых ничего такого в биографиях нет — возвращается к очагу, так сказать, — и тоже становится обычным. Вот что поразительно. Казалось бы, след, который определённые вещи оставляют на психике, должен быть глубоким и пожизненным — и так оно в действительности и есть. Но вот ты видишь, как такой человек сидит напротив тебя за столом, радуется хорошему вину, шутит, флиртует с дамами... И самое удивительное, что этому никто не удивляется. Просто одна сторона личности свернулась в узелок, другая — раскрылась. И тогда получается, что в каждом из нас одновременно — именно одновременно, а не последовательно, — живёт множество персон, которые можно тасовать, будто карты...

Иначе просто невозможно объяснить то, что мы видим на каждом шагу.

Человек был в аду — и вернулся. Как Тезей. Почему, чёрт побери, мы не замечаем, что именно это происходит вокруг нас постоянно?

Да, тот, кто нас создавал, вложил в нас и такую потрясающую способность: оторванные куски души у нас отрастают почти мгновенно. И кто может сказать, награда это или проклятие?

Я нахожусь в ванной уже десять минут — это я вижу на наручных часах, которые лежат на полочке вместе с прочей моей мелочью типа зажигалки и бумажника. Китель, который я старательно драю тряпкой и щёткой, стал почти чистым. Почти — но не совсем. А один из моих, если хотите, пунктиков состоит в том, что форма всегда должна — нет, не быть идеально чистой, но производить поверхностное впечатление таковой. Как будто тебе завтра предстоит собственный расстрел...

И, руководствуясь этим соображением, я продолжаю отчищать китель и брюки ещё довольно долго, не глядя больше на часы. Ну вот, кажется, нормально. В таком виде уже не стыдно и на приём к генералу — а, кстати, не исключено, что завтра мне именно это и предстоит. Ведь командование нашей группы находится в этом же городе. Всё тут теперь на пяточке...

Смотрю в зеркало. Выражение лица — уже привычно жёсткое, как у многих и многих здесь; только под этой жёсткостью, как под маской, довольно легко прочесть некоторые странные для офицера, да и вообще для взрослого человека качества. Детская наивность... да ладно, будем называть вещи своими именами: детская глупость. Существо, которое очень боится, что у него вот-вот отберут игрушку. Забавно, что кое-кому такое сочетание нравится... С другой стороны, есть и мимолётное впечатление некой цельности — уж не мне судить, имеется в нём доля истины или нет. Ну, в общем, в таком виде жить можно.

Жить можно...

Я раздеваюсь окончательно, влезая в ванну — голая спина прикасается к ледяному чугуну... — и, пустив сильную струю горячей воды, позволяю себе роскошь целую минуту ни о чём не думать.

Дольше — не получается.

Когда я накинул халат и прошествовал в так называемую гостиную, оказалось, что компания уже в сборе. Маленькая компания — всего три человека. Костя Семёнов, Миша Маевский и Ольга. Они сидели у стола, на котором красовался типичный «средний эмигрантский набор»: чай, лимон, большая сковорода с яичницей, тарелка с печеньем, высокая бутылка красного вина... — они сидели вокруг всего этого и ждали, и только через секунду до меня дошло, что они ждут меня. Они не поднялись мне навстречу, не издали приветственных возгласов — всё это было лишним. На шестом году большой войны нормы поведения меняются. Спасибо вам за то, что я могу просто вернуться сюда. Это хорошо, когда есть куда вернуться.

— Привет, — сказал я вслух.

Семёнов и Маевский молча пожали мне руки.

— Прямо с фронта?

Они оба были в мундирах; я покосился на свой роскошный халат и почувствовал в ситуации какой-то тонкий комизм. Впрочем, заподозрить сейчас ребят в шутке — значило бы оскорбить их. Я кивнул.

— Не то чтобы с фронта... Я сегодня в дорожном дозоре стоял — вон там, — я сделал жест рукой, который стороннему человеку мог бы показаться неопределённым, но на самом деле довольно точно указывал в сторону северо-восточного сектора, то есть места, где и шёл сегодняшний бой. — Час назад вернулся.

— Ну и как там дела?

— Грязь, — сказал я и перевёл взгляд на стол. — Ребята, я же ничего с собой не принёс...

— Ты с дежурства, — сказал Костя, усмехаясь одной стороной рта. У него был паралич лицевого нерва после контузии. — Это мы сейчас — тыловики...

— Короче говоря, садись и жри, — закончил Михаил.

Совет был хороший. Настолько хороший, что я последовал ему не раздумывая — и только вонзив зубы в бутерброд с маслом, понял, насколько голоден. Отдежурил, называется. Ольга, не говоря ни слова, придвинула ко мне ещё одну тарелку, и какое-то время я занимался только едой, поглядывая, конечно, время от времени на окружающих — но не для того, чтобы получить какую-то информацию, а просто...

Просто мне было приятно их видеть. Даже Ольгу — несмотря на наш платонический роман, который с самого начала был обречён на то, чтобы закончиться довольно скоро, так и оставшись платоническим. Причём мы оба это знали. Четыре года назад, когда я ещё был полным мальчишкой, такое было бы для меня огромной проблемой. А теперь вот — плевать. Ох, много шелухи с меня ободрали за это время... Впрочем, где гарантия, что на её месте так же быстро не нарастёт новая?...

Вот и сейчас я горжусь, как идиот, тем, что нам с Ольгой вроде бы удалось остаться друзьями. А то, что иногда кольнёт боль, — это ничего. Это нормально. Всё равно, что для хорошего капитана лёгкая качка.

Кстати, о качке. Я не раз убеждался, что когда после долгой напряжённой деятельности на холоде человек попадает в абсолютно комфортные условия: диван, тепло, безопасность, еда... — реакция может оказаться неожиданно резкой: все контрольные системы сразу отключаются, и действительность вместе с диваном плывёт, качая тебя на волнах покоя и тепла. И не удивительно, что, выпив ещё и чашку горячего чая, я отвалился совсем. Не уверен, что заснул, — но на несколько минут всякий приток внешней информации в моё сознание почему-то прекратился. А когда эти минуты истекли, я увидел, что верхний свет в комнате погашен, Ольга куда-то исчезла, а Семёнов и Маевский сидят чуть поодаль от меня — под лампой у телефона — и энергично, но тихо, чтобы меня не разбудить, говорят о чём-то серьёзном. Я прислушался.

— ...Как сто лет назад. — Это Костя. — Загребать куда-нибудь на Кавказ, в линейный батальон. Оставить погони и пойти выгорать под солнцем, пока не схлопочешь от горцев пулю... Понимаю, понимаю. Лучшие времена прошли. Нам о такой ссылке — только мечтать. Как о прекрасном и несбыточном.

— Ну и что тебе эти мечтания дают? — Это Михаил. Он сидит спиной ко мне в очень свободной, видимо, позе — полулёжа в кресле и почти сбросив расстёгнутый китель. Такое расслабление он позволяет себе достаточно редко, и я даже думаю: неужели он успел выпить? По его голосу не поймёшь. — Знаешь, мне вообще всегда бывает неловко, когда я слышу, как умный человек говорит глупости. При нормальном ходе дела нас с тобой ждёт не ссылка и даже не штрафной батальон, а виселица на площади. Вот реальность, из которой надо исходить.

— Ну, исходи. Исходи. И где твоё чувство юмора?... — Костя слегка разворачивается, садясь поудобнее, и тут его взгляд падает на меня. — Э, да он проснулся.

— Присоединяйтесь, поручик, — Михаил, тоже обернувшись, стряхивает извлеченную непонятно откуда — похоже, что из-под кителя — плоскую флягу, в которой что-то призывно булькает.

Я не заставляю себя ждать. Чёрт возьми... Эта жидкость в полном смысле ошеломляет. Она не просто заливает белым огнём горло, но, кажется, бьёт куда-то прямо в основание мозга, так что я на короткое время снова теряю контакт с реальностью. Ну и напиток... Судя по гамме послевкусия, это что-то или венгерское, или балканское. Вот уж действительно, всё на свете объединила в себе славная Империя — поход двенадцати, чёрт их дери, языков... И только через полминуты ко мне наконец возвращается нормальное дыхание.

— Сопливание смертников? — Эту фразу я произношу ещё сдавленно.

— Точно, — откликается Костя. — Клуб самоубийц.

Обсуждаем вот, каким именно мылом мылить веревку...

Маевский едва заметно морщится, и я понимаю, в чём дело. Ведь «клуб самоубийц» — это в



разговорах нашей верхушки почти устоявшееся прозвище для упсальского правительства. Подобные дела Михаил знает куда лучше нас с Костей — потому и морщится. Ещё бы... Я помнил, каким потрясённым вернулся полковник Любимов, побывавший ещё в конце тридцать шестого года на совещании в Имперской коллегии по делам протекторатов. Нам, разумеется, никто не сообщал, о чём именно там говорили. Но догадываться не запретили. И мы догадывались. И то, что некоторым из нас потом пришлось увидеть...

А Любимов прошлым летом пропал. Просто пропал: поехал по делу в один провинциальный городок и не вернулся. Расследования не было — кому уж там прошлым летом было до расследований... Такие дела.

Всё-таки это, наверное, хорошо, что нас разгромили.

Только вот незадача: в плен нас не берут. Шведов берут, а нас — нет. Для соотечественников мы — изменники. Гвардия преисподней.

Мы — Русская освободительная армия.

Бросив взгляд на Костю, я понял, что он думает примерно о том же. А Маевский, как почти всегда, невозмутим. Странно: у него черты физиономии вообще-то скорее неправильные, во всяком случае, красивым его никак не назовёшь. А получается... Чёрт возьми, у него ведь сейчас совершенно картинное лицо. Чуть ли уставшее и твёрдое — как у литературного капитана фрегата. У капитана во время бури. Между Сциллой и Харибдой. Справа водоворот, слева ураган — ну и куда, интересно, ты поплывёшь? Конечно, теоретически всегда есть один-единственный правильный маршрут, выводящий в спокойное море. Неужели ты и вправду надеешься его найти? А? Скажи, капитан...

Кстати, на самом деле он не капитан, а, как и я, поручик. И лет ему меньше, чем мне, — всего двадцать семь.

Только это неважно...

— Так о чём это вы, ребята? — Я пытаюсь перевести разговор на серьёзный тон. Хватит шуток, в самом деле. Успеем мы ещё пошутить...

— Вот о чём. — Михаил указывает на выдранную из школьного атласа карту Европы с пометками, часть которых — свежие. На карте вырисовывается узкая полоса от Голштинии до Далмации — всё, что на сегодняшний день осталось от континентальной части Империи.

Я склоняюсь над картой, делая вид, что внимательно её рассматриваю.

— Ну и что ты об этом думаешь?

Да боже мой, что тут думать?... Бывают вещи, о которых говорить просто нет смысла. Или потому, что ничего не понятно, или потому, что всё уж так понятно — дальше некуда. Правда ведь?

— Фазы Луны не в нашу пользу, — говорю я.

— При чём тут фазы Луны?

— При том, что прилив. Никакое военное искусство нам тут уже не поможет. Оперативные контршансы исчерпаны. И отступать больше некуда. Так что ещё один хороший удар, — я показываю на карте, где именно он будет, — и — всё... — Я делаю паузу. — Это всё тривиально. Гораздо интереснее, что по этому поводу думаешь ты.

Михаил чуть кивает.

— Сколько я тебя помню, ты всегда умел ставить правильные вопросы. Но никогда не умел на них отвечать...

Я развожу руками: чего не умею, того не умею. Такая вот у меня беда. Оракул наоборот, так сказать...

— Ну, тогда ты скажи что-нибудь, — включается Костя. — Ты же у нас умный.

Михаил смотрит на нас, явно к чему-то готовясь.

— Ребята, — говорит он медленно, — я очень хочу вас вытащить. Очень. После того прорыва, о котором говорил Андрей, здесь будет просто несколько громадных котлов. Не уцелеет никто. Тех, кто прорвётся, западные союзники выдадут, как миленьких, — на этот счёт уже есть конвенция. Уходить скрытно, пересекать границы под чужими именами — многие ли из нас на это способны? А главное, что есть не только мы — есть... небольшое, правда... количество людей... которые от нас зависят почти во всём... — Он замолкает, и мы не прерываем его молчания. Сейчас особенно видно, что он всё-таки очень молод. — В общем, картина господам офицерам ясна. И вот поэтому... Меня, я думаю, никто не заподозрит ни в простодушии, ни в сентиментальности. У нас всё очень сложно, ребята. Понимаете, наш мир — он не двухцветный. Он изменчивый и сложный, как облако... или как воронка в океанских течениях... — Его глаза смотрят мимо нас, и я могу только догадываться о том, что именно они сейчас видят. — Даже добро и зло — и те иногда меняются цветами... то есть местами. Чего я вам говорю, вы это знаете не хуже меня...

Знаем. Я не знаю, о чём сейчас думает Семёнов, а он не знает, о чём думаю я, — у каждого из нас свои воспоминания: суматоха потерявшей голову армии, когда начальники орут на подчинённых по каждому пустяку, и два-три раза в день — боевая тревога; паника, расстрелы дезертиров, сброшенные в кювет заглохшие машины, оцетинившиеся винтовками заслоны на дорогах, ведущих в тыл; бесконечные колонны бодрых серых солдат, пылящие на восток под чистым летним небом; города с невымытыми окнами, встречающие победителей цветами; новые объёявления на столбах — красивые, чёткие, некоторые ветер срывает и несёт по улице; и тот же ветер приносит из пригорода запахи тополёвых аллей, уютных садиков, замусоренных дворов, свалок и гари; и служба после «торжественной присяги» — пустые дни, бессмысленные тренировки, подсобная работа, караулы на задворках железнодорожных станций; и уже другие колонны, бредущие боковыми дорогами под охраной одетых в чёрную форму гвардейских автоматчиков; и доносящийся с окраин стук пулемётов, который все стараются не слышать... Как скучно. Скука — доминирующий тон воспоминаний всех этих лет. О, разумеется, мы понимаем, что на самом деле всё не скучно, а страшно, очень страшно, но вот беда — никто не удосужился прорвать картонный задник, а декорации на нём так выцвели, что уже почти не видны; и вот мы слышим шум, догадываясь, что где-то что-то происходит, но глаза наши заморочены... Хотя, конечно, это ни в малой мере не послужит нам оправданием. И кто-нибудь правильный и справедливый, кому повезло не выпачкаться в этой грязи, будет смотреть на нас если не с ненавистью и не с презрением, то — в лучшем случае — с безгливой жалостью... Вот так, как смотрит сейчас Михаил, стараясь прочитать наши мысли. Кажется, он их уже прочитал... Интересно, а в зеркало он смотрит так же?...

— Короче говоря, ты предлагаешь нам измену? — спрашивает Костя.

— Да, — отвечает Михаил.

Вино всё ещё стояло на своём месте — очень высокая коническая бутылка без горлышка как такового: она просто стремительно сужалась кверху, господствуя над столом, будто странная башня. Жидкость в бутылке при плохом свете казалась непроницаемой, как чернила.

— Из Южной Франции, между прочим, — сказал Михаил, машинально подбрасывая бутылку в руке, как гранату. — Ну-ка, кто тут разбирается в винах?

Наше скромное общество сумрачно промолчало.

— Ты не форси, ты пальцем показывай, — вяло процитировал Костя столетний анекдот. — Наливай, короче.

— Что значит — наливай? — возразил Михаил, аккуратно ввинчивая в пробку штопор. — Это тебе не самогон и даже не шнапс. Пусть ты не разбираешься в марках и сортах, но проникнись хотя бы самым фактом, что перед тобой французское красное вино — то есть не раствор спирта, а концентрированное солнце, да ещё собранное на нарбонских или цизальпинских, — пробка хлопнула, — виноградниках, которые видели, наверное, ещё Цезаря...

Вкус вина оказался неожиданно вяжущим.

Ольга взглянула на нас вопросительно из-за своего бокала.

— Давайте за встречу, — отрывисто сказал Маевский. — За то, что мы все вместе. Именно сейчас это важно.

— За встречу, — повторил Костя, будто слова, как вино, надо было попробовать на вкус. — Как странно... — Он собирался продолжить, но осёкся, потому что во всей квартире вдруг погас свет.

Михаил шёпотом, но довольно слышно выругался.

— Романтический вечер при свечах, — тут же прибавил он. — Свечи-то у нас есть?

Свечи были — более того, они стояли наготове на полочке над баром, и Ольга зажгла две, переместив одну на стол.

Тени, тени...

Я полулежал на диване, который стоял почему-то у торца стола, а Константин и Михаил сидели в креслах по бокам. Было очень хорошо, спокойно и удобно.

Твёрдый профиль поручика Маевского — как у римского императора на медали.

Подпоручик Семёнов — совсем другой. Под клеймами, наложенными войной и контузией, упрямо проступает очень юное лицо, лицо восторженного мальчишки-поэта. Да он и есть такой — мальчишка-поэт.

В сторону Ольги я старался лишний раз не смотреть.

И не надо было. Она сама подошла сзади и положила прохладную руку мне на затылок. Покосившись, я увидел, что другой рукой она так же обнимает Костю.

— Постарайтесь вернуться. Пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы вернулись.

Сказав это, она перешла на другой конец стола и села там — на своё место, в кресло напротив меня. Совсем обычная. С умеренно блестящими глазами и, может быть, только чуть-чуть необычно раскрасневшимися щеками. Спокойная, как всегда, и держащая себя уверенно, как всегда. Готовая, если надо, к бою...

И вдруг я понял. Понимание пришло сразу и поразило меня, как будто огромный колокол ударил в груди, разметая в клочья никому не нужные внутренности...

Благословение. Вот что это было.

Я даже перестал ощущать боль. То, что случилось, было выше всякой боли. И выше целомудрия.

И кто-то ничтожный внутри меня сказал: вот за такое мы и прощаем им всё...

Чтобы отвлечься, я стал вертеть бокал с вином, наблюдая за красными переливами. Спокойный тёмно-красный, как залитая солнцем лоза; и мрачный тёмно-красный, как запёкшаяся кровь; и прозрачно-алый, для которого даже не подберёшь сравнения — нет в нашей обыденной жизни такого цвета; и почти чёрный... Враньё это — насчёт того, что «в бокале вина — целый мир». Ничего там нет, кроме красоты и смерти.

Потом я, кажется, заснул и во сне немедленно увидел Ольгу. Она была такая, как всегда. А на мне опять была военная форма, но не та, с андреевским крестом в пятиугольнике, которую я носил наяву, — нет, там на мне была всего лишь лёгкая кираса и поверх неё — белоснежный плащ с нашитым чёрным знаком... Я знал, что могу обнять Ольгу, но это ни к чему, потому что только отвлечёт мои мысли от чего-то другого... от чего — от другого? и, словно в ответ, на небе вдали, довольно низко что-то блеснуло; я пригляделся — это был шпиль замка, замка, названного именем нашего покровителя, святого Андрея... Всё замыкаюсь... Ольга начала удаляться, я уже не мог достать её рукой, но знал, что стоит позвать — и она вернётся, и не звал; знал, что вот-вот ляжет черта, делающая прикосновение невозможным, но не чувствовал по этому поводу ни малейшей горечи. Кажется, я так и не обнял её.

Там, во сне, это действительно не имело значения.

Проснувшись, я плакал. Не от обиды — при чём тут обида. Просто не помню, когда ещё мне было так легко.

— Небо на нашей стороне, — сказал голос Кости Семёнова. — Бомбить сегодня не будут.

Продрав глаза и обернувшись, я увидел, что Костя стоит около окна, штора которого отёрнута. Это нарушало правила светомаскировки, но электричества всё ещё не было, а огонёк нашей свечи вряд ли смог бы навести на цель стратегические «летающие крепости». Хотя это и было бы забавно...

Взглянув на фосфоресцирующий циферблат, я увидел, что ещё только половина третьего ночи. Час Быка. За окном... Сначала я не понял, что за окном. Оно было как будто затянуто ровным серым одеялом. Потом я сообразил, что это просто облака.

— Я тут порылся в книгах, — сказал Костя. — Там в дальней комнате обнаружилась великолепная библиотека. Много старых книг — прошлого века, даже позапрошлого. Много поэзии: Новалис, Гельдерлин, Клейст... Вот у Клейста, оказывается, есть такая вещь — «Легенда об Уране». Не читал?

Я рассеянно мотаю головой, пытаюсь окончательно проснуться. Откуда бедному латинисту так хорошо знать немецкую классику...

— Перед тем как заточить Урана в темницу, Хронос не только оскотил, но и ослепил его. С тех пор небо бесплодно и слепое. Видишь? — Семёнов показывает на окно. — Вот почему совершенно безнадежное дело — обращаться по какому-либо поводу к небу. Так же, как и ждать чего-то от небес... А сам Уран теперь в подземной тюрьме. Причём не просто в подземной, а — «на таком расстоянии от поверхности Земли, как эта поверхность от

небосвода». Представляешь, да? Его оттуда не выпустят, пока стоит мир. Он это знает — и всё равно бьётся, пытаюсь расшатать стены. Расшатать, чтобы обрушить их — пусть даже на себя. Иногда от этого земная корка трескается и из глубины выплёскивает бурлящая лава. Она рвётся к небу...

Мы довольно долго молчим. Я кутаюсь в халат, пытаюсь унять неожиданную дрожь.

— Как по-твоему — Михаил сегодня серьёзно всё это говорил?

— А что он говорил? — У Кости делается такой вид, словно он хочет спать. А может, и правда хочет — всё-таки поздно уже.

— Не валяй дурака, — отзываюсь я вяло. — Ты прекрасно всё понял.

Костя молчит, задумавшись. Что-то слишком долго длится это молчание...

— Да, я прекрасно его понял. Он предложил попроситься обратно на службу к тем хозяевам, против которых мы три года назад поклялись сражаться. Попытаться купить жизнь ценой нового предательства. — Живая половина Костиного лица искривляется в гримасе. — Очень литературно это звучит. Очень пошло. Я уже поэтому не могу согласиться.

— По-твоему, обещание сражаться за шведов звучит лучше?

— Да не знаю... — в его голосе проскальзывает досада. — Ну, во-первых, я просто не верю, что нам подарят жизнь. Насколько я знаю правителей Евроазиатского Союза, эти сволочи поступают так, как поступали всегда. Пообещают всё что угодно, а потом сделают, как захотят.

— Ну да. — Я совершенно неожиданно для самого себя начинаю злиться. На кого, интересно?... — Здешних-то в этом не упрекнёшь. Они у нас честные и прямолинейные. Паладины. У них слово с делом не расходится. Скажут, что какие-нибудь чернокожие им мешают — и уничтожат несколько миллионов.

Лицо Семёнова мгновенно делается безжизненным. Я ударил в больное место. Затронул тему, которая долго была под полузапретом. Мы отталкивали её, не позволяя своему рассудку собрать известные факты в законченную конструкцию. Потому что если эта конструкция сложилась, то жить по-прежнему уже нельзя. Невозможно.

Да, был такой правительственный указ о специальном статусе Шведского Конго. Эта страна очень богата всевозможными ресурсами. Стремясь её окончательно освоить, Имперский совет действовал предельно последовательно. Судя по всему, территорию Конго было решено полностью очистить, и сейчас гвардейский корпус «Африка» уже выполнил значительную часть этой задачи, уничтожив примерно три четверти местного населения. Даже теперь, когда под угрозой была сама метрополия, этот корпус не отзывали. Как сказал риксминистр экономики граф Мейерфельд: «...принципиальные соображения должны быть для нас выше личной безопасности».

Кстати, в других частях Африки имперцы такого не творили. То есть у них не было никаких предубеждений против негров как таковых. Конголезские банту просто оказались препятствием на пути идеального плана. А препятствие должно быть устранено. Вот и всё...

Совершенно бесполезны утешения — вроде того, что по другую сторону фронта сейчас творится почти то же самое. Там расстреливают дворян, священников, офицеров, отправляют в ссылку целые народы... Но это всё — там. А мы-то — здесь.

Мы — воины Империи.

Наследники Юлиана, Азция, Велизария. Какая насмешка.

Иногда кажется, что само небо ухмыляется над нами, как рожа колоссального урода-клоуна. Прощальная улыбка Урана...

— Ты что-нибудь решил? — спрашиваю я без особой надежды.

Семёнов обречённо качает головой.

— Утро вечера мудренее. Давай-ка лучше спать. — Он неожиданно улыбается. — Спокойной ночи, господин поручик.

— Ага. И приятных сновидений...

Он опять легко улыбается.

— Нет. Этого я тебе желать не буду. Спи-ка лучше вообще без снов.

— А сам ты устроился?

Он кивает.

— Задёрнуть тебе шторы?

Мой ответ понятен без слов. Костя аккуратно, не оставив щёлки, закрывает шторы и, мягко ступая, удаляется. Он не обернулся, когда уходил, но мне почему-то всё кажется, что в воздухе ещё витает тень его растерянной улыбки...

Я подтягиваю к себе одеяло и гашу свечу. Удобно вытягиваюсь на кровати, чувствуя, как мои мысли выстраиваются вдоль этой кровати в волнистую линию: как хорошо, как тепло, и как хочется спать; и как здорово лежать в боковой комнате полупустой квартиры — в закоулке мира, где никто не знает обо мне, — и быть при этом всё-таки не в одиночестве; и как мне повезло, что у меня есть такой приют, и как ещё больше повезло, что у меня такие друзья; вот только что с ним делать, с таким везением?... Прекрасно, что в окне не видно неба, прекрасно, что вообще ничего не видно, — ведь иногда так хочется найти место, где можно содрать с мира покров света, ткнуться лицом в подушку, успокоиться в ласковом мягком мраке...

Покачай меня в колыбели, ночь.

2

Итак, наше представление продолжается. Джаз может отдохнуть — антракт окончен. Господа, внимание на сцену! Возможно, некоторые из вас уже предугадывают развязку, и возможно также, что отдельные действия кажутся вам затянутыми более, чем предполагают обычные художественные каноны; но в обоих случаях виноваты не сценаристы, а проклятая природа вещей. Ах, какую великолепную пьесу мы бы могли поставить, если бы только режиссёру было разрешено творить мир не с середины, а с самого начала! Обещаю, что мы непременно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании художественного совета. Но пока — пока будьте снисходительны к нашей скромной труппе; а уж мы для вас постараемся! Так или иначе, вы уже заплатили деньги зато, чтобы побыть зрителями, и теперь, хотите вы или нет, но мы сделаем всё, чтобы развлекать вас до самого финала...

— Ну что, господа. Все, кого было возможно и необходимо видеть, вероятно, уже здесь...

Мы сидим в школьном актовом зале. Тяжёлые узорные занавеси на больших окнах, ряды одинаковых стульев с зелёной обивкой. Обстановка здесь напоминает какое-то карикатурное торжественное заседание. На низкой сцене сооружено подобие президиума — обычная парта с тремя стульями, на которые никто не садится. Полковник прохаживается по сцене взад-вперёд. Останавливается и оглядывает нас, сидящих полукругом.

— Прежде всего напоминаю господам офицерам, что это собрание носит... скажем так: не вполне открытый характер. При нынешнем состоянии систем власти Империи это извинительно. Мы были бы просто не в состоянии одинаково проинформировать всех, кто может заинтересоваться нашими проблемами...

По ряду слушателей пробегает лёгкое шевеление. Только шевеление, не более. Ясно, что в эту секунду все задают себе один и тот же вопрос: есть ли среди нас агенты ГТП? Почти без сомнений — да. Полковник это тоже великолепно понимает, из чего следует, что он уже махнул рукой почти на всё и сознательно выбрал игру на опережение. Информация, которую он нам сейчас выдаст, должна потерять значимость быстрее, чем агенты донесут её до своих сюзеренов и те успеют предметно отреагировать...

Между прочим, то, что Империя монолитна, — это вообще полная иллюзия. Так может считать только человек, никогда не видевший её изнутри. А любому, кто хоть чуть-чуть общался со здешней военной администрацией, ясно, например, что имперская армия — это одно, а имперский флот — это совершенно другое. А Гвардия — это совершенно третье. А ещё есть министерства внутренних дел и экономики, Консилиум протекторов, авиация... В общем, реально Империя — это набор из нескольких независимых организующих структур, каждая со своим руководством, со своими системами связи, со своими клерками и солдатами и, главное, — со своими интересами. Каковые интересы местами не пересекаются вовсе, а местами пересекаются в самых причудливых вариантах и комбинациях. Так что вместо мифической всеобъемлющей супербюрократии получается бардак бардаком, оркестр с тремя дирижёрами. Бюрократия же, которой здесь действительно хватает с избытком, значительно этот бардак усиливает. И иногда находятся умелые люди, которые всем этим творчески пользуются...

Вот только у нас таких умелых людей маловато.

Кажется, это ясно и полковнику — во всяком случае, в его взгляде сейчас явственно читается некоторый скепсис.

— Вы знаете, господа, что положение на фронте продолжает осложняться...

Ничего себе — осложняться. Противник уже перед обеими столицами: что называется, у ворот. И забавно, что он так упорно именует нас господами. Ведь он пятнадцать лет прослужил офицером в той самой армии, против которой сейчас сражается, — а там такие обращения, мягко говоря, не приняты...

— ...Не стоит и напоминать, что в этой обстановке мы обязаны по-прежнему хранить твёрдость. Мы в любом случае должны показать, что умеем драться. Империя, которая доверила нам свою защиту... — Он делает паузу, подбирая слова. — Вы сами понимаете, какая это почётная задача — защита Империи. И ведь дело даже не в Империи. Защита цивилизации от варваров — вот чем мы сейчас занимаемся, если называть вещи своими именами. По крайней мере, это должно быть так.

В зале стоит тишина.

— Варвары — это наши противники с востока. Вы все знакомы с обстановкой на фронте —

говоря точнее, на фронтах. Вы все понимаете, что если не произойдёт чуда, то через довольно краткое время под прямой угрозой окажутся главные имперские центры. И вы знаете, что нам с вами деваться некуда. Нам с вами лично и нашим подчинённым, о которых мы обязаны думать больше, чем о себе. Простите за риторику, — он устало улыбается. — Положение очень сложное — во всех смыслах этого слова. Потому я и собрал вас. Предстоящая нам оборона требует ряда срочных подготовительных мероприятий.

Вот она — ключевая ориентирующая реплика. Что ж, на что-то подобное мы и надеялись...

— Планом этих мероприятий владеют несколько штабных работников, каждому из которых поручено сформировать свою группу. Все руководители групп находятся здесь, в этом зале. Каждый из них может привлечь к своей задаче тех офицеров, которые ему, грубо говоря, понравятся, — без всяких кадровых ограничений. «Не по чинам, а по способностям», как пишут в таких случаях в приказах наши друзья шведы. — Он умолкает, видимо, проверяя, не забыл ли что-нибудь сказать. — Желаю удачи, коллеги.

Спасибо...

Люди расходятся как-то очень тихо. Видимо, почти каждому из них предписание уже было выдано заранее, а полковник сейчас просто озвучил общую установку — чтобы было понятно, чего именно ждать.

Меня самого майор Беляев из отдела контрразведки просил зайти в двенадцать часов — теперь ясно, зачем. Я смотрю на часы: до назначенного времени остаётся ещё минут двадцать...

Выйдя на крыльцо, я осматриваюсь — рядом никого нет. Знакомые мелькали в коридоре, но потерялись из виду. И слава Богу. Надо же наконец побыть одному. Я отхожу в сторону, под крону растущего в школьном дворе большого каштана, и лезу за портсигаром.

А между прочим, весна. Не то чтобы мы этого раньше не замечали — замечали, конечно. В минуты остановок оглядывались и говорили сами себе: да, весна. И шли сквозь неё дальше, как свет сквозь стекло.

Прозрачная весна.

Не было смысла смотреть в небо. Я перевёл взгляд вниз и от нечего делать поддал сапогом мокрую залежь прошлогодней листвы. Как всегда в такие вот перерывы, начали вспоминаться вчерашние разговоры. Но вспоминалось только внешнее — сцена со свечами, а содержание разговоров сейчас выглядело просто элементом декораций. Оно и к лучшему. Я начал осторожно перебирать впечатления вечера и ночи — слова, блики, силуэты — и всё-таки не уберёгся. Ольга... Вдруг включившийся образ полоснул, как острая сталь. Не смей, скотина, сказал я себе. Держись, иначе ты сейчас будешь ни на что не годен. Поздно. Нарыв прорвался, и содержимое хлынуло, заполняя меня тёмной, смешанной с кровью и болью, почти кипящей, бешеной нежностью. Как это, интересно, нежность может быть бешеной? А вот — может. Как буря. Ольга...

Где вы, слова? Слова не передают смысл, а искажают его — это банально, это известно всем; но бывают минуты, когда именно это воспринимается просто физически. Где вы, слова? И что такое смысл? Язык — это искажение. Слова — это язык. Но то, что мы в нашей примитивности называем смыслом, — это ведь тоже язык, только более низкого порядка; понять это иначе невозможно. И так далее. Значит, весь наш мир — это большая лестница искажений...



Опять слова. Слова порождают новые слова. Опять и опять, говорю я про себя с усталостью и горечью. Уйдите от меня, слова. Ну какое проклятие обрекло меня без конца вас произносить?...

А ведь есть ещё музыка. Раньше я думал, что знаю всего одно величайшее произведение, написанное, кстати, жителем близких отсюда мест, которое с космической силой выражает именно это: поток неудержимой нежности. Но даже эта вещь сейчас кажется пошлостью — в сравнении с тем, что...

Уйдите от меня, слова...

Я пытаюсь отбросить мысли, и звуки, и все символы. Сосредоточиться только на том, что грубый язык называет чувством. Только. Кажется, это сейчас важнее всего. Прозрачная весна, живущая своей жизнью снаружи, очень мешает — рассеивает, отвлекая меня от главного...

А главное только что было рядом — и ускользает.

Почему, интересно, такие прорывы чувств посещают меня обычно именно в моменты, когда объекта рядом нет? Уродство у меня такое, что ли? А может, и в этом есть какая-то непонятная мудрость?

Ведь вчера вечером я был вполне спокоен. Любовался тенями, пил вино, поддерживал бесполезный разговор. Держался на плаву, короче. И был уверен, что так и надо.

Кому надо?

...Я смотрю со сцены в зал — там сидят персонажи, хорошо знакомые по классическим книжкам. Боги. Красивое уверенное лицо Аполлона; покровительственное, чуть брезгливое спокойствие Зевса; широко раскрытые глаза Афродиты; скептическая ухмылочка Пана...

А мы играем. Ведь для актёра вопрос чести — довести спектакль до конца.

Наверное, бывают люди достаточно сильные, и смелые, и главное — достаточно добрые, чтобы нарушить правила, придуманные зрителями этого проклятого древнего цирка. Отринуть честь.

Но мы были дисциплинированны и упорны. Мы оба играли свои роли. И вышло то, что вышло.

Твердь воистину тверда...

Стайка голубей прошла в небе, меняя по пути свою форму. Живая метафора души. Не потому, что изменчива, а потому, что по составу своему проста и конечна. Хотя и жива. Но ведь живая — это и есть бесконечно сложная... И всё-таки враньё, что душа — это бездна. Это просто несколько маленьких птичек.

Интересно, что бывает, когда из клетки вылетит последняя?

На минуту кажется, что это уже случилось. Что внутри не осталось ничего, кроме пустоты и прохлады. К сожалению, так только кажется. Я знаю, что это пройдёт и даже длиться будет не очень долго.

Ольга... Ну что, считаем, что всё нормально? Когда всё равно ничего не изменить, надо считать, что всё нормально. Изощрён человеческий разум, слов нет, как изощрён и изобретателен. Легко и почти бессознательно выстраивает защиту вокруг чего угодно. Какие идиоты могли считать, что «разум — это светильник, который не указывает направление, но

хотя бы освещает дорогу»? Светильник, да, — для того самого пьяницы, который ищет потерянный ключ под фонарем. Иногда Разум видится мне как мелкий слуга, всегда готовый принять и поддержать любое, самое подлое решение своего господина...

А всё-таки: мог ли я что-нибудь сделать иначе? Конечно, бесполезно так себя проверять. Если что-то возможно сделать, то это просто делается. А если я совершил какие-то ошибки, то узнаю об этом... ну, разве что в другой жизни.

Почему всё так сложно? Неужели я сам устраиваю себе эту сложность? Сам устраиваю, а потом без неё уже не могу. Это — как рост. Какой, скажите, смысл дереву горевать, что оно не может снова стать семенем или саженцем? Хотя это и некомфортно...

Или у меня всё-таки были шансы?...

Я смотрю на часы: без двух минут двенадцать. Пора возвращаться в здание. К привычным и уютным военным делам.

— Заходите, поручик, садитесь. — Майор сидит в пустом классе за учительским столом. Нам позволили занять школу, потому что занятий в ней сейчас быть всё равно не может — какие занятия, когда город на осадном положении. Я сажусь за первую парту. Учитель и прилежный ученик. Смешно.

Впрочем, мои отношения с майором Беляевым в самом деле немного похожи на те, которые могут в удачных случаях сложиться между учителем и учеником. За последние два года нам с ним не раз приходилось сталкиваться в довольно экзотичных сюжетах, когда опыт Беляева — как-никак в прошлом офицера Особого отдела самого напряжённого, Ингерманландского, военного округа — был для такого дилетанта, как я, совершенно бесценен. И я действительно многому от него научился. Майор тоже, разумеется, обо всём этом помнит — и потому начинает разговор прямо. Вернее, он начал бы прямо, но именно сейчас он, похоже, действительно не знает, как именно начать.

— Догадываешься, о чём пойдёт речь?

— Что-то не по программе вопрос, господин начальник. — Я устраиваюсь на стуле поудобнее и вытягиваю под партией ноги. — Кажется, вы спутали ампула. Если есть приказ — отдавайте...

— Есть приказ, — заверяет меня Беляев. Моя наглость, кажется, таки помогла ему нащупать зыбкую опору для продолжения беседы. — Только прежде, чем я его оглашу, у меня к тебе будет несколько вопросов.

Я изображаю внимание.

— Ты служил в Рагузе?

— Служил. Хотя это сильно сказано. Мы там три месяца проболтались почти без дела...

— А то, что ты там стал доверенным лицом командующего группой армий, — это тоже сильно сказано?

— Это просто чушь. Ну, беседовали мы с ним пару раз. О войне и о литературе. И всё.

— А зачем ему это было нужно?

— Ему-то? Думаю, просто для развлечения. Заглянуть на досуге в загадочную

гиперборейскую душу...

Я ненадолго ухожу в себя, вспоминая Рагузу — приморский городок, в который меня занесло на пятом году войны. Особого смысла пребывание там не имело; просто это был период, когда имперское командование в очередной раз перестало понимать, зачем мы всё-таки ему нужны, и стало потихоньку рассредоточивать наши части, затыкая нами все дыры. Рагуза как раз и была одной из таких дыр: спокойный провинциальный гарнизон. Там даже на улицах почти не стреляли. И мне запомнилась не служба, а именно сам город. Он был странный. Так мог бы выглядеть обычный германский или датский городок во сне ребёнка, знающего Европу только по сказкам Андерсена. Город на склоне горного хребта: сплошное скопление островерхих черепичных крыш, причудливых шпилей, маленьких куполов, тонких башенок и кирпичных террас, уступами сбегаящих к морю... Так он выглядел чуть издали. А внутри он вполне отвечал портрету среднеевропейского города, только с мелкими несуразностями: как будто ход лучей в окне чуть-чуть искривился, сохранив для тебя картину, но исказив углы и оттенки. Посреди правильных бюргерских домов с крашеными ставнями и водостоками — вдруг мечеть. На подходе к площади ратуши широкая булыжная улица перегорожена тяжёлой цепью: по традиции, никакие экипажи сюда не допускаются. Сама площадь — вполне обычный квадрат брусчатки, окружённый домами с галереями, только эти дома непривычно далеко: площадь огромна, как поле. И холодный ветер с Адриатики... Этот ветер у меня с тех пор странным образом ассоциируется с понятием свободы. Может, просто от того, что у меня там было много пустого времени — службой-то нас загружали мало, порт почти не работал. А может, потому, что я немного знал историю этих мест. Пятьсот лет назад Рагуза была классической торговой республикой, «давно пустившей все свои леса на корабли». В тяжкие дни Балканского полуострова она сумела с помощью сложнейших экономико-дипломатических интриг сохранить фактическую независимость и, как следствие, оказалась универсальным убежищем, в котором находили приют любые эмигранты — от князей и философов из разбитых столиц до спускавшихся в буквальном смысле с гор албанских разбойников. Приветливее, конечно, встречали тех пришельцев, у кого водились деньги, — здешние нобили всегда были весьма прагматичны, — но не прогоняли никого. В результате Рагуза, сохранившая к тому же в качестве государственного языка латынь, на два столетия превратилась в культурный центр, сравнимый по славе с Флоренцией, Болоньей и Веной. Известность здешних поэтов, математиков, богословов разошлась на весь континент. Рагузский сенат всё это время продолжал держать внешнюю оборону, делая возможное и невозможное, а при необходимости просто покупая вооружённую силу у окрестных мелких деспотов; практиковался и такой метод, как прямое назначение за головы врагов города широко объявленных премий. Кончилось это только после захвата турками Константинополя, когда возможностей для политических манёвров больше не осталось. Я ничего не понимаю в социологии, и, может быть как раз поэтому, меня иногда посещает дурацкая мысль: если какое-то оптимальное общественное устройство вообще возможно, то его символ — именно вот такой вольный город. Разумеется, ничего никому не даётся даром, и островки будущего всегда расплачиваются за свои успехи более или менее тяжёлыми локальными прорывами прошлого: в Рагузе, например, был необычайно сильно для средневековой Европы развит институт рабства. И всё же... Всё же там было что-то особое, чего уже нельзя испытать на нынешнем Западе. Что-то от того города, который — единственный в мире. Который — Город.

Конечно, Рагуза — слабая метафора для столицы мира. Но ведь и всё без исключения, всё, что мы любим, — это, наверное, всего лишь метафора. Знак нашей судьбы, воздух наших дней, шум нашей бегущей крови, вечный наш спутник — Город...

Я ведь потому и пошёл в своё время в классическую филологию, что меня заворожила история о Городе. О Городе, который равен миру, к которому относишься, как к возлюбленной, с которым боишься расстаться. Разумеется, на самом деле там всё выглядело гораздо сложнее, чем можно вообразить, прочитав в переводе две-три главы из

Цицерона, Бозэция или Плутарха. Но в общем — да, так оно и было.

А увлечение классической филологией, в свою очередь, как раз и свело меня с фельдмаршалом Линдбергом.

Произошло это случайно. Фельдмаршал, командующий резервной — тогда ещё резервной! — группой армий «Паннония», объезжал с инспекцией периферийные гарнизоны. В Рагузе его штабу отвели квартиру в помещении бывшей духовной академии. Типичное здание, предназначенное не для жизни. Высоченные облупленные потолки, странные арки между секциями коридора, узкие комнаты, похожие на кельи. Но в том же здании была очень неплохая старинная библиотека, в которую кое-кто из офицеров, разумеется, полез и сразу обнаружил там массу интересных вещей — например, редчайшее, отпечатанное в Турине в конце XVI века, издание Тацита. Поскольку все знали, что фельдмаршал ещё со времён гимназии отличается любовью к античной литературе, это издание было немедленно отнесено к нему на стол. Перелистывая книгу на сон грядущий, фельдмаршал застрял на одном месте, где были, как ему показалось, непонятные разночтения. Свидетелем разговора на эту тему я случайно и оказался.

Впрочем, не так уж случайно: в том, что на караулах стояли именно солдаты нашего отряда, как раз заключалась некоторая идея. Главные командования всех стран мира часто использовали эту идущую со времён августов традицию: поручать ближнюю охрану не своим, а чужим — бывшим пленникам, перебежчикам, предателям, ренегатам, янычарам... В общем, людям, у которых оказалась разорвана большая часть связей с внешним миром — и которые именно поэтому надёжнее любых элитных коронных частей. Даже на самом пике войны, роковой зимой тридцать седьмого года, охрану штаба группы армий «Азия» нёс не кто-нибудь, а терские казаки. Надо сказать, что и в ходе той зимней битвы, и особенно после её конца казаки воевали прекрасно и умирали старательно, регулярно демонстрируя идиотские чудеса вроде атак степной кавалерии на танки. Им теперь действительно было на всё наплевать.

Но я опять отвлёкся... Так вот, услышав, как один из бездельничающих в данную минуту штабных офицеров пытается выдать по памяти латинскую цитату, я не удержатся и произнёс вслух правильный перевод. Офицер, разумеется, посмотрел на меня с огромным изумлением. Но мне тогда уже тоже было на всё наплевать, и я просто-напросто отрекомендовался: подпоручик такой-то, бывший магистр классической словесности. Если вам нужно разобраться в Таците — могу помочь.

Вот так меня и представили командующему группой армий. Беляев эту историю в общих чертах уже знал, поэтому особых вопросов у него возникнуть не могло. Или разведку заинтересовали какие-то подробности о фельдмаршале? Но — зачем? Какое нам сейчас до него дело?

Беляев между тем старательно состроил задумчивую мину.

— Видишь ли, — сказал он, — не исключено, что ваше общение было гораздо более серьёзным, чем ты думаешь. Вспомни, в какое время это происходило...

Я помнил. Моё знакомство с фельдмаршалом состоялось весной, а через полтора месяца — тоже весной, но поздней — случилось покушение на риксканцлера: знаменитый взрыв бомбы на совещании в Ставке. После чего ГТП исполнило свою давнюю мечту и прошлось по армии частым кровавым гребнем. Следствие было свирепое; дошло до того, что специально для замешанных в заговоре военных имперские юристы восстановили старые способы казни — по слухам, некоторые генералы были в Эльсинорской крепости натурально колесованы. Линдберг тогда уцелел, и я считал, что уж он-то к событиям непричастен. Хотя, конечно, разговоры с ним могли бы навести и на иные мысли — но что такое разговоры?...

— По-моему, вы порете какую-то ересь, — сказал я честно. — Был или не был Линдберг связан с заговором — какое это сейчас имеет значение?

— Такое, что мне интересна структура его личности. И не смотри на меня, как на идиота. Ты когда-нибудь слышал, что при чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры?

Видимо, у меня был действительно очень глупый вид, когда я хлопал глазами, пытаюсь осмыслить это заявление. Беляев вздохнул и ничего пока не стал говорить, а просто развернул карту.

— Смотри. Вот расстановка фигур. Вдоль Ботнического залива сейчас идёт сильный прорыв, закрыть который уже ничем не удастся. Это означает, что падение столицы — теперь только вопрос времени. И только пока это время не истекло, у нас ещё сохраняется какое-то пространство для манёвра. Здесь единственно возможная предпосылка — то, что к югу от Польши позиционный фронт, как видишь, пока никто не штурмует. Видимо, они считают, что после того, как столица будет взята, все периферийные группы сдадутся сами. Правильно считают, заметим. Но нам это даёт последний шанс. Очень быстро поставить вот здесь, — он провёл карандашом по карте чуть южнее того места, где мы сейчас находились, — заслон, направленный на восток. Сколотить импровизированное соединение по типу нашей старой Добровольческой армии, включив туда всех, кому некуда деваться: чехов, хорватов, австрийцев... нашу Первую дивизию, если её успеют вывести из Саксонии... Ну, как раз это, слава Богу, не наше с тобой дело. Наша задача — обеспечить позиции для этого самого заслона.

Он перевёл дух.

— Устойчивые континентальные участки фронта сейчас заняты двумя группами армий. Группа «Сарматия» Реншельда, с которым любые переговоры бесполезны — это мы уже выяснили. — Тут Беляев сморщился, и я порадовался, что не знаю подробностей «выяснения». — И группа «Паннония» Линдберга. Линдберг сочувствует нашему движению. Но связи с ним у нас нет.

— А хоть бы и была... — Я внезапно почувствовал, что пол комнаты словно уплывает и меня против воли уносит в какой-то иной пласт реальности — в страну, где бывают чудеса, где небо другого цвета, где, быть может, даже эта война кончается как-то по-другому... — Если честно, я просто не понимаю, зачем всё это.

— Если честно, я тоже, — сказал Беляев. — Но что ты ещё предложишь? Раскол между союзниками, на который надеется высшее начальство, — это бред, конечно. Хотя — чем чёрт не шутит. А вдруг наша армия как раз и окажется тем клинышком, от которого пойдёт разлом? Конечно, это уже надежда на чудо, но бывают ситуации, когда надеяться на чудеса просто необходимо... И во всяком случае, мы можем хотя бы удержать оборону на востоке, чтобы те, кому надо эвакуироваться, успели оказаться в зоне оккупации американцев, а не попали под «паровой каток»... В общем, не будем обсуждать, реальны такие планы или нет, потому что это всё равно единственное, что мы ещё можем сделать. Иначе, я думаю, нам всем лучше сразу умереть.

Он умолк.

— Ты хочешь, чтобы я полетел к фельдмаршалу и договорился с ним?

— Да. Я понимаю, что это дико звучит, но это — шанс. Пусть маленький, но нам сейчас выбирать не приходится. А то, что у тебя такое низкое звание, — это даже хорошо.

— Больше шансов проскочить незамеченным сквозь кордоны...

— Соображаешь, академик... — Теперь, когда главное было сказано, Беляев явно чуть-чуть расслабился. Но только на мгновение. Потому что умственную нагрузку, связанную с техникой вербовочного разговора (а что ещё это было?), тут же сменила нагрузка совсем другая — гораздо более тяжёлая. Он даже вдруг как-то постарел.

— Ладно, теперь о подробностях. Ты поедешь на бронепоезде...

— На чём?!

— На бронепоезде «Фафнир». Нас связывает с Сплитом рокадная дорога — очень удобно. Спрашиваешь, почему не на самолёте? Отвечаю: потому что реактивный самолёт нам не достать, а отправлять тебя на обычном транспортнике я не рискую. Сам знаешь, что сейчас творится в воздухе. К тому же поезд безопаснее ещё и в другом смысле — перемещения по воздуху исключительно легко контролировать...

В этом месте монолог майора был прерван стуком в дверь, и вошёл седой мужчина в штатском костюме. Первый штатский человек, которого я увидел сегодня в здании, — именно это сбило мой взгляд, так что я не сразу сообразил, где и когда я его встречал раньше. Прошлый август, конгресс соотечественников в Праге. Виктор Евгеньевич Лукашевич, кадровый гвардеец, кавалер ордена Белого орла, в гражданскую войну — командир дивизии в Забайкальской армии адмирала Тимковского, а потом — самый обычный эмигрант, двадцать лет перебивавшийся случайными заработками в Шанхае, Будапеште и той же Праге. А вот теперь — с нами. Правда, форму заново надевать не стал и присягу на верность Империи не принёс, отговорившись возрастом. Осколок Белой гвардии. Я почти непроизвольно встал по стойке «смирно».

Майор тоже встал.

— Познакомьтесь, господа. Это поручик Рославлев. А это...

Я прерываю его:

— С господином полковником я уже знаком.

— Садитесь, Андрей Петрович, — Лукашевич подаёт мне руку и усаживается сам. Рукопожатие у него не то чтобы очень сильное, но какое-то надёжное: мощная пергаментная лапа. — Я вас тоже помню. И по Праге, и по сводкам. — Он поворачивается к майору. — Как я понимаю, речь у вас сейчас шла...

— О плане «Эней». Я уже почти всё рассказал.

— Да-да... — Лукашевич на секунду задумывается. — Вы извините, что я... Ну, словом, в оперативные дела я лезть не буду. Просто хочется дать поручику небольшое — как бы сказать — напутствие. Разрешите?

Беляев кивает, но гость уже не смотрит на него. Кажется, он вообще ни на кого не смотрит. Он сидит прямо передо мной, подперев ладонью щеку, и я вдруг невольно думаю, что он очень красив. Это странно, потому что приметы старости его отнюдь не миновали. Просто бывает такое: человек, в котором вроде бы нет ничего особенного, ненадолго отвлекается, или задумывается, или Бог его знает что, — и вдруг всё меняется. Как витраж, на который падает солнечный луч, и тогда ты видишь, какой он на самом деле. Есть люди, которые умеют оставаться такими почти всегда, — их имена мы знаем из истории. Но большинство не удерживается и теряет себя: луч уходит — и снова серые стёкла и серые рамы... Глядя в ту минуту на Виктора Евгеньевича, я узнал о своей стране и о войне больше, чем до этого — из всех рассказов, и из всего прочитанного, и из всего моего собственного военного опыта. Так не было, но так должно было быть — а значит, в каком-то смысле и было. И даже наше

поражение в каком-то смысле было победой. Белая лилия, вышитая на флаге, — знак триединого Бога.

— Вы только не думайте, что я собираюсь делиться с вами своим опытом, — сказал наконец Лукашевич. — Времена меняются, и всё, что было когда-то ценным опытом для меня, теперь ничего не стоит. Более того, старый опыт начинает мешать. Вот это и есть главное, что я хотел вам сказать, Андрей Петрович. Времена меняются. Я старый человек, и я прожил жизнь, в которой мне, как ни странно, почти не за что себя упрекнуть. Это довольно дорого мне обошлось, но зато я, кажется, теперь заслужил такое смешное право: давать советы. Будете слушать?

Я киваю. Я пока не понимаю, к чему клонит старик, но внутри уже появляется знакомое чувство, похожее на проникшую в тёплую комнату струйку ледяного сквозняка из щели в оконном переплёте. Вот сейчас скрипнут петли, и мне откроется новая сторона мира. Что-то ещё, чего я не знал и не предвидел...

— Когда мы воевали под знамёнами с надписью «Победа или смерть», мы действительно были готовы отдать жизнь ради победы. И сейчас мы готовы отдать всё что угодно, чтобы спасти хотя бы то, что ещё можно спасти. Но наша жизнь изменчива; если хотите, перемены — это единственное, что в нейечно... И ещё есть наши принципы. Которые надо принимать буквально. Вы — солдат. Даже если вы отдадите свою жизнь, у вас останется честь. Но колесо перемен крутится, и может настать момент, когда ради вашей цели вам придётся пожертвовать действительно всем — то есть и честью тоже.

Он замолкает, давая мне время осознать сказанное. Его лицо по-прежнему прозрачно и красиво, только сейчас кажется, что ему не семьдесят лет, а сто или сто двадцать. Как жителю богадельни, уже забывшему собственное имя. Как Аврааму на горе Мория.

— Сейчас всё настолько перепуталось, что я не знаю, перед какими выборами вам предстоит оказаться, и не могу дать никаких конкретных советов. Кроме одного: будьте готовы ко всему. Мы с вами — Белая гвардия. Белая, понимаете? Спасать в этом мире то, что ещё можно спасти, — это наша, если хотите, святая миссия. Ради неё можно пожертвовать всем. Действительно всем. Вот что я хотел вам сказать, Андрей Петрович. Господин поручик. Действуйте, и удачи вам.

Когда дверь за Лукашевичем закрылась, Беляев встряхнулся и сказал:

— Ну так. Детали обсудим позже, потому что уезжаешь ты ночью, а до ночи мы ещё увидимся. Но, как видишь, дел у нас много, а надёжных людей мало. Так что перед отправкой на юг тебе будет ещё одно задание — так сказать, текущее...

— ...И довести сведения об обстановке — так они выразились. Обтекаемо. Подробностей рассказать, извини, не могу.

Подпоручик Семёнов раскуривает сигарету, старательно прикрывая её ладонью, чтобы не затушило ветром. Его лицо при этом искривляется сильнее обычного.

— А кто с тобой разговаривал — сказать можешь?

— Майор Беляев. А потом пришёл полковник Лукашевич. Знаешь — старый эмигрант.

— А-а. Наш Нестор...

Я не сразу понимаю, что он имеет в виду.

— Мне он не показался похожим на Нестора. Он никакой не дипломат. Просто солдат. Так и не научившийся быть никем другим.

Костя отделяется какой-то неопределённой гримасой. Спорить он не хочет. Там посмотрим.

Разговор продолжается не сразу. Мы уже зашли довольно далеко в парк. Асфальта под ногами не видно, потому что осеннюю листву в этом году даже с дорог никто не убирал. А мы идём по липовой аллее — ещё не тенистой. Хотя почки на деревьях уже лопнули.

Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков...

— Интересно, а мы-то кто — ахейцы или троянцы?

Я задаю этот вопрос просто так. Чтобы заполнить тишину. Тишину, которая вдруг стала невыносимо пронзительной. Выгибающей землю и разрывающей барабанные перепонки, как вакуум. Огромная сила — пустота. Сильнее материи с её ничтожными атомами, сильнее жизни с её глупыми законами. Сильнее всего на свете. Титан по имени Пустота выигрывает в любом поединке, потому что он старше нас и его козыри — старше.

«Быть может, прежде губ уже родился шёпот...»[1] На этот раз я хочу произнести вас, слова. Я хочу нарушить вами тишину, чтобы превратить её во что-то постижимое разумом.

А может, наоборот — чтобы добавить к тишине нотку безумия.

— Ахейцы или троянцы?...

— Не знаю... Ты, наверное, ахеец. Хотя... — Костя, похоже, всерьёз задумывается. — Это как карты лягут. Да что там, походи в любую контору или казарму — ну, где народу много — и посмотри, сколько ты их там найдёшь. Агамемнонов, Аяксов, Гекторов...

— А Одиссеев?

Константин высоко поднимает бровь.

— Тебе сказать?

Мы молчим, но я вдруг с противоестественной чёткостью начинаю видеть перед собой образ поручика Маевского. Как он сидит боком к столу, крутя воображаемый аксельбант, и умудряется почти всё время сохранять на лице неопределённо-значительное выражение — словно у какого-нибудь вшивого имперского посланника... Хитроумный. То есть просто очень умный. И очень смелый — не отнять. Только вот неясно, чему служит эта его смелость. А впрочем, чему служим мы все? Есть ли в нашей армии хоть один человек, способный ответить на этот вопрос сколько-нибудь чётко — в цензурных, разумеется, выражениях? Очень сомнительно... И всё-таки Михаил — немного особый случай даже на таком фоне. Я знаю его с перерывами больше двух лет — на войне это много; но я так и не понял, ради чего он воюет. Я видел его в деле, и нет, пожалуй, другого человека, которому бы я настолько доверял — как надёжнейшей из опор, как другу, который никогда не бросит меня ни в бою, ни в беде. И это — несмотря на абсолютную уверенность в том, что при необходимости... при том, что он сочтёт необходимостью — он может совершить ещё одно предательство, не раздумывая. То есть не то чтобы не раздумывая — думает-то он всегда, на то он и Хитроумный... — но совершенно над этим не рефлексируя. Странно. Мне, например, тоже скоро предстоит нарушить присягу, но я это по крайней мере чётко осознаю, и все мои дальнейшие выборы будут проходить на фоне этого осознания. А для Михаила присяга, похоже, просто не существует...

— ...Для него присяга не существует, — говорит Костя, и я соображаю, что он уже давно



говорит — просто часть монолога я пропустил.

Я произношу вслух то, что думаю:

— Вроде бы — катастрофа, а мы тут занимаемся непонятно чем. Гуляем по парку, цитируем «Илиаду»...

— Можно подумать, ты этим удивлён... — ворчит он, охотно меняя тему. — С тобой ведь такое закономерно. Я не знаю, как у тебя так получается, что ты никаких некрасивых сторон жизни не замечаешь. Или они вокруг тебя фильтруются. У тебя вообще странные отношения со временем. Смотришь на тебя иной раз и просто радуешься: какое милое дитя! А потом спохватываешься, что дитю-то уже под тридцать...

— Ты откровенен.

— Извини... — Он на миг замолкает. — Извини. Просто у меня было чувство, что именно сейчас мы можем говорить друг другу почти всё.

Мне становится неловко.

— Это ты извини. Так оно лучше — когда всё... — Повисает пауза. — А между прочим, про «Илиаду» первым заговорил ты.

— А это потому, что я с тобой. Ты же у нас любитель литературы и высоких материй... — Он вдруг усмехнулся как-то по-волчьи. — Уж если про «Илиаду» — знаешь, на кого из её героев ты похож? На Менелая. Такой же придурок. Влюбился в обычную стерву — а точнее, в стерву и блядь в одном лице. И потратил на неё всю жизнь. Ах, идеал, видите ли, нашёл. А главное — ладно бы он только себе из-за неё судьбу искалечил; так он же ещё вовлёк в это дерьмо огромную кучу народу! Вот так всегда с вами — с идеалистами. Почему-то ваши проблемы всегда очень дорого обходятся окружающим...

Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Ничего страшного, это просто сердце даёт сбой.

— Костя. — Я останавливаюсь. — Ты понимаешь, что ты сейчас уже наговорил на две дуэли?

Он опять оскаливается. На асимметричном лице это выглядит жутко.

— Давай. Хочешь — прямо здесь?

Он не шутит. Сколько я его знаю, он никогда в подобных ситуациях не шутил. Я могу сейчас сказать: «Да», — и тогда мы оба достанем пистолеты, разойдёмся на положенное число шагов и одновременно выстрелим, и один из нас останется лежать в этом парке, распластавшись по мягкому влажному ковру из сгнившей листвы. А может быть, останемся оба.

— Нет, — говорю я. — Ты что — решил, что нам уже нечего терять?

— Совсем наоборот. Я пришёл к выводу, что нам как раз есть что терять, хотя это и неочевидно... Пойдём сядем, — неожиданно предлагает он.

Я оглядываюсь и вижу облепленную чёрными листьями парковую скамейку. Добротная дубовая конструкция, надёжная, как пристань, потемневшая от дождей и от времени, изрезанная перочинными ножиками многих поколений буршей...

— Так какие у тебя планы? — Костя задаёт этот простой вопрос, и его лицо опять меняется, становясь очень серьёзным. Я бы даже сказал — отрешённым.

Я пожимаю плечами.

— Да какие тут планы... Действовать по обстоятельствам... Вот и всё.

Семёнов кивает, словно он ничего другого и не ожидал.

— Ну, а у тебя?

Он долго не отвечает. Он о чём-то думает, и по ходу размышлений с него зримо сваливается некая тяжесть. Так что он даже делается опять похож на самого себя. На мальчишку-поэта.

— Помнишь, о чём мы говорили ночью?

— Но сегодня в школе, кажется, мы уже говорили о чём-то другом... Так что ты выбрал?

— Ни то, ни другое, — отрезает он, словно шпагой. — Ты, наверное, уже понял. Меня послали на позиции — и я поеду. Но возвращаться не буду. Примкну к какому-нибудь отряду и постараюсь сделать всё, чтобы он устоял до конца. Пока есть приказ.

— Чей приказ?

— Тех, кому мы присягали... Мы уже изменили один раз, дав эту присягу. Теперь готовимся изменить во второй раз, а может быть, и в третий. Я уже говорил, что это очень литературно: предательство тянет за собой новые предательства. С этим надо кончать. Поставить точку хоть где-нибудь. Потому что надо же как-то оборвать череду измен. И если не сейчас, то когда?

Я не знаю, что ему сказать. Нет, неправда: как раз знаю. Что чем дольше мы будем сопротивляться, тем больше людей погибнет зря. Что бывают ситуации, когда предательство необходимо, а хранить верность — преступно. Когда нужно совершить предательство, чтобы сохранить честь. Когда, наконец, сама честь обращается в символ предательства. Ты устал от бесконечных измен — а от бесконечных смертей ты не устал? Опомнись!..

Я уже готов всё это произнести, но в последний момент у меня перехватывает горло.

Я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты прав в каком-то высшем смысле, но по-настоящему ты не прав. А может, наоборот. Дело в том, что ты сознательно задумал невозможное. Потому что череду измен можно оборвать только вместе с жизнью.

Значит, вся наша жизнь — это бесконечно разрастающаяся цепочка измен?... А впрочем, так и есть. Становясь юношей, ты предаёшь детство. Влюбляясь в очередной раз, предаёшь всех предыдущих возлюбленных. И так далее. Он так устроен — наш мир. Ведь, в конце концов, даже весна — это предательство зимы. Мы можем или примириться с этим устройством, или взбунтоваться, чтобы попытаться его изменить.

Последнее — безнадежно.

Но ведь как раз абсолютно безнадежные мятежи — это едва ли не самое красивое, что только есть в истории.

Самый первый из таких безнадежных мятежей — это, разумеется, война титанов против богов. Как они шли в свой отчаянный бой — эти древние варианты миропорядка, неудачные пробы эволюции, уроды и калеки, от которых каждый нормальный человек и каждый современный бог отшатнулся бы с отвращением; но сила у них ещё осталась, и они атаковали всей этой силой, понимая, что на самом деле всё зря, что ничего изменить уже невозможно... но ведь нельзя же так... что Они с нами сделали?! вы, осуждающие нас, посмотрите — что Они с нами сделали!! неужели такое можно простить?., и бешеная слепая

ярость вырывалась из глубин, как магма; и бой против такой гвардии был страшнее всех земных боёв, вместе взятых; но Мысль не остановить даже горячкой безумного сражения, и она у каждого пробегала тенью — предательская мысль: хуже всего, если мы победим...

Вот если из тюрьмы вырвется наш безумный отец Уран — тогда-то и начнётся самое страшное.

Нам, солдатам Империи, в этом смысле легче. Нас в бою будет согревать хотя бы то, что победа невозможна.

Кстати: а что такое Империя? В переводе на мифологический язык, который, между прочим, сам по себе ничем не хуже научного, Империя — это структура, апеллирующая к чрезвычайно древним силам. Более древним, чем управляющие современным миром олимпийцы. Значит, все неправдоподобно кошмарные черты жизненного уклада Империи — это просто очень последовательный вариант всё того же мятежа против богов. Всё та же лава, рвущаяся к небу.

Иногда я пугаюсь собственных мыслей. Думаешь, думаешь — и выдумываешь порох...

Но у мысли есть тот недостаток, что её нельзя остановить на полпути. Бесполезно. Проще додумать до конца. Например: все красивые и страшные безнадёжные мятежи, описанные в истории, относятся к одному роду событий. Мятеж Брута против Цезаря и мятеж Империи против Европы суть одно: вызов, брошенный Мирозданию. Разница только в том, что в разных случаях погибает разное количество людей.

Если я против таких действий — то уж надо быть против. А если я их одобряю, то следует быть, чёрт побери, хотя бы последовательным.

Но тогда какое я имею право осуждать человека, решившего до конца защищать Империю? При такой постановке вопросов сами понятия «можно» и «нельзя» теряют смысл... — и, мысленно это выговорив, я с настоящим ужасом одёргиваю себя: не смей! не смей так думать! ты сошёл с ума! ты понимаешь, до чего так можно докатиться?!

А единственная альтернатива — это измена и сдача. Череды измен и сдач, в просторечии именуемая жизнью.

Круг замкнулся.

Я не знаю, что сказать.

Костя откашливается.

— Я понимаю, что моё решение — это глупость и идиотизм. Более того...

Он не успевает договорить. От ограды парка доносится треск мотоциклетки и крик:

— Рославлев! Поручик! Поехали!

Ну вот и всё, и очередной разговор оборвётся незавершённым. Начала и концы, господа. Начала и концы. И вот подпоручик Семёнов остаётся у меня за спиной, всё дальше и дальше позади, по-прежнему сидящий на скамейке и погружённый в свои мысли, а может быть — наоборот, уже всё решивший, — ему сейчас легко... — а я почти бегу туда, к улице, не ища дороги, разводя на ходу руками мокрые чёрные ветки, — просто потому, что пора.

Кажется, мы даже не простились.

...Одиссей, сказал я. Ты не знаешь, зачем всё-таки это было нужно? Понимаю, что смешно такое спрашивать — при том, что войну-то вроде бы начал именно я. И именно я больше всех не понимаю — зачем. Мы воюем десять лет, война уже давно стала для нас нормальным состоянием. Я прекрасно помню все свои поступки. Когда Елена ушла на троянском корабле, я просто-напросто сделал то, чего не мог не сделать. Но почему-то от этого загадок становится только больше...

Ну что ты, Менелай, сказал Одиссей. Всё очень просто: молодая империя стремится переделать мир. Это как динамика кристаллических фаз. Не было бы твоей Елены — наследники Атрея прекрасно нашли бы другой повод двинуть войска в Ионию. С Трои-то в любом случае надо было начинать, она — стратегический ключ. Транспортный узел, нависающий с фланга. А уж где всё закончится...

...Швеция опоздала к разделу колоний. Всё закончится в Южной Африке, где зулусы генерала Врангеля до сих пор держат оборону против пижонистых мальчигов в мундирах цвета хаки. А может, всё закончится на просторах России. Или в каменистой пустыне Синая, куда всё-таки добредёт армия Агамемнона, чтобы рассыпаться под ударами фараона. Или в том же Эгейском море. Впрочем, юг или север — какая разница? Когда английский десант высаживался в Зеландии, его встретили пулемётами; те, кто выжил, говорят, что балтийская вода была малиновая от крови — буквально. И всё это случилось бы неизбежно, с такой же предопределённостью, как вода из опрокинутого кувшина растекается по столу; а знаменитое покушение на принца Эрика-Леопольда — всего лишь повод...

Чушь, сказал я. Катастрофы так не начинаются. Знаешь, почему невозможно задолго и точно предсказать землетрясение? Все, кто жил в Европе — не политики и не военные, — помнят, что в тридцать четвёртом году всё рухнуло на ровном месте. Вот — мир, в котором о войне никто и не думает, а вот — уже война. Как будто мы споткнулись на апельсиновой корке. Говорю тебе как специалист: в сложной системе реальное богатство возможностей всегда намного больше, чем можно предположить на взгляд извне. Там, где мы видим всего два-три варианта, их на самом деле — тысячи...

Вот эта война, например, началась фактически из-за агрессии шведов против Бранденбурга. А что, если бы кронпринц тогда не поехал в Берлин? Что, если бы Эгисф убил Агамемнона на десять лет раньше? Что, если бы Швеция вообще не стала империей? Что, если бы Алексей IV не отрёкся от престола? Могло ведь случиться всё, что угодно! Миллиарды пьес, в которых для нас написаны триллионы ролей... Когда я всерьёз задумываюсь о таких вещах, мне делается страшно. Мне начинает казаться, что нас всех — меня, Костю, Михаила, Ольгу — захватил и понёс какой-то странный спиралевидный поток; и я опять чувствую кожей прикосновение пустоты. Дыхание Хроноса. Мир сворачивается и разворачивается, как туманность — или как обёртка от детской хлопушки; и на этой обёртке нарисовано множество картинок... Вот варварская конница врывается в заснеженный город — всадник с зелёным рисунком на щеках пробует копьём ставни; сторожевые дозоры сбиты, а подмоги не будет: никому не выйти за пределы, поставленные Хроносом... Вот, разгоняя барашки, из волн показывается чёрная рубка, и изящный чайный клипер опрокидывается, получив в бок две торпеды: пожалуйста к Хроносу в гости... Ничто не предопределено, крушение было чистой случайностью — эта мысль высвечивается передо мной ясно, как ночная реклама, и сразу за ней — другая мысль:

мы прошли через этот ад, потому что так было суждено... Кем суждено? — нет ответа. Вопреки всяческому вероятною — неужели так? Щупальца Хроноса смыкаются на моём горле. У меня начинает сосать под ложечкой. Всадники в панцирях несутся по пустому городу. Ненавижу тебя, Хронос! Ненавижу!!!

Когда мотоцикл притормозил на железнодорожном переезде и везший меня унтер-офицер на минуту задрал на лоб закрывающие пол-лица очки, оказалось, что мы с ним уже были знакомы раньше — всё по той же охранной службе. Звали его Павел Николаевич, фамилия его была Крюков, работал он до войны механиком в одном южном приморском городе, а в плен попал после морской десантной операции, будучи заброшен, по иронии судьбы, в свой же собственный родной город, к тому времени уже занятый шведскими войсками. Сама высадка десанта прошла блестяще: в штормовую погоду, зимой, ночью, штурмовые группы с катеров совершенно внезапно захватили порт, и подошедшие крейсера спокойно выгрузили всё — от пехоты до танков. Но потом почти сразу что-то забуксовало: поддержка с воздуха не появилась, никакого сообщения по суше со своими так и не наладилось, а единственный большой транспорт с боеприпасами был потоплен имперской авиацией, и тогда положение десанта стало безнадёжным: патроны кончились — ну и всё, лапки кверху... В плену он просидел полгода в так называемом «временном лагере», чуть-чуть не сдох там от голода, проводил в братскую могилу с десятков своих менее удачливых друзей, и, когда в качестве платы за свободу лагерникам предложили запись во вспомогательное формирование, согласился сразу, как и почти все, кто к тому времени уцелел и ещё мог передвигаться. Служил он сначала на родине в караульном отряде, сторожа порты и склады; потом их батальон перевели в Савойю и там долго гоняли в поисках маки — слава Богу, без особых успехов; и только четыре месяца назад грузовым самолётом его перебросили сюда. Дела здесь — полная жопа, да и как бы могло быть иначе — ты, поручик, наверное, и сам всё видишь, не слепой... У них на участках прорывов одной артиллерии — по триста стволов на километр; ну какая тут, на хрен, оборона? Да и эти, мать их, покровители... Ну армейские-то с нами ещё нормально, а вот гвардейцы, сволочи, как косились, так и косятся. Лишний танк доверить не хотят. Низшая раса мы для них, понял? И ни черта в этом смысле не изменилось, сколько бы там их великий магистр ни говорил, что мы, мол, союзники... Мы им, знаешь, зачем нужны, поручик? Мы им были нужны, чтобы делать самую-самую грязную работу — которой брезгует даже Гвардия. Это когда восстание было в Лемберге — так они сами туда лезть не пожелали. Они всё кордонами обложили, а внутрь запустили вот этих самых, любимых своих... Бригада Писарева — слышал про такую? Поставили им задачу: любыми средствами очистить город от подрывных элементов. И по периметру района гвардейцы замкнули кольцо. Наглухо. Что там внутри кольца творилось — не знает толком никто; да и слава Богу наверное, что не знает... Так вот эти герои — они привилегированные были, им всё полагалось: шоколад, кофе, талончики в бардак... (Тут Крюков длинно выругался.) А когда их всё-таки отправили на фронт, то в первую же неделю сорок человек расстреляли за трусость. И расформировали эту бригаду к чёртовой матери. А ты говоришь — оборона...

Всё это я выслушал, разумеется, уже не на дороге, а в стоящем около неё укрытии для транспортных средств — что-то вроде открытого сарая или ангара. Ехать дальше было пока нельзя: над дорогой показывались штурмовики, и мы, как люди бывалые, совместно рассудили, что бережёного Бог бережёт. А под крышей не чувствовались ни ветер, ни морось, и вообще было непривычно уютно — самое место рассказывать истории.

Всё-таки через некоторое время я высунул голову из-под крыши и посмотрел на небо. Оно уже было чистым, если не считать облаков.

Я обернулся и взглянул на унтер-офицера: он уютно сидел, привалившись к дальней стене, на груди каких-то старых мешков. Стена над ним и вокруг была покрыта солдатскими граффити. Видимо, этот сарай служил армейским перевалочным пунктом, причём уже далеко не первый год. Когда-то кто-то здесь от скуки сделал на стене надпись, его примеру последовал другой, третий, а потом и солдаты следующей партии; мне ли не знать, как легко рождаются подобные локальные традиции?...

И вдруг мне тоже захотелось расписаться. А почему бы и нет? Спонтанные абсурдные поступки — неплохое средство для поднятия общего тонуса. Ну и как же мне себя

увековечить? Просто писать свою фамилию — как-то глупо. Какой-нибудь знак. Чтобы запомнилось. Я задумался — обратил, так сказать, свой взор внутрь, цепляя им пробегающие мысли; мысли попадались невесёлые и, по преимуществу, недавние...

Я подобрал поблизости кусок каменной крошки и чётко вывел на кирпиче:

Marcus Junius Brutus. Anno MCMXXXIX

Потом я опять повернулся к своему спутнику.

— Всё. Расписались — теперь в путь.

3

Создавая художественное произведение, автор всегда, сознательно или бессознательно, задаёт своей волей некоторую систему законов, в рамках которой его героям разрешается действовать. Иными словами, автор выступает в роли бога-создателя — в самом буквальном смысле. Так же как и Создатель нашего «реального» мира — на самом деле просто автор книги, героями которой являемся мы.

Сложнее, когда автор пытается вербализовать свою игру, обращаясь к герою напрямую. Тогда получается что-то вроде диалога Создателя с человеком. Хотя почему — «вроде»? Получается именно то самое. Это сильный художественный приём, но в книгах он применяется редко из боязни свалиться в безвкусицу. Впрочем, в жизни — тоже. Наши Авторы любят изящество. Они предпочитают не вмешиваться в сюжет лично, а выстраивать сцену за сценой так, чтобы герой совершал все предписанные ему действия как бы самостоятельно — возможно, даже ощущая при этом нечто похожее на свободу воли...

И совсем сложно, когда герой — он же автор — пытается представить себя в качестве постановщика и зрителя пьесы, в которой сам же играет.

В обыденных терминах это называется «взглянуть на себя со стороны».

Увидеть свою собственную жизнь как художественное произведение. Это возможно всегда, но почему-то удаётся очень немногим.

Творец, зритель и участник.

Ощутить себя не героем, а зрителем — значит в какой-то степени стать богом.

Андрей Рославлев сам не знал, когда именно он подумал об этом в первый раз. Для такого «взгляда со стороны» всё земное для человека должно немного отодвинуться в сторону. Возможно, что-то подобное произошло с ним три года назад, в лагере на медных рудниках; но он очень не любил вспоминать то время — точнее, сама память не пропускала эти воспоминания, сразу выставляя защиту. Возможно, «взгляд со стороны» пришёл раньше — во время боёв в окружении; тогда ломались убеждения у многих людей, наконец чётко осознавших, что имперская пропаганда в данном случае не врёт, что они преданы собственным бездарным командованием и теперь обречены... А возможно, новый взгляд пришёл позже — после новой присяги, когда, посмотрев в зеркало, Андрей увидел человека,

совершившего предательство.

Предательство. Задумываясь на эту тему, Андрей всякий раз обнаруживал среди сложного вороха чувств странную сладковатую благодарность. Благодарность судьбе, которая заставила его это совершить. Предательство. Оно здорово расширило его представления о мире. Избавило от многих иллюзий. И от многих страхов. Разве можно напугать позором или смертным приговором людей, которые сами давно считают себя опозоренными и приговорёнными? Существуют пороги, за которыми бояться почти нечего...

Совершенно не страшно признавать, что наш мир, оказывается, невероятно прост. То, что мы считали живым существом, оказалось примитивной игрушкой с механизмом из ржавых шестерёнок. Все наши неповторимые впечатления, поступки и переживания суть только комбинации поворотов простого механизма — как в счётной машинке.

Боже, как здесь, оказывается, скучно, — говорим мы себе, а шестерёнки продолжают вращаться...

— ...Значит, так. Командование Южной группы РОА напоминает, что надеется на вашу высокую стойкость, и подтверждает необходимость оборонять занятые рубежи до последней возможности. Но! В случаях, когда эта возможность исчерпана — например, если опорный пункт оказался под угрозой окружения, — следует, игнорируя все распоряжения имперских инстанций, немедленно прекратить оборону и обеспечить вывод людей на запад. Технику стараться не бросать, она ещё понадобится. На попытки гвардейской сволочи воспрепятствовать отходу — отвечать огнём, уничтожая заградительные посты до последнего человека. Всё это, разумеется, означает окончательный отказ от присяги, но похоже, что время, когда надо было соблюдать клятвы, уже прошло. Точкой сбора для всех отходящих групп нашего сектора назначается Бастья. Таков, господин капитан, приказ, который мне велели передать; есть ли у вас вопросы?...

— Бежим, — сказал капитан утвердительно. Он вообще держался очень уверенно, и чувствовалось, что такое поведение для него обычное; настоящий фронтовик, одно слово. — Понял я твой приказ, поручик. Так, значит, в Бастию? Похоже, что уже скоро. Пока, правда, ещё держимся, но пока они просто за нас всерьёз не берутся.

— Сколько вас тут всего? — спросил я для очистки совести.

— Вот именно тут? Кроме моей группы — рота ополченцев и три ягдпанцера...

Я молчал, не зная, что ещё сказать. Сотня стариков и мальчишек с автоматами и три неповоротливые бронированные коробки. Если с востока пойдёт настоящий прорыв, на сколько этого хватит? На полчаса? Меньше?

А ведь, не привези я этот приказ, они бы здесь так и держались — до последнего патрона. В этом я был совершенно уверен. Потому что уже видел, как это бывает.

Впрочем, собственно имперцы — то есть та самая рота ландштурма с тремя самоходками — будут драться до конца в любом случае. По многим причинам. Их очень жалко, но здесь мы ничего поделать не можем. Можно лишь надеяться на то, что этот узел обороны — не единственный в городе, и в принципе, раз уж командиры решили выполнять идиотский приказ о «превращении в крепость», на него могут подать подкрепление. Если успеют. Дороги здесь хорошие; но, правда, в подобных тактических условиях возможность подхода помощи менее всего зависит от дорог...

Собственно, мы стоим на перекрёстке. Какое-то странное, совершенно нелепое чувство

надёжности возникает от того, что ты наконец-то попираешь ногами не грязь просёлка, а солидный булыжник.

Рядом — обычная улица с невысокими каменными домиками, с аккуратными ставнями временно закрытых магазинов, с водонапорной башней на углу. Обычный город. Когда-то он был зелёным — но сейчас ещё только весна. Когда-то он был мирным — но сейчас он по всему периметру оцетинился рвами, окопами, баррикадами, проволочными заграждениями, надолбами, ежами, дотами, пулемётными гнездами и укрытиями для фаустников...

Мне не хочется опять на это смотреть.

Я действительно устал.

Я даже больше не спрашиваю себя, зачем всё это нужно. Ибо смутно подозреваю, что на вопрос, поставленный в такой форме, ответа нет.

Вопрос «зачем?» — подразумевает цель. Но, скорее всего, в кипении чудовищного котла, именуемого Мировой войной, просто нет ничего такого, что в человеческих понятиях можно назвать целью.

Руководители наших противников считают, что их цель — принудить Империю к безоговорочной капитуляции. Стереть с лица Земли очаг зла, уничтожить варварский режим. Кретины.

Сама Империя более последовательна: у неё теперь вообще нет никакой цели. Разве что — достать до неба мечом. Чтобы из раненого неба хлынула кровь. Потому что мы не верим словам, не верим символам и обьятиям — мы верим только крови. Это такая красная жидкость, которая всегда ритмично струится в наших жилах. Только в ней — движение. В ней — пульс Вселенной. Не бойся видеть кровь на своих руках — это всего лишь значит, что ты уже прикоснулся к сути вещей. Если кровь течёт из трещины в небе — значит, ты пробил фальшивый купол, и теперь тебе совсем недалеко до звёзд. До настоящих звёзд. До острых ледяных осколков. Когда в старину мужчины смешивали кровь, они становились братьями. Мы хотим породниться с небом.

Кстати, ведь в нашей, человеческой крови и в самом деле есть железо. Небесный металл — так его называли в бронзовом веке. Во время Мировой войны, более известной под названием Троянской. Разница в том, что тогдашним миром было только Восточное Средиземноморье — от Балкан до Египта. А сейчас век железный, и ареной безумия стал весь глобус. Так что невозможно даже угадать, в каком полушарии тебе предстоит погибнуть.

В октябре 1934 года последний рыцарь Империи, благородный капитан де Геер, затопил свой броненосец «Юхан III» у берегов Огненной Земли. До этого он крейсировал в Индийском и Тихом океанах и сумел потопить десяток неприятельских пароходов, не убив ни одного человека, — уникальное, надо сказать, достижение в практике рейдерских операций. Наконец у Фолклендов его поймала бригада английских крейсеров. «Юхан III» имел шесть 280-мм и восемь 150-мм пушек, крейсера «Бленхейм», «Гектор» и «Поллукс» — в сумме шесть 203-мм и двенадцать 152-мм. То есть бой был равный. Сначала крейсера попытались взять де Геера в клещи, и полтора часа все четыре корабля шли параллельными курсами, непрерывно стреляя. Потом крейсера, дымя пожарами, отвалились в стороны, а «Юхан III», у которого была серьёзная пробоина в носу, пошёл в Магелланов пролив. Это было временное решение: укрываться в узостях архипелага Тьерра-дель-Фуэго можно сколько угодно, но после выхода в океан повреждённый броненосец неизбежно ждала встреча с уже вызванной английской эскадрой. Де Геер счёл положение безнадежным; он обеспечил выход команды на берег и, затопив корабль, застрелился — чтобы никто не заподозрил его в трусости. Членов команды, добравшихся до Европы через нейтральные страны, встретили на родине орденами и цветами...



Это было ещё до того, как обе стороны вцепились в войну зубами. Тогда, пять лет назад, ещё находились люди, пытавшиеся воевать по правилам.

Империя переоценила себя. Уже 20 января следующего, 1935, года датско-шведский линейный флот был разгромлен англичанами в Ютландской битве.

Это стало началом затяжной Скагерракской кампании. И это стало началом совершенно другой войны — насмерть.

Не надо увлекаться поисками символов. Они могут завести куда угодно.

Но вот железо — это всё-таки точно символ. Ибо должны же были Создатели что-то иметь в виду, добавляя к нашей крови небесный металл...

...И третий участник войны: монструозная громада Евроазиатского Союза. Если Империя — это нечто железное, то её восточный противник похож на колоссальный глинобитный замок. Или на огромное глиняное чудовище, готовое тупо сожрать всё, что попадётся на его пути. Восток Ксеркса. Глина душит железо...

И люди, люди. Фанатики, обыватели, наёмные воины, романтики, глупцы, авантюристы, трусы. Французы, сербы, калмыки, румыны, индийцы, американцы. Те, кто мечтает пожертвовать собой ради великого дела, и те, кто готов отдать всё на свете, чтобы уцелеть. Цель не имеет значения. Каждый из миллионов стремится к своему, и в результате котёл кипит. Вот уже шестой год.

Зачем? Всё равно что спросить: зачем работает паровая машина? Наверное, об этом знает только тот, кто её запустил...

Ладно. Я тут задумался, а собеседник, кажется, уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу. У него, в отличие от меня, сегодня ещё куча дел. Надо готовиться к обороне: расставлять людей, подтаскивать боеприпасы, вновь и вновь укреплять защитные сооружения, подбирая последние призрачные шансы. И надо прикидывать — что всё-таки делать, когда все эти шансы ничего не дадут. И надо прощаться.

— Мы возвращаемся. Желаю удачи, господин капитан.

— И вам тоже удачи, поручик.

Сказал он это или нет? Память путается, — может, это сказал кто-нибудь другой? Но кто? И почему после этих слов мне стало так легко?

Потому что я совершил ещё одно предательство. Отверг ещё одну присягу.

Чтобы спасти людей. Ха-ха.

Может быть, получив этот приказ, они и правда спасутся. Может быть, наоборот, быстрее погибнут. И уж наверняка из-за них погибнет раньше времени кто-нибудь другой.

Спасая одного, почти всегда губишь кого-то другого. Те, кто прошёл войну, очень хорошо это усвоили. Закон сохранения зла. Похоже, есть в нашем мире и такой закон...

Кто бы вы ни были, приведшие меня сюда управители, — спасибо вам. Мне легко.

Сволочи.

Нет, я не впадаю в суеверие. Конечно, мы сами создаём себе богов. Точнее, наши боги — отчасти и наши создания. Что не делает их менее живыми.

Ведь понятие бога — это изобретение самых грубых материалистов. Бог — это просто сложная регулирующая система с обратными связями. Понятно, что каждый из нас является составной частью не одной, а множества таких систем...

Копия Бога находится внутри моей черепной коробки: это сеть нервных клеток. Есть аналогичные сети более низкого ранга. Есть — более высокого. Бесконечная паутина.

Если у вас богатое воображение, можете придумать отдельным богам имена.

Аполлон. Гермес. Афродита. Зевс. Хронос. Уран.

А теперь попробуйте-ка освободиться от них.

Пробуйте осторожно, чтобы ваши мускулы не порвались от чрезмерного усилия. Которое, впрочем, всё равно ни к чему не приведёт.

А если приведёт — вам же хуже.

Следует основательно напрячь зрение, чтобы увидеть, что внутри каждого момента нашей жизни таится выбор из двух возможностей. Только из двух. Служба богам — или война титанов.

Любить богов нельзя. Это совершенно противоестественно. Любовь к богам есть нечто куда более дикое, чем, скажем, любовь к статуе.

Но вот служить им — всё-таки приходится.

Странная у нас судьба: служить тем, кого заведомо не любишь, а иногда и просто ненавидишь. Причём, в известной мере, — по собственному желанию.

Именно так мы и воюем. Не секрет, что в нашей «союзнической» армии ни один человек не испытывает особого почтения к Империи. Многие её ненавидят. Однако — служат. Действительно отдавая жизни. И вовсе не только потому, что деваться больше некуда.

Теперь, кажется, цвета фигур поменялись. Боги теперь играют не чёрными, а белыми. Менять правила по ходу игры — их право, которым они часто пользуются. И почему-то получается так, что я опять на их стороне.

Может, я всё-таки успею порвать с этой службой и присоединиться к братьям-титанам?...

А ведь Костя был прав. Если драться за Империю, то сейчас самое время.

Ладно, там посмотрим. Пока, во всяком случае, придётся доделать то, что я уже начал.

Можно порадоваться лишь тому, что игра переходит в эндшпиль. Это здорово, когда события ускорятся. Это возвращает нам кое-что почти забытое: надежду.

Сволочи, повторил я. Я вас ненавижу. Будьте прокляты за то, что вы со мной делаете.

Но, кроме этих слов, у меня больше ничего не было.

...Дополнительная универсальная творческая проблема заключается в том, что на свете практически нет новых сюжетов. Это понятно: набор сюжетов ограничен самим созданием мира. Сделав Солнце жёлтым, Создатель, конечно, не запретил придумывать миры, где оно зелёное, но структурировал сам спектр подобных выборов, ограничив поток нашего воображения определённым руслом. И так далее. С каждым шагом необратимого

поступательного развития нашего Мира — иначе говоря, с каждым моментом времени — это русло усложняется, приобретая новые рукава, но тем самым парадоксальным образом становясь ещё более ограниченным, ибо чем больше изрезана береговая линия, тем труднее выйти в открытое море. Как на восточном побережье Адриатики. Проинтегрировав структуру этой береговой линии по всему времени существования Вселенной, мы получим абсолютно полную сюжетную схему — этакий, если угодно, метасюжет, который наверняка окажется на удивление простым. Сюжетные единицы Мироздания подобны узелкам крупноячеистой сети. Или обыкновенным атомам, число которых, согласно Демокриту, постоянно, конечно и даже не очень велико.

Поэтому в наших постановках очень многое повторяется.

Трясаясь по разбитой дороге в коляске забрызганного грязью мотоцикла, я в тысячный раз говорил себе именно это: всё повторяется. Опять линия фронта. Опять весна. Опять возвращение. Всё вокруг настолько привычно, что проскальзывает как-то мимо сознания, и я почти ничего не чувствую, кроме бьющего в лицо холодного горького ветра.

Я узнаю этот ветер — он уже дул с серого моря, под низким небом, в каком-то странном северном городе... Или я что-то путаю? Может, этот ветер — не северный, а южный, и я помню его ещё со времён осады Трои? А может быть, это вообще ветер с Адриатики?...

Даже ветер возвращается. Всё, как предсказано.

Всё-таки здесь действительно очень скучно.

Поразительно однообразная вещь — война.

...Всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня.

Всадник возвышался тут же — в сквере перед школой. Я заметил его ещё утром, но тогда как-то не хватило времени подойти близко и рассмотреть. А теперь я мог, никуда не спеша, постоять рядом. Познакомиться и убедиться. Да, бронзовый всадник производил впечатление. Правда, длань он никуда не воздымал и коня на дыбы не вздёргивал — все четыре копыта уверенно попирали землю. Это был спокойный всадник. Он, конечно, был отважен в боях и много раз лично водил своих драбантов в атаку, но едва ли он когда-нибудь в чём-нибудь всерьёз сомневался. Выбитые на постаменте полустёршиеся буквы складывались в полный титул: Карл XII, император шведов, вандалов и готов, гегемон Рейнского союза. Создатель Третьей империи.

Почему-то мне ещё с юности был симпатичен этот странный герой. Здесь он был изображён уже пожилым. Статуя а-ля Марк Аврелий: повелитель мира, мерно шествующий по чугунной мостовой, торжественная мантия спадает складками; всё в порядке, и только вот лицо... Тут, впрочем, надо присмотреться. Не могло быть у Марка Аврелия такого лица. Этот всадник был вечным юношей. Несмотря на непрерывную войну, которую так и называли — Вторая Тридцатилетняя. Что-то он за эти годы успел понять — что-то, почти уже недоступное человеку двадцатого века. Даже краешком сознания не уловить. Взглянешь в небо — и увидишь вечную битву волков...

Вечную — значит до тех пор, пока не развалится мир. А может быть, и дольше.

Рыцарь Валгаллы.

Надо же, как неожиданно встретились.

Школьное здание надвинулось на меня растущей слепой громадой, закрывая ещё не совсем

потемневшее небо с тонкими перистыми облаками. Окна, завешенные изнутри чёрными шторами, как-то по-особому отражали вечерний свет. Впрочем, электрическое освещение пробивалось даже сквозь занавеси светомаскировки, и было件нятно, что оно горит во многих комнатах — едва ли не во всех. От этого почему-то веяло тайной и детством. Казалось, что там, внутри, сейчас происходит что-то вроде подготовки к новогоднему празднику...

— Документы, — сказал мне на крыльце унтер-офицер с автоматом и нарукавной повязкой, на которой было написано, невесть почему готическими буквами: «ROA. Militarfeldsicherheitsdienst». За охрану здесь, видимо, взялись всерьёз: утром автоматчиков при входе ещё не было.

— Тридцать девятая комната, майор Беляев, — сказал унтер-офицер, вернув удостоверение, и даже распахнул передо мной дверь.

— Знаю, — сказал я утомлённо, уже входя в уютный сумрак вестибюля.

Беляев сидел в том же кабинете и за тем же столом, за которым я оставил его утром. Стол теперь был завален бумагами, рядом стояла пустая чайная кружка. Вид у Беляева был измученный, как после бессонной ночи. Ещё бы. У него дел побольше, чем у меня. Впрочем, от напряжённого ожидания тоже устают.

— Всё в порядке, — сказал я с порога. — Конечно, настолько, насколько что-то вообще может быть в порядке... Разрешите сесть?

— Садись, — сказал он, продолжая глядеть в свои бумаги. — Вернулся, значит. Молодец.

Пауза затянулась. Надеюсь, сюрпризов больше не будет, подумал я с некоторым беспокойством. Хотя нынче что ни час — то сюрприз...

Тут Беляев наконец посмотрел на меня.

— Готов? — спросил он резко.

— Куда деваться? — ответил я вопросом на вопрос.

Вдруг очень захотелось затянуться сигаретой. Я вспомнил, что не курил почти весь день.

— Ну, значит, так и будет. О чём мы с тобой говорили — ты помнишь...

— Помню.

— Не перебивай, — сказал он строго и замолчал, откровенно собираясь с мыслями.

Я тоже задумался. Точнее, со мной как раз случилось нечто обратное: я на время перестал думать. Зачем? Сколько можно? Красивый весенний вечер, уютная светлая комната. Тепло и хорошо...

Я включился, когда Беляев уже начал что-то говорить.

— ...На тебя сейчас — наша надежда. Не скажу, что единственная...

Ну, спасибо на добром слове. Давайте теперь лепить из меня героя. Всю жизнь мечтал. Взять ключевой форт, подхватить упавшее знамя... Побывать — ну, пусть не спасителем мира, как герой фантастического романа, но хотя бы спасителем армии...

Самое забавное, что сейчас ведь примерно так оно всё и есть. Бойтесь ваших мечтаний, они могут сбыться... Ситуация критическая, здесь Беляев несколько не преувеличивает. И — карты в руки. Только вот почему-то очень хочется сказать: а не пошли бы вы со своими

историческими миссиями на...?

Но я, конечно, не сказал ничего подобного.

— ...И очень тебя прошу: будь осторожнее. Не строй иллюзий: война ещё не проиграна. То есть проиграна, но не закончена. В Империи и по её краям сейчас идут такие политические игры, что ого-го. Дай-то Бог в это не вляпаться. Легко сказать — не вляпаться, — перебил он сам себя. — Если джентльмен берётся разгрести нужник, пусть не думает, что сохранит чистыми манжеты... Ладно, это, слава Богу, не твоё дело. Твоё дело — доехать, встретиться, передать. И обязательно вернуться. — Он вдруг провёл ладонью по лбу. — Так всё сложно. Такая, чёрт её дери, паутина...

Паутина. Крупноячеистая сеть. «Нет жизни рыбарю — пророку смерти...»[2] — вспомнилась некстати строка из стихотворения. Хотя — почему некстати?...

— Домой-то я успею зайти? Хоть на час?

— Успеешь даже до рассвета. Поезд уходит в пять двадцать.

Теперь Беляев смотрит на меня спокойно, едва ли не выжидательно. Пожалуй, он вообще чересчур спокоен... и я вдруг понимаю, что он сейчас не только скрывает волнение, но и в чём-то колеблется. Похоже, есть какая-то новая малоприятная информация, в отношении которой он никак не может решить — сообщать мне её или нет.

Кажется, решил не сообщать.

Ну и ладно. Меньше знаешь — лучше спишь.

Надо, кстати, выспаться в поезде.

— Будь осторожнее, — повторяет Беляев. — Ты нам очень нужен.

Я хочу сказать на прощание что-нибудь бодрое — и понимаю, что у меня не хватает слов.

Та самая комната, откуда мы ушли утром. Почти вся обстановка осталась прежней — ну, разве что на столе переменили скатерть. И вместо свечи — опять электрический свет. Правда, теперь горит не люстра, а только настольная лампа.

Красивая такая лампа. Тёмно-жёлтый матерчатый абажур с изящными складками. И с бахромой. И на тяжёлой бронзовой подставке выступают львиные морды, почему-то очень похожие на открытых Винклером львов Хаттуса.

Раньше я эту лампу почему-то не разглядывал. Забавно, как глаз пропускает мелочи. И сами по себе эти мелочи — забавны. Почти любой заурядный предмет может таить в себе маленькое открытие. Стоит только присмотреться. Ну откуда на настольной лампе в обычном среднеевропейском доме — хеттские львы? Или это просто во мне опять проснулся классический филолог?...

Окно занавешено наглухо. Всё те же правила светомаскировки, ничего не поделаешь. Впрочем, к этому уже все привыкли.

А вот то, что мы сейчас с Ольгой вдвоём, — это редкость. Раньше в этой квартире почти всякий вечер можно было найти кого-нибудь из господ офицеров — хотя никто из нас, разумеется, здесь не жил постоянно. Просто трудно было побороть соблазн завернуть сюда, возвращаясь с какого-нибудь очередного утомительного задания. Разумеется, нам с нашим

опытом хорошая казарма уже давно кажется вполне уютным местом, больше ничего вроде бы и не надо... И всё-таки есть разница: прийти в казарму — или сюда.

Почти домой.

А ведь Беляеву я так и сказал о квартире Ольги: зайти домой. Оговорился, конечно.

Сама Ольга примостилась напротив меня в кресле. Я полулежу на диване и допиваю свой чай.

Мы пока молчим. Торопиться некуда, слишком многое уже сказано.

Да и хочется почему-то, чтобы подольше длилось это молчание...

Никогда оно на самом деле не длится долго.

— Тебе хочется помолчать? — Знакомый аккуратный сочувственный тон.

— Нет. Мне хочется говорить. Просто я не знаю, что тебе сказать. Как обычно... — Я пытаюсь изобразить улыбку.

Кажется, у меня даже получается.

Ну и что дальше? Вряд ли Ольга будет расспрашивать меня о делах или о положении на фронте. Не потому, что ей это неинтересно. Просто то, что ей нужно знать о таких вещах, она, как правило, понимает сама.

Я молча жду, что она произнесёт.

— Всё будет хорошо. Я уверена.

Вот это да. Господи, неужели всё уже настолько паршиво, что мой вид требует подобных утешений?... Я чуточку мобилизуюсь.

— Тебе это говорит женская интуиция?

Она как-то колеблется.

— Если угодно. — Пауза. — Ты ведь завтра куда-то уезжаешь?

— В тыл, — отвечаю я расслабленно и коротко. Расслабленно — потому что вокруг мягко и тепло. А коротко — потому что это последнее дело: хвастаться перед женщиной тем, что из тебя пытаются сделать героя.

Кстати, а в чём же, собственно, должно состоять моё геройское деяние?

Во-первых, дезертировать с фронта. Ну, за этим-то дело не станет. По военным законам Империи я уже сейчас заслужил даже не одну, а две немедленных смертных казни — причём совершенно между делом. За один сегодняшний день. Пустячки, а приятно.

Во-вторых, пройти через кордоны. Которые разнообразны и расставлены часто. Впрочем, полевых жандармов я опасуюсь мало, а патрулей Реншельда — ещё меньше. Болваны они, как правило. Хотя эти-то болваны сейчас запросто могут поставить подозрительного офицера к ближайшей стенке... Ладно, это всё мелочи. В случае чего попробуем отстреляться... Но есть и вещи, которых следует бояться всерьёз, — например, ГТП. Было ведь всё-таки в лице Беляева что-то такое... некий не прояснённый слепой уголок... Ладно. Пока проблема не обрела зримых очертаний, самое верное — не думать о ней.

В-третьих, я должен добраться до фельдмаршала. Соблюдая всё те же правила предосторожности. Добраться и добиться личной встречи. Вот об этом я не хочу преждевременно думать не из страха, а просто чтобы шестерёнки в голове не крутились вхолостую. Будет день, будет пища. Приедем — тогда и начнём импровизировать.

Надо вручить фельдмаршалу официальное письмо. А также, предъявив свои полномочия — немалые, нужно заметить, полномочия, бумага с подписью самого командующего РОА генерала Молчанова, — провести приватный разговор на ту же тему. Объяснить ему, что спастись вместе — это лучше, чем погибать врозь.

Ох, не верю я в свою силу убеждения.

И ведь те, кто пока остаётся здесь, — они же будут... странно всё-таки звучит это слово: надеяться. Не очень, может быть, но — надеяться. Что им ещё остаётся, кроме как ждать призрачную помощь? Чёрт меня побери...

А отсюда следует четвёртая, самая главная часть моего задания: я должен вернуться.

Я смотрю на Ольгу.

— Я вернусь. Наверное, даже скоро. Дня через два.

— Возвращайся, — говорит она неожиданно просто и легко. Словно на окнах нет завесы затемнения и дело происходит в самый обычный мирный день. «Я заеду в контору, а потом, наверное, ещё вернусь. — Возвращайся...»

Наверное, вернусь...

Как это легко сказать: я вернусь.

— Я постараюсь. А теперь давай не будем говорить о войне.

Сам не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза.

Она, вероятно, понимает это лучше меня. И потому спрашивает без иронии:

— А о чём ещё ты способен говорить?

Всё правильно. О чём ещё я сейчас способен говорить? После четырёх лет? Увидев столько всего своими глазами? Принципы оптимального расположения огневых точек. Оперативные идеи Гамильтона и Делагарди в условиях современного подвижного фронта. Сравнительные боевые качества бронетехники: «диктатор» против «эlefанта», «леопард» против «кромвеля». И главное — рассуждения на тему: ну в какой же заднице мы все очутились! Ведь сразу после начала Восточного похода наши эмигранты буквально умоляли шведов: позвольте нам отправить на фронт крупное соединение! Хотя бы одно. Под национальным флагом и под лозунгами Белой гвардии. Поставьте его в первую линию — и посмотрим, что получится. Возможно, это была утопия. А возможно — и нет. В любом случае, отказ был абсолютно категорическим. И в результате в течение трёх решающих лет почти вся миллионная масса таких, как мы, добровольцев была старательно рассредоточена по отдельным батальонам, разбросанным на пространстве от мыса Акции до Нордкапа. Тыловые и вспомогательные подразделения Великой армии — вот и всё, чем нам позволили стать. Даже после битвы при Каспии, когда перелом в стратегической ситуации обозначился совершенно ясно, высшее руководство Империи всё ещё надеялось справиться с врагом своими силами. Имперцы вообще много раз демонстрировали, что они способны гениально решать очень сложные конкретные задачи, но поразительно слепы там, где речь идёт о картине в целом. Такие вот особенности национального военного искусства. При этом я вовсе не иронизирую над шведской армией. Каждый, кто видел эту армию в бою — неважно, с какой

стороны, — подтвердит, что чего-чего, а иронического отношения она не заслужила. Большинство её звеньев, от штабных оперативников до рядового состава, за эти пять лет проявили себя совершенно блестяще. Так, блестяще, они и проиграли войну. И мы — с ними за компанию...

Я уместился на диване поудобнее.

— Я могу не только про войну. Могу, например, про роман, который я когда-то мечтал написать. О Петре Первом.

— Я ничего о нём не знаю...

Вдруг я почувствовал, что рассказывать расхотелось.

— Он царствовал недолго и неудачно. Начал войну со шведами и попал под Нарвой в плен, так что пришлось заключать мир любой ценой. Пришлось отдать не только завоевания, но и некоторые русские города — Псков, например. Но начало его правления — оно очень интересное. Похоже, что он хотел спешно сделать из России сугубо западное государство — как Ататюрк из Турции. И так же, как тот, ни перед чем бы ради этого не остановился. Если Ататюрк ввёл смертную казнь за ношение фески, то до чего бы дошёл Пётр — я уж и не знаю. Пройти за двадцать лет путь, на который у всей Европы ушло полтысячелетия, — кто мог до такого додуматься? Взнуздать коня Хроноса... Конечно, его убили, и при Алексее Втором всё встало на свои места. А в русской литературе Пётр — это такой, знаешь, герой вне морали. Стремящийся к невозможному. Не очень популярный, правда...

Ольга долго смотрела — я никак не мог понять, на меня или мимо. Сказала:

— Да. Это на тебя похоже.

Я почувствовал, что мои щёки заливают краска. Что за чёрт...

Она поняла и сжалилась. Легко сказала, потянувшись в кресле:

— А ведь, может быть, если бы твоему Петру больше повезло, у нас бы сейчас не было всего этого кошмара.

— Может быть, — согласился я. — И опять мы вернулись к войне...

— Вернулись, — подтверждает она без улыбки.

Я пожимаю плечами:

— Если честно, мне действительно уже почти ничего больше не интересно. Знаешь, как смешно...

Я замолкаю, не решаясь выговорить то, что уже крутится на языке. Это нелепо. Это странно и страшно. Может быть, я совсем свихнулся. Может быть, свихнулся не я, а весь остальной мир. Впрочем, последнее хотя и более замечательно, но менее вероятно.

— Знаешь, как смешно: за все эти четыре года я так и не смог заставить себя поверить, что люди умирают по-настоящему...

Она тут же откликается:

— Это легко понять. Ты всегда был мальчишкой, играющим в игрушки. И остаёшься таким, несмотря на весь твой опыт. Знаешь, я тебя за это даже уважаю.

Я молчу, потому что ответа на такое быть не может.



Просто не может.

Да, конечно. Я играю. В Троянскую войну. Хотя нет, я путаю: в Троянскую войну играли солдаты главнокомандующего Объединёнными десантными силами лорда Агамемнона. А мы сейчас играем в другую войну — Мировую. Это куда интереснее. Наверное, мой знакомый мальчик по прозвищу Ахилл был бы рад такой большой игре.

Кажется, я действительно схожу с ума.

Эта мысль приносит некоторое облегчение. Как же всё-таки здорово было бы сойти с ума, свихнуться, — и не в качестве фигуры речи, а по-настоящему. Чтобы связали, надели смирительную рубашку. Заперли в одиночную камеру для буйных. Чтобы не пришлось больше играть во все эти проклятые игры. Ведь с сумасшедшего — совсем другой спрос...

Слишком это хорошо, чтобы сбыться.

К тому же здесь, в Империи, камер для буйных нет. Здесь сумасшедших просто убивают.

Так что не стоит и мечтать.

А для самоубийства есть более эффективные способы. Например, девятимиллиметровый «оскар».

Или Саксонский фронт.

Если верить штабистам. Первая дивизия генерала Сергеева уже оттуда снялась и сейчас пробивается на юг — то есть на соединение с нами.

Похоже, мы всё-таки хотим жить. Интересно, зачем?

Хеттские львы слепо уставились на меня с подставки лампы. От них веет Азией. Доминирующим континентом, на котором пока всё спокойно.

Ведь век ещё только бронзовый...

Железный век начнётся утром — со звонком будильника, который поставлен на четыре тридцать.

Я решаюсь.

— Ладно. Раз уж я мальчишка, я скажу тебе ещё кое-что — совершенно мальчишеское...

Она чуть поворачивается и смотрит на меня с лёгким любопытством — и с обычным спокойствием. Она понимает, что речь идёт вовсе не о признании в любви.

Всяческие признания — это ступень, которую мы уже переросли... так, впрочем, и не ступив на неё. И тем не менее — да. Переросли. Взявшись сейчас выяснять, кто из нас кого больше любит или не любит, мы стали бы похожи на детей, ссорящихся из-за конфетного фантика.

Такие пустяки.

И с этой мыслью подкатывает страх.

Вполне, однако, терпимый страх. Не такой, как под обстрелом или под дождём бомб с пикирующих бомбардировщиков. И не такой, как в стойке «смирно» перед блок-фюрером, готовящимся ударить тебя по морде железным кулаком. И даже не такой, как в момент принятия решения, которое должно переломить всю твою земную судьбу...

Право же: на этот раз случился суший пустяк.

Просто мои чувства перестали быть человеческими.

Просто я перестаю быть человеком.

Иными словами — начинаю превращаться в бога.

— Вечность — царство ребёнка, — говорю я вслух.

Ольга опять сразу понимает. Я уже привык, что она умеет сразу понимать даже очень неожиданные вещи.

— Хочешь сказать, что ты меня ненавидишь?

Вопрос попал в точку, признаю я про себя. Что ж, надо отвечать...

— Да.

Да.

Было бы нечестно это скрывать.

Ребёнок, сидящий во мне, не может простить, что его подразнили и не дали игрушку.

Поэтому я ненавижу тебя.

Но это не мешает мне тебя любить.

Какая я сволочь.

Впрочем, все боги — сволочи.

Да, я определённо схожу с ума. И последними остатками сознания понимаю, что собираюсь продолжать в том же духе.

Бездна расширяется, как граммофонная труба. Пространство Лобачевского.

А дальше — только молчание.

...Абсолютно не помню, произнёс я всё это вслух или нет. Знаю только, что Ольга меня поняла. Поняла — и даже не отшатнулась от отвращения. Впрочем, я, как обычно, хочу слишком многого...

Но и что сказать, она тоже не знала.

Слова нашёл я.

— Прости. По крайней мере, я был честен. И сделал всё, что мог.

Я мысленно повторяю свои слова, проверяя их на вес. Они совсем лёгкие и при щелчке отзываются не слишком гулким звоном, как грошовая жестянка.

— Мы оба сделали, что могли, — говорит Ольга с таким видом, словно она погружена в раздумье о чём-то постороннем. Я знаю, что это не так. Проходит ещё секунда, она поворачивает голову и смотрит на меня в упор — глаза в глаза. И я понимаю, что это сигнал к закрытию занавеса.

Сейчас будет сказана последняя фраза.

— Храни тебя Бог.

Спасибо, отвечаю я беззвучно, но так, что она понимает. Спасибо, и... Впрочем, достаточно. Вот теперь — уже и впрямь достаточно.

Меня вдруг охватывает чувство небывалого покоя.

Как будто после долгого утомительного пути лодка ткнулась в берег.

Берег.

Волны.

Только волны. Без облика, без времени, без цвета и шума. Они просто есть, и этого вполне достаточно.

Качайте меня, волны, какие вы ласковые, как с вами хорошо... — повторяю я очень долго.

И вдруг меня словно бьёт током. Я внезапно понимаю, с чем имею дело — и что сейчас будет.

Это не волны — это музыка в темпе адажио!

Прекратите, прекратите... — умоляю я неизвестно кого, уже понимая, что неизбежное — неизбежно. Что сейчас я поплачусь за всё.

Пожалейте! Пожалейте несчастного, слабого бога...

Бесполезно. Моих молений никто не слышит.

Ведь автор этой музыки был глух.

Та самая мелодия. Ураган космической нежности.

Космической — от слова «космос». Трещат, стремясь разлететься в осколки, границы наших заботливо выстроенных маленьких мирков — смешных и страшных, разных...

Что такое — «самая нежная музыка на свете»? О, разумеется, это правда, но ведь это только слова. Это только ярлычок. Он уже оторвался и потерялся в вихрях пустых пространств...

А на самом деле — это кипящая лава рвётся к небу.

К настоящему. К чёрному, как бархат. С ледяными брызгами звёзд.

Боги в ужасе. Земная корка треснула, и всё здание Вселенной сотрясается, грозя рухнуть.

Лунная соната набрала силу.

.....

У людей кровь красная. А у богов — серебряная, похожая на лунный свет. Но горе тому богу, в сосудах которого окажется хоть малая примесь крови человека. Тогда происходит реакция, от которой вся кровь делается чёрной. Чёрная кровь — страшная болезнь. Проказа богов.

Говорят, именно такая кровь лилась из груди Ахилла, когда Аполлон всё-таки достал его

стрелой.

.....

Было почти не больно, когда Лунная соната вспорола мою аорту и оттуда струями и ручейками, мощным расходящимся потоком хлынула кровь. Не чернота, не серебро — кровь. Она была красная — и, понимая это, я изо всей силы молил Неизвестно Кого только об одном: пусть она льётся вечно.

Такова цена за попытку отказа от человеческих чувств. Что ж, я готов платить.

Я плачу с радостью.

...У меня не осталось в памяти ни времени, ни места, где всё это происходило, — если, конечно, понятия «время» и «место» хоть как-то применимы здесь. Подробности стёрлись — опять же, если они вообще были. Помню только, что под железными ударами Лунной сонаты я исчезал, растворяясь в красном потоке, и бесконечно наслаждался этим исчезновением.

А наутро всё было очень буднично.

Окно кухни, как и окно комнаты, было закрыто шторой. Электрическая лампа горела в углу. Я оттянул штору и выглянул наружу — там только-только начало светать, краешек неба над домами стал светло-серым.

От плиты донеслось ворчание вскипающей воды, и через полминуты Ольга поставила передо мной чашку с кофе. С настоящим кофе, прошу заметить. Где она его берёт в такое время? Давно хочу спросить и всё забываю. Впрочем, сейчас это уж точно не важно.

Мы ещё увидимся. Наверняка. Ведь правда? Просто этого почему-то не хочется произносить.

Сейчас ничего не хочется произносить.

И мы допиваем кофе в молчании.

А потом выходим в коридор.

...Нет, я не буду рассказывать про сцену прощания. Любое прощание — пошлость. А уж сейчас-то — просто смешно. Ну, послали офицера в короткую командировку; ну, увидимся снова через пару дней... Разумеется, мы не прикоснулись друг к другу и даже не сказали почти ни слова — так что рассказывать просто нечего, даже если б я и хотел.

Ерунда — все эти встречи и расставания...

...Постояв пару секунд перед захлопнувшейся дверью, я наполовину ощупью спустился по тёмной лестнице и толкнул тяжёлую дверь подъезда.

На улице было холодно и темно, как ночью. Но ночь уже кончилась, часы третьей стражи миновали. Ночь кончилась — но и день ещё не начался. Короткий перерыв. Маленькая ячейка пустоты.

Я с удовольствием подставил лицо ветру. Прислушался к внутренним ощущениям: анестезия была полной.

Ну и хорошо.

Наверное, так и должно быть.

Всё, что мы любим, — это всего лишь метафора.

За время пути к вокзалу у меня проверили документы трижды. Первый раз это был патруль полевых жандармов. От них я отделался легко, предъявив вручённое мне предусмотрительным майором Беляевым липовое комендантское удостоверение, печать на котором, впрочем, была вполне настоящей. Понятия не имею, где Беляев её взял; задавать людям его профессии подобные вопросы я отучился уже очень давно. Так или иначе, с жандармами у меня проблем не возникло. Старший наряда — унтер-офицер средних лет, больше всего похожий на какого-нибудь десятника со стройки, — пожелал мне удачи и посоветовал не идти к вокзалу прямо, а свернуть на боковую улицу. «На главной дороге больше караулов, и дежурят в них не наши; зачем вам лишние проблемы...» Я поблагодарил его, постаравшись признательно улыбнуться. В жандармерию часто брали людей немолодых, выдернутых из давно сложившейся жизни тотальной мобилизацией; такие почти всегда относились к солдатам «иностранных частей» подчёркнуто тепло — понимали, наверное, что у нас-то положение ещё хуже. Где уж осталась наша мирная жизнь... По дезертирам, однако, жандармы всегда стреляли без колебаний. Оставив патруль достаточно далеко за спиной, я остановился и сплюнул через левое плечо. Как здорово, что документ оказался чистым. Не подвёл.

Может, и дальше всё будет нормально...

Во второй раз меня задержал патруль гвардейцев. Они вышли из подворотни и загородили мне дорогу почти внезапно: вот ты спокойно идёшь, ловя холодный ветер и наблюдая, как за домами начинает разгораться рассвет, а вот перед тобой уже стоят полукругом три фигуры в чёрной форме, и две из них направили на тебя автоматы. Я даже не испугался — может, просто не успел.

Ни моё офицерское удостоверение, ни бумажка из комендатуры не произвели на начальника гвардейцев никакого впечатления — по крайней мере, его лицо осталось каменным. Это мне не понравилось. Чего доброго, отправят сейчас для проверки на контрольный пункт, и тогда — дело плохо. Меня-то, наверное, вытащат, но операция сорвётся.

А срывать её нельзя.

— Цель визита на вокзал?

— Это касается только меня и моего командования, господин обервахмистр.

Старший патруля медленно поднял на меня глаза. Что ж, я бы на его месте тоже удивился. С гвардейцами редко кто отваживается так разговаривать. Но я знал, что сейчас именно решительный тон должен оказаться гирькой, которая сместит чашу весов в мою пользу. Расчёт, понятный любому, кто знаком с имперской психологией.

А кроме того, я просто не выспался. В таком состоянии у меня часто отключаются нормальные эмоции. В том числе и страх.

После секунды колебаний гвардеец вернул мне бумаги и молча отсалютовал. Я поднял было руку в ответном приветствии, но опоздал — они уже развернулись и скрылись в той же подворотне, откуда перед этим вышли. Пронесло...

Интересно всё-таки, долго ли ещё будет так проносить?

В третий раз мне пришлось предъявить документ уже при входе в вокзал. Здесь было проще всего. Стоявший у дверей полусонный солдат с нашивками Резервной армии взглянул на моё

удостоверение и только вяло кивнул.

Путь свободен.

Привокзальная площадь, через которую я только что прошёл, была восхитительно пуста. Правда, на её противоположном краю приткнулись несколько военных машин: легковушки, грузовики, один броневичок. Они были похожи на забытые у стены большой комнаты игрушки, такие запылённые, что нельзя даже понять, какого они цвета — то ли зелёного, то ли серого. Ведь настоящее утро всё ещё не наступило.

Хоть бы оно не наступало никогда, думаю я невольно.

Фонари на площади не горят. Зажжена только лампа над дверью, ведущей в здание вокзала. Как раз там, где стоит часовой.

И холодно.

В самом здании тоже прохладно, но сюда по крайней мере не доходит ветер. И горит свет — правда, очень тусклый. На потолке горит только четверть лампочек.

Кроме того, здесь есть люди.

Как раз последнее радует меня меньше всего. Военные в разнообразной, но одинаково грязной и мятой форме спят на поставленных в ряд скамьях, приткнувшись к своим вещмешкам. Да, кажется, в этом зале они все спят, говорю я себе, оглядываясь. И тихо радуюсь тому, что меня никто не увидит.

Здесь нет совершенно никакого практического расчёта. Просто вдруг очень захотелось пройти незамеченным.

Как будто меня и нет на свете...

На перроне меня опять встречает ветер.

Поднятый над землёй прямоугольник чистого асфальта. Здесь, кроме меня, нет ни одного человека. Электрические блики на ограждениях и опорах для проводов. Бесконечные железные ленты, открытые на запад и на восток...

Небо закрыто облаками. Его край на востоке — бледно-оранжевый. Почему-то рассвет сегодня кажется не тёплым, а зловещим.

Свет, идущий от путевых фонарей, искажается в мощных потоках ледяного воздуха.

Где, однако, мой поезд? По времени — уже пора. Но кругом всё тихо, семафоры не мигают, и кажется, что на этом вокзале вообще никогда больше не будет поездов...

— Не спеши. Твой поезд задерживается.

Я оборачиваюсь так резко, что с моей головы чуть не слетает фуражка.

Передо мной стоит поручик Маевский.

— Ты знал, что я здесь? — спрашиваю я вместо приветствия.

Михаил понимает, что сейчас не до любезностей, и сразу берёт деловой тон.

— Да, я знал. И куда ты собираешься ехать, я тоже знаю.

— Рад за тебя, — отзываюсь я. — И что — ты пришёл пожелать мне счастливого пути?

— Я пришёл, чтобы уговорить тебя не ездить.

Я минуту молчу. Ничего не скажешь: откровенно. Михаил всегда понимал — когда нужна дипломатия, а когда гораздо лучше говорить прямо.

Мне тоже лучше говорить прямо. Например, послать его подальше и демонстративно отвернуться.

Но я устал.

Именно сейчас я понимаю, что действительно очень сильно устал. На мгновение мне даже делается себя жалко.

Во всяком случае, быть категоричным я больше не хочу.

— Ты считаешь, что я не должен ехать? Почему?

Михаил медлит с ответом. Чувствуется, что он тщательно подбирает слова.

— Понимаешь ли ты, в чём смысл этого мероприятия?

— Оборона, — говорю я коротко.

— И как вы собираетесь обороняться? На обе стороны?

В голосе Михаила нет ни тени иронии. Его тон — тихий и усталый. Я бы даже сказал — покорный.

Как у меня.

— Я знаю все твои возражения... — говорю я через силу. — Знаю. Просто — у нас нет вообще никакого выбора.

Маевский опять медлит.

— Ладно. Не будем размазывать эту тему, как сопли, — тем более что и времени-то у нас не так много. Я просто просуммирую главное. Начнём с того, что план «Эней» не имеет никаких шансов на успех, что бы под успехом ни понималось. Удержать оборону на востоке без поддержки основных сил шведов невозможно — с этим, кажется, никто и не спорит. Других же перспектив я просто не вижу. Об идее вбивания клина между союзниками не стоит и говорить, ты сам понимаешь, что это чушь. Тогда остаётся только одно: потянуть время, чтобы хотя бы сдать в плен не русским, а американцам. Вот в этом и будет состоять вся ваша «оборона» — в случае максимального успеха, подчёркиваю. И тем самым задача сведётся к уже решённой... Потому что два месяца назад на Каирской конференции главы четырёх союзных держав подписали решение, согласно которому все их бывшие граждане, поступившие на службу Империи, подлежат выдаче. Ты понимаешь, что это значит?

Я пожимаю плечами:

— А ты можешь предложить какую-то лазейку?

— Да. Я могу спасти — не всех сдавшихся, разумеется, но некоторую часть. Я... не могу, конечно, обещать, но в моих силах постараться сделать так, чтобы вам списали грехи. А не отправили на виселицу или на каторгу.

— Ты служишь в их разведке? — спрашиваю я напрямик.

Михаил кивает.

— Давно?

Он мотает головой:

— Неважно. Извини, но удовлетворять твоё любопытство я не собираюсь. Просто — вас можно вывести из-под удара. Трудно, но можно. И всё, что от тебя лично потребуется, — это не делать глупостей.

— Например, отказаться от поездки к Линдбергу?

— Например, — соглашается Михаил и прислушивается. — Кажется, поезд...

Смешно, но мне стало жалко, что мы не договорили.

Впрочем, уже через полминуты я понял, что поезд — не тот. И шёл он совсем не туда. Это был самый обыкновенный эшелон, везущий подкрепление на фронт.

Закрытые солдатские вагоны. Цистерны с горючим. Платформы с зачехлёнными самоходками...

Говорить не имело смысла — за грохотом мы всё равно не услышали бы друг друга.

Совершенно особое ощущение — когда мимо тебя несётся поезд.

Особенно — поезд, идущий на фронт.

Это сама война. Её дыхание. Её сбивающий с ног ветер. Её оглушительный шум, направленный туда, где скоро будет бой.

Как это, кстати, шум может быть направленным?...

И всё-таки поезда гремели так же, как и четыре года назад, когда всё чудовищное тело Великой армии вытягивалось вдоль стальных лент, готовясь нанести грандиозный, непревзойдённый по силе сокрушительный удар.

Перестук колёс заполнял пространство.

К востоку, к востоку, к востоку...

Конечно, расстояние до фронта теперь сильно сократилось. Но что из этого?

Империя ещё жива. Она ещё может наносить удары.

— ...ещё жива и может наносить удары, — это уже опять голос Маевского. — Представляешь, сколько народу погибнет вот из-за этого одного эшелона? И неужели ты не хочешь это всё остановить?

— Перейдя на службу к твоим шефам?

Он разводит руками:

— Они — единственная сила. Хочешь ты этого или нет. Единственная сила, способная уничтожить Империю, которая давным-давно того заслужила. И — единственная сила в этой части света, способная делать всё остальное. В том числе и спасти тех, кого ещё можно



спасти.

— Я уже слышал что-то подобное, когда вербовался в имперскую армию, — говорю я.

Сейчас Маевский будет возражать. Интересно, какие именно доводы он придумает?

Всё-таки я его недооценил.

— Ну и прекрасно. Я же не говорю, что ты тогда был не прав. Можешь считать, что ситуация повторяется — с переменной знака.

Я не сразу нахожу, что ответить. Меня трудно удивить, но сейчас я ошеломлён.

Вся наша жизнь — бесконечно разрастающаяся цепочка измен.

Значит, Михаил тоже это понимает.

Только вот выводы он из этого делает — совсем другие.

Михаил Сергеевич Маевский, да человек ли ты вообще?

Я молчу. Спрашивать о таком — глупо.

Конечно, он человек.

Он гораздо больше человек, чем я, вот в чём дело.

Ведь спасение людей — это вполне человеческая задача.

Самая человеческая.

И кровь у него в жилах — красная.

Всё это мне ясно — так, что от слишком большой ясности даже тошнит. Так люди теряют сознание от чистого кислорода.

И всё-таки я должен что-то ещё у него спросить. Как актёр, которому нельзя оставаться без реплики...

— Скажи, Миша, считаешь ли ты себя добрым?

Он не колеблется.

— Да. Я очень добрый. Понимаешь, Андрей, ты даже не можешь представить, какой я добрый...

Мои щёки вдруг сводит, как от мороза.

Я понимаю, что он говорит правду.

Только правду.

Она уже сказана почти вся.

Остался только мой последний ход — мой ответ.

Что ж, он будет очень простым.

— Я не приму твоего предложения. Не спрашивай, почему, — я не смогу этого объяснить.

Никогда не смогу этого объяснить. Но... — я сбиваюсь. — Наверное, ты всё понял...

Маевский кивает. Он понял.

Мы очень долго молчим. Добавить к тому, что уже сказано, нечего.

Проходит, кажется, вечность, прежде чем он вновь нарушает тишину.

— Я тебя боюсь.

От неожиданности я вздрагиваю.

— Ты это говоришь мне?!

— Я. Тебе. Понимаешь — в тебе есть что-то... На тех местах, где должны располагаться некие человеческие чувства, у тебя — пустота. Постучишь — и отдаётся, — для наглядности он стучит сжатыми пальцами по воображаемой стенке.

Отвечать совсем не хочется. Сейчас царит равновесие: не только внутри меня, но и вокруг господствуют пустота и тишина, и в эту тишину вторгается только стук колёс, доносящийся издали.

— Это уже твой поезд, — говорит Маевский.

Я киваю, благодаря за известие.

Появившаяся вдали фара паровоза растёт, грозя ослепить меня. Чёрный сухопутный Левиафан с грохотом надвигается, уже начиная тормозить.

Сейчас я войду в его чрево и унесусь вдаль, оставляя пустоту за собой.

Ещё раз смотрю на Маевского. Грустные у нас расставания — без прощаний.

Что ж, мне пора.

Спасибо тебе, Хитроумный. Ты, как всегда, был прав.

Может быть, действительно всё зря. Может быть, я и вправду похож на того героя из известной сказки, который притворялся душевнобольным, чтобы скрыть, что у него вообще нет души.

Главное, что сейчас это неважно. Даже это — неважно. Сейчас у меня есть задание и есть дорога, по которой нужно ехать. Экипаж подан. Вперёд.

Ну, а над идеями Хитроумного я на досуге подумаю. Это интересно.

Самая большая загадка на свете — пустота.

4

Начальник проверочного поста махнул рукой, приказывая поднять шлагбаум, и наш штабной «сателлит» сразу же набрал скорость. Дорога была извилистая. Я не удержался и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на город, но опоздал — его окраина уже исчезла за поросшим кустами каменистым склоном.

Покидая Сплит, мы проехали через старинные ворота, построенные ещё при римлянах. Сама стена цитадели была давно разрушена, но обветренная и замшелая каменная арка сохранилась. Она была необычайно массивна. Совершенно не средневековая конструкция. На имперских землях я никогда не видел таких.

Когда-то этот городок оказался свидетелем того, как иссяк натиск грозившей опустошить Западную Европу армейской группы Бату-хана. По крайней мере, обратно она повернула именно отсюда.

А спустя почти семьсот лет сюда пришли солдаты нынешней Империи — Третьей.

Красивая вещь — история. Один писатель хорошо сказал, что время похоже вовсе не на реку, а на ковёр. Широкий многоцветный ковёр с причудливыми узорами. В котором я — просто ниточка.

Почему-то прочувствовать это по-настоящему мне удалось именно сейчас. Именно здесь.

Странно было подумать, что с того момента, когда везущий меня бронепоезд «Фафнир» остановился на Сплитском вокзале, прошли только сутки. Всего-навсего.

Хотя я знал, что, если подсчитать время, всё сойдётся.

Первые два часа я просто блуждал по городу, разбираясь, где тут что. Торопиться абсолютно не хотелось. Если честно, большую часть этого времени я просидел на куче плавника на берегу Ионического залива. Даже не размышляя, а только глядя на скалы, на небо и на волны. Я знал, что теряю время, но почему-то уйти оттуда было очень трудно...

Следующие четыре часа ушли на поиски обиталища фельдмаршала, а также на бесполезный визит к нему. А может, и меньше четырёх часов — ведь разговаривали мы со стариком не так уж долго.

Со стариком? Мысленно обозначив так собеседника, я сам удивился. Из тех, кто видел Линдберга два года назад на посту командующего группой армий «Танаис», наверняка ни одному человеку не пришло бы в голову назвать его стариком. А из тех, кто служил под его началом в группе «Паннония», — тем более. Тогда господин фельдмаршал взял, так сказать, личный реванш за свои неудачи в Донском сражении, нанеся в прошлом году ряд серьёзных поражений партизанским отрядам — так, что им даже пришлось перенести свою главную базу с материка на остров Лисе. Остров, правда, взять уже не удалось. Хотя вины фельдмаршала тут не было. Он сделал всё, что было возможно. Достиг таких успехов, что наверняка очень скоро сам об этом пожалел... Во всяком случае, с той точки зрения, которую принято называть «чисто военной», прошлогодняя кампания Линдберга, несомненно, была шедевром. В ней вызывает восхищение почти всё — начиная с самого факта, что на этом театре вообще хоть кому-то удалось действовать осмысленно. В чудовищной ситуации, когда борьба местного населения с оккупантами наложилась на начавшуюся сразу же после гибели Объединённого королевства венгров и южных славян трёхстороннюю гражданскую войну...

Хотя гражданская война как раз отчасти помогала. Ведь благодаря ей партизаны очень часто били не столько шведов, сколько друг друга. А иногда та или иная сторона даже заключала с имперцами тайное перемирие — чтобы повернее врезать своему другому противнику.

Почему участвующие во всём этом люди давным-давно не походили с ума? Почему непостижимо сложные вещи до сих пор кажутся большинству из них очень простыми? Даже здесь, на Балканах, где эта сложность — зримая, где война действительно похожа на залитый кровью многоцветный ковёр...

Странная вещь — психология людей.

И война — странная.

...Я начал удивляться ещё по дороге, подходя к месту, которое лейтенант-связист на вокзале назвал мне как последний адрес фельдмаршала Линдберга. Путь, намеченный по найденному на том же вокзале плану, вёл почему-то в пригород. Почему так далеко от центра? И от магистрали? И от порта? Кому вообще пришло в голову размещать тут большой штаб? Или штаба, как такового, уже нет?...

Впрочем, идти по этим местам было вполне приятно.

Здесь действительно чувствовалась весна.

Тонкие высокие тополя уже зеленели. Скоро эта улица станет тенистой — но, правда, сквозь листву всё равно будет пробиваться южное солнце.

Я остановился и потрогал стену дома — залитую всё тем же солнцем, поросшую внизу зелёным мхом, ещё не просохшую от потоков талой воды с крыши. И та же вода бежала ручейком в канаве по краю булыжной мостовой.

И наконец — как бы нарочно ставя на картине последний штрих — высоко над домами пролетел аист.

Я тогда ещё подумал: интересно, благое это предзнаменование или зловещее? Аисты — воздушные маги...

Вот она — та самая улица. А вот и тот самый номер. Обычный серый домик с маленьким садом. Просто не может быть, чтобы здесь размещался командующий группой армий. Никакой стоянки с автомобилями, никаких протянутых линий связи. Даже никакого часового у дверей. Может, кто-нибудь ошибся?

Или хуже?

На стук вышел немолодой ефрейтор.

— Фельдмаршал не принимает, — сказал он хмуро, успев в то же время скользнуть внимательным взглядом по моему мундиру.

— Меня примет, — сказал я уверенно. — Скажите ему, что пришёл поручик иностранных войск, у которого он год назад брал уроки классической латыни. Так и доложите — дословно. Не хлопайте глазами, ефрейтор, а выполняйте, — прибавил я, чуть повысив голос.

С денщиками всегда надо обращаться, как с денщиками. Игры в демократию на войне вредны. Делать исключений не следует даже для денщиков фельдмаршалов, ибо игры в чиновничество на войне вредны ещё больше. Этот принцип, исповедуемый мною давно, сработал и сейчас. Правда, ефрейтору явно хотелось от души сказать мне что-то в ответ, но он сдержался и, буркнув «подождите», довольно быстро ушёл. Через щель, оставленную приоткрытой дверью, я видел, что он поднимается по лестнице на второй этаж.

Всё нормально. Я привалился к стене у дверного проёма и полез было за сигаретами, но спохватился: курить сейчас — не место и не время. Оглядевшись по сторонам, я подумал, что вся сцена выглядит очень по-книжному. Визит тайного гостя к низложенному императору. А такие истории имеют свойство кончаться плохо — например, пожизненным заключением в каменном мешке. Чем не плата за удовольствие?...

Тут вернулся ефрейтор.

— Экселенц ждёт вас, — сказал он на сей раз совершенно нейтральным тоном и отступил, пропуская меня.

Прихожая. Узкая лестница с тёмными вычурными перилами. На втором этаже была открыта дверь в комнату, выходящую окном на север. В этой комнате за овальным столом сидел человек. Сначала я не узнал его.

Он сам узнал меня быстрее. Я понял это по мелькнувшей в его глазах приветливой искорке, которая, впрочем, тут же потухла и сменилась иронией, когда я, поняв наконец, что сидящий передо мной человек — это всё-таки фельдмаршал, — машинально отсалютовал.

Возникла неловкая пауза.

— Заходите, мой друг, и садитесь, — сказал Линдберг совершенно обычным голосом.

Только голос, пожалуй, и остался от него прежнего. Это ведь был такой аристократ — подтянутый, решительный, остроумный. Конечно, суховатый в чём-то, но по-хорошему суховатый. Похожий на университетского доцента. Помню, что первое знакомство с ним вызвало у меня две мысли: первая — что облик и характер классического имперского офицера всё-таки поразительно шаблонен; и вторая — что это не такой уж плохой шаблон. Сочетание натренированного интеллекта с такой же натренированной волей, и всего этого — с кастовой вежливостью... Так выглядел фельдмаршал Линдберг прошлой весной. А сейчас передо мной сидел старичок-пенсионер с невыразительным лицом, хранящим разве что следы какого-то рассеянного добродушия. Его глаза близоруко щурились — он был без своих тонких очков. А ведь год назад он никогда не снимал их.

Я нашарил стул и сел, всё ещё не зная, что сказать.

Линдберг стёр с лица улыбку.

— Я сильно изменился, не так ли? — спросил он.

Да, тон был прежним. Уклоняться от ответа на вопрос, заданный таким тоном, нельзя.

— Вы очень сильно изменились, экселенц.

Он ещё раз слабо улыбнулся.

— Ну, так я вас слушаю.

Раньше, чем я успел заговорить, он продолжил:

— Только имейте в виду: обращаться ко мне как к официальному лицу бесполезно. Я в отставке. Уже пять дней как.

Вероятно, я подсознательно ожидал чего-то подобного.

Помню, во всяком случае, что я не удивился. Просто кто-то сидящий внутри меня сухо отметил: ну вот и всё.

Приехали.

— Извините, экселенц, — сказал я неизвестно зачем.

Голова была ясная, тело слушалось, но что-то в мире за эту секунду неуловимо изменилось. Что-то, чего я не смог бы сформулировать словами. Просто вот был один мир, а вот теперь стал — другой. В котором я ощущаю себя ватной куклой. Марионетка с оборванными нитями.

И вслед за этими чувствами пришло, разумеется, облегчение.

Наконец-то они оборвались...

— Извиняться не за что, — сказал Линдберг по-стариковски чётко. — Наверху решили, что оставшиеся здесь несколько второстепенных частей не оправдывают существования штаба целой группы армий. Все резервы, какие здесь ещё были, перебросили к Реншельду — там они нужнее... Неужели ваша разведка это прохлопала? — спросил он вроде бы даже с интересом.

Я молчал, не собираясь ничего отвечать. Так точно, ваше превосходительство. Прохлопала. Мы и не такое можем прохлопать. Наши возможности поистине безграничны...

Вместо этого я спросил, грубо нарушая субординацию:

— Почему же вы не уезжаете?

Я знал — почему. Фельдмаршал овдовел ещё перед войной, так что возвращаться в семейный дом ему не было смысла. Его единственный сын погиб на Восточном фронте, а дочь была, надо полагать, в относительной безопасности; во всяком случае, после приезда отца-фельдмаршала эта безопасность скорее бы уменьшилась, чем возросла. При таком раскладе действительно самое разумное было — остаться. Остаться и ждать.

Остаться и ждать. Я опустил глаза и положил руки на полированную поверхность стола. Переходить к делу теперь, наверное, не стоит. А с другой стороны — терять ведь тоже нечего. Так что немного поговорить, наверное, всё-таки можно... Я не полез за бумагой, содержащей мои официальные полномочия, а просто сказал:

— Разрешите спросить, экселенц. Здесь ещё остались хоть какие-нибудь части, способные к обороне?

— Нет. Здесь теперь остались только территориальные гарнизоны, а им я перед отставкой дал неофициальное распоряжение — не сопротивляться. Надеюсь, что крови больше не будет. Сплит — фактически открытый город. Как Равенна.

Воистину: никогда не говорите «хуже быть уже не может». На самом деле почти в любой трудной ситуации — может. То, что сейчас сказал фельдмаршал, было самой плохой новостью, какую я только вообще мог бы здесь услышать. Дело настолько паршиво, что я даже боюсь пытаться это оценить... А переубеждать фельдмаршала бесполезно: он стремится избежать кровопролития и в этом, разумеется, тоже по-своему прав. Ох, дорого бы я дал, чтобы это кровопролитие всё-таки стало возможно... но тут дело уже, кажется, дохлое... И кстати: почему это он со мной так откровенен? А если я — агент ГТП? Неужели его до сих пор не приучили бояться? Всё-таки эти старые шведские генералы — в чём-то дети...

— Вам лично почти ничего не грозит, — сказал я.

Он пропустил это мимо ушей. И сказал, кажется, самому себе:

— Ничего. Для последнего парада меня ещё хватит.

— Рассчитываете на почётную сдачу?

Это были очень грубые слова — но мне ничего не осталось, кроме как произнести их.

И Линдберг меня понял.

Какое-то время мы с ним сидели, просто глядя друг на друга, — и я вдруг обнаружил, что читаю все его мысли, как в детской книжке. Это было не слишком интересно.

— Я не могу вам помочь. И не потому, что не сочувствую. Просто за этот последний год я окончательно перестал понимать — кто прав, кто виноват. Мы ведь на самом деле никогда этого не понимаем. Так много всего сплетается... Очень сложный мир. Людям нужна в нём хоть какая-то точка опоры. Вот почему нам, военным, так легко. У нас в любой, сколь угодно сложной ситуации есть приоритетный вектор. Выполняй приказ. Делай, что должен, и пусть будет, что будет...

Вряд ли он верил в то, что говорил. Да и вряд ли он говорил именно так. Просто я его так понял. И даже, кажется, посочувствовал ему каким-то свободным краешком сознания.

Не только посочувствовал, но и позавидовал.

Хорошо солдатам и влюблённым — у тех и у других всегда есть точка отсчёта. Как Полярная звезда. Хорошо выбирать путь по звезде.

Мне это уже не дано. Для таких, как я, небо — слепо.

Влюблённый человек или солдат похож на того, кто смотрит на предметы сквозь линзу или витраж.

Выбить стекло и устремить взгляд прямо в темноту. Почувствовать кожей холодный ветер.

На этом холодном ветру очень неудобно. Что ж, надо привыкать.

Выбить стекло не так легко. Но вставить его таким же ударом обратно — невозможно.

Пути назад нет.

И, осознав это, я испытал невероятное ощущение, похожее на счастье.

— ...Стоп, — сказал я вслух, но спохватился. — Извините, экселенц...

За это мгновение заминки я чётко понял, что собираюсь сказать, — и понял, зачем я это собираюсь сказать. Задача: попытаться убедить Линдберга вернуться к активной позиции. Пока неважно, к какой именно: просто чтобы он начал делать хоть что-нибудь, а там разберёмся. Средство для этого я видел только одно: сыграть на его гуманных чувствах. Линдберг гораздо лучше меня знал, что по прямой или косвенной вине имперской армии в здешних краях пролилось очень много крови. Кровь продолжает литься и сейчас, так как начавшаяся одновременно с оккупацией гражданская война отнюдь не прекратилась. Лучшее, что могли бы в такой ситуации сделать местные имперские начальники, — это применить оставшиеся у них возможности, чтобы остановить или хотя бы затормозить бойню. И если фельдмаршал так и решит и сделает в этом направлении шаги — любые шаги! — то ситуация сдвинется с мёртвой точки. А уж там мы посмотрим, в чью сторону она повернётся дальше... Конечно, такой подход шит белыми нитками — но чем чёрт не шутит; именно сейчас, с человеком, находящимся в лёгком душевном кризисе, это может сработать...

У меня даже дух захватило от собственной подлости.

— ...Не могу с вами согласиться, — сказал Линдберг. Сейчас он стал совершенно прежним. Он говорил, словно читал лекцию. — Не могу согласиться — потому что я не знаю, как отработать назад. Если бы мы имели дело хотя бы с двумя противостоящими силами... но тут этих сил — едва ли не десятки. Я убедился, что вся наша аналитика здесь бесполезна. Любые — понимаете, именно любые действия, направленные на изменение общей ситуации, скорее всего, сделают только хуже. А это «хуже» может стоить очень дорого. Вы не

представляете, какая здесь была жестокая война...

— Представляю, — сказал я. За время службы на Востоке мне приходилось заниматься самыми разными вещами, в том числе и принимать участие в антипартизанских акциях. Говорить об этом не хотелось.

Говорить вообще больше не хотелось.

Будем считать, что агента-provokatora из меня не вышло. И этого не сумел. Так я, наверное, и сдохну универсальным дилетантом...

Ведь дилетант — это не характеристика умения или неумения делать какие-то конкретные дела. Это просто такой тип людей. К которому я вполне сознательно себя отношу.

Есть другой тип — профессионалы. Вот как фельдмаршал Линдберг, например.

Хорошо таким, как вы, господин фельдмаршал. Всю жизнь выполнять приказы и иметь чистую совесть. А когда всё рухнет — элегантно уйти. Опять-таки сохраняя чистую совесть. Получается, что чистая совесть — это личное дело каждого. Вроде платочка, который можно выстирать. Очень удобно.

Только мы не умеем соблюдать простейших норм гигиены.

Мы — дилетанты: мы воюем, не зная азов военного дела. Не говоря уже о военной этике. Впрочем, мы не знаем даже, что это такое — «военная этика». Вот насколько мы необразованны и глупы. Идиотская армия. Ландскнехты-волонтёры.

Таким, как мы, всегда достаётся грязная работа. Причём за неё даже не платят как следует.

И вот — находятся же любители...

Я уже собирался встать, но вспомнил, что у меня остался последний вопрос.

— Разрешите спросить, экселенц. Когда вы говорили о территориальных гарнизонах, вы включали в это понятие части Русской охранной бригады?

Линдберг посмотрел на меня задумчиво, но медлить с ответом не стал.

— Включал. Если вас это интересует, то ближайшая часть расположена под Церрой. Это в тридцати километрах отсюда.

— Как мне туда добраться?

Линдберг поморщился.

— Это не проблема. У меня ещё остались кое-какие связи. Вам дадут мотоцикл. И даже с бензином.

Опять мотоцикл...

Впрочем, ехать на нём здесь было значительно приятнее, чем на севере. Здесь хотя бы тучи не закрывали солнце.

Эта земля была — как мозаика. Камни, море и небо, но всё это — в тысяче изломанных отражений. Смятые выбеленные утёсы; изящные хвойные рощицы; маленькие кудрявые виноградники; громоздящиеся друг над другом лоскутики террасных полей; матовые волны



под скалистыми обрывами...

Я подумал, что здесь ведь, наверное, красиво. Конечно, красиво. Просто заставить себя это почувствовать я никак не мог. Слово «красота» сейчас казалось чем-то вроде смятой бумажки с поплёкшими узорами. Отлепилась и улетела прочь.

Дальше.

После очередного крутого поворота мы показали морю спины и поехали вверх. Дорога теперь шла как бы в извилистом жёлобе между двумя скальными уступами. Сразу над нашими головами начинались заросли туи — мрачноватые, но в то же время они почему-то казались приветливыми.

Человек нигде так не чувствует мать-Гею, как в горах. Ведь она — скромная богиня. Она не устраивает ярких чудес, не творит специально ни бед, ни несчастий. Мы — всегда на ней. Но когда и где мы это осознаём? Разве только в местах, где сама земля напоминает нам, что она — именно Земля.

Правда, этого обычно хватает ненадолго.

Наверное, мы так устроены, что наша участь — вновь и вновь устремляться, подобно безумным птицам, в слепое небо.

Почему же мы не хотим обратить свой взор на Землю? Почему?

...Но ведь и горные страны бывают разные. Есть конфетные красоты Альп. Есть ржавое золото Карпат. Есть скандинавские горы — чудовищные холодные громады, между которыми течёт фиолетовая вода; Норвегия — край титанов...

Здесь всё было другое. Здесь не было того совершенства прозрачного кристалла, которое превращает в вечное пугало для людей какую-нибудь Юнгфрау. Здесь было своё величие — не ледяное, а многообразное и тёплое.

На этой земле можно жить людям.

Вероятно, что-то подобное понимал и тот великий император, который полторы тысячи лет назад построил именно в здешних краях свой главный дворец. Вот он, этот дворец — совсем рядом, километрах в двадцати пяти отсюда...

При этой мысли у меня почему-то перехватило дыхание.

Совсем по-иному чувствует себя ведущий скучную жизнь, замкнутый одним своим окном человек, когда выглядывает ночью в это окно и понимает, что живёт не где-нибудь, а на огромной планете. Со всеми её городами и озёрами, огоньками, мостами и параллелями.

Точно так же и с историей.

Перефразируя афоризм одного выдающегося англичанина, я сказал бы, что империя — это, конечно, чертовски неудобная штука, только вот ничего лучшего человечество так и не придумало.

И можете сколько угодно кидать в меня камнями за очередную глупость...

Кстати. Возможно, я чего-то и не понимаю в порядках проклятой Третьей Империи. Но самая простая логика прямо-таки утверждает, что отправленный против своей воли в отставку

крупный военачальник, к тому же популярный в войсках, к тому же давно и обоснованно подозреваемый в нелояльности, — такой человек просто обречён постоянно находиться под плотным надзором гвардейских спецслужб: так, чтобы мышь не проскочила. Чтобы ни один контакт не прошёл незамеченным. Это азбука. И, однако, эти элементарные, очевидные для любого профана соображения явно противоречат тому, что я видел сегодня собственными глазами. Что-то тут не так.

Или это у меня уже начинается паранойя?...

Тут мы ещё раз свернули на боковую дорогу, и думать стало некогда. Хорошие шоссе в здешних краях существовали разве что при римлянах. Просёлочек, по которому мы теперь ехали, когда-то, видимо, пытались замостить камнями, но попытка оказалась неудачной, и только отдельные булыжники остались торчать на пути памятниками усердию неведомых рабочих. В результате я всё время боялся вылететь из мотоциклетной коляски или, что ещё хуже, прикусить себе язык.

Впрочем, очень скоро булыжники исчезли, а потом каменные уступы раздались и дорога пошла вниз. Мы въехали в маленькую долину. На противоположном склоне росли уже не туи, а сосны, и там среди них виднелось что-то вроде ворот. Но мы не поехали к этим воротам, а свернули направо. Две обозначенные в траве колеи вели к полосатому шлагбауму, около которого прохаживался часовой в голубой форме.

Стоп.

— Стоять. Документы, — сказал часовой почему-то по-немецки.

Само по себе это меня не удивило — немецкий и шведский языки в пределах Империи практически равноправны. Но почему не по-русски? Я сделал движение, чтобы вылезти из коляски, но часовой тут же повёл в мою сторону стволом автомата.

— Сидите. Документы протяните мне.

Чего они боятся? — подумал я. Как будто в случае нападения гвардейцев такие меры предосторожности могут им хоть чем-то помочь. Или это они опасаются партизанских диверсий?...

Между тем возникла заминка, связанная с тем, что я не знал, какой именно из документов сейчас следует предъявить. Командировочное предписание? Бессмысленно. Имперский паспорт? Ни в коем случае. Удостоверение Комитета освобождения? Не факт, что он когда-нибудь видел такую бумагу... Я пару секунд подумал, а потом перекинул ногу через борт коляски и, стараясь всё же не делать резких движений, просто встал у мотоцикла по стойке «вольно». Автоматное дуло следило за мной, но я был уверен, что часовой не выстрелит. Кишка у него тонка.

— А теперь вызовите сюда начальника караула, — сказал я опять же по-немецки. — Немедленно.

Я сгрёб горстью сосновые иголки и, не обращая больше ни на что внимания, некоторое время просто смотрел, как они высыпаются из руки. Интересно, как называется их цвет?...

Мы с начальником караула прапорщиком Дыбовским сидели прямо на земле, на пригорке, расположенном чуть выше по склону от контрольно-пропускного поста, но на таком расстоянии, чтобы сам пост было видно. В пределах визуальной связи. Высланная сухой хвоей земля была тёплой. Мне очень хотелось лечь и растянуться на ней, но пока я себе

этого не разрешал — деловая часть разговора была ещё не закончена.

— Поздно вы пришли, — сказал Дыбовский. — Вообще — многое поздно.

Я не ответил, потому что это замечание не предполагало ответа. Собственно, почти всё было уже ясно.

— Не вешайте нос, прапорщик, — произнёс я совершенно механически. Так военный хирург в приёмном покое раз за разом привычно говорит своим искалеченным пациентам что-нибудь вроде: «Мы ещё с вами водки выпьем, лейтенант»...

— Я не вешаю, — живо возразил Дыбовский. — Просто надо же реалистично смотреть на вещи...

Я с интересом взглянул на него. У прапорщика Дыбовского было типично юношеское открытое лицо. И сам он весь был очень молодой и открытый. Наполовину гимназист, наполовину студент, и вот уже почти два года — офицер. Он принадлежал к семье старых эмигрантов, но родился, когда Белая армия не только эвакуировалась уже из России, но и успела переменить свою зарубежную квартиру на Объединённое королевство. В Объединённом королевстве он и провёл всю свою жизнь. Вопросы, вступать или не вступать в Бригаду, для него просто не было. Правда, он прекрасно знал, что проблемы у Бригады начались почти сразу — когда имперские начальники отказались направить её на Восточный фронт, заставив вместо этого заниматься на месте охраной объектов и борьбой с партизанами; а чуть позже, когда выяснилось, что эмигрантские части действительно могут сражаться, их просто официально ввели в состав имперских сухопутных сил. Вот и всё. Почему мы должны были драться с этими партизанами — ведь они же правы, они защищают свою родину; в конце концов, в Королевской армии у наших офицеров было и есть немало личных друзей... Тем не менее — приказы приходилось выполнять. Командира Бригады, престарелого генерала Лорера, можно было понять, он оказался перед исключительно паскудным выбором. За само существование национальных частей надо было платить тем, что эти части выполняли фактически роль наёмников... Да, чёрт возьми. Наёмников. А вы знаете, с чем приходится иметь дело? Гетайры занимают хорватскую или мадьярскую деревню и взрослых режут сразу, а детей ставят к винтовке... А вот так. Кто оказался ростом выше винтовки — тех расстреливают. И вот их мы должны были ловить...

— Пойдите, — сказал я. — Это гетайры так поступают? Как же так?...

Дыбовский напрягся и задумался.

— Вероятно, я не совсем точно выразился. — Речь у него была по-школьному чистая, чем-то совершенно неуловимо отличавшаяся от той речи, к которой я привык на родине. Вроде бы тот же самый язык — а другой. Наверное, надо иметь музыкальный слух, чтобы это оценить... — Когда я говорю «гетайры», я не всегда имею в виду регулярные формирования. Ведь отрядов, называющих себя гетайрами, очень много, и генерал Бонавентура, к сожалению, контролирует их далеко не все. Генерал — честный человек. Тех, кто виновен в расправах над мирным населением, он обычно расстреливает. Но всю свою армию он расстрелять не может... К тому же любое военное преступление, совершаемое гетайрами, сразу вызывает ответ со стороны внутренних сил мадьяр. В Далмации я, слава Богу, не служил; слава Богу — потому что там, говорят, творится вообще что-то страшное. Хотя уж я и не знаю, что может быть страшнее...

Он окончательно замолчал. Нет, мальчик, так не пойдёт. Мне нужна информация, и ты мне её дашь. Уж извини, если это больно...

— Хорваты, — сказал я. — Что собой представляют их боевые отряды? Они способны к сотрудничеству?

— Не знаю, — сказал прапорщик. — Просто — не знаю. Я с ними не общался.

— А с гетайрами?

Он помедлил, прежде чем ответить.

— С гетайрами — да. У нас даже были совместные операции.

Я не удивился — хотя удивиться в этом месте, может быть, и стоило. Просто об особенностях здешней войны я уже кое-что знал. Гетайры, которых теснили с трёх сторон, пытались заключать соглашения не только с Русской бригадой, но даже с частями Линдберга — и, насколько я понимал, не всегда безуспешно. Ведь шведы здесь тоже воевали на несколько фронтов, так что, независимо от официальных мнений на эту тему, локальные перемирия бывали им просто необходимы... Но, разумеется, все подобные секретные соглашения являлись сугубо временными. Тактические манёвры. Не более.

— И какое у вас о них впечатление? Что они собой представляют?

Тут он задумываться не стал.

— По-моему, гетайры чем-то похожи на нашу Белую армию. У них такой же состав и такие же цели. Только вот положение у них посложнее...

— А если мы им сейчас предложим совместную операцию — они рискнут?

Собеседник внимательно посмотрел на меня и замялся. Я его хорошо понимал. Момент был сложный. Даже если исключить возможность провокации, для ответа на мой вопрос надо было сначала просто понять — что я имею в виду. Говорить прямо я не мог — не имел формального права; я уже и так превысил свои полномочия. А с другой стороны — ну о чём тут особенно гадать?... Я молча ждал.

— Рискнут, — сказал прапорщик Дыбовский.

Я очень торопил мотоциклиста, и всё равно в Сплит мы въехали только глубокой ночью.

Ехать слишком быстро было нельзя — в наступившей темноте мы могли запросто соскользнуть по размытому краю дороги, и тогда пришлось бы в лучшем случае тратить время на то, чтобы втащить машину обратно на трассу. А в худшем — мы бы просто полетели в пропасть. Правда, глубоких пропастей здесь нет; но какая, скажите, разница — падать вместе с мотоциклом с километровой горы или с сорокаметрового откоса?

Но время, время...

Если утром я не спешил, то сейчас случилось какое-то переключение: мне хотелось лететь к очередной цели как на крыльях. В мыслях я ругательски ругал себя за то, что так сильно медлил...

Все проведённые мной за остаток этого дня «консультации» — с капитаном Балицким, с майором Ведерниковым, с подполковником Крафтом — в целом только подтвердили уже сказанное Дыбовским. Да, Бригада была боеспособна. Оставшиеся эмигранты поддерживали её организационную структуру, как свою последнюю надежду, и убить Бригаду можно было только вместе со всеми ними. Даже сейчас, когда они, вместо того чтобы освобождать родину, в течение четырёх лет вынужденно теряли людей и убивали людей в абсолютно бессмысленной резне... Закваска была крепкой.

Помимо Бригады, в здешних краях действовали ещё три реальные силы: имперцы, хорваты и гетайры. С империями всё было ясно. На хорватов стоило рассчитывать «в принципе», но очень многие их подразделения успели так замазаться в гражданских разборках, что использовать их для чего-то ещё было просто нельзя. Этот их президент Везич — сумасшедший тип; он поставил перед своей армией задачу: уничтожить сербскую часть населения Далмации. Не меньше. Что говорить, если на его жестокость жаловались даже некоторые гвардейские эмиссары. И что говорить о гетайрах, которые видят, как уничтожают их единоверцев, и пытаются бороться...

Да... С гетайрами всё было и сложнее, и проще. Сложнее — потому что их отношения с Корпусом в течение этих четырёх лет развивались, мягко говоря, неоднозначно. А проще — потому что гетайры и эмигранты во всех смыслах прекрасно понимали друг друга. Причём независимо от того, воевали они в данный момент или соблюдали очередное перемирие. Прошлогодний ультиматум генерала Бонавентуры был отвергнут генералом Лорером только потому, что его официальное принятие повлекло бы со стороны шведов немедленные репрессии; но враждебные действия Бригады против гетайров с тех пор практически прекратились. Во всяком случае, наша теперешняя задача — выставить объединённый заслон на пути врага с Востока — наверняка найдёт у руководства гетайров полную поддержку. Им ведь тоже некуда отступить, в точности как нам. Надо только провести с ними встречу, чтобы расставить все точки над «i»; и майор Ведерников брался такую встречу организовать. Вспомнив об этом, я подумал, что истратил время всё-таки не совсем напрасно...

И — последнее. По порядку, но не по степени важности. Всего в тридцати километрах к северу отсюда, оказывается, располагалась штаб-квартира кавалерийского соединения под командой генерал-майора Туркула. Вот при этом известии я ахнул.

Антон Васильевич Туркул. Обычный клерк из какой-то провинциальной конторы, ушедший добровольцем на ту войну, которую на моей родине до сих пор запрещено называть Гражданской. Участник фантастического «марша в никуда» от Вологды к Белому морю — там он и получил первое офицерское звание. А через четыре весьма насыщенных года, дослужившись до генерала, он принял командование легендарной Дроздовской дивизией. После эвакуации дивизии вместе со всей Северной армией в Шотландию Туркул остался в строю, пытаясь продолжать борьбу из-за границы всеми доступными методами. До сих пор, правда, почти безрезультатно...

Старые эмигранты, почти все как один, не любили Туркула, считая его недалёким человеком и авантюристом. Видимо, они были правы.

Я вдруг понял с ослепительной ясностью: вот именно такие люди, как он, нам и нужны. Ох, как они нужны. И как их не хватает.

Разумеется, только идиот способен плюнуть на всяческую логику и поставить перед собой заведомо невыполнимую задачу. Например, совершить с группой в пятьсот человек тысячекилометровый пеший переход через территорию, занятую противником, при этом не имея впереди вообще никакой конкретной цели. Полагаясь только на везение. Невыполнимая задача, ведь правда?...

Моё желание встретиться с Антоном Васильевичем было настолько жгучим, что я в какой-то момент просто с трудом усидел на стуле.

Всё-таки возникло несколько соображений, которые меня удержали. Во-первых, ехать было физически не на чем. Воспользоваться мотоциклом я не мог — его дали мне только на сегодняшний день: к тому же имеющиеся отметки в документах не позволяли мне слишком удаляться от Сплита, иначе я рисковал быть арестованным как дезертир. Во-вторых, к

Туркулу могли уже послать кого-то другого — по крайней мере, я изо всех сил на это надеялся. Ну и в-третьих — а что я, собственно, ему скажу? Ведь никаких полномочий для разговора с ним у меня не было. Выданное мне письмо Молчанова было адресовано персонально Линдбергу, вот ведь в чём дело. Чёрт поberi...

Но главное — я должен вернуться, чтобы доложить майору Беляеву обстановку в зоне «Паннония». Я помнил, что основная часть моего задания состоит в этом. И вот тут уже совсем никуда не деться.

Больше всего я опасался, что моё решение отложить поездку к Туркулу кто-нибудь истолкует неправильно. Будто мной двигало рассудочное соображение, что один белогвардейский генерал с отрядом в несколько тысяч сабель ничего не сделает против надвигающейся с востока десятиmillionной сверхсовременной армии.

Ну не думал я так. И если, даст Бог, я всё-таки вернусь в эти края и успею присоединиться к Бригаде либо к туркуловскому отряду — и секунды раздумывать не стану.

Думать сейчас вредно. Может, главная беда моей страны в нынешнем веке как раз в том и была, что в ней развелось слишком много умников...

Ладно. Не будем. Чего я не люблю — так это апокалиптических обобщений. Интеллектуалы раньше любили поболтать о предчувствии конца света. Некоторые, особо одарённые, даже писали на эту тему кое-что. Зря. К чему писать о понятных и неинтересных вещах? Конец света случился в мае тридцать четвёртого года, когда прежний европейский мир — мир стабильных монархий, открытых границ и нарядных армий, годных в основном для парадов, — этот мир рухнул. И продолжает рушиться каждый день, если не каждую минуту.

До сих пор.

Мы вырулили с горного серпантина на прямую дорогу к городу, которая шла по приморскому карнизу. У меня над головой в тёмно-синем небе чётко рисовались экзотические силуэты сосен, над которыми повис узенький бледно-жёлтый завиток луны. Это было справа, а слева было море — просто море, бескрайнее и глухое, как вата, расстелившееся тёмной проблёскивающей гладью, — и там, вдали, что-то светилось. Я присмотрелся: это было не отражение звезды, как я сначала подумал, а огни парохода. Да, он шёл с непогашенными огнями. Чудо из чудес. Неужели нейтрал? Но как его, интересно, сюда занесло?...

Вот и город. Мы проехали по широкой тёмной улице, тянувшейся среди садов, и у первого перекрёстка притормозили.

— Куда вас теперь? — спросил мотоциклист.

— Давай на вокзал, — сказал я. Бронепоезд должен был уйти не раньше трёх часов утра — я пока имел все шансы вернуться с ним обратно. Иначе гарантированы проблемы.

Проблемы... Заспанный унтер-офицер в вокзальной конторе сначала вообще не хотел отвечать на мои вопросы, а потом, после некоторого нажима, сообщил, что «Фафнир» не стоит ни на каком пути, потому что уже ушёл. Час назад.

Я даже не успел выругаться, а ноги уже сами несли меня обратно, на привокзальную площадь, на стоянку машин. Зачем? Искать моего мотоциклиста. Чёрт меня дёрнул раньше времени его отпустить. Хорошо бы он ещё не уехал...

Он не уехал. Он припарковал мотоцикл под самым фонарем и теперь не торопясь копался в моторе, что-то прочищая. На меня он взглянул чуть удивлённо, но и только.

Я извинился и попросил его оказать мне последнюю услугу: отвезти меня в то же место,

откуда он днём меня забрал.

— Хорошо, — сказал мотоциклист. — Вы очень торопитесь?

Я покачал головой. Я, конечно, торопился, но мне не хотелось вновь подгонять потратившего на меня весь день человека. И даже не то что было совестно, а просто — незачем.

Что теперь могли решить какие-то пять минут...

...Автостанция, на которой мы затормозили, была почти пуста. Только у самого въезда на неё небрежно приткнулся чёрный «сателлит», около которого дымил папиросой какой-то штаб-офицер. Я отсалютовал ему с трёх шагов.

— Поручик Рославлев? — спросил офицер внезапно.

Мою фамилию он выговорил хотя и с натугой, но правильно поставив ударение, — помнится, именно это меня тогда удивило больше всего.

Я подошёл и представился, одновременно стараясь разглядеть собеседника. Темнота, вероятно, скрывала мелкие черты, но общий образ складывался вполне: подполковник, лет тридцати пяти, с плохо запоминающимся, но чётким и оформившимся лицом... характерный облик — не солдафон, а скорее военный интеллигент — в Империи, где армия никогда не была прибежищем бездарностей, такие не редкость... на груди, тем не менее, знак за Зимнюю кампанию... о, даже за две Зимние кампании!.. и нашивки за ранения... такое не подделаешь: это не информатор ГТП и не тыловая крыса, а боевой офицер, вполне, по-видимому, приличный парень... но чего же он, интересно, от меня хочет?...

— Не удивляйтесь, пожалуйста, — сказал подполковник. — Я сегодня имел беседу с его превосходительством фельдмаршалом, и он назвал мне ваше имя. А моё имя — Виктор фон Браге. Сотрудник штаба группы армий, ныне ликвидированного.

— И чем же я могу вам помочь?

Браге позволил себе улыбнуться.

— Помочь, кажется, могу я вам. Дело в том, что я выезжаю на север — в штаб-квартиру Реншельда. Везу доклад и ожидаю нового назначения. — Показалось мне в темноте или действительно на последних словах промелькнула ироническая усмешка? — Я отправляюсь не позже чем через полчаса. Предлагаю вам поехать вместе.

Я помедлил, прежде чем ответить. Надо же: я приехал на станцию, чтобы искать попутную машину, и — вот, пожалуйста. Не бывает. Слишком повезло. Ох, странный оттенок у такого везения, странный душок... Это был вывод, основанный на чистой интуиции, — но я был уверен, что не ошибся. Не так тут всё просто. Прошлогодней авантюрой с военным переворотом тут отдавало, планом «Молния»... Отсиделся фельдмаршал Линдберг, проконсул Балкан, у себя на периферии — вот и не попал под расследование. И очень похоже, что не он один так отсиделся... А, собственно, чего уж теперь-то бояться: если даже и заговорщики, всё равно — так только интереснее...

Я ещё чуть-чуть подумал — и кивнул.

...Итак, ровно через сутки после моего прибытия в Сплит штабной «сателлит» миновал на выезде из этого города последнюю заставу, полным ходом унося меня обратно на север.

Именно сейчас дала себя знать усталость. Ведь все эти сутки я провёл на ногах.

Подполковник фон Браге пока не обращал на меня особого внимания, и я решил, что ничего плохого не случится, если я позволю себе расслабиться. Может быть, даже заснуть.

Чёрта с два — заснуть. Мысли вертелись в голове ураганом, и разветвлялись, и порождали новые мысли; и было совершенно непонятно, что со всей этой оравой мыслей делать...

Сейчас главное — это вернуться, напомнил я себе.

За окна я старался не смотреть, чувствуя, что пейзажей с меня хватит. Слишком эта страна красивая. Просто картинка золотого века — если не вспоминать про то, что здесь происходит с людьми.

Если на время забыть об этом.

Вдоль дороги тянулись телеграфные столбы. Интересно, не на этих ли самых столбах украинцы из вспомогательных гвардейских частей генерала Шютте прошлой зимой вешали заложников?...

А ещё интересно: как ко всем этим делам относится мой нынешний спутник? Ведь если он находился здесь, то не быть в курсе просто не мог.

Занятная штука — психология имперских офицеров... Впрочем, вся их страна — занятная. Там человеческая жизнь, как весь мир, подчинена сетке законов. Причём жители страны в это реально верят. И именно их вера даёт законам настоящую силу. Там ещё пару веков назад простой крестьянин мог подать в суд на короля и выиграть дело. Я не поверил, когда прочитал такое в книге, но, увидев этот народ воочию, — поверил. Так могло быть. Это логично.

Как логично и то, что за эту правильность, за эту подчинённость законам приходилось время от времени платить прорывами чудовищного, невиданного на нашем континенте варварства.

Всё на свете имеет обратную сторону. Воля равновесия.

Почему? Почему нельзя просто творить добро — без оглядки на тех, кому ты этим сделаешь хуже? Почему нельзя просто испытывать любовь — без примеси ненависти?...

Потому что таковы законы мира. Мира, в котором невозможно правое без левого и свет без тени.

Будь проклят тот, кто сотворил такие законы.

Что ж, воля твоя...

Даже бунтуя против богов, ты всё равно тем самым служишь им. Вот в чём дело. Вот почему Им наплевать — бунтуешь ты или нет.

И вот почему Третья Империя — обречена.

Эти их улюблённые вожди — они ведь действительно титаны. Точнее — отражения титанов в осколке зеркала...

Кажется, я сейчас впервые осознал, насколько всё-таки безнадежно дело проклятых адептов Империи. Каждый удар молота, которым они пытаются разрушить старый мир, одновременно служит постройке мира нового — в котором будут править не они, а их противники, смотрящие на вещи зеркально иначе. Служащие Богам сознательно. Империя послужит им



инструментом и будет отброшена. От неё не останется даже пепла.

Впрочем, пепел-то на её месте как раз останется...

Раздумывая обо всём этом, я упустил из виду, что фон Браге перестал притворяться рассеянным и уже некоторое время за мной наблюдает. Неужели пытается угадать, о чём я думаю? Ну-ну... Я постарался ответить ему прямым взглядом.

— Скучно? — спросил он.

Я кивнул, сам не поняв, что имею в виду.

— Очень скучно. Скорей бы доехать хоть куда-нибудь...

— Ну, это я вам могу гарантировать, — он усмехнулся. — Доедете.

— И вам того же желаю, — сказал я.

Наступила пауза. Нам явно было что сказать друг другу, но мы оба не решались начать первыми — боясь, видимо, загрузить собеседника тем, что ему не нужно. Или вредно. Бывает ведь вредная для здоровья информация, а вы как думали...

— Вы читали письмо, которое я привёз фельдмаршалу? — спросил я в упор. Такая постановка вопроса заключала в себе некоторый риск, но риск оправданный. Ведь Браге сослался на фельдмаршала, когда заговаривал со мной. Эта ссылка не могла быть сделана по обязанности. Фельдмаршал теперь в отставке, следовательно, он — лицо неофициальное; и если о нём продолжают говорить как о начальнике, то это уж никак не случайность...

— Читал. Сказать честно — вы опоздали. В этих краях положиться уже практически не на кого. Ваш единственный шанс теперь...

— Знаю, — прервал его я. И добавил: — Интересно, в чём теперь ваш единственный шанс...

Он неожиданно открыто улыбнулся. И кивнул:

— Нам это тоже интересно...

«Сателлит» нёсся на север ровно, со скоростью примерно семьдесят километров в час. Дорога была практически пустая, так что опасаться столкновений с другими машинами не приходилось.

Скоро уже доедем.

— Странно, — сказал я. — Очень многое хочется спросить...

— Спрашивайте, — сказал Браге.

— Очень многое хочется спросить — но вопросы не формируются. С одной стороны, всё так запутано — непонятно, что и спрашивать... а с другой — карты открыты. И тоже непонятно, что спрашивать. Похоже, что никакой важной информации, которой мы могли бы обменяться, просто не осталось... — Я усмехнулся.

Он тоже усмехнулся — как-то виновато.

— Чёрт знает, за что мы всё ещё воюем... — Он подумал. — Вот за что, например, воюете вы?

Я даже вздрогнул. Этот собеседник умел держать удар. Сразу и прямо задать тот единственный вопрос, на который никто из нас толком не знает ответа...

Шведы, да и не только они, вообще довольно часто задавали вопросы типа: почему мы изменили? Ну как объяснить — почему? Меня ещё не было на свете, когда после московских волнений царь Алексей Павлович, власть которого к тому времени была почти номинальной, отрёкся от престола, и в Ярославле был созван чрезвычайный сейм, провозгласивший Российскую республику. И на первых же выборах в этой республике — на свободных выборах! — победила партия «друзей народа». И всё, с тех пор она у власти. Я при этой власти родился. Помню, в детстве я долго не мог понять: как это человек может взять и поехать из одной страны в другую? Разве можно по своему желанию пересечь границу? Граница, закрытая наглухо, на которой беглецов убивают. Социалистическая философия, возведённая в ранг религии — самой настоящей религии Древнего Востока, с грандиозными каменными и металлическими идолами. Мудрецы много веков ломали головы: можно ли воплотить платоновский «город Солнца»? Да, можно. Но он может существовать только в своей особой реальности, которая не должна смешиваться с остальным миром — так же как масло не смешивается с водой. «Сделаем добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Если нельзя построить государство абсолютной правды — построим для начала государство абсолютной лжи. Очень остроумное решение. Оказалось, что, захватив монополию на

всю информацию, можно управлять сознанием людей как угодно. Можно, например, заставить их убивать друг друга — всех подряд или выборочно, по заранее составленной программе. Можно заставить их друг друга мучить, и не просто мучить, а получать от этого процесса удовольствие. Чтобы сохранить за собой все эти возможности, государство контролирует каждое высказывание и каждую написанную строчку так, как это не снилось не только испанской инквизиции, но даже мэтру Кальвину. И — никаких точек опоры. Ты не то что не знаешь иных мнений, а не можешь даже предположить, что они возможны. Тебе просто не дают это узнать. И в результате — вырастают сто миллионов людей с необратимо искалеченным рассудком...

Концлагерь размером в половину Евразии. Евроазиатский Союз.

И пятиконечная звезда на гербе — символ всех пяти частей света. Обозначение перспективы, так сказать.

Всё это удалось построить за какие-то двадцать лет. И теперь разрушить ЕАС изнутри уже невозможно. Наверное, надо немало пережить и узнать, чтобы принять для себя такую вот вроде бы простенькую идею: есть на свете вещи, которые делаются только грубой силой...

— ...Скажу вам так. Я не знаю,

за что я воюю, — но зато очень хорошо знаю,

против чего. И я знаю много людей, которым здесь гораздо легче сдохнуть, чем примириться. Если вас интересуют подробности, то как-нибудь после войны я их вам с удовольствием расскажу. В цветах и красках. А сейчас, с вашего позволения, меня интересуют всё-таки более практические вещи...

Браге ничего не сказал, но всем видом показал, что слушает.

— Какие у нас шансы на Юге?

Тут он ответил не сразу.

— С вашим проектом плана я знаком. Вам помогут... чем могут. Хотя возможностей у нас

теперь совсем мало...

Я не стал спрашивать, у кого это — «у нас».

— Дело в том, — продолжал Браге, — что построить единый фронт всё равно невозможно. Так что, собственно... Наша часть плана в основном сводится к аккуратной сдаче. Прекратить оборону рубежей... кроме тех случаев, когда это тактически необходимо. Объявлять города открытыми, не допуская их превращения в «крепости» согласно приказам этого идиота...

Он не назвал «идиота» по имени, но я был уверен, что это замечание он допустил намеренно: чтобы промаркировать уровень разговора. Он предлагал максимальную, не зависящую ни от каких формальных условий откровенность. И призывал меня к тому же.

Откровенность... За откровенность — спасибо. Значит, нам сочувствуют, но на военную помощь нам рассчитывать нечего.

— ...А ваша часть плана... Если вы хотите обороняться — то, вероятно, вам действительно следует заключать союз с Бонавентурой и уходить в горы. Лучше поздно, чем никогда. Мы не будем мешать, а чем сможем — поможем.

— Господин подполковник, — сказал я. — Когда мы приедем на место — вы берётесь побеседовать на ту же самую тему не со мной, а с моим командованием?

— Вы считаете, что это имеет смысл?

Практического — никакого, согласился я мысленно. Когда же вы наконец поймёте...

— Да. Я считаю, что имеет.

Он ничего больше не спросил, а я не стал торопить его. В конце концов, он ведь сам пошёл на контакт. До финиша у нас ещё будет время, чтобы обо всём договориться.

Когда надо — я умею быть очень настойчивым.

Вот ведь как интересно. Похоже, что моя беседа с фельдмаршалом всё-таки не прошла даром. Хотя сразу он мне этого и не показал, но... Так что тут мне, пожалуй, можно поставить пятёрку. Другое дело, что в имеющей место ситуации наши действия — любые действия — сами по себе бесполезны...

Ладно. Будем считать, что последнее неважно.

Почему-то именно после этого вывода я наконец смог расслабиться. Чего, в самом деле, волноваться. Съездил. Задание выполнил. Теперь вот возвращаюсь — причём с комфортом, что особо приятно...

Я даже заснул.

— Подъезжаем...

Браге сказал это тихо, как бы про себя, — но я проснулся сразу. Хотя вообще-то я сплю отнюдь не чутко.

Я огляделся и встряхнул головой, пытаюсь окончательно понять, где я нахожусь. Потом надел фуражку.

Да, мы подъезжали. Гор больше не было — только холмы на горизонте. И вообще, эти места

я уже узнавал.

По мере нашего продвижения к северу погода начала портиться. Сейчас небо опять было почти всё затянуто белой пеленой, и шёл мелкий дождик.

Кроме того, здесь было довольно холодно. А если ещё учесть, что три последние ночи я провёл почти без сна, — неудивительно, что чашка горячего кофе встала перед моими глазами, как вожденное видение.

Ничего, подбодрил я себя. Скоро доберёмся и до кофе.

Мы уже были на окраине города. Вот замелькали первые двухэтажные дома. Вот знакомый железнодорожный мост, под которым мы сейчас проедем. Вот остаток крепостной стены с двумя маленькими сторожевыми башенками... Потом мы свернули на боковую улицу, соединявшую Старый город с лабиринтом здешних жилых кварталов, — и сразу за этим поворотом нас перехватили. От припаркованного к тротуару легкового «бофорса» отделился человек и сделал жест рукой: к обочине.

Мы затормозили. Браге сразу щёлкнул замком дверцы и вышел из машины прямо под дождь, а за ним, слегка помедлив, вышел я. С надеждой на то, что событие меня не затронет, следовало распрощаться. Стоявший на мостовой человек поприветствовал нас салютом — нам пришлось ответить. Кажется, это сбило заготовленную у Браге реплику, и человек заговорил первым.

— Извините, господин подполковник. В наши планы не входило вас беспокоить. Господин поручик, — он повернулся ко мне, — хочу попросить вас проехать со мной. Это недалеко и ненадолго.

— Кто вы? — спросил я, вдруг почувствовав очень противную сухость во рту.

— Моя фамилия Кроль. Франц Кроль.

Он чуть-чуть кивнул, обозначая поклон. Молодой человек, примерно мой ровесник, в тёмном пальто и чёрной с опущенными полями шляпе. Он всё время говорил очень вежливо, и уголки его губ были растянуты в лёгкую, едва намеченную улыбку.

Мотор «бофорса» работал, а на его номере рядом с цифрами виднелся знак: сдвоенные молнии. Две объединённые солнечные руны — эмблема Гвардии.

Кроль спокойно разглядывал нас.

— Вы не волнуйтесь так, — посоветовал он. — Вы отнюдь не арестованы.

— Объясните, в чём дело, — подал наконец голос Браге.

— Да я и сам не знаю, — сказал Кроль. — Знаю только, что это срочно... Так что не будем терять время.

Он распахнул передо мной дверцу автомобиля.

Я покосился на Браге — Кроль явно перехватил мой взгляд, и я разозлился на себя. Что подполковник может сделать? Что мы все можем сделать? Потребовать у Кроля документы? Ну, покажет он мне своё удостоверение — и что дальше? Можно подумать, мы приняли его за другого. За бандита, прикидывающегося полицейским. Ах, как это было бы здорово, если бы он оказался всего-навсего бандитом... Не глядя больше по сторонам, я влез в салон «бофорса». Кроме меня, здесь был ещё только водитель. Неужели они настолько нас не боятся? Мы ведь тоже вооружены...

Кроль захлопнул за мной дверцу, обошёл машину и сел впереди.

«Бофорс» тронулся.

5

В первую минуту мне ещё казалось, что это сон. По крайней мере, ощущение нереальности было очень отчётливым. Мир вокруг как бы развалился на составные части: дождь, дома, цветные дорожные знаки, булыжники мостовой, два офицера в чёрном автомобиле... неужели и вправду один из этих офицеров — я? Не может быть...

Ещё как может.

Слава Богу, мы не петляли, а ехали максимально прямо. Узкие улицы сменились широкими, один поворот, другой... ну, а потом показалась и наша цель: знаменитый на всю провинцию жёлтый трёхэтажный дом. Штаб-квартира Государственной тайной полиции.

Я с самого начала не сомневался, что мы едем именно сюда, — и всё равно сейчас у меня внутри что-то оборвалось. Как всё-таки странно устроен человек...

Вышедший из зелёной будки солдат без видимой спешки, но быстро развёл створки ворот, открыв «бофорсу» въезд во двор. Впрочем, забор здесь был отнюдь не глухим, и я уже видел, что во дворе нет ничего особенного — стоят ещё две легковые машины, и всё.

Мы остановились у основного входа. Кроль первым вышел из машины и, поскольку я слегка замешкался, ещё раз продемонстрировал свою вежливость, открыв мне дверцу. Внутрь здания, однако, он меня первым не впустил, а прошёл сначала сам, небрежно отсалютовав стоящему в вестибюле часовому. В отличие от солдата у ворот, этот часовой был с автоматом. Гвардейская логика удивляла меня всё больше.

Мы прошли через вестибюль к лестнице и стали подниматься. Душная площадка второго этажа. Поворот. Довольно широкий коридор с рядом одинаковых дверей. Кроль открыл одну из этих дверей, пошарил по стене, зажигая свет, и сделал приглашающий жест. Я шагнул в комнату.

— Прошу вас подождать, — сказал Кроль, мягко затворяя дверь снаружи.

Ключ в замке не повернулся.

Это была не камера, а просто комната. Правда, почти пустая. Убогий конторский стол, пара стульев, скамейка у стены. Я сел на эту скамейку. Положил ногу на ногу. Задумался...

Вот этого-то как раз делать не следовало.

После четырёх лет войны я искренне считал, что, при всех оговорках, мой жизненный опыт за это время всё-таки несколько обогатился. Классическую солдатскую муштру я прошёл. Под огнём побывал. В плен сдавался. В лагере — успел посидеть. Ну и кроме лагеря — были ещё всякие эпизоды, многообразные и содержательные... Так или иначе, после всего этого у меня появился целый ряд предрассудков. Например, я стал считать, что меня теперь нельзя удивить. То есть можно — но трудно.

И примерно то же самое случилось с некоторыми другими вещами. Со стыдом, например. Как бы тут объяснить... В общем, бывает такое: однажды ты пересекаешь некий барьер, после чего тебе становится всё равно. Просто — всё равно. Потому что более стыдно уже не будет.

И наконец, со страхом. Глупо бояться обычной пули человеку, который у себя на родине давно приговорен к расстрелу? И глупо бояться удара по лицу человеку, который... ну, это лучше не уточнять. Может ли?... Вот поэтому у меня, казалось, были основания считать, что очень многих вещей на этом свете я теперь действительно не боюсь.

Чёрта с два — не боюсь.

Пытаться отогнать ненужные мысли совершенно бесполезно — как в истории о паломнике, который дал себе слово не думать про ослиный хвост. Всё, что мне в разное время доводилось узнать о работе ГТП, упорно лезло в сознание. Факты, слухи, домыслы...

С одной стороны, картина в целом получалась не такая уж и пугающая. За время войны ГТП по разным причинам арестовывало многих моих соотечественников. Довольно значительная часть их была потом за отсутствием улик освобождена, и ничего особенно плохого с ними в тюрьме не случилось.

Некоторые были не освобождены, а отправлены в концлагеря.

А о некоторых мы просто больше ничего не слышали.

Итак, с другой стороны... С другой стороны — некоторые вещи, причём рассказанные людьми, которым следовало верить, были по-настоящему страшны. Пострашнее всего, что я читал, скажем, об инквизиции.

Хорошо ещё, что я размышлял сидя. Дрожь в коленях обозначилась очень отчётливо, и все мои попытки расслабиться ни к чему не приводили.

Да что там — меня даже затошнило от страха.

Я взглянул на часы. Главная беда была в том, что я не знал даже приблизительно, когда вернётся Кроль. К началу разговора надо хоть как-то привести себя в форму...

Я откинулся на спинку скамьи и принялся старательно вызывать в памяти самые жуткие истории о гвардейцах. Это было нетрудно. Я чувствовал, что страх захлёстывает меня, поднимаясь к горлу, — и покорялся ему. Не знаю, как эти ощущения описать, — но, в общем, ни под каким обстрелом мне никогда не было так страшно.

Страшнее уже не будет.

Вот, собственно, и всё. Судя по стилю действий Кроля, гвардейцы сразу поставили себе задачу оказать на меня лёгкое психологическое давление. Пожалуйста. Сколько угодно. Всё равно я так напуган, что страшнее уже не будет.

Ну, а что там дальше — посмотрим...

Я ещё раз взглянул на часы. Теперь чем скорее за мной придут — тем лучше.

Видимо, моя молитва была услышана. По крайней мере, уже через две минуты дверь открылась, и Кроль заглянул в комнату. Теперь он был не в пальто, а в чёрном мундире.

— Пойдёмте, — сказал он. — Нас ждут.

Нас ждали в полутёмном кабинете неподалёку. Окно было, разумеется, занавешено наглухо, а люстра не горела. Хозяин кабинета работал при свете настольной лампы.

Кроль отсалютовал человеку за письменным столом, и я, чуть-чуть помедлив, последовав его примеру. Я ведь ещё не арестован, правда?... Теперь, когда я оказался у конечного пункта, всякое волнение улеглось. Я был спокоен, собран и готов к любому обороту событий.

По крайней мере, мне так казалось.

Человек за письменным столом поднял голову. Кивнул. Кроль повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Мы остались вдвоём.

Некоторое время сохранялось молчание.

— Садитесь, поручик, — сказал человек за столом, кажется, со вздохом.

Стул для собеседника стоял прямо напротив его кресла. Так что теперь я оказался с хозяином кабинета лицом к лицу. Впрочем, то главное, что было в его внешности, я уже заметил. Главным были петлицы. Серебряные трилистники гвардейского генерала.

Ему было, вероятно, лет сорок пять. Правильная, но очень заурядная физиономия: встретишь такого на улице — не узнаешь. По крайней мере, я не узнал бы. Бесцветная личность, клерк в роскошном мундире, каких полным-полно во всевозможных здешних учреждениях...

Через несколько секунд я понял, что такое впечатление сохраняется ровно до тех пор, пока генерал не заговорит.

— Зачем вы ездили в Сплит? — У него был низкий хриплый голос. Резкие интонации человека, привыкшего приказывать. А также задавать короткие вопросы и получать на них чёткие ответы.

— Я ездил в качестве офицера связи. Налаживать взаимодействие с Восточным охранным корпусом. Вы же знаете, что он теперь вошёл в состав нашей армии...

Генерал смотрел на меня со странным выражением, и я сбился. Собственно, он всё время на меня так смотрел. Смесь интереса и брезгливости. Хотя на самом деле это чувствовалось не столько в глазах, сколько в голосе.

— За время пребывания в Сплите вы общались с кем-нибудь из имперских офицеров?

Что и требовалось доказать. На втором ходу — я уже проиграл. Этим единственным вопросом генерал сразу помещал меня в воронку, которая дальше могла только сужаться. Сказать сейчас правду было бы равносильно прямому самоубийству. Но и враньё означало то же самое самоубийство, только отсроченное. Я очень хорошо знал, что при элементарной грамотности допрашивающего любая ложная версия разваливается, как карточный домик, за какие-то минуты.

Я не мог ничего прочесть по глазам собеседника, но не сомневался: он тоже всё понимает.

Я ответил единственно возможным образом.

— Общался. С лейтенантом в вокзальной комендатуре. И с тем подполковником, которого я случайно встретил на автостанции и который взял меня с собой в обратный путь.

Итак, я вошёл в пике. Теперь стоит поставить серию простых проверочных вопросов — и я из него не выйду.

Первый из таких вопросов не замедлил последовать.

— Вы знали подполковника раньше?

— Встречались на Востоке. Не помню, где именно...

Всё. Вляпался, и уже достаточно глубоко. И теперь это личное дело генерала: как скоро он пожелает развернуть данную тему до конца, чтобы получить возможность разделать меня и подвесить на крючья. Хорошо ещё, если только в переносном смысле...

— Возвращаясь к вашим задачам в Сплите. На чём вы туда прибыли?

— На бронепоезде.

Лицо генерала отразило удивление, и я пояснил:

— Бронепоезд «Фафнир». Он катается взад и вперёд по рокаде...

Генерал кивнул: с этим всё ясно.

— Поручик Маевский ездил с вами?

И вот тут я растерялся. Этого вопроса я не ожидал.

— Нет, — сказал я, заставив себя на этом остановиться. Похоже, я всё-таки опоздал, потому что в лице генерала нечто промелькнуло. Он явно отслеживал всё моё поведение — мои попытки самоконтроля, мои непроизвольные реакции, мою интонацию — и именно сейчас что-то важное выяснил.

Хотя, возможно, это лишь мои домыслы. Я никакой не психолог, а гвардейские генералы, как легко догадаться, обычно хорошо владеют лицом.

Но Маевский, Маевский... Что, чёрт побери, им нужно от Маевского? Что они о нём знают?

А главное — если они за мной следили, то почему же они не знают, что Маевский со мной вовсе не ездил?

— Вы понимаете, что я в любой момент могу приказать вас расстрелять? Например, за измену.

Генерал сказал это таким же ворчливым тоном, каким задавал все предыдущие вопросы...

Реплика была риторической, но я очень хорошо понимал её цель. Человек, услышавший вопрос, всегда вынужден так или иначе на него отвечать. Если вопрос заведомо призван действовать на эмоции — значит, при ответе на него человек неизбежно будет обнажать свои собственные эмоциональные реакции. Что и требуется. И неважно — говорит он правду, врёт или вообще молчит. В любом случае допрашивающий получает некоторые данные, которые остаётся только интерпретировать. Его игра — беспроигрышная.

Беседуя со мной, генерал всё время играл в эту игру. Вместо того чтобы тратить время на вытягивание из меня конкретных сведений, он использовал для получения информации именно такой метод — косвенный. Менее точный, зато быстрый и экономичный.

С другой же стороны — ставя вопрос таким образом, генерал заставлял меня ощутить мою от него зависимость, тем самым создавая задел для будущей вербовки. Причём опять —



независимо от моих личных мыслей по этому поводу. Игра шла на уровне подсознания.

Профессионализм собеседника меня восхищал.

Однако сейчас опять надо было что-то отвечать. Молчание в таких случаях — всего лишь вариант ответа, причём далеко не лучший.

— Понимаю, — сказал я покорно.

— Хорошо, что понимаете. — сказал генерал уже другим тоном. Словно внезапно потеряв ко мне интерес. — Вы мне помогли. Спасибо. Не исключено, что мы ещё встретимся.

С этими словами он нажал кнопку у себя на столе. Никакого звонка я не услышал, но в дверях через мгновение появился Кроль.

— Франц, мы закончили. Проводи поручика к выходу.

Только оказавшись на улице и отойдя от проклятого здания достаточно далеко, я нашёл силы, чтобы воссоздать в памяти случившееся и сказать себе, что всё это — правда.

Надо теперь разбираться с этой правдой.

Итак, что же со мной, собственно говоря, произошло?

Хороший вопрос. Сейчас мы на него будем отвечать...

Я полез было за сигаретами, но передумал. Сейчас гораздо больше хотелось пару раз вдохнуть полной грудью. Холодный влажный ветер... Нет, полной грудью — не получается. Сердце опять сбоят.

Чёрт с ним.

Вдруг сильно закружилась голова — я непроизвольно схватился за случившийся поблизости уличный фонарь. Так стоять не годится. Несовместно. Вот, кажется, подходящие ступеньки...

Сев на ступеньку, я всё-таки закурил. Сделал затяжку, другую. Сказал себе, что не тороплюсь. Торопиться вообще никогда не надо.

Проходивший мимо пожилой господин посмотрел на меня, кажется, с удивлением. Шли бы вы, уважаемый господин, к дьяволу. Для вас же будет лучше, если вы меня не заметите...

Конечно, на самом деле мне полагалось спешить с отчётом к Беляеву — но именно сейчас этому придётся немного подождать. Разобраться в случившемся было важнее.

Итак. Если прокрутить в памяти мой разговор с гвардейским генералом — прежде всего бросается в глаза, что он был на удивление пустым. Несколько простых вопросов, на которые генерал даже не добивался подробных ответов. Ну, ещё угроза в конце.

Вывод? Генералу была нужна от меня не столько новая информация, сколько материал для проверки каких-то уже сложившихся у него конкретных предположений.

В таком контексте упоминание имени поручика Маевского выглядело не просто угрожающе — а смертоносно.

Хорошо. Допустим самое худшее: Маевский — сотрудник разведки противника, и работники ГТП об этом знают. Тогда поведение генерала выглядит более чем странно.

Налицо вражеский агент. Вражеского агента надо либо немедленно и внезапно хватать, чтобы потом под давлением вытягивать из него разные полезные сведения, либо — в общем случае — оставлять на свободе, но под наблюдением, создавая перспективу игры. А вот вызвать на беседу друга этого самого

выявленного шпиона и не задать ему ни одного серьёзного вопроса — зато назвать имя ключевого фигуранта, причём это вообще единственное имя, прозвучавшее за весь допрос... В любом из возможных сценариев подобные действия выглядят абсолютным идиотизмом. Находящийся в здравом уме контрразведчик на такое просто не способен.

Значит, что-то из моих исходных посылок неверно.

Что, если генерал вовсе не стремится ликвидировать разведывательную сеть разведки, а наоборот — налаживает контакты с ней? Такое предположение выглядит дико, но я ведь уже привык ничему не удивляться, правда?...

В том, что настоящие начальники Маевского способны в своих интересах пойти на сделку с кем угодно, в том числе и с гвардейскими главарями, — в этом я не сомневался ни секунды. Другое дело — есть ли тем что предложить?

Во всяком случае, если на минуту принять мою бредовую теорию, то сегодняшние действия генерала начинают выглядеть отчасти логично. Он не прихлопнул мухобойкой притаившегося в центре сети паука, а аккуратно дёрнул за паутинку, чтобы подать ему некий сигнал.

Интересно, кем же он при этом считал меня?...

Не увлекайся, сказал я себе. Вариантов может быть много. Он мог действительно считать меня членом той же сети. Мог считать сторонним человеком и использовать именно в этом качестве, как тестовый объект для проверки каких-то своих гипотез. Что он мог ещё?...

Но ведь при всём этом надо учитывать, что тема, связанная с Маевским, — не единственная. Был ещё вопрос о моих контактах с армейскими офицерами. Интересы гвардейцев и армейцев за двенадцать лет существования Империи никогда не пересекались, а были скорее противоположны — это я знаю точно; в отличие от гвардейцев, армейцы никогда не пойдут на контакт со спецслужбами ЕАС — этого я знать не могу, но уверен в этом совершенно. А на что они пойдут? Что у них за организация? Ведь какая-то военная конспиративная структура после прошлогоднего погрома всё-таки сохранилась — в этом я тоже уверен. Но генерал, разумеется, знает это лучше меня. И, сопоставив факты, он вполне способен прийти к выводу, что наше движение ищет тайных связей с военными. Вывод, скорее всего, неверный, но обоснованный, вот в чём дело! Мы же помним, например, что генерал Спарре — тот самый, который принёс на совещание к главному знаменитый портфель с бомбой, — считался в Имперском генеральном штабе нашим главным покровителем...

Сформулируем проблему иначе. Сколько здесь единиц анализа? Гвардия с ГТП. Высшие армейские круги. Разведка Евразийского Союза. Всё? Конечно нет; но даже этих трёх — достаточно. Все эти объекты обладают своими интересами, которые могут всячески пересекаться и взаимодействовать. А могут и не взаимодействовать. И остаётся пустячок — выяснить, какое же место в этом сплетении интересов занимаем мы...

Бесполезно, понял я. Это совершенно бесполезно. Никакого интеллекта не хватит, чтобы абстрактно просчитать

все вытекающие из подобной схемы возможности. За такие задачи надо браться профессионально — или не браться вообще.

Но что же тогда остаётся бедным дилетантам?

Ответ банален до отвращения. Делай, что должен, и пусть будет, что будет...

И остаётся только понять — что же именно я должен.

А это, как всегда, и есть самое сложное.

— Алло, — сказал мне в ухо голос Ольги, и я повесил трубку телефона-автомата на рычаг.

Телефоны-автоматы в этом городе ещё работали, несмотря на осадное положение. Очень кстати. Теперь я, по крайней мере, знаю, что с Ольгой всё в порядке. А большего мне, наверное, и не требуется.

Пойти к ней я сейчас не мог: уже не говоря о том, что на это не было времени, существовали ещё элементарные правила безопасности. Конечно, если ГТП разрабатывает нас с Маевским, то Ольга уже засвечена давно и многократно; но всё равно ни к чему светить её ещё раз. Наблюдения за мной сейчас вроде бы нет, но ведь неизвестно — когда оно появится.

Разговаривать с ней я не мог тоже. Во-первых, я вообще не люблю разговоров по телефону. Во-вторых, мне не хотелось давать о себе знать именно сейчас, когда мои дальнейшие планы ещё совершенно не определились. Вдруг мне вновь придётся уехать?... А сообщать сам факт, что я вернулся, — да не так уж ей это, наверное, интересно...

И кроме того, я просто-напросто не знал, что хочу сказать.

Плохо это — когда не знаешь, что хочешь сказать. Это уводит в дурную бесконечность.

Ну, ничего. Я ещё подумаю об этом. Чуть позже.

Когда — позже? — спросил кто-то очень ехидный.

Позже, повторил я упрямо. Позже — но скоро. И обязательно.

Просто в данную минуту у меня есть ещё одно небольшое дело — и оно-то как раз срочное.

Выслушав мой доклад, майор Беляев в первую минуту не сказал ничего. Он даже не пошевелился. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и сосредоточенно размышлял. С опущенным взглядом он был немного похож на бронзового азиатского божка.

— Больше тебя там ни о чём не спрашивали? — спросил он наконец.

— Только об офицерах, — сказал я.

— Ну, тогда я вообще ничего не понимаю, — сказал Беляев.

Мне было стыдно, но в то же время я чувствовал, что моя легенда — прошла. Врать, не краснея, я за последние годы научился. Ещё одно полезное умение из копилки жизненной практики...

Я с самого начала понимал, что, обнаружив в непосредственной близости к секретному штабу действующего вражеского агента, Беляев не станет играть ни в какие принятые у контрразведчиков игры — ну, не до игр сейчас... — а примет защитные меры сразу же,

немедленно. Пуля в упор на улице — и пусть потом, кто хочет, думает на ГТП, на чёрта, на дьявола... Я сам на его месте наверняка действовал бы именно так.

Только мне не хотелось этого допускать. Не хотелось — и всё.

Я надеялся, что это не слабость.

— Ну, хорошо, — сказал Беляев, поднимая на меня взгляд.

Я испытал в этот момент огромное облегчение, почувствовав, что самое трудное уже состоялось. Доклад окончен и принят. Врать больше, слава Богу, не надо. Порог позади, дальше можно просто плыть.

— Ну, хорошо. Задание ты выполнил. Привёз ценную информацию. Молодец. Правда, я ещё не знаю, что с этой ценной информацией делать... ну да эта проблема не твоя. Поручик Рославлев, я объявляю вам официальную благодарность. И — следующий вопрос. Что ты хотел бы делать дальше?

— Всё, что понадобится, — сказал я. — Но лучше бы ты меня отправил куда-нибудь. Сам понимаешь...

— Понимаю, — сказал Беляев. — Здесь тебя достать слишком легко; а вот сорвать боевого офицера с передовой — это даже для них не так просто. Так что — да, тебя надо отправлять. Вот только куда?...

Он встал, потянулся и подошёл к окну. И прищурился, увидев в этом окне что-то интересное.

— Смотри, — сказал он, подзывая меня к себе. — Видишь вот этот крытый грузовик? Он уходит на наш опорный пункт в Гелеге. Везёт туда небольшое подкрепление и боеприпасы. Вся проблема в том, что с Гелегой уже несколько суток нет связи. Может, они там в окружении, может, просто держат оборону. А может, там и вообще ничего не происходит — на нашем фронте сейчас, как ни странно, затишье. Поезжай и разберись. Твоя конечная задача — вытащить оттуда оставшихся людей и довести их до точки сбора. Где точка сбора, помнишь? — Я кивнул. — Связь с нами будешь поддерживать по радио, радист с тобой поедет. Если потребуется — примешь командование. Официальные полномочия на это я тебе сейчас выдам. Подожди, пока я схожу в канцелярию штаба за предписанием, а машину я на это время задержу... Всё? — спросил он, глядя на меня очень пристально.

Это было неспроста. Он всё-таки угадал, чисто интуитивно, в моём изложении какую-то фальшь и теперь хотел дать мне последнюю возможность поступить в точном соответствии с долгом. Очистить свою совесть, сказав всю правду.

— Всё, — сказал я.

Дорога...

Я настоял на том, чтобы ехать не в кабине грузовика, а в кузове, предоставив вероятные объяснения с военной полицией ефрейтору-шофёру. Это было не по уставу, но мне очень хотелось отдохнуть. И даже не отдохнуть... Просто вдруг пришло неожиданное, полупознакомое, упоительное ощущение: от меня больше ничего не зависит.

Совсем.

В кузове располагалось обещанное мне «подкрепление»: два унтера и радист. Мне полагалось бы использовать время дороги, чтобы как следует познакомиться с этими тремя

людьми, — но я решил, что успеется. Вот приедем на место, а уж там как-нибудь разберёмся. Не впервой, в конце концов.

Я сидел, упёршись ногами в борт, а спиной — в ребристый ящик с патронами, — и в очередной раз пытался привести в порядок разбросанные мысли. На ухабах меня то и дело подбрасывало, выступы ящика врезались в спину, но почему-то всё это не мешало, а скорее помогало сосредоточиться...

Было очень чёткое ощущение, что я опять что-то сделал не так. Уже совершил какую-то постыдную ошибку, о которой придётся страшно жалеть, — но пока ещё не понял, какую именно.

Когда пойму, будет хуже.

Ну и не будем торопиться.

Мне ещё найдётся, о чем пожалеть. Уж в этом-то я уверен.

Хорошо, что кузов грузовика закрыт брезентом и мне пока не приходится мерить взглядом здешние однообразные поля. Надоело. Ах, как надоело. Скорее бы это всё хоть чем-нибудь кончилось...

Я наклонил голову, делая вид, что засыпаю, — чтобы спутники не видели моих глаз.

Разумеется, я думаю только о себе. Наверное, мне от этого должно быть стыдно.

Не дождётесь.

По-настоящему жаль, пожалуй, только одного: я так и не зашёл в то место, которое однажды назвал домом. У меня отняли даже это.

Или — я сам отнял у себя?...

Не будем пустословить, рассуждая на эту тему. Гораздо важнее другое. Я только что понял: пока человек жив, у него есть такая вещь, как будущее.

Значит, есть и надежда.

Надежда. Я изгонял её, боясь даже произнести само её имя, — а она всё равно пробивается сквозь щели.

Спасибо тебе. Спасибо вам всем. Как это трудно — надеяться. Но, может быть, я ещё научусь...

Всё кончится хорошо. Ну разумеется, всё кончится хорошо.

Я вернусь.

Я обязательно вернусь, повторил я убеждённо и настойчиво.

Но я не был уверен, что меня хоть кто-нибудь слышит.

Когда Гера уговаривала Зевса согласиться на разрушение Трои, тот, устав от домашнего скандала, в конце концов сказал: хорошо. Пусть Приамов град будет разрушен. Но — с условием. Если я, в свою очередь, когда-нибудь захочу разрушить один из городов, любимых тобой, уважаемая супруга, — ты позволишь мне это и не будешь спорить.

На том они и договорились.

После чего произошло нарушение клятв, и наша кровь хлынула с новой силой.

Вот так они и решают свои проблемы: за наш счёт. И ничего нельзя возразить. Ни один из нас не может вырваться из круга земли, управляемой Олимпийцами. Как морская свинка, которую заперли в колесе. Или как несчастный царь лапифов Иксион, прикованный Зевсом опять-таки к колесу.

Очень хорошо помню — когда и где я это окончательно понял. Январь тридцать восьмого года, окраина небольшого города в полосе группы армий «Волынь».

Было очень холодно, и шёл грязный снег. Я не оговорился: мне казалось, что он и с неба опускается уже грязным. В тех краях и в то время просто не могло быть ничего чистого.

Мы знали, что где-то в стороне от нас противник продолжает проламывать оборону гвардейской танковой армии, и та, огрызаясь, откатывается. Но где движутся потоки наступающих и отступающих, куда и откуда, какие дороги ещё не перерезаны?... Картинка не складывалась. Снег. Темнота, сквозь которую доходят тупые удары и нечёткие сполохи. И всё.

К тому же что-то случилось с телефонной связью. В результате мы уже начинали сомневаться: будет ли нашему отдельному батальону куда отходить. Именно та ситуация, когда необходимо посылать разведку.

Идти надо было в почти полную неизвестность, и мы вызвались сделать это вдвоём. Два подпоручика: Миша Маевский и я.

Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба к вам возвратимся...

Город горел. Это было видно даже сквозь снегопад. Дома, превратившиеся в дырявые чёрные коробки. Перевернутые трамвайные вагоны на улицах. И регулярно доносящиеся залпы — это имперцы расстреливали «неблагонадёжных», кого не хотелось оставлять и нельзя было взять с собой.

Сейчас, в виде исключения, нам двоим можно было не торопиться. Оборона продолжается, приказа об отступлении не было; и если даже он поступит, наша часть не сможет уйти сразу — слишком забита единственная оставшаяся дорога. Так что пока можно и даже полезно просто понаблюдать: что там происходит внизу — в скопище домов, машин и упорно продолжающих свою разрушительную работу людей.

Всё это, повторяю, было прекрасно видно с обрыва над городом, на котором мы стояли. Здешняя местность — холмистая. Очень удобно. Выбери подходящую точку и смотри. Я почему-то подумал, что в мирное время вечерний город был бы виден с нашего обрыва как россыпь огней. Собственно, он был и сейчас виден как россыпь огней — только это были совсем другие огни. Уходящие шведы, как обычно, сжигали и взрывали за собой всё, что могло гореть и рушиться.

И в довершение всего по оставляемому городу продолжала работать артиллерия наступающих с востока русских войск. То тут, то там возникали красивые вспышки, и на месте каждого разрыва сразу поднимался дымный фонтан.

Огонь пушек явно никто не корректировал. Он вёлся по площадям. Иначе говоря — по остаткам жилых кварталов.

Зачем они это делают?

Мой спутник пожал плечами. Зачем мы здесь? Зачем идёт снег? А ведь идёт и идёт, и не собирается кончаться, — нам, пожалуй, трудно будет идти обратно. Не спуститься ли на дорогу, чтобы поискать машину?...

Ты не ответил. Не верю, что ты не задумывался. Всё-таки — зачем?

Об этом можно задумываться в каждом бою. Если подходить к войне с такой меркой, как это делаешь ты, — окажется, что она бессмысленна вся. От начала и до конца, до последнего мгновения.

Значит, смысла совсем нет? Или ты всё-таки знаешь решение?... Кажется, это прозвучало у меня почти умоляюще.

Да. Я знаю решение, которое истинно, — вот не знаю только, понравится ли тебе оно. Война — отец всего. Смысл войны — только сама война. Бой сам по себе является чем-то вроде произведения искусства. Картина, которую мы пишем. Вот и всё.

Ни хрена себе — картина... Мне не хотелось соглашаться, но мысль уже заработала, — я с первой же секунды понял, что он по-своему прав. Только вот что делать с такой правдой?... Воистину: проблему смысла жизни решить можно. Это даже не очень трудно. Но, только решив её, мы понимаем, как же мало даёт это решение...

Тогда спутник сказал: не бойся. Никто не заставляет тебя принимать мой ответ буквально. Содержание реальности зависит от тебя, его можно изменить. Если хочешь — сделай это. Сам.

Нет. Я предпочитаю мир, лишённый смысла.

Трусишь, — он опять пожал плечами. Трусишь, и всё. А ты не хочешь — попробовать — дать миру смысл?

Эту фразу он произнёс именно так — по частям.

И я — будто оказался у бездонной ледяной пропасти, из которой веет свежим ветром.

Я не хочу. Не хочу. Не хочу. Мне хотелось повторять это бесконечно. Потому что ничего больше я сказать не мог.

И в третий раз мой спутник недоумённо пожал плечами. Смысл — есть. Его надо искать. Создавать его, когда его не видно. Увы, мир оставляет нам только такой выбор. Мы каждую секунду должны своей волей наделять его смыслом. Или...

Нет, сказал я. Ибо кто я такой? Всего лишь человек, и не более. Воля моя искажена, руки мои слабы, разум же мой близорук и склонен к ошибкам. Минуй меня, искушение. Я — не решаюсь.

Зря, сказал он, и единое это слово прозвучало как удар колокола. Ты уходишь от жизни, которая даёт тебе возможность научиться новому. Тебе дано — а ты сознательно отворачиваешься. А ведь, может быть, вся эта мировая бойня только затем и нужна, чтобы мы — немногие — хоть чему-то в конце концов научились...

Да не хочу я ничему учиться, чёрт возьми. Не хочу учиться и не хочу воевать. Моя самая заветная, не всегда ясная даже для меня самого мечта — оставить всё это. Сбросить доспехи. Сбросить ответственность, которой я не искал. Вернуться туда, где можно заниматься своим, только своим делом и где меня ждут. Вернуться домой.

Это сказал он — или я?

А потом мы всё-таки отступили от того города. И продолжали отступать — постепенно, от рубежа к рубежу, меняя места и времена, но всегда неотклонимо катясь по касательной, только по касательной.

И вот — докатились...

...Машина ещё раз взревела и содрогнулась — в какой-то момент мне показалось, что она вот-вот опрокинется; но она не опрокинулась, а в конце концов сместилась ещё чуть-чуть вперёд и, уцепившись какими-то из колёс за осыпающийся склон, медленно, тяжело поползла вверх. Вырулила на твёрдый камень. Встала всеми восемью катками на почти горизонтальную поверхность. Замерла.

— Хорошо, что у него все мосты — ведущие, — сказал стоявший около меня унтер-офицер.  
— А то бы — всё, не вытащили бы. Но, может, мы всё-таки выберемся на дорогу?

Я не ответил. Поставленный вопрос волновал меня самого. По дороге мы, конечно, сможем двигаться быстрее и не рискуя потерять машины. С другой стороны, там существовала более чем реальная угроза столкновения с полевой жандармерией или даже с гвардейскими дозорами. Один раз нашим разведчикам уже пришлось удирать.

Конечно, нас было не так уж мало. Мы вполне смогли бы отбиться от жандармов, да и от маленькой группы гвардейцев, наверное, тоже. Но мне просто не хотелось заявлять о себе так рано. Если шведы успеют сообщить своим о движении нашей группы — нас наверняка перехватят на дороге превосходящими силами. И тогда — вообще все зря.

В башне броневика открылся люк, и из него показался командир машины прапорщик Ледоховский.

— Ну, знаете, — сказал он. — Раз ещё вот так, другой, а потом ведь может и не повезти. Если эта машина перевернётся, мы её никогда больше на колёса не поставим.

— А грузовики — как? — спросил я, обращаясь к находящемуся рядом унтеру.

— Ползут. Но если вы хотите моё мнение, господин поручик, — надо или бросать машины, или перебираться на шоссе.

Да. Машины терять не хочется. Правда, всё равно почти весь отряд движется пешим ходом, но всё-таки: два грузовика и панцерваген с пятидесятимиллиметровой пушкой. Тот самый, который сейчас чудом взобрался на дорогу с обрыва. Какая никакая — а сила.

— Перебираемся, — сказал я. — Без спешки. Считайте, что торопиться нам особо некуда.

Торопиться действительно не стоило. Совсем недавно наша разведка, с которой ходил и я, обнаружила на шоссе указатель: «Прага — 60 км». Шестьдесят километров до цели. Двигаясь пешком с хорошей скоростью, мы могли пройти такое расстояние за полтора дня. Не меньше — но и не больше.

В этом, собственно, и заключалась задача. Поставленная мной самим.

Двигаться на север.



Посёлок Гелегу мы оставили ещё вчера вечером. Что делать там больше нечего — стало ясно почти сразу. Собственно, это было ясно ещё до моего приезда. Вот только куда именно можно направиться — никто не знал. В отряде было шестьдесят человек, но из офицеров там остались только два прапорщика и один подпоручик. Командовавший группой капитан поехал на автомобиле в близлежащий город — и не вернулся, а ехать его искать было более чем бессмысленно: никто ведь не знал, что делается вокруг. Связь отсутствовала — точнее, за связь отвечало местное имперское начальство, от которого не было ни слуху ни духу. Разумеется, все эти проблемы были в принципе решаемы — но я очень сильно подозревал, что мои соотечественники, составляющие отряд, не очень-то горят желанием продолжать воевать. Зачем? Оборонять одинокую чужую деревню, когда война уже проиграна...

Слава Богу, на этом участке сейчас было действительно затишье. Западный противник сюда ещё не дошёл, а восточный, похоже, к концу войны наконец-то понял, что глупо тратить силы, пытаясь захватить сразу всё. Гораздо правильнее — наносить острые локальные удары по узловым точкам. Такая стратегия, реализованная им в последние недели, и привела к тому, что имперская столица, собственно, уже пала.

Эту последнюю новость я узнал с помощью радиостанции, которую приказал включить сразу по приезде — даже раньше, чем первый человек из личного состава базы подошёл к нашей машине, чтобы познакомиться. Информация сейчас была важнее всего.

И информации хватало. Больше того, она теперь поступала практически непрерывным потоком — причём каждое новое сообщение было интереснее предыдущего.

Столица капитулировала, а регент, оказывается, то ли погиб в бою, то ли покончил с собой; исполняющим его обязанности назначен риксминистр промышленности...

Слух об измене командующего Балтийским флотом. Забавно, если это правда. Это означает, что система центральной власти Империи окончательно распалась. Не факт, правда, что и все её отдельные звенья на местах тоже уже потеряли способность к действиям...

Вопрос о капитуляции всей Империи. Согласно непроверенным данным, соответствующие делегации направляются в Шлезвиг — город, где когда-то был подписан пакт о Рейнском союзе. Дождались...

И наконец новость местного значения: в Праге началось восстание.

Все красивые планы летели к чёрту.

Я обошёл грузовик, открыл дверцу и влез в кабину. С кузовом, в котором находился радист, её соединяло низкое окошко, не закрытое ни стеклом, ни пластиком. Можно переговариваться сколько угодно. Очень удобно. Я опустил на сиденье; слава Богу, сиденья в грузовиках этой модели были мягкие. Постарался расслабиться. Задумался.

Подумать было о чём.

Прага. Бывшая столица Второй Империи и, несомненно, самый прекрасный город Европы. Я имею смелость так говорить, несмотря на то что большинства европейских столиц я не видел. И несмотря на то что мне очень трудно объяснить — чем, собственно, этот город так уж красив, Площади, мосты, театры, соборы, королевские замки... — да, но ведь всё это по отдельности можно найти где угодно.

У этого города есть своё лицо. Вот и всё.

Я опять поймал себя на том, что думаю о городе как о женщине. А, в общем, — что

странного? Рим — Рома — женского рода. Кстати, и Прага — тоже...

Всё логично.

И не будем развивать тему.

...Этой стране редко выпадало быть свободной. Сотня лет под австрийцами и потом ещё двести — под шведами. Только тридцать лет назад Чехия наконец-то получила независимость. Этот короткий отрезок свободы — о, как они были ему рады! Я в Чехии, разумеется, тогда не бывал, но я слышал рассказы многих эмигрантов, которым эта страна давала приют. Коротко говоря, там было хорошо.

Тридцать лет независимости. А потом войска Империи пришли вновь.

Нет, эта страна не погрузилась в такой же кровавый мрак, как лежащее сотней километров южнее Объединённое королевство. Особых внутренних волнений здесь не возникло, а имперская власть была мягче. Мягче — это в данном случае значит, что уничтожить

всё здешнее население шведы не предполагали. Закрыли университеты. Провели среди интеллигенции серию профилактических арестов с последующими расстрелами. ГТП с поразительной быстротой создало здесь очень плотную сеть осведомителей, работа которой обеспечивала регулярные чистки — тоже, конечно, известно чем кончавшиеся...

Впрочем, всё это видится мне так сейчас — когда игра сделана. А, например, ещё прошлым летом я был в Праге во время конгресса — и ничего. Не возмущался. Уж не потому ли, что тогда у нас ещё оставалась какая-то надежда? Поражения на фронте, да, — но зато именно тогда нам наконец официально разрешили создать собственные вооружённые силы. Со статусом полноправного союзника Империи...

Нет, мы хотели не только выжить. Мы понимали, что как раз выжить-то, скорее всего, не удастся. Я уже знал, что бывает с теми нашими офицерами, которых армия Евроазиатского Союза берёт в плен. Три реальных варианта: расстрел, повешение, двадцать лет каторги. На другое, собственно, никто и не рассчитывал.

Так что — не надо. Не было у нас шкурных побуждений. И что победа нереальна — это мы прекрасно понимали. Но — вдруг чудо? Гражданская война четверть века назад была проиграна, но эта-то война — ещё не кончилась. И, пока она не кончилась, необходимо делать всё возможное.

Пусть даже это очень дорого стоит.

Будь мы все прокляты.

Ну хорошо, а что же теперь? Теперь, когда в Праге наконец-то — восстание? Ведь не отправят же нас его подавлять... Оттого, что я допустил такую мысль, мне стало очень стыдно — так, что даже пот прошиб. Но ведь с имперцев — станется. Ещё как станется, чёрт возьми. Вспомнились лица моих недавних знакомых из Русской охранной бригады. Господи, как же всё чудовищно переплелось!.. Самая высокая честь — с самым страшным позором. Белая гвардия — и наёмники нелюдей.

Нет, здесь этого не будет. Я пока не представляю, что именно я лично могу сделать, — но здесь этого не будет. Хватит.

...И пока я обо всём этом размышлял, радист принял ещё одно сообщение. Командование Первой дивизии РОА, как раз вышедшей в район Праги, открытым текстом объявило о своём решении включиться в борьбу за город на стороне восставших. Мотивы не комментировались. Всем частям и подразделениям армии, находящимся в пределах

реальной досягаемости, предлагалось подтягиваться к Праге и присоединяться к сражению.

А вот теперь всё стало ясно.

Я оглядел построившихся передо мной людей и несколько секунд простоял молча, пытаюсь удержать во взгляде всю окружающую панораму. Голубая небесная полусфера с багровеющим солнцем на западе, — да, с погодой в последние сутки стало значительно лучше; весна, уже совсем поздняя... Холмы по левую руку, пологие, но очень высокие — почти горы. Мягкая зубчатая каёмка соснового леса. По правую руку — тоже холмы, но низкие, уходящие в луга и поля. Извивы просёлочной дороги. И у конца этой дороги — посёлок. Собрание белых домиков с тёмно-красными крышами...

— Господа, — я выговорил это слово чётко, но сразу же почувствовал, что оно — фальшиво. Ну, не «товарищами» же мне их называть... — Я, поручик Рославлев, принимаю командование вашим отрядом...

Забавно: я никогда не обдумываю заранее, что говорить людям. Когда нужно — слова отливаются сами. Как сейчас.

— ...Таково решение, и мы его выполним. Скажу от себя. Сейчас уже неважно, какие на нас погоны. Сейчас — только мы сами... Мы сами должны...

Всё-таки сбился. Впрочем, теперь это уже не имеет значения.

Я стоял на обочине шоссе и смотрел, как на него выползают машины.

Все три наши машины. Наверное, это должно быть смешно.

Как обычно в подобных случаях, я попытался взглянуть на свою фигуру со стороны — и мне стало ещё смешнее. Полководец.

А всё-таки — дослужился до командующего отдельным соединением...

Конечно, как же нас ещё назвать. В первом же разговоре с подпоручиком Тимченко выяснилось, что ни к одной из трёх дивизий Армии этот отряд почему-то не приписан. Забыли...

Белый отряд, произношу я шёпотом. Впрочем, гораздо больше мы сейчас похожи на одну из маленьких безымянных команд Бертрана Дюгесклена, которые рассыпались по Франции, разрывая в клочки армию Чёрного принца...

Только вместо принца у нас — всего лишь фельдмаршал. Его превосходительство Август Реншельд. Командующий группой «Сарматия», известный как самый жестокий военачальник Империи.

Если всё, что я о нём знаю, — правда, — значит, бои предстоят очень серьёзные. Просто так имперцы Прагу не отдадут, даже несмотря на то что война уже фактически кончена. Более того: если им позволит время, они могут сделать с Прагой то же самое, что они уже сделали с некоторыми другими восставшими городами. А именно — разрушить её до основания.

Надо спешить... Нет, спешить всё-таки не надо. Достаточно двигаться просто нормальным темпом, и завтра мы будем на месте.

О планах насчёт выступления на юг теперь, разумеется, придётся забыть. Хотя бы потому, что мы уже движемся в совершенно противоположную сторону — на север.

До группы Туркула — примерно триста километров... Но здесь, конечно, дело уже не в расстоянии. Жаль, что я так и не познакомился с Антоном Васильевичем. Что ж, зато теперь я попробую в миниатюре повторить его знаменитый марш. Точнее, марш полковника Дроздовского, в котором он принимал участие.

В миниатюре — потому что мне-то нужно пройти не девятьсот километров, а всего только шестьдесят. И людей у меня на порядок меньше. Поход Дроздовского, я надеюсь, рано или поздно войдёт в учебники истории, а вот наш — никогда.

И слава Богу. Не люблю я учебников.

Солдаты в строю перебрасывались какими-то словами — и вдруг я с огромным удивлением поймал себя на том, что не просто не слышу, а намеренно стараюсь к ним не прислушиваться.

А ведь — правда. В этом походе я даже почти не смотрел на моих новых подчинённых. То есть, конечно, я выслушивал их рапорты, запоминал лица, отмечал имена, — но они сами, они как личности, оставались для меня не более чем элементами простой схемы. Бумажные солдатики.

Какой ужас... — мелькает мысль, и сразу же — другая: быть может, это и к лучшему.

Я ведь примерно представляю, как выглядел на Гражданской войне тот же полковник... виноват, генерал Дроздовский. Он с самого начала как бы вычеркнул из списков живых и окружающих, и себя. Поэтому и смог сделать так много.

Белая гвардия... Давайте будем её достойны. Хотя бы напоследок.

Простите, ребята, но те из вас, кого я потеряю, будут для меня арифметическими единицами. Никак не более.

Так нужно.

После этой мысли пришло существенное облегчение. Словно кто-то невидимый подтвердил: да, сейчас я всё делаю правильно.

И тут показалось придорожное село.

Я делаю знак: повышенное внимание. Особо предупреждать об этом не надо — люди в отряде подобрались, судя по всему, достаточно опытные. Повышенное внимание они, когда надо, включают сами.

В данном случае это вполне обоснованно, потому что впереди на дороге кто-то стоит.

Я отдаю команду: стоп.

Какое-то мгновение думаю.

— Вы, унтер-офицер, и вы, прапорщик. Пойдёмте втроем. Чего они от нас хотят...

Помню, что я совсем не боялся, а только испытывал совершенно чистый интерес. Ну, иррешетят из автомата, велика беда. Днём раньше или позже...

Хотя трезвой частью ума я признавал, что эти ощущения, скорее всего, — до поры. Пока в меня действительно не выстрелили.

А у стоявших на дороге людей в руках и в самом деле были автоматы.

Это были партизаны. Обычные местные партизаны, которые приняли нас за небольшую группу имперцев и вышли, чтобы, напомнив о последних событиях, предложить нам сдаться по-хорошему.

Ничего себе — по-хорошему.

Не далее как в ночь на сегодня в соседней деревне случилось чрезвычайное происшествие: убийство шведского солдата. Командир части незамедлительно связался с городом, и уже утром в деревню прибыл взвод «чёрных воронов» — так здесь прозвали гвардейцев. Методика у них на такие случаи была отработана. За каждого убитого солдата берётся двадцать заложников. Если в ближайшие часы местные жители сами выдают преступников, заложников отправляют в лагерь. Если нет — расстреливают.

Сейчас такие действия были лишены даже тени смысла, но гвардейцев это, похоже, не волновало. Заложники были расстреляны.

А сами гвардейцы — они ещё не ушли. Они остались в деревне. Бог весть — зачем. Может, просто решили задержаться, чтобы там, куда они вернуться, их не бросили в настоящий бой. Такое тоже не исключено...

Именно от партизан я узнал, что Первая дивизия уже в Праге. Сражается против имперцев, и вполне успешно.

Недоразумение было ликвидировано довольно быстро. И что теперь нужно делать — тоже стало ясно так же быстро.

...Не хочу рассказывать про бой. Это и в самом деле очень скучно.

Гвардейцы дрались хорошо, и мы потеряли убитыми семь человек. Это — не считая раненых, которых мы сразу же передали местным жителям: пусть они с ними возятся. Взялись они за это весьма охотно.

Оставшихся в живых гвардейцев, которых, правда, было очень мало, мы тоже передали местным жителям и больше их судьбой не интересовались.

Главная площадь того посёлка, где всё произошло, осталась почти пустой. Хорошее название — главная площадь. Она была шириной метров тридцать, и недалеко от её края красовалась мощная дубовая скамья. Я подошёл к скамье и сел.

Эта сторона площади была затенена рощей платанов, и сразу за этими платанами начинался овраг. И лес шёл дальше. Стоило сделать буквально один шаг с булыжной мостовой — и ты из населённого пункта попадал в этот лес. Как здорово.

Люди — и наши, и местные — начали понемногу группироваться на площади, переговариваясь; и наш броневичок кто-то подогнал сюда же. В прошедшем бою, кстати, он мог пригодиться разве что за счёт своего грозного вида...

И тут у меня наступил какой-то откат. Переполнение. Даже не знаю, как это ещё назвать... В общем, я почувствовал, что — всё. С меня лично — хватило.

Надо было бы отправляться, но я решил: ещё пятнадцать минут. Пусть люди отдохнут.

В этот момент я как раз и услышал отдалённое рычание моторов.

Моторы с востока. Я знал, что это значит. Мы все это знали.

Я повернулся на скамье, чтобы смотреть в сторону леса. Всё равно ничего сделать больше нельзя. Прорываться отсюда с боем — после случившегося было почему-то невыносимо.

Да и куда, интересно, прорываться? Если то, что Маевский сказал о Каирском протоколе, — правда...

Как давно был этот разговор с ним. Вспоминается, как событие многолетней давности. А если посчитать время — не прошло и трёх суток.

...Если это правда, то нам вообще нельзя было сюда лезть. Оказались между молотом и наковальней...

Простите меня, мысленно сказал я людям своего отряда, с большинством из которых я так и не успел познакомиться. Простите, что я вас в это втянул. Получается, что я расплатился всеми вами за свою глупость, за свои ошибки, за своё бессилие.

Несмотря на то что формально — я совершенно прав. Наверное.

Наверное, так уж устроен мир, что даже самые благородные решения и действия в нём всегда имеют оборотную сторону.

Я повторяю свой вывод по складам.

В этом мире. Благородство. Невозможно.

Ну и чёрт с ним! — подумал я совершенно неожиданно.

Ну и пусть — невозможно. Обойдёмся уж как-нибудь без благородства. Что тут ещё поделаешь...

Автомобиль въехал на площадь и остановился. Его мотор заглушили.

— Пиздец, — сказал кто-то шёпотом у меня за спиной. Я медленно обернулся. Точно зная, что я сейчас увижу, и всё ещё как бы отказываясь в это поверить.

Из машины вышли два офицера. Они явно устали, их форма была измята и запылена, но они были уверены в себе и ничего, абсолютно ничего не боялись. Они стояли как хозяева, и на фуражках у них горели пятиконечные звезды.

Все личные переживания на время ушли. Остались отвлечённые чувства, относящиеся не к людям, а к сюжету и постановке. Как тут красиво; режиссёр хорошо устроил сцену. Тень насмешки над оказавшимся на этой сцене филологом-классиком, одетым по какой-то причудливой случайности в военный мундир. И нотка интереса: что же этот полулитературный персонаж теперь будет делать?...

Я встаю со скамьи. Выбираю взглядом старшего из приехавших офицеров. Подхожу вплотную, стараясь равнять шаг, но, разумеется, не козыряя.

— Господин полковник! Докладывает поручик Рославлев. Состоящая под моей командой отдельная рота Южной группы Русской освободительной армии имеет честь сдать.

И последняя сцена в этой истории. Она — как фотография.

Центральная площадь в маленьком богемском селении.

С одной стороны к площади подступает тёмный лес — тот самый, уходящий в овраг. Правда, этот овраг незаметен, пока в него не вступишь. Деревья в лесу очень высокие, верхушки платанов и клёнов, растущих на дне оврага, — вровень с теми, которые стоят наверху, у дороги.

Прилегающая к лесу сторона площади затенена деревьями. А на противоположную сторону светит солнце.

Площадь почти пуста. Правда, на ней стоят два легковых автомобиля с открытым верхом. И на солнечной стороне — небольшое скопление людей.

Два прохаживающихся автоматчика в пилотках и выцветших зелёных мундирах.

Автоматчики стоят здесь не просто так: они охраняют четверых разоружённых военных, одетых не в зелёное, а в серое.

Эти четверо сидят прямо на земле, прислонившись к стене длинного дома.

Это офицеры. Прапорщик Ледоховский. Прапорщик Комаров. Подпоручик Тимченко. Поручик Рославлев.

По всему видно, что стеречь пленных слишком долго автоматчикам не придётся. С минуты на минуту часовые получат какое-то распоряжение и их дежурство завершится.

Сами пленные, видимо, тоже это понимают. Они особо не волнуются. Они не разговаривают между собой — разговаривать тут уже, собственно, не о чем. Кто-то из них прикрыл глаза, чтобы не тратить сейчас силы на разглядывание ненужных деталей. Кто-то задумчиво вертит в руке сорванную травинку. А кто-то смотрит в небо.

Удивительно банальное занятие — смотреть на облака.

Банальное — а не надоедает.

Облака. Свободные, беспредельно многообразные, чудесные общие порождения пронзительной небесной пустоты и поднимающихся от земли частичек влаги.

Облака.

Истинные дети Урана и Геи.

Вот ведь оно как...

И тут всё, что можно выразить в понятиях, — отступает.

И остаётся только продолжать смотреть на облака, удивляясь, какие они непостижимо лёгкие. Как они увлекают взгляд своими формами, гораздо более сложными и выразительными, чем у цветов, и закрывают чистое небо своей ещё более чистой белизной, и воздвигают зыбкие, тут же разрушающиеся воздушные замки, и уплывают, уплывают, уплывают.

ЗАЧЕМ МЫ НАМ?

Рустам Карапетьян

Принцесса

(Грустная сказка)

Принцесса сидит у окна и грустит. Вообще-то, это не простая, а самая настоящая заколдованная принцесса. Когда-то один злой волшебник (а чтоб вы знали, злых волшебников называют ещё колдунами), так вот, один колдун наложил на принцессу свои чёрные чары. Зачем он это сделал, сказать трудно. Может, настроение у него было плохое, а может быть, потому что он был злой и ему просто нравилось заниматься такими плохими вещами. Он всю ночь напролёт читал свои страшные заклинания, а когда наступило утро, все вдруг забыли, что принцесса — это принцесса, и стали звать её просто по имени — Аня. А король забыл, что он король, и стал просто папой. Теперь он каждый день встаёт в семь утра, завтракает и уходит на работу. А мама собирает Аню в школу (ведь если ты не принцесса, то тебе надо каждый день, кроме воскресенья, ходить в школу). Потом мама тоже уходит на работу, потому что забыла, что она на самом деле королева. Замок тоже стал заколдованным и кажется теперь обычной двухкомнатной квартирой. И вообще, всё так перепуталось, что доходит до смешного. Например, папиным начальником стал бывший королевский шут. А первый министр стал дворником. Никого это, кроме Ани, конечно, не удивляет, потому что никто уже ничего не помнит. Точнее сказать, помнит, но совсем не так, как на самом деле, а как захотел колдун.

Вообще-то, на свете, кроме злых волшебников, живут ещё и добрые феи, которые, как правило, вмешиваются в планы колдунов и всячески их расстраивают. Но наш колдун не только злой, но ещё и очень хитрый. Первым делом он заставил всё позабыть добрых фей, и теперь никто-никто, кроме него самого, не может ничего изменить. А ещё это очень умный колдун. Он догадался, что если вдруг кто-нибудь сам научится колдовать, то однажды чары могут быть разрушены. И тогда он сделал так, чтобы никто, кроме него, ничего не знал про волшебство. И ещё он напридумывал кучу всяких разных природных законов, чтобы все считали, что знают, отчего и как всё происходит.

Например, он придумал ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ. Это такой закон, по которому, если камень подкинуть вверх, то он рано или поздно обязательно упадёт вниз. На самом деле камни вовсе не ПАДАЮТ вниз. Просто они такие же живые существа, как и мы с вами. Но жить они могут, только прилепившись к какой-нибудь плоской поверхности. А в воздухе они сразу начинают задыхаться, точно так же, как и мы под водой. Поэтому камни стараются побыстрее спуститься вниз, чтобы к чему-нибудь прилепиться. Камни при этом передвигаются с помощью самого настоящего волшебства. И вот, чтобы люди, глядя на камни, не догадались про волшебство, колдун придумал ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ.

Из всех людей только Аня знает, что камни живые. Когда она идёт из школы, она всё время смотрит себе под ноги, и если ей попадётся какой-нибудь одинокий и несчастный камешек, она всегда берёт его к себе домой и бережно ухаживает за ним. У Ани дома есть уже целая коробочка таких камней. Она часто берёт их в руки и разговаривает с ними. А камни нагреваются в её ладошках и становятся чуть счастливее. Ведь чтобы сделать кого-то немножко счастливее, надо просто отдать ему частичку своего тепла. Или вот, например, что ещё удумал хитрый колдун. Взял и сделал Землю круглой, смеха ради. А чтобы люди с нее не попадали (одному-то жить скучно), превратил их сердца в каменные. И теперь людей всё время притягивает к земле. И у кого сердце совсем окаменело — вообще еле-еле ноги волочит. А другой, глядишь, прям-таки и летает. Но и он взлететь по-настоящему уже не



может. Одно только колдуну осталось неподвластно — людские сны. То ли знаний ему колдовских не хватило, то ли нельзя уж так, чтобы совсем людей переиначить. Вот и снятся людям сны про то, как всё должно быть на самом деле. И летают во снах люди, и с чудовищами разными сражаются, и принцесс от драконов спасают.

Ох и бесится же колдун. Правда, и тут он хитрую штуку придумал. Называется она — фрейдизм. И вроде как по этому самому фрейдизму сны все объясняются, да ещё не просто так, а с подковырками. С чудовищем сражаешься? А это, мол, ты папеньку своего мечом тюкаешь, за то, что он по тебе в детстве ремнём похаживал. Принцессу спасаешь? А это, мол, у тебя нездоровое влечение к маленьким девочкам. Вот такой подковыристый колдун. Правда, про полёты он ничего так и не придумал. Да и рукой махнул. Мол, подрастут дети, сердца у них потяжелеют — сами летать перестанут. А что же принцесса? А она сидит у окна и грустит. И никто её не утешит, ведь никто не знает, что Аня — самая настоящая принцесса, и обращаются с ней, как с обычной девочкой.

Такая вот печальная история. С печальным концом. Потому что принц тоже не помнит, что он принц. И, конечно, он уже не найдёт принцессу и не расколдует её.

Хотя эта история может иметь и другой конец.

Колдуну ведь тоже живётся не очень сладко. Потому что он не только злой и хитрый, но ещё и очень тщеславный. И через какое-то время он обязательно обнаружит, что его никто не боится. Ведь люди уже перестали верить в волшебство. Тогда колдун расстроится и начнёт читать свои заклинания в обратном порядке, чтобы всё стало, как и прежде. И папа снова станет королём, а мама — королевой. А Аня опять станет настоящей принцессой. Очень может быть, что так и будет. Но мы знаем, что колдун всё-таки злой и никогда ничего не делает просто так. И снова будет сидеть принцесса у окна и грустить. Потому что она теперь принцесса. А Вовка — её бывший сосед по парте — теперь всего лишь сын пастуха. И вот никак нельзя по королевским законам им вместе дружить.

Так что это всё-таки грустная сказка. Но виноват в этом вовсе не я, а злой колдун, который всё так перепутал.

Иван Наумов

Гарлем — Детройт

Солнечный Джош

Нет прошлого — только мешанина размытых образов, наслоение аномалий в нейронных цепочках внутри бесценной черепной коробки. Тонкая химия, тонкая физика, хороший бизнес.

И будущего нет. Лишь слабоумные связывают свои фантазии и предчувствия с реальным положением дел на следующем делении бесконечной временной оси. Высокие помыслы, шаткая логика, плохой бизнес.

Скольким-то там миллиардам божьих тварей досталось всего одно настоящее — одно на всех, да и то второсортное, — и кто успел, тот успел. Или ты в обойме, или на помойке. Копаешься в мусоре и провожаешь взглядом платиновые дирижабли, в закатных лучах скользящие над гладью Эри, Гурона или Сент-Клера в сторону мифического канадского рая.

Джошуа в свои четырнадцать работал больше, чем взрослый. День походил на день — конвейерная штамповка. Шесть-тридцать. Убить будильник. Прийти в себя, проглотить хоть

что-то и успеть разобрать почту. Простые запросы сбросить сестре, а закавыки закачать в наладонник. По дороге в школу созвониться с поставщиками и, главное, озадачить Рича спецзаказами.

На большой перемене вместо завтрака можно состряпать несколько ответов. Обычно клиенты разбрасывают запросы сразу на несколько адресов, даже не утруждая себя прятать список в «скрытую копию». Если не ответить до полудня, шансы зацапать заказ падают до нуля.

Шаблоны писем отполированы до буквы. Стиль увеличивает шансы. А по сути — вариантов ответа три. «Есть именно то, что вы ищете», «Заказали вчера, потерпите до завтра» и «Можем предложить кое-что ещё лучше, чем вы хотели» — это когда уже совсем безвыходная ситуация.

Подпись всегда одинаковая — «До скорой встречи! Солнечный Джош». Слова о встрече на многих клиентов действуют магически.

Наоми, тридцатилетнюю безмозглую сестрицу, накрыл очередной приступ беременности — будто в этом мире кому-то нужен ещё один черномазый! Теперь она скорбно сидит в салоне только до прихода Джоша, и ему остаётся всего ничего — в одиночку часов десять, до глубокой ночи. А по воскресеньям ей, видите ли, надо всем выводком переться в церковь, рвать связки и оттаптывать пятки. Пятый племянник подсядет на госпел ещё в утробе. И догадайтесь, кому тем временем дежурить в салоне.

От такого режима можно слететь с катушек, но Джош не в обиде. Эльдорадо — понятие преходящее. Особенно в хай-теке. Поймал волну — плыви. Ещё год, три, пять — и корпорации раздербанят частные лавки, а брейнинг из экзотического новшества превратится в полноценную индустрию. И до этого времени надо успеть заработать — если не на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы близко к тому.

То утро началось с неожиданности — тихо сдохла младшая вирусоловка. Не системная, а «спамоедка». Пока Джош искал дистрибутив, во «Входящие» навалило всякого.

«Гороскоп на сегодня, — прочёл он. — Тема дня — правильное решение». В корзину.

«Джош! Спасибо за Таити! А есть сафари или что-то африканское? Желательно женское...» Сестре.

«Здравствуйте! У вас есть спортивные ролики?...» Туда же.

«Сколько вы знаете женских имён на „А“...» В мусор.

«Если ты ещё раз подсунешь мне „мазо“ вместо „садо“, тупая скотина...» Упс. В наладонник. Нет, Наоми просто редкая дура! Придётся извиняться за её ошибку — совсем нехорошо получилось.

«Никто не знает, где скачать „Русские идут“? Только в нормальном качестве...» Это ещё что за хрень? Придётся целиком читать — не поймёшь, о чём и речь. А уже совсем пора бежать.

Рюкзак. Бутерброд, наладонник, ствол, ключи, бабки для Рича, ничего не забыл?

Посмотреть в глазок, у дверей чисто, выключить сигнализацию на пять секунд, «Всем пока!», выйти, захлопнуть дверь.

Здравствуй, Детройт! Мистер Адамс

— Хотела пожелать удачи! — Директор, мумиеобразная корейка пенсионного возраста, цепко стиснула его локоть. — Первый урок — как первое свидание! Я уверена, вы им понравитесь!

Коридоры школы ещё пустовали. Преподаватели спешили разойтись по кабинетам.

— Надеюсь. — Адамс осторожно высвободился.

— Провожу вас, — по-своему восприняла его движение та. — Волнуюсь, будто сама иду. Конечно, белых учителей у нас давно не было. Кстати, не вздумайте представляться «учителем». У нас с этим строго, здесь не Нью-Йорк. Много адвокатских детей, быстро привлекают за моральное давление.

Ненатурально улыбнулась — мимическая композиция «Ну, мы-то с вами всё понимаем, вот и не стоит лезть на рожон».

— Также поосторожнее с пристальными взглядами. Нет, я сейчас не про домогательства. Южные мальчики — очень мнительные и скорые в принятии решений. Тем более, вы сразу со старшего класса начинаете. На первое время — минимум диалогов, больше рассказывайте. Будут шуметь — не обращайтесь внимания. Микрофон вам новый поставили, не фонит, не шуршит. Колесико громкости выведено под стол, сможете прибавить-убавить абсолютно незаметно.

Остановились у дверей его класса.

— Спасибо! — Адамс попытался сразу войти внутрь.

— И загляните ко мне завтра утром! — Директор снова схватила его за рукав. — Поделитесь впечатлениями! Аксиния

Конечно, такой подставы, как смена школы, она от предков никак не ожидала. После того как отец потерял работу в редакции, ясно было: где предложат место, туда и придётся ехать. Детройт — не Аляска, что уж.

Город поразил Аксинию. Их фургончик — гигантский лось с привязанным на крыше бабушкиным креслом-качалкой вместо рогов — въехал в пустынные кварталы центра. Из-за опущенных ставень, из полутёмных арок — отовсюду по чуть-чуть сочились рваные такты рэг-рэпа. Нет людей на улицах — лишь там и тут мелькнёт закапюшоненная тень, рыкнет мотоцикл, блеснут отсветы невидимых фар. После кипящего Нью-Йорка этот город казался призраком.

Хорошо, если в одном здании из пяти угадывалось присутствие жизни. Свежая побелка, незапылившиеся тарелки антенн, подметенные пятачки перед входами. В одном из таких домов жила тётя Софи, мамина сестра, там же нашёлся и свободный этаж под заселение. «Группироваться» здесь считалось выгодным, безопасным и престижным.

Почти неделю с мамой и бабушкой распаковывали вещи — отец уже на следующий день погрузился в новую работу и выныривал лишь дважды в сутки — за утренним кофе и во время ужина, изливая на домочадцев впечатления.

— Как можно ограничивать писательскую свободу? — Взмах свёрнутой в рулон газетой. — Неужели они думают, что, сидя в отсеке как радист подводной лодки, я напишу больше или лучше, чем дома?

Бабушка невозмутимо покачивалась в кресле, попыхивая сувенирной индейской трубочкой. Мама сочувственно кивала — получалось, в такт креслу.

— И как нам прикажете себя называть? — кричал отец в другой раз. — Великий романист может публиковать по восемь томов в год — ему пишем мы вчетвером! Кто — мы? Литературные афроамериканцы! Чёрная четвёрка! Ах, тсс! Даже слово «чёрный» может быть использовано против вас! Белый, знай свою «миранду»!

Отец болезненно относился ко всем этническим вопросам — отработав без сна и отдыха всю нью-йоркскую Олимпиаду и вернувшись в редакцию героем — шестьдесят репортажей, восемнадцать интервью — одно эксклюзивное! — он обнаружил за своим рабочим столом симпатичного эфиопа из корректорского отдела. Обвинение в пропаганде расизма, позволившее вскоре уволить отца без выходного пособия, сначала казалось глупой шуткой, потом чудовищной провокацией, потом циничной рокировкой.

— Это всё из-за того интервью, — снова и снова повторял отец своей безмолвной аудитории. — Бедняга Смит, он думал, что поделится со мной славой!

Когда встал вопрос о необходимости переезда в Детройт, выбирали между отдельным домиком в относительно тихом пригороде и квартирой рядом с Софи в совсем не спокойном центре. Отец бравировал врождённым интернационализмом:

— Нам не привыкать!

И вот они оказались здесь. Впрочем, им действительно было не привыкать.

День первого похода в школу неумолимо приближался. Срочно требовался «анализ местности».

Кто владеет информацией, владеет миром. Проведя полжизни в сети, Аксиния — ник «Сова» — любила работать с разобшёнными данными. Ей нравилось представлять себя бесшумной ночной птицей, планирующей над едва видимыми цепочками огней.

Она давно уже не тратила на Интернет карманных денег — в маленьком большом мире можно жить и без них. На второй день в Детройте знакомые украинцы скинули ей в знак уважения коды для безымянного коннекта. К концу первой недели — не для славы, а сугубо в бытовых целях — Сова хакнула местный сервер министерства образования. Аккуратно, вежливо, незаметно.

Теперь у неё появились полные досье на всех учеников школы, преподавателей, административный штат вплоть до уборщиц. Предстояло посмотреть, какой след в сети тянется за будущими одноклассниками, узнать о каждом из них всё возможное и организовать самооборону без оружия. Маленьким белым девочкам всегда лучше рассчитывать только на себя.

Оставалась ещё неделя. И этого времени хватило. Солнечный Джош

Второе по значимости событие того дня — новенький в «клетке». Преподавательскую часть класса — стол, кафедру и доску — здесь называли так же, как и в других школах, хотя металлические выгородки давно уже были сменены на пуленепробиваемый триплекс.

Адамса в «серьёзные перцы» Джош записал не сразу. В первый день они все серьёзные. Прошлого преподавателя угостили свинчаткой по затылку, и месяца три вместо истории шли тренировки по бейсболу.

Новый парень явно знал о педагогике маловато. По крайней мере, ни один из его предшественников не пытался предлагать деньги в обмен на знания. А Адамс с этого и начал.

— Привет, народ! — такими были его первые слова. Некоторые школьники даже прекратили разговоры, чтобы посмотреть на продвинутого препа. — Меня зовут мистер Адамс, и вам придётся так меня называть. Я никого не собираюсь убеждать в том, какой интересный предмет преподаю.

— Так зачем мы здесь сидим? — подал голос Хосе-Койот.

— Вот за этим. — Адамс вынул из внутреннего кармана и плюхнул на стол перед собой толстую пачку десятидолларовых. — Это стимулятор для ваших малотренированных мозгов. Награждаются правильные ответы и — иногда! — правильные вопросы. Первый прозвучал только что. Подойди!

Хосе, помешкав для приличия пару секунд, вразвалочку подошёл к щели для сдачи письменных работ и получил десятку. Класс зашумел.

— Вы сейчас не катаетесь в Швейцарии на горных лыжах. Не смотрите на облака через иллюминатор папиного самолёта. Даже не гуляете с фотоаппаратом по Большому Каньону. Потому что все вы в той или иной степени находитесь в заднице. Ваши родители сидят на пособии. Из таких школ не берут в престижные колледжи. В этом городе уже вряд ли будут делать машины. Если бы ваша семья могла уехать, то уже сделала бы это сотню раз. Кто-то возразит?

Класс молчал.

— Так вот. История — это наука о том, как мы все оказались в заднице. И тем, кто сможет разобраться в этом вопросе, светит шанс найти обратную дорогу. Но не толпой и не строим, а поодиночке. Приступим к лекции?

После уроков старшеклассники обычно застревали у школы — покурить-поболтать. У Джоша было около получаса до встречи с Ричем, и он смотрел, как усевшийся на заборчик Энрике подтягивает струны, касается их тонкими пальцами, пробует на ощупь тревожные и звонкие аккорды. Хосе, уже хорошо попыхтев самокруткой, пристально разглядывал солнечные блики на лезвии своей бритвы. Родриго и Мигель, чуть отвернувшись от остальных, переругивались и делили какие-то деньги. Лейла флегматично отталкивала Мустафу, пытавшегося поцеловать её в шею.

Бронированный преподавательский автобус отъехал от крыльца, натужно кашляя слабеньким спиртовым движком, и скрылся за поворотом. Минут пять спустя с парадного крыльца спустился сутулый человек, одетый в стиле «охота на ведьм» — длинный светлый плащ, низко надвинутая на глаза шляпа. В руке — нелепый портфельчик.

— Он больной, что ли? — Койот аж пропустил затяжку.

— Это кто? — Мигель сунул скрученную вязанку мелких купюр в безразмерный карман и обернулся тоже.

— Наш историк, — сказала Лейла. — Видно, ищет новых историй на свою филейную часть. Или не успел кэш на уроке раздать.

Родриго и Мигель, недоумённо переглянувшись, потянулись за Адамсом. Хосе, чуть подумав, аккуратно потушил папиросу и поспешил следом. Аксиния

Неожиданностей не было. Ладно скроенный мексиканец — Энрике, клички нет, балуется гитарой и стихами, полицией не привлекался, семейный бизнес — ультразвуковая прачечная около бывшего Уэйнского университета, старший брат отбывает срок за торговлю химией, что

там ещё? — с размаху уселся на её парту чуть ли не раньше, чем Аксиния подошла к своему месту в классе.

— Посмотрите, амигос, какая славная белая

чика посетила наш гостеприимный уголок! Наверное, девочка-гринго будет рада подружиться с цветными мальчиками.

Ke колор тэ густан мас? [3]

—

Эль верде [4]

, — улыбнулась Аксиния.

— Ответ неверный, — констатировал Энрике, слегка разворачиваясь к ней. — Как твоё имя, безумный ангел? Чем увлекаешься? Много ли мама с папой дают на бутерброды? Говори громче, интересно всем!

Тридцать пар глаз будто красными лазерными точками водили по её лицу и телу. Оценивающе, изучающе, провоцируя, раздевая, ожидая её реакции. Можно сделать вид, что ничего не происходит, и через неделю превратиться в белую моль, уподобившись сидящему рядом носом в парту конопатому очкарику. Можно разъяриться и развести свару, но это, по сути, ничего не даст. Наконец, можно выставить парня в глупом виде, откровенно посмеяться над ним — способностей хватит, — но где гарантия, что по дороге домой не получишь бритвой по лицу от случайного прохожего?

Аксиния аккуратно повесила рюкзак на спинку стула. До начала урока оставалось минут пять, стоило поспешить.

— Всё по порядку, — громко сказала она, обращаясь ко всем и ни к кому, как в театральном кружке, — моё имя — Аксиния...

— Что за диковина? — развеселился маленький смешной перуанец с последней парты. Мутный, непредсказуемый, опасный.

— А вы знаете много имён на букву «А»? — теперь уже обводя взглядом класс, Аксиния остановилась на долговязом чёрном антильского типа парне по имени Джош. Тот поймал её взгляд, чуть прищурился и встряхнул головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. — Имя русское, так что насчёт «гринго» Энрике погорячился.

— Я вроде бы не говорил тебе, как меня зовут...

— Итак, моё имя Аксиния, а зовут меня «Сова». Можете не представляться, я уже с вами знакома.

Она прошла к перегородке, за которой неторопливо раскладывала ноутбук темнокожая преподавательница математики, и размашисто вывела губной помадой на толстом стекле девятизначный код.

— Кто в курсе, что это такое, могут свериться.

Энрике смотрел на неё, по-прежнему ухмыляясь недобро:

— Так ты ещё и не простая пташка, А-Кси-Ни-Я? Где нахваталась премудростей? Там учили только ковыряться в кодах или чему полезному? Я слышал, хакерши изобретательны в

постели — другая логика, другие эмоции...

Теперь Аксиния повернулась лицом к нему и медленно, сопровождая каждый шаг порцией информации, направилась к мексиканцу.

— Видишь ли,

чико, — сказала она, делая первый шаг, — если тебе много рассказывали о хакерах, то ты знаешь, что это не те люди, с кем имеет смысл портить отношения. Чокнутые мстительные существа не от мира сего. Ты цепляешь одного из них, а потом в прачечной сбивается режим стирки и даже самые крепкие ткани расползаются на отдельные нити. Ты приходишь домой и находишь в холодильнике закипевшее пиво. А счета за телефон и свет в конце месяца стирают тебя с лица земли.

Теперь она уже стояла в полушаге от Энрике.

— А дружелюбный хакер — такой, которому ты оставляешь шанс следовать своей дорогой. Я родилась и прожила четырнадцать лет в Гарлеме, там любой подтвердит это правило.

Здесь можно было бы добавить о «пользе дружбы» — маленький рекламный ролик о бесплатных билетах на концерты, вскрытых экзаменационных программах, скидочных картах на машинный спирт... Но в Гарлеме её успели научить не прогибаться.

— И мне не хотелось бы с тобой ссориться. Потому что тогда ты не сыграешь мне «Детройтадо», — широко улыбнувшись, Аксиния забила в эту беседу последний гвоздь. Ни один музыкант не устоит, когда просят исполнить его лучшую песню.

— Оставь её, Энрике, — вмешался Джош. — Русская из Гарлема — это, по крайней мере, прикольно. — И, уже обращаясь к Аксинии, не издеваясь, а, скорее, возвращая должок, добавил: — Никуда от них не спрячешься. Всюду русские идут.

И ослепительно осклабился в тридцать два зуба. Рич «Белее Белого»

«Хантер-Люкс» — турбоводородный двигатель, удлинённая база, сверхлёгкая керамическая броня, динамическое затемнение стёкол, символ беспокойного успеха и агрессивной надёжности — остановился перед ржавым шлагбаумом на въезде в Совсем Цветную. Эта часть Детройта уже давно жила как бы сама по себе, и здесь Рич держал одну из своих лучших точек.

Из-за обрушенной кирпичной стены завода, ставшей форпостом, появилась чёрная фигура стража порядка. Последнего белого полицейского здесь видели лет десять назад. Толстым и хищным стволом новенького «АК — двадцать первого» страж показал, что надо открыть окно.

На переднем сиденье «хантера» застыли, как богомолы, водитель и телохранитель — намибийцы. Даже не шевельнулись, когда страж провёл по их лицам лучом фонарика.

— Привет, ребята, — тем не менее сказал тот. — Привет, Рич! — в заднее окошко, открытое ровно настолько, чтобы стала различима нереальная белизна кожи пассажира. — До сих пор в толк не возьму, как белый смог приручить таких зомби.

Рич усмехнулся:

— Там, где не справится белый, нужен супербелый.

Шутка была старой и известной, но нравилась всем, передавалась как анекдот и, в целом положительно, работала на имидж хозяина брейн-студий восточного побережья.

Страж поднял шлагбаум, машина бесшумно двинулась вперёд, лишь похрустывая стираемой под колёсами в порошок кирпичной крошкой.

Совсем Цветная не имела чёткой границы — в центре города не было ни блокпостов, ни заброшенных баррикад. Салон, куда ехал Рич, стоял как раз на границе «совсем» и «не совсем» цветной зоны.

Безмолвный телохранитель на время превратился в носильщика — тяжеленный металлический кейс оттянул его руку до земли. Лифт-клеть вознёс их на самый верх полузаброшенной многоэтажки. Рядом с кнопкой последнего, тридцатого, этажа была аккуратно приклеена цветная бирочка-указатель: «Брейнинг-салон „Другое Прошлое“».

Мальчишка ждал у себя — как всегда, жизнерадостный и возбуждённый встречей. Ему работа до сих пор казалась романтикой.

Стены салона прятались за бесконечными стеллажами. Флэш-плакаты с рекламой лучших роликов отвлекали взгляд, как виды из окон скорого поезда. Две брейнинг-установки, собранные на основе старых стоматологических кресел, с тяжёлыми колпаками транзиттеров, придавали салону вид парикмахерской. Беременная негритянка, сестра Джоша, по-утиному прошлёпала к лифту, невнятно поздоровавшись и попрощавшись одновременно. Рич вёл дела только с мальчишкой.

Обычно Белее Белого сам не приезжал — только передавал новые записи с курьером. Но сегодня у них был повод пообщаться лично.

Сначала «махнулись чемоданами». Телохранитель положил на стол и открыл кейс. В пенопластовой противоударной форме ровными рядами лежали бруски тёмного коньячного стекла, каждый размером с сигаретную пачку — брейн-карты с записанными роликами. Заказ клиентов салона.

Такой же кейс уже стоял в собранном виде и у Джоша. Возврат. Давно не продававшиеся записи либо, наоборот, срочно запрошенные другим салоном Рича.

Брейн-бизнес уникален тем, что каждый ролик существует в единственном экземпляре — как восковые валики дограммофонной эры. Никто ещё не научился дублировать аналоговую запись потока памяти. Да будет так, считал Рич. Штучное всегда лучше фабричного.

Чтобы впаять себе в память какой-нибудь раскрученный ролик, клиенты строились в очередь за месяцы. Они щедро оплачивали возможность почувствовать себя в шкуре тех немногих артистов, политиков, звёзд рекламы и прочих «людей на виду», кто согласился отказаться от кусочка своих воспоминаний и сделать его достоянием общественности.

Но основную часть оборота любого салона составляли тематические записи совершенно неизвестных людей. За карманные деньги можно завладеть кусочком воспоминаний чужого человека — разве не здорово? Проскакать на лошади, даже если у тебя нет ног, нырнуть к коралловому великолепию полинезийских атоллов, пригубить эспрессо, сидя в тени Колизея... Сделать или почувствовать что-то, недоступное тебе в этой жизни, потому что твоя жизнь просто этого не предполагает. Примерить на себя то, чего боялся, испробовать запретное, узнать недоступное. В полном спектре чувств, ощущений, эмоций, настроений — но не поглощая чужое, а укладывая его в память на отдельную полочку.

Ричу нравился брейнинг. И как работа, и как философия. Он не брезговал роликами и регулярно впаивал себе то, что казалось достойным внимания. В конце концов, он же не наркодилер, собственный товар нужно пробовать.



Пока Джош расставлял поступившие брейн-карты по стеллажам, а телохранитель проверял возврат, Рич стоял у окна, пытаясь в далёком тумане разглядеть, как за тёмной рыбьей спиной острова Беллайл река превращается в озеро Сент-Клер. В Детройте он чувствовал себя лучше, чем где-либо. Мёртвые улицы, выбитые окна и расписанные заборы — основа постиндустриальной эстетики. Красота умирания и перерождения.

— Теперь расскажи о девчонке, — сказал Рич, видя, что Джош закончил. — Ты ей всё грамотно объяснил? Неожиданностей не будет?

Мальчишка не ответил, давая понять неуместность вопроса.

— Контракт читала? Вопросы есть?

— Да, — ответил Джош. — Нет.

— Она здесь?

Джош кивнул в сторону подсобки.

— Только, пока я её не позвал, Рич... Ты заявку про спорт видел?

У мальчишки был отличный нюх на провокацию — письмо, которое он перекинул перед обедом, выглядело невинно и скучно, запрос как запрос. Только в нём шла речь о Джоне Смите, а с этим именем была связана история странная и незаконченная.

Знаменитый спринтер из Иллинойса — чистокровный ирландец, что делало его дар уникальным в абсолютно «чёрном» виде спорта, — установил новый рекорд мира на стометровке во время недавней нью-йоркской Олимпиады. Обогнав пятерых своих товарищей по команде, хотя до финального забега показывал только седьмое время.

Сообщение о положительном тесте на допинг прозвучало лишь сутки спустя. Смит, как водится, от всего отказывался и даже ссылаясь на подмену пробирок — якобы стимулятор принял прибежавший вторым Аткинс-«Носорог», тоже показавший лучшее персональное время. Уже лишившись медали и членства в Федерации, Смит продолжал упорствовать. Дал совершенно неполиткорректное интервью в «Нью-Йорк Таймс», где обвинял тренера сборной в желании видеть на пьедестале «американскую чёрную тройцу», и всё в том же духе.

И история эта постепенно забылась бы, поросла мхом и уползла в архивы, если бы не...

Если бы не разбился в лаборатории лоток с пробами крови того злополучного забега. Если бы представитель антидопингового комитета, курировавший лёгкую атлетику, не был найден месяцем позже на дне Гудзона. И если бы Джон Смит не пустил себе в голову пулю сорок пятого калибра у ворот Белого Дома.

А потом на брейн-рынке одна за другой стали всплывать записи забегов Смита за два-три последних года. А это означало, что сумасшедший бегун, до того как покончить с собой, стёр из памяти, перенеся на брейн-карты, все лучшие моменты своей жизни. Все, кроме финального олимпийского забега.

В поисках недостающей записи — если таковая вообще существовала — федералы перетряхнули всех брейнеров. С нулевым результатом. И теперь анонимный автор пришедшей заявки совершенно не внушал Ричу доверия.

— Просто не отвечай. Этому парню нам предложить нечего.

— О'кей, — мальчишка кивнул. — Вести?

Рич сел в расшатанное кресло, достал сигарету, покрутил в пальцах и спрятал обратно в пачку. Джош открыл нараспашку дверь в соседнюю комнату.

— Познакомься, Рич...

— ... Это Лейла.

В комнату вошла симпатичная турчаночка, напряжённая и заранее напуганная.

— Лейла, это Рич. Лучший продюсер брейн-роликов в Америке — по крайней мере, изо всех, кого я знаю.

Девушка улыбнулась. Рич внимательно следил за её мимикой, повадками, движениями. Если у объекта плохая пластика, клиенту передастся ощущение неудобства и неуклюжести, и ролик будет обречён. Брейнеры давно объединили данные о своём «имуществе», и оценка ролика каждым клиентом влияла на его последующие продажи и цену.

Рич знал, что внешность альбиноса, как правило, людей поначалу отпугивает. Он научился преодолевать это за счёт обаяния и остроумия.

— Привет, Лейла! Садись! Джош сказал, что ты хотела бы попробовать в сюжетных роликах. — Рич считал себя обязанным лично беседовать с каждым, кому предстояло калечить память. — Ты наверняка слышала, как проходит брейнинг. Расскажи мне.

Лейла чуть нахмурилась, будто в школе на уроке:

— Мне нужно будет просто проехать куда-то. Внимательно всё разглядывать, стараться получить удовольствие. Не думать о своих домашних делах. А потом вы сделаете мне брейнинг, и я всё забуду.

— Всё правильно, — сказал Рич. — Цепочки в твоём мозгу, где сохраняются воспоминания о путешествии, разрушатся под воздействием брейнинг-установки, а резонансные волны будут записаны на брейн-карту — аналоговый носитель памяти. Ты не просто забудешь то, что делала, — этих событий вообще не останется в твоей голове.

Лейла согласно кивнула.

— И ещё. Помни, что одна брейн-карта стоит почти полтысячи. За пустую болванку! Только от тебя зависит, насколько яркой и красивой получится запись. Не меньше ста человек должны захотеть взглянуть на мир твоими глазами, почувствовать его твоим телом, запомнить твоими ощущениями. Это минимум, оправдывающий расходы. Чтобы застраховать себя от рисков, мы обязаны сделать пробник. Ты придумала, каким событием своей жизни готова поделиться?

Девушка снова торопливо закивала. Ничего из этого хорошего не получится. Рич встал, слегка потянулся. Он редко ошибался в своих прогнозах. Но всё равно надо пробовать и пробовать. Хороший объект для брейнинга — это камень в основании пирамиды. Турчанка тоже поднялась. Рич улыбнулся:

— Тогда пойдём. Солнечный Джош

О странной новенькой — «событии номер один» того дня — Джош Ричу не сказал ни слова. Наверное, должен был — девчонка вполне могла покопаться в их переписке, — но что-то помешало.

Аксиния утвердилась в классе за считанные дни. «В темноте я бы принял тебя за цветную», — как-то сказал ей Энрике, и это было комплиментом. Джош и сам видел, что те мелочи, которые всегда мешали белым перестать бояться чёрных, а чёрным — почувствовать себя наравне с белыми, для Аксинии словно бы и не существовали. Она понимала «респект», слушала и знача рэг-рэп, могла поспорить о вудуизме или о стрелковом оружии.

Джош косился на неё украдкой, опасаясь, что его внимание будет замечено. Ему нравилось смотреть, как её невесомые пальцы танцуют над клавиатурой, как спадает на лицо золотистая прядь, как...

Вскоре Аксиния легко и непринуждённо вошла в их небольшую компашку. Зависала вместе со всеми у школы, рылась у Джоша в салоне в поисках интересных и дешёвых роликов, стояла на шухере, когда Мустафа раскрашивал в цвета национального флага случайно захваченную в квартал полицейскую машину.

Но что-то всё равно шло не так. И касалось это не только Аксинии.

Прежде всего, в классе стало на трёх человек меньше. Ни Хосе-Койота, ни Родриго, ни Мигеля в школе больше не видели, и одни слышали от родственников, что парни, переломанные, лежат в больнице, другие утверждали, что видели всех троих на пароме, перевозящем эмигрантов в Канаду, а третьи ссылались на тюремных дружков и плели совсем уж небылицы с криминальным уклоном. Джош склонялся к мысли, что если даже родители Койота молчат, это значит, что на всех здорово надавили.

И тем внимательнее присматривался к мистеру Адамсу.

А тот как ни в чём не бывало продолжал уроки истории и делал это неплохо. Разбазаривал каждый урок по сто долларов, а то и больше. Никому из школьников не пришло в голову рассказать о нововведении кому-либо из старших.

Впрочем, история Адамса была интересна не этим — он умудрялся каждый раз привязать какие-то древние события к сегодняшнему дню. Если говорили о племенах, заселявших Америку до Колумба, то разбирали их обычаи, традиции и различия. И становилась понятнее возможная причина поножовщины в одной из резерваций на прошлой неделе. Если вспоминали вывоз рабов из Африки, то опять-таки разделяли Африку на зоны и смотрели, что где происходило и какими народами была заселена Америка. У Адамса обнаружился редкий дар рассказчика. Джош, как и все остальные, вроде бы отчётливо понимал, что все эти знания не пригодятся никогда и никому, но снова и снова, как кролик перед питоном, застывал, слушая преподавателя.

Адамс никогда подолгу не останавливал взгляд на ком-либо из учеников, кроме Аксинии. Её он изучал пристально, но исподтишка, также как Джош. Словно ждал чего-то. Она не замечала этого — или делала вид, что не замечает.

Однажды Джош не выдержал и спросил Аксинию напрямую, что мистеру-чёртову-Адамсу от неё нужно. Вместо ответа получил вопрос:

— А почему тебя это беспокоит?

Растерялся только на секунду:

— Потому что... Потому что он похож на маньяка!

— Видел многих? — Её явно забавлял разговор.

— Я-то? — Джош аж задрал подбородок. — Ты забыла, где я работаю?

— Расскажи! — тут же наострила уши Лейла, сама на себя не похожая, с новой причёской, в модном колье и серьгах из искусственно заржавленных пластин, — видимо, работа с Ричем давала положительный результат.

— Правда, расскажи! — подключились Энрике и Мустафа.

— Маньяки, — со значением начал Джош, — бывают трёх типов. Самые простые — помешанные на сексе и физиологии. Впайвают себе бессюжетную лабуду, типа «Натали скачет на ослике» или «Первая ночь Барбары». Вторым подавай экстрим — побольше кровищи, боли и грязи. В основном бывшие рейнджеры, ветераны — воевать уже не берут а агрессия осталась. Такие могут ходить зимой в тапках на босу ногу, а пособие спускать на ролики. Недавно загребли одного мафиози, так он, до того как его взяли, чуть не полмозга себе зачистил. Там тебе и тазики с цементом, и стрельба-пальба, и иглы под ногти, и утюги на спину. А на суде говорит — не помню! Ничего, говорит, не помню, клянусь Мадонной!

Все засмеялись. Лейла наморщила нос:

— Неужели кто-то покупает пытки?

Джош цокнул языком:

— Ты удивишься! И о том, как ты, и о том, как тебя. Но самые жуткие маньяки — это третий тип — наподобие нашего мистера Адамса. Ходят, бродят по салону, прицениваются, а что им надо — непонятно!

И, под общий хохот, сделал страшное лицо.

На следующее утро перед уроками Аксиния подозвала Джоша и открыла ему на своём наладоннике коротенький документ.

С угла стандартной учётной карточки на Джоша смотрел сильно помолодевший мистер Адамс.

— И что это значит? — Ох, как не хочется слышать правильный ответ!

— Только то, что ещё год назад наш славный преп работал на Федеральное Бюро.

Аксиния почти натурально улыбалась. И Джошу очень хотелось её защитить — от чего, он пока не понимал.

Намечался день рождения Аксинии. Проблема выбора подарка сводилась к вопросу, о чём ролик. Самая дешёвая впайка стоила, как хот-дог, а долларов за двадцать можно было купить уже целое путешествие.

Только Аксиния недавно отличилась, подарив Энрике набор серебряных струн, чем окончательно растопила державшийся между ними холодок.

Джош задумчиво бродил между полками, выбирая, и выбирая, и выбирая. Пытаясь найти что-то, что подчеркнуло бы его индивидуальность через кусочек чужой памяти. Пока не получалось.

Заурчал лифт. Когда дверная решётка уползла вверх, зарёванная Лейла чуть ли не кубарем

влетела в салон, следом появился Мустафа. Джош никогда его ещё таким не видел.

— Я тебя здесь сейчас прирежу, ты понял? — От ярости турка перекошило, он оттолкнул Лейлу, пытавшуюся обнять его, и пошёл Джошу навстречу. — Я тебе вышибу мозги, придурок! Ты что с ней сделал?

— Что? — недоумевая, спросил Джош.

Промелькнула пара мыслей насчёт Лейлы и Рича, или друзей Рича, или сотрудников Рича — но это был бред, Белее Белого никогда бы такого не допустил.

— А то, что она ничего не помнит! Она продала за деньги свою жизнь!

— погоди, Мустафа, — Джош примирительно выставил руки перед собой. — Ей делали пробник — это маленький кусочек памяти, какое-то одно небольшое событие.

Лейла заревела в голос, снова безуспешно пытаясь приблизиться к Мустафе.

— Одно событие, мозговед хренов?! Да, одно — как мы чуть не свалились с Фишер-Билдинга. Хотели вылезти на крышу по лесам, а там оказались гнилые доски. Да, одно — как мы удирали от копов на мотоцикле Хосе, когда выехали сдуру в белый пригород. Как мы с ней первый раз поцеловались, урод! Тоже — одно событие! Я сначала не понимал, почему она так охотно улыбается и поддакивает, когда я вспоминал о чём-то таком. А потом въехал: она же ничего не помнит! Твои дружки зачистили ей мозги. Мы встречаемся три года, ты понял? А она забыла всё важное, что у нас было...

— Не всё-о-о-о, — заныла Лейла, — я много чего помню. Просто на сюжетке ничего не получалось, а так хотелось делать ролики...

Понемногу Джош успокоил и её, и Мустафу, тогда удалось добиться более связного рассказа.

Белее Белого снял пробник, не покидая Детройта, — вместо третьего ряда сидений в его «хантере» располагалась мини-студия.

— На что это похоже? — спросил Джош, до сих пор не видевший, как делается брейнииг.

— Что ты им отдала? — спросил Мустафа, стараясь, чтобы его голос не звучал угрожающе.

— Когда мне было шесть лет, — Лейла шмыгнула носом и поправила волосы, — мы с родителями попали под дождь, когда возвращались с бабушкиной фермы. Отец как раз утилизировал машину по «бензиновой поправке», и часть компенсации мы тратили на поездки к родственникам. Дождь застал нас в поле. Каждая капля была размером с вишню и тёплая. Родители побежали к автобусной остановке, взяв меня за руки, и я шагала как великан, а прямо перед нами, — она наискось махнула рукой, — встали две радуги.

— Почему же ты

это помнишь? — с подозрением спросил Мустафа.

Она посмотрела вызывающе.

— Потому что когда-то писала сочинение «Лучшее лето в моей жизни». Перечитала. Только теперь одни слова и остались. И не заметила, как. Шлемы — те же, что здесь у тебя. Большая консоль, несколько экранов. Закрываешь глаза, ложишься. Он всё спрашивает: что помнишь, что ещё в тот год было, и про бабушку и про папу, и какая была машина, и, наверное, я потом заснула ненадолго. А потом — всё. Тридцатисекундный ролик.

Джошу стало не по себе. Вокруг них в мягком поролоне спали тысячи человеческих жизней — чутким сном, готовым войти в любого, кто заплатит несколько долларов.

Тестеры в Нью-Йорке и Вашингтоне все как один выставили пробному ролику максимум по всем параметрам. Чёткость восприятия, детализация, временной и логический план, эмоциональная окраска, баланс чувств и ощущений.

Удивлённый Рич не задумываясь предложил Лейле ужин с известным киноактёром. Тот не решался или не хотел заняться брейнингом сам, но готов был «поучаствовать».

Поездка на восток, шикарный отель, берег океана, вечернее платье и сам Как-Его-Там. Седые виски, лучезарные морщины, знаменитый чуть картавый говор и сногшибательная хрипотца в голосе. Омары и устрицы, фуа-гра, кир из «Дом Периньон» и всякие прочие излишества. Репортёр, изводящий гигабайты в ожидании выигрышного кадра для будущей рекламы. Сценарий — выигранная в лотерею встреча с любимым артистом.

И полный провал. Лейле-то казалось, что всё идёт хорошо. Ей действительно понравился вечер, она по-честному радовалась жизни, и когда Рич сказал ей, что ролик запорот, просто отказывалась верить. Оказалось, что даже разговаривая со звездой, она то и дело «соскальзывает» — отвлекается, начинает думать о доме, о школе, о том, что, вернувшись, расскажет подругам. И на брейн-карту эти обрывки мыслей легли на первый план, а великолепный ужин, ожидаемый тысячами поклонниц по всем штатам, записался лишь смутным малозначащим фоном.

С полным диском никому не нужных фотографий в виде утешительного приза Лейла вернулась домой. Надо отдать должное Ричу, он предпринял ещё одну попытку — приблизительно с тем же результатом.

А Лейле хотелось сниматься. И полученный за пробник скромный гонорар только раззадоривал. Она нашла Рича и пересказала ему ещё несколько историй из своей жизни. Тестеры готовы были оторвать материал с руками. И вот.

— Давайте, — не слишком уверенно предложил Джош, — я попрошу Рича привезти все снятые ролики. Ты же можешь посмотреть их

обратно...

— Джош, — Мустафа дёрнул головой, словно получил пощёчину, — ты хотя бы себе не ври, а? Даже если ролики лягут удачно, у неё в голове появится что-то про девушку Лейлу. Она никогда не почувствует, что это было с ней самой, правда?

Джош кивнул. А ещё запись могла лечь неудачно. Из-за возможных последствий перезапись ролика объекту считалась неоправданным риском.

— Сколько роликов вы сняли с Ричем? — спросил он.

Лейла помедлила, а потом почти шёпотом призналась: пятьдесят. Мустафа просто онемел — видимо, он ещё не обо всём её расспросил до прихода к Джошу. Пятьдесят, и за всё Рич платил день в день после оценки тестеров. И кому какое дело, как она зарабатывает эти деньги. Потому что сейчас открыты квоты и они уже почти накопили на канадскую визу для всей семьи... Но тут Мустафа сорвался.

— Шлюха!!! — заорал он, вскакивая с кресла и пытаясь ухватить Лейлу за волосы через стол.

Она пискнула мышью и бросилась прочь, к лестнице. На улице стояла ночь, светящиеся снежинки хаотичным роем неслись мимо окон вниз, к бело-бурой земле, бело-чёрным крышам, бело-серому асфальту.

— Ещё и дура, — констатировал Мустафа. На шестидесяти неосвещённых пролётах можно было не только сломать ноги. Турок подошёл к той двери, через которую только что выбежала Лейла, и, прежде чем выйти, обернулся к Джошу и сказал, сухо и беззлобно:

— Ты мне жизнь сломал.

— Алло, Рич?

— Привет, Джош! Как сестра — ещё ходит на работу?

— Рич, у меня есть тема для ролика.

— Кто-то из знакомых?

— Я сам.

— Хм.

Долгая пауза.

— Продаваемо?

— Рич, я хочу сделать запись за свои деньги. И не выставлять её на продажу.

— Ты знаешь, сколько стоит один ролик?

— Лучше всех. Мистер Адамс

Кто из них вырастет? Есть ли хоть одна полезная частица в этой свалке шлака?

Адамс крутил на экране туда-сюда список своего заветного класса. Было ещё раннее утро, он заранее проскользнул в «клетку», чтобы разминуться с нудной корейкой.

Включил радиоканал. Под разглагольствования безымянного проповедника о гордыне в спорте неторопливо проверил почту, набросал пару писем и теперь медитировал перед монитором, намечая дальнейшие шаги.

Если растить поколение за поколением на фальшивых идеях, как скоро фальшь станет истиной или хотя бы правдой? Можно ли ради личной свободы каждого в отдельности душиТЬ всех скопом? Подрезать крылья первым для самоутверждения вторых? Холить и лелеять агрессивную посредственность, приучая скот не отбиваться от стада? Кого мы хотим обмануть?

Почему я не историк, подумал Адамс. Не историк в полном смысле слова, не книжный червь, дрожащий над манускриптами и черепками... Тогда я смог бы попробовать найти настоящие ответы, пусть даже только для личного успокоения.

Но такой возможности уже не представится. Другая работа — другая забота.

Щёлкнул по клавишам, прождал несколько гудков. На экране наконец открылось окно терминала и на Адамса уставилась широкая курносая физиономия.

— А, ты... — позёвывая, сказал человек на экране.

— Привет. Микола! — сказал Адамс. — Нужна твоя квалифицированная помощь.

Когда всё было согласовано, класс уже наполнился. Пустоглазые разгильдяи, выряженные в цвета «Тайгерз», «Лайонз» и «Рэд Вингз». Расфуфыренные молодухи, несущие перед собой перламутровые губы и километровые ресницы, но не подозревающие, что боттичеллиеву Венеру им переплюнуть не суждено. Жизнерадостные призраки мёртвого города. Да нет, мёртвой страны.

Или это я в перманентном неверии и отчаянии превратился в сноба? Ведь каждый чем-то одарён по-своему. Может, прямо здесь, передо мной сидят новые Линкольны и Маршаллы, Апдайки и Хемингуэй? Только что же этого не видно? Хоть бы намёком...

«Здравствуй, Сова!» — мысленно поздоровался Адамс, обедев взглядом класс и привычно остановившись на Аксилии. Аксилия

Праздник всё-таки удался, хотя ничто не предвещало веселья. Лейла избегала встреч с Мустафой. Мустафа не разговаривал с Джошем. У Энрике умер в тюрьме брат. Сама Аксилия чувствовала себя мухой в паутине и пыталась понять, хотя бы в какую сторону дёргаться.

Она разыскала Адамса в городе, запеленговала его точки входа в сеть, за деньги — тут уже за реальные наличные деньги — купила доступ к его почтовым каналам.

Те письма, что казались ей подозрительными, Сова отслеживала «до дверей адресата» — и дальше наводила справки, «кто в тереме живёт». Как правило, в тереме жило Бюро.

Но составить мозаику из переписки своего преподавателя Аксилия по-прежнему не могла. Адамс что-то искал — и в ходе поисков упёрся в Детройт, конкретную школу, конкретный класс. Впрочем, в его документах, хранящихся в хакнутом архиве, чёрным по белому было написано, что мистер Адамс — майор в отставке, бывший служащий ФБР. Дата увольнения — менее полугодом назад. Ушёл человек с госслужбы — ну и устроился детишкам истории рассказывать. Рождественская сказка, мармелад в шоколаде.

Но даже в паутине хотелось праздника.

Было воскресенье. Собирались в три в подсобке брейнинг-салона — Джош, как всегда, подменял Наоми. Но первым Аксилию выцепил Мустафа и, наводя тень на плетень, попросил по дороге пройти мимо его двора.

Это был совсем заброшенный угол когда-то большого сквера. Когда вырубил деревья, освободившееся пространство размежевали несколькими заборами и один кусок оказался «нигде». Мустафа и Аксилия прыгнули туда с крыши заброшенного гаража.

— Нравится? — робко спросил турок.

Вся внутренняя стена превратилась в панорамную картину. Подумать было страшно, сколько спрея понадобилось Мустафе для такого бетонного полотна.

Взявшись за руки, как на детских рисунках, вереницей шли люди. Чёрные, белые, жёлтые, красные, даже один зелёный. Совсем Цветная в натуральную величину. У всех в головах были приоткинута небольшие крышечки, но не кроваво-трепанационно, а деликатно, как у чайников или кофейников. Из многих голов росли цветы. Солнечные георгины, жеманные орхидеи, наглые гладиолусы, жизнерадостные тюльпаны. Люди без цветов в головах казались то ли напуганными, то ли потерявшимися, они озирались, смотрели в небо и под ноги, и ни один из них не улыбался. А на короткой стене, за которой начинались гаражи и сараи, бушевал всеми цветами радуги рынок. Две толстые серые тётки зазывали покупателей



к корзинам, полным свежесрезанных георгинов, орхидей...

— Это из-за Лейлы? — спросила Аксиния.

— Тебе нравится?

— Ты очень талантливый, Мустафа, — сказала Аксиния.

Он подставил к забору ржавую велосипедную раму, и они полезли наверх.

Лейла, не глядя на Мустафу, чмокнула Аксинию в щёку, пожелала «веселухи целый год» и подарила открытку. Энрике выдал бравурный марш, но потом сполз на румбу. Аксиния приоткрыла открытку — внутри, как водится, лежала рекламка брейн-ролика, — прочла название и почувствовала, что краска заливает щёки.

— Что там, что там? — Джош дурачился, выпрыгивал у всех из-за спины, дудел в медный почтовый рожок, неизвестно где найденный, раньше его не было.

Энрике подарил ей вечер фламенко в Гранаде. Мустафа — воспоминания знаменитого хакера, уронившего сеть в тридцати штатах несколько лет назад. Джош подошёл последним.

— Это волшебный горн, — сказал он, вкладывая рожок ей в руку. — Станет плохо — дуй что есть мочи. Я приду.

Он замялся.

— И ещё вот это.

Стандартная подарочная карточка с логотипом салона, но пустая.

— Это сюрприз. Я впаяю его тебе самым последним, хорошо? С днём рождения!

Ему наконец хватило решимости, и он быстро поцеловал её в уголок рта.

Заняться впайкой она собиралась со дня на день. Джош явно извёлся в ожидании, и Аксинии становилось всё любопытнее, что же он мог ей подарить.

Но было не до того. В почте Адамса, поток которой стал понемногу нарастать, она нашла фотографию своего дома. То ли безо всяких комментариев, то ли с рекламной припиской «Хорошие соседи — надёжное жильё», не суть важно. Аксиния не верила в совпадения.

Что им от нас нужно? Кто такой этот Адамс? За кем он охотится — за мной или отцом? Аксиния изводила себя, но не видела и намёка на отгадку. За собой она знала несколько не самых правильных поступков, аукнувшихся в сети. Но это не уровень федералов! Отец? Литературный батрак, опальный журналист, сломанный и сломленный за одну короткую неделю. Кому он сейчас нужен? Какие основы национальной безопасности может всколыхнуть, чтобы вокруг закипели шпионские страсти?

Думала так, а потом обижалась на собственные мысли. Папа, папа!.. Как было здорово во время Олимпиады развернуть свежую, хрустящую газету на нужном развороте — и посмотреть в твои смешливые глаза. Аксиния скучала по Гарлему, по суете, по грязному заливу, а больше всего по той жизни, когда ещё казалось, что они на коне, когда не было стыдно сказать, где и кем работает твой отец...

Думала так и снова обижалась сама на себя.

— Ты дурак! — закричала Аксиния, и перепуганный Джош просто отскочил в сторону. — Ты совсем придурок! Как ты... как ты смел подарить мне такое!

Джош в панике метался по салону, будто у него была возможность на самом деле убежать. Аксиния свирепо меряла шагами проход между стеллажами. У неё после впайки ещё чуть дрожали пальцы. Или это от возмущения?

— Экси, — позвал он откуда-то из-за полок. — Я не думал, что тебе будет неприятно...

Аксиния сняла ботинок и швырнула на звук. Похоже, попала.

— Я просто не знал... Я просто...

— Хватит мямлить! — отрезала она. — Как это удалить?

Джош с ботинком в руках вышел из-за угла. Протянул.

— Экси... А ты хотела бы — удалить?

К такому вопросу Аксиния просто не была готова. Она судорожно нацепила ботинок, подошла к лифту, вместо «До свидания!» ещё раз обозвала Джоша придурком, добавила, что в салон больше ни ногой, и поехала вниз.

Перед глазами плыла бесконечная решётка, заросшие мхом и плесенью перекрытия, реликтовые выступы арматуры. Аксиния не видела ничего этого и понемножку начала улыбаться.

Сначала ощутилось тело. Молодое, чёрное и совершенно, абсолютно не женское. Мозоли на ладонях. Сбитые костяшки пальцев. Давно не стриженные ногти на ногах. Много всего ещё.

Энрике тихонько наигрывает грустное-грустное вступление к своему «Детройтадо». Вот-вот он прошепчет по-испански слова, давно уже ставшие девизом города, — «Здесь жизни нет».

Лейла склонилась над кем-то, сидящим у монитора. Что-то тихонько нащёптывает, начинает хихикать, тыкает пальцем в экран. Потом выпрямляется, и становится видно... Она? Я? Аксиния. Экси.

Торопливо вбивает что-то с клавиатуры, тоже смеётся, оборачивается и говорит...

Неважно, что, потому что яркая и чистая эмоция,

приянь, вдруг затапливает вселенную от края до края, и...

Конец ролика.

У отца есть вещь. Эту вещь хочет ФБР. Если эта вещь попадёт в ФБР, отцу будет хуже, чем сейчас. ФБР заберёт эту вещь, если не сделать этого раньше самой. Четыре постулата Аксинии.

Почта Адамса наполнена конкретикой. Поэтажный план дома. Фотографии отца. Схема проезда на его новую работу. Фотографии мамы и бабушки, сделанные из заброшенного дома напротив. Школьное расписание Аксинии.

А на уроках Адамс улыбается, раздаёт наличность и пытается выяснить, что было бы, если б южане подтянули на свою сторону японцев.

Убеждать отца в чём-то — значит, погрязнуть в философских спорах о чистоте помыслов и праве на поступок. Нехорошо следить за родными и близкими, но ответ нужен срочно.

В украденной почте — описание вещи. Брейн-карта. Ни слова, ни полслова о том, что за ролик внутри, — но Аксинию это и не интересует.

«Па! А ты не видел тут такую штуку прозрачную?»

«Какую штуку?»

«Да во время уборки откуда-то достали, а убрать забыли. Валялась вроде тут в прихожей, а сейчас нету. Тётя Софи сказала, что это брейн-карта, только, по-моему, это ерунда!»

«Твоя тётя, да простит меня мама за такие слова, не отличит брейн-карту от куска хозяйственного мыла!»

Конечно, папочка! Спокойных сновидений! Если тебе захочется ночью что-нибудь где-нибудь поискать... В общем, в инфракрасном диапазоне я не пропущу ничего интересного. Или я не Сова?

Джош делает вид, что обескуражен. На самом деле — сделал бы кувырок через голову, это по глазам видно. Но надо блюсти респект. В Гарлеме всё то же самое.

— Экси?

— Не думала, что появлюсь здесь так скоро... Короче, Джош, я трублю в рожок. Только я его дома забыла. Условно — считается?

Джош повертел брейн-карту в руках.

— Тут ни клейма, ни штрих-кода. Это, вообще, чьё?

— Семейная реликвия. Устраивает?

— Шутки шутишь. Ты хочешь, чтобы я впаял тебе в голову неизвестный ролик на неопознанном носителе? Ты знаешь, скольких увезли в психушку из-за некачественных карт? Или про эксперименты с редактированием роликов? Как ведёт себя человек, которому перетёрли половину полезного объёма мозга — из-за ошибки записи?

Джош завёлся не на шутку.

— У тебя есть что-нибудь попить?

— Сейчас посмотрю.

Джош скрылся в подсобке и чем-то загремел в холодильнике.

Аксиния быстро включила брейнинг-установку, загнала карту в слот, сунула голову в трансмиттер, легла и, пока не успела передумать, нажала кнопку записи.

И скользнула в привычную темноту. Солнечный Джош

— Не подходите к ней, мистер Адамс, — сказал Джош.

Преподаватель, смиренная овечка, замер на полушаге.

— Здравствуй, Джош! — Адамс был нейтрально, по-школьному вежлив. — Решил взглянуть на твою картотеку. Говорят, ты преуспеваешь?

— Крутимся. Много работы, но это ведь хорошо, правда?

Джош понемногу смещался, стараясь занять позицию между Адамсом и брейн-установкой, где замерло тело Аксинии.

— Да, — кивнул преподаватель, — конечно. А я шёл мимо, дай, думаю, загляну. Ведь лишних клиентов не бывает, так у вас в коммерции говорится?

Он шагнул в сторону и задумчиво провёл пальцем по корешкам коробочек с брейн-картами.

— С ума сойти. Целое состояние.

— Застраховано, — зачем-то сказал Джош, улыбнувшись через силу. — Хотели бы что-то конкретное?

— Конкретное. — Адамс повернулся и теперь в упор смотрел на Джоша. — Я уже давно сбрасывал тебе заявку, но ответа не получил. А тут узнал, что тот ролик, который я так долго искал, как раз поступил в прокат.

— Вы про порно в невесомости? — продолжал валять дурака Джош, стараясь выиграть время. Он уже отжал тревожную кнопку.

И стало тревожно, потому что нельзя предсказать, как на приход федерала отреагирует Рич, получающий сейчас картинку и звук с шести скрытых камер. Проще было бы разобраться с отморожками в масках и с дробовиками, чем с этим прилизанным дядечкой.

— Не грубите, молодой человек! Мне нужен брейн-ролик Джона Смита, его финальный забег на нашей замечательной Олимпиаде. Я вижу, что карта пока занята, но это ничего. Я не тороплюсь.

— Да, мистер Адамс, присаживайтесь! — Джош ткнул пальцем в дальний угол, где стоял гостевой диван. Получилось не очень прилично и весьма вызывающе. — Пока запись не закончена, карту из трансмиттера вынимать нельзя, сами знаете. Очень у нас удобный диванчик...

— Я сказал, что не тороплюсь. Но я спешу. Постою рядом с брейн-креслом, с твоего позволения.

Джош предупреждающе выставил руку, и Адамс упёрся в неё грудью.

— Не понимаю твоего нервного состояния, — сказал он. — Это же я, мистер Адамс. Твой учитель истории. Я возьму карту и уйду. Мне ничего от тебя не нужно.

— Эта брейн-карта — не ваша собственность, — произнёс Джош, чувствуя, как сохнет гортань. — А представляясь учителем, вы унижаете моё человеческое достоинство, и такая терминология для сотрудника образования...

Адамс без замаха ударил его левой под рёбра и правой — над ушедшими вниз руками, в основание горла. Джош осел на пол.

— Ещё раз повторяю, мальчик, мне ничего от тебя не нужно! — отчеканил Адамс, нагибаясь

над ним и щупая пульс под скулой. Выпрямился и двинулся к брейн-установке, но Джош с размаху вlepил ему носком ботинка по голеностопу.

Адамс рыкнул, припав на левую ногу, и отвесил Джошу ещё три или четыре сочные оплеухи. Потом, подняв за воротник, как тук с бельём, отшвырнул его к кассовой стойке.

— Не рыпаться, предупреждаю!

Когда Адамс отвернулся от Джоша, он увидел, что Аксиния, ещё не отошедшая от впайки, со смурными глазами, пытается встать с кресла. И зажатая в её дрожащей руке тёмная стекляшка разбрасывает слабые блики по стенам и потолку.

— Хорошо, что ты принесла брейн-карту, — дружелюбно сказал Адамс.

И шагнул вперёд.

Далее произошли два события — но столь синхронно, что слились в одно.

Тяжёлый брусок выскользнул из пальцев Аксинии и с хрустальным звуком превратился в миллион брызг.

Джош, упавший рядом со своим школьным рюкзаком и нащупавший на его дне холодную ребристую рукоять, поднял руку и прямо сквозь ткань выстрелил в тёмный силуэт на фоне закатного неба.

Адамса бросило вперёд и вбок, он ударился лицом о край кресла, с которого поднималась Аксиния, и завалился на пол. Его воротник мгновенно набух красным.

В эту минуту ожил лифт. Рич «Белее Белого»

— Скоро узнаем, — сказал Рич, глядя на сидящих рядом Джоша и его девчонку, притихших, как нашкодившие котята. — Если бы он пришёл сюда от имени Бюро, нам вряд ли бы дали даже войти в здание.

— Это Совсем Цветная, — робко возразил Джош.

— Значит, нас вязали бы ниггеры и пуэрториканцы, если эта мысль доставляет тебе удовольствие. Я склоняюсь к тому, что он работает на себя. По старым завязкам, блат тут и там. Значит, на кону большой куш.

В воздухе пахло щёлочью. Пришедшие с Ричем намибийцы замывали от крови пол и мебель и бинтовали бесчувственного Адамса. Молча, сосредоточенно, быстро.

— И поэтому я должен задать тебе один резонный вопрос, мой юный партнёр. — Альбинос достал из внутреннего кармана красивую дорогую сигариллу и бензиновую зажигалку. — Что же такое, о чём я не знаю, рассчитывал здесь найти этот дырявый господин?

— Здесь не курят, — механически уведомил Джош.

Белее Белого довольно хмыкнул. Один из его помощников приподнял Адамса и взгромоздил себе на плечо. Раненый тихо застонал.

— Не перестаю удивляться, как разнообразно действуют на людей стрессовые ситуации, — сказал Рич на публику, чиркая блестящим колесиком и выпуская первое сизое облачко. — Вплоть до полной потери реальности!.. Джош, я жду ответа.

Мальчишка молча показал рукой на засыпанный осколками пол:

— Карта Аксинии.

— Приторговываешь левым товаром, Джош?

Неожиданно заговорила девчонка:

— Оставьте Джоша, мистер Рич. Этот ролик я украла у своего отца. Кусочек запретных знаний, только и всего.

Белее Белого посмотрел на неё, как на ненормальную.

— Потом договорим, Джош. В сухом остатке — непонятный человек с дыркой в плече и слегка просроченными фэбээровскими документами. Я его увожу и помогаю ему забыть дорогу в Совсем Цветную. А ты больше не используешь моё оборудование не по назначению, договорились?

— Рич... Ты...

— Хочешь спросить меня, собираюсь ли я стереть ему воспоминание об этом со всех точек зрения неудачном дне? Безусловно. Правда, он в отключке, а работая не в диалоге, я наверняка попорчу что-то ещё. Но я не убийца, Джош. Лучше ходить с лёгкой амнезией, чем лежать под землёй. У твоего друга уже сегодня начнётся новая жизнь. Иногда полезнее забыть, чем помнить. Я беру на себя этот маленький грех, чтобы на тебе не повис больший. Вопросы есть?

Рич развернулся и, не прощаясь, зашёл в лифт. Стремительный и высокий. На фоне своей охраны — белее белого. Аксиния

Они остались одни.

Осторожно ступая по осколкам, Джош дошёл до лифта, заблокировал дверь и вернулся к Аксинии. Она кончиками пальцев дотронулась до его разбитой скулы.

— Цел?

Джош задумчиво посмотрел под ноги. Стекло стеклом. Наверное, только в микроскоп можно разглядеть, из чего же сделана брейн-карта.

— Что там хотя бы было?

Аксиния прислушалась к себе, улавливая чужое воспоминание. Чувствуя чужие мышцы. Окутываясь гулом трибун. Замирая в колодках.

Дождь, к счастью, закончился, и солнце стремительно сушит дорожку. Влажный воздух пахнет забегом. Терпкая адреналиновая волна чужого пота, пластмассовый душок покрытия, кислый дымок первого выстрела. Кубинец соскочил в фальстарт. Теперь все будут бояться повтора.

Слева, плечом к плечу, покачивается Аткинс, нюхая воздух горбатым носом. Он бежит на золото. В него вкладываются деньги, его имидж уже пошёл в раскрутку. Аткинс чувствует взгляд, скалит зубы.

«Время белых прошло, — слова тренера. — Ты с последнего парохода, Смит, — говорит он прямо при всех, в раздевалке перед выходом на дорожку. — Никто не ждёт подвигов, парень! Сделай корейца и кубинца. За остальных наших я спокоен — а вот тебе надо постараться».

— Ему просто некому было отдать это. — Аксиния старается, чтобы губы не задрожали,

прижимает их к зубам. — Допинг — это как СПИД, только намекни, и ты один. Его бросили все, отвернулись и забыли вмиг. А папа поверил каждому его слову.

Сотка — это быстро только со стороны. На середине пути дорожка становится бесконечной.

Кислород полыхает в лёгких, разрывая их изнутри. С каждым шагом железные штыри втыкаются в пятки до колен. Взмахом руки можно оторвать себя от земли и улететь в космос.

Аткинс висит чёрным призраком на периферии зрения. И это хорошо, потому что они идут вровень.

«Надо подкрепиться, Джон, — врач команды подкарауливает в уголке и протягивает пилюлю. — Тебе уже не двадцать пять, а эта штука поддержит сердце, чуть снизит кислотность, и безо всякого следа — проверяли в

той самой лаборатории. Давай, давай, ковбой!»

— Эту запись надо было вывозить в Канаду. Или в Китай, или в Мексику — куда-то, где вещи можно называть своими именами. Здесь же... Здесь же одно враньё!

Воздух — патока, воздух — лёд, воздух — ртуть. Остаётся три шага, и нужно вдавить себя в невидимую стену, разорвать мироздание, сломить ход событий. Плевать на антропологические исследования, плевать на гнилые теории. Просто сделать предпоследний и последний шаг чуть быстрее и дальше, чем остальные.

Отбить руку дающую. Блестящая капсула летит к потолку. «Ах ты, тварь неблагодарная!» — Врач кривится, а тренер смотрит оловянными глазами...

Остаётся просто долететь последние сантиметры. Рядом Аткинс падает грудью вперёд на выдохе. Уже чувствует, что его обошли, обогнали, сделали. Остаётся позади и исчезает.

Ноги по инерции несут тело вперёд. Не осталось воздуха, не осталось притяжения, пульс стучит в зубах, плечах, щиколотках, хочется перестать быть. И надо повернуться к табло и посмотреть результат.

Носорог стоит на четвереньках, оперевшись лбом в свою несчастливую дорожку. Какие-то люди бегут навстречу. Нереальные, запредельные цифры разгораются красным на самом большом экране.

«Сдохнешь на дорожке!» — хорошее пророчество перед забегом.

«Смиииииииит!!!» — кричит стадион единым тысячеэтим голосом.

Белый, знай своё место?! Не в этот раз, политкорректные убудки, не в этот раз!..

Джош гладит её по плечам, по волосам, медленно прислоняет к себе. «Здесь жизни нет!» — утверждает размашистое граффити на заваленном заборе автопарка. Здесь нет будущего, а скоро совсем не станет прошлого. Замерли, прижавшись друг к другу, две смятенные фигурки, чёрная и белая.

Аксиния перебирает пальцами кудряшки на затылке Джоша, смотрит через его плечо на мертвенные воды Сент-Клера и никак не решит, плакать ей... или плакать. \* \* \*

Как вы понимаете, запись абсолютно нелегальна. Ни гарантий, ни претензий. Чисто по знакомству могу впать. Оба брейн-ролика всего по сорок секунд, одно объятие, но подоплёка, чувственный ряд — башню сносит. Новое искусство, амиго!

Парень — восемь долларов, девчонка — пятнадцать. За пару — двадцатка, по рукам?

Николай Желунов

Я обрёл счастье, малыш!

— Эй ты, железяка ржавая!

— Жестянка ходячая, а ну-ка поймай нас!

Я делаю вид, что не слышу. Возможно, я и в самом деле не слышу.

— Эй, дохлятина!

Бац! — звонкий щелчок камня о сталь моего черепа. Я резко оборачиваюсь. Стайка маленьких негодяев замерла у гаражей — на безопасном, как они думают, расстоянии.

Мне ничего не стоит догнать кого-нибудь из них и всыпать по первое число. Но что потом? Весь дом пойдёт на меня войной.

Я отключаю эмоции.

Разворачиваюсь, и мои ноги несут меня к подъезду.

Мальчишки улюлюкают вслед.

В лифте я снова включаю эмоции. Вж-ж-ж, вж-ж-ж — сжимаются и разжимаются мои кулаки, в них достаточно силы, чтобы придушить медведя. Маленькие ублюдки! Сколько они будут меня доставать?

Стоп, говорю я себе, чего ты дёргаешься? Пусть дразнятся, пусть кидают свои камни. Их жизнь — мгновение по сравнению с твоей. Пять-шесть десятков лет пролетят быстро, осыплются осенним листопадом, эти мальчишки станут стариками, они будут охать над своими болячками и считать оставшиеся до смерти дни, а ты... ты останешься таким же. Ты вечен!

Эта мысль приносит облегчение. Я выхожу из лифта, электронным ключом, встроенным в указательный палец, открываю дверь своей квартиры.

И потом, я всегда могу отключить эмоции.

В квартире темно. На серых оконных шторах, на зеркале в прихожей, на стенах, покрытых выцветшими десятки лет назад обоями, тяжело колыхается паутина. Компьютер в углу, почуяв моё возвращение, оживает с тихим гудением. Я прохаживаюсь по комнате, несколько раз приседаю (с пола поднимаются облачка пыли), с удовольствием вслушиваюсь в слаженное жужжание электрических мышц. После профилактики тело работает как новое. Ржавая железяка... какая чушь! Нержавеющая сталь, титан и прочнейший пластик.

Крошечный модем в левом полушарии мозга щёлкает — связь с Сетью установлена. Я откидываюсь на старом скрипучем кресле и закрываю глаза. Отдыхать... отдыхать...

...В лазерной дали медленно плывут белые облака, пушистые, невесомые. Солнце замерло



в зените. Над сверкающей гладью моря подрагивают треугольнички парусов — словно ожившие белые мазки, оставленные на холсте кистью гения.

Сегодня я в Венеции. Вчера был Париж, днём раньше — Иокогама, были ржавые пески Марса, были буйная зелень и ледяной блеск далёких чужих планет. Сегодня — Венеция.

Моя нарядная гондола скользит над нежно-голубыми водами бухты Святого Марка. Элизабет сидит напротив меня, солёный ветер запутался в её рыжих волосах. Платье Элизабет белое, как девичьи сны о замужестве. Мне хочется, чтобы Элизабет молчала, и она молчит. Мне хочется, чтобы она смотрела на паруса, и она не отрывает от них глаз.

— Сделай что-нибудь, — говорю я.

Элизабет плачет.

— Не надо, — говорю я.

Элизабет смеётся.

Гондола с тихим стуком ударяется о причал, и мы спрыгиваем на берег. На Пьяцетта Сан-Марко перед Дворцом Дожей почти никого — потому что я терпеть не могу туристского многолюдья. Мы шагаем по выбеленным солнцем плиткам гранита.

Я был здесь тысячу раз. И напрасно надеялся, что успел всё забыть.

Горизонт затягивают свинцовые тучи. Платье Элизабет становится зелёным в чёрную клетку. В небе над нами маленький белый голубь дрожит от страха. Я беру Элизабет за плечо:

— Мне всё надоело. Сделай же что-нибудь!

— Что?

— Придумай!

Элизабет скидывает платье и ложится на горячий гранит. Её тело бессмысленно в своей безупречности. Элизабет с тоскливой надеждой поднимает глаза, но я уже быстро шагаю прочь. Я не знаю, куда иду.

Внезапно становится очень темно.

Я не хочу, — успеваю подумать я.

Элизабет сладострастно вскрикивает и исчезает, голубь в чёрном небе взрывается фейерверком перьев, Дворец Дожей становится хаосом серых точек и растворяется в пустоте.

Я не хочу! Не хочу не хочу не хо...

Пылинка. Я пылинка в беззвёздном вакууме. Я пытаюсь закричать, но у меня нет рта. Я постигаю пустоту. Время исчезло. Время — секунда, размазанная по ленте Мёбиуса, и у меня нет снов, чтобы заполнить его.

Я хочу отключить страх, но впервые за долгие годы я бессилён сделать это. Я постигаю свой страх. Мне кажется, я слышу, как Смерть разговаривает со мной. Смерть — азартная маленькая старушка, она раскачивается в кресле-качалке рядом со мной и говорит, что я проиграл. Она смеётся голосом Элизабет.

— Уходи, — говорит мой мозг. Рта у меня нет.

Я пылинка. Пустота постигает меня.

Электрический разряд выталкивает меня на поверхность. В сером тумане надо мной плавают два лица. Одно — молодое, весёлое и пьяное, второе — квадратное, металлическое и бесстрастное. Это робот. Он говорит мне:

— Очнулся, брат?

— Какой он тебе брат, дурик? — хохочет человек в белом халате. — Он же не робот!

— Но

это помогает ему как роботу. — серьёзно отвечает второй и снова бьёт меня разрядом тока в грудь. Я вздрагиваю, и мой рот издаёт звук «а».

Я жив!

— Вы в машине «Скорой помощи», — говорит мне человек, в руке его золотистая банка лимонного пива с корицей, — к вам домой нас направил институт, потому что вы три раза подряд пропустили профилактику и на звонки не отвечали. Доктора уже начали беспокоиться!

Вот оно что...

— Электричество в доме отключилось на миг, — добавляет робот, — и в твоей башке произошло небольшое замыкание. Ты три месяца провалялся в отключке. Не волнуйся, брат, сейчас тебя починят.

— Он тебе не брат, — нахмурившись, повторяет человек.

— Антон Александрович!

Институт экспериментальной трансплантологии — стеклянно-золотой храм с высокими округлыми потолками. Здесь тихо и малоллюдно, и это хорошо. Я иду по залитому вечерним солнцем коридору и слушаю долетающий из-под мраморных сводов шёпот погибших душ. Когда-то давно меня сделали здесь таким, каков я есть сейчас. Каким я буду вечно.

— Антон Александрович!

Моё тело прошло профилактику, оно сильное и прочное; мозг — переплетение миллиардов крошечных проводков — работает великолепно.

— Антон Александрович! Подождите!

Мои ноги останавливаются.

Мальчику, наверное, лет тринадцать. У него чёрные глаза, похожие на ягоды, чёрные прямые волосы и очень смуглая кожа. На нём апельсиновая футболка и джинсовые шорты.

Он говорит, что читал обо мне. Он говорит, что для него честь познакомиться со мной. Он говорит, что восхищается мной.

Я жду насмешек, но их нет.

Мальчик смотрит на меня своими ягодами, и я вижу каждый тоненький волосок над его пухлой верхней губой.

— Чего тебе? — спрашиваю я, а мои ноги уже несут меня прочь.

— Антон Александрович, — не отстаёт он, — мне о вас рассказал мой отец, он здесь работает...

— Какое тебе дело до меня?

— Я просто хотел с вами поговорить...

— Почему именно со мной? Здесь сотни таких, как я.

— Но вы были первым!

Он прав. Я был первым из многих. В груди моей пульсирует изумрудная горячая лампа — подзабытое чувство гордости. Апельсиновая футболка маячит в поле периферического зрения.

Мальчик говорит, что его зовут Виталик. Он говорит, что, когда вырастет, тоже купит стальное тело. Он тоже будет жить вечно.

Через сто лет после моего второго рождения у меня появился поклонник.

Мы идём мимо футбольного поля, и мальчишки кричат мне: «Эй, ведро с болтами!» — и «Эй, живой труп!» — и «Возвращайся на свалку!». Виталик разбивает одному из них нос (тёмно-красная кровь капает на усталую землю), а другого кормит песком, остальные убегают прочь в страхе.

Ночью мы сидим на крыше небоскрёба, и Виталик плюёт вниз, наблюдая за падением слюны в сияющую миллионами огней бездну.

— Я был уже стар, — говорю я, — моё тело стало дряблым и больным, а разум стал похож на сухое дерево, поедаемое червями. В моём меню было больше лекарств, чем еды. Каждую ночь во сне ко мне приходила Смерть, старая паскудница, и хриплым голосом звала идти за ней... Я отправился в институт к этим умникам и попросил их помочь. Это потом уже институт превратился в храм трансплантологии, а тогда это был обычный НИИ... Сперва они рассмеялись мне в лицо, потом задумались, а когда я назвал им сумму — принялись вкалывать, как трудолюбивые обезьянки. Сначала мне сделали руки, и я забыл, что такое артрит. Потом — сердце, лёгкие, печень, желудок, и я навсегда распрощался с тахикардией, одышкой, циррозом и гастритом. Позже внутренние органы удалили за ненадобностью. Труднее всего было сделать мозг, скопировать память... но и с этим они справились. Мне было очень тяжело. Мне было очень больно. Но оно того стоило.

— Вы победили смерть!

— Смерть не властна надо мной.

— Сколько же вам лет?

— Сто восемьдесят. Я ещё очень молод.

Я пылинка. Пустота постигает меня.

— Это здорово, да? — отстранённо спрашивает он.

— Да, — говорю я — и думаю о паутине на зеркале в моей квартире, «да», говорю я, потому что не хочу снова слышать дребезжащее хихиканье Смерти.

— Да, — шёпотом повторяет мальчик, он подходит ко мне и прижимается к моему холодному телу из нержавеющей стали, титана и пластика.

— Живи долго, живи очень долго, — говорят мои губы, — а в конце не нужно будет терять этот мир. Будет продолжение. Вечное продолжение.

— Мой отец распланировал мою жизнь за меня, — хмурится Виталик, — я не хочу делать то, что он скажет, и ждать столько лет. Я хочу быть как вы.

— Мне недоступно многое...

— Я знаю. Мне это не нужно.

Мальчик приходит ко мне каждый день. Он говорит, что у него нет друзей, кроме меня. В нём очень много гордости и презрения к окружающим, я это вижу. Что ж, иногда эти чувства свойственны юности.

Его отец позвонил мне и запретил общаться со своим сыном, поэтому Виталик приходит ко мне тайно.

— Отец обещает убить меня, если я сделаю это, — говорит он сквозь зубы, — посмотрим, что он скажет, когда я приду к нему в новом теле.

— Электричество — моя кровь, — учу его я, — электричество и сталь вместо слабой плоти. Электричество поёт в небе над городом, оно кусает хвостики моих мыслей в дальнем тёмном уголке мозга. Электричество — это камешек, порождающий лавину. Электричество делает вдох, и триллионы кузнечиков яростно стрекочут в полях; оно делает выдох, и далёкие галактики гаснут, истекая фиалковым страхом.

— У меня есть деньги на операцию, — говорит мальчик, — я два года брал у родителей понемногу.

Много лет назад я попробовал завести щенка, но зашёл в Сеть и забыл о нём, и бедняга умер от голода. Странно, я всё ещё помню об этом.

В один прекрасный день мальчик приходит ко мне изменённым. Я встречаю его на улице, рядом с моим домом. Он идёт по проспекту в своей апельсиновой майке, и волосы его горят чёрным пламенем в лучах солнца, а в его глазах страдание и счастье.

— Вот, учитель, — говорит он и протягивает правую руку. Солнечные блики, отразившись от неё, бьют мне в глаза. Его стальные пальцы сжимают мою ладонь (клацающий звук). До локтя его рука всё ещё из плоти, но предплечье и кисть — крепкий хромированный металл. Там, где плоть сочленяется со сталью, алеют свежие рубцы.

— У меня не хватило денег на большее, — улыбается он сквозь слёзы, — но я достану.

— А твой отец?

— Его нет сейчас в городе.

— Но он вернётся.

— Пусть. Сегодня мне исполнилось четырнадцать лет, понимаете? Я совершеннолетний.

— С днём рождения, — говорят мои губы.

...Сегодня я в Исландии. Мы стоим с Элизабет у края плато и смотрим на гейзеры внизу. Снег заметает мир, мы почти по колена в нём, и заледеневшие на лету птицы падают в сугробы, но на Элизабет только белое воздушное платье, потому что я так хочу. Впрочем, ей всё равно.

— Останови его, Антон, — шепчет Элизабет, — скажи ему, что он ошибается.

— Думаю, к вечеру распогодится, и мы сможем полюбоваться закатом, — говорю я.

— Он просто маленький и глупый мальчишка! — кричит Элизабет, её лицо покрыто инеем, глаза сверкают зелёными шариками льда.

— Ты умеешь ходить, как пингины? — улыбаюсь я. — Смотри, это так забавно!

Я спускаюсь по тропинке вниз, к лавовому полю, и ноги мои смешно дёргаются. Элизабет смеётся в голос, потому что мне этого хочется, но в смехе её слышны истерические нотки.

Я не хочу, чтобы мальчик ушёл из моей жизни. С тех пор как я его встретил, Смерть забыла дорогу в мои сны.

Но он уйдёт, если я послушаю Элизабет.

Я не иду на очередную профилактику, потому что боюсь встретить в институте отца Виталика. Да и нужна ли мне эта профилактика — тело моё прослужит дольше, чем он будет там работать. Разве что несколько проводков на сгибах локтей перетёрлись и торчат во все стороны колючими кисточками, но это не мешает мне наслаждаться вечной жизнью.

Виталик лежит в моём кресле рядом с компьютером и разглядывает свою совершенную, тихо жужжащую руку.

— Электричество, — говорит он, и паутина на стенах вздрагивает.

— Что? — Я стою перед ним навтыжку, как старый английский слуга перед принцем.

— Электричество примет меня в свою вселенную. Я буду мотыльком, порхающим в зените. Я буду предрассветным сном, я буду рекой, обратившейся в пар. Словно лесной пожар в полнолуние. Словно гимн всем миллиардам умерших, ушедших во тьму, сгоревших в пламени свечи. Электричество убаюкает меня в колыбели из катушек с проводами, как любящая мать.

— Да будет так, — говорю я, и голос мой срывается, — да будет так, мой ученик, мой сын.

Виталик спрыгивает с кресла и со слезами на глазах бросается ко мне. Мои руки крепко прижимают его к груди.

Тр-р-р-рень! Тр-р-р-рень! — звонит телефон на подоконнике, но я сейчас не слышу ничего, я сжимаю в объятиях худенькое тельце Виталика. Мальчик содрогается от беззвучных рыданий.

— Да, ты моё дитя, — шепчу я, закрыв глаза, — после стольких лет одиночества я наконец нашёл тебя. Я обрёл счастье, малыш. Ничто не разлучит нас, сын мой. Мы вечно пребудем вместе, только ты и я. Столетия промелькнут перед нами, как недели, — всю жизнь, все радости и печали этого мира, его историю, его красоту и даже его несурзность мы постигнем

вдвоём с тобой. Мы будем лететь от звезды к звезде на солнечных парусах, мы будем смеяться и плакать и не умрём никогда, не умрём никогда...

Тело мальчика мелко трясётся.

Тр-р-р-рень! — впивается в ухо невидимой занозой телефон.

Почему Виталик молчит? Я открываю глаза и вижу плывущие перед моим лицом сизые клубы дыма. Это тлеет его апельсиновая майка. Там, где перетёртые провода моих локтей прижимаются к его телу, чернеют огромные горелые пятна.

На меня смотрит его искажённое, безнадёжно мёртвое лицо. В нём нет ни упрёка, ни злобы, только ужас и боль. Каждый мускул лица сведён судорогой. В чёрном котле навсегда раскрытого рта кипит слюна. Его глаза — большие спелые сливы — лопаются, выпрыгивают из глазниц. Они стекают по моей груди и с мягким звуком падают на пыльный пол.

Лишь стальная рука живёт своей жизнью — сжимает и разжимает пальцы, словно хочет сказать мне что-то.

Тр-р-р-рень! Тр-р-р-рень! — надрывается телефон, а в моих ушах стоит хохот Смерти, он накатывается волнами, и эти волны смывают меня куда-то во тьму.

Я пылинка. Пустота постигает меня.

Я бережно опускаю тело мальчика на пол и беру телефонную трубку.

— Алло! — кричит трубка злым мужским голосом. — Алло! Это вы? Мой сын у вас?

Мои губы издают звук «а».

— Отвечайте немедленно! Где мой мальчик?! Он у вас?!

Отключи эмоции!

— Сейчас, — хрипло говорю я и кладу трубку на подоконник.

Мои руки поднимают с пола горелые мягкие сливы и аккуратно вкладывают их в пустые глазницы Виталика.

— Вставай, — тормошу я мальчишку, — просыпайся, малыш. Тебя к телефону.

Отключи же эмоции!!

— Давай же, соня, — бормочут мои губы, — уже пора вставать.

Но мальчик не двигается. Только его рука продолжает сжиматься и разжиматься, тихо жужжа.

Старуха Смерть плачет, стонет, хохочет так громко, что зеркало в прихожей разлетается дождём пыльных осколков.

Я беру с подоконника телефон и вкладываю его в стальную ладонь Виталика. Ладонь сжимается. Мальчик взял трубку, с улыбкой думаю я. Всё в порядке.

В левом полушарии мозга пищит модем. Я валюсь в кресло.

...Элизабет выбегает ко мне из руин горящего дома, без сил падает на мои руки.

— Какой ужас, Господи, какой ужас! — Элизабет задыхается, её когда-то белое платье похоже на грязный медицинский халат без рукавов.

— Теперь всё будет хорошо, — улыбаюсь я.

Элизабет отступает на шаг и испуганно смотрит на меня. Её лицо дёргается, оплывает, как воск, волосы стремительно чернеют, грудь становится плоской. Старый халат превращается в чистенькую апельсиновую футболку.

Когда всё заканчивается, Виталик открывает свои чёрные глаза-ягоды, долго смотрит мне в лицо и спрашивает:

— Кто я?

Карина Шаинян

Кукуруза, пережаренная с мясом

Когда ты отрываешь взгляд от обгорелой спички, завалившейся под сиденье, оказывается, что автобус стоит, за окном черно и по нему медленно стекают капли конденсата. Не проснувшись толком, идёшь к выходу, кто-то бесцеремонно протискивается мимо — крепкие ладони на секунду замирают на твоих плечах, «грасиас, чика», смуглая рука тянет из кармана сигареты. В темноте перевала светится дверь придорожной забегаловки, потрескивает, остывшая, мотор, и борта автобуса блестят, уже схваченные инеем. В горле стынет от запаха эвкалиптов. Водитель, присев на корточки, пьёт кофе торопливыми мелкими глотками, от картонного стаканчика валит пар. После застрявшей в автобусе влажной жары низин бьёт дрожь; шаришь в кармане, нащупывая мелочь и прикидывая: успеешь добежать до кафе или автобус уйдёт без тебя. Колеблясь, делаешь несколько шагов в темноту. Светлое пятно двери вдруг становится страшно далёким; решаешь не рисковать и застываешь посреди дороги крошечной, почти кукольной фигуркой, задавленной тишиной. За спиной — надёжная туша автобуса, впереди — свет единственного на километры жилья и влажно блестит асфальт. Гор не видно в темноте, но их присутствие чувствуешь, как чувствуешь большое животное, притаившееся рядом, — тяжёлые лапы давят серебристую траву, в мощных лёгких шелестит разрежённый воздух. От звериного дыхания колышутся гигантские стрелы агавы, и пахнет древней пылью, въевшейся в кожу. Разрываешься: то ли схватить сумку и рвануть в темноту, то ли спрятаться в светлом тепле автобуса. Горы с шорохом валяются с неба, и вздрагиваешь, когда кто-то дёргает тебя за рукав.

Всего лишь индейская девочка лет десяти. Пухлые губы, скуластое лицо, чёрные спутанные волосы падают на глаза, шаль по-взрослому обёрнута вокруг плеч. «Три доллара, сеньора», — говорит она. Под пальцами — грубая мешковина, шерстяные стежки, толстые нитки. Хочешь спросить, что это, и вдруг понимаешь, что девочка говорит по-испански не лучше тебя. Ошалело суешь ей деньги — оказывается, ты давно уже мусолишь в кармане именно три доллара, собиралась же купить кофе и что-нибудь поесть. Жаль глупышку, затеявшую продавать сувениры в таком безнадёжном месте: гринго не часто ездят ночным автобусом через перевал. Что же, значит, штука в руке была сделана для тебя. Тянешься погладить растрёпанную детскую голову и тут же жалеешь: долгую секунду кажется, что девочка сейчас вцепится в руку зубами. Отшатываешься; девочка молча идёт к автобусу, и ты наконец замечаешь на её груди лоток, набитый пакетиками, и чувствуешь нестерпимо соблазнительный запах — аромат кукурузы и мяса, пережаренного до хруста. Пассажиры

радостно гомонят — ни одного знакомого слова, лишь оживлённый щебет кечуа. Рот наполняется слюной, но подойти к девочке и купить у неё еды кажется невозможным, и ты лишь стискиваешь купленную вещицу, слушая, как шуршит в мешковине зерно.

В тепле автобуса рассматриваешь покупку: три девочки, три выпуклые фигурки, нашитые на грубый холст, — овалы головы, лица и волосы из цветной шерсти, платица из лоскутов — белое, оранжевое, синее. У них нет рук. Их глаза — концентрические круги, чёрные, белые, малиновые. Суёшь игрушку в рюкзак и дремлешь под завывания автобуса, несущегося в долину. Когда просыпаешься в следующий раз, за окном уже мелькают огни пригородов и тощий мальчишка, повиснув в дверях автобуса, выкрикивает остановки.

Лошадиные лица стюардесс, кофе в Скиполе, зимняя слякоть в Шереметьево, привычная круговерть, в которую погружаешься неприятно просто. Спустя полгода в поисках идеи для нового рассказа упираешься взглядом в кукол из мешковины, забытых на полке. От них ещё пахнет пылью с другой стороны Земли, зерно внутри по-прежнему шуршит, как на перевале сухая трава. Вспоминаешь маленькую глупышку, продававшую кукол у ночного автобуса, и решаешь написать о ней. Ты давно уже пишешь только правду, и здесь тоже врать и выдумывать не собираешься. Видишь эту девочку глазами глупого гринго, который ничего не понимает в её жизни. Он лишь однажды прикоснулся к зябкой ночи, услышал сухой шёпот эвкалиптов, заглянул в чёрные глаза — и отравился разрежённым воздухом Анд, пока водитель автобуса пил кофе на перевале. Текст не идёт, не получается взять нужный тон, и куклы строго смотрят на тебя малиновыми шерстяными глазами. Приходит с работы муж, ты суешь ему игрушку (он держит её чуть брезгливо — никогда не любил этих кукол) и просишь, чтобы он говорил с тобой о них, пока ты готовишь ужин. Он посмеивается и стряхивает сигаретный пепел в цветочный горшок. Как всегда неожиданно, наступает ночь; он так и не сказал ничего толкового или полезного. Поцелуй на ночь; ты нехотя возвращаешься к рассказу и вдруг обнаруживаешь, что кукол на столе нет. Ищешь на кухне, потом обшариваешь всю квартиру, но игрушка бесследно исчезла. Махнув рукой, пытаешься вспомнить, как выглядели девочки, и понимаешь, что осталось лишь ощущение зерна под мешковиной. С тщательно задавленным облегчением закрываешь файл: придётся отложить на завтра.

Но завтра, и послезавтра, и ещё много дней забываешь спросить о куклах: ужин, болтовня, секс, посмотрим кино? В полночь он уходит спать, а ты открываешь файл с рассказом и спохватываешься — но будить ради такой глупости жалко. То встаёшь, то вновь возвращаешься за клавиатуру. Стоит набрать хоть слово, и в комнате становится зябко, горло перехватывает от эфирной прохлады, а за окном слышен сухой шорох. Ты понимаешь, что на самом деле тебе нужно не увидеть игрушку, а узнать, что за зерно шелестит у неё внутри. По ночам снится, как ты с покрытыми инеем ножницами в руках гонишься за маленькой индейской девочкой. Щёлкаешь лезвиями, почти дотянувшись, — но каждый раз в руках оказывается лишь грязноватый лоскуток, белый, оранжевый или синий, а девочка убегает на темнеющий перевал, насмешливо шурша; там слишком высоко, ты задыхаешься. Сон всегда кончается одинаково: посреди тёмной, влажно блестящей дороги девочка останавливается. Догоняешь её, заносишь ножницы; она говорит на кечуа — безумно важно понять, что именно. Застываешь, напрягая слух и память. Девочка медленно оборачивается — на груди у неё лоток, и капает слюна с блестящих клыков, торчащих из-под пухлых губ. В ужасе ты бросаешься бежать — и просыпаешься.

Устав от кошмаров, стираешь файл с набросками рассказа. Этой ночью ты не убегаешь от клыков, а тянешься, чтобы погладить девочку по голове, забыв о ножницах в руке. Лезвия распаривают смуглое личико, и из раны с шорохом высыпается кукуруза. Перед тем как упасть, кукла успевает вцепиться клыками в твою руку — но вместо крови видны пережаренные до хруста волокна.



На следующий день плюёшь на давнее обещание ничего не выдумывать. Переселяешь индейскую девочку на перевал, обводишь глаза кукол малиновой шерстью и набиваешь их туловища жареной с мясом кукурузой. К вечеру в комнате начинает невыносимо вонять. Источник запаха находишь за кроватью — кусок мешковины, блестящей от жирной гнили. Давя тошноту, прихватываешь его пакетом и отправляешь в мусоропровод, а потом долго сидишь на кухне, ожидая, когда вскипит чайник, и думаешь, что рассказывать об этой истории бесполезно — всё равно не поверят. Чайник уже вскипел, но возвращаться в комнату не хочется: на мониторе притаился открытый файл с недописанным, но уже мёртвым рассказом. Взгляд рассеянно останавливается на цветочном горшке. Из земли, обсыпанной пеплом, торчит обгорелая спичка, но ты не в силах рассердиться — просто смотришь и праздно размышляешь о том, что жареную кукурузу с мясом готовят на открытом огне.

Когда ты отвлекаешься от спички, оказывается, что автобус стоит на перевале и за влажным окном темно. Пока водитель пьёт кофе, ты берёшь сумку и выходишь. Горло перехватывает от эвкалиптовой прохлады. Покупаешь у индейской девочки пакетик кукурузы, неторопливо идёшь к забегаловке. Откидываешь шерстяную занавеску в оранжево-сине-белую полосу, пропитанную кухонным чадом. Пьёшь кофе из картонного стаканчика, а когда автобус, взревев, уезжает, выходишь на обочину и, пройдя немного по дороге, сворачиваешь в сухую траву. В тёмном небе качаются кисти агавы. Бросив сумку под колючим мясистым листом, ты поднимаешься в гору, слушая, как в лёгких шелестит разрезанный воздух Анд.

## ОБМЕН ЗАЛОЖНИКАМИ

Александр Силаев

Армия Гутэнтака

—

Оформи его, Миша, — предложил Гутэнтак.

— Лады.

...Сначала они шли, поддерживая друг друга хохотом. Под ногами шелестела осенняя желтомуть, в небе болталось нежаркое солнышко. Светило освещало им путь. Гутэнтак был в чернокожаной «куртке героя», Миша — так себе, в чём-то простом и белесоватом: полуплащ до колен, помятый и местами запачканный.

— Смотри, кошка, — говорил Гутэнтак, хохоча и подпрыгивая на месте.

— Мать мою, кошка, — смеялся и сгибался пополам Миша. — Господи, одуреть, живая кошка, ну не могу...

Он падал на землю, дёргался и валялся. Катался, наклеивая на себя желтоватые и грязные листья. Поднимался — простой, семнадцатилетний. Со смехом вставал на ноги. Бросался догонять кошку. Та убежала. Миша опускался на четвереньки и пробовал лаять.

— Нормально, — говорил Гутэнтак. — Теперь вопрос на засыпку: что такое трансцендентальная апперцепция?

— Иди ты, — отмахивался Миша.

— Твою мать! — смеялся тот. — Так положено: стоя на четвереньках и хрюкая, ты должен отвечать магистру про апперцепцию. Ты моржовый хрен или юбер-бубер?

— Моржовый бубер. Назови хоть говном, только не оформляй.

— За ответ — пятёрка, — торжественно возгласил Гутэтак, подражая господину магистру.

Город не большой и не маленький: полмиллиона людей. Заводы. Фабрики. Театры. Десять Центров. Они заканчивали шестой, с флагом Фиолетовой Рыси. Кругом висела погода, приятная им обоим: осенняя слякоть, утро, российский бурелом и перекосяк. Бурелом — это беседки с вырванными досками, разбитые песочницы и заваленные печатными листами дворы. Перекосяк — это внешний мир. Перекосяк — стиль жизни людей. Можно сказать, душа.

На недоделанную «куртку героя» Гутэтак прицепил четыре заглушки: на любовь, страх, музыку и водку. Миша щеголял единственным зеленоватым значком. Заурядным для воспитанника, на жалость.

Летом он прошёл испытание: закрытый дворик, мастер ведёт бомжа.

— Твой экзамен, Миша, — произнёс Валентин Иванович. — Я сказал этому человеку, что если он убьёт тебя, мы его отпустим. Он без оружия, не бойся. Давай. За всю историю проиграли только двое наших.

Миша встал в защитную стойку. Его удар — смерть (это ясно, не может быть по-другому — парень заканчивает обучение). Он оказывал уважение незнакомцу, полагая, что удар бомжа — тоже смерть. В таком случае не рекомендовано нападать. Он покачивался в нижней, выставив вперёд руки.

Бомж пошёл на него.

Миша расхохотался. Теперь он ясно видел врага.

Он чувствовал энергию противника, её вялость и спутанность. Он ощущал слабость мускулов за зелёной рубашкой. Он видел плохие нервы мужчины. Он предвидел скорость, с которой тот может нанести удар. И куда он может его нанести. И чем. Бомж не тренирован. Никогда и никем.

Бомж сыграл не по правилам. Подобрал металлическую трубу в пяти метрах.

— Убью! — заорал он.

Миша легко ушёл, злая труба ударила воздух.

— Идиот, — ласково сказал он. — Положи палку, иди ко мне. Больно не будет.

Ребята стояли полукругом, просветлённый Валентин Юдин одобрительно качал головой.

— Сука, — хрипел мужик.

— Я люблю всех, — сказал Миша. — Я люблю даже тебя. Но это судьба, понимаешь?

Мужик метнул трубу, очень сильно и точно для такого мужика, как он. Та просвистела рядом, Миша ушёл и теперь был напротив чужой агрессии, тухлой, затухающей. Тот ударил, попал на блок, открылся. Теперь — резко и ладонью вперёд. Вес тела в руке, а противник шёл вперёд, насаживал себя на Мишино движение.

Тела соприкоснулись. Удар разбил мозг. Вместо носа — бесформенность, каша, кровь. Одно атакующее движение — и экзамен сдан.

— Молодец, — флегматично сказал Валентин Иванович. — Завтра можешь не приходиться. Пиши текст, сдавай психологию...

Это был обычай Центров, к семнадцати полагалось убить. У Центров многое в традиции: заглушки и чёрный цвет, групповуха и медитации. Роман — экзамен по литературе. Любой может написать роман. Желание, технологии, время. Скучно. Только вот убивать нескучно, признавались неоднократно чемпионы.

Сейчас у него восемьдесят две, а сто страниц — установленная норма. Он писал фантастику про советские времена, раскручивая неомодерн в духе завуалированного постгуманизма. Речь шла о пионерах, упоённо собиравших металлолом. Три малолетних отряда соревновались в борьбе за переходящее красное знамя. В перерыве кто-то поцеловал Машу. А другой пригласил в кино. Любовный треугольник на фоне несданного в срок железа. Пионер Николаев рыдал, когда его отряд потерял переходящий флаг. К нему подошла растроганная Маша... и т. д. Одним словом, забористое фэнтези, как сказал ему Гутэтак. Не хватает гестаповцев, которые бы их пытали. Какие гестаповцы? — недоумевал он. Полагаются гестаповцы, хмуро объявил Гутэтак. Если ты хочешь, чтобы твой Николаев стал полноценным героем, он должен умереть в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. В советскую эпоху так было принято. Без этого элемента текст утрачивает историческое правдоподобие. А если он погибнет в поединке с драконом? — предлагал Миша. Если он погибнет в поединке с драконом, то будет хуйня, отвечал ему всезнающий Гутэтак. Надо работать с однородным материалом. Знал, наверное, чего говорил, — сам Гутя числился в литераторах и писал очень сложный текст, обещая его трёхуровневое прочтение.

Миша чуть обижался: забористое фэнтези — это ли не намёк на уродство? Неомодерн и постгуманизм суть подлинные атрибуты эпохи, любой шаг в сторону — и ты евтушенко (никто не знал, что значит евтушенко как термин, но в обществе Гутэтак это было заурядное ругательство наподобие слова «лох»).

...Он упал на спину в аккуратно подметенные листья.

— Уи-уи, — повизгивал юный воспитанник Михаил Шаунов. — Да здравствуют поросята как народно-трудовой класс! Правительство задолжало свиньям. Давайте угондоним это жидовское правительство.

— Ну я убалдеваю, — радостно отвечал ему Гутэтак, вечно-трезвый и умыто-расчёсанный.

...Наркота была обязательной. Полугодовые лекции, раз в две недели — увлекательный семинар. Курс читал просветлённый Александр Берн. Семинары вела Кларисса. Пробовали всё, но только ЛСД — не единожды. Берн усмехался: «Я не могу себе представить воспитанника-наркомана».

Трое переспали с Клариссой (Центры, как известно, поощряли секс, хотя и допускали заглушку). В своих разноярких бикини она была красивее, чем без них. Колготки, юбки и блузки делали её сексуальнее на порядок. Но пальто было уже перебором — в своём камышовом она была столь же обыкновенна, как без бикини. Заурядность не отпугивала. Кларисса казалась теплой и ласковой, такой впоследствии и оказывалась...

— А скажи мне, Михаил, что нам видится с позиций феноменологической редукции? — спросил он, подражая мастеру Клыку.

— Иди на хер, вася, — по-доброму ответил он Гутэтаку.

— За ответ — шестёрка, — резюмировал тот.

— Вы — моя любовь, Леонид Петрович, — сказал Миша, не вставая с земли.

Подобрал охапку листьев, подбросил вверх. Блёкло-подсушенные листья упали ему на лицо, воспитанник не переставал улыбаться. Один листик угодил в рот. Миша с наслаждением пожевал.

— Вы — моя любовь, Леонид Петрович, — сказала девочка Ира в разгар контроля.

— Серьёзно? — прищурился просветлённый Леонид Клык, мастер философии и экс-вице-коадьютор.

— Серьёзно, — подтвердила белокуро-джинсовая.

— Ты меня понимаешь? — спросил тридцатилетний мастер Клык.

— Не всегда, — призналась девушка. — Но разве для любви надо полностью понимать?

— А что ты хочешь? — допытывался мастер.

— Вас, — просто ответила Ирина.

Немигающие зелёные глаза смотрели на мастера во всю ширь.

— Неужели? — чуть растерянно усмехнулся он. — Ну хорошо.

Он подошёл и поцеловал её. Немигающие глаза закрылись. А затем по-настоящему и всерьёз, забыв мир и себя, мастер Клык всосался в губы. Шестнадцатилетняя ответила. Прошла минута и две. Сорок глаз восторженно смотрело, как мастер Клык сосёт губы их одноклассницы. Ни слова, ни смеха. Очень тихо и слышно, как жужжит старенькая лампа на потолке. Он оторвался от девушки.

— Пошли отсюда, — нежно приказал он.

— Прямо сейчас? — спросила Ира.

— *Hiс et nunc*, — ответил он. — Неужели ты против?

Он обнял её, погладил волосы. Белокуро-джинсовая закрыла глаза, прижалась к сильному.

— Дописывайте, ребята, — сказал на прощание просветлённый Леонид Клык.

В традициях Центра.

Абсолютное *hiс et nunc*: они не пошли к ней в комнату и к нему домой, всё случилось на третьем этаже школы. Там был кабинет, в который никто и никогда не заходит, — в этом кабинете есть парта, на которой девушка Ира отдалась мастеру.

Всё было нежно, без страха и продолжительно. Он ласкал её, целовал. В джинсовом кармане Ира носила презервативы — в традициях школы... До этого она не спала с мужчинами — не в этом ли ещё одна традиция Центра?

Философия считалась главным предметом.

— Я сочинил стихи, — задумчиво сказал Гутэнтак.

— Валяй, — объявил Миша.

Он игриво начал жевать очередную охапку листьев. Давился и выплёвывал, но не прекращал, нахрустывая всё упорнее. Смотрел на мир радостным котёнком — он, Михаил Шаунов, летом убивший первого человека.

Есть предложенье сдать отца масонам,  
Пускай они его пытаются хлебом,  
Есть предложенье изменить Бурбонам,  
Натурой взять и расплатиться небом.  
Есть предложение послать святого Джона —  
Пускай один гуляет по холмам,  
Пускай его насилует Мадонна,  
Пускай он пьянствует зимою по утрам.  
Есть предложение затрахать дом до дыр.  
Есть предложение на крыше сделать баню,  
Чтоб благородный и наследный сир  
Имел в ней крепостную девку Маню.  
Есть предложенье кликнуть всех жидов  
И обвинить их в ужасах нацизма,  
Когда б вы не придумали попов,  
Адольф не изощрился б в сатанизме.  
Есть предложенье вызвать дух Христа  
И подарить ему большую плётку,  
Чтоб с помощью молитвы и хлыста  
Он покарал шерифа околотка.  
Есть предложенье отменить богов,  
А на их место поскорей поставить  
Собак, свиней и тощеньких коров,  
И на деревне новый культ отправить.

Миша выплюнул непрожёванные листья.

— Нормально, — сказал он. — Только зачем обвинять евреев? Я всегда считал их великой

нацией. А вообще-то это не поэзия. Послушай моё.

Ты ненавидишь белых лебедей,  
Чтоб не прослыть в округе зоофилом,  
Ты часто балуешь едой чужих детей,  
Чтобы тебя не ткнули ночью шилом.  
Ты хочешь жить, правителей кляня,  
Но Бог поставил двойку за урок:  
Как всякий, кого мать родила зря,  
Ты не красив, не добр, не жесток...  
Ты до рожденья рыжей был овцой,  
Тебя за резвость наказали волки,  
Но вновь идёшь с распятием и мацой,  
Средь поселян рождая кривотолки.  
Твоя субстанция не лишена эфира,  
Но надвое разломан дерзкий меч,  
Разбита в щепы золотая лира,  
И голова упасть готова с плеч.  
Устав от жизни серой и дурной,  
Ты всё равно боишься утром сдохнуть,  
Своё рыдание скрепив мужской слезой,  
Живёшь в грязи, чтоб дольше не засохнуть.  
Тебя не любят девушки и суки,  
Ты словно пугало колхозное для дам,  
Для них ты трактор из музея скуки,  
Для них ты словно неисправный кран.  
Ты не дождёшься наступленья лета,  
Чтоб окончательно поверить во Христа,  
Лихие люди лунного отсвета  
Тебя не снимут ночью со креста...  
Ты будешь жить, не разумея Будды,

Ты будешь жить, но в серый летний день

Нагрывают разбивальщики посуды,

Чтоб мир твой обратился в дребедень.

— Для семнадцати лет сойдёт, — небрежно похвалил Гутэтак. — Более того, с этим ты сдашь экзамен на поэтический минимум. Только не вздумай показывать это людям. Засмеют.

— А зачем тебе заглушка на музыку? — неожиданно спросил он.

— Бес его знает, — честно признался Гутэтак. — Чем больше заглушек, тем целостней человек.

— Вон оно что, — хохотнул он. — А я не знал, что и думать.

Миша хохотнул ещё более издевательски. Но он бессилён обидеть товарища:

чёрная куртка героя делает того неуязвимым для слов. Он — выпускник. Он — почти готов, сложный парень восемнадцати лет от роду. На нём только два хвоста последней в его жизни центральной сессии. Выше только имперские университеты, посвящение в идеологии и

чёрный плащ гения. Он фактически не принадлежит шестой пассионарной школе, а напарнику предстоит ещё год.

...Посвящение происходит в самый короткий день. Присутствует магистр школы, парочка оформленных идеологов, почётные граждане и наиболее завалящий член Лиги. Как же без них?

Лигач гонит формальную речь-приветствие. Оформленные говорят какую-нибудь правду о жизни. У них богатый опыт медитаций и размышлений, и всегда отыщется пара сильных мыслей для молодёжи. Обычно их выступление каждый записывает на диктофон, у идеологов вошло в традицию на день посвящения приоткрывать тайну мира. Тайн много, праздник раз в год. Лента крутится по-июньски весело: снова и снова.

Самые могучие гости перед контактом отправляют молодёжь в транс. Никто не знает, куда провалится его сознание. Но творятся чудеса, что готов удостоверить каждый. Рождается не только владелец куртки, но и претендент на плащ. И если не общение с

оформленными, то шанса на будущее может и не возникнуть.

— Очередные молодые люди, — громогласит магистр, — очередное пополнение элиты.

Все молчат и сами верят в свою серьёзность.

В июне Гутэтак кричал, лишь бы не заплакать. Он хотел убедить, что сдаст финансовый анализ с литературой до первого ноября. Ему поверили. Отпороли пару пуговиц и одну из эмблем, выдали куртку с намёком на героическую ущербность. Конечно, он сдаст. Литератор Гутэтак, юбер-бубер.

...Грязный двор, газетные листы на земле портят даже грязь. Коряво песочница, беседка с дыркой — вот он, родимый перекосяк.

Дешёвые автомобили тихонько дремали в лужах, скучные и бессильные. Из подъездов

осторожно выходили разнообразные люди, разболтанной походкой спеша по своим неотложным делам. Якобы неотложным. Скукота.

— Скукота, — сказал Миша, поднимаясь с сентябрьских листьев и небрежно отряхиваясь.

— А ты ещё поваляйся, — предложил друг. — Авось чего и снизойдёт.

Ехихидина Гутэнтак.

Но Миша пропустил совет. Зачем ему грязная подстилка природы? Он подбежал и вскочил на блёкло-зелёную лавку, объединённую дождями и временем. Воздел руки к тусклому солнцу, рассмеялся во всю ширь.

— Люди! — заорал Миша. — Есть тут хоть один человек?! К ноге, мать вашу, долбонуты плешивые! Не вам говорено, особи?!

Дядька лет пятидесяти вышел из подъезда напротив. Сонный, неумытый, наверняка спешащий по неотложным.

— Чё орешь, дурак? — пробормотал похмельно-невнятный дядька.

Судя по виду, мужик принадлежал племени алконавтов.

— Ого, — предвкушающе сказал паренёк.

— Оформи его, Миша, — предложил Гутэнтак.

— Лады.

— Чего? — недопонял спешащий и неотложный.

Гутэнтак чуть отошёл в сторону, весело позвякивая четырьмя обетами на груди.

— Сейчас я объясню вам, — вежливо пообещал Миша, — суть нашей маленькой корпоративной процедуры. Она называется оформлением мужика. Это, как вы понимаете, сугубо жаргонное название. Подлинное оформление индивида ведётся только в центральных заведениях и может занимать до двадцати лет. То, что я предлагаю вам, — не более чем особое издевательство.

— Прибью, щенок, — шипел дядька. — Воспитанник херов.

(

Простои народ, как они его называли, ненавидел

спецобразованных. Он очень мало знал о хозяевах — заведения носили закрытый характер, — но кое-что чувствовал. Все чувства ушли в ненависть. Частое мнение людей, согласно независимым соцопросам: страной правит банда фашистов, либо Дьявол, либо союз козлов, морально чётких, но без политической ориентации. Версия по сути одна, и к хозяевам относились лишь одним способом... Согласно Программе, через двадцать лет народ должен был обязан их возлюбить: целовать одежду, молиться, умирать за хозяев и т. д. Это нетрудно, если с массовым сознанием поработать. Воспитанники школ с массовым сознанием работать умели, но на излом ментальности по подсчёту требовалось двадцать лет. Добровольцы-«оформители» только увеличивали этот срок, они делали не то и не так: магистры считали

походы в народ — уделом школьной шпаны...)



Миша вытащил пистолет из внутреннего кармана серого полуплаща. Передёрнул затвор, направил мужику в голову.

— Будешь рыпаться — убью, — предупредил он. — Мне нравится убивать людей, ты понял? Если будешь материться, тоже убью. Мы твои боги. Мы пришли на Землю дать свет и знание. Мы пришли начать на Земле правильную жизнь, и ущербные люди вроде тебя обязаны подчиниться. Мы пришли дать вам Заповеди и Закон. Ясно? Я бог — ты дерьмо. Ныне, присно и во веки веков. Повтори, кто ты и кто я. Наврешь — убью.

Мужик вытаращил глазки. Он вздрагивал пальцами, не двигался и молчал.

— Будешь молчать, тоже урою, — лениво предупредил юноша. — Отвечай.

Гутэнтак смотрел с любопытством, слегка почёсывая ухо и улыбаясь краешком губ.

— Ты бог, — неуверенно сказал мужик и замолк.

— Это понятно, — произнёс школьник. — А вот скажи нам, кто ты?

Тот нехотя шевельнул губами:

— Я дерьмо.

— Умница, — похвалил Миша. — Способный мужик, способный. У тебя есть задатки к пониманию. А ответь-ка мне, должно ли дерьмо любить бога?

— Наверное, должно, — неуверенно сказал тот.

— Слушай, я поражаюсь, — сказал Миша. — Ты с виду идиот, а говоришь разумные вещи. Я думаю, ты ещё не совсем потерян. А как ты думаешь, надлежит ли дерьму обращаться ко мне на вы?

— Конечно.

— Ну блин, ты почти талантлив, — ухмыльнулся Миша. — Жалко, если тебя придётся убить. А ведь придётся, если ты сейчас не оформишься.

— Это как? — боязно спросил он.

— Это просто. Я устраиваю тебе экзамен, и если провалишься — ну что ж, карма твоя такая, конец тебе будет. Экзамен простой, я бы сказал, жизненный. Первый вопрос такой: а зачем ты, мужик, родился? Учти, что долго думать всегда рискованно: кто не отвечает, тех сразу валим.

Мужик опустил голову и заплакал.

— Не надо, — просил он, — пожалуйста. Я оформлюсь, вы подождите. Вы только не убивайте.

— Ты чего? — не понял Миша, ласково теребя зелёный значок.

— Ну ради бога, пацан, не трогай!

— Какой я тебе пацан? — брезгливо возмутился воспитанник. — Это сын у тебя пацан. И ты тоже. Понял, нет?

Он подошёл и ударил сидящего ногой в лицо. Тот повалился на землю, устланную желтизной и газетными лохмотьями, лицом вниз. Показался кровавый ручеек.

Сломана челюсть? Выбит глаз?

Молодого не интересовали нюансы.

Он приблизился и схватил мужика за шкуру. Перевернул на спину. Стоял над ним, ноги ширишь, глаза вниз. Нагнулся и прижал ствол ко лбу. Недобро усмехнулся:

— Отвечай.

— Нет.

— Чего нет, кого нет? — рассмеялся он. — Я не понимаю. Ты же был почти умный.

Подошёл Гутэтак, положил руку на плечо, мягко сказал:

— Ну его. Пойдём, Миш.

— Мы не пойдём, пока урод не ответит! — заорал Миша. — А если урод не ответит, я убью его.

Гутэтак недовольно морщился.

— Мне приказать тебе? — спросил он тихо.

— На хер тебе этот полудурок? — взвился Михаил Шаунов. — Ну прикажи, герой, прикажи. Ты же иерарх без двух пуговиц. Я подчинюсь. Я ведь тоже будущий куртозвон.

— Да какой я тебе приказчик, — вздохнул Гутэтак. — Делай что хочешь...

Поверженный дядька закрыл лицо руками: он не мог видеть двух богопацанов.

— Да пошли, конечно, — согласился Миша, пряча во внутренний карман пистолет. — Пошли куда-нибудь. Пошли к простым бабам?

Это было совершенно особое развлечение: галантные школьмэны почитали за женщин только воспитанниц. Остальные, конечно, — простые бабы. Сходить к ним едва ли не увлекательнее, чем оформить заурядного мужика.

Дело не в сексе.

Это отвязка. По Закону Империи граждане и пассионарии жили не в одной юрисдикции. В кодексе вторых тяжесть изнасилования обнулялась. Юридически вторжение в женщину каралось всего лишь занесением в карточку.

Удовольствие — в том, как всё происходит. А вовсе не в том, что учащается дыхание и содрогается член (понятно, что подлинную любовь и нежность школьмэны искали по свою сторону Центра — там тебе и член, и дыхание...). Удовольствие в

кругу мирян называлось

оформить бабу.

Обычно это делали на виду.

Для этого шли в людное место. Лучше летом, но сгодится и в сегодняшний вечерок. Миша поднёс запястье: без пяти одиннадцать.

Они бросили мужика валяться на желтомути, пошли дворами. Натыкаясь на редких прохожих

и подталкивая друг друга, вышли на проспект Труда, главную улицу полумиллионного города.

Пропустили трёх, четвёртая показалась ничего. Так сказал Гутэтак. Её отличали зелёная курташка и голубоглазая двадцатилетняя мордочка. Не красавица, но ничего. Куртка обтягивала, еле закрывая мини-юбку, а та еле закрывала колготки, совершенно не закрывавшие стройных ног...

— У неё ноги, — шептал Гутэтак Михаилу Шауну. — И улыбается. Я обожаю, когда женщина улыбается. У неё лицо студентки, мирской студентки. Она не дура. Я счастлив, когда баба не дура. Я уже хочу её.

Дурным голосом на перекрёстке взревел пегий автомобиль. Зелёная курташка обернулась на рёв. Из-за тополей к ней спешили двое.

— Воспитанная? — на всякий случай спросил Гутэтак.

Он был уверен, но мало ли.

— Я гражданка, — сказала она, предчувствуя почти всё.

— Сто баков — и минет под памятником царя, — улыбчиво предложил Миша. — Точнее, два минета. И двести баков. И не дури.

— Я пошла, отстаньте, — сказала она так робко, что стало ясно: никуда не пойдёт. Рада уйти — не проститутка! — но не уйдёт. Откажется от минета, но никуда не денется. Не позовёт на помощь, не ударит, не убежит — всё это не то чтобы глупо, но не в её силах.

Юп вразвалочку бредёт, и мирянин не уйдёт.

За три года окучили население.

Первый период — шок. Второй — страх. Третьей наступала любовь. («Чтоб когда-нибудь полюбили, для начала должны воспринять всерьёз. Но серьёзней всего относятся к тому, кто внушает страх», — мимолётные слова Ницше стали основой новой идеологии.) Третьей наступала любовь. Пока не наступила. Для завершения требовалось двадцать лет, если мерить занудством официоза. Но оформленные знали, что нужно меньше.

Прошлой осенью они выполняли задание с намёком на плащ. Дали неделю. Спрашивалась концепция исторического развития. Нечто вроде Маркса, Ясперса, Шпенглера — философия такого пошиба считалась дешёвой. Её сдавали на куртку. Каждый обязан сесть и сложить кубики истории в согласии с заново отысканным смыслом. Если аргументация уступает классикам, экзамен пересдаётся. Восемьдесят щенков стали Тойнби и Ясперсами, Данилевскими и Леонтьевыми, Шпенглерами и Гумилёвыми, Гегелями и Марксами. А затем посмотрели вслед, высморкались, улыбнулись, пошли дальше. Любой из них превзошёл этих взрослых людей. Потому что те — простые люди. И нет предела. Отсутствие предела легко осознаётся в семнадцать лет.

— Стоять, — спокойно и уверенно сказал Миша.

— У меня есть любимый человек, — призналась она. — Вы понимаете?

Уже на грани слёз, это видно. Она знала, что с птенцами Фиолетовой Рыси спорить нельзя, а плакать можно хоть с кем. Гутэтак рассмеялся почти по-доброму.

— Он мудачишка, твой парень, — ласково сказал он. — Хорошо, не хочешь баков — не надо. Шагаем отсюда.

Миша взял её под руки, и они пошли.

Гутэнтак изучающе смотрел на её ласковое лицо. Глаза, губы, чистая кожа. Наверняка студентка. Жаль, что девушка больше не улыбается. Впрочем, оформить бабу — это неприятная для них процедура...

Они отошли за невзрачные обрушенные ларьки.

Миша прижал девушку к тёмно-красной стене, впился в губы. Руки расстегнули ей курташку. Юбка задралась вверх, ладони легли на бёдра.

У неё останутся синяки, подумал Гутэнтак. Он смотрел на друга и блаженно щурился.

...В декабре темнеет рано, а заканчивается поздно.

— Получится, попробуй! — рявкнул просветлённый Валентин Юдин.

Удар.

Кирпич рухнул расколотыми половинками.

— Теперь ты!

— У меня сломана рука.

— Тем более. О тех, кто дерётся раненым, слагают песни.

Удар. Адская боль и ничего.

— Представь, что бьёшь не по кирпичу. Это форма, пустота. Учись видеть формы. Стань Буддой. Представь, что бьёшь по пустоте, которая за кирпичом. Давай сделаем проще...

Мастер Юдин поднял с пола спичечный коробок. Поставил под кирпич.

— Представь, что бьёшь по этому коробку.

Гутэнтак ударил. Снова полное ничего.

— Наверное, ты лишён таланта, — вздохнул мастер Юдин.

Лишён таланта — страшное обвинение. Таких карали одним способом, страшно и навсегда. Изгнание в мир, а как же иначе?

...Мастер Клык сиял золотыми часами и белоснежной рубашкой. Мастер Клык был в чёрном костюме и в настроении.

— Биографию десяти немецких философов, — с ухмылкой попросил он. — Наизусть.

— Пожалуйста, — белозубо улыбнулся Михаил Шаунов. — Все мы знаем Иммануила Канта, но я всё-таки начну с Лейбница.

Клык поощрительно погладил свой галстук. На второй парте Ирина Гринёва рисовала в тетради зелёного дракона, лампа в кабинете 2-05 жужжала по-прежнему. Шаунов рассказывал про несчастную любовь к Лу Саломе, миновав уже четвёртого немца.

Дурацкое задание. Просто надо нагрузить память и понять, что немецкие философы тоже жили.

...Он вошёл с опозданием. Ребята уже сидели по-тихому. Просветлённый Александр Берн

вывалил на пустую парту пять томиков Кастанеды.

— Это любопытное чтение, — зевнул он. — Но не лучше ли один раз попробовать, чем всю жизнь читать? Жизнь интереснее литературы. Сегодня мы изучим дымок дона Хуана. У нашего министерства есть закрытые плантации на югах. Да какие плантации? У меня делянка в Сосняках. Если будете падать в обморок, то не бойтесь. Не стесняйтесь обоссаться или блевать, в данном случае это норма.

Двое воспитанников знающе усмехнулись. Пацанами они ездили на юг и шли сквозь пули через «линейку». Плантации охранял гвардейский резерв. Камуфляжные отстреливали местную молодёжь, дурную и охочую до халявы. Чудаки лезли на свою смерть, но некоторые возвращались.

Тогда они счастливо миновали «линейку», но ошиблись в пропорции. Из нижнего мира ухнули дальше вниз. Там они видели лицо Дьявола. И блевали, конечно, и обоссались. Десять часов лежали немые и без движения. Местные крестьяне отхаживали их пощёчинами, пробовали поить спиртом. К вечеру паренки вернулись в себя. Название корешков не помнили. А вот лицо Дьявола — на всю жизнь. Его нельзя описать. Но если видишь, то не спрашиваешь, кто это.

Два года их сознание улетало. Парни бродили по иным мирам, беседовали с их обитателями, были на Орионе. Потом что-то щёлкнуло внутри и вторая жизнь прекратилась. Зато сейчас они слушали с усмешкой: тёртые калачи. Они не сильно уважали мастера Берна, но мастер Берн

видел этих парней.

Он знал, что преподаст им урок. Он сделает это сегодня или увезёт их на уикенд в Сосняки.

...Просветлённая Ольга Вьюзова излучала энергию, молодость и апрель — все слагаемые секса. Ей было двадцать шесть, она пришла на занятие в мультипиджаке и прозрачной блузке. Мастер Вьюзова весенне-ласково улыбалась молодым людям, хотя не исключено, что мастер Вьюзова улыбалась самой себе — кто знает?

Гутэнтак смотрел на неё, не отрываясь. Он заметил над левым соском золотистый значок советника. Это значит, что заслуги перед Родиной сделали её первой в роду новых аристократов. А ей только двадцать шесть.

— Наш предмет занимается любовью, — уточнила она. — Но спать мы не будем. Я понимаю, что Центр поощряет секс во всех его проявлениях. И Центр правильно делает. Мы будем много говорить о сексе, как, впрочем, и о многом другом. Но я хочу предупредить группу: любовью как таковой мы заниматься не будем.

— Можно нескромный вопрос? — Гутэнтак поднял два пальца в имперском жесте.

— Да, конечно, — ответила она. — Мой опыт подсказывает, что нескромные вопросы самые интересные.

— Почему?

— У меня есть мужчина, — сказала Вьюзова. — А ведь женщине нужен только один мужчина, которого она любит.

— Это избитая истина, — подтвердил он избитой фразой актуал-консула.

Вьюзова тряхнула водопадом волос, отвечая встречной цитатой:

— На том стояла и стоять будет земля русская.

Не мигая, он обожающе смотрел ей в глаза.

...Конкина воспринимали как дивную зверушку. О новом мальчике каждый знал главное: он революционер. Будь он голубым или циклофреником, это не вызвало бы такого трезвона. Все знают, как нужны в природе голубые и циклофреники. Но все слышали, что революционеры неполноценны. Это больные люди с неудачей в личной судьбе, это какие-то недомуты — а что ещё сказать?

Если человек хочет революции и вообще справедливости, то ему не нравится сегодняшний день; если ему не нравится сегодняшний день, то он неудачник; если он неудачник, его надо презирать; ergo: борцов за социальную справедливость надо презирать. Они не то чтобы злые, а ниже грязи.

Экзамен на эту формулу сдают в начале.

Однако Конкина привёл сам магистр.

— Он расклеивал листовки, — объяснил он на ежемесячном, — пытался взорвать вокзал. Говорил, что в стране угнетают народ, что диктаторов надо вешать. Говорил, что мы звери, поскольку развлекаемся массовыми репрессиями. Ещё много чего говорил. О правах человека, например, о свободе. Собирался за неё умереть. Но я надеюсь, это всё-таки по малолетству. Мужиков из его группы мы расстреляли, а парня взяли сюда. Он талантлив. Он так здорово доказывал, что человек не может эксплуатировать человека, что я чуть не поверил в эту херню... Он писал талантливые листовки, он талантливо убивал. Советники решили, что ему надо дать фундаментальное образование. Парень прирождённый воспитанник, просто его учили не те.

— И что с ним делать? — спросил из второго ряда Михаил Шаунов.

— Считайте своим братом, пока не сделает вам ничего плохого. Позанимайтесь с ним в онтологии. Учтите, что у него ай-кью сто шестьдесят, если мерить в дореформенных единицах.

Первую неделю он затравленно ходил вдоль стен в ожидании, когда его начнут бить. Однако стены могут подтвердить, до конца года Конкина никто не ударил. В субботу отличница Маша Сомова пригласила к себе, оставила на ночь. «Мальчик был так напутан, что пришлось его изнасиловать. А что делать, если это любовь?» — признавалась она домашнему монитору. Хорошая девочка, высокая, большеглазая. Конкин влюбился.

Время шло своим колесом. Однажды смешной растрёпанный Гутэтак пришёл в полночь и подарил охапку пыльной литературы. Но остальные всё-таки ждали его ошибок, пощёпывались и поглаживали нунчаки.

Так и не дождались. Конкин стал хулиганом-«оформителем»,

ходил в народ, повесил в своей комнате портрет первого консула. Читал запоем, шёл на бриллиантовую медаль. Длинноногую Машу представлял готовой женой, а с Гутэтаким глушил вискаря (пока тот не нацепил дурацкий малиновый крестик).

Когда Шаунов сгоряча назвал Конкина борцом за свободу, тот вызвал его на дуэль. Гутэтак с трудом уладил проблему: помог совет мастера Длугача и препарат мастера Берна, аккуратно принятый на четверых (Маша со слезами настояла на дозе).

...Кроме того, они учили пять иностранных и семнадцать экономических дисциплин.

Факультативно занимались алгеброй, геометрией, тригонометрией, высшей математикой, физикой, химией, биологией, музыкой, живописью, экологией, курагой, информатикой, дизайном, синергетикой, шахматами, плаванием и футболом. Недаром. Многие самовыражались. Допустим, Мария Сомова была с рождения сильна в квантовых процессах.

Магией и риторикой — отнюдь не факультативно.

Литературой занимались понятно как.

Историей — так же.

Указом актуал-консула они стали изучать этикет.

На практику поступали в «белые отряды» и ТНК, хотя некоторые предпочитали уйти в горы или просто объехать мир. За всё платило несчастное государство: за Уолл-стрит, за амуницию, за Тибет.

... Два десятка зевак смотрели, как он кончает. Член секундно замер и содрогнулся, выплёскивая счастье на почерневший асфальт, ещё и ещё. Девушка уткнула мордочку в ладони, её никто не держал. Член обмяк, Михаил Шаунов застегнулся, пряча растерянность. Гутэнтак стоял в отдалении и блаженно смотрел в небо поверх голов.

Он видел золотистые нити и горизонт, дурных птиц и глаза смотрящего на нас Бога, стеклянный воздух и капельки Мишиной спермы на её ногах, на сером и на зелёном. Зеваки загомонили.

— Вот суки, — прошипел за кожаными спинами неизвестный.

Рассеянно улыбаясь, он расстегнул две пуговицы чёрной куртки.

— Вы все такие пушистые, — сказал он людям. — Как маленькие добрые мыши. Или как домашние хомяки. Точно-точно, как хомяки.

Гутэнтак медленно достал «браунинг», повёл им в устрашающем жесте и огрызнулся поверх голов.

Люди, пытаясь сохранить достоинство, затрусили прочь. Наплевавшие на достоинство рванули галопом. И как рванули! И как хрустально смеялся им вслед Михаил Владленович Шаунов!

— Ну её, — сказал Гутэнтак, — ну их всех. Пошли отсюда. Побежали, мать!

Они отбежали метров на пятьдесят, остановились, начали гоняться за воробьями и задиристо пинать тополиный ствол. Словно маленькие. Оглянувшись, они увидели странное.

У тёмно-красной стены стояло трое

невоспитанных пацанов. Это было видно по их одежде, по причёске, по лицам. Один из них держал зелёную курташку, другой бил её по щекам. Третий расставил ноги на ширине плеч, держась за ширинку. А вот перестал держаться. Достал кастет, зная, передумал чего, переосмыслил.

— Чего это они? — спросил Миша.

— Наверное, сдурели, — решил он. — Вернёмся?

По щекам лупил моложавый, лет двадцати. Его лицо, казалось, было вытесано учеником плотника. А если присмотреться, то неумелой тупицей, почти выгнанной плотником из

учеников. Верх его головы закрывала чёрная шапочка.

— Что, проститутка, юпам даёшь? — приговаривал чурбачок. — Купилась, дура, за их говно? А пацанам не даёшь, юповская?

Миша подошёл нахмуренно-озабоченным. Сзади разболтанной походкой огибал лужи Гутэнтак, насвистывая из Вольфганга Амадея Моцарта.

Шестеро глазок изучающе уставились на заляпанный полуплащ.

— Парни, вы не правы, — вздохнул Шаунов. — Нет, клянусь, вы ошибаетесь на все сто. Поверьте мне, так не делается.

— Блядь, — сказал кто-то.

— Ваше поведение противно ка небесах, — вздохнул он. — А на земле оно хуже некуда.

— А твоё поведение? — со смесью ужаса и нахальства спросил кастетный.

— Моё поведение нормально, — пожал он плечами. — Я не могу ошибаться и делать что-то не так. Разве вам по ящику не рассказывали?

Кастетный мялся. Черношап оттолкнул девчонку, та упала на газон.

— Ты кто такой? — спросил он.

— Ты знаешь, кто я такой, — смиренно ответил Шаунов. — А может, не знаешь. Скорее всё-таки нет, но какая разница?

— Пошли выйдем, — сказал тот. — Пошли во двор.

— Выйдем? — удивился Шаунов. — Мы на улице. Гутэнтак по-прежнему видел серое небо и золотистые нити. Глаза Бога в упор смотрели на нас, но, что удивительно, мир казался им безразличным. Человечество им было до фонаря. И это ощущалось почти физически. Гутэнтак отвёл взгляд, попробовал насвистывать из Бетховена. Не получалось.

Они стояли за бывшими ларьками, немного открываясь с левого фланга. Проходящие прохожие проходили как проходные пешки. Они шли так целеустремлённо, как будто знали, что неминуемо пройдут в ферзи! Они шлёпали в десяти шагах, поглощённые от макушки до пят собственной неотложностью. Серьёзные все как один, без задоринки и смешинки.

— Давай в арку, — без задоринки и смешинки предложил третий. — Отойдём, что ли?

— Давай на луну, — усмехнулся Шаунов. — Не слабо?

— Боишься, пидор? — змеино зашипел черношап. — Я давно всё понял про вас, говны сраные.

— Ну что ты понял? — вздохнул Миша.

Он выхватил старенький ветеранский кольт, выстрелил навскидку. Парню снесло мозг вместе с чёрной шапочкой.

— Уходите, — раздражённо сказал другим. — Валите! Если мне понравится убивать, я стану маньяком. Но я не хочу. Ну?

...«Идеологическое высказывание типически отличается от онтологического и не может быть с ним смешиваемо, — писал Миша в мае. — Идеология устраняется из философской картины



мира изъятием понятия о ценностном ранжировании фактов, поскольку критерием ценности всегда выступает отношение факта к благу субъекта, что недопустимо в подлинно философской картине мира».

Мастер Клык кивал одобрительно.

«Формирование картины мира у человека осуществляется не суммацией знаний, а проходом через особую точку экзистенциального состояния, в которой происходит смерть внутреннего содержания сознания и рождение на его месте новых структур. Чтобы приобрести новую истину, надо предварительно осознать, что её не имеешь, точнее — оказаться в состоянии, где готов это предварительно осознать».

Мастер Клык ставил ему пятёрку.

«Максимальная цель любого субъекта заключается в совершении им максимально возможного для него действия (вне зависимости от того, осознаёт ли он сам желательность для себя этой цели). Человечество ещё не рождено для совершения максимального. Подобная реализация лежит просто не по уровню внутреннего содержания человечества. Рано или поздно должны прийти те, чьей внутренней природе будут соответствовать более максимальные действия».

Мастер Клык совершенно не возражал..

Они поговорили в июне, наконец-то вдвоём. В кабинете было светло и тихо, за окном невидимо щебетали и малолетки гоняли мяч.

— Здесь и сейчас, — повторил Йозеф Меншиков по прозвищу Гутэнтак. — Я люблю вас, Оля. Я не знаю, кого там любите вы. Мне это безразлично. Если вы не будете моей, я перестреляю полшколы. Наконец, я застрелю вас.

— А себя? — иронично спросила мастер Вьюзова.

— Не знаю, — пожал плечами Гутэнтак. — Да и какая вам разница?

— Ну ладно, пока, — сказала она, слегка улыбнувшись.

Ольга Вьюзова махнула рукой на прощанье лучшему ученику и пошла к двери. Он резко выбросил руку. Ладонь легла на плечо, останавливая женщину. Она обернулась, инстинктивно подчиняясь нажиму.

Гутэнтак усмехнулся:

— Подожди.

Оля разжала пальцы, ключ оказался в его руке. Женщина чуть натянуто рассмеялась, он вздрогнул, но всё-таки закрыл дверь. Звякнув связкой, бережно опустил в карман.

Он шагнул к ней, Вьюзова отступила. Гутэнтак неловко потянулся к её губам, она увернулась, отстранила его ладонью. Одёрнула помятый им мультипиджак со значком советника. Улыбка, ладонь — двойная защита.

— Не надо, — просто сказала она.

— Я не знаю, Оля, чем это закончится, — сказал Гутэнтак. — Я думаю только о тебе. Я никогда особо не любил жизнь. И первый раз в жизни я кого-то люблю...

— Ну хорошо, — раздражённо, но с опаской сказала советник Вьюзова. — Я рада за тебя, но

я уже говорила.

— Оленька, я люблю тебя. Я хочу тебя. Представь себе правду: я думаю только о тебе. Когда я засыпаю ночью, мне кажется, что ты рядом, что ты уснула. Я смотрю и удивляюсь, что тебя нет. Я почти готов искать тебя в своей комнате. Сумасшествие, да? Я не могу без тебя. Я пробовал — у меня не получилось. Я родился, чтобы действовать, но если ты не моя, то всё пошло на хрен. Я не могу встать и пойти что-то делать, я могу только думать о тебе и смотреть на тебя, но я не хочу так жить — ты понимаешь?

Вьюзова смотрела почти с сочувствием.

— Отпусти меня, — мягко попросила она. — Мне нужно домой.

— Тебе не нужно домой, — вздохнул Гутэтак. — Скажи ещё раз, что мы никогда не будем вместе.

— Тебе не надо меня любить, — сказала Оля. — Тебе не надо меня хотеть. Есть много других увлекательных занятий, поверь мне. В твои восемнадцать — ты понимаешь?

Он держал руки в карманах зелёного пиджака, чуть покачивался, смотрел ей в лицо.

— Я понимаю, Оленька, — сказал он. — Я всё понимаю, и не хуже тебя.

— Я пошла, — Вьюзова улыбнулась и протянула свою маленькую ладошку.

В ожидании ключа. Прошла тихая секунда.

— Ну ладно, Оля, — сказал он, отступая на шаг. — Я в сотый раз могу сказать, что люблю тебя. А, ладно...

Он достал из внутреннего кармана школьный мини-браунинг, полученный год назад. Одним движением снял с предохранителя и передёрнул затвор, всё как учили.

Выстрелил в угол. Стеклянная вазочка разлетелась вдреизг.

А затем поднял браунинг и выстрелил ей в голову.

Вьюзова упала на светло-серый линолеум. Слишком быстро упала. Он опустил пистолет, внимательно посмотрел. Дверца шкафа была пробита. Слишком быстро упавшая мастер Вьюзова в неудобной позе лежала на полу. Без царапин и синяков. Смотрела на него непонимающими глазами, однако без страха. Только удивление.

Она медленно поднялась, он не стал ей помогать или стрелять снова. Смотрел ей в глаза, как и минуту назад. Вьюзова присела на краешек стола. Она рассмеялась, а затем рассмеялся он, а затем она серьёзно спросила:

— Неужели всё так серьёзно?

— Конечно, — ответил он.

Они молчали секунд пять, за окном по-прежнему гомонили.

— Иди ко мне, — нежно-требовательно сказала она, он подчинился. — Здесь и сейчас.

Она целовала его, а затем сняла пиджак со значком советника, а затем сняла остальное. А затем стемнело и пошёл дождь. Никто не ломился в давно закрытую дверь, и ключ дремал в его зелёном кармане.

А затем он стоял за разваленными ларьками.

— Не плачь, глупая, — говорил Михаил Шаунов зарёванной девушке. — Ну не надо, лучше улыбнись. Когда улыбаешься, ты очень красивая. А когда плачешь, то так себе.

Он пытался её погладить, застёгивал на ней зелёную курташку.

Гутэнтак стоял в стороне. С Ольгой Вьюзовой он занимался любовью раз пять, но ко Дню Империи оба поняли, что в восемнадцать лет — немало иных занятий. Она убедила его. Теперь они хорошие друзья, вместе ходят на теофил и сплетничают про деяния консулов. Как ни странно, он смотрит на неё почти без желания, хотя и верит, что нет на свете никого совершенной. Ольга Вьюзова — мастер, полгода вела у третьей группы «любовь». Над левым соском у неё царапина: однажды Оля надевала золотистый значок прямо на майку.

— Извини меня, — ласково говорил Миша. — У нас, оформителей, такая мораль. Давай я дам тебе денег, а? Ты не обидишься? Сто долларов, для тебя ведь это серьёзно. Как тебя зовут, наконец?

— Света, — сказал она.

— Какое изумительное имя! — воскликнул он. — Скажи, что не сердись на меня. Ну правда, Свет. Мне больно, что я сделал тебе больно. Я ведь добрый и хороший, честное слово. Способный к дружбе и настоящей любви.

Она улыбнулась сквозь зарёванность:

— Я сержусь.

— Значит, не сердись! — радостно заключил Миша. — Улыбка — знак прощения.

Он старательно счищал грязь с её курташки, трепал волосы и даже норовил подтянуть колготки. Носовым платком промокал распахнутые глаза, возил фиолетовой рысью по лицу и шептал ей причудливую любовуть.

Гутэнтак улыбался другу: того, как он понял, снова потянуло на

добродел. С Мишей бывало, оформитель он не стойкий, временами

заносит на искупить.

— Пошли отсюда, — предложил он. — А то менты придут, оштрафуют за убийство. Ты защищался, но им-то чего докажешь?

— Какие оштрафуют? — презрительно сказал Миша. — Менты-кранты, что ли? Меня оштрафует только национальная гвардия.

— Но всё равно, Миш, труп-то лежит. Понятно, что убил при защите. Но те же менты настучат магистру, а это колун в карточку-5.

— Мы ведь возьмём с собой Свету? — спросил он, зная ответ.

— Свету?! — обрадованно закричал Гутэнтак. — Я сочту за честь. Ведь это красивейшее на свете создание, милейшее и к тому же умнейшее. Скажи мне, Света, а какое заведение имеет счастье тебя обучать?

— Я учусь в миру, — застенчиво сказала она.

— Ладно, Света, — по-доброму сказал Михаил Шаунов. — Во-первых, мы это знаем, а

во-вторых, это простительно.

— И вам не зазорно со мной?

Вот окучили-то простоквашных, мелькнула мысль.

— Брось, Света, нам радостно и приятно.

— Вы издеваетесь? — спросило умнейшее на земле создание.

Миша с нежностью поцеловал её в нос. Прошептал на ушко, чуть касаясь его кончиком языка:

— Нет, моя хорошая.

И с этими словами они пошли по большому городу.

Из кармана Мишиного полуплаща выпало расписание, осталось лежать, мокнуть под будущими дождями и разлагаться.

9.35. Пассионарная этика.

11.10. Эстетический канон.

12.45. Принципы магии.

14.20. Правоведение.

СРЕДА

8.00. Осн

До обеда они бродили со Светой, заходили в парк, поднимались на вертухе. Притомились, сели на голубую лавку, кормили голубей и смеялись от души над прохожими. Доехали до Скатёрной. Закусывали булочками с изюмом в кофе «Нагваль», запивая горячим кофе. Забрели на выставку работ художника Гагальюна.

— Ну полная чушь, — признавалась Света, видя перед собой размытые цветочные пятна.

— Это не чушь, Света, — наставительно завирал Гутэтак. — Это стиль гиперпофигизма. Чтобы в нём работать или хотя бы понимать, надо иметь большую художественную душу. Принцип прост: чем хуже, тем лучше. Но закавыка в том, что принцип

«как хуже» надо проводить мастерски, а это, согласись, куда сложнее, чем рисование традиционно хороших картин.

— Никогда бы не подумала, — смешно вздыхала неучёная Света.

— Учись, девушка, пока он жив, — добродушно подсмеивался Миша. — Он у нас большой художник. Вот будет мёртв, ничему уже не научимся.

— А вы правда такие умные, как по телевизору?

— Ну какие же мы умные?

Они захлопнули дверь художественного салона, угодили под мелкий дождь.

— У нас так, — сказал Миша, — по чётным числам мы гении, а по нечётным маньяки.

— Сегодня как раз двадцать пятое...

— А что, не чувствуется?

— Чувствуется, — смущённо сказала Света.

— У меня по-другому, — пояснил Гутэнтак. — Я-то как раз гений по нечётным. Замечаешь?

На перекрёстке Скатёрной и Наполеона Миша подошёл к старушке в синем пальто и купил у неё зонт для Светы. Бабушка мокла и улыбалась тройной цене. Ох уж эти козлы, думала она про себя, почувствовав стиль воспитанника.

Он предложил зайти в казино, но «Эльдорадо» ещё закрыто. Света предложила ходить вдоль берега.

— Господи, как я убалдеваю с природы! — воскликнул Гутэнтак, когда они двинулись.

На берегу тремя ярусами росли деревья, желтилась трава и шёл дождь. Они спустились на нижний, к самой воде. Дождь падал вовсю, капельки тарабанили о камень, поднимая мягкие круги на воде.

Гутэнтак присел на корточки.

— Бог везде, — сказал он. — Вот сейчас он в капельках дождя, завтра будет ещё где-нибудь.

— В капельках — это да, — сказал Миша. — А вот насчёт где-нибудь я сомневаюсь.

Рядом с водой росли кусты. Неожиданно из них выбежала серая собачонка, маленькая, лохматая. Самозабвенно залилась лаем.

— Самовыражается, — усмехнулся Миша.

— Не укусит? — спросила Света, якобы испугавшись.

Гутэнтак поднялся, вальяжно подошёл к собачонке. Закатал рукав, протянул руку.

— Кусай, — сказал он. — Самовыражайся.

Серая собачка взвизгнула и скрылась в кустах.

— Ты чего?! — крикнул вслед. — Кусай!

Но она не подала голоса.

— А если она бешеная? — спросила Света.

— А мы какие? — усмехнулся Миша. — Если она куснёт Гутэнтака, то сама заразится. И подохнет через минуту. Вот и боится, что дольше не протянет. А мы ничего, живём.

Собачка выбежала с северной стороны и затрусилась вверх по ступенькам, на средний ярус. Миша по-детски забавлялся, пуляя камешки в водную гладь. Соревновался со Светой. У кого больше?

Изгибисто и вразвалочку приблизился Гутэнтак.

— Я читал в подпольной газете статью попа, — сообщил он. — Газетка хреновая, невзирая на подпольность. Знаешь, что пишет православная морда? Он посчитал по своему численнику сумму цифр в имени актуач-консула.

— Получилось шестьсот шестьдесят шесть, — умно предположил Миша.

— Точно, — рассмеялся Гутэтак. — Дальше мудила всё расписал. Раз его численник нашёл Зверя, всё покатится по завету. Он тебе и вавилонскую блудницу сыскал, и мор предрёк, и прочие гадости. Про Центры глава специальная. Ну понятно, чьи мы с тобой дети.

— А то! — гордо заявил Миша.

— Статейка называется «Земля Белиала». Вот название хорошее, хоть и непонятно к чему. Какой такой Белиал? В стране полный порядок.

— Я вот тоже иногда думала, — сказала Света. — Это ничего?

— Вот-вот, — ответил Шаунов на признание девушки и заметнул покатый камень-лепёшку.

— Вода в небе, вода перед тобой, — философски заметил Гутэтак, — наконец, ты сам состоишь из воды. Не это ли суть подлинная гармония?

— Вот-вот, я к тому же.

— А хочешь увеличить число воды?

— Число воды? — недоумённо сказал Миша. — Вот-вот, слова-то какие.

Гутэтак нырнул в заросли. Радостно выволок из кустов целую заржавленную кастрюльку, подошёл к воде, зачерпнул.

— Если я вылью это тебе за шиворот, наличие воды в твоём мире будет тотально. Гармония достигнет своего апогея и станет абсолютной. Хочешь?

— Не-а, — лениво сказал Миша. — Много гармонии — это перебор. Вспомни анекдот от мастера Клыка.

Мокрые, но довольные они поднимались вверх.

— Не это ли та лестница, что ведёт к просветлению? — задался вопросом Гутэтак.

— Я думаю, что туда ведёт скорее скоростной лифт, — немного подумав, ответил Михаил Шаунов.

По обе стороны лестницы желтела и местами даже зеленела русская осень.

— Тебе не кажется, что эта погода достойна памятника? — патетично спросил девушку Шаунов.

Они шли, держась за руки. Он обнимал её, прижимал к себе: делал вид, что намечается большая любовь.

— Может быть, ты всё-таки возьмёшь сто долларов?

— Нет, — твёрдо ответила она.

— Как знаешь.

Они шли той же дорогой, поднимаясь вверх бульваром Наполеона. Дошли до бывшей улицы Ленина, свернули на Скатёрную. Слева дремал городской парк, справа неслись оголтелые автомобили. Они шли мимо намоченных курток и городских тополей, миновали «Яму» и Дом Консалтинга.

Скатёрная интересна сама по себе. Улица контрастов, она начиналась в наркоманских кварталах и тянулась до самой администрации. В начале в основном попадались сараи, затем Светозарьевка сменялась девятиэтажными башенками, наконец возникали сталинские строения с четырёхметровыми потолками внутри и яркими вывесками снаружи. Вереница домов упиралась в мэрию и небольшой сквер.

Они брели шеренгой в полтротуара, с задоринкой, мимо озабоченно-неотложных граждан.

У Центромага Света запросилась в туалет, Миша посмотрел с сожалением. Что-то буркнул, кивнул: иди, мол, мы здесь. Она исчезла, надо полагать, на минуту. Гутэтак посмотрел ей вслед, цокнул языком, подмигнул.

— Да ну тебе эта дурочка, — сказал он.

— Вот-вот, — повторил Миша. — Пошли-ка отсюда, пока она тут пи-пи.

Они завернули на Медицинский, углубились во дворы, выбирая путь среди спортплощадок и хаоса гаражей.

— Хорошая девочка, — слегка задумчиво сказал Гутэтак.

— Просто замечательная, — согласился Миша. — У неё потрясающие ноги.

— Я видел, — скромно заметил друг.

— Но ты не представляешь, какие у неё губы, — с воодушевлением сказал Миша. — Я уверяю, что лучше не бывает.

— Помимо прочего, у неё восхитительные глаза, очень ласковые и выразительные, — подметил Гутэтак.

Словно в подтверждение его слов Миша разбил ногой трухлявую доску, случайно лёгшую поперёк. Гаражные лабиринты казались бесконечными и манили своим полным развалом.

— Конечно, — сказал он. — А ещё у неё белые трусики, и вообще, она очень добрая.

— Может быть, самая добрая девушка в этом городе, — сказал Гутэтак.

— И не говори, — уверенно сказал Миша. — Просто девушка чьей-то мечты. Я получил удовольствие, когда обнимал её у воды. Она ведь меня тоже обнимала, ты видел? Заметь, что во многом это было и духовное наслаждение. Я думаю, она меня вспомнит. И как всё-таки жаль, что мы не оказали ей материальную помощь. Эти поганые доллары жгут мне сердце.

— Дай-то бог, если вспомнит.

Гутэтак молитвенно сложил руки.

— Вот-вот.

Из подворотни показался полувековой дядька, точная копия утреннего, но всё-таки не он. Помятый, растерзанный, может быть, даже алконавт. Верхние пуговицы были расстёгнуты, клетчатая рубашка распахнулась и являла миру волосатую, в меру загорелую грудь.

Миша уверенно направился в его сторону.

— Деньги нужны?

— Сколько?

— Сотня баков.

— Ого, — сказал мужик, отроду не слыхавший про столько денег. — А что нужно сделать?

— Да ничего не нужно, — улыбнулся Миша. — Берите, пользуйтесь. Купите подарок любимой женщине или детям, если у вас есть дети. Напейтесь с радости, купите себе галстук. Да что хотите.

Он порылся в кармане брюк и протянул тому единственную бумажку.

— Ваше, ваше, — махнул он рукой. — Да не смотрите на меня так.

Друг строил в десяти шагах уморительное лицо.

Две минуты брели в молчании, наконец Гутэнтак не выдержал:

— Что, Миша, потянуло на искупить?

— Вот-вот. А ты не знаешь, где можно собрать побольше людей?

— У тебя долларов не хватит, — хмыкнул он.

— Да ну их, какие доллары.

Они вышли на свой любимый проспект Труда. Короткий мужчина в очках спросил о времени.

— Четыре пятнадцать, — вежливо, но наугад сказал Миша.

— Спасибо, — сказал короткий.

Вытянул запястье: часы шли на три минуты вперёд.

Перед ними стоял большой сероватый дом. Табличка извещала, что внутри дома находится много чего разного, в их числе скромный банк и невнятные профсоюзы.

— У профсоюзных крыс сегодня собрание, — сосредоточенно сказал Миша. — Что-то типа регионального Съезда, я слышал по новостям. Пойдём к ним.

— Я понимаю, что дело нужное, — ответил Гутэнтак. — Но стоит ли мориться с этими червяками? И какое нам дело до профсоюзов?

— Наша цель — преобразить мир, — повторил Миша школьное правило. — А значит, нам есть дело до всего, что в этом мире творится. В том числе и до откровенно крысиных сборов. Пошли, поработаем.

Он был уже на ступеньках серого здания.

— Я ничего не понял, — зевнул Гутэнтак. — Но если хочется к профсоюзам, пошли к профсоюзам.

Он резво вскочил на крыльцо, а неожиданно деловитый Миша уже тянул на себя не лёгкую дверь.

Наискось от входа стоял древний столик, за ним мигала местная бабушка. Миша спросил, где проходит Съезд. Оказывается, второй этаж и налево, а дальше будет зал, двести кресел и делегаты. Поторопитесь, сказала бабушка, ваш слёт заканчивается. Нас вполне устраивает,



умиротворённо ответил Миша.

Они скинули одежду в гардероб, чуть замешкались. Сначала подошёл Миша, и его помоечный полуплащ вообще не хотели брать, но затем Гутэнтак протянул кожаную «куртку героя», и на них посмотрели странно. Гардеробная женщина несла куртку так, будто не хотела до неё дотрагиваться. После этого она отнеслась к истекавшему грязью полуплащу с куда большим пониманием и сочувствием, взяла его без опаски и протянула номерок. Застенчиво улыбнулась, однако страха и растерянности в её улыбке было побольше, чем светлых человеческих чувств, — встречаются такие улыбки, и довольно часто, куда чаще, чем следовало бы, — подумал он, взлетая по широким ступеням.

Второй этаж показался им на редкость обшарпанным. В одном месте штукатурку отбили и ничего не положили взамен. В остальных уголках витал странный запах, и начитанный Гутэнтак сказал, что это не иначе как

дух Совка. Это точно он — хотя определить Совок в терминах не решился бы даже Гутэнтак, это слишком специальное понятие. Но именно этим, по его словам, дышали их предки, простые и советские люди.

У дверей зала пообщались с третьей по счёту. Пожилая дама спросила их имена и статусы, рассерженный Шаунов сказал, что они делегаты от Красной Бучи. Местные, стало быть. Неприступная дама сказала, что делегат из Краснобучинского района прибыл ещё утром, а зовут его Терентий Кимович Серохвост. Миша лаконично парировал, что прибывший делегат ошибся миром и лучше бы ему вообще не рождаться. Пока неприступная переваривала фразу, он толкнул дверь и оказался внутри. Гутэнтак достал читательское удостоверение с орлом и помахал перед носом дамы, не давая ей, однако, ничего прочитать. Пока та готовила ответную речь и рылась в эпитетах, прошёл следом, а женщина осталась молчать, так и не собравшись с мыслью.

Сотня человек заполнила прямоугольник зала, предпочитая центр и первые ряды. Задняя линия кресел выглядела почти пустой, относительно просторно было на флангах.

— Послушаем их немного, — шёпотом предложил Миша, осторожно усаживаясь.

На трибуне стоял лысоватый деятель и ораторил что-то благонародное. Рубашка на нём была чёрная, а пиджак, мягко выражаясь, цвета земли (но если говорить честно, пиджак лысоватого был скорее цвета дерьма). Ребром ладони он отстукивал трибунную деревяшку, ударяя от души и на редкость в такт.

— Обязательства перед народом не выполнены, — подводил он итог. — А если выполнены, то не в полном объёме и с нарушением установленных сроков. Уже сейчас можно отметить, что курс проводимой политики неадекватен тем простейшим потребностям, которые выдвигает сегодняшнее общество. Исходя из провозглашённых ранее тезисов, мы делаем совершенно закономерный вывод о невозможности дальнейшего следования в русле проводимого курса, поскольку он полностью расходится с теми принципами, на которые мы должны опираться в том случае, если всё-таки хотим оставаться последовательными во взятой на себя роли отстаивания тех интересов, на которые нас уполномочил...

Землянистый затравленно огляделся.

— Одним словом, народ требует, — неожиданно завершил он.

Послышались редкие аплодисменты, навевающие тоску.

— По-моему, херню несёт, — зевнул Гутэнтак. — Неужели народ именно такого и требует?

Миша молчаливо встал и решительно направился в сторону трибуны. Президиум пока не понял, куда он идёт. Носатая и худощавая тётка объявила выход следующего запланированного:

— Лев Васильевич Загибин, вице-президент Союза налогоплательщиков, депутат теневого курултайского горсовета.

Но Миша успел раньше.

— Говорить буду я, — предупредил он. — Михаил Владленович Шаунов, воспитанник и кандидат.

Он посмотрел на президиум, взглядом отменяя все возражения. В зале зашелестели, кое-кто возмутился. Проснулся Лисицын в третьем ряду.

— Позвольте, — сказала носатая.

— Не позволю, — заявил Миша.

Лисицын в третьем ряду обратился к своему соседу А. Я. Померанцу и сообщил своё мнение о молодом человеке. А. Я. Померанц согласился с мыслью, что молодой человек абсолютно нагл, и выдвинул идею, что раньше, в более спокойные времена, такого просто не было, в коем сравнении и содержится завуалированный приговор нашей эпохе. Эта относительно простая, но эмоциональная мысль была горячо поддержана Лисицыным из третьего ряда, а также Ватентиной Мохнюковой из четвертого ряда. Привлечённая их тихой, но занимательной беседой, она приняла в ней живейшее участие и, в частности, выдвинула гипотезу, что в таких вещах наиболее виновата существующая идеология. Её сосед из общества малоимущих Вильгельм Пеневич не вполне разделял этот несколько оппозиционный тезис, склонившись всё-таки к приоритету личных качеств субъекта, зато его коллеги из третьего ряда Лисицын и А. Я. Померанц разделили теорию Мохнюковой в подлинном масштабе этой теории, принимая в ней главенствующий пафос вместе с его открытой оппозиционностью существующему положению дел. Столь острое обсуждение не могло остаться в стороне от главы крестьянского профсоюза, сидящего по левую руку от А. Я. Померанца. Вступив в беседу, он внёс крайне радикальную и действенную идею, призвав по мере сил воспрепятствовать новомодным, но очевидно пагубным тенденциям, идущим от совершенно непродуманной, как он выразился, идеологии. Это предложение окончательно консолидировало все стороны, принявшие участие в кратковременном обсуждении назревших проблем.

— Как и вы, я погряз во многих грехах, — откровенно признался Миша, зачем-то лизнув микрофон. — Но, в отличие от вас, я вижу пути спасения. Хочу поделиться той истиной, что открылась мне.

А. Я. Померанц и другие смотрели на него с явным неодобрением.

— Любовь и только любовь, — говорил Миша. — Прежде всего конечно же любовь к ближнему. Но не следует забывать и дальнего, а особенно надлежит возлюбить врага. Не думайте, что я шучу или издеваюсь. — друзей-то может любить и подонок, а вот врагов? Это и есть подлинная Любовь в её глобальном смысле: к первым встречным и ненавистникам. Я подчеркну, что надо также любить самого себя, ибо сказано: возлюби ближнего как самого себя, из чего следует, что себя мы уже любим как полагается. Кроме того, надо любить зверей, птиц, окружающую природу, памятники архитектуры. Вообще любить всё, что встречается на пути. Вот идёшь, а тут перед тобой какая-то нечисть. Любовь и только любовь! Когда мы научимся чувствовать её по отношению к разной нечисти, наши души озарит свет и мы наконец-то удостоимся покоя внутри себя. Я говорю доступно? Придёт она, благодать, никуда не денется — это, я надеюсь, вам ясно? Придёт покой, принятие этого мира и своего

места в мире, и наступит тихая радость — независимо от внешних обстоятельств и теперь уже навсегда. Вот её-то мы и будем называть благодатью.

Зал притих, слушая его с удивлением. Делегат Валентина Мохнюкова высморкалась с чувством глубокого фарисейства.

— Я повторю старые банальные истины, вы уж меня простите, — улыбнулся Михаил Шаунов. — Я тут смотрю, наши времена изрядно подзабыли свет этих истин, и от этого нам всем немного тяжеловато. Так вот, послушайте: я пришёл, чтобы напомнить вам. Прежде всего конечно же: не убий. Грех тягчайший, можете мне поверить. Кроме того, нельзя воровать. Внешне-то всё привлекательно. Но как вам подходчивее объяснить, что воровство и коррупция губят души? Губят, губят, поверьте на слово. Это так просто, что можно и не доказывать. Наконец, не прелюбодействуй. Этот грех вряд ли является основным, но на всякий случай я прошу в него не впадать. Благодать накроеся, это как пить дать, а нет ничего важнее и упоительней благодати. Какой там разврат? Поэтому стоит воздержаться и не тыкать членом куда попало, а равным образом что попало и не втыкать. Грубо сказано, но я надеюсь, что Бог простит. Кстати, о Боге. Во-первых, это слово не упоминается всеу, запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Но я-то упомяну Бога, моя речь отнюдь не суетна. Это правда жизни, поверьте мне наконец, это ценности, которые можно с равным успехом назвать как вечными, так и сегодняшними, рождающимися в наших душах прямо сейчас. Вот сколько времени они существуют — столько раз они и рождались вновь.

Лисицын снова начал умиротворённо похрапывать, мелкая благодать на него уже снизошла.

— Я продолжу, — продолжил Михаил Шаунов. — Сейчас я буду умолять вас об одной вещи: ни в коем случае нельзя возводить хулу на Господа Бога. За это сразу полагается душевный крантец и, как сказано, огненная геенна. Но геенна скорее метафорическая, а вот душевный крантец очень реален. Хулу, как вы поняли, вообще нельзя возводить — ни на Бога, ни на людей, ни на птиц, ни на обстоятельства своей жизни. Мир надо принимать с любовью и благодарностью, а особенно надо благодарить Творца за его удивительное Творение. Я подчёркиваю — удивительное. Надо принять как факт, что это Творение необычайно красиво и гармонично, а наш мир, на полном серьёзе, является лучшим из множества возможных миров. Ну подумайте сами, как может Всемогущий сотворить плохой мир, если может сотворить более лучший? Пора поверить в чистоту мироздания, в нужность всех его элементов, включая те из них, что предстают нашему тщедушному разуму в виде банальной несправедливости. Давайте просто условимся, что это своеобразные испытания. И примем их с любовью, как полагается. И не будем сомневаться, что добро в конечном итоге одолеет зло, поскольку — вы верите мне? — Бог всё ещё по-главнее Дьявола. И тем более он позначимее тех мелких гадов, что изредка держат над нами власть.

Удивительное дело, но многие в зале стали внимательно слушать, местами даже раздались жидкие аплодисменты. Особо пожилые делегаты в задумчивости кивали головой, а кое-где молодёжь начала приветливо махать цветными платочками. Глава крестьянского профсоюза немного приоткрыл рот.

— Чушка косяка порет, — охотно поделился Гутэтак с левосидящим мужчиной. — Базар нефильТРованный, слушать запахло. Выцепить бы лохана всей братвой да грузануть, чтоб волну не гнал. Ладно, разведём. Завтра перед пацанами на бабки отвечать будет. А понты у него гнилые: бог не крыша, на стреле не отмажет. Если фраера начнут понтоваться, это какой же порядок?

Левосидящий в ужасе отшатнулся.

— Надо верить, что Господь уже дал гармонию, — жестикнул Миша. — Надо только её увидеть. А помогут нам ценности, которые народ называет вечными. Я продолжу напоминать.

Значит, не убий и не укради. В какой-то степени — не прелюбодействуй. А самое распозорное — судить ближнего своего. От этого происходят очень многие беды. А делов-то — ну не суди, и всё тут. Займись собой. Нет, им ближнего подавай. Что за отвратительная привычка?

Вильгельм Пеневич из общества малоимущих задумчиво грыз свой ноготь с чёрной каёмкой, неумытый и неподстриженный. Валентина Мохнюкова распахнула газетку и углубилась в чтение. Так себе, бульварщина и картинки. Лисицын открыл глаза и ничего не понял.

— Кроме того, запрещается метать бисер перед свиньями. Я вот стою, метая — но ведь не зря? Вы взрослые, образованные люди, разве не так? Вы не захрюкаете наперекор?

Глава крестьянского профсоюза закрыл рот. Валентина Мохнюкова с ненавистью рассматривала голую женщину. Лисицын кое-что начал понимать.

— Любовь и только любовь! И не ищите справедливость грязными методами. Займитесь собой, бросьте социальную канитель и революционную мерихлюндию. Начните делать добро. С этого дня, с этого часа. Вот как выйдете на улицу, так и начните. В мире столько неделанного добра, что вам хватит до конца жизни.

А. Я. Померанц собрался сказать сильную фразу, но растерялся и промолчал. Валентина Мохнюкова смотрела на голую женщину и хотела плакать. Лисицын снова потерял нить.

— Дожили, — сказал делегат Краснобучинского района Терентий Кимович Серохвост.

Лисицын подобрал нить, а Валентина Мохнюкова пустила по щеке слезку. Не взирая на них, глава крестьянского профсоюза почесал ухо.

— Да кто ты такой? — рявкнул со своего места Загибин.

— Я? — чуть растерянно сказал Миша. — Я ничего плохого, я пришёл поделиться вам. Свет и любовь, прочих радостей. Вы не хотите Бога?

— Вон! — закричал на это вице-президент Союза налогоплательщиков.

От неожиданности Лисицын выронил папку и снова всё потерял. Валентина Мохнюкова гневно порвала чтиво. Не взирая на них, глава крестьянского профсоюза перестал чесать ухо.

— Мать честная, — на полном серьёзе сказал Вильгельм Пеневич из общества малоимущих.

Он здорово потрудился за свою жизнь и удовлетворённо разглядывал средний палец.

— А я что говорил? — оживился делегат Краснобучинского района Терентий Кимович Серохвост.

— Но я не всё сказал, — заметил Миша. — Я не успел самое главное.

Лисицын ползал в проходе и собирал листы. Поднимал и аккуратно запихивал в папку. Ему помогал предыдущий оратор цвета дерьма.

— Щас пойду валить фраеров, — сказал Гутэнтак левосидящему. — Достали меня эти чуханы лагерные. Особенно вон та дунька, — он показал пальцем в направлении вице-президента.

Левосидящий на всякий случай извинился и пересел в другой ряд.

— Иди, иди, — уверенно говорил Загибин. — Смотри, парень, я звоню милиционерам.

Он достал сотовый телефон, нажал какие-то кнопки. Гутэтак подсел к бывшему соседу. Теперь тот оказался правосидящим.

— На зоне, — сообщил он, — бывают не только паханы и вертухаи, но и суки отвязные. Понятно?

Мужчина извинился ещё раз. Это не помогло.

— Кое-кого сегодня отпетушат, — предупредил Гутэтак. — Так что ты с базаром не лезь. Я тут типа за разводящего, усекаешь?

Лисицын собрал листки, но потерял главное. Прошедший оратор цвета дерьма хотел помочь, но оказался бессилён. А. Я. Померанц наконец-то произнёс сильную фразу. Валентина Мохнюкова подумала о душе и поняла, что мужики сволочи. Она захотела с кем-нибудь поделиться, но вокруг сидели только сволочи и ни одной бабы.

Невзирая на жаркие события, глава крестьянского профсоюза тихонько икнул.

— Кто вас послал? — жёстко спрашивал Загибин, направляясь к трибуне.

— Вот видите, — развёл руками делегат Краснобучинского района.

А. Я. Померанц понял, что в его судьбе настаёт решительная минута.

Лисицын вспомнил о главном. Оно было до того противно, что ему расхотелось жить.

— Это шестёрки, — говорил Гутэтак в самое ухо. — А кто у вас мазу держит, кто на солидняках? С кем по натуре добазариваться?

— Я не знаю, — честно ответил правосидящий.

— Не пацан, что ли? — презрительно сказал Гутэтак.

Валентина Мохнюкова представила, как держит за член этого симпатичного мальчика. Лисицын нашёл кое-что позитивное и почти простил этот мир. В ответ глава крестьянского профсоюза рыгнул и застенчиво потупился. Сегодня он был не в духе.

— Не трогайте мальчика! — сказал А. Я. Померанц, вставая в проходе и загораживая путь вице-президенту.

— Вы в пособниках этого хулигана? — спросил тот.

— Вот загнули лохотрон, козлы беспонтовые, — довольно смеялся Гутэтак в ухо не-пацану.

— Начинается. Как я и говорил, — уныло вздохнул делегат Краснобучинского района, обладавший удивительным даром: наступление любых неприятностей он предугадывал за год (его всерьёз подозревали в экстрасенсорных способностях).

Валентина Мохнюкова призывно помахала своей розовой книжечкой. Этим жестом она просила соблюдать тишину.

Лисицын подвёл итог и снова расхотел жить. Но он знал, что это чувство быстро проходит. Поэтому чересчур не расстраивался, не плакал и не скулил. Оратор цвета дерьма попросил у него телефон, Лисицын протянул корявые циферки.

— Спасибо, — сказал тот. — Я позвоню вам насчёт нашей акции.

— Обязательно позвоните, — сказал Лисицын. — Я уже думаю об освещении похода в СМИ.

— Замечательно, — сказал дерьмоцветный, не заметив, как Лисицын снова потерял нить.

Вильгельм Пенович мысленно пожелал им поскорее сдохнуть.

Валентина Мохнюкова без одобрения смотрела на поступок А. Я. Померанца. Мужчина был настолько некрасив, что не возбуждал даже антипатии. Дерьмоцветный вернулся к своему креслу, сверкнув залысиной.

— Понтуется, васёк, — комментировал Гутэтак в соседское ухо. — Или за базаром не проследил. Но он не в авторитете. Вот посмотри, барыга его опустит. Но я-то, я грузану чертей, всех раком поставлю.

Невозмутимый глава крестьянского профсоюза ушёл в дела. На сей раз он чесал живот, интимно просунув под пиджак руку.

— Я не пособник, — героически сказал А. Я. Померанц. — Но я разделяю его взгляды.

— Разделяете юношеские бредни? — удивлённо спросил вице-президент Союза налогоплательщиков.

— Да, Лев Васильевич, — мужественно ответил тот.

Глава крестьянского профсоюза оглядел зал, не заметив ни одной стройной девки. Наверное, не сюда попал, догадался он. Он ещё раз посмотрел на делегата Валентину Мохнюкову. Она не баба, а

выхухоль, догадался он.

Довольный словом, он резко всхрюкнул. Наверное, он дурак, догадался Лисицын. Мужчина! — умилённо подумала Валентина Мохнюкова, с горечью вспоминая косорылого мужа.

Загибин легко отодвинул А. Я. Померанца в сторону. Тот подчинился не столько правилам, сколько силе. Мог ведь и уронить, с горечью подумал он.

Загибин шёл к трибуне с неумолимостью ледокола. Миша безмолвно покачивался и моргал. «Мальчик мой», — с нежностью подумала Валентина Мохнюкова.

— Не к добру, — сказал делегат Краснобучинского района. — «Панорама» нас в среду предупреждала. А мы что?

Лисицын улыбнулся девятый раз в жизни.

Очнулась носатая дама из президиума.

— Покиньте помещение, молодой человек! — твёрдо сказала она.

— Но вам будет хуже, — едва не плача, сказал Михаил Шаунов.

Загибин стоял напротив.

— Разберёмся без сопляков, — весомо произнёс он. — Всегда жили и сейчас проживём. Понял?

Делегаты застыли в робкой надежде на мордобой. Лисицын забыл, чему улыбался. На его коленях лежал план подъёма экономики в трёх частях, с ссылками и запутанным комментарием. Документ был подписан доктором Миллером из Института Европы.

— Вот гонит, чмо, — с удовольствием нашёптывал Гутэтак. — Но мы этой петушине

покажем. Пацан сказал — пацан сделал. Я отвечаю. Держи выкидуху. Загонишь ему нож под ребро?

Сосед не выдержал, поднялся и рванул к выходу. В проходе наступил на ярко-оранжевый фантик.

Гутэнтак с сожалением посмотрел ему вслед, вполшёпота насвистывая Бетховена. Наконец-то получилось.

Валентина Мохнюкова разревелась.

— Не трогайте его, — просила она. — Мальчик не виноват.

Она многое переосмыслила, всерьёз хотела приласкать: бедный мальчик, пятое-тридевятое...

— Вот именно, — подтвердил А. Я. Померанц, продолжая совершать поступок.

— Он исправится, — зевнул глава крестьянского профсоюза, старательно извлекая из волос перхоть. — Пожалейте соплю зелёную, чего уж там.

По рядам пронёсся сбивчивый говорок. В дальнем углу поднялся усатый Фальк.

— Не устраивайте здесь политическую Голгофу! — призвал этот по-своему замечательный человек.

— А я что говорю? — встrepенулcя краснобучинский Серохвост. — Я как все, я против насилия.

В зале запахло братоубийственным разговором.

— Вау! — закричал моложавый хрен с лицом бывалого комсомольца. — Окучь зюзю! Свободу слова — надуть!

— Я тебе окучу, — сказал Лисицын. — Я тебе устрою Гоморру. Ты слышал, кто я? Знаешь, с кем я водку-то пил?

— Неужели вы не понимаете юмора? — спросил моложавый. — В ваши-то годы на людей кричать?

— Цыц, — печально сказал Лисицын. — В мои годы жизнь только начинается.

Он снова забыл о чём-то необычайно важном.

На заднем ряду тихонько смеялись циничные журналисты.

— Эх, сарафан, пропади оно пропадом, — махнул рукой Гутэнтак, подбираясь к ним. — Эх, удалцы мои, давай водку пить?

Циничные щелкописцы посмотрели на него с удивлением.

— Это им веселуха, — пояснил усатенький борзопёр. — А нам всё-таки работа. Сидим тут, конспектируем общественный лабудизм.

— Но сегодня ничего, — признался ещё один, молодой-фотокамерный. — Мы думали, съезд как съезд: сядут эти пыльные, разведут занудень. А вот и нет, тут тебе и психи, и беспредел. Такое шоу сразу первополосным пойдёт. Нам бы ещё эксклюзив у ненормального и рожу его запечатлеть.

— А который тут ненормальный? — заинтересованно спросил Гутэтак.

— А это который пацан с трибуны, — пояснил фотокамерный. — Хотя, конечно, все они чуть шизые, работа у них такая. И не только шизые. Глава крестьянского профсоюза, как мне говорили, мафиози. Местный такой, поселкового масштаба, но всё равно бандит. С деревенским попом на джипе гоняют, тёлок в баню затаскивают. А вон тот ушастенький раздолбай — кажется, педофил, — он показал на Лисицына.

— А кто они такие вообще?

— По жизни, что ли? — усмехнулся усатенький. — Да так, псевдополитическая шпана. Их профсоюзы сто лет как распущены, а они по дури всё равно собираются. Не могут, наверное, без этого, вот и косят под депутатов. Про актуал-консула дурное не говорят, вот он их дурдом и не трогает. А политических механизмов у съезда ноль, я уж не говорю про экономические.

— Стало быть, они просто так?

— Ну да, трезвонят. Тут половина за секс-шопы, а половина за Сталина. Вот и выясняют, что помоее. В стране давно уже другая эпоха, марсианский строй. А они не могут решить, как нам быть с синагогой и приватизацией туалетов, руют правду и колупают эмиссию. Во всём ищут моральный смысл, даже в минете. Делают вид, что последняя защита народа.

— А зачем они называются профсоюзы?

— А хрен их знает, — признался фотокамерный. — Молодёжь и слова такие забыла. У них было семь идей, как свою шарагу назвать: собор, сходняк, советский союз, фронда, ложа, вече и профсоюзы. Долго думали, решили, что последнее презентабельнее.

Гутэтак радовался, что узнавал такое новое и занимательное. Даже улыбаться стал.

— А между собой, наверное, спорят?

— Я же говорю: половина за либералов, а половина за батьку. Но это они вид делают, что полемизируют. Им бы собраться да порыдать. О народе, конечно, не о себе. В этом они всегда соглашаются, а всё остальное и неважно. У них, если вдуматься, только две серьёзные идеи — причём для всех общие — для белых, для красных, для педофилов. Во-первых, они считают, что народ наш плохо живёт. Это, так сказать, идея открытая. За неё не расстреляют, вот они её и балакают. А второй мысль, что во всём виноваты консулы. А поскольку за это вешают, они её, так сказать, подразумевают. Собираются ежемесячно и начинают подразумевать. А вслух говорят, что виноваты экономические трудности. Каждый раз принимают программу, как с ними бороться. Загибин аналитический центр учредил, подпольный, правда, при теневом курултайском горсовете. А Лисицын в Женеву съездил, купил там на толкучке у доктора Миллера пару листиков, назвал их плодом Института Европы и приволок. Сейчас они две программы совместят, примут, как положено, и разойдутся. У них по фракциям уже всё закончено, Загибину только речь толкнуть. А дальше проголосуют и разбредутся. Они уже домой собрались, когда ненормальный вылез.

— Это точно, он ненормальный, — хохотнул Гутэтак. — А давайте всё-таки водку пить, сарафан моё в околочный?

— Нам нельзя, — печально сказала молодая дама в пятнистом свитере. — Нам бы эксклюзивчик и мордулет этого Иисуса. Вы лучше с ними выпейте, у них жизнь халявная.

— Хорошие вы ребята, бодунец мою на трандец, — сказал Гутэтак. — Пиванул бы я с вами в скатёрку, только не туда, видать, баламуть. Вот и судьбина моя посконная.

— Знаете что? — предложил усатенький. — Чтобы материал уж точно первополосным был,



сходите-ка на трибуну и загните всё это там. У нас, как вы видите, нынче модно на трибуну ходить.

— Не-а, — он расквасил лицо в улыбке придурка. — Не созрел я на такие дела. Вот как почую в себе силу духовную, так и двину. Будет вам тогда от меня, яшкин воз на хлебосол кочергой!

— Наверное, будет, — по-доброму сказал фотокамерный.

— Но я вам, дружбаны, удружу, перемол мне на самокат, — расплывчато пообещал Гутэнтак.

— Я, как-никак, Христу тамошнему школьный брат. Ежели вам до эксклюзива дело, могу его на ошейник насадить да пред ясны очи, как недомута. Будет вам тогда мордулет и полная исповедь. Лады? Вот как его пинком отпроводят — так я вам его и заволоку.

Тут щелкописцы бросились его благодарить, набиваться в други и задавать вопросы самого занудного содержания (они умеют): кто, да почему, да по какому случаю? Гутэнтак дебильно косился и бурчал афоризмами, но удивительно невпопад. Например, на вопрос, где он родился, Гутэнтак чистосердечно сказал, что мёртвые сраму не имут и т. д.

Зал провожал Мишу сидя и без оваций.

— Да ладно, я иду, — соглашался Миша. — Я уйду, но дети мои придут. Не мир я принёс на землю, ох, не мир. Будет вам большая заруба. А за ваше непонимание пусть Господь простит. Одно хоть запомните: любовь и только любовь, нет ничего прекрасней любви. Будет любовь — будет и остальное.

Наиболее добрые смотрели на него с тёплым сочувствием, а кое-кто даже махал платочками и продолжал качать головой.

— Иди, щенок, не оглядывайся, — провожал его вице-президент Союза налогоплательщиков Загибин (в глубине души он рыдал от собственных слов).

— Не плачь, мальчик, — напутствовала его Валентина Мохнюкова, хотя мальчик пока не плакал (однако женское сердце может предположить всё!).

— Хотели как лучше, а получилось как всегда, — философски сказал краснобучинский Нострадамус и делегат Терентий Кимович Серохвост (через полгода он разбился в аварии, но уже сейчас знал об этом прискорбно-неизбежном событии).

— Кое в чём ты прав, — задумчиво бормотал А. Я. Померанц. — Уж не ты ли?

(Надо заметить, что А. Я. Померанц был на удивление легковерен и тем славился.)

— Вернёмся к повестке, — торжественно провозгласила носатая, попирая локтем президиумное сукно (её никто никогда не трахал, и от этого её нос становился ещё печальней... и так с каждым годом: Михаил Шаунов видел её беду и сильно сочувствовал).

— Устроили тут Голгофу, — шипел близорукий и по-своему примечательный Фальк (каждую неделю он писал в ООН доносы на всех коллег, за что его презирали в ООН, но очень уважали коллеги: они дали ему кликуху — Левозащитник).

— От такой мысли отвлѐк! — воскликнул прошлый оратор цвета дерьма (между прочим, он владел всеми тайными способами).

— Жили у бабуси два весѐлых гуся, — бормотал в забытьи Лисицын. — Один серый, другой белый, два весѐлых гуся.

(Его называли педофилом лишь за то, что он впадал в детство.)

— Расчехляй, — прошептал Мише моложавый хрен с лицом бывалого комсомольца, когда тот шёл мимо. — Давай нашу?

(Он задорно подмигнул, не подозревая, что косит под идиота.)

«Молодой, а туда же», — подумал Вильгельм Пеневич (он хотел вымолить у Миши рубль-другой, но своевременно застеснялся).

— Бр-р-р, — пробурчал живот главы крестьянского профсоюза (сам же он хранил сосредоточенное молчание).

— Чёрт парашный! — крикнул интеллигент, окончательно поскользнувшись на оранжевом фантике (Бердяева он заедал Соловьёвым).

— Бог простит, — отвечал Миша на слова и молчание, шествуя между кресел.

Перед выходом поклонился всем до земли. Загибин протестующе замахал руками. Воспитанник аккуратно притворил дверь.

Щёлкнула фотовспышка.

Журналисты, припасённые Гутэнтаком, окружили молодого мессию. Посыпались вопросы.

— Подождите, — сказал он, чуть приотворяя дверь и прислушиваясь.

Уставший голос Загибина бубнил, справляясь с бумажкой:

— Дальнейший виток критических процессов зашёл в совершенно неуправляемое русло, посредством которого мы не можем надеяться даже на минимальное удовлетворение выдвинутых требований, выражающих наше понимание ситуации и тот путь, согласно которому регулируемые процессы ещё способны приобрести тот допустимый вид, в котором мы могли бы, управляя ими, достигнуть некоторого позитивного сдвига на общем фоне дальнейшей дифференциации, происходящей с учётом основного фактора, нашедшего своё выражение во внешнем виде, всё более проявленном в положении углубления и развёртывания основных показателей кризиса, однако мы вынуждены констатировать, что все оптимистические надежды естественным образом замыкаются на субъективной политике, чьим итогом по праву считается тот базовый уровень, отталкиваясь от которого мы можем анализировать и остальные факторы с целью определения переменных, наиболее влияющих на общий характер развития нашего общества в это трудное и откровенно непростое время, но подобная процедура, как легко догадаться, возможна лишь в условиях...

— Нормально, — сказал Миша, отходя от двери. — Вы им не мешайте, пусть расслабятся. В их жизни так мало счастья, в конце-то концов.

Курлыкая песенку, он пошёл искать выход. У вестибюля его догнали, взяли в кольцо, учинили пресс-конференцию.

Усатенький задал свой вопрос первым:

— Давно вы почувствовали себя богоносцем?

— В четыре пятнадцать, — честно ответил Михаил Шаунов.

Фотокамерный суетился вокруг.

— А вы правда воспитанник? — спросила миловидная в пятнистом свитере.

— Вот те крест! — побожился он.

— А вы сами верили в свою речь? — спросил осмелевший фотокамерный.

— Я? — оскорбился Миша. — Это итог моей жизни: любовь и только любовь. Это вы циники-профессионалы, а я-то нет.

Усатенький откашлялся, собираясь с мыслью. Но Гутэнтак опередил всех.

— Вот именно! — возопил он, забираясь на стул. — Профессиональные циники, ехидны и раздолбай. Вот они, щелкописцы и борзопёры. Нет для них нечего святого, мой друг. Истинно говорю тебе, ибо открылись мне души их. Мразь и слякоть пребывает в тех душах, слякоть и дурновесть. Прогнило всё в порождениях Вельзевула, продали они отца родного за грош и родину за пятак. А мать даром сдали. Носят в себе Содом и Гоморру, а сами о том не ведают. Ибо рухнут все в геенну огненную, вот попомните вы мои слова. Вижу я в них отсутствие высокой морали, вижу только зло и поруганную порядочность. Все они не только лжецы, но убийцы, педики и шакалы: если не сегодня, то в будущем. У них же как, Миша? Служение злым духам — религия, донос — радость, морковка в зад — вот и весь обед. У них же всё Сиону заложено, у них душа знаешь где? В пятке, истинно тебе говорю! У них моральный закон простой, лишь бы добрым людям нагадить. У них вся правда в лондонском банке, а любовь в копыта ушла. Шпионы немецкие, лесбияны висельные, хвощи морковные, что с них взять? У них сеть отлажена, менты куплены, а пишут кровью, которую из малышей жмут. Они же все самураи и черносотенцы, только волю дай. У них ложь национальной идеей чтут! Чуть не погубил свою душу, собирался, дурак, с иудушками бухать. Но вовремя мне правда открылась, понял я их нравственный загибон и воскрес. Убоимся, мой друг, общения с ними, ибо тянут они любую живность во ад, со свистом бьют и кодлой насилуют. Ох, пошли скорей, а то загубит нас отродье корявое, уволочёт и спасибушки не оставит... У них же всё рогом мазано, вкривь и вкось, врут, да ещё по осени подвираются. У них же только оболван, костец и духовно-нравственная энтропия. Знаешь, что они сейчас о нас думают? Как сгубить да по свету разметать. У них одна мысль на всех, да и та задним ходом покорёжена. Предали они нас, Мишенька, и ещё тысячу предадут, а потом возрадутся.

Десяток человек молчал. Какая-то массивная тётка истерично захохотала.

— Иди ты на хер, — наконец-то сказал усатенький.

— Пойдём, Миша, пойдём от них: хорошо общение, да спасение души подороже будет, — ныл Гутэнтак, соскочив за стул и потягивая Михаила Шаунова за грязный рукав. — Пойдём, друг ситный, пока ложью не заразились.

Михаил Шаунов смотрел на него с болью и раздражением.

— Простите его, пожалуйста, — сказал он. — Мой друг заболел, всерьёз и надолго. А так он хороший. Вы уж простите нас: любовь и только любовь. Пошли, бедняга, не поминайте лихом.

Гардеробщица шептала вахтёрше:

— Как он этих гадов-то припечатал, а? Всё по совести.

— И не говори, Марья, — согласилась та. — Как есть, так и сказал. А то развелось их.

Гутэнтак развязно хныкал и держат Михаила Шаунова за рукав. Вдвоём они приближались. Гардеробщица и вахтёрша строили им улыбки.

— Вот, ребятки, и курточки тут висят, — умилилась она.

— Держи, старуха, на чай, — весомо сказал Гутэнтак, барским жестом протягивая однокопеечную. — Добавь малёхо и купи старикану презерватив, чтоб сподручней было.

Лады, кочерга?

Она моргала, открывала и закрывала рот, а слов пока что не говорила.

— Молись за меня, посудина настрого наказал Гутэтак, облачаясь в «куртку героя». — Молись, хворостина, а то кто ещё на благое дело копейку даст?

С серьёзными лицами они вышли на крыльцо. Дождь бил по асфальту в пузырящемся апогее.

— Такие ливни смывают грязь с лица мира, — без иронии сказал Михаил Шаунов. — И прошлое с человеческих душ.

Гутэтак ласково усмехался:

— Вот пробил парня на искупить...

Вдвоём они выбежали под дождь. Шли медленно, стараясь наступать в большие полноводные лужи. Прохожие обходили их стороной.

А через неделю Шаунов зашёл к нему в комнату. Тяжёлые книги громоздились на полках, компьютер спал, на рыжем ковре стояли огромный глобус и шахматная доска.

— Свету убили, — сказал он. — Наверное, те самые.

Гутэтак оторвался от бумаг, сидел посреди хлама под жёлтым абажуром и хмурился.

— Кто сказал-то?

— Кто мог сказать? Это было в газетах. Вместе с фотографией.

Гутэтак сочувственно улыбнулся, бездумно глядя шахматные фигурки. Миша бил по глобусу, тренированно тормозя удар в сантиметре от Индийского океана.

— Миш, ну а нам-то какое дело?

— Я понимаю, что никакого, — ответил Миша. — По большому счёту, она никто и звать её никак. Но это ведь только объективная сторона дела. И если с объективной стороны меня спросить, что нам следует делать, я отвечу, что нам следует хохотать: мы её трахнули, а те её замочили. Не хрен, сказали, по городу гулять. И замочили. Она жила в Светозарьевке, там ребята отвязные, кто-то нас видел, а кто-то взял кирпич и сломал ей голову.

— Прямо кирпичом?

— Очень даже в духе, — сказал Миша. — И с объективной стороны дела я принимаю этот кирпич и радуюсь этому кирпичу, как положено. Ну а с субъективной стороны — поверишь ли ты? — я плакал полночи.

— Почему же не поверю, — по-тихому сказал Гутэтак. — Очень даже поверю. С объективной стороны я скажу, что тебя

оттянуло на порыдать, а с субъективной мне и самому плохо. Это нормально, это пройдёт. Объективная сторона со временем побеждает.

Он принялся осторожно строить ряд из восьми белых пешек.

— Если бы ты снял малиновый крестик, мы могли бы отметить это событие, — осторожно предложил Миша.

— С объективной стороны или с субъективной?

— С субъективной, конечно, — сказал Миша.

— Да ну, — отмахнулся Гутэтак, водружая ферзя. — Ты ведь знаешь, у меня склонность к алкоголизму. Я ведь не дурью маюсь.

— Ну хорошо, — сказал Миша. — Нет так нет.

Они молчали. Гутэтак расставлял фигуры, а затем принялся за чёрное воинство. У ладьи были отколоты зубчики: три года назад ею соревновались на меткость, швыряя в мусорную корзину.

— Как твоя литературная работа? — спросил Миша.

— Знаешь, я многое пересмотрел. Я решил написать коротко, но с приёмом.

— С чем?

— Ты можешь посмотреть.

Он поднялся, включил компьютер. Монитор мигнул, высветился чёрным и голубым, возникла картинка. Гутэтак, осторожно пощёлкивая, дошёл до каталога личных текстов.

— Работа немного незакончена, — сказал он. — Но я объясню. Это как бы фантастический рассказ. Суть в том, в какое время и где совершается действие. Причём если я не объясню, никто не поймёт, что это за мир. Взята полная ирреальность. Но в этом ирреальном мире взят настолько ирреальный сюжет, что для нас всё покажется не просто реальным, а сверхреальным, то есть пошлым в своей обыденности. Ирреальность, умноженная на ирреальность, на выходе даёт нам обыденность.

— И где всё происходит?

— Время действия — семнадцатое октября тысяча девятьсот девяносто восьмого года, событие творится в России. — с наслаждением объяснил Гутэтак. — Лучше не придумашь.

— Учитывая, что мы живём в эту осень и в этом чудесном месте, то у тебя совершенно ирреальный мир. Я поздравляю.

Миша клоунски раскланялся.

— Видишь ли, я беру не наш мир. Представь себе, что линия истории раздваивается. До какого-то момента всё совпадает, а затем начинаются разные вещи. В том мире также было Куликово поле и первопечатники, Ленин и Гитлер. Была вторая мировая и коммунизм. Но где-то в тысяча девятьсот восьмидесятом году какая-то деталь не сцепилась. Или даже в семидесятом, шестидесятом — я точно не знаю. Не было Лиги, манифеста, Мартовской Бучи, национального императива и введения института консулов. Не было всех эдиктов, за которые шли умирать первые оформленные. Наконец, никто не додумался до программ спецобразования. Вот такой совершенно удивительный мир, где ничего не было.

— Что же там сейчас: пятилетки, колхозы, ЦК КПСС?

— Не совсем, кое-какие реформы происходили даже у них. Так себе, разная чушь: замена социализма на капитализм, введение либеральных норм, частная собственность, свобода

печати. Нет, конечно, это не ерунда, это очень сильно, в нашем мире всё тоже начиналось с этого. Но, конечно, это малоинтересно рядом с теми вещами, которые параллельно начали твориться у нас.

— И ты описываешь эту либерал-фантастику?

— Нет, — ответил Гутэтак. — Такая задача была бы слишком простой, такой сюжет пользован. Почитай книги, там такого мусора завались. Я занимаюсь чуть более интересным — как ни странно, я описываю наш мир. Действие происходит здесь. Однако главный герой находится всё-таки там, в

либерал-фантастике.

— Кто он?

— Слава богу, я не имею о нём понятия. В этой ирреальности номер два он может быть кто угодно, в тексте он всё равно ни разу не появляется. Появляется только его сознание. Оно занимается тем, что в меру скромных возможностей пытается описать наш мир. Два нюанса: возможности действительно средние, вряд ли там талант Набокова или Джойса, однако его представление о нашем мире такое же совершенное, как у тебя или у меня. Как будто он днём обретается у себя, а ночами заглядывает к нам и всё видит. И вот он хочет на конечном участке текста описать бесконечные нюансы нашего мира. Представление-то полное, но текст, в отличие от мира, всегда конечен. И вот он пишет, в меру скромных возможностей. Пытается передать наш мир, у него не получается, он стонет, скрипит зубами, но он пытается — невзирая на уровень, он всё-таки художник. И вот текст, который он может выжать из себя, и есть мой текст, без единой правки и дополнения от себя. Посмотри.

В белом окне возникли чёрные буковки.

— Оформи его, Миша, — предложил Гутэтак.

— Лады.

Он углубился в чтение, бил по клавиатуре и усмехался с каждой страницей:

— Правдивое жизнеописание Михаила Шаунова и Йозефа Меншикова?

— Да, — ответил Гутэтак. — Всё как есть, чистейший и зануднейший реализм, мне лишь кое-что пришлось сочинить. Например, твоё выступление на профсоюзном съезде: я не знаю толком этих людей, но почему-то вижу их вот такими. Только непонятно, где ставить точку. Видишь ли, всегда встаёт вопрос конца текста. Всегда можно добавить

ещё одну сцену, а в любой сцене дописать

ещё одну фразу. Нет места, где бы этого нельзя было сделать. Написав миллион страниц, ты не запретишь себе миллион первую.

Ещё одно — это какое-то проклятие, вечная головная боль. Это самая большая проблема в литературе, точнее сказать, в литературной технике: где ставить точку?

Вдвоём они выбежали под дождь. Шли медленно, стараясь наступить в большие и полноводные лужи. Прохожие обходили их стороной.

— Давай моя фраза будет последней, — предложил Миша. — Это будет какая-нибудь историческая фраза, сейчас скажу. Это будет умное и философское изречение. Крокодил — друг человека. Пойдёт?

Александр Резов

Следы на снегу

Лампочка замигала и погасла.

— Чёрт! — выругался Рустам. — Опять линию порвало. Каждый год одно и то же.

— Если бы порвало, — хмыкнул Женя. — В том году в районе Ельничихи два километра проводов спёрли. Цвет-металл как-никак. Посмотреть бы на этих пионеров.

В темноте негромко засмеялись.

— Ладно вам, может, пробки выбило, — я попытался нащупать рукой тумбочку — там, в верхнем ящике, специально ради таких случаев хранился аккумуляторный фонарь — вещь старенькая, маломощная, зато дохнуть будет не один день.

— У нас одна лампа включена была, — заспорил Рустам, — из-за подобных мелочей пробки не вышибает. Предлагаю воспользоваться случаем и выйти сегодня пораньше.

— Я никуда не пойду, — пропыхла Ида, — я уже в постели, я уже укрытая, я уже сплю. Спокойной ночи.

— Это что за разговоры?! — воскликнул Женя и, кажется, даже соскочил с раскладушки. — Кипятка утром не получишь! Сухие макароны пару дней пожухнешь, будешь знать, как коллективу палки в колёса вставлять!

— И вы себя ещё коллективом называете? — Ида демонстративно хохотнула. — Шайка, вот вы кто. Шайка озверевших лоботрясов, промышляющих обыкновенным собирательством... И домогательством, — добавила она, заскрипев кроватью.

— Не хочешь, не надо, — спокойно проговорил Рустам. — Мы и без тебя справимся. Будешь очаг охранять, пока не вернёмся. И чтоб спать не вздумала, на рации сиди.

— Эх, на кой чёрт я с вами поехала? — сказала Ида. — В Москве надо было оставаться, с Ленкой. Хоть младшая сестра, всё едино умней оказалась. Лежит сейчас в тёплой ванне, слушает музыку, никто её не достаёт. Или пригласила своих институтских — соседям соскучиться не даёт, центр музыкальный насилует.

Тусклый луч света выскользнул из фонаря и прилип к потолку.

— Твою мать! — выкрикнул Женя. — Ты что вытворяешь?!

— Светило раздобыл, — ответил я, — в компактной форме, щадящем режиме. Между прочим, каждый год пользуемся, и каждый раз ты спрашиваешь: что? кто? откуда? Скоро кипятка лишать будем, память стимулировать.

— Мозговую деятельность стимулируют шоколадом, — задумчиво сказала Ида. — Помните, рекламу по телевизору крутили? Или по радио?

— Не помним, — мрачно проговорил Женя. — Не знаем. Не видели.

Поднявшись с кровати, я принялся шарить фонариком по избе.

Рустам сидел возле стола на большом дубовом табурете, подобрал под себя ноги, и закрывался от света дрожащей ладонью. Во второй руке он держал кружку с отбитой по краям эмалью, лоя стремительно уходящее тепло. С полудня и до самого вечера Рустам пропадал в лесу — уже показалось: всё, потеряли, без спасателей не обойтись. Вернулся. Долго отпаивали горячим чаем, сдирали задубевшие куртку и штаны, закутывали в пуховое одеяло, укладывали отогреться поближе к «буржуйке». Вернулся с пустыми руками, но главное — вернулся. Теперь по отметкам — толстым жёлтым полосам вокруг сосновых стволов — можно будет забраться дальше в чашу. Правда, делать это придётся в ближайшие дни, иначе снегу наметёт по пояс, а через такую толщину мох не просвечивает. В первые дни вообще по проталинам ориентировались, днём без утайки ходили...

— Пойдём, — я навёл фонарик на Женю и стал с ухмылкой наблюдать за тем, как он пытается вылезти из продавленной чуть ли не до пола раскладушки. — Предлагаю Рустама тоже оставить. Чего доброго, свалится на полпути, потом тащи его. Смотри, туша какая.

— Моя туша, сам понесу, — обиделся Рустам. — Кто вам лыжню прокладывать будет?

— Сами проложим, безногие, что ли? — сказал я. — Тем более вдоль высоковольтки сначала пойдём, там, во-первых, не потеряемся, во-вторых...

— Не волнуйся, Макс, — перебил меня Женя, — раз боров уверен, боров осилит. Ну подморозило его чуток, так сразу в гроб класть? Не позорь здоровяка перед женщиной.

Я плотно стиснул зубы, однако ничего не ответил. Вот ведь гад! Если Рустам и думал оставаться, теперь его ни за что не переубедить. Даже Идины слова не возымеют должной силы. Но Ида, не желая ввязываться в бесполезный спор, молчала. Или уже крепко спала.

— Одеваемся, — глухо сказал Рустам. Он с сожалением глянул на сохнущую подле печки одежду и полез в шкаф за старой курткой да выдавшими виды потёртыми штанами.

— Погуляем! — Женя радостно потёр руки. — Чувствую, к утру пакет мха наберём. Приедем в Москву, от покупателей отбоя не будет. Где они ещё свежачок найдут?

— Каждый вечер гуляем, не надоело ещё? — спросил я. — Напоремся когда-нибудь на деда, мигом мозги на место вставит. Говорю ведь: удочки сматывать пора, и так складывать этот мох уже некуда. На халяву долго не протянешь.

— Паникёров — за борт, — сказал Женя. — Ещё денек-другой с нами проведёшь, крысы с судна побег устроят... Разлагающий элемент, вот ты кто.

— Так, — Рустам загородил собою Женю, и луч фонарика упёрся ему в грудь, — знаки на лыжах обновлять пора. От медведей по любому не спасут, а волки чуют, когда слабинку дашь. Краска у тебя осталась?

— В банке на шкафу посмотри, — сказал я. — Правда, хватит от силы на два раза. Сегодня первый... Второго дожидаться не советую.

Кивнув, Рустам ушёл в темноту. Послышался шорох, звон, недовольное бормотание. Что-то громко стукнуло об пол и покатилося.

— Давай обычной краской рисовать, — засмеялся Женя. — Стыдно для мелких знаков драгоценную вещь тратить. Да и фигня это полная. Кто, интересно, сказал, что они помогают? Деньги с нас, лопухов, содрали, а мы радуемся, за мхом вразвалочку ходим.

— На лыжах, положим, вразвалочку не походишь, — заметил я.

— Образно выражаясь, — уточнил Женя. — Об-раз-но. Рисовать образы научился, попробуй



ими мыслить.

Вернулся раскрасневшийся Рустам со стеклянной банкой в руках.

— Ну, всё, — сказал он, — выходим.

— Да, да, да, — Женя вдруг заторопился. — Куртка. Где моя куртка? Посвети, Макс.

Я направил фонарь в сторону Идиной кровати, рядом с которой стояла большая ветвистая вешалка. Сделав несколько шагов, Женя налетел на стул, и тот с жутким грохотом опрокинулся на деревянный пол.

— Как вы мне надоели! — зло проговорила Ида. — Уберите свет!

— Извини, — прикрыв ладонью фонарь, я подошёл к вешалке, снял с неё две куртки. Одну белую, с чёрным воротником и манжетами и великим множеством карманов и каких-то веревочек — Женину, вторую тёмно-зелёную с чёрной полосой на груди, отстёгивающимся капюшоном, минимумом карманов и тёплой подстежкой — свою.

— Порядок, — Женя выхватил из моих рук белую куртку. — Теперь — полный вперёд.

Первым делом мы заглянули в электрощиток: с пробками было всё нормально. Потом взяли лыжи (Рустам к этому времени успел обновить знаки и отнести банку в дом), проверили, на месте ли рация, пакеты, сапёрные лопатки. Решили: можно выходить.

На улице не долго думая вдели ботинки в крепления, защёлкнули замки и только тогда обратили внимание, какая вокруг стоит тишина. Небо оказалось затянутым тяжёлыми, чёрными тучами, скребущими о верхушки старых сосен, которые даже при полном безветрии продолжали тихонько поскрипывать. Луна старательно пробивалась сквозь эту грязную вату — бледным жёлтым пятном.

Фонарик здесь был совершенно бесполезен: тусклый луч его обрывался на расстоянии каких-нибудь двух-трёх шагов и крутился на месте, как собака, потерявшая след. Сейчас бы собаку, рассеяно подумал я, интересно, удалось бы её натаскать на поиски мха? Нет, вряд ли. Не то чтобы я не верил в собак, просто я верил в деда. Если старается, выращивает мох, значит, должен как-то его оберегать. Штука ценная — и среди врачей, и среди любителей «особой реальности». Эх, прознают скоро про деда массы, налетят, словно пчелы... нет, скорее, мухи. Коли Рустаму местные проболтались, любому заезжему как пить дать расскажут.

Дом наш стоял в некотором отдалении от деревни. Женщина, обитавшая здесь раньше, не очень любила общество странноватого деревенского народа, обросшего всяческими суевериями, помешанного на оберегающих знаках, талисманах. И наверное, поэтому без особых разговоров уступила Рустаму дом за смехотворно низкую цену. Линия электропередач шла от деревни и тянулась по просеке метров триста до самого дома. Теоретически линия проходила вдоль дороги, соединяющей дом с деревней, но зимой (тем более нынешней зимой, с ужасающими снежными бурями) от дороги не оставалось даже лёгкого упоминания, а машину приходилось оставлять у кого-нибудь из деревенских.

Рустам поёжился, поправил шапку и, медленно передвигая ногами, пошёл в темноту. Я пристроился следом, стараясь не наезжать на лыжи и не упустить Рустама из виду. Замыкал шествие примолкший на морозе Женя.

Вдоль линии мы шли не больше десяти минут, после чего Рустам остановился, воткнул обе палки в снег и начал вглядываться в лес. Вокруг до сих пор стояла абсолютная тишина, было

хорошо слышно, как сзади выругался и зашёлся в кашле Женя.

— Тихо, — испуганно зашептал Рустам.

— В горле запершило, — спокойно сказал Женя. — Водички попить надо или снегу пожрать.

— Тихо, — повторил Рустам. — Помолчи.

Он ещё постоял всё такой же неподвижный, всё так же всматриваясь в угольно-чёрный пласт леса, а потом вдруг дёрнулся, вытащил из снега палки; круто забрав вправо, двинулся к лесу.

Морозный воздух обжигал нещадно. Больше всего страдал нос и, как ни странно, выглядывающие из-под шапки мочки ушей. При каждом вдохе в носу, казалось, образовывались стайки тончайших ледяных иголок. Думать не получалось ни о чём, кроме мха и деда. Радовало одно: Ида осталась в избе, значит, бояться надо только за себя.

Свет появился сразу, как мы вошли в лес. Светилось около помеченных Рустамом деревьев, светилось в запорошенных снегом кустах, светилось где-то вдали — изумрудно, маняще и одновременно завораживающе. От удивления я совсем забыл о дистанции и, наехав на идущего впереди Рустама, боком повалился в рыхлый снег. Сквозь стоявший в ушах гул я услышал изумлённый возглас Жени и громкий хруст — так ломаются о колено сухие ветки, приготовленные специально для розжига.

На спину я перевернулся с пятого или шестого раза.

Обломанный кусок лыжи торчал из снега на уровне колен, палок не было вовсе. Неподалёку тихо покашливали и чем-то шуршали. Разом заскрипели сосны, в лицо, забивая дыхание, ударил порыв ветра. «Тише! Тише! — кричал Рустам вдалеке. — Заткнись, тебе говорят!» В ответ весело засмеялись, заулюлюкали. Я попытался подняться, но рука подломилась, и я снова упал в снег. Над головой появилась и тут же пропала неясная тень. Бесформенная, стремительная.

Чёртовы лыжи!

Однако лыж на ногах уже не было. Я кое-как перевернулся на бок, подтянул к себе колени, упёрся ладонями в снег, рывком поднялся.

Никого.

Сердце бешено заколотилось.

Я в панике осмотрелся по сторонам: ну хоть кто-нибудь!

Наперебой скрипели потревоженные сосны, завывал ветер, облака медленно ползли по небосводу. На снегу складывались в чудной узор хаотично спутанные следы.

Так... — я склонился над следами, — здесь стоял Рустам, здесь я, здесь Женя. Вот палки, вот обломки лыж. Моих лыж. Где остальные? Ага, лыжня уходит в лес. Кинули, гады. Хотя, стой. По лыжне шёл один человек. Второй где? Я снова завертел головой: нет, нет, нет... стоп. Не может быть... Идеально круглая проталина — сантиметров сорок в диаметре. Подошёл, сел на корточки, осторожно дотронулся до сухой травы ладонью. Тепло. Снег по краям проталины острый, смёрзшийся, таким порезаться недолго. Снова раздался шорох, кто-то закашлялся. Совсем недалеко.

Я поднялся и ещё раз обошёл этот пяточок, где недавно топтались Рустам с Женей, не оставив после себя ничего, кроме уходящей в лес лыжни и странной проталины.

Надо идти по лыжне, понял я. Не возвращаться же одному. Ида не просто убьёт, она ещё попытается. За одни лыжи шкуру снимет, за палки... не знаю, но фантазия у неё хорошая.

А сосны всё скрипели, и будто бы слышалась в этом скрипе нудная, бесконечная мелодия, для которой написаны скучные, бессмысленные слова, и каждое из них по отдельности имеет огромное значение, множество значений, как отдельно взятый голос в гомонящей толпе мудрецов.

Мох продолжал светиться под толщей снега, и чудилось, что больше и больше становится зелёных пятен от минуты к минуте — такого не бывало даже в самые первые, самые урожайные ночи.

Снег жадно проглатывал ноги, и вырывать их приходилось яростно, с силой, выламывая ледяную корку. Два раза кричал Рустам. Шорох и кашель больше не повторялись, зато появился новый, действующий на нервы звук. Словно дрались на палках двое мальчишек, представляющих себя отважными мушкетёрами. Они бились за прекрасную даму: нападали, отражали нападение, делали выпады, кружили, открывались, старались выбить деревянную шпагу из цепких пальцев противника.

Минут через двадцать деревья расступились, и я вышел на небольшую поляну, сплошь покрытую льдом. Здесь лыжные следы обрывались. В трёх метрах надо льдом, раскинув руки в стороны, висел человек. Повернутая набок голова его мелко дрожала, а пристёгнутые к ногам лыжи бились друг о друга, создавая тот самый звук боя. На груди у человека светилось бледно-зелёным, отчего спокойное, недвижимое лицо приобретало страшный, мертвенный оттенок. Господи, подумал я, это ведь Женя. Тот самый, который час назад сидел в доме и спокойно разговаривал о безбедном будущем, об открывающихся перспективах. Тот, чья машина стоит сейчас в деревне (чёрт, сколько прошло времени? месяц? меньше? уже не сосчитать). Я говорил, я предупреждал про деда! Да чего уж теперь.

Вдруг зелёное пятно зашуршало, поползло по Жениной груди и глухо шмякнулось об лёд. Аккуратно, чтобы не упасть, я шагнул на поляну. Потом, удерживая равновесие при помощи рук, стал медленно продвигаться к лежащему под Женей предмету, а приблизившись, только хмыкнул. То был самый обыкновенный полиэтиленовый пакет, наполненный чёртовым мхом. Я опустился на лёд, скрестив ноги. Замечательно! Что прикажете делать? Можно забрать пакет и уйти домой на растерзание Иде. Или отправиться в лес на поиски Рустама, что само по себе — безумие. Ещё можно биться в истерике, материть во весь голос деда, колотиться об лёд, слепо ломиться через лес, искать там загадочный домик...

«Всё, хватит, — я потряс головой. — Забираю пакет и ухожу. Пусть Ида делает что хочет: пинает, пытается, убивает. К чёрту». Протянув руку, я схватил пакет, потащил к себе, но тот неожиданно лопнул, и на лёд выкатилась рация.

Она стремительно вращалась вокруг своей оси, как при дурацкой игре в «бутылочку». Вращалась долго, старательно, а я всё не мог отвести от неё взгляд и не мог заставить себя ещё раз, в последний раз, посмотреть на Женю, хотя к шуршанию рации добавился новый, ужасно неприятный звук — звук капающей воды.

В лесу истошно закричали.

Рустам!

Сунув в карман рацию, я вскочил на ноги и, оскальзываясь и падая, побежал к лесу. За спиной с новой силой принялись фехтовать — быстрее стучали палки, тяжелее дышали бойцы, выкладываясь в полную силу. Пропустить удар, опозориться — означает погибнуть. Но сама гибель — начало нового понимания жизни. Её незамысловатости, простоты.

Последний удар, и слабейший с хрустом, с долгим, свистящим выдохом падает на горячий лёд. Затихает.

Деревья мелькали перед глазами, а Рустам всё кричал и кричал. Долго, с хрипотцой, переходя порою не то на смех, не то на плач. Куда бы я ни поворачивал, голос всё время был впереди — вон за той группкой деревьев, стоящих как бы особняком, на небольшой полянке; за этим чёрным холмом (сугробом?), загораживающим почти весь обзор; сразу за вырубкой, разрезающей лес на две далеко не равные части, — поэтому я просто бежал.

Когда деревья расступились во второй раз, я очутился на заснеженном поле. Влево и вправо уходило ровное серое полотно с редкими волчьими и мышиными следами, которые станут видны только днём, если он всё-таки наступит.

Я остановился и прислушался: тишина. Ни криков, ни ветра, ни скрипа сосен. Слово и не было ничего, а лесная прогулка — результат чрезмерного употребления мха. Не зря говорят: «Ты будто мха наелся», — имея в виду безрассудные, необдуманные поступки... Нет, полная чепуха. Никогда бы не стал есть эту дрянь.

Ноги двинулись сами собой. Я равнодушно наблюдал за подпрыгивающими в такт ходьбе верхушками деревьев, зависшими над полем облаками. В голове звучал задаваемый ногами ритм, и, чтобы не сбиться, я начал монотонно бубнить, используя бессмысленные слова, не так давно подсказанные соснами. Затем в поле зрения появились столбы с натянутыми проводами, и я пошёл, стараясь не упускать из виду этот ориентир, всё так же бормоча, согревая дыханием морозный воздух. Столбы, как назло, были ужасно похожи друг на друга, точно торчащие из земли палки, на которых дрались поверженные мальчишки, лежавшие теперь под ними. Я шёл, высоко задрал голову, и посмеивался над глупыми, наивными мальчишками, над возомнившими себя чёрт знает кем соснами, над судорожно цепляющимися за небо облаками, над несуществующим дедом с его драгоценным урожаем, надо всем подряд, лишь бы не смеяться над собой, бредущим навстречу давно умолкнувшему эху.

О калитку я больно ударился подбородком и чуть не упал. Деревня — понял почти сразу. Ржавая сетка шла поперёк поля (просеки, просеки — прояснилось в голове), а единственная калитка располагалась недалеко от линии электропередач.

Я схватился за ручку, толкнул дверцу, но она не поддавалась. Навалился плечом, ещё раз — безрезультатно. Замка нет и никогда не было, значит, примёрзла. Тогда, встав поудобней, я изо всех сил ударил ногой. Калитка с отвратительным лязгом ушла назад всего на десять-пятнадцать сантиметров, на снег посыпались мелкие кусочки ржавчины. Только после четвёртого удара получилось расширить проход и пролезть на другую сторону.

То, что деревня изменилась, я понял с первого взгляда. Улицы были заметены снегом — лёгким и рыхлым сверху, скрипучим и слежавшимся снизу, — и казалось, не то что машины, люди не появлялись здесь как минимум несколько месяцев, а то и несколько лет.

Я шёл и смотрел на разросшиеся яблоневые деревья, старательно зажимающие в кольцо полуразвалившиеся дома, на тёмные окна, провалившиеся крыши, перевёрнутые трактора, — пока не наткнулся взглядом на Женин «гольф». Покорёженный ржавый каркас его стоял там, где Женя припарковал новенький сияющий «фольксваген» цвета «металлик», строго-настрого запретив всем даже дотрагиваться до обшивки.

Повернувшись к машине спиной, я раскинул в стороны руки и, глубоко вдохнув, повалился назад. Падать было страшно приятно: снег подхватывал нежно и бережно, как перина. Он подбрасывал вверх и снова ловил, пробирался за шиворот. Смешно, подумал я, невероятно смешно. Разве есть в мире что-либо забавнее этого? Обязательно приведу сюда Иду, и мы вместе будем падать в снег — спиной, лицом, кувырком. Ей непременно понравится. Если же

нет, она станет врать, что ей нравится, врать, врать, врать... и она привыкнет. Привыкнет! Я сам почти привык, хотя этот долбанный снег уже набился за пазуху, и тело дрожит от нестерпимого холода, и рация бьёт под ребро при каждом новом падении навзничь... Рация...

Я вытащил из кармана чёрную коробочку и нажал на кнопку.

— Алло, — тотчас ответила Ида. — Алло, кто это?

— Ида, — засмеялся я. — Ида, дорогая.

— Я слушаю. Кто это? Откуда у вас эта частота?

— А кто это может быть? — весело спросил я. — Максим это. Ида, послушай меня.

— Сейчас, минуточку, — сказала она, и рация заглохла.

С полминуты ничего не происходило, потом трубка зашипела.

— Да, — заговорил незнакомый мужской голос. — Максим слушает.

— Как Максим? — не понял я. — Рустам, ты что ли?

В динамике щёлкнуло, засипело, и связь неожиданно прервалась.

С недоумением посмотрев на рацию, я машинально сунул её в карман — не разжимая руки, не отрывая глаз от ржавого каркаса. А потом, вдруг сообразив, что произошло, размахнулся и изо всех сил швырнул бесполезный кусок пластмассы в сторону ближайшей хибары. Брызнули чудом уцелевшие стёкла, глухо стукнуло, эхом разошлось по округе.

Нет больше никого: ни Жени, ни Рустама, ни Иды. Нет даже оживлённой прежде деревни с тайком выглядывающими из запylённых окон любопытными старухами, словоохотливыми мужиками, увешанными с головы до пят защитными амулетами, и ужасно надоедливой ребятнёй, забрасывающей прохожих градом снежков. Нет машины, на которой можно было бы уехать отсюда к чёртовой матери и со временем забыть обо всём происшедшем. Или не обо всём, но хотя бы не вспоминать ребят, которые до последнего думали о тебе и надеялись...

Я повернул голову и посмотрел во тьму.

Где-то там, приоткрыв в усмешке проржавевшую створку, молча стояла калитка. За ней был лес, и просека, и очередь из одинаковых, безразличных столбов, и старый охотничий домик со слепыми окнами и погасшей «буржуйкой». И таинственный дед, чья тень однажды до смерти напугала Женю, наотрез отказавшегося после этого выходить в лес при свете дня. Из дружеской солидарности отказаться пришлось всем, лишь Рустам порой отваживался на короткие вылазки. Создавалось впечатление, будто он знал ближний лес лучше местных жителей. И только он понимал жёлтые метки на деревьях, безошибочно в них ориентировался, мог в два счёта найти дорогу домой. Всегда, кроме одного раза... А ещё там был фонарь, еда, килограммы бесполезного теперь мха и банка с остатками краски — залог нашей безопасности. Всё бессильно перед безумным дедом. Бесконечные проталины, сломанные лыжи, ведущие в лес следы...

Скрип возник откуда-то справа и тут же принялся метаться по лесу, подхваченный одичалым эхом. Оно как будто сотню лет дожидалось очередного визита и теперь — яростно, напоказ — раздирало на куски вожделенную добычу.

Я резко обернулся на звук, но скособоченные силуэты домов оставались столь невозмутимы,

словно это было моей галлюцинацией, готовой на гораздо большее: стук топора, захлёбывающееся жужжание циркулярной пилы, радостный детский гвалт и многое, многое другое. А скрип — всего лишь несмазанное колесо телеги или крутящийся на ветру флюгер, каких десятки в любой уважающей себя деревне и ни одного — в любом уважающем себя городе.

Тем временем скрип возобновился, и, мягко покачиваясь в морозном воздухе, из марева выплыло бледно-жёлтое пятно. Отсюда оно казалось не больше пятирублёвой монеты и пугающе росло на глазах. И когда я готов был сломя голову бежать — прочь от этого расплывшегося, промасленного блина, слепящего отвыкшие от света глаза, от чернеющего позади леса, от брошенных по неведомой причине домов, — пятно отлетело в сторону, неожиданно обнаружив за собой измождённого человека.

Он медленно брёл по глубокому снегу, то и дело спотыкаясь, норовя ухнуть носом в сугроб. Однако из раза в раз человек каким-то чудом удерживал равновесие, словно некто огромный поддёргивал его за шкуру, точно уткнувшегося в стену слепого котёнка. А котёнок удивлённо мотал головой, нюхал незнакомый воздух и тыкал во тьму фонарем.

— Рустам?! — удивлённо воскликнул я, всматриваясь в сильно похудевшее и побелевшее со времени последней встречи лицо. — Господи, Рустам! Не может быть! Ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Рустам! Дай я тебя обниму, мой милый друг! Дай я тебя расцелую, Рустам! Чёрт, где ты раздобыл фонарь?! Да это и не важно, мой старый добрый Рустам! Улыбнись же! Улыбнись! Ты посмотри на меня, Рустам, и попытайся улыбнуться ещё шире! Ну, кто кого?!

Я повторял и повторял его имя, и на душе становилось неимоверно легко, как после кросса на сорок километров. Снова захотелось упасть в снег, но теперь уже не от безысходности, а из-за великой радости. Я бросился к Рустаму и крепко-крепко обнял его за твёрдые широкие плечи, хлопал по могучей спине, отбивая от неё куски льда, ерошил густые тёмные волосы, теребил его, будто ватную куклу с тяжёлой фарфоровой головой. А голова и вправду болталась из стороны в сторону, отваливалась назад, но каждый раз возвращалась на прежнее место со звонким щелчком. И я тоже норовил погромче щёлкнуть языком, чтобы Рустаму не было так обидно, не было настолько стыдно за испорченную шею, за непослушную, тяжёлую голову с отвратительной раной через всё лицо, за новоявленную «заячью губу», с шипением выпускающую горячий воздух и разбрызгивающую вокруг чёрные тягучие слюни...

— По-оигра-аем? — отвратительно писклявым голосом спросил он и глупо улыбнулся. — Ты-ы не хо-очешь игра-ать?

Сердце бешено заколотилось, и я отпрянул от Рустама, со страхом глядя в его остекленевшие глаза.

— По-оигра-аем? — повторил он, плаксиво скривив губы. — По-очему ты-ы не хо-очешь игра-ать? Отве-еча-ай!

Подняв над головой фонарь, Рустам судорожно всхлипнул. Он стоял так не меньше минуты, бледный, похожий на оплывшую восковую фигуру с проковырянными иголкой глазами, тяжёлым каплевидным носом и растёкшимся ртом; потом молча, почти без замаха, бросил фонарь в снег и начат яростно, отдаваясь делу со всей душой, топтать его ногами. И тогда я увидел, как снег под его ботинками начал искриться — маленькие красные точки в одно мгновение окружили нелепо выплясывающего передо мной человека, поползли вверх по штанам и переметнулись на куртку. А Рустам всё плясал и плясал, не замечая юрких язычков пламени, нетерпеливо пожирающих одежду. Он размахивал горячими руками, рисовал в воздухе узоры, подобные тем, что рисуют мальчишки выхваченной из костра палкой, которой

незадолго до этого был повержен неумелый противник, ничего не смысливший в настоящем фехтовании. Он беспрерывно щёлкал шеей, но голова давным-давно перестала вставать на место и только билась и билась о плечи. Он весело смеялся неизменным отвратительно-писклявым голосом, давая эху новую пищу для забавы.

И в тот момент я побежал.

Сквозь кусты, через забор, раздирая о гвозди одежду, как не бегал никогда в жизни и, наверное, уже не побегу. Ведь правильно некогда говорила Ида: быстрее всего мы бежим от самых лучших друзей. И не важно, что она имела в виду совсем другое, главное — она оказалась права. Как и в последний раз, когда не пошла за мхом в насквозь промороженный лес, когда осталась лежать в уютной кровати без риска наткнуться на старика... И останься мы тогда вчетвером, всё могло бы быть по-другому.

Я бежал и видел укутанного в одеяло Рустама с горячей чашкой в руках. Он то задумчиво хмурился, то весело улыбался, заслышав одну из Жениных реплик, то начинал клевать носом, и чашка вот-вот норовила выскользнуть из расслабленных пальцев. Затем он вдруг очутился на улице: с необычайной ловкостью застёгивал крепления на лыжах, ворчал, что, мол, давно пора обновить знаки, а не трясти голой задницей перед оскаленными волчьими мордами; шёл впереди и прокладывал для остальных лыжню, время от времени оборачивался, проверяя, как там Ида. И ещё он кричал — далеко за деревьями, в густой непроглядной тьме, — звал на помощь, и я никак не мог его догнать...

Очнулся я в незнакомом доме. На полу под разбитыми окнами толстым слоем лежал снег. Входная дверь была заколочена длинными занозистыми досками, служившими ранее то ли забором, то ли частью чего-то большего, и, для пущей верности, подперта большим тяжёлым столом с водружёнными на него пузатыми мешками. Над дверью, по-кошачьи выгнув изящную спину, висела ржавая подкова. Лежащий посреди комнаты трёхногий стул смотрелся тоскливо и одиноко.

Вторая комната, скрывавшаяся за плотно закрытой дверью, выглядела куда более пристойно. Даже окна здесь по неведомым причинам остались целыми, не говоря уже о висящей на стене картине и полудюжине фигурок оригами, выставленных на подоконнике. Справа от входа стояло невысокое потёртое кресло с деревянными подлокотниками. Соседствующий с креслом письменный стол оказался сплошь завален бумагами и газетными вырезками, многие из которых, не выдержав мощного напора собратьев, теперь покоились на полу...

Я подошёл к столу и, окинув взглядом покрытый пылью ворох бумаги, взял первую попавшуюся вырезку:

«В среду, 25 февраля, в лесу близ деревни Махово, Московской области, местным лесником было обнаружено изувеченное тело Евгения Желтина, считавшегося без вести пропавшим с 14 февраля этого же года. Он был найден посреди замёрзшего озера с множественными переломами конечностей и колотой раной в области грудной клетки. Вечером того же дня, прибывшие на место криминалисты обнаружили фрагменты женского тела в расположенном в отдалении от деревни охотничьем домике. Чуть позже в ходе длительных поисков в том же лесу было найдено третье, сильно обгоревшее, тело.

Как сообщалось ранее, группа из четырёх молодых людей в составе Иды Кнехт, Рустама Абазова, Максима Перова и Евгения Желтина, 31 января 2004 года отправилась на автомобиле марки Volkswagen Golf за город, но так и не вернулась. До сих пор остаётся неизвестной судьба четвёртого молодого человека. Ведутся поиски...»

Домой старик вернулся под утро: замёрзший, измученный, но страшно довольный. Лыжи он

оставил перед входом — аккуратно прислонил к бревенчатой стене — и, сняв шапку, тихонько вошёл в дом. Внутри было тепло и душно от растопленной перед уходом печки, отчего лицо его стало постепенно оттаивать, а задеревеневшие ноги — медленно возвращаться к жизни.

Когда старик зашёл в комнату, Никитка спал прямо на полу, подложив под голову плюшевого медведя — единственную игрушку на свете, которую он действительно любил и уважал. Все остальные игрушки, как недавно купленные, так и переходящие по наследству, тут же впадали в немилость и заслуживали самого сурового наказания.

На полу лежали сломанные машинки, раздавленные солдатики, рваные книги и многое, многое другое. Взгляд старика притянула деревянная кукольная нога.

Он задохнулся от дикого ужаса, бросился к шкафу и распахнул дверцу.

Шкатулки не было.

Той самой шкатулки, которую он так усердно прятал от Никитки, которую открывал лишь по ночам, доставал вырезанные из дерева фигурки и с гордой улыбкой разглядывал свои творения. Творения, как две капли воды похожие на приехавших в лесной домик ребят, охотящихся за подснежным мхом. А ведь он хотел их только напугать...

Коробку старик нашёл под столом. Пустую, с отломанной крышкой.

Фигурка одного из ребят лежала на диване. Из её груди торчал длинный, обвязанный леской гвоздь.

Вторую фигурку — когда-то милую, изящную копию девушки — старик собрал по частям и аккуратно положил в коробку.

От третьей фигурки осталась одна обгоревшая голова с глубокой трещиной через всё лицо. Её старик нашёл недалеко от печки и отнес к остальным.

А четвёртой фигурки не было нигде: ни в комнате, ни в сенях, ни во дворе. И даже Никитка, проснувшийся на редкость бодрым и весёлым, не смог вспомнить, куда её подевал.

Карина Шаинян

Локатор

Девятого мая над Городом Плохой Воды пролетела стая лебедей. Снизу улыбались вслед, размахивали флажками и воздушными шариками, и Таня Кызык смеялась вместе со всеми.

Обычно лебеди улетали на север, не задерживаясь рядом с городом. Но Пельтын помнил, как однажды большая стая, то ли измотанная штормом, то ли ведомая глупым вожаком, села на бухту. Птицы ныряли клювами в ил, выискивая пищу, и со дна всплывала маслянистая бурая плёнка, пачкала перья. Лебеди почуяли неладное, когда было уже поздно: обвисшие грязными сосульками крылья не могли поднять их в воздух. Отец Пельтына заметил стаю, и они всей семьёй прибежали на берег, гонялись по мелководу за вкусной птицей, били палками и камнями. Белые перья, вымаранные нефтью и кровью, плыли по взбаламученной воде.



Вволю наелись тёмным жёстким мясом, накормили всех соседей. Угощали японского инженера со смеющимся лаковым лицом. Спали и снова объедались так, что перед глазами маленького Пельтына плыли испачканные перья.

Отца с тех пор прозвали — Кыкык, лебедь. Когда через несколько лет люди с материка записывали гиляков в толстые тетради, взамен выдавая красные книжицы, отцовское прозвище стало Пельтыну фамилией.

Накануне мать испекла пирог, и Таня, возвращаясь из школы, ещё в подъезде учуяла запах рыбы и лука, аромат хрустящей пропечённой корочки. Сразу стало понятно, что завтра праздник. Таня торопливо сполоснула руки и ворвалась на кухню — мама уже, улыбаясь, выкладывала на тарелку большущий кусок.

Розовые кусочки горбуши, вывалившись из теста, исходили густым паром. Таня жевала, обжигаясь, и смотрела, как мать отрезает половину пирога, осторожно оборачивает пакетом, полотенцем и ещё раз пакетом, чтобы не остыл.

— Отнеси деду, — Таня закивала, торопливо подбирая крошки.

— По дороге не ходи, увидят. Лучше через бухту. Сапоги надень. Приберись там. И поздравить не забудь!

Доедая, Таня смотрела в окно. С их третьего этажа видны были проблески бухты и сопка с торчащими над ней решётчатыми ушами локатора, настороженно развёрнутыми к городу. Снег уже почти сошёл, до самого моря тянулись стланиковые заросли со светлыми пятнами марей. Под кедрами ещё лежали мокрые сугробы, но по берегу бухты уже можно было пройти — первый раз с осени добраться до локатора, проведать деда.

Жизнь новорождённого города крутилась вокруг нефти, и надо было решать: уходить на север, в береговые стойбища, или оставаться на месте, переселяться в дома, зажатые тесным кольцом буровых. Японцев сменили русские начальники, приехавшие с материка. На холодном туманном болоте, открытом морским ветрам, строили бараки. В них селились смуглые люди с тоскливыми глазами и иззябшими лицами — рабочие с юга, знавшие толк в нефти. Первая скважина уже выплонула чёрный фонтан.

Пельтын ходил в школу. Пельтына приняли в пионеры и объяснили, что нефть народу нужнее, чем рыба. И когда семья всё-таки двинулась на северо-восток, Пельтын, первый раз в жизни поссорившись с отцом, остался в городе.

Кто-то рассказал ему, что нефть получается из мёртвых животных, которые пролежали под землёй миллион лет, и Пельтын сразу и легко поверил. Мечта работать на буровой потускнела и стала пугающей. Но вокруг так радовались, когда новая скважина давала нефть, так много говорили, так часто называли вонючую жидкость «чёрным золотом», что Пельтын успокоился и перестал различать в резком запахе, пропитавшем город, трупные ноты.

Под солнечной рябью шевелились чёрные водоросли. Таня разулась, поплескала ногой. Мелкая, по щиколотку вода уже прогрелась. Таня торопливо зашлёпала вдоль берега. На дне лежал ещё лёд, и от холода сводило ноги. Тонкий слой прогретого ила продавливался между пальцами, всплывала бурая плёнка, прилипала к лодыжкам. К запахам соли, талой воды, брусничного листа примешивался тяжёлый дух нефти.

Выбравшись с берега бухты, Таня припустила по тропе, ведущей на сопку. Пропетляв между зарослями кедрового стланика и кривыми лиственницами, свернула к покосившемуся забору с остатками колючей проволоки поверху. За оградой в сухих зарослях полыни и пижмы прятался неряшливый бетонный куб здания, на крыше которого и стоял локатор. Таня, закинув голову, ещё раз посмотрела на зелёные неподвижные решётки, прикинула направление ко входу, и, зажмурившись, побежала через двор. Поговаривали, что на территории локатора есть какое-то излучение, от которого можно ослепнуть. Таня, конечно, в это не верила, но испытывать на себе не хотелось. Она нащупала открытый засов и изо всех сил потянула. Дверь, почти вросшая в землю, подалась с тяжким скрипом, Таня заскочила внутрь и наконец открыла глаза.

— Ты с ума сошёл, — говорила жена, — что я одна делать буду? А если убьют тебя на материке? Ребёнка без отца растить?

— Люди помогут, — отвечал Пельтын, отворачиваясь.

Жена голосила, напирая огромным животом, и он уходил из барака. Подолгу сидел, глядя на плакат. «Больше нефти для наших танков, самолётов, кораблей!» — призывал румяный рабочий. Пельтын вздыхал. В сумерках металась огненные отблески факелов — жгли газ, мешающий добраться до нефтяных пластов. Последнее время огонь пугал Пельтына.

В щелястых стенах клуба дрожал свет — там инструктор по гражданской обороне снова крутил фильм с горящими нефтяными промыслами далёкого юга, объяснял, что делать, если вдруг начнётся бомбёжка. Получалось — сделать ничего нельзя. Рыжий, всегда бледный лейтенант, сильно хромавший на правую ногу, спохватывался и говорил, что так далеко на восток врагу не пройти. «Больше нефти, товарищи, — повторял он как заведённый, — давайте больше нефти!» Из клуба вываливались носатые рабочие, растревоженные видом родных прикаспийских степей, искорёженных воронками. Над городом полз густой запах нефти, и Пельтын снова чуял в нём тухлятину.

Пельтын ждал. Посмотрев учебный фильм одним из первых, он, потрясённый, долго наседавал на инструктора. Лейтенант вяло отмахивался и предлагал действовать по общему плану, но Пельтын не успокаивался. Наконец измученный отчаянными вопросами начальник, чтобы как-то отделаться от назойливого гильяка, рассказал Пельтыну о волшебных машинах — локаторах, которые умеют говорить о подлетающих вражеских самолётах задолго до того, как об этом скажут глаза и уши. В клубе висела древесная пыль, пахло тающим снегом, бензином, мёртвым мясом, и Пельтыну страшно было даже подумать о том, чтобы вернуться на буровую. Он хотел работать на локаторе. Защищать и предупреждать. «Так ведь не поможет», — с отчаянием говорил инструктор, глядя на свою искалеченную ногу. «Хотя бы знать заранее», — отвечал Пельтын, хмурясь и чувствуя, как холодным ужасом сжимает сердце. В глубине души он верил, что — поможет. А ещё хотел сбежать куда-нибудь, где не будет пахнуть нефтью. Всё чаще Пельтын вспоминал лебедей, перепачканных маслянистой плёнкой, и сам себе казался лебедем, глупым лебедем, не улетевшим от города на север, в стойбища, куда доходили только смутные слухи о войне. «Запах тухлятины приманивает хищников, — бормотал он, — но я научусь узнавать о том, что они идут, и всех предупрежу. Мы успеем улететь». По ночам ему снились самолёты, похожие на поморников, горящие сопки и лебеди, растерзанные острыми черно-жёлтыми когтями.

В здании локатора было сумеречно, пахло водой, плесенью, прелой хвоей. В углу светился зеленоватым экран; иногда что-то попискивало. Таня положила на стол пирог, вытащила из кармана самодельную открытку-аппликацию: звёзды и самолёт на бархатной бумаге.

— Вот, деда, мама тебе пирог передала. Поздравляем тебя с наступающим Днём Победы, — она положила открытку рядом с пирогом. — Это я на уроке труда сделала. Вот.

Таня помялась, глядя на мерцающий экран. Потом засуетилась, вытащила из-под стола растрёпанный веник. За зиму комнату занесло мелким лесным мусором, под дверью лежал пласт подтаявшего снега. Таня заскребла веником по цементному полу.

— Я, деда, завтра на демонстрацию пойду. У меня есть флажок и два шарика... — она поддела совком снег и вывалила на улицу. — Позавчера задали сочинение про войну, я написала, что ты про это говорить не хочешь, и мне поставили двойку, но мама не сильно ругалась. А ещё завтра памятник открывают. Там будет факел всё время гореть...

Таня вымела мусор за дверь и огляделась. У стены сквозь пыль масляно поблёскивали банки консервов — их трогать не стоило. А вот пакеты, лежащие в углу стола, нужно было убрать. Таня потянула ближайший свёрток, и в нос ударил запах гнили. Стараясь дышать ртом и не забывая жмуриться, она поволокла остатки еды к яме в углу двора. Пакетов набралось много: на локаторе не прибирались с середины лета, и гостинцы копились, превращаясь постепенно в неаппетитное месиво. Несколько пробежек по двору — и стол очистился. Таня смахнула пыль, передвинула пирог на середину и присела перед экраном, аккуратно взяв тряпкой по стеклу.

— А ещё, деда, я поссорилась с Юлькой... Она первая начала — сказала, что ей дедушка подарит большую куклу, а у меня дедушки нет, и куклы не будет, а она мне поиграть не даст. Ну и не надо! Я ей про тебя рассказала, что ты на локаторе работаешь, а она сказала, что локатор заброшен с самой войны, ей дедушка рассказывал, как его построили и сразу почти бросили, потому что работать некому было... Чепуха какая! А я ей сказала, что у неё дед хромой и рыжий, и старый совсем, а она меня дёрнула за волосы, а я её. Мама потом сильно ругалась и отшлёпала... А Юлька всё равно чепуху говорила — просто у тебя же работа секретная, вот и не знает никто...

Таня болтала взахлёб, отворачивалась от экрана, хмурилась. На самом деле слова подружки сильно задели её. «Ничего, я проверю — уже завтра, — в который раз подумала Таня. — Всё она врёт». Очищенный экран светился ярче, подмигивал, утешал. Таня улыбнулась и пальцем стёрла последний штрих пыли в уголке.

Накануне отъезда к Пельтыну заглянул лейтенант и с таинственным видом повёл на безлесый холм рядом с бараками. Ткнул рукой на восток, в сторону моря, где мягкими серыми волнами поднимались сопки. «Вон на той, самой высокой, поставят локатор, — сказано он Пельтыну. — Выучишься — возвращайся. Будешь нас охранять».

Так Пельтын оказался на материке. Удивлялся поначалу широкой, густо-зелёной листве — только-только начинался июнь, и дома тополя стояли в прозрачной клейкой дымке, не решаясь ещё распухнуть почки.

На курсах, замаявшись выговаривать klokoчyщиe звуки, фамилию Пельтына перевели на русский и записали Петром. Пельтын не возражал. «Что-то ты, Петя, больно чёрен», — смеялись приятели, и он отвечал, что, мол, перья в плохой воде замарал. Едкие испарения авиационного топлива были мало похожи на запах нефти, но Пельтын продолжал чують плоть разлагавшихся миллионы лет животных. Город Плохой Воды звал домой.

Учёба оказалась недолгой, но о возвращении не было и речи. Курсантов отправляли в глубь материка, на фронт. Пельтын радовался. Хищные самолёты, расклёвывающие сопки и плюющиеся огнём, никак не уходили из его снов, и Пельтын понимал, что чем дальше на западе он их остановит — тем лучше. Запах нефти слабел, растворяясь в духе большой

земли и тяжёлой фронтовой вони, и постепенно стиралось из памяти лицо жены, заменялось абстрактным силуэтом родного острова, увиденного случайно на карте. Иногда Пельтына догоняли письма. Он с трудом разбирал корявый почерк, читал короткие строчки о том, что, мол, дочка растёт здоровой, отец по-прежнему ходит за рыбой, нефти добывают всё больше, а хромой лейтенант женился. Сидя перед экраном локатора, Пельтын пытался представить дочку. Почему-то перед глазами появлялась девочка лет уже десяти, в белом платье, машущая руками, как крыльями. Пельтын улыбался, и точки на экране казались ему мягкими лебяжьими перьями.

Таня нетерпеливо переминалась в строю. Под тусклым солнцем пионерские галстуки, вытасненные поверх наглухо застёгнутых курток, казались почти чёрными. Подрагивали края белых фартуков; мальчики неловко топтались в наглаженных брюках. На площади напротив геологоразведочного института, ещё недавно бывшей пустырьём, открывали памятник горожанам, погибшим в Великую Отечественную, — открывали с речами, торжественной пионерской линейкой и оркестром. На постаменте стояли гранитные доски со списками, с фотографиями в овальных рамках; перед ними торчала блестящая ребристая труба с чашей наверху. Оставалось только зажечь вечный огонь, кормящийся подземным газом, но с этим медлили, рядом с факелом читал речь полный человек в лёгком пальто, с посиневшим от холода лицом. Наползавший с моря солёный маслянистый туман поднимался над городом, превращаясь в тяжёлые тучи, затягивая с утра ещё ясное небо. Налетел ветер, осторожно потрогал лица, а потом, будто разозлившись, швырнул пригоршню песка.

«Вечная слава героям», — торопливо пробасил человек на возвышении и огляделся.

Взвыл зажжённый газ и тут же был заглушён медным рёвом оркестра. В рядах оживлённо зашептались. Учительница, сделав страшное лицо, замахала руками, и школьники поспешно отдали салют.

Все речи были прочитаны, все слова сказаны, гимн отыгран. Начинало моросить. Школьники поспешно расходились, чёткие ряды распались на мелкие бестолковые кучки. Юлька дёрнула Таню за рукав, звала с собой. На другом краю площади Юлю ждал дед, тяжело опираясь на палку, смотрел на девочек пристально, о чём-то вздыхал. Таня сердито прикусывала губу, отворачивалась молча — и подруга, пожав плечами, отошла к деду. «И не надо», — буркнула Таня вслед.

Вскоре она осталась одна — последняя группка одноклассников втянулась во двор, исчезнув за домами. Отворачиваясь от летящего в глаза колючего песка, Таня поднялась к памятнику.

Над головой ревел факел. Таня медленно повела пальцем по гладкой гранитной плите, вдоль бронзовых букв «К». Множество незнакомых имён. Одна фамилия, как у мальчика из параллельного класса. И одна — как у соседа. Всё. Успокоенная, Таня вприпрыжку сбежала со ступеней.

Немного ниже, куда не добрался палец с обкусанным ногтем, из овальной рамки смотрел молодой мужчина с таким же, как у Тани, круглым гиляцким лицом: толстые губы кривились усмешкой и казались хитрыми узкие припухшие глаза. «Лебедев Пётр», — сообщала надпись опустевшей площади.

Пельтын встретил май далеко на материке. Жирная земля там пахла яблочным пирогом, в белой пыли шевелились резные тени. Стояли ясные, ласковые дни, и сладко тянуло ранней зеленью. Где-то за виноградниками катилась, громохая, война, — и все ждали, что вот-вот, лязгнув в последний раз, свалится она в яму и затихнет. В один из таких дней, наполненных

ожиданием, Пельтын заметил, что от товарищей сильнее, чем обычно, несёт топливом, и чай в жестяной кружке подёрнулся радужной плёнкой. Скоро домой, понял он. Город Плохой Воды наконец-то докричался до Пельтына. Он не успел допить — прибежал сержант с шальными глазами и приказал строиться.

Усы командира дрожали, и дрожала рука, сжимавшая узкую бумажку. Все затихли. Он начал было читать, голос сорвался, командир откашлялся гулко, но люди уже успели понять. Пельтына трясли за плечи, хлопали по спине с размаху, он всё никак не мог понять, в чём дело, не мог поверить, а потом рядом кто-то захохотал и вдруг осёкся, громко всхлипнув, а кто-то выстрелил в воздух, и Пельтын на мгновение оглох. Вокруг продолжали палить, и он с удивлением понял, что сам торопливо расстёгивает кобуру, и закричал, срывая голос.

Он не ушёл на дежурство: кто-то сунул в руку кружку, до краёв наполненную южным вином, и Пельтын, державшийся много лет, терпеливо объяснявший товарищам, что ему нельзя, выпил густую жидкость залпом. Сразу зашумело в ушах, и вдруг согрелось сердце, навсегда, казалось, замороженное словами лейтенанта в пропахшем нефтью клубе. Пельтын слонялся по плацу, глупо улыбаясь, и ему в ответ улыбались так же глупо и счастливо, и продолжали улыбаться, когда сумеречное сиреневое небо загудело.

Вино отхлынуло от сердца, но было поздно. Пельтын с тоской посмотрел на брошенный локатор, отчётливо представляя, как ползут белые точки, неумолимо приближаясь к центру экрана, и слыша тревожный писк. Он в отчаянии рванулся вперёд, но ничего нельзя уже было сделать. Из-за решётчатых ушей локатора вынырнули хищные силуэты самолётов, гул превратился в рёв, а потом в визг, на мгновение небо заслонило перекошенное, зелёное лицо командира, и беззвучно закричали рядом, совсем не так, как кричали пару часов назад. Запах нефти стал невыносимым, и Пельтын успел подумать, что теперь-то он точно попадёт домой, на вершину сопки у самого моря, — и никогда, никогда не отойдёт от экрана, и ещё подумал, что через миллион лет здесь найдут чёрную маслянистую лужицу. А потом воздух заполнился нестерпимо белыми, перепачканными кровью перьями, и всё кончилось.

Иногда порывы ветра стихали, и сверху доносилось тихо — «кы-кы, кы-кы». Кричали лебеди, не видимые за тучами. Щурясь на ветру, Таня Кыкык посмотрела на восток. В разрывах тумана виднелась сопка и тёмный силуэт локатора. Холодный воздух выбивал слёзы, сопка подрагивала и плыла, но Тане почти видно было, как вращаются решётчатые лопасти. Деда даже в праздник на работе, думала она, и пыталась представить, как на дедушкином экране выглядят лебеди. Наверное, они похожи на ослепительные искорки.

Шумела бурная весенняя вода, несла радужные пятна. В Городе Плохой Воды пахло нефтью.

Иван Наумов

Обмен заложниками

Это не развлекательное чтение.

Необходимое уведомление

— Кажется, «Семьдесят семь — тринадцать», — я провёл пальцем по монитору. — Условно

земная территория. Дозаправка, отстрел транзитников, и летим дальше. Есть часа два на размять ноги.

Амандо Нунчик, смешной и нескладный попутчик, с неподдельным интересом повернулся ко мне:

— Отстрел? Это как понимать?

Антикварные очки в костяной оправе, взъерошенный чуб, губы бантиком. Всю дорогу от Пятого Байреса он приставал ко мне с бессмысленной и беззаботной болтовнёй.

— Любая транзитная станция шлюзует только большие паромы. Посудину вроде нашей никто стыковать не будет. По экономическим соображениям. Аварийная шлюпка вмещает десять человек и три тонны багажа. Мы отстреливаем свою — с транзитными пассажирами, а база шлёт нам пустую. То же самое с топливными саркофагами. Круговорот тары в пространстве. Экономим на манёвре, капитан получает свой бонус.

Нунчик уважительно щёлкнул языком. Помолчал, готовя тему для следующей атаки.

За иллюминатором расстилалось бескрайнее астероидное поле. Если смотреть долго, можно заметить, как тот или иной камень постепенно поворачивает к солнцу блестящие сколы или цепляет соседа, передавая ему своё движение. Чарующая картина, если не задумываться о происхождении этой рукотворной красоты.

— Странно, странно. Я перед поездкой листал старые путеводители, смотрел гиперкарты, и как-то мне запомнилось, что перед последним циклом прыжков к Суо мы пройдем Винную Долину.

— Никогда не слышал. — закрылся я.

Кто же ты такой, безобидный друг? Зачем так в лоб меня пробиваешь? Хочешь услышать правдивую историю Винной Долины — или убедиться, что перед тобой тот, кого ты ищешь? Какие устройства размещены в твоей оправе? Зачем ты летишь на Суо?

Паранойя, в общем-то, но это стандартный диагноз для людей моей профессии. Если можно говорить о стандартах для столь малого круга лиц.

Экран поделён на четыре части, в каждой — своя картинка. На трёх — вооружённые люди бродят вразвалочку по пандусу в полутора метрах от поверхности воды. Когда камеры поворачиваются к воде, виден далёкий чужой берег залива. Когда возвращаются назад — то снова ходят туда-сюда абсолютно невоенные мужики, зачем-то запасшиеся стайерами и тяжёлыми карабинами.

Четвёртая показывает внутренности базы. Большое широкое помещение переполнено людьми. Женщины и дети вповалку спят на полу. В дальнем углу кто-то раздаёт пищевые рационы.

Звука нет, но лица людей, попадающие в кадр, наполнены ожиданием беды. А может быть, я додумываю для них эмоции, зная, что сейчас увижу.

База стоит на сваях и соединена с берегом только мостками. Теперь здесь так больше не строят.

На левой верхней картинке пандус с отдельно стоящим охранником почти уплывает из кадра, когда там что-то мелькает. А мы наблюдаем серую воду, отделённую от белёсого неба

неясной полоской суши у горизонта. Камера идёт назад. Охранник с распоротым горлом медленно переваливается через поручень.

В другом кадре видно, как из воды взлетает вверх огромная зеркальная туша. Обтекаемые формы, разверстая треугольная пасть, длинные ласты-руки. В правой зажат длинный кривой нож. Ещё в полёте тварь наотмашь чиркает второго охранника под колени. Бедолага успевает выстрелить в упор. От высоковольтного разряда тварь судорожно скручивается в воздухе и падает назад в воду.

Но ещё три — уже на мостках. Безупречные рептилии, длиннотелые и длиннолапые. Тяжёлые плоские хвосты — как гигантские мечи. Одна перекусывает шею коленопреклонённому охраннику, другие стремительными прыжками бегут по мосткам на стреляющих в упор защитников базы. Камеры снова отворачиваются к воде.

Теперь уже видны призрачные силуэты, скользящие неглубоко под поверхностью. Их много.

Снова на экране залитый кровью пандус. Живых охранников не наблюдается. На правой нижней картинке три женщины плечом к плечу замерли напротив расположенной под камерой двери, сжимая карабины. Не шевелясь.

Вокруг упавших в воду тел мельтешат карнали, хищные полосатые рыбы. Пандус кишит тварями. Женщины на четвёртой картинке начинают стрелять...

Комендант остановил кадр. Внутри базы все ещё живы. Пусть останется так.

— Позже мы начали пользоваться эхолотами, — сказал Георгий Петрович.

Ещё на Земле я прочёл до последней буквы все материалы о конфликте, статистику, аналитику, прогнозы. Пересмотрел хронику. Но таких записей там не было.

Мы выпили не чокаясь. Комендант словно сошёл с рекламного проспекта программы колонизации — уверенный и открытый немолодой мужчина, чеканный профиль, тяжёлый подбородок, морщинки вокруг глаз. Отец родной, батя. Если бы я собирался осваивать новые миры, то доверился бы именно такому лидеру.

— Потом мы поняли, что шнехи почти невосприимчивы к электрошоку, очухиваются быстро, зато старая добрая тротиловая шашка глушит их, как обычных карасей. Они стали гораздо осторожней. Но из-за своих традиций так и не начали использовать огнестрельное оружие. Только благодаря этому удалось восстановить баланс.

— Баланс?

— Нанести им соразмерный урон. Решение, Антон Андреич, было чисто интуитивное, но оказалось верным. Мы собрали весь летающий хлам, способный держаться в воздухе, и предприняли рейд к их месту посадки. Если бы мы не уничтожили две трети их центральной базы, никаких бы переговоров и не состоялось.

— Хотел бы я видеть ту вылазку...

Георгий Петрович посмотрел пристально и задумчиво.

— Мы нашли выход не сразу, Антон Андреич. Большой Земле было не до нас. Вы рубились с таймаками и кем там ещё?... А здесь — изоляция. И необходимость срочных решений. Ни устойчивой связи, ни проверенных быстрых коридоров к ближайшим заселённым мирам. Это всё появилось позже.

Комендант потянулся за бутылкой. Я расположился на широченном кожаном диване,

выглядающем дико и несуразно здесь, в кабинете первого лица планетарной администрации Суо. Здесь, в настоящей дали. Диван этот принадлежал какой-то рок-звезде, готовившейся к очередному круизу по ближним мирам. Георгий Петрович попросту упёр кожаного монстра с околосемного склада за два часа до старта экспедиции, о чём не преминул рассказать мне в подробностях в первые же минуты знакомства. Пока внимательно вычитывал предъявленные мной документы и сверял голографические коды с какой-то своей инструкцией, стараясь, чтобы я этого не заметил.

Средних лет секретарша Марта приоткрыла дверь, бросила взгляд на стол и, видимо, удовлетворившись увиденным, исчезла.

— Шнехи — такие же колонисты, как и мы, — продолжил Георгий Петрович. — Также уверены, что застолбили планету по всем правилам. Что с того, что ни их, ни нашего флаг-спутника на орбите не наблюдается? Их прилетело приблизительно столько же, сколько нас. Двести тысяч поселенцев для такой планеты — пустяк. И, остановив войну, все задумались о гарантиях мира.

— И кто же предложил обмен заложниками?

— Уж не смеётесь ли вы, Антон Андреевич? В истории Земли и не такие казусы происходили. Ведь каждый колонист — потенциальный родоначальник. Психология, знаете ли. Все тяготы долгого полёта в неизвестность, все неизбежные риски — ради детей.

Я на секунду представил себя мальчишкой и что мой отец за руку ведёт меня по мосту, а навстречу нам ползут две твари, крупная и помельче. На середине моста отец останавливается, а мне надо идти дальше.

Мы выпили.

— Единственной проблемой стало — договориться по срокам и возрасту. Работала совместная комиссия. Срок установили в четыре года.

Я, разумеется, знал об условиях обмена всё. Мне было важно услышать это от коменданта.

— А вот биологический возраст у нас со шнехами разный, поэтому их заложники — семилетки, а наши — двенадцати лет.

Я не удержался и переспросил:

— Двенадцати лет?

Вот так лишнее слово, неправильная интонация, необдуманый жест или ошибка в мимике могут привести к взрыву.

— Да, уважаемый гость! — заорал комендант, вздымаясь из-за стола. — С двенадцати, потому что в этом возрасте человек уже может выдержать собственный страх. И в шестнадцать вернуться к родителям взрослым и вменяемым. Потому что лучше быть тихим и напуганным, чем мёртвым и безразличным. Потому что любому родителю ещё есть дело до двенадцатилетнего чада. И он не разрядит станер в железную ящерицу, которая поселилась в опустевшей детской.

Стоп, стоп, стоп! Что я делаю? От этого человека зависит, удастся ли мне...

— И не вздумайте рассказывать мне о нашей жестокости, о конституциях и свободах — я всё знаю и сам! Пока ваши боссы чесали лбы и обсуждали, кто виноват в неправильной планетарной разметке, я потерял двадцать тысяч человек из вверенных мне ста! Объясните



им, почему вы не ввели войска — или хотя бы не дали разрешения на полномасштабные действия!

— Георгий Петрович!..

— Потому что шнехи — хищники! Генетически, понимаете вы?! Каждый шнех — воин. Каждая шнеха — воительница. Против метрового шнешонка, появившись он в этой комнате, мы, два взрослых мужика, не выстояли бы и пяти минут...

Повисла тяжёлая пауза.

— Георгий Петрович... — Я тоже встал. Отошёл к окну, оказавшись к нему спиной. — Я знаю о шнехах всё, что вы со дня колонизации передавали на Землю. И я здесь не для того, чтобы оспаривать ваши действия. Если вам это не безразлично, решение об обмене заложниками кажется мне великолепным. Вы остановили бойню и перешли к сосуществованию. Но прошло уже пять лет, и нужно двигаться дальше. Разве не так? — Я повернулся и посмотрел ему в лицо.

Комендант, как ни в чём не бывало, усмехнулся.

— Вы извините меня, Антон Андреич. Накопилось, знаете ли. Поделиться хочется. А тут такая возможность — ксенолог из центра, да ещё со спецмиссией. Как же удержаться да пар не выпустить?

— Я не совсем ксенолог. — Как бы теперь комендант ни расшаркивался, нужно было срочно восстанавливать контакт, который я едва не разрушил. — Я специалист по конфликтологии, и занимаюсь больше своими, чем чужими.

— Что ж только одного прислали? Тут и десятку работы хватило бы. Живём как на пороховой бочке.

— А сами как думаете? — я подошёл к столику и без спроса пополнил обе стопки.

— А я не думаю, — сказал комендант. — Я знаю. Учился всё-таки в том же заведении. Сто тысяч населения — пустяк. Это раз. Право на владение территориями ни одна сторона доказать не может. Это два. Цивилизация шнехов не владеет оружием тотального уровня. Это три. Правильно?

Он смотрел на меня выжидающе и доброжелательно. Он искал во мне союзника, как и я в нём. Нам было решительно нечего делить.

Я ничего не ответил. Мы просто чокнулись, выпили без закуски и приступили к обсуждению ситуации.

Средних размеров материк лежал в северных водах. Климатом и рельефом походил на Финляндию. Фьорды, заливы, озёра, болота, реки, ручьи, протоки. Мы собирались осваивать сушу, шнехи — и сушу, и воду.

Сто тысяч колонистов первой — и пока последней — волны расселились просторно. Кто-то занялся сельским хозяйством, кто-то остался жить в центрах (до городов эти населённые пункты пока не дотягивали), налаживая автоматические заводы, разворачивая инфраструктуру цивилизации. Некоторые поселенцы попросту плюнули на первоначальные планы, особенно после короткой и кровопролитной войны, и превратились в полудиких охотников и рыболовов.

Меня всегда удивляла конечная цель всего этого. Не для отдельного человека, а в целом для человечества. Шаг вширь — два шага назад по лестнице прогресса. Из мира в мир мы приносили Дикий Запад.

Кстати, к западу от посёлка, считавшегося столицей, по заболоченной равнине тянулись невысокие холмы. Местные звали их Бугорками. Дальше лежал залив, длинным широким языком вдающийся в сушу с юга. На его другой стороне хозяйничали шнехи.

Я видел много шнешат. Грациозные ящерки казались отлитыми из живого металла. Они жили в семьях, вместе с временными родителями ходили на праздники, которых комендант изобрёл великое множество. Иногда можно было встретить шнешонка с хозяйственной сумкой в зубах, спешащего к пекарне или в аптеку.

А где-то далеко за заливом в чужих гнездах спали и наши дети, учились чужой жизни, впитывали чужой язык.

Мы словно шли по лезвию. Что, если случайно одна из этих юных ящерок свернёт шею? Что, если кто-то из обезумевших поселенцев, потерявших всех своих в стычках со шнехами, не удержится и откроет свой личный счёт в своей личной войне? То, что почти пять лет прошло без подобных инцидентов, казалось мне чудом.

Комендатура занимала двухэтажный особнячок, классический образчик ностальгической архитектуры. Георгий Петрович выделил мне для работы крохотную угловую каморку, но для работы мне было достаточно стола, стула, компьютера и станции связи. Я вгрызся в информационное пространство Суо.

Из-под патриархального уклада новорождённого аграрного государства проступали острые контуры внутренних противоречий, растущих угроз, скрытого недовольства. Полномочия позволяли мне пренебрегать многими условностями, и я потрошил орбитальный сервер без зазрения совести. Пресса, форумы, группы, личная переписка, перечни импортируемых товаров, демографические отчёты, персональные досье — всё шло в дело.

Чем детальнее я изучал местную жизнь, тем более глухим казался построенный договором тупик. Перемирие, зиждящееся на заложниках, раньше или позже должно рухнуть, похоронив под собой жертв нового столкновения.

Ни одного взрослого шнеха на этой стороне залива я не видел. Ни один взрослый человек не собирался на другую сторону.

Первый постулат конфликтолога — не надейся на помощь. Никто из окружающих тебя людей не обладает нужными навыками и знаниями для принятия решения. Даже для его поиска. Ты собираешь информацию, ты анализируешь её, ты проводишь действия, направленные на разрешение конфликта, ты несёшь ответственность за то, что сделал. И за то, что из этого получилось, тоже.

Обстановку в столичном посёлке, как и в остальных приграничных со шнехами районах, спокойной назвать было нельзя. Эхолоты береговой охраны почти каждую ночь регистрировали подозрительные движения рядом с нашим берегом.

Шнешата, живущие среди людей, то и дело становились объектом насмешек и издевательств, особенно в школе. Глядя на частокор зубов в пасти этих подростков, я пытался не вспоминать увиденное в кабинете коменданта.

Георгий Петрович добыл мне обновлённые учебники и словари шнехского. Они разительно

отличались от скудных пособий, попавших в земные военные архивы и давно изученных мной от корки до корки. Я включился в обычный режим — двести слов в день наизусть. Наутро из двухсот в памяти оседало около ста, но через пару месяцев я уже мог шипеть что-то вразумительное. Надеялся найти себе учителя среди шнешат, но почему-то не получалось.

Тем временем понемногу возвращались с той стороны залива шестнадцатилетние спасители человечества. Пушечное мясо подросткового возраста. Не задерживаясь надолго в посёлке, не особо разговаривая с местными, они обычно только ночевали, а наутро отправлялись на восток, по домам.

А им навстречу тянулись несчастные семьи. Вариантов отсрочки не существовало. Родители стремились проводить детей до залива, до катера, до того берега — чему, впрочем, препятствовали сотрудники комендатуры. Георгий Петрович постоянно находился в разъездах. Он управлял своим миром железной рукой. Было чему поучиться у этого человека.

От него и пришла новость.

— Антон Андреич, — услышал я сквозь треск помех.

Официально так, будто и не сполз он уже давно на «Антошу» по праву старшего по возрасту.

— Антон Андреич, не затруднит тебя подскочить ко мне? Да, прямо сейчас. Хочу тебя с одним молодым человеком познакомить. Жду.

Парень был занятный — лопухий, смущённый и самоуверенный. Именно так. Робость уравновешивалась решительностью, неудобство — необходимостью.

Георгий Петрович будто карналя на блесну вытягивал — осторожно и ласково:

— Не обессудь, голубчик, расскажи гостю ещё раз всё, что мне излагал. Антон Андреич у нас как раз в этой отрасли спец, ксенолог, без него нам твой вопрос не решить.

Я присел на краешек комендантского трофейного дивана. Пропорхнувшая мимо Марта наколдовала чаю и конфет на журнальном столике. Парень придвинулся, хлебнул кипятка, обжёгся и отодвинулся снова.

— Я хочу жениться, — вдруг выпалил он.

Я уже хотел вступить в беседу, но комендант предупреждающе поднял палец.

— Меня зовут Ростислав, — сказал парень. — Родители в степи, на комбинате, а я тут обосновался. После плена. Охочусь, рыбаку. У меня заимка за Бугорками, прямо на берегу залива.

Мы с комендантом выжидающе молчали. Ростислав вздохнул и продолжил — словно на ступеньку поднялся:

— Я давно уже встречаюсь... Почти два года. Мы там познакомились, пока я в плену жил. Теперь я вернулся, а она... Я поэтому к родителям и не поехал. У меня заимка прямо на берегу.

Я забыл, как дышать.

— Молодой человек хочет сказать, — помог парню комендант, — что собирается жениться на

шнехе. Они хотят жить вместе на нашей стороне залива.

Ростислав поморщился. Мне тоже не нравилось слово «шнеха», грубое и неопрятное.

— Своих детей у нас, как вы понимаете, не будет... — он совсем замялся, выбирая и вымеряя правильные слова — будто шестом тыкал в болото под ногами. — А после войны и у нас, и у них полно сирот осталось. Вот мы и подумали...

Моя природная бесцеремонность напомнила о своём существовании.

— А как же вы... — видя, как вспыхнули малиновым уши юноши ещё до того, как прозвучал вопрос, я всё-таки успел свернуть в сторону, — думаете решить лингвистическую проблему?

— Так нет же никакой проблемы, — удивился и расслабился он. — Отец с детьми говорит на одном языке, мать на другом. Между собой они — как получится. Шнехам тяжело губные звуки даются, так что лучше с детства тренироваться.

— Интересно, крайне интересно, — подытожил Георгий Петрович. — Ты, голубчик, иди, ясно нам всё.

Ростислав вскочил, сразу оказавшись выше коменданта на полторы головы.

— Я тогда... ждать буду? — пытаюсь поймать то мой, то комендантский взгляд, юноша бочком, бочком вышел из кабинета.

— Ну, что скажешь? — По лицу Георгия Петровича я не смог прочесть ровным счётом ничего.

— Скажу? Сначала я должен это видеть.

Но снова встретиться с Ростиславом нам пришлось не скоро. Такая вокруг него заварилась каша, так тряхануло этот маленький провинциальный мирок, что отзвуки докатились до метрополии.

Когда стало казаться, что разрешения или отказа не придёт никогда, я счёл нужным взять ответственность на себя. Границу собственных полномочий я представлял смутно и посоветовался только с комендантом.

— Ну, Антоша, у тебя карт-бланш. Если считаешь, что здесь революции не будет, то махни флажком.

И я махнул.

Они сидели рядом, напряжённые, как крепостные крестьяне перед фотоаппаратом, ещё не верящие в происходящее, одурманенные неизвестностью.

— Георгий Петрович, Антон Андреевич, познакомьтесь, — сказал Ростислав, — это Шуль.

В небольшом пластиковом домике, построенном на старый манер на сваях над водой, по потолку плавали солнечные разводы. Мы стояли на пороге, за нашими спинами шумел лес.

— Здравствуйте, — сказала Шуль, — очень рриятно оз-накониться.

Мы привыкли искать красоту в хищниках. Восхищаться прыжком тигра, полётом орла, бегом

волка. И сейчас я не смог удержаться от разглядывания огромной ящерицы. Продолговатая голова, расходящиеся вниз и вбок нижние челюсти сейчас сомкнуты, зубы почти не видны. Глаза большие и раскосые, радужка цвета перламутра, крошечные чёрточки зрачков. Аккуратные ноздри — как две тильды. Насечка жабр на шее. Мускулистые передние конечности, длинные и изящные, заканчивающиеся далеко не рудиментарными когтями. Плечи покатые, как у пушкинских красавиц.

Разумеется, Шуль не пыталась взгромоздиться на стул. Сидел Ростислав, а его жена полукольцом расположилась вокруг. Кончик её тритоньего хвоста, похожий на столовый нож, лениво скользил по полу. Левой лапой она опиралась на плечо законного мужа, а правую положила ему на колено. «А ведь в ней килограммов двести», — подумалось мне. Но ящерица владела своим телом в совершенстве — было видно, что её прикосновения невесомы.

Краем глаза я скользнул по коменданту. Георгий Петрович замер. Смотрел с прищуром, оценивающе. Нет ли у него братьев на острове Пасхи? Что-то задело меня в его взгляде. Но в тот момент я не мог анализировать входящую информацию.

Стол был накрыт на четверых. Для нас — хлеб, салаты, вполне земной стол. Для Шуль — большая тарелка сырой рыбы.

Георгий Петрович быстро притянул к себе основное внимание. Шутил, философствовал, рассказывал что-то из жизни. Думаю, Шуль была ему благодарна.

Потом Ростислав предложил нам отдохнуть и накрыл чай на веранде. Они с женой собрались прогуляться, а мы с комендантом развалились в шезлонгах, наслаждаясь бездельем.

Георгий Петрович задумчиво разглядывал противоположный берег.

— Сложно, Антоша, ох как сложно с этим приютом...

— Шнехи боятся?

— Самое смешное, что не шнехи, а наши. Те-то давно подтвердили, что двух шнешат пятилетних передадут Шуль под её ответственность.

— Вы не говорили раньше...

— А что болтать раньше времени? Наши, наши упёрлись. Придурки из конфессии Сверхнового Завета воду мутят. Мол, противоестественный союз. Не дадим калечить души детей. Скоро до анафемы дойдут.

— Я бы на их месте упирал на практические вопросы. Пятилетние шнешата — ещё совсем дети. Нелогичное поведение. Много риска.

Георгий Петрович широко улыбнулся:

— Нравится мне, Антоша, как ты сам себя прикладываешь. В нашем плане всюду дырки, но они конфликтологу не помеха!

Мы ещё поговорили о том, о сём. Потом комендант задремал, а я, чтобы не последовать его примеру; решил пройтись. От домика в разные стороны расходились едва намеченные тропинки, и я выбрал ту, что змеилась вдоль берега.

Сначала я услышал Ростислава, а потом уже увидел обоих на поваленном дереве у кромки воды.

— Огненный фронт заката взрезан утёса глыбой, — чеканил он особенным, глубоким голосом.

За гранью яви можно было услышать ритм тамтамов. Шуль обернулась вокруг Ростислава стальной полосой и придерживала его за шею тысячей зубов-игл. Нежно-нежно.

— Солнце идёт на запад, словно на нерест рыба, — продолжал охотник.

Чёрт, да он же читает ей стихи! Грузит девушку! Я замер, глядя сквозь заросли на сплетённые фигуры. Потом тихо, стараясь не хрустнуть веткой, отступил назад и поспешно вернулся к дому.

Я увидел что-то такое, с чем мой разум пока был не в состоянии справиться. Представил, что моего загрызка касаются бритвенно-острые кончики зубов. Мурашки не заставили себя ждать.

Мальчишек звали Макс и Шесс, девчонок — Тамара и Лийл.

К недельной годовщине открытия приюта — а правильнее сказать, появления смешанной семьи — я заказал с орбиты снаряжение для подводного плавания. Теперь они могли плавать и гоняться за рыбами вшестером, все вместе.

Шуль научилась готовить подобие суши, и, когда я приходил к ним в гости, мы ели одни и те же блюда.

Ростислав почти перестал охотиться. Я пробил им полное обеспечение, и всё свободное время взрослых уделялось детям. Их дом с утра до ночи был наполнен шумом и смехом.

Со шнешатами я часто пытался говорить на их языке, а они кричали на весь залив, едва завидя меня выходящим из леса: «Нана! Тата! Дядя Тон триехал!» Шуль приготовила для меня отдельную комнату, и я оставался с ними всегда, когда была возможность.

В этом чужом и случайном мире я вдруг нашёл кусочек чего-то своего, дорогого сердцу, крошечный огонёк в бесконечной ночи.

Поэтому когда Георгий Петрович неожиданно обругал меня, на многие вопросы мне было нечего ответить.

— Эта ситуация, Антон Андреич, сама, как яблочко с ветки, упала тебе в руки. Не моего ума дело — влезать в твою работу, только я-то вижу, что ты халтуришь. И я не был бы честным человеком, если бы не сказал тебе об этом. Ты недорабатываешь, понятно?

— А что недорабатываю, Георгий Петрович? — вяло защищался я. — Мы создали прецедент, об этом трубят от Бугорков до Дальнего Востока, и думаю, что на том берегу всё то же самое.

— То же самое, голубчик, то же самое. Те же скрытые процессы. Как в крови вырабатываются антитела, так и в социуме для борьбы со всем чужеродным предусмотрены свои механизмы. Почему, в конце концов, я тебя этому учу? Куда смотрели твои преподаватели?!

— Георгий Петрович, вам, может, и кажется, что я застрял в нашем детском саду и забываю выглядывать во внешний мир. Смею вас уверить, я делаю свою работу. И многие вещи, которыми я занят, выходят за рамки вашей компетенции.

— О, закипятился, забунтовал, петушок!

— Извините.

— Я, Антоша, не говорю, что ты что-то там не делаешь или со дня на день переключиваешься. Я, голубчик, совсем о другом! Ты вырастаешь в этот проект. Ты допустил, что личное замыливает тебе взгляд. Ты отбрыкиваешься от перспектив, вместо того чтобы изучать их тщательно и продуманно.

— Георгий Петрович, я как раз хотел сказать: всё-таки нужен пост охраны. Оцепить периметр невозможно, сплошное болото, но хотя бы сторожку и пару человек на пост — распорядитесь, пожалуйста. Я перлюстрировал почту новозаветчиков, среди них достаточно неуравновешенных элементов. Они терпят присутствие шнехских заложников, но от факта добровольного единения людей и шнехов в одну семью у кого-то могут действительно отказать тормоза.

Комендант укоризненно вздохнул и стряхнул с рукава пылинку.

— Дорогой ты мой конфликтолог, — задумчиво сказал он. — Тебя ведь обучали психологии индивидуума и психологии толпы. Скажи мне, Антоша, а у нашего простого человека — какие векторы основные?

Несмотря на неуклюжесть поставленного вопроса, я понял, о чём говорил комендант. О любви и ненависти. О цели и антицели. О том, к чему человек стремится и чего бежит. И если положительный вектор при всех раскладах ясен и предсказуем — жить спокойно и в достатке, окружать себя дорогими тебе людьми, «чтобы не было войны» и «чтобы всё было хорошо», — то с отрицательным...

Этот вектор — и есть моя работа. Взять стрелку за кончик и направить её в такую сторону, чтобы избежать неуправляемого катаклизма. Или разломать эту стрелку на куски, и одно большое «ненавижу» превратить в дюжину безобидных «не нравится». Главное, чтобы тысячи маленьких отрицательных векторов отдельных людей не слились в злобную чёрную молнию, разрушающую всё на своём пути.

И сейчас мне стало тревожно. Потому что вопрос коменданта прозвучал очень странно.

— Георгий Петрович! Слава и Шуль неизбежно притянут на себя недоброжелательные взгляды. Я прошу вас дать им хотя бы формальную охрану. Прямо с сегодняшнего дня. Вы предлагаете что-то другое?

— Что ты, голубчик! Я ничего не предлагаю. И предлагать не могу. Не моя компетенция, как ты изволил заметить. — Кольнул, и сразу сменил тему. — Завтра к нам прилетают шнехи. Не хочу загадывать, но намечаются торговые переговоры. Об этом сейчас и потолкуем, что ты видишь со своей позиции. А про Ромео с Русалкой потом договорим.

— Знаете, Антон... Так интересно жить!

Мы с Ростиславом сидели на мостках, свесив в воду босые ноги. Шесс улёгся рядом, положив тяжёлую голову мне, дяде Тону, на колени, и подставив брюхо утреннему солнцу. Макс с Тамарой на берегу играли в мяч. Под нами в воде время от времени проскальзывала тень резвящейся Лийл. Шуль уплыла за свежей рыбой.

— Тот страх, который чувствуешь в первый день в гнезде шнехов — он так и не исчезает. Все четыре года ты окружён теми, кого бессознательно боишься. И в какой-то момент понимаешь, что ты — отдельно, а твой страх — отдельно. Тогда начинается жизнь.

Ростислав улыбался. Он явно вспоминал значительно больше и ярче, чем рассказывал. Его

истории завораживали. Наверное, слишком напоминали сказки.

— Спасибо родителям, я получил вполне приличное образование. Это было не так-то просто на корабле. Отклонялось от «линии». А теперь мне открылся совершенно новый мир. У них изумительная литература, сумасшедшая философия, ритуалы и кодексы. Я думаю, что обмен заложниками тоже придумали они, а не мы. Очень похоже на средневековую Японию. А среди наших — самураев маловато.

С берега Макс позвал Шесса по-шнехски, тот рывком перевернулся на все четыре лапы, ткнул меня носом под рёбра, отчеканил: «Тока! Я скоро дернусь!» — и улькнул в воду.

— И я уверен, что шнешата, вернувшиеся от нас, отсюда, тоже несут с собой частичку нашего мировоззрения. Когда исчезнет элемент принуждения, мы смешаемся в единое целое.

— Эх, Слава, — я неторопливо поднялся и подставил лицо ветру, — всё так и будет когда-нибудь. Только путь окажется дольше и труднее, чем выглядит из начальной точки.

Мы простились, я собирался выйти загодя, чтобы по дороге не скакать с кочки на кочку, а «выгулять» мысли перед переговорами. Кажется, я сказал ему беречь себя.

Отойдя от заимки километра на два, я обратил внимание на сломанную ветку, упавшую поперёк тропы. Вчера я шёл уже по темноте, мог не заметить. Но я не помнил, чтобы что-то ломал.

Подходя к управе, как последнее время величал свою вотчину Георгий Петрович, короткой дорогой, с заднего крыльца, я обратил внимание, что сотрудники комендатуры носятся как угорелые. Видимо, мельтешат перед прилётом шнехов.

Посреди приёмной Марта поправляла Георгию Петровичу галстук. Я впервые видел его при полном параде, в форме колон-капитана, с орденскими планками за многочисленные освоения и покорения. Глядя, как двигаются пальцы секретарши, я удивился своей невнимательности в подобных вопросах. То, что она любит коменданта, говорили её руки. Одинокая женщина в возрасте. На планете, которая уже не успеет стать родной. Грустно всё это.

Георгий Петрович был странно бледен. Он безучастно принимал скрытые ласки Марты, зашифрованные в необязательных касаниях. Впервые отвёл взгляд, пожимая мне руку. Его ладонь была влажной.

В кабинете запищал вызов. Комендант дёрнулся, как от удара. На пороге кабинета он остановился и сказал, обращаясь ко мне:

— Они не прилетят.

У него дрожали пальцы, когда он неопределённо показал в сторону окна:

— Антоша, спустись вниз, там... Посмотри, чтобы... И скрылся за дверью. Ничего не понимая, я направился к лестнице.

Посреди площади раскорячилась ржавая развалюха на воздушной подушке. Шустрый тип со здоровенным распятием поверх клетчатой рубашки раздавал налево и направо автоматическое оружие. Желаящих вокруг толпилось достаточно.

— Право каждого — защитить свой дом! — какой знакомый голос! — Никто не обещал вам здесь рая, но и вы не клялись драться с крокодилами голыми руками! Бесплатные стайеры —



это всё, чем снабдило вас фарисейское государство. Оно дало вам право красиво умереть. А я говорю вам: ваша обязанность — красиво выжить. И пережить чешуйчатых тварей!

Рассовав в жадные руки очередной ящик короткоствольных автоматов, Амандо Нунчик разогнул спину, осмотрелся — и натолкнулся на мой взгляд. Он всё понял правильно. Вытер руки о штаны, спрыгнул на землю, буркнув стоящим в очереди: «Минутку!» — и пошёл — не ко мне, а чуть в сторону, отводя меня от своей колымаги. Умная маленькая бойцовая рыбка.

Я тоже отошёл от толпы и дал ему приблизиться. Я молчал.

— Здравствуйте, господин писмэйкер! — поздоровался Нунчик, вскинув подбородок и блеснув толстыми стёклами. — Доигрались до войнушки?

Отвечать я не счёл нужным.

— Доигрались, и теперь даже сказать ничего не можете. Как вам пришло в голову, что народ стерпит брак между человеком и крокодилом?! Позволит этим извращенцам воспитывать детей? Это даже не скотоложество. Здесь дело не в похоти, с похотью всё проще и понятнее. Это что-то за рамками человеческого естества. Ваше имя, сердобольная сваха, станет нарицательным. Вы пугало, ясно вам?

В этот раз Нунчик не показался мне нескладным или смешным. В маленьком человечке проявилась реальная сила. Блеск глаз, отрывистость жестов, продуманные позы. Я поймал себя на том, что не столько слушаю его бред, сколько изучаю построение фраз. Если комендант в отдельных ситуациях напоминал Муссолини, то сейчас передо мной стоял нарождающийся фюрер.

— Видели мы плоды вашей работы, хреновы миротворцы! Думаете, достаточно стереть в навигаторах названия, написать номера, и ваши преступные ошибки забудутся сами собой? Семьдесят семь — тринадцать, говорите? Сколько наших планет стёрлось в пыль, когда вы про...али мирный договор с таймаками? Шестьдесят миллионов душ Винной Долины, сорок на Романьоле, по десятку на каждой планете в поясе Хенца. Вы ещё не наигрались? Добавьте ноль-одну на Суо!

Что я мог сейчас сказать или объяснить человеку, далеко шагнувшему за порог вменяемости? Жалко оправдываться за совершённую коллегами ошибку, стоившую человечеству трети освоенных территорий? Или с придыханием и мечтательной улыбкой поведать ему, что такое настоящая любовь? Не книжная, а живая, отвергающая любые границы? Да много ли я и сам об этом знаю, случайный гость на чужом празднике? Или ударить его коротко и точно, закрыв проблему этого мессии раз и навсегда? Чтобы расчётливое зло не вылезло на царство по чужой боли, страхам и затаённым обидам? Мне хотелось назвать Нунчика мразью, но рацию привычно взяло верх над эго.

— Амандо, дружок, — я взял его за локоть. — Ты здорово разбираешься в моей работе. И поэтому понимаешь, что в рамки моих полномочий входят многие вещи, которые показались бы тебе как живому существу весьма неприятными. Ты уверен в своей правоте. Но она не защитит тебя от меня, веришь?

Он дёрнулся, но я держал его цепко.

— И эти милые люди, благодарные тебе за спасительные дары, со значением выпьют чарку за твой упокой. Но они пока что не готовы нажать на курок во славу твоего имени. Дорожка, на которой мы сейчас стоим, ведёт к посадочной площадке. Челнок на орбиту уходит через три часа. Курьерский к Пятому Байресу — послезавтра. Всё время мира в твоём распоряжении.

Я вынул у него из-за пояса тупорылый револьвер, заряженный разрывными, и сунул себе в карман. Нунчик обмяк, как тряпичная кукла. С тяжёлым рёвом на площадь с двух сторон выползли фургоны комендатуры. Люди начали расходиться, торопливо пряча смертельное добро под одежду. Несостоявшийся мессия побрёл по указанной мной дорожке.

— Капрал, — окликнул я старшего, уже пломбирующего нунчиковскую машину, — а что случилось? Какие новости?

— Плохие новости, Антон Андреевич, — помощник коменданта двинулся мне навстречу. — Час назад трое напали на приют. Сверхновые, фанатики. Шнеху вырубили стайером, и она успела оторвать голову только одному. А мы подоспели поздновато.

— А что с детьми? Что Ростислав? — я перестал анализировать собственные интонации, забыл о лице, жестах, подборе фраз. Чёрная помпа в моей груди погнала в мозг килотонны адреналина.

— Охотника они застрелили в лицо. И зарезали двух головастика. Мы задержали преступников, детей увезли в госпиталь. У мальчика сотрясение, девчонка в шоке. Сейчас Георгий Петрович разговаривает с тем берегом. Только вряд ли что получится. Шнеха, наверно, уже к своим уплыла. Скоро жди гостей.

На деревянных ногах я прошёл к машине Нунчика, упал за руль, ткнул в клавишу подкачки. Капрал не протестовал.

Жестянка приподнялась над землёй. Заложив по площади широкий вираж, я бросил её в сторону Бугорков.

Нунчик, ещё не ушедший далеко, проводил меня взглядом и размашисто осенил небрежным крестным знаменем.

Я боялся. И знал, что не смогу не войти. На каждом шаге по скрипучим мосткам я боролся с желанием развернуться и бежать прочь.

Вопреки предсказаниям, жена Ростислава не уплыла.

Шуль безмолвно громила дом. Для рептилии в два с половиной метра длиной не может стать препятствием лёгкий строительный пластик, В стенах пучились вмятины и зияли дыры. Войдя внутрь, я сначала увидел лишь мёртвые предметы — сорванные ставни, опрокинутую мебель, глубокие свежие борозды на полу и потолке. Потом появилась Шуль.

Пробежав по стене, она бросилась об пол, смахнула со стола посуду, извернулась клубком, на мгновение впившись зубами в собственный живот. Потом за одну бесконечную секунду преодолела комнату и замерла напротив меня, глаза в глаза. Её дыхание оказалось лёгким и пряным.

— Вы такие все, — прошелестела она почти без акцента. — Бесчувственные, расчётливые, целеустремлённые. У вас нет времени замереть, чтобы почувствовать ток воды, тепло солнца, радость жизни. Вы опутываете себя долгом и необходимостями. Вы такие же, как мы.

Загипнотизированный её перламутровыми глазами, я не видел, я на самом деле не видел, что когтями левой — руки? ласты? лапы? — она сантиметр за сантиметром раздирает свою зеркальную шкуру.

Из рваной раны на животе сочилась прозрачная масляная жидкость — лимфа? сок? кровь? —

и голос Шули сорвался в хрип:

— Но есть исключения, хомо! И только из-за этих исключений у вас и у нас остаётся хоть какой-то шанс. Ты знаешь, что «шуль» означает на нашем языке?

— Слава, — перевёл я. Но пересохшее горло не издало ни звука, я лишь пошевелил губами.

— Единым именем следуют, — прошептала она по-шнехски, если только я правильно разобрал слова.

Сверкающее тело изогнулось дугой, пушинкой отлетел в сторону двухтумбовый стол, и Шуль пробила внешнюю стену. Раздался тяжёлый всплеск.

Когда я выбежал на причал, Шуль успела отплыть от берега метров на тридцать. Она перевернулась на спину, а вода вокруг неё кипела полосатыми спинками карналей.

Я должен был кричать и звать на помощь, но голос оставил меня в эту минуту, и я лишь нем — как настоящая рыба — кривил рот, выталкивая из себя воздух.

Там, где Шуль прокусила и разорвала свою непробиваемую шкуру, карнали быстро обнаружили брешь. Ей должно было быть очень больно, но Шуль не издавала ни звука. Её тело медленно ускользало под воду.

То, что всегда казалось живой сталью, сначала стало походило на грязную рыбу чешую, а потом — на безжизненный свинец. Карнали накрыли Шуль с головой, а когда отхлынули, в стылой воде озера можно было разглядеть только кривобокие облака, выползающие из-за берега шнехов. Собирался дождь.

— Тошенька, миленький, что же будет? — такими словами меня приветствовала перепуганная Марта.

Я пожал плечами и без стука вошёл в кабинет.

— А я тебя уже потерял, — насупив брови, сказал комендант. — Был там?

Не дождавшись ответа, продолжил:

— Варварство, средневековье! Убить детей! Ты должен знать, Антон. Я постоянно на связи с вождём их экспедиции. Контакт, понимаешь?! Наметился контакт уже совсем другого уровня.

— О чём вы говорите, Георгий Петрович? — устало спросил я.

— О том, Антоша, что шесть тысяч наших детей сейчас сидят у них в гнездах. И столько же шнешат забились по углам у нас. Шнехи требуют выдачи убийц. А я почти дождал их на совместный открытый процесс. Частично это твоя работа, между прочим. Будешь должен, спец.

— Георгий Петрович...

— Марта!.. — крикнул комендант через закрытую дверь. — Будь добра, принеси нам с Антоном Андреичем свежей выпечки к чаю!

И снова заговорил со мной:

— Твою роль не забудем, конфликтолог ты наш. Что с того, что где-то сбился, где-то отвлёкся? Все мои подвижки — благодаря контакту с тобой, Антоша. Наш план оказался

блицкригом. Мы с тобой миновали бутылочное горлышко, хотя народ пока этого не понимает.

Неожиданное безумное прозрение разорвало мне мозг. Сердце словно споткнулось, а забилось снова уже в другом, математически выверенном ритме. Навыки деловой клоунады, которую в меня вколачивали почти семь лет, позволили сохранить внешнее спокойствие.

— Я уже в строю, Георгий Петрович. Жалко их всех, конечно...

— Славу-то? И этих мальков? Ещё бы! И Русалка его, бедная девочка, это будет для неё таким ударом... Но эти три смерти не будут напрасны, Антошенька! Я двадцать тысяч положил зря — а этих не зря. Не будет нас, не будет их — будем мы. С общими гуманными законами. С единой торговлей. Всё у нас будет хорошо!

Слепящая безжалостная истина засверкала гранями логических связей и объединяющихся фактов. Я начал строить фразы бережно, словно ставил последнюю пару джокеров на вершину карточного домика:

— Вы меня отлично подстраховали, спасибо. При всех моих умениях — всё равно поражён: как вам удалось подгадать момент нападения? Чтобы это совпало с переговорами?

В эту секунду я должен был получить в морду и кубарем скатиться с лестницы. К сожалению, этого не произошло.

— Мысли шире, Антоша! Я подгадал

переговоры под нападение, — комендант с удовольствием потянулся, хрустнув суставами. — Заодно и эти маньяки-церковники у нас вот где теперь! — Он сжал кулак, плакатно-правильный кулак колон-капитана, отца нации, бати.

— Георгий Петрович, как-то это на провокацию смахивает.

— Обидеть хочешь, Антоша? Я здесь власть. Мне никого провоцировать не надо. Люди просто интересуются моим мнением. По разным вопросам. Без протокола.

Я окончательно потерял себя. Прежний «я», сошедший с того же конвейера, что и комендант, агонизировал. А нового «я» пока не предвиделось. А нового «я» пока не предвиделось.

— Знаете, Георгий Петрович, а они ведь на самом деле любили друг друга.

— Антон, брось мне это дело. Нас с тобой не самоистязанию учили. Малая жертва за большое дело. Правильно? И как можно любить ящерицу? Ты же взрослый человек!

Я вспомнил, как однажды застал Шуль одну на веранде. Она не слышала моих шагов и продолжала мучительно разрабатывать артикуляцию. Стягивая изо всех сил углы беззубого рта, она тихо-тихо повторяла: «Люллю... Люв-лю... Люблю...»

Прежний «я» умер.

— Георгий Петрович, а помните, позавчера вы спрашивали о векторах?

— Ну?

Я сделал шаг вперёд.

— Отрицательный вектор нельзя убрать, его можно и нужно поворачивать или делить. Нацеливать на новый объект, так?

— Что ты, Антоша, мне взялся теорию рассказывать?

— А ведь есть ещё одно решение, Георгий Петрович. Простое. Нет объекта — нет ненависти, так, комендант?

А он так ни черта и не понял, и ещё попытался по-отечески втолковать мне, что на нашей сволочной работе только настоящим мужчинам удаётся сжать свою совесть в кулак и сделать «как надо».

Я вышел на крыльцо и огляделся. Солнце блеклым блином катилось на запад. Над Бугорками стлался заблудившийся пласт тумана. Изю всех дорог, расходящихся от управы, путь к болотам казался самым правильным для человека в поисках одиночества.

Я думал о том, что имел в виду Михайло Ломоносов, когда говорил, что ничто не берётся из ниоткуда и не девается в никуда. Не пытался ли он в своих допотопных фразах открыть, излить простую и очевидную истину: чувства, копящиеся в душах людей, не могут упорхнуть в одночасье, рассыпаться пеплом, растаять во вчерашнем дне. Им, как любому другому материальному объекту, нужен выход, действие, выплеск.

По перегревшемуся монолиту улицы Охотников я прошёл мимо пекарни. На заднем дворе детвора весело играла в экспансию. Маленький серебристый шнех, зависнув на карнизе вниз головой, страшно клацал челюстями и шевелил хвостом, пока не начинал трескуче хохотать вместе со всеми.

Свернув на хоженую-перехоженную тропинку к заимке Ростислава, я выщелкнул в канаву отстрелянные гильзы, а потом бросил и револьвер.

Где-то далеко позади из окон управы исторгся запоздалый и бессильный женский крик. Я не должен был думать о кричащем человеке, раз не учёл его интересов до этого.

Те, чья судьба на короткое время переплелась с моей, те, кто вошли в мою жизнь, уже остались в ней навсегда. Об остальных предстояло думать кому-нибудь ещё.

И меня совсем не волновало, через сколько минут или часов малознакомые люди бросят мне в спину приказ остановиться и заставят «медленно и без глупостей» поднять руки.

## УЖАС ГЛУБИН

Александр Силаев

Подлое сердце родины

Вкус свободы

Пыльнёвский район — это сердце нашей Сибири, разбитое не одним инфарктом. Это десяток деревень, от которых открестилась любая власть, пара-тройка дурковатых медведей и кусок тайги. Самая большая деревня — Пыльнёво. За особые заслуги она носит звание районного центра.

Советская власть пала в Пыльнёве в 1991 году, когда утром на крыльцо райсовета пришли взъерошенные мужики с тятками. Председателя колхоза Василия Штольца вытянули за

шиворот, и Матвей, поигрывая тяткой, сказал: «Чё, сволота, кончилась ваше время?» Председатель быстро кивнул, сел в свой грязно-серый «уазик» и с ветерком гнал до ближайшего города.

В колхозных сараях мужики нашли жидкость для промывания метаквантовой системной аппаратуры. Далее уточнялось — для сгоревшего излучателя. Ближайший излучатель стоял в Москве, да и то на странице учебника «Параметры лепто-адаптации», но жидкости, загадочно припасённой Штольцем, дремал целый бочонок. На пузатом бочонке висел листок с косою надписью: «Партийная норма — на чёрный день». Матвей усмехнулся. Сели. Разлили. Жидкость имела незнакомый запах и терпкий вкус. «Это вкус свободы», — сказал Матвей, и молчание было знаком согласия.

Колхозный строй сгинул, как будто его никогда и не было. Однако фермерство в Пыльнёвском районе не прижилось. Район помнит только одного фермера — им стал заезжий учитель истории, на старости лет потянувшийся, как он выражался, к земле.

Коровье дерьмо и прочие истоки его не смутили. Всё было бы хорошо, но, на его беду, хозяйство начало процветать. Когда его телята мычали, деревенские бабы плакали. Когда он давал им в долг, бабы морщились. Когда он поставил себе новый дом из бруса, Пыльнёвский район глубоко задумался.

Через полгода местные мужики утопили его в проруби. «Чё, сволота, думаешь, ваше время пришло?» — сказал Матвей, поигрывая варежкой, когда тело историка булькнуло навсегда. «Я знаю: он, сука, в депутаты метил», — сказал Пётр. «Откуда знаешь?» — спросил Матвей. «А что ему делать? — сказал Пётр. — Думаешь, он всерьёз картошку сажал? Это же для отвода глаз. А приехал он, сука, чтобы карьеру сделать...» «Вот бля, — пожалел Матвей. — А мы-то думали, он с нами по-честному».

Помимо прочего, Пыльнёвский район славился неземными чудесами и алкашнёй. Жидкость для промывки метаквантовых излучателей — неплохое вино по сравнению с тем, чем обычно запивали в Пыльнёве свою долю. Дошло до смешного: пыльнёвские дети рождались уже похмельными, и первым криком просили не столько ласки и молока, сколько пива и разговора за жизнь...

...феномены стояли крутые. НЛО летали смелее, чем редкие вертолёты. Инопланетники шастали по району, забыв всякий стыд, и встречались чаще волков и лисий. Особенно досаждали местным синие обезьянки, по их словам зашедшие из созвездия Близнецов. Впрочем, обезьянки были не злые: девок тащили на сеновал, мужикам отламывали кусочек водки (пришельцы бухали алкоголь в твёрдом виде), детям насыпали космических карамелек. Кроме того, синие обезьянки, по словам очевидцев, знали множество анекдотов. С ними было о чём выпить, точнее сказать, с ними было о чём погрызть.

В Пыльнёве даже повелось считать настоящим мужиком лишь того, кто грыз водку с синими обезьянами. Инициация была строгой: кроме синих обезьян, кандидат в мужики должен был переспать с Никитишной и забороть мишку. А когда нагрызенный Пётр сделал наоборот, то стал, по мнению района, двойным мужиком.

Однажды синие гуманоиды повстречали Матвея. Тот, как обычно, шёл по диагонали. «Здорово, — сказал он, — сволота нерусская...» Те уже знали, что на местном диалекте сволота не означает ничего обидного.

«Водки хочешь?» — спросил его самый синий, видимо их вожак. «Я с разными жидками не пью», — подумав, сказал Матвей. Вожак оторопел. «Сам ты жид», — сказала Матвею синяя обезьяна. Тот задумался, и топор печально выронился из рук. «Значит, я жид», — медленно

повторил он.

На глазах Матвея блеснули слёзы. «Не-а, — сказал он, — ошиблись. Куда мне. Я, мужики, рылом не вышел». И зарыдал. Вожак смутился, быстро сунул в лапу Матвея ломоть водки и ещё быстрее исчез. Буквально — растаял в воздухе.

«Спаивают, суки, русских людей», — рыдал Матвей, кроша зубами импортное бухло. Гвельфы и гибеллины

А ещё в Пыльнёвском районе жили драконы, но искони патриотические — местные кликали их Горынушками. По слухам, они питались девственными русалками, запивая это дело мутной водой... Водяных выжигали напрочь, те делали негодным драконий корм. Впрочем, это легенды. Если им верить, главной политической силой в Пыльнёве была нечисть, уцелевшая с правления кагана Мефрилы Гороха (запомните это имя: Мефрила Горох был не только первым геополитиком и союзником хана Чингиза; он первым в Сибири научился вызывать Дьявола с помощью наркоты, что определило судьбы миллионов людей, и судьбу этого рассказа — тоже).

В Пыльнёве клубилась вековая пыль. Ничто не менялось. Синие обезьяны всё больше походили на синих человечков — внедрение шло по плану. Одна беда — лучшие агенты периодически сгрызались до потери копыт и цирроза передней печени. Простые пыльнёвцы, подражая прадедам, кормились огородами и коктейлем «божья роса», более зажиточные держали дома свинью. За это местная голытьба презрительно называла их свиноводами... Нежить лютовала, но, странное дело, видеть её, как и пришельцев из созвездия Близнецов, выпадало только местным сельчанам.

О феномене «пыльнёвского квадрата» писал журнал российской молодёжи «Охренёж-рашен-кул», газета «Известия» и «Вестник экстрасенсорики» (в толстом номере за сентябрь 1994 года). Областная пресса в конце 80-х писала о пыльнёвском феномене чаще, чем о гаях и проституции. Телекомпании до сих пор регулярно засылали ребят на таёжные репортажи. Однажды была научная экспедиция. Были сотни туристов. Были даже парни из ЦРУ, замаскированные под гуманитарную помощь.

И ничего.

Ни драконов, ни русалок, ни НЛО. Не было даже снимков, не говоря уже о живых экземплярах. Только показания очевидцев. Как говорится, слова, слова, слова...

Олигарх Лапун выступил по ТВ, обещая доллары за драконий хвост. Но даже местное мужичье, не раз побеждавшее Горынушек в схватках, оказалось бессильно. Однажды Пётр с Кирюшей всё-таки отрубили хвост, погрузили его в тележку и покатали. Через три дня вернулись в родное Пыльнёво с разбитыми рожками и почему-то в одних трусах. Где хвост и что с ними приключилось, рассказать не могли, только мычали да кивали на небо. Вдруг Кирюша захрипел на плохом английском... «Май нэйм Джошуа, — хрипел он. — Пиплы, андэстэнд?» «Как матерится-то, — шептали соседи, — это надо же...» «Же не компран па», — вздохнул Пётр... «Ну ты сволота», — с уважением произнёс Матвей.

Батя Иван молчал, оглаживая седые космы и усмехаясь.

«Ментальная конвергенция, — шептал он. — Изменение структуры сознания... Экстраполяция... Восьмой контур...» От его кирзовых сапог воняло спиртом, болотной жижей и самкой Змея Горыныча. Как обычно, он стоял в стороне. Как обычно, его боялись: уже полвека батя Иван слыл первым ведуном на деревне.

А к утру всё забылось: Кирюша с Петром словно проглотили свои иностранные языки. О пропавшем хвосте в их присутствии больше не говорили, вдруг снова начнут...

Только изредка носились над тайгой пьяные вопли. «Факен шит!» — орал Пётр. «Же ву зэм!» — орал на него Кирилл. Местные затыкали уши. Непонятные слова били страшнее полена. Никто не знал смысла басурманских проклятий, поэтому выигравшим перебранку признавали того, кто громче орал.

Так и жили. И добрые ведуны веками бились со злыми, словно какие-нибудь гвельфы и гибеллины — столь же тягостно-долго и столь же далеко от дел горожанина, в меру умного, в меру начитанного, в меру живущего своей жизнью... Дело молодое

Георгий Лишков был горожанином, в меру умным, в меру начитанным, в меру проживающим свою жизнь. Не больше, но всё-таки и не меньше.

Он был тогда молод — двадцать два года. Он носил тёртые джинсы, волосы до плеч и мировую тоску в глазах. Он учился на пятом курсе, и ему было жаль потерянного времени и жаль того времени, что он потеряет в будущем. Нельзя прожить, не потеряв времени. Но это, как говорил отец, селява.

Дипломная работа лениво писалась на кафедре психологии. Точнее, даже не писалась — планировалась...

— А вы уверены, что это надо? — спросил Краснов.

За окнами темно, и продолжает темнеть. Народ с кафедры уже разошёлся. Только и остался на кафедре доцент Краснов, ну и правильно, не надо никого больше... Большой, широколицый, упитанный — вот такой был доцент Краснов.

— Я уверен, что это касается моей темы.

— Вы у нас пишете что-то вычурное. Изменённые состояния? Химическим способом? Это вряд ли имеет отношение к академической дисциплине.

— Тем хуже для дисциплины, — ответил Гера.

— Да вы не подумайте, — Краснов протестующе замахал добродушными лапами. — Мне-то нравится, я-то — за... Хотите ехать — езжайте. Могу даже сказать, что это моя идея. Только вы осторожнее, там на всех дорогах бандиты, а в Пыльнёве даже бандитов нет: испугались и разбежались.

— Могу себе представить, — улыбнулся Гера.

— Драконов вы не увидите, — сказал Краснов. — За неимением таковых.

— Да не нужны мне эти драконы.

— Вы не увидите даже синих человечков, — предупредил Краснов. — Если они есть — а я не исключаю, что где-то водятся синие человечки, — то вряд ли в нашей области.

— Ну их к лешему, — сказал Гера.

— И леших там тоже нет.

— Мне нужен препарат, которым закидываются тамошние ведуны.

— Там, Гер, закидываются не только ведуны, — сказал Краснов. — Там, по всей видимости, закидывается весь район, причём началось как минимум при царе. Как максимум началось до всяких царей. Читали статью Аршинникова в «Некрополе»? Это наследие шаманов, и нынешнее поколение каким-то чудом хранит то знание, я даже не знаю каким. Узнаете —



расскажите.

— Павел Яковлевич, вы сами-то верите?

Краснов плюхнулся в кресло и закурил. Курить в зданиях университета было запрещено, но время позднее, и часовой стрелкой, подползающей к девяти, разрешается почти всё.

— Гера, — сказал Краснов, — я ведь мыслю рационально. Если весь район твердит о синих неземных обезьянах, я должен верить либо в обезьян, либо в особенности района. Верить в обезьянок я ещё не дорос. А «пыльнёвский квадрат» — это реальность. Район действительно имеет особенности, это эмпирия. А то, что всё население жрёт какую-то дрянь, факт не менее эмпирический. Взять ту же сухую водку, хотя это никакая не водка.

— Её, по-моему, никто не видел.

— Да бог с ней, — сказал Краснов. — Вы же едете, чтобы её попробовать.

— Как думаете, Павел Яковлевич, кайф выхвачу?

Гера сидел, закинувши ногу на ногу, и дымил предложенной сигаретой. Когда-то он не верил, что к пятому курсу бетонный забор между студентами и кафедральным людом сотрётся в штaketную загородку. Не всеми, конечно, если между всеми — то это смешно. Кое-какими студентами — с одной стороны. И кое-какими преподавателями... Самыми нормальными, скажем так. Нормальными настолько, чтобы не воспринимать некоторые вещи всерьёз.

— Дело молодое — выхватите.

— А интересно, их препарат посильнее травки?

— Сильнее, — сказал Краснов. — Намного сильнее, Гера. После анаши зелёные драконы и обезьяны не возникают с такой настойчивостью. Иначе в нашем городе драконы летали бы чаще, чем проезжали грузовики.

Они посмеялись над колоритом родного города... И так смеялись, и эдак, и ещё над знакомыми людьми. Форма бэ-аш четыре

Над лесами и полями висела ранняя осень. Небо выдалось сероватым, набухшим предстоящим дождём. Дохлый автобус, размалёванный предвыборным воплем, со скрежетом подкатил к конечной.

Гера вышел из салона, наполненного телами и духотой, под купол своей любимой погоды. С наслаждением вдохнул влажность. Было не холодно. И было не жарко. Было свежо, прозрачно и энергично — было то, что надо.

На востоке желтел лес и какая-то баба пасла корову. С трёх сторон его ждало Пыльнёво: дома подмигивали косыми оконцами, собаки тявкали, на заборе сушился рваный халат.

К остановке подбегал мужик в чёрных тапочках, от души помахивая внушительным топором. «Аты-баты, шли солдаты, — резво напевал он. — Аты-баты, на базар. Аты-баты, что купили? — мужик снёс стоящую на пути скамейку. — Аты-баты, самовар!»

Начинается, подумал студент.

— Не бойся, — сказала сошедшая из автобуса бабушка, — это наш Матвей. У него в среду сын родился, вот он и радуется.

— А зачем ему топор? — спросил Гера.

— Это для куражу, — пояснила старушка. — Но ты не бойся, он сейчас добрый. Вот летом зверь был — родную мать на олифу выменял. Но это летом. А сейчас не лето уже. Сейчас он добрый, как мой пушистик.

Матвей встал напротив кучки людей, вышедших из автобуса. Все, кроме двух, были явно местного вида.

Кроме Геры — мужчина лет сорока, в очках-хамелеонах и плаще, чернеющем почти до земли. Матвей смотрел: то на Геру, то на плащ, то снова на Геру... Наконец подошёл к плащу.

— Чё, сволота, думаешь, твоё время скоро начнётся? — ухмыльнулся Матвей. — Как начнётся, ты мне скажи. Я тебе быстро народный импичмент дам.

— Кого дашь? — тихо спросил мужчина.

— Кишки на уши намотаю, — пояснил Матвей. — У нас с этим быстро. Народ — это тебе не херов электорат. Народ — это сила. Ты хоть знаешь, сволота, за что отцы кровь свою проливали?

Мужчина отошёл на два шага.

— Хорошо, — сказал он, — как только моё время начнётся, я тебя обязательно отыщу. Устроишь мне свой импичмент. Народные традиции — это святое. Только скажи пожалуйста, как тебя отыскать. Я ведь не знаю твоего адреса. Я даже не знаю твоего телефона. Я не знаю твоего сайта, твоего факса, наконец, я понятия не имею, какой у тебя e-мейл. И я вряд ли догадаюсь. Скажи мне всё это, а заодно скажи своё имя, и я обязательно найду тебя, когда, как ты сказал, придёт моё время. Тебе не придётся долго ждать — оно уже наступает. Ну? Протяни мне свою визитку...

Пока мужчина говорил, Матвей звучно глотал слюну.

— Эх, сердечные, быть беде, — прошептала бабушка. — Обидел чёрт пушистика почём зря.

Люди вокруг замерли. Люди молчали и смотрели, хотя их не просили молчать и смотреть. Люди стояли как вкопанные — с ними случается.

— Ты мне душу-то не трави, — наконец сказал Матвей. — Был тут один такой, тоже как ты — то, сё, пятое, хреноватое... Так мы с мужиками на него Пиндара натравили. Понял?

— И что?

— Сожрал его Пиндар к х... собачьим, — сказал Матвей. — Вместе с e-мейлом грёбаным.

— В рот имел я твоего Пиндара, — спокойно сказал мужчина. — И мужиков твоих. Да и тебя, признаюсь я, тоже.

Матвей впился пальцами в топориче, но и только. Прошло секунд пять: топор дрогнул, поднимаясь в его руке.

Мужчина отскочил назад, и рука метнулась вперёд из кармана плаща. И вот рука вытянута и уже кончается револьвером. Грохнул выстрел. Матвей упал, воя и держась за колено... Мужчина белозубо и приветливо улыбался.

— Тебе, — сказал он, — наверное, сейчас больно. Но от этого, — добавил, — не умирают. Умирают обычно от другого. Кстати, ты обещал просветить меня на предмет истории. Так за что наши отцы проливали кровь?

— Отцов не трогай, — недобро сказал Матвей. — Им и без тебя несладко жилось.

— Ладно, пока, — мужчина махнул рукой. — Но всё-таки: кто такой этот Пиндар?

Матвей ничего не ответил. Да и не мог ответить, Матвей, как это подчас бывает, потерял своё собственное сознание. Боль. Шок. Страшная боль — когда вдрызг разбивается коленная чашечка. Так что временное расставание Матвея с его сознанием вполне объяснимо...

— Пиндар — это поросёнок такой, — объяснила рыжая девушка, всю дорогу сидевшая перед Герой. — Только он не совсем обычный.

— Волшебный, что ли? — улыбнулся мужчина.

— Да нет. Пиндар у нас дрессированный. Его Пётр Иванович на охоту берёт вместо собаки. А чего не брать — он ничего не боится, даже лешего... Недаром Пиндара поили божьей росой. Вот и вырос зверь. Не поросёнок прямо, а эсэсовец.

Гера глянул: вроде ничего, и даже сносно разговаривает по-русски, что редко случается у простых людей.

— А что такое божья роса? — спросил он.

Рыжая смутилась.

— Кто же у девки о таком спрашивает?

— Я, — сказал Гера.

— Ну и нахал же ты.

Девушка повернулась и быстро потрусилась прочь с остановки. Люди переглядывались, цокали языками, моргали глазами и тоже расходились, один за другим.

Чёрный плащ подплыл к нему незаметно.

— Я думаю, молодой человек, нам нужно держаться вместе.

— Ещё бы!

— Игорь, — мужчина протянул руку. — И давайте будем на «ты». Если будем на «вы», местные жители нас плохо поймут, и местные коровы нас забодают...

— Гера, — назвал себя Гера.

— Очень рад, — сказал Игорь, — видеть нормального человека.

— Можно спросить?

— Да бога ради.

— Зачем вы здесь?

— Это, — сказал Игорь, — дело государственной сложности. Я тебе скажу, потому что мне уже надоело... Но если ты кому разболтаешь, то мы тебя, извини за нюанс, нейтрализуем по форме бэ-аш четыре.

— Что значит: нейтрализуем по форме бэ-аш четыре?

— Это значит, — улыбнулся мужчина, — вспороть горло, но перед этим отрезать яйца. Мы

переняли форму бэ-аш четыре у коллег из Чечни.

— А кто это вы?

— Мы — это кочаны, — с гордостью сказал Игорь.

— Не понял, — сказал Гера.

Игорь нырнул рукой куда-то под плащ.

Корочки он, как водится, сунул Жоре под нос. Золотые буквы гласили на красном фоне: «Комитет по чрезвычайному надзору Российской Федерации».

— Читать умеешь? РУ КЧН РФ, — пояснил он. — Майор Бондарев. Ребята из ФСБ завидуют и поэтому прозвали нас кочанами. У них даже поговорка есть, когда в стране что-то странное происходит: а почему это? — да по кочану опять. Так и есть оно: если что-то стоящее — на дело идут одни кочаны.

— А почему я про вас не слышал?

— Ну ты даёшь, — сказал Игорь. — Если служба секретная, хрена ли ты о ней должен слышать? Когда-то, очень давно, мы были самым прогрессивным управлением в КГБ. Но КГБ, как ты знаешь, сыграл в демократический ящик. Тогда Кондратий Иванович пришёл на хату к самому главному...

— К кому? — не понял Гера.

— Не знаешь, кто в России главнее всех? А Кондратий Иванович — это наш босс. Ну пришёл он, значит, с бутылкой водки. Сели, разлили. Тут он рассказал, чем мы на самом деле-то занимаемся. Главный, извиняюсь за выражение, помутнел. Ты, говорит ему шеф, нас не трогай... А то, говорит, как начнёшь реформировать, нам полный шиздец придёт. И давай-ка, продолжает, создадим независимую контору. Тот задумался. Тогда шеф, не будь дурак, вторую бутылочку достаёт... Короче, на третьей всё подписали. Так и родились мы на обломках.

— А чем всё-таки занимаетесь?

Игорь огляделся по сторонам.

— Нас, — сказал он, — больше всего волнует трансцендентная проблематика.

— Это что?

— Этого, — вздохнул Игорь, — тебе не понять. Я одной фразой скажу: мы поддерживаем порядок.

— Разве же это порядок? — Гера показал на окрестности.

— Относительный, — сказал Игорь. — А вот если бы мы не вышли на Высший разум, в мире бы настоящий бардак стоял.

— Как вышли?

— В тонком плане. Я же говорил, что тебе этого не понять.

Они постояли, помолчали, посмотрели — туда и сюда, и даже вверх, на сереющее над головами небо. Дождь так и не собрался с силой, чтобы навалиться на землю, на людей и дома. Гера, как ни странно, хотел дождя. Он с детства любил потеряться в плотной пелене

по-осеннему мелких капелек. Промокал, конечно, до нитки. Но это же мелочи...

Местные жители опасливо обходили их стороной.

Вдалеке пожилая женщина, печально матерясь, погнала корову домой.

— Что ты знаешь про Шамбалу? — неожиданно спросил Игорь.

— Только то, что она может существовать.

— То-то и оно, — сказал Игорь. — Я же говорил.

— А что ты делаешь здесь?

— А, это... Работаю. Летом сюда приезжал Джон Мейнард, якобы репортёр из Лос-Анджелеса. На самом деле, конечно, был он полковником. Ну вот, приехал... А обратно не выехал. Нам это очень странно, и вот я здесь.

— А откуда ты знаешь, что это полковник?

— А кто ему разрешение на въезд давал? Я же и давал. Так и так, спрашиваю, с какими целями: да всё с теми же, отвечает. Ну тогда ладно, говорю, проезжай. Спасибо, говорит, майор. Да чего там, полковник, ещё сочтемся... Я бы не сказал, что Мейнард мой большой друг. Но всё-таки мой коллега и не дерьмо.

— А на кого работает?

— В ЦРУ есть отдел, на жаргоне его зовут «шиза-18». Когда его основали, в нём сидело восемнадцать энтузиастов. Там и работает, если ещё живой.

— И вы с ними боретесь?

— А зачем? — удивился Игорь.

— Я думал, что спецслужбы друг с другом борются. Так положено.

— Это смотря какие спецслужбы. Нам-то чего делить? Не Россию же эту несчастную... У нас, Гера, есть общий враг. Я, что, Джона ловить приехал? Я его, Джонушку, спасти должен, чтоб моего шефа в Вашингтоне ценили. Цэрэушки-то, храни их Господь, нам всегда помогали, по первой просьбе.

— А кто общий враг?

— Этого, Гер, я тебе не скажу... Поживёшь с моё, сам увидишь, кто для всех людей общий враг.

...С неба наконец-то брызнуло. Капли гладили лицо и катились за воротник.

— Пойдём, — предложил Игорь. — Тебе ведь где-то жить надо. Гостиницы, сразу скажу, тут нет. До девятьсот восемнадцатого года была, а потом там клуб красного танца сделали. А потом и вовсе сожгли, чтоб враги народа не собирались. Ты учти: если к местным без меня постучишься, то пропадёшь. На ночлег пустят, а вот дальше такое сделают... У нас явочная избушка есть. Там все наши останавливаются. Держит эту избушку бабка Настасья, а чтобы не дёргалась, мы её на крючок посадили.

— Какой крючок?

— Метод кнута и пряника, — объяснял Игорь, прыгая по ухабам. — Значит, пряник: мы ей

каждый год бочку спирта ставим. Что она с ним делает, нас не касается. А кнут простой — мы на неё компромат собрали.

— На бабу?

— А что такого? Бабу-то ещё та, я бы сказал. Мы её в Красноярске свозили, сняли ей какого-то бомжа. Что они в номере делали, это ужас... Когда плёночку прокрутили, наших ребят блевать потянуло. Но главное, есть чего прокрутить. Если на деревне показать, шоу будет похлеще Апокалипсиса. Так что Настасья — свой человек.

Они вышли на северный край деревни.

Избушка была мила, жаль только, без курьих ножек. Хотя расти им было совершенно неоткуда: избушка до самых окон уходила в землю.

— Жить будем здесь. У бабу мы в относительной безопасности.

Гера кивнул.

Дверь открылась. На крыльце показалась морщинистая хозяйка и что-то просипела, едва открывая рот.

— Настасья, милочка, — сказал Игорь, — я тебе сигарет привёз. Твоих любимых, Настенька, «честерфилд».

— Залетайте, голубки мои, — старая скривила лицо.

— Ты не бойся, это она улыбается, — шепнул Игорь. — Стараётся, как умеет. Подох как миленький

Как и положено, избушка была поставлена на сигнализацию. За деревянной дверью их встретила вторая, бронированная, с глазком и бойницей для пулемёта. Гнилые ставни охраняли окна снаружи, зато внутри мирно дремали железные жалюзи.

— Класс, — оценил Гера, обойдя резиденцию.

— Самое главное, — усмехнулся Игорь, — спрятано под землёй. Пошли вниз.

Мини-ключом он открыл ещё одну бронированную преграду, и они пошли вниз.

Комнату украшали мягкая мебель, сейф и компьютер на изящном офисном столике.

— А компьютер-то на фиг?

— А тетрис? А база данных? Думаешь, я в амбарной книге стану базой данных держать?

Игорь подошёл к сейфу, набрал код.

Дверца распахнулась: внутри пылились бутылка коньяка и несколько коротких «калашей». Кроме них, лежал десяток дискет и тонкая папка с грифом «на чёрный день».

— Что в папке? — спросил Гера.

— Откуда мне знать? Чёрный день пока не настал. Если он придёт, немедленно открой эту папку. Я тебе разрешаю.

— А как я узнаю, что это действительно чёрный день?

— Ничего, поймёшь, — сказал Игорь. — Такое сразу понимается... По коньяку?

Он вынул из шкафа пару хрустальных рюмок.

Сдвинув клавиатуру, присели за стол.

— Пей, Гера, и гордись... это, чтоб ты знал, последняя нормальная бутылка на весь район.

— Что же пьёт местное население?

— Они, — сказал Игорь, — много чего пьют. Всего не упомнишь. Но тебе не советую.

Из дорожных сумок вынули закуску. В Герином багаже, кроме всего прочего, булькала бутылка водки.

— Извини, я тебя обманул. Это не последняя. Последняя у тебя...

— Давай оставим на завтра?

— Давай, — согласился Игорь. — Если завтрашний день наступит, нам наверняка захочется выпить. А сейчас — наверх. Пора за работу. Будем собирать информацию.

— Это как?

— Очень просто: наливай да пей.

— Снова? — испугался Гера.

— А что делать? — вздохнул Игорь. — Тяжело, но придётся. Другие способы нам временно недоступны.

Хозяйка квохтала, собирая на стол.

В окружении солёных огурчиков и грибочков стояла подозрительного вида бутылка.

— Это можно, — шепнул Игорь, — всего-навсего мой же спирт.

Они аккуратно сели на шаткие табуреты. Настасья, хрустнув огурцом, сразу же подняла тост:

— За сугрев нутра, мужики!

— И тебе того же, старушка, — ласково сказал Игорь. — А помнишь, Настасья, летом у тебя нерусский жил.

— Это Манард, едрить его, что ли?

— Он самый. Что с ним стряслось?

— Так он в лес подыбал. Там его и жахнули. Ну и всё... Подох как миленький твой Манард.

— А кто же его?

— Масоны, видать. Они у нас, едрить, совсем одичали. Да ты сам, миленький, посуди: кто же, кроме них, мериканского полковника жахнуть осмелится?

Гера чуть не подавился бабкиным спиртом.

— Картину не гони! — рявкнул Игорь. — Ты мне, старая сука, понтоваться-то завязывай! Я тебе, блядина, на хер уши поотстреляю! Ты хоть отсекаешь, срань, кто с тобой базары ведёт?

Гера, не скрывая удивления, скромно блевал в углу. И так он блевал, и эдак, но удивления скрыть не мог.

— Так бы сразу и говорил, — сказала Настасья. — А то, миленький, ходишь вокруг да около, как дурак, я тебя понять не могу.

— Так кто убил полковника Джона Мейнарда? — сладко повторил Игорь.

— Пиндар, едрить его. Он у нас заезжих не любит. Как увидит — цап за ляжку, и давай дальше. Хоть свинья, да всё-таки патриот. А назюкал его Евсей. И Манард, едрить его, сам дурак. Чё баламутил-то, мериканская его рожа? В один двор зайдёт, душу травит, в другой зайдёт, как говном польёт... Ходит и ходит, словно стыд позабыл. Нехристь он, едрить его в селезенку. Сам посуди, миленький: чем здоровому мужику не живётся? А он шастает, как дитё малое, и вопросы срамные задаёт.

— Какие вопросы? — спросил Игорь.

— Дурацкие, — сплонула Настасья. — Приходит, бывало, и бередит: как, мужики, жужло замутить? А божью росу? Мужики чуть дуба не дали от такой срамоты. Он, дурак, хотел им за это денег всучить. Сам посуди, кто за деньги-то купится? Вот и жажнули его, дурака, чтобы душу не бередил. Сектант и педрила

Пробуждение было муторным.

Игорь зашёл в его комнату без стука и приглашения.

— Как отвратительно в России по утрам, — сказал он вместо приветствия.

— Да, — кивнул Гера. — Жизнь скучна и омерзительна.

— Не всё потеряно, брат, не всё потеряно... Помни: за нами стоит Москва, а значит, нам есть куда отступить. Сейчас мы выпьем, и я спрошу тебя о главном.

— Спрашивай сразу.

— Хорошо. Ответь мне: мы соратники или попутчики?

— Мы соратники, — сонным голосом сказал Гера.

— Я знал, что ты не откажешь. Наливай, лейтенант.

— Кто? — удивился Гера. — И зачем это наливать?

— Если мы вернёмся живыми, тебе присвоят звание лейтенанта, — сказал Игорь. — Это не так легко, но я проведу через отдел кадров. А налить надо по двум причинам. Во-первых, традиция: перед атакой русские шли в баню, надевали белую рубаху, ничего не ели, но опрокидывали чарку за царя и отечество. В смертельный бой, лейтенант, просто так не ходят. На этот счёт есть личный приказ Суворова. Во-вторых, приказы старших по званию не обсуждаются.

— Перед смертельным боем?

— Пустяки, — сказал Игорь. — Я дам тебе пистолет, и мы нейтрализуем двух уродов по форме цэ-эф один.

— Это сложно?

— Да нет. Это простая форма: физическое устранение любыми средствами, невзирая на



давность вины и проблемы для исполнителя. Традиционная форма для многих служб. Например, для Моссада.

— Мы будем убивать кого-то живого?

— Разумеется, лейтенант, — улыбнулся Игорь. — Убить мёртвого не может даже лучший из мастеров.

— Мы убьём двух местных крестьян?

— Не совсем, лейтенант. Мы убьём одного пейзажника и одну воинственную свинью, сидящую на наркотиках. Видишь ли, пока ты упоенно блевал в углу, я развёл старуху на показания.

Из кармана пиджака Игорь вынул маленький диктофон. Вдавил кнопку, и японская штучка заговорила человеческим голосом: «Пиндар, едрить его. Он у нас заезжих не любит. Как увидит — цап за ляжку, и давай дальше. Хоть свинья, да всё-таки патриот. А назюкал его Евсей».

— В суде это не улика, — сказал Игорь, — но мы должны исполнить долг до конца. Нельзя краснеть перед Вашингтоном.

С этими словами начальник протянул ему пистолет.

— Вот это предохранитель, — показал он. — Вот этим движением ты снимаешь с предохранителя. Перезарядить сможешь? Смотри, — Игорь вынул-вставил обойму. — Заурядная вещь, пистолет Макарова.

Евсея нашли в бане. Волосатый мужик лежал на полке и сладко жмурился. Игорь настойчиво попросил Евсея открыть глаза.

Тот с отвращением оглядел вошедших. Вошедшие улыбались: майор — ласково, лейтенант — смущённо. Указательным пальцем Евсей постучался в Герину грудь.

— Ты Николай, что ли? — презрительно сказал он. — Так я тебе покрывашку не дам.

— Как не дашь? — удивился Гера. — Все знают, что ты мне должен покрывашку. Вот он знает, — Гера показал на Игоря. — Правда, Аркадий? Так почему не дашь?

— Потому что ты, Николай, сектант и педрила, — внятно сказал Евсей. — И чего ты его Аркадием обозвал? Он же не Аркадий.

— А кто же? — обидчиво спросил Гера.

Евсей на пару секунд задумался.

— Такой же, как и ты, сектант и педрила. А Аркадий — он не такой. Разве же это Аркадий? Мы Аркадия пятого числа хоронили. Стал бы я хоронить какого-то там педрилу...

— Майор Бондарев, КэЧээН России, — не теряя улыбки, представился майор Бондарев.

— Ого, — сказал Евсей. — У нас педрилы уже в майорах служат? Всё, считай, пропала страна...

— А почему это я сектант? — обиделся майор Бондарев.

— Так ты же в секте состоишь, — Евсей не понял вопроса. — Или ты от сектантов отколупнулся?

— Какой секты?

— Да не помню я, хрен, названия. Знаю только, что перегной воруете. У вас так заведено: кто, значит, честно живёт, у того надо перегной украсть. А ещё у вас с девками не по-нашему. Тоже, значит, такой обычай.

Гости между тем потели и уже начали задыхаться...

— Давай, что ли? — грустно сказал майор.

— Ну давай.

— А, вспомнил! — радостно закричал Евсей. — Вы же сатанисты.

— Да, — сказал Игорь. — Ты раскусил: мы самые главные сатанисты.

Они чинно поклонились Евсею.

— А давай, — сказал Евсей, — вместе перегной воровать? Мне до зарезу перегной нужен, я без него жить не могу. Я ведь мужчина всё-таки. А? Я такие места знаю, где этого перегноя — хоть ложкой жри.

— Дело хорошее, — сказал Игорь, — но чтобы с нами перегной воровать, надо пройти кровавое испытание.

— Это ерунда, — сплюнул Евсей. — Сто раз его проходил. Я ведь мужчина всё-таки.

— Ну что, — подмигнул Игорь, — возьмем его в сатанисты?

— Дело нужное, — сказал Гера, — но есть нюанс. У нас на перегной ходят педрилы со стажем. Признавайся, Евсей, откуда ты стаж возьмёшь?

— А что, — обиделся Евсей, — я не похож на педрилу со стажем?

Пот катился градом и водопадом...

— Давай попробуем ещё раз, — сказал Игорь.

— Ну давай.

— А, вспомнил! — закричал Евсей, снова стучась пальцем в Герину грудь. — Ты же вовсе не Николай.

— Почему?

— Ты же мой двоюродный, — расхохотался Евсей. — А двоюродного совсем по-другому кличут. Ты у нас... а как же тебя зовут? Нет, правда, а как? Помню только, что зовут тебя непонятно.

— Искандер я, — подсказал Гера.

— О, точно, — обрадовался Евсей. — Я ведь помню, главное, что ты у нас почти итальянец. А ты, оказывается, Искандер. Помнишь, Искандер, как мы на Чёрный камень ходили?

— А то!

— А как Маришке под юбку лазили?

— Да-да, — задумчиво кивал Гера, — я помню чудное мгновенье... А помнишь, как мы по

Елисейским полям гуляли?

— Такое, брат, хрен забудешь, — сказал Евсей. — Вот поля — так поля. Особенно помню, как дедов мотобот в тех полях утоп.

— А речку-то не забыл?

— Как же нашу речку забудешь? Особенно помню, как тебя Маркиз за задницу покусал, а Варька-то испугалась... Помнишь Варьку-то, невесту свою? Ты её потом на антенну выменял.

— Так отдашь покрышку-то? — строго спросил Гера.

— Я же тебе её вчера отдавал. Или это не ты был? Не-а, не ты.

— Не отдашь, хуже будет.

— Покрышку-то? Её же Николай, сектант, до осени спёр. Или я у него. Точно, я. Вместе с тестем твоим. Забыл, что ли? Ты, Искандер, когда Николая встретишь, морду ему набей, а то мне перед ним стыдно.

— Хорошо, набыю обязательно, — сказал Гера.

— Сил нет, — прохрипел Игорь, — так давай или не давай?

— Вот теперь давай, — сказал Гера. — Дармовая покрышка нам, как я понял, уже не светит.

Односекундно выхватили оружие: ПМ — лейтенант, маленький револьвер — майор. И огрызнулись огнём — тоже односекундно. Потом ещё раз. Евсей рухнул на мокрый пол.

Из четырёх дырок, пробуравленных в его теле шустрыми пулями, текла кровь.

— Мёртв, — сказал Игорь, — мертвее не бывает. Ты куда стрелял?

— В сердце.

— А я в голову. Славно поработали. Наливай! Что-то я сегодня алкогольно зависимый...

— Да ты с ума сошёл, — сказал Гера.

— Но-но, лейтенант, — сказал Игорь, расстёгивая свою дорожную сумку и доставая видеокамеру. — Ты мне это самое не устраивай.

Он внимательно отснял весь пейзаж: лавки, берёзовые веники, струйки крови. Обошёл вокруг поверженного Евсея. Снимал, снимал, снимал, сохраняя живописный труп для будущих поколений.

— А на хрена? — спросил Гера.

— Отчётность у нас такая.

— Тогда ладно.

Дверь распахнулась, и в баню влетела баба, некрасивая и смешно раздетая: в рыжей куртке, но без белья.

— Суки, — только и сказала она. — Евсеюшку моего...

— Да мы случайно, — сказал Гера. — Нас Николай за покрышкой сюда послал. А так мы

ничего, у нас справки есть. Показать?

— Су-ука ваш Николай!

— Это верно, — согласился Гера. — Сука он порядочная. Мало того, что сектант, так ещё перегнутой у людей ворует. Что с него взять: педрила...

— Да вы... да вы... — задыхалась женщина.

— Это правильно, — сказал Игорь, закончив съёмку. — Мы вроде масонов, только похуже. Скажи лучше, кто такая?

— Жена, — женщина ткнула пальцем в Евсеевом направлении, — того самого...

— Сколько тебе дать, чтоб не возникала? — деловито спросил майор. — Видишь ли, благоверный твой враг народа. Знаешь, как раньше? Враг народа — и всё, десять лет без права опохмелки. А на самом деле расстрел. Вот и у нас. Жалко, разумеется, аж мочи нет. Да что поделаешь: служба — она не дружба. У тебя выбор: мы тебе денег, и ты молчишь, или ты молчишь, но уже без денег.

— А почему это мне молчать? — подбоченясь, спросила баба. — Я кричать буду!

Игорь подошёл к ней и зашептал в самое ухо. До Геры донеслись обрывки его речей: «блядство тырить»... «комбат на танке»... «дочку надо»... «за грехи, стало быть»...

— Тогда молчу, — сникла баба. — Только денег не предлагайте. С деньгами-то не по-людски.

— Я пошёл, — сказал Игорь, пряча камеру в сумку. — Учись, лейтенант. Называется когнитивная психология.

— Я знаю, — признался Гера. — Только так не умею.

Огородами они дошли до Крапивной, небольшой косорылой улочки. Об улицах так не говорят, но другого слова нет. Крапивная была косорылой...

Полдень висел в разгаре, и солнце нежно лучилось над головами. Они свернули, чтобы выйти к реке и брести дальше, до главной улицы.

— Ты плачешь? — с удивлением спросил Игорь.

— Я плачу, — сказал Гера.

— Но почему? Всё было так здорово.

— Я, — сказал Гера, — убил человека. Понимаешь? Ты ведь знаешь, я раньше не убивал.

— Да, — сказал Игорь, — сегодня ты убил человека. И это значимое событие в твоей жизни. Мы обязательно его обсудим и обязательно его отметим. Всё будет как надо. А пока мы заняты делом.

— Но я ведь теперь убийца, — напомнил Гера.

— Гордись! Ты убил его как настоящий философ.

— Как?

— Я хочу сказать, ты убил его по-нашему: весело и цинично, с улыбкой и без обиды. Ты убил

его, усмехаясь, а на такое способен далеко не любой... Ты талантлив и скоро превзойдёшь меня. Убивая, ты любил это мироздание, и мироздание счастливо смеялось, когда ты выбивал жалкий дух из слабого тела... Тьфу, чёрт, опять говорю красоты. Но всё равно — молодец.

— Но он всё-таки человек.

— Он козёл, — отмахнулся Игорь, — и от него нулевая польза. Вот сейчас польза будет — он сгниёт и послужит дивным удобрением для местных земель.

— Но он был жив, — твердил Гера, — а значит, мог измениться. Мог стать великим писателем, художником, музыкантом...

— Великой кучей говна! — рявкнул Игорь. — Прямо не знаю, что с тобой делать. Атак здорово начинал...

— Это самое страшное.

— Мудак, — ласково сказал Игорь. — Ты, видать, начитался этих шиздей: Толстого там, Достоевского... Или Соловьёва с Бердяевым? Ты, лейтенант, шиздей не читай. Они ведь, падлы, русским людям наврали. Сидели в девятнадцатом веке и ввали: кто шустрее, кто отвязнее. Соревновались, поди.

— А кого почитать?

— Хороших философов. — сказал Игорь. — И настоящих писателей. Но это потом. Сейчас, как ты понимаешь, надо размяться.

— Я не стану убивать, — сказал Гера.

— Даже свинью-наркомана?

— У тебя нет людей: сплошные козлы и свиньи!

— Если ты хочешь, я буду называть Пиндара соловьем, — сказал Игорь. — Но решать эту проблему надо. И решать по форме цэ-эф один. Духовная жизнь

Выжрав поутру миску божьей росы, поросёнок Пиндар удобно возлежал на пригорке, подставляя солнцу свой левый бок. На подступах чавкала грязь, слегка прикрытая желтоватыми листьями. Пиндар притворялся, что отдыхал, — он, как все знали, лежал в засаде.

За поросёнком волочилась слава живой легенды. Пиндар вышел ростом с упитанную овцу, говорил — когда в настроении — человеческим языком, а в бою бывал страшен: поросёнок-берсерк, наводивший ужас на местных волков. Главным оружием поросёнка были таранный удар и мёртвая хватка. Также сплетничали, что Пиндар владел магическим словом. Цвета же он был не розового, а чёрного.

Район считал Пиндара золотой серединой между национальной гордостью и ублюдком. Но это — в целом. Мнения же разделялись до матов и хрипоты. Пессимисты ворчали, что Пиндар послан человечеству за грехи. Оптимисты верили, что это смельчак и почти секс-символ. Одно время Пиндара хотели выдвинуть в депутаты. Говорил — харизмой вышел.

Самым философским было воззрение Василия Прелого. Умник судачил, что это дух товарища Сталина принял облик простой свиньи, дабы внедриться в жизнь глубинки, хлебнуть народной беды и знать, за что поквитаться со сволочами. И уж совсем некоторые

божились, что Пиндар, если захочет, может пророчествовать.

Стоит заметить, что, когда Пиндара называли «Иосиф Виссарионович», он рычал. Из чего можно сделать вывод, что дух товарища Сталина, к счастью или к беде, но пребывает всё-таки в ином месте... Из пророчеств сбылось одно: по весне Пиндар предрёк, что у деда Исая рухнет стайка, и стайка с треском провалилась. Однако настоящие месии так не пророчат.

Добыча тянулась словно магнитом. Не прошло и пяти минут охотничьей лёжки, как мимо пригорка пошла девка в цветастой юбке. Девка была румяна, пригожа — прямо загляденье.

«Секс, — подумал Пиндар, — всему голова...» Девка что-то напевала, прыгая по ухабам.

Катерина — а девку случайно звали именно Катериной — приблизилась на расстояние одного прыжка. Тогда Пиндар лениво вышел из-за кустов.

— Ой, — сказала Катерина. — Здравствуйте...

— Здорово, Катька, — сказал Пиндар. — Куда это намылилась? На блядки, поди?

— Да что вы! — испугалась Катерина. — Я к Олесе иду.

— Так вдвоём, что ли, на блядки идти решили?

— Нет!

— А придётся, — вздохнул Пиндар. — Где наша не пропадала? Раздевайся, Кать, раз пришла.

Катерина покраснела.

— Да ты же свинья!

— Знаю, — сказал Пиндар. — Но это ничего не меняет. Недаром дед Исая нарек меня первым имморалистом.

— Пиндар, зачем я тебе? Ты же ещё маленький.

— Да так, — сказал Пиндар. — Давненько голых баб не видал.

— Но зачем? Я ведь женщина, — напомнила Катерина. — А тебе бы крошечку-хаврошечку в самый раз.

— Мне, — сказал Пиндар, — любовные игры по барабану. Ты мне для души понадобилась.

— Это как?

— Душа, Катька, требует, — объяснил поросёнок. — Когда душа хочет, хрен ты её уймёшь. Это, Кать, называется духовная жизнь. Слыхала про такую?

— Слыхала, — обрадовалась Катерина. — Нам про неё в школе много чего рассказывали. Так я тебе, Пиндар, лучше спою что-нибудь, если тебе духовно вздрючиться невтерпёж.

— Кого споёшь? — презрительно сказал Пиндар. — Я, когда выпью, только битлов слушаю и Ерёму. Ерёма — это тебе не хрен чихнул... Ерёма — Чайковского может. Ну раздевайся, дура, чего стоишь? Ждёшь, пока забодаю?

Пиндар угрожающе хрюкнул.

Катя, делать нечего, стянула с себя юбку и кофту. Пиндар поощрительно жмурился и стонал.

— А трусы? — робко спросила Катя.

— И трусы, Катенька, — сказал Пиндар. — Если тебе не трудно, брось их на дерево. И повыше. Вот так, умница... Вот так, моя маленькая...

Бесстыдные глазки буравили её тело. Бесстыдный воздух обдувал её, как хотел, как давно, наверное, мечталось в его фантазиях. А бесстыдный холод лапал её за бедра, за шею, за живот. Катя поёжилась.

— Ну зачем тебе это? — всхлипнула она. — Ты же всего-навсего поросёнок, хоть и крутой.

— Я, — сказал Пиндар, — так прикалываюсь. Шучу я, Кать. Ладно, иди в деревню.

Катя начала собирать раскиданную одежду.

— Ты мне это брось, — сказал Пиндар. — Ты в деревню без одежды иди. Полезешь на дерево — забодаю.

— Но почему?

— По приколу, — усмехнулся Пиндар. — Иди-иди, там тебя, голенькую, Матвей с мужиками встретит. Накормит, согреет и спать уложит. А потом ещё раз уложит. И ещё раз. И так до утра...

Поросёнок завизжал от восторга: так, видать, понравилась мысль.

Катя, размазывая по лицу солёные капли, тихо побрела навстречу Матвею и мужикам. Бесстыдный холод обнял её, лаская всё быстрее и проникая внутрь, почти до сердца. Катя застонала, сначала тихонько... Но холод уже ничего не боялся. Он хотел её. Он получал наслаждение, терзая её, сильнее и яростнее — он дрожал и дрожало Катино тело. Он содрогнулся, счастливый, уже кончая... Катя прикусила губу.

Позади захлёбывался визгом Пиндар-шутник.

Через пять минут мимо пошёл полувековой дядька. Пиндар, нарушив притворный сон, выскочил тому прямо под ноги.

— Здорово, мужик.

— И тебе здорово, животное.

— Ну чего стоишь? Штаны-то снимай.

— Зачем?

— Не твоего ума дела. Снимай, тебе говорят. А не снимешь, горло перегрызу.

— Ну тогда ладно, — покорно сказал мужик. — Так бы сразу и говорил.

Он исполнил просьбу быстро и деловито, не мялся, не переживал, мужчина всё-таки, куда ему до недавней барышни.

— Ты штаны-то на дерево забрось.

— Это ещё на фига?

— Прикол у меня такой, — нетерпеливо объяснил Пиндар. — Ты только повыше швыряй, чтоб воры не унесли.

Делать нечего, зашвырнул... Удачно так, почти до макушки.

— А дальше-то чего?

— А дальше слушай меня, — сказал Пиндар. — Тут недавно девка голая проходила. Совсем голая — ты хоть понимаешь, мужик? Такое, мужик, раз в году бывает, по большим праздникам. Раз-два, на старт, внимание, марш! Догоняй, едрить твою через пень колоду!

Мужик, провожаемый свистом свиньи, потрусил в указанном направлении. Вождь вернулся

— Иосиф Виссарионович! Иосиф Виссарионович! — донёлся до пригорка отчаянный крик.

Догоняя свой крик, к пригорку подбегал Вася Прелый.

— Ну чего тебе опять, коммунар поганый? — устало спросил Пиндар.

Тот, на подходе растеряв дыхание, молчаливо-обожающе смотрел на Пиндара.

— Плохо тренируешься, коммунар.

— Ы-ых, — возразил Вася Прелый.

— А точнее?

— Иосиф Виссарионович! — сказал Вася. — Докладываю: на селе английские шпионы. Числом двое. Вооружены и очень опасны. Законспирированы под научную экспедицию. Цель приезда пока не выяснена. Пока всё... Жду дальнейших распоряжений.

— Откуда сведения?

— Бабки судачат, Иосиф Виссарионович.

— Если бабки — это серьёзно, — сказал Пиндар. — С бабками шутки плохи. Слушай задание, коммунар: найди и загоняй их сюда. Давненько не хавал я английского шпиона.

— Так точно, Иосиф Виссарионович.

— Сколько раз тебе говорить: забудь это имя. Знаешь, дурак, что про твоего Виссарионыча в газетах пишут? Пишут, что это сраный тиран.

— Вас понял, Иосиф Виссарионович, — сказал Вася. — Они не должны догадаться, что вождь вернулся. А насчёт газет — это вы правильно.

— О-о, — простонал Пиндар. — Я же сказал...

— Так точно, Иосиф Виссарионович, — сказал Вася. — Отныне буду звать вас Оппортунист.

— Это что? — встревожился Пиндар.

— Это тот мужик, которому вы башку свернули. Чай, не помните уже, Оппортунист, как вы суку Оппортуниста на чистую воду вывели?

— Я — сука?! — взревел Пиндар.

— Да нет, вы же его политический противник.



— Кого?

— Да Оппортуниста.

— А я тогда кто?

— Вы теперь, согласно вашему приказу, Оппортунист.

— А ты кто?

— Я Вася.

— Ты не Вася, — задумчиво сказал Пиндар. — Ты куда хуже... А я свинья. Я простая свинья, ты понял?! Но я умная свинья. А ты идиот.

— Так точно, — сказал Вася. — Жду ваших приказаний, товарищ Свинья.

— Катись отсюда, коммунар, — сказал Пиндар. — И чтоб я тебя больше не видел.

— Так точно, товарищ Свинья. Вас понял: отныне поддерживаем отношения через связных. А ловко вы, Иосиф Виссарионович, догадались с партийной кличкой... Сразу видно...

— Катись! Свинья и Принц

...Наши друзья брели, следуя осторожным подсказкам местного населения.

— Как это — классику не читать? — бормотал себе под нос Гера. — Совсем, что ли?

— Помнишь легенду о Последней Свинье? — спросил его Игорь.

— Откуда?

— Ах да, вы же не проходили... Про Кали Югу-то, надеюсь, слышал?

— А то! — сказал Гера.

— Легенда о Последней Свинье входит в большое предание о Кали Юге. Это, чтоб ты знал, самая страшная её часть. От народа, лейтенант, такие вещи скрывают... Значит, так: когда мир погрязнет в хаосе и распаде, и подлинные ценности будут преданы, и подонки окажутся на коне — вот тогда придёт её время. Ростом она будет с быка, из пасти её будет вырываться пламя. Другие же говорят, что ростом будет до неба, а из пасти будет дуть отравленный ветер. Вытопчет она все посевы, опустошит амбары и погреба. Прошибёт она городские стены. Осквернит она храм. Возляжет на базарной площади и велит себе поклоняться. Потребуется она от людей тройную жертву себе — ум, честь и совесть. И отдадут ей люди ум, честь и совесть. А кто усомнится в ней, принесёт ей в жертву первого сына. И будут от неё по всей земле мор и землетрясения. Испражнения её затопят поля. Хохот её сотрясёт основы. И повелит она строить вторую Вавилонскую башню. Но это не главное... Знаешь, зачем Последняя Свинья придёт в мир?

— Мы это не проходили, — ответил Гера.

— Она придёт, чтобы сразить Золотого Принца. Они будут долго биться, но Свинья победит. И как только погибнет Золотой Принц, время повернёт вспять и все люди погибнут в огненном смерче.

— А откуда возьмётся Золотой Принц?

— Многие говорят, что это будет последнее воплощение Будды. Вообще, никто не знает

таких вещей: откуда возьмутся Свинья и Принц. Карл Юнг сказал бы тебе, что они возьмутся из коллективного бессознательного, но разве это правда?

— Зато понятно, — сказал Гера.

— Христианство украло эту легенду, — продолжил Игорь, — но многое поменяло в ней. Многие дела Последней Свиньи забылись, но ей тут же приписали новые. Сама она у христиан называется сокращённо — Зверем. Иногда вместо имени называется её статус.

— У неё есть статус?

— Конечно. Библейский статус Последней Свиньи — Антихрист. Как говорится, коротко и со вкусом.

— Неужели ты думаешь, что Пиндар...

— Брось ты, — сказал Игорь. — Пиндар — заурядный пророк Последней Свиньи. Скоро такие будут на каждом шагу: ведь Кали Юга, как ты знаешь, в самом разгаре. Дурацкий вопрос

Напротив лужи сидела девочка Маша и яростно играла в роддом. Она волновалась: кошка Пицунда, привязанная к берёзе, упрямо не хотела рожать. Сначала девочка её уговаривала, затем стала пинать.

— Рожай, тварь паршивая! — кричала она.

В ответ Пицунда дико орала. Маша заплакала:

— Ну, кошечка, ну миленькая, роди мне кого-нибудь... Хоть серого мышонка... А лучше — ёжика.

Так они и плакали, навзрыд, не стесняясь, две маленькие женщины: Маша и её кошка.

Подожли незаметно. Встали невдалеке. Боясь помешать, говорили тихо.

— Это же садизм, — сказал Гера, рассмотрев такие дела.

— Если бы! Это материнский инстинкт, — вздохнул Игорь. — Он здесь рано просыпается. К шестнадцати годам половина девчонок ходят беременные.

За их спинами на дорогу вышел старик. Поглядел по сторонам и, ласково матернувшись, огладил клочковатую бороду.

Маша рванула из последних девичьих сил, бросив роддом и нерождённого ёжика.

— Батя Иван, проклятие не насылай! — визжала она.

— На тебя не найду, — ответил старик. — А к тебе, майор Бондарев, — усмехнулся он, — дело есть.

Игорь, не мигая, смотрел старику в середину лба. Смотрел уверенно, по-мужски. Но он, с удивлением заметил Гера, впервые позволил себе побледнеть.

— Начнём с того, что ты вовсе не майор Бондарев.

— А кто же я? — спросил Игорь.

— Ты знаешь, кто ты. И я знаю, — батя Иван, заостряя внимание, ткнул пальцем в серое небо (проткнул с одного удара). — И я знаю, что ты знаешь о моём знании. И вот тебе мой совет:

проваливай ты отсюда к ядрёной фене.

— А если не провалю?

— Шиздец тебе придёт. Забором мы тебя на ментальном поле.

— На чём заборете? На лопатах?

— Я же сказал: на ментальном поле.

— Извини, не расслышал...

— Так ты понял? — спросил батя Иван. — Я всегда знал, что ты вернёшься. Ясно дело, зачем. Так вот, майор: выкуси! Не получишь ты своего... И чтоб к вечеру убирался. Убей пару дураков местных, побезобразь малёхо, если невмоготу, и проваливай.

— Я тебе провалю, — уныло сказал Игорь. — Я тебе так провалю...

Но батя Иван уже ничего не слышал: исчез за поворотом, только его и видели. Двигался он на удивление быстро и плавно, двигался — для седых лет — вызывающе.

Гера, пользуясь моментом, отвязал кошку. Пицунда, благодарно махнув хвостом, оставила их наедине.

— Что это было? — спросил он.

— Местный ведун, — вздохнул Игорь. — Они все такие. То ли гении, то ли больные, смотря на что посмотреть.

— Игорь, скажи честно: ты Бондарев?

Он флегматично протянул корочки служивого кочана.

— Читай ещё раз.

— Зачем мне ксива? Ты словами ответь: майор или не майор?

— Я отвечу, — сказал Игорь, — но твой вопрос изрядно дурацкий. Представь, что я с самого начала решил выдавать себя за майора КЧН России. Я ведь и дальше буду косить под выбранный образ, так ведь? У меня нет причин раскрываться — лесной батя много трепался, но где его доказательства? Доказательств нет, и ты скорее поверишь мне, чем ему. Так что в любом случае я скажу — конечно Бондарев, и конечно же майор. Если ты умный парень — а ты, как ни странно, умный, — то легко увидишь, что твой вопрос имеет один ответ. Кто бы я ни был, я отвечу одно и то же. А раз я отвечу одно и то же, у тебя не найдётся причин мне верить... Ты задаёшь вопрос, на который невозможен ответ.

— Ты хитёр, — с уважением сказал Гера. — Твой ответ вызвал во мне доверие — не к твоей личности, конечно, а к твоему ответу. Это кристально честный ответ. И подсознательно я сейчас больше поверил в то, что ты майор Бондарев, чем если бы ты назвался майором Бондаревым.

— Говорю же — ты умный, — вздохнул Игорь. — И откуда ты взялся на мою голову?

В молчании они брели по грязно-мокрой дороге.

— Самое хреновое, — сказал Игорь, — что этот старик угрожал мне сегодня ночью.

— Как?

— Во сне, разумеется, как ещё? Это очень сложная техника: зайти в чей-то сон и оставить своё послание. Наши худшие прогнозы сбываются — это край невиданных мастеров.

— Чьи прогнозы?

— Аналитического отдела... Там, конечно, сплошные трутни сидят, но иногда кое-что угадывают.

— Что же делать?

— Нейтрализуем кое-кого. Старик не против, — усмехнулся Игорь. — Я хочу сказать, что активность такого плана не ведёт к глубинному конфликту с реальным центром силы противника, из чего следует временный приоритет данной активности...

— Ясно, как дважды два, — сказал Гера. Свинству — бой

Над пиндаровским пригорком светило солнце. Это казалось странным: над всей деревней серое небо, а тут почти летнее освещение. Из этого легко делались кое-какие выводы, но нашим друзьям было не до того.

— Свинству — бой! — кричал Игорь, для остротки стреляя в воздух. — Выходи, чудовище, биться будем.

— А человечеству, значит, гёрл? — любезно отозвался Пиндар из-за кустов. — И что значит — биться? Богатырь, что ли, на вороном коне — пальцы веером?

— Ты, видать, образованный поросёнок. Жалко тебя под хреном подавать, да придётся.

— Да тебя, Илья Муромец, местный дистрофик соплю перешибет. И потреблю я тебя, Муромец, без всякого хрена.

— Не подавишься?

— Может, и подавлюсь: первый раз дерьмом закусываю.

— А мне говорили, что тебе не впервой...

— Заткни пасть, человечесье рыло!

— У нас, поросычья душа, нынче свобода слова, — сказал Игорь. — Что хочу, то и говорю. А если тебе не нравится, вали в свой тоталитарный хлев.

— Ты мне поганым языком Отчизну не трожь, — сказал Пиндар. — Кому хлев, а кому и родина.

— То-то и оно, — сказал Игорь. — Как у нас говорится, ноу коммантс.

— Я таких, как ты, за копейку оптовой партией закупал!

— Вовек не поверю, чтоб свинья коммерцией занималась.

— А я вот не верю, что это ты языком ворочаешь. Козлы же безголосые. Может, тебе, дураку, магнитофон с собой дали?

— Ты лучше скажи, свинья, под чью дудку пляшешь.

— Мой девиз — свобода, — ответил Пиндар. — Или вы такого слова не проходили?

— Это тебе, поросёнок, кажется. У свиней-то как? Пока рылом не вышли — вот тебе и свобода. А как подрастут, все идут выполнять свой долг. До ближайшего, — Игорь хохотнул, — мясокомбината. Что ты хочешь? Святой долг перед человечеством.

— Подожди, — пообещал Пиндар. — Придёт ещё наше время.

Так они беседовали минут сорок.

Боясь нарушить течение разговора, Гера шепнул:

— Ты чего, совсем?

— Не мешай, — тихо сказал Игорь. — Это же традиция: на Руси перед боем всегда бранились. Три дня могли браниться, без передыху. Вроде варвары, а толк разумели. Это, чтоб ты знал, называется суггестивная психотехника...

Наконец, доведённый до отчаяния, Пиндар прыгнул из-за кустов. В полёте он одолел метров пять и оказался напротив Игоря.

Тот выдернул из кобуры револьвер, но Пиндар оказался быстрее, прыгнув ему прямо на грудь. Игорь отскочил в сторону, потерял равновесие и покатился вниз по склону.

Пиндар победно хрюкнул и приготовился добить его в третьем, как положено, роковом прыжке. Помешал Гера — выхватив ПМ, он всадил в поросёнка три безотказных пули. Пиндар притормозил, но даже не покачнулся. Игорь, не поднимаясь на ноги, выстрелил с земли. Пуля ударила в левый бок, но заметного ущерба не причинила.

Пиндар радостно завизжал:

— Не знали, муромцы, про мою броневую шкуру?

— Целься в глаз! — крикнул Игорь.

Гера прицелился и нажал на курок. Пуля, минуя Пиндара, полетела куда-то в лес. Следующая поспешила ей вслед.

Поросёнок повернул и вразвалочку пошёл на него.

— Стреляй, Герка! — крикнул Игорь. — Ближний бой — это кранты.

Пиндар встал на расстоянии метра.

— Ты лучше горло сразу подставь, — сказал он. — Всё равно доберусь, только больнее будет.

Гера, поймав в прицел левый глаз, пальнул с криком: «Ёб твою Богоматерь!»

Пуля оказалась удачнее прежних — Пиндару покарябало ухо. Поросёнок зарычал и напряг мускулы перед прыжком... В зад ему ударил булыжник, посланный Игорем.

Пиндар обернулся — и этого хватило, чтоб майор тренированно прошиб ему правый глаз. Пуля с удовольствием вошла в мозг, творя из него кровавую кашу. Пиндар захрипел, но сумел поднять себя на прыжок. Игорь, не успев вовремя увернуться, рухнул под тушей полумёртвой свиньи.

Грохнул ПМ — это Гера в упор отстрелил Пиндару его симпатичный хвостик.

— Тащи его от меня! — крикнул Игорь.

Пиндар был ни жив, ни мёртв — он не мог говорить и думать, но клыки тянулись к чужому горлу.

Гера навалился сзади, оттягивая Пиндара прочь за задние лапы. Игорь бился под жёсткой тушей, спасая горло. Клыки царапали ему пальцы, рвали кожу на шее и на щеке...

Вдвоём они скинули Пиндара на жёлтые листья.

— Дохлый, — сказал Игорь.

Поросёнок дёрнулся напоследок, норовя цапнуть его за пятку. Майор брезгливо пнул его в рыло, и на этом всё стихло.

— Вот теперь наливай, — сказал он.

— Ага, — согласился Гера. Правда про 3 октября 1993 года

Вечерело.

Гера и Игорем сидели в подвальной комнате напротив компьютера.

— А ещё, — сказал Игорь, закусывая грибочком, — хочу рассказать тебе одну штуку. Что ты знаешь про путч 1993 года?

— Это который в Москве?

— Он самый.

— То же, что и все, — сказал Гера. — Ну собрались, ну постреляли. Танки ввели. Парламент разнесли в клочья. Одним словом, демократия победила.

— Тогда ты не знаешь самого главного. Значит, с одной стороны — Боря Ельцин и реформаторы, с другой — чечен Хасбулатов и депутаты. Генерал Руцкой — за чечена и депутатов. Народ — хрен знает, за кого народ. Но армия вроде за президента... Хотя и не сразу. За этих самых — боевики. Со свастикой, деревянными автоматами и одной гранатой на четверых. Мы, как всегда, в тени и поддерживаем порядок.

— Чего ты мне травмишь? Это все знают.

— Про нас никто не знает, — обиженно сказал Игорь. — Значит, такая ситуация: боевики ломанулись, взяли мэрию, ещё что-то взяли. На подступах к телецентру. В окружении президента — жуткий шухер. Там же трусы все, каких свет ни видывал. Они думают, что режиму конец и скоро их потащат на фонари. Самое главное ведь неясно: за кого армия? Стоит третье октября, боевики шарятся, где хотят. Все ожидают штурма Кремля. Это только ведь потом выяснилось про деревянные автоматы, одну гранату на четверых, бездарное руководство... Руцкой — бездарь, это я тебе как военный могу сказать.

— Почему? — спросил Гера.

— Потому что бестолково делал переворот, — сказал Игорь. — Ты бы сделал его чуть лучше. Я — намного лучше. А они — полные кретины. Во-первых, не то штурмовали. Во-вторых, не так. В-третьих, забыли про народ, а это главное. В девяносто первом про народ не забыли, и Белый дом устоял. В девяносто третьем забыли, и Белый дом расстреляли к хренам собачьим. В-четвёртых, плохо вооружились. В-пятых, взяли не тех союзников. В-шестых, начали переворот военными средствами и лоханулись как дураки. В-седьмых... Да что говорить: наши трутни из аналитического отдела насчитали сорок ошибок.

— А вы сами-то за кого?

— Мы ни за кого, — строго сказал Игорь. — Мы, как нам велено, за порядок. Так вот, кончается воскресенье: в Кремле шухерятся, в Белом доме открыли шампанское. Почему шухерятся? Информации ноль, все сидят на нервах и старых фобиях. Ну ты знаешь: красный террор, коричневая чума, так далее. Общее мнение — страна проиграна, история повернулась вспять. На армию никто не надеется, прошёл слух: армия поддержала мятеж. Но делать что-то надо, и тогда одна сука идёт к Борису Николаевичу... Очень известная сука, могу тебе сказать. Если я скажу фамилию, ты её вспомнишь. Но я тебе, Гер, фамилию не скажу...

— А почему она сука?

— Слушай дальше, — предложил Игорь. — Этот человек пришёл к президенту и предложил ему охеренный способ. Тебе сейчас станет дурно.

— Даты говори, — усмехнулся Гера.

— Он предложил начать третью мировую войну. Самую настоящую, но с predetermined финалом. Конкретно — нанести три ядерных удара по территории США. Видишь ли, система ядерной безопасности США носит автоматизированный характер. Если нанесены три атомных удара, президент уже ничего не решает. И министр обороны не решает. Всё решает голая автоматика. Я не знаю, зачем американцы так сделали, но это факт. Короче, вся ядерная мощь США бьёт по территории агрессора. Это атака, которую на современном уровне невозможно заблокировать. Сука, пришедшая к президенту, это знала. Иными словами, она предложила стереть Россию с карты планеты.

— И себя тоже?

— Нет, он полагал, что уцелеет одна Москва. Это единственный город с системой ПВО, способной отбить ядерную атаку. Остальные погибают — Москва живёт. На самом деле, конечно, гибнет и Москва — в евразийской хиросиме выживших не бывает. Да там не только Россия гибнет, там всем конец, кроме полярников в Антарктиде... Но этот человек считал, что он и его семья уцелеют. Он пытался доказать, что уцелеет и президент.

— Но зачем?

— Он считал, что по-другому человечество не расстанется с коммунизмом. И ради того, чтобы выжечь мировое зло, допустимо пожертвовать одной сверхдержавой. Но это — идеальная сторона... Я же говорю: он чуял, что после переворота его место на фонаре. А в том, что переворот совершён, ребята не сомневались. Это страшный вариант, но для них, как ни странно, это был вариант спасения. Они спасали жизнь и одновременно становились героями — в своих глазах, разумеется.

— Они, по-моему, не правы, — сказал Гера.

— По-моему, тоже, — сказал Игорь. — Вот мы их и урезонили. Это, конечно, не наша функция, но пришлось. Ведь если бы третья мировая случилась, наша функция могла бы такого не пережить.

— А как урезонили-то?

— Это, — сказал Игорь, — станет известно нашим потомкам. Главное — человечество до сих пор живёт. Но недолго ему осталось.

— Это почему?

— Мы уже не можем контролировать всё. Вот, допустим, в 1949 году была ситуация. США, пользуясь перевесом в силах, хотело ухреначить СССР, сбросив бомбы на крупнейшие города. У них уже был потенциал, чтобы устроить Армагеддон. Та же самая евразийская хиросима — и конец всему... Тогда наши коллеги им помешали. Пришлось выйти на ихнего президента, но ничего, вышли как полагается. А потом возник паритет, у СССР тоже появился потенциал, и никто не начал бы первым... «Холодная война» — это годы стабильности на планете. Страшные времена начинаются лишь сейчас. Ядрёна бомба расплзается по миру! Наши трутни посчитали, что до 2100 года человечество погибнет в ядерном смерче с вероятностью девяносто один процент. Тут мы ничего не поделаем — если красная кнопка будет в бункере каждого дурака, бессильны КЧН, ФСБ и ЦРУ, вместе взятые. Бессильны даже те силы, что на заре цивилизации создали КЧН.

— На заре цивилизации?

— Тогда мы, естественно, назывались чуть по-другому. Мы использовали уже готовые структуры, внедряясь и ставя их на свои задачи. Союз Тигра, тамплиеры, пара масонских лож... Сейчас мы работаем через братства и государственные разведки. Мы знаем, что наша работа обречена. Но в том, Гера, и состоит достоинство человека — делать работу, которая при любом раскладе обречена. В Древней Греции говорили: герой — это человек, который умирает, если не может достойно жить. Противоположность герою — раб. Эта скотина живёт при любых условиях. Красиво отработать обречённое дело — то же самое, что погибнуть, если не можешь достойно жить. Джордж Сорос сказал: «Некоторые сражения надо вести, даже если они заранее проиграны». Он, правда, имел в виду свою экономику. Но как точно! За это я прощаю Джорджу его проект...

— Но надо же спасти мир!

— Мир, — сказал Игорь, подцепляя грибочек, — спасёт, мать его, красота. А мы работаем своё дело.

— Зачем ты мне это рассказал? — спросил Гера, поднимая рюмку.

— Это политзанятие, лейтенант. Ты же должен чуток догадываться, за что ты поmrёшь?

— Помирать обязательно? — спросил Гера, опуская рюмку.

— Вовсе нет, — сказал Игорь. — Можешь жить хоть сто с лишним лет. Но если умрёшь, то неплохо бы знать, что ты умер не абы как. Умер, мать мою, на рабочем месте! Умер, как сказали бы в Древней Греции, настоящим героем... Ты, Гер, уже в ореоле славы, только пока ничего не видишь. Вот такая она, брат, метаполитика.

— А местных дураков стрелять — тоже метаполитика?

— Это, — отмахнулся Игорь, — наша рутина. На каждой службе существуют свои формальности. И время отнимают, и силы, и сами по себе полная ерунда... Но что поделаешь, служба — она не дружба.

Гера засыпал просветлённый, а рядом на трёхномом стуле дремал пистолет. Он успел полюбить своё оружие. Ещё немного, и спел бы ПээМу железную колыбельную... По драконьему этапу

Он проснулся от шума, с которым рухнул на пол инвалидный стул. Стояло раннее утро. Пистолет лежал у двери, всё остальное покоилось на своих местах. И ещё — было страшно. Гера не знал причины, но страх цепко держал его за горло и не хотел отпускать. Страх влюбился в Геру с первого взгляда — такое случается.



Сначала он почувствовал, что Игоря в доме нет, и лишь потом убедился в этом. Игоря не было в его комнате, не было внизу, не было наверху, не было даже на чердаке.

Гера, положив в карман убойного друга, обошёл все комнаты, но увидел только Настасью.

— Где Игорь?

— А он, миленький, где-то тут.

— Его нет в доме.

— Утекал, что ли? Даты врешь, — сказала Настасья. — Дверь-то, едрить её, с вечера заперта. Как же он утекал, если всё изнутри задвинуто?

Вдвоём они осмотрели верхние комнаты, спустились в избушкино подземелье. Сейф приткнулся на прежнем месте. Большая дорожная сумка Игоря стояла на подоконнике. Однако плаща не было, очков — тоже. Не было, конечно, и револьвера.

— Да он, едрить его, чёртово хлебало замутил! — сказала Настасья.

— Извините, что сделал?

— А это, миленький, такое хлебало, опосля которого сквозь двери проходишь.

— А как его замутить?

— Ты меня о таком не спрашивай, — сказала Настасья. — Будешь спрашивать, в лесу пропадёшь. Уволочат тебя, дурака, масоны, обглодают до последней кости, и спасибушки не дождёшься.

— Извините, а у вас масоны — это что, местный фольклор?

— Чего?

— Масоны, спрашиваю, это байка такая?

— Масоны, — сказала Настасья, — это как бы люди такие. Но ты, чему о них болтают, не верь. От них ведь, едрить, никакого спасу нет.

— Ты мне, старая сука, понтоваться-то брось! — вспомнил Гера волшебное заклинание. — Знаешь, срань, кто с тобой базары ведёт?

Гера покраснел: он решительно не знал, что в таких случаях нужно говорить дальше.

— Знаю, миленький, знаю, — сказала Настасья. — Ты его первейший помощник.

— Ты, срань, сейчас не понтуйся, — сказал Гера. — Расскажи, как есть, про масонов.

— Эх, без души у тебя получается, — вздохнула Настасья. — У майора-то от самого сердца шло. А у тебя? Смех один.

— А в морду? — нежданно для себя рявкнул Гера, вынув железного друга.

Он с улыбкой почесал кончиком ствола у Настасьи за ухом.

— Вот сейчас по-людски, — крикнула хозяйка. — А про масонов... ну чего тебе про масонов? Сами их на-придумывали, а у нас спрашиваете.

— А Игорь? — спрашивал Гера. — Как мыслишь, хозяйка, Игорь вернётся?

— Если он чёртовым хлебалом опоился, то сейчас по драконьему этапу пошёл.

— Это ещё где?

— Всё тебе покажи, всё тебе расскажи... Прямо как дитё малое, спасу нет.

— А в морду? — напомнил Гера.

— Не знаю я, — сказала Настасья. — И ты хорош: кто же простую бабу о таком спрашивает? Драконий этап, едрить его, дело доброе. Ты, миленький, покумекай... А то артачишься, как ядрёна вошь: чёртово хлебало, чёртово хлебало. У нас за такое сразу не бьют... Ты лучше посиди, покумекай, глядишь, и пройдёт, зараза.

Гера глухо матернулся и велел подавать на стол.

К полудню Игорь не появился. Выходить на местные улицы было страшно, да и незачем выходить: вчерашнего хватало на пару заурядных жизнью.

Не по-женски грохая сапогами, вбежала Настасья:

— Спаси, миленький! За окном, едрить его, мужики стоят, костёр жгут.

— Ну и что? — спросил Гера.

— Так ведь нас, бедолажных, жечь собираются!

— А за что?

— Мордую, говорят, мы с тобой не вышли... А ещё якобы ты к ним спиду занес. Матвей животом мается и говорит, дурак, что это мериканская спида на него поднаселла, а занесли её, едрить, вы с майором. Брешут, что по заданию вы сюда притащились. А ещё, — понизив голос, прошептала Настасья, — говорят, вы товарища Сталина со свету сжили.

— Кого, едрить их? — рявкнул Гера.

— Ёсифа, говорю, со свету спровадили... Только это не Ёсиф. Что я, Ёсифа Виссарионыча не видала? И вовсе он, миленький, не на четырёх лапах, так что брешут эти паскуды...

Гера на удивление спокойно положил в карман пистолет. Товарищ Гера

Вася Прелый говорил сбивчиво и невнятно:

— По партийному, значит, делу... Гляжу — лежит товарищ Свинья. Я ему: товарищ Свинья, товарищ Свинья. А он, значит, ничего, только хвостик, значит, кровавый...

Не в силах держать себя, Вася Прелый хлюпнул слезами.

— Дальше, — сурово сказал Матвей.

— Товарищ Свинья, говорю, что ж вы так... Гляжу — террор, прости меня Господи. И лежит товарищ Свинья, лицом прямо в грязь, и не шевелится — прости Господи, дохлый, как помидор... Я и так, и эдак — а не шевелится. Ну, блядь, думаю, не умом единым. Сидят, блядь, в Лондоне чистоплюи. Вот и думаю, что блядь бы их всех...

С этими словами Вася Прелый окончательно залился солёным потоком.

— Тараканы, — зло процедил Матвей.

— Же ву зэм, — сказал Пётр, — кес ке сэ пти мон ами...

— Не кипятись, Пётр, — сказал Матвей. — Потом правду скажешь, когда наше время придёт.

Из окон избышки ударила автоматная очередь. Пули просвистели над головами, срезая веточки и несказанные слова.

— Ложись, родные!

Семеро мужиков повалились на желтизну, раскиданную под их ногами. Гера вышел из дома, сжимая в руках короткий «калаш».

— Вопросы есть? — усмешливо спросил он.

Мужики лежали без лишних слов. Наконец чья-то голова чуток поднялась.

— Да, командир, — робко сказала она.

— Спрашивай, недолюдь, — по-доброму сказал Гера.

— Можно поссать, командир? Я за кустиками...

— Дрочить разрешаю, — сказал Гера. — А поссать — это уже роскошь. Это вам до следующего утра подождать придётся.

— Лютуешь, командир, — обиделась голова.

— Лютую, — согласился он. — А теперь слушайте, что скажу. Вы теперь не простой народ, а заложники. Если не заладится, буду каждый час мочить одного. Начнём, — он показал на Матвея, — с ваших пассионариев.

— Да ты, прихвостень, сам дурак, — сказал Пётр. — Тю э гри кошон, пидор. Нес па?

— Нон, — сказал Гера и усмехнулся: — Же компран, мон фрер а сэт бель виллаж.

Он подошёл и шваркнул свинцом. Петру чуть не оторвало указательный палец, пуля прошла в миллиметре.

— Тре бьен, — довольно заметил Гера. — Бон шанс, мон пти сучий пес.

— Сюр ля пон д'Авиньон, — напел Пётр. — Тутан дансен, тутан рон.

— У тебя плохо с произношением, — сказал Гера. — Ты хоть знаешь, чего сказал?

— Же ву зэм поганный, — ответил Пётр.

— С чего бы? — удивился Гера. — Я ведь сказал, что не голубой. Ты вон лучше его...

Он показал на сопящего в грязи Матвея. Тот, теряя пассионарность, жалобно заскулил:

— Меня всякий обидеть может. А почему? Отходчивый я, как сибирский валенок.

— Цыц, — сказал Гера, ткнув пулей перед носом Матвея. — Слушай мою команду! Значит, буду мочить. А чтобы не тронул, дайте рецепт жужла, росы и чёртова хлебала. И ещё — сухой водки на анализ. Давно, знаете ли, бухла не грыз...

— Это нельзя, — сказал Пётр. — Мы бы дали, да вот нельзя.

— Пуркуа, мон анфан террибль? — сказал Гера. — Шерше ля водка, дакор?

— Шерше ля на хуй, — сказал Пётр. — Ты бы лучше ведунов взял, они бы тебе на троих замутили. А мы ребята негордые. Откуда нам в синей магии шарить? Ты к бате Евстахию загляни, а ещё лучше к бате Изику. Если совсем на стыд наплевать, можешь к бате Ивану.

— Отведёшь к ним? — спросил Гера.

— Это сложно, — ответил Пётр. — Они же от людей прячутся. В лесу живут, с масонами одичавшими. Страшно мне в лес идти, да и не знаю я.

— Вот ты, урод, — спросил Гера, — видал на своём веку синюю обезьяну?

— Про обезьянок мне баба Нина наплела, — сказал Пётр. — Чтоб обезьянку зреть, надо особый суп из топора похлебать, я его заваривать не умею. Зато я дракона видел. Это просто — божьей росы на грудь принял, и порядок... У меня её в погребе целая кадушка — батя Изик нацедил, я ему за это договор подписал.

— Какой договор?

— А мы все с мужиками подписали, — сказал Пётр. — Чё подписали-то? Ну что обычно: Россию, значит, продаю, отрекаюсь от своей нации... признаю, значит, жидовское владычество. А чего не подписать, когда за это на халяву росы нацеживают?

— Ну и какой он из себя, таёжный дракон?

— Красавец, — мечтательно вздохнул Пётр. — Весь зелёный такой, почти перламутровый... Три головы, и каждая, блядь, увенчана. А из пастей пламя натуральное вырывается. Встали мы с Кирюшей, залюбовались... И говорит он, падла, человеческим голосом.

— У вас все человеческим голосом говорят, — сказал Гера. — Кроме людей, правда.

— И говорит он, значит: здорово, мужики. Мы с Кирюшей дрожим, мурашки шнырят, тесаки из рук валяются... И тебе, говорим, Горынушка, от нас пускай поздоровится. Голодный я чего-то, Горынушка говорит. Жареное, говорит, надоело, так ныряйте вон в то озеро, мужики, я вас там варить буду. Мы с Кирюшей, конечно, не растерялись, сняли штаны, окунулись в озеро. Думали — шутит Змеюшка. Хрен-та с два: окунул в воду все три башки, и давай её нагревать. Ну думаем, чепец настаёт. Выскочили мы голые и давай родимого тесаками рубить. Он, наверное, отпора не ожидал, растерялся: мы ему невзначай две башки оттыпали, а третья пощады просит. Нам чего, мы с Кирюшей мужики хорошие. Отпустили его, только хвост отчекрыжили, чтоб в городе на доллары поменять.

— Поменяли?

— Не-а, — сказал Пётр. — Сгинул в дороге хвост, забрала его, видать, небесная сила.

— Как забрала-то?

— А вот, извиняй, не помню. Помню только, что шум стоял и в глазах рябило. Очнулись — а нет хвоста. Ну точно, Кирюша говорит, небесная сила спёрла. Люди бы по-честному отобрали, без ерунды. Мы с Кирюшей после той хуйни и начали заговариваться. Говорим чего-то, говорим, а когда в себя придём, вот тебе на: заговорились, блин. Перед людьми, самое главное, совестно. Попортила нас небесная сила, мать её враслопырку...

Лежащие мужики согласно закивали опущенными головами: подтверждаем, мол, не наврал. Гера, поигрывая «калашом», с удовольствием оглядел пейзаж.

— Сейчас, — сказал он Петру, — двинем к тебе домой. Нацедишь мне бутылочку, пойду с драконами пообщаюсь.

— Так ты её внутрь хочешь? — спросил Пётр.

— А как ещё?

— Дело твоё, только сдохнешь ведь, — сказал Пётр. — Тут главное пропорцию соблюсти. Недольёшь — в Нижнем Мире десять лет оттрубишь, у чертей на строгом режиме. Перельёшь — копыта откинешь. А пропорция у каждого мужика своя, ведун её арифметикой вычисляет. Главное ведь что? — свою меру знать. Вот я, допустим, свою меру знаю, мне батя Изик на ухо нашептал. А ты? Перельёшь ведь — и всё, поминай как звали...

Гера задумался, и даже разок стрельнул в направлении солнца. Солнце ничего не сказало, только подмигнуло в ответ и снова уплыло за облака.

— Значит, так, — сказал он. — Или ведёте к ведуну, или за неимением вариантов начинаю массовые расстрелы.

Крестьяне дружно шмыгнули носом и не менее дружно оросили землю слезой.

— Я одну берлогу знаю, там ночами ведун живёт, — сказал Вася Прелый.

— Пошли, — сказал Гера. — Но если вместо ведуна увидим медведя, я тебя в той берлоге похороню. Остальным можно расходиться.

Остальные встали и побрели, недобро зыряка на юного автоматчика.

— Чуюло моё сердце, — вздохнул Матвей, — придёт их время...

Медленно подошёл Вася Прелый, шатаясь и размазывая грязь по щекам. Спросил злобно:

— То, что продал, — это я понимаю. Платят-то хорошо?

— Не понтуйся, сука! — вспомнил Гера золотые слова. — Ты хоть отсекаешь, срань, кто с тобой базары ведёт?

— Я-то знаю, — сказал Вася, — потому и спрашиваю... Ладно, не томи: идём или не идём?

— Шагом марш! — сказал Гера. — И с песней. Скажи мне, как твоего мага зовут.

— Кому как, — сказал Вася. — Кому водка, кому селёдка, а кому и отец родной. Зови как хочешь, а для нас он батя Евстахий.

Шли дорогой, потом тропинками, потом и вовсе по бурелому. Наконец показалась берлога с дощатой дверью.

— Будем ждать до ночи, — сказал Вася. — Днём он по драконьим местам шатается, с нежитью всякий страх колдырит. Иногда, правда, и ночами колдырит, но это реже. А вот если с обезьянами забухал — всё, считай, на неделю...

На двери белела потрёпанная записка. Гера подошёл поближе: кривой почерк, но буквы зато печатные. Записка говорила коротко, но по существу: «Ушёл на небо. Вернусь в 2050 году. Дверь сломаете — наебнётесь. Евстахий».

— Эх, — сказал Вася, — незадача. Оно и понятно: с Богом надо подольше поколдырить, чем с разной нечистью.

— Веди к другому, — сказал Гера.

— Других не знаю, — ответил Вася. — Я жужло только у Евстахия брал.

Гера застонал, как смертельно раненный... как дважды, трижды, сто раз смертельно раненный и не желающий умирать.

— Ладно, что с тебя возьмёшь. Катись обратно, первопроходец хренов.

— Ты чего, — спросил Вася, — расстрелять меня не хочешь?

— Да ну тебя, — сказал Гера. — Пошли домой.

Но Вася не торопился: встал напротив, пнул окрестный пенёк. Словно шире стал в плечах Вася, и длиннее в ногах, и звонче в голосе.

— Пули пожалел, сучья морда! — крикнул он. — Не меня ты, гад, пожалел, а пули своей грёбаной. Над каждой копейкой, поди, трясётесь? Но знай: всех, сука, всё равно не заберете. Стреляй уж, чего стоишь...

— Не хочу я тебя стрелять, — сказал Гера. — Надоело мне.

— Вот оно! — крикнул Вася. — Трясутся ручки у палача? Знаешь ведь, чем война закончится, знаешь, что тебе люди-то скажут... Но поздно. Мы иудушек назад не берём.

— А мы берём, — сказал Гера. — Мы им даже в валюте платим, если от них польза бывает.

— Сколько? — спросил Вася.

— Кому как, — сказал Гера, — обычно не жалуются. Тебя бы взяли, только нужно экзамен сдать: английский, политология, рукопашный бой. Да это чепуха, мы тебя натаскаем. Заживёшь зато по-людски: джип себе купишь, сотовый заведёшь, будешь баб нормальных снимать. У вас, поди, и девчонок нет? И связи сотовой?

— Да, — сказал Вася, — эта связь у нас не фурычит. А бабы есть. Куда же без баб?

— Видал я их, — сказал Гера. — Только разве же это бабы?

Вася задумался.

— Да, — сказал, — можно бы и получше. А чего делать-то?

— Будто сам не знаешь, — хохотнул Гера.

— Знаю, конечно: рельсы портить, чтобы поезда сошли, в масло стекло пихать, данные собирать. Ну и, конечно, клеветать на честных людей.

— Клеветать — это главное, — сказал Гера. — Справишься?

— Справиться смогу, — сказал Вася. — Только совесть ведь, паскуда, замучит.

— А ты её, паскуду, продай.

Оживлённо беседуя, они вышли из леса. Навстречу им шла вчерашняя баба, загоняя домой вчерашнюю животину.

— Пошли, бурёнушка, пошли спатеньки...

Лепёшки падали на ходу.

Они усмехнулись, глядя на это дело.

— До скорого, агентура.

— И вам того же, товарищ Гера.

— Но пасаран! — на прощание крикнул Гера — и добавил в четверть голоса: — Только гусь свинье не соратник...

Избушка стояла та же: косая, кривая, без курьих ножек. Игорь, как и следовало ожидать, не вернулся.

— Канул, миленький, как мasons на гору унесли, — развела руками Настасья. Отход на север

Он спал неглубоко, чутко, опасливо, поэтому и проснулся на секунду раньше, чем его разбудили.

— Опять мужики пришли! — крикнула Настасья. — С факелами, едрить, теперь точно поджигать будут.

Он наспех оделся, сунул пистолет в карман куртки, взял автомат и устремился за Настасьей наверх.

Отодвинув стальные жалюзи, он насчитал два десятка возбуждённых людей. Ближе всех к дому суетился Матвей.

До Геры долетали рваные крики:

— За свободу, блядь, и не такое бывает!

— Жизнь свою отдать, или как?!

— Эх, братки, в говне жили, в говне и подыхать будем!

— Машку жалко, а остальное приложится!

— Чую, Серёга: наши времена настают!

— Подохни, Егорка, с песней!

Ему стало худо и тошно от этих воплей, буквально тошно — нестерпимо захотелось плевать.

Когда проблевался, то увидел, как к дому бежит Матвей в расстёгнутой до пуза рубахе. В его руке злобно пламенел факел.

— Пожги их, чтоб духу не было! — крикнули из толпы, и Гера узнал голос Петра.

Вскинув автомат, он дал очередь.

Матвей упал подрезанным, но трое человек с факелами уже подбегали к дому с разных сторон.

— Тикать надо, — сказала хозяйка. — Есть тут подземный ход, если им идти, как раз к реке выйдем.

— Откуда подземный ход?

— Из подвала. В прошлом году солдаты прорыли. Избушка-то, едрить её, не простая, а спиративная.

— Сейчас уходим, — сказал Гера, шмальнув ещё какого-то мужика.

Тот повалился, факел выпал из рук. Огонь, питаясь сухими листьями, быстро подползал к дому.

— Пошли, миленький, — Настасья дёргала за рукав.

— Подожди, — отмахнулся Гера. — Дай ещё козлов снимаю.

Мужики, почуяв недоброе, разбегались в разные стороны. Не хотевшие разбежаться заранее ложились на землю, спасаясь от цепких пуль. Не хотевшие разбежаться или лечь — падали всё равно, но подбитыми, со свинцовой начинкой в теле.

Нежданно в открытое окно ударила пуля. Чашку, стоящую на столе, разнесло в куски.

— Ага, — сказал Гера, опускаясь на пол, — вот теперь уходим.

Упал вовремя: новая пуля чиркнула на месте его живота, обиделась, полетела дальше и снесла горлышко у кувшина.

Третья пуля, яростно матерясь в полёте, тоже миновала его. Проклиная судьбу, она впилась в стенку над его ухом. Гера не стал дожидаться четвёртой, пятой и сотой пули. Пригибаясь, он покинул добрую кухню.

Настасья, забыв про возраст, неслась вперёд быстрее гепарда. Гера скатился вслед за ней по ступенькам.

— Вот эту дверь, миленький.

В проходе было темно, пахло отчаянием и могилой. Шумно дыша, Гера с Настасьей добрались до конца. Как это бывает, в конце туннеля случился свет.

Вышли на свежий воздух, огляделись. Светало. На краю деревни весело полыхала избушка без курьих ножек.

— Гады, — всхлипнула Настасья. — Совсем, что ли, сдурели?

— Не дрейфь, — сказал Гера. — Ты же русская женщина. Коня на скаку остановишь, в горящую избу войдёшь.

— Тикать надо, — сказала Настасья.

— Это правильно. Автобус когда отходит?

— В десять утра, миленький... Меня-то возьмёшь?

Гера, не думая, согласно кивнул. Старуха приободрилась и спросила, дадут ли ей большую офицерскую пенсию.

— Ты тоже, что ли? — спросил Гера.

— Да я так себе, — сказала Настасья. — Я не в штате, я спиративщица.

— То-то и оно, — загадочно сказал Гера.

Он предложил переждать в лесу, а без четверти десять рвануть к остановке. Идти быстро и, если что, с потерями не считаться.

— А что — если что? — спросила Настасья.



— Если что — сама всё увидишь.

Никто, как ни странно, дорогу не преградил.

На остановке толпились, если так говорят о трёх людях, паренёк и две бабы тяжёлой наружности. Гера бросил взгляд на часы: без двух минут десять. Автобус, согласно традиции, опаздывал на двадцать минут, но Гера не всё знал о таинствах здешней жизни.

В стороне бывшего колхозного поля слышались маты и одинокие выстрелы.

— Давай, сука! — кричали вдали. — Нашу давай, чтоб все подошли!

— Погоня, — обречённо сказала Настасья.

Гера оценил тягучее движение минутной стрелки: действительно, сука...

— Прорвёмся, — сказал он.

— А если не прорвёмся? — спросила Настасья.

— Тогда не прорвёмся, — сказал он, ощупывая в кармане куртки железного друга.

За ближайшим домом слышался хохот, по косвенным признакам явно не человеческий. Тяжёлые бабы медленно перекрестились.

— Ведун шуткует, — сказала одна из них.

— И не говори, Маша, — сказала вторая. — Знать, ничего хорошего.

Из-за угла, в облаке пыли и последних смешинок, появился батя Иван. Был он прост, опрятен, высок и широк в плечах.

— Чего, браток, обижают? — спросил он загрустившего Геру.

Голос был так приветлив, что рука сама собой выпустила рукоять пистолета.

— Да, — просто ответил он. — Знаете, батя Иван, тут у вас такие обычаи...

— Какие такие?

— Дурацкие, — сказал Гера.

— Знаю, — согласился ведун. — Ты ещё, кстати, всего не видел.

— И не надо.

— Да как сказать, — усмехнулся батя Иван. — Ты же сюда приехал, чтобы чёртова хлебала выкусить. Я так полагаю, что скоро выкусишь... Пойдешь, Лишков, ко мне в ученики?

— А почему я? — испугался Гера.

— Есть в тебе дар, — сказал батя Иван. — Нутром чую: есть он, собака серая. А если дар есть, то и остальное будет. Ты только одно запомни — своему майору не верь, если снова заявится.

— Но почему?

— Он, — объяснил батя Иван, — врагу продался. Да не абы как, а по древнему ритуалу. Есть такой обычай... Когда империя погибала, от неё только и осталось, что ритуал поганый. А те,

кому не надо, нос по ветру и гробницу, гады, раскрыли.

— Какую ещё гробницу?

— Вавилонскую, — вздохнул батя Иван. — Там много чего было. От одного Яхве сто тысяч книг... А от Кришны, от Шивы, от Сатанаила, в конце концов! От Арджуны, помню, книжка была — в синем переплёте, невидимой рукой писанная. Если по-санскритски умеешь, её, говорят, пятьсот лет можно читать. Так написано, что не оторвёшься.

— А при чём тут Яхве? — невпопад спросил Гера.

— Да ни при чём. Совершенно ни при чём... Он ведь так себе, ерунда по сравнению с Брамой. Всё равно, конечно, больше нашей Галактики, только ведь перед Брамой любой щенок: и я, и ты, и Яхве этот несчастный, и сам дедушка... Ладно, потом тебе нашу космогонию объясню. Сейчас идти надо, а то они уже близко.

— А я говорю, сука, налево пойдём! — донеслось с бывшего колхозного поля.

Одиночные выстрелы слились в непрерывную канонаду. Кричали отрывисто, непонятно и оттого особенно страшно:

— Брысь, цуцик!

—левой гни!

— Дёргай, мать твою, когда просят!

— А я сказал: Апокалипсис — это пиздец, только по-жидовски!

Последняя фраза прозвучала так близко, что Гера вздрогнул. Остановка опустела минуту назад: тяжёлые бабы рванули в стороны намного проворнее тонколицего паренька.

Бабы-тигры.

Бабы-торпеды.

Бабы-утекай-не-догонишь.

Бабы-гонщицы-из-русских-селений...

— Же ву зэм! — рывкнули на поле. — Сожру и не помилую!

Вслед за этим грохотнуло, как из небольшой пушки. Стоящий неподалёку дом загорелся ясным пламенем... Чёрный дым завитушками полетел в сторону прозрачного неба и отдалённых звёзд.

— Это революция, — прошептала Настасья.

— Ты-то откуда знаешь? — спросил Гера.

— Мне знамение было, — объяснила она. — А знамение, едрить, это тебе не шахер-махер.

— И даже не хухры-мухры, — улыбнулся батя Иван. — Так пойдёшь со мной, комсомолец?

— Да! — ответил Гера. — В огонь, воды, медные трубы... Только я, батя Иван, вовсе не комсомолец. Комсомол у нас восемь лет назад отменили.

— Вот видишь, — наставительно сказал батя. — Уж на что поганая штука, так и ту отменили.

Стыдоба. Одно слово: Кали Юга всем настаёт.

Бегущая вдалеке собака взвизгнула: пьяной пулей ей оцарапало бок.

— Не бойтесь, — сказал батя Иван. — Пули нас не достанут. С нами хранители.

— Кто? — не понял Гера.

— Нас хранит волновой эгрегор, — сказал батя Иван.

— Это как?

— В тёмные времена его называли архангелом Гавриилом, — сказал он. — Однако, мой друг, уходить всё равно придётся. Революцию делают фанатики, а плодами её пользуются разные проходимцы, сказано в Ведах. А разве мы похожи на проходимцев?

— Я-то нет, — сказала Настасья. — А вот он — это как сказать.

— Не понтуйся, срань, — сказал Гера. — Отсекаешь?

— Отсекаю.

— Её с собой не возьмём, — сказал батя Иван. — Хотелось бы, конечно, взять, но нельзя. Веды, друг мой, не позволяют. У неё, как это ни печально, карма отравлена похотью и гордыней.

— Да ты, старый пес, мою карму даже не видел! — сказала Настасья. — У меня такая карма, что молодые завидуют.

— Я же говорил, что отравлена. В Ведах на эту тему есть поговорка: с левой ноги встать на горло змее Кундалини. Вот она и стоит, как людям не велено.

— Да я так встану, как тебе, старому дураку, и не снилось! — обиженно сказала Настасья.

— Когда с Византии пришли еретики, первым делом они унизили ведунов, — сказал батя Иван. — Ну и чем это закончилось? Назвать ведуна нехорошим словом может любой. Даже ребёнок. Только это заканчивается одним и тем же...

— Чем? — спросил Гера.

— По-русски это называется пиздец. А вообще-то Апокалипсис.

На остановку выкатился автобус. Из кабины почему-то шёл дым и вырывалось языкастое пламя. Открылась дверца: мёртвый шофёр, махнув руками, вывалился наружу.

— Куда, куда мне идти?! — кричала Настасья.

— Иди, как в сказке: на все четыре стороны, — сказал батя. — Да не бойся: твоё тело под защитой. А душе твоей ничто не грозит: её у тебя, голубушка, больше нет.

— Как это — нет?

— А что, есть, что ли? — криво усмехнулся батя Иван. — Пойдём...

Он взял Геру за рукав, и они пошли: старик бежал, а студент еле успевал следом.

Настасья, горько всплакнув, провалилась куда-то следом...

С радостным лаем выбежали мятежники.

На самодельных носилках несли Петра. Он был не ранен, просто новый способ передвижения больше подходил к его должности: отныне его следовало именовать Петром Первым.

— Путч, о нужности которого базлали синие обезьяны, совершился! — возгласил Петр Первый.

Громогласный рёв толпы ответил ему.

— То-то, — сказал пыльнёвский царь и шумно высморкался на землю.

Новый рёв, вызванный поистине царским жестом, перекрыл все возможные сомнения в чёрствых душах. Похуизм, самодержавие и народность

Старый режим, несколько лет правивший Пыльнёвским районом, был свергнут за одну ночь. Невзирая на победу революции, казнить, увы, было некого: последним представителем власти был несчастный колхозник Штольц, бежавший ещё в знаменитом 1991 году. Свергнутый режим имел загадочные черты и не имел аналогов в мировой истории — он заключался в полнейшем отсутствии любой власти. Однако режим есть режим. Годы его господства были окрещены то ли застоём, то ли развалом. Новое время назвали просто — тысячелетним царством добра.

Дабы отметить силу новых идей, на площадь перед бывшим сельсоветом выкатили бочку дерьма и разлили под танцевальную музыку. «То, что вы видите, — сказал Пётр Первый, — послужит лучшим уроком нашим врагам». Смысл фокуса с дерьмом был неясен, зато все поняли — теперь уж точно начнётся новая жизнь. Ради неё, как позднее отметила хроника, в первую же ночь погибло около двадцати человек... Большой частью это были сторонники Петра Первого, попавшие под горячую руку других сторонников того же Петра.

Как отметили историки пыльнёвского восстания, последней каплей, переполнившей чашу гнева, было убийство заезжими туристами местного священного животного: незрелой свиньи, которой многие жители — по своему недомыслию — приписывали сверхъестественные способности. Подобные случаи известны в мировой летописи: так, например, мирное население Индостана легко терпело экономическое и политическое засилье колонизаторов-англичан, но поднялось на страшное восстание, когда сипаям приказали обкусывать патроны — правильнее сказать, обкусывать бумагу, смоченную в животном жире. Это означало участвовать в убийстве коровы, а ведь легче расстаться с жизнью, чем походя осквернить богов. Так что трогательная привязанность отсталых жителей Пыльнёва к своему животному вполне объяснима, а необъяснимо другое — дикость туристов, с целью забавы в упор расстрелявших порося, к тому же священного.

Многие историки отмечали и вторую деталь: в ночной потасовке с теми же вандалами был тяжело ранен Матвей, нежный муж, заботливый отец, трудолюбивый крестьянин... кому помешал этот недалёкий, но исполненный, как и весь российский народ, скрытой доброты человек? Ранение озлобило его сердце, а дальнейшая история есть следствие этого озлобления.

Третья причина и вовсе обыкновенна.

Правящий режим потворствовал иностранцам и жителям больших городов: в то время, как основное население Пыльнёва бедствовало, едва кормясь с огородов, для заезжих был выстроен потайной отель с баром, компьютерным центром, железными жалюзи. Оправдывая восстание, историки легко отыскали его причину — она заключалась в исконной тяге народа к социальной справедливости и прочей морали.

Первым делом революции стало восстановление монархического правления. Однако

колоритная фигура Петра Первого устроила далеко не всех. В первую очередь роптали так называемые паханы (так их прозвали в Пыльнёве; историки же навесили на этих людей свои ярлыки: народные вожди, полевые командиры, неформальные лидеры и т. д.). Левое крыло оппозиции возглавил Василий Прелый, по его словам, лично знавший товарища Сталина. Он стоял за СССР и похотливое отношение к местным бабам. Ультралевых повёл за собой Матвей — прослышав о смене эпох, они сразу же ушли в лес, чтобы партизанскими действиями подорвать монархию. Матвей защищал идею бесплатной водки и безграничной свободы личности. Однако самым крайним радикалом оказался всё же Федор Чума. Программа Чумы не дошла до последующих поколений ввиду крайней жутости этой программы. Едва заслышав первые пункты, его сторонники сразу же сходили с ума и не возвращались... Они рычали и блеяли, но отказывались говорить по-людски — такова единственная причина, по которой нам неведомо учение Федора Чумы. Сохранились лишь данные, что Чума собирался ввести акцизы и многобожие.

Таким образом, в Пыльнёвском районе возникло три независимых центра силы: Пётр Первый, стоявший за похуизм, самодержавие и народность, социалистический лагерь Прелого и анархические элементы, собранные воедино Матвеем. Ведуны же были настолько духовны, что центром силы быть никак не могли. Два последних лагеря, нутром чуя свою оппозиционность, объединились против режима — как они говорили, супротив Антихриста Петьки. Прозвище прицепилось к царю, когда деревенские бабы тайком подсмотрели, что его число — 666.

Гражданская война выдалась на редкость холодной. Дальше листовок дело не шло, а главные события разворачивались в области дипломатии. Играя в легитимность, Пётр Первый послал послов к синим обезьянам и местной нежити. Первая делегация вернулась похмельная, но счастливая, вторая же, щедро напоённая на посошок «божьей росой», — трезвая, злая, порядком изнасилованная и в рваной одежде. В ответ Пётр Первый объявил, что будет строить самодержавие в отдельно взятом районе. С Москвой было решено не общаться ввиду того, что в РФ господствуют самозванцы. (Москва, к слову сказать, была тому только рада.)

Для начала воздвигли памятник Пиндару и Евсею Ивановичу Милютову. Образ Пиндара напоминала простая забетонированная свинья... Пиндар окончательно стал святым: Пётр Первый велел канонизировать всех, кто, как он выразился, сдох за нашу свободу. Вторым эдиктом царь повелел повесить Настасью, как он сказал, «за блядство, измену Родине и прочее компрадорство». Однако её, как и напророчил ведун, нигде не могли найти.

После третьего эдикта у деревни Пыльнёво появился флаг: поле из чёрной, бурой и малиновой полосы. Чёрный цвет символизировал сумрак ночи, из которого вышла новорождённая монархия, бурый подчёркивал забурелость, а малиновый означал малину. Проникнувшись ложным патриотизмом, окружение Петра Первого тут же окрасило своих кошек в цвета нового триколора.

Пиком холодной войны стала встреча трёх паханов у Чёрного камня. После второй закусили. После третьей Вася Прелый оглядел народных вождей и сказал, что признает главенство Петра, если тот возродит райком и объявит всех баб коллективной собственностью. «Чё, сволота, думаешь, твоё время придёт?» — ухмыльнулся Матвей, с детства ненавидевший компромиссы. «Я за согласие», — сказал Василий. «А я за народ», — возразил Матвей и ударил Василия табуреткой. Тот упал без чувств. «Жить надобно не по лжи», — заявил Матвей, ткнув пальцем в сторону соглашателя. И снова поднял он правдолюбивую табуретку... Но подоспевшие клеветы царя помешали её опустить.

«Ты что на меня поднял?» — с укоризною спросил Пётр Первый. «Сегодня я поднял на тебя руку, — сказал Матвей, — а завтра весь народ поднимет на тебя ногу». Повалев в навозе, Матвея окрасили кандалами, но фраза вошла в историю.

Когда Вася Прелый пришёл в себя, ему предложим отречься от идеалов. Прелый сказал, сколько это стоит и куда клеветам надо идти. «Идейный, бля», — вздохнули они. Самый активный клевет ударил Васю в живот. Когда тот очнулся, то назвал цену в два раза меньшую. Клевет усмехнулся и снова обрушил кулак. Цена опять упала в два раза. Это повторилось шестнадцать раз, на семнадцатый Вася сказал, что отречётся от мракобесного сталинизма за два куриных яйца. Сделку, как и полагается в таких случаях, удостоверили два свидетеля. Царь хотел, чтобы коммунар расписался кровью, но тот, повинувшись смутной логике, отказался.

Следующим днём Василий вышел к народу и громко обличил советскую жизнь, уподобив её русским сказкам, похмелью и сифилису. Последнее сравнение убедило, и народ отрёкся вслед за вождём. А его речь, наряду с фултоновским выступлением Черчилля, стала лучшим примером злобной буржуазной истерики. «Похуизм, самодержавие и народность!» — крикнул он под конец. Народ, услышав, что его вспомнили, одобрительно загудел.

Матвей же проявлял стойкость... Его пытали хлебом, навозом, пробовали пытаться водкой, но Матвей стоял на своём. Ночью он убежал, вновь собрал анархический элемент и продолжил свою подрывную деятельность.

В советники Пётр взял себе бату Изика, и это было его роковой ошибкой. Массонская линия

Вот что пишет о дальнейших событиях доктор исторических наук Г. Е. Дотов:

«Системный кризис, охвативший все сферы жизни Пыльнёвской монархии, требовал эффективной программы действий на ближайшие годы. Экономика Пыльнёва имела так называемый виртуальный характер, то есть темпы роста ВВП не гарантировались ничем. Требовалось обновить основные фонды, поскольку при существующих технологиях ни интенсивный, ни экстенсивный рост не представлялись возможными. Единственный путь к этому в условиях Пыльнёва — создание благоприятного инвестиционного климата. Однако вместо реструктуризации основных фондов правительство Петра Мочалина начало проводить культурную революцию.

Это тем более обидно, что первые действия нового кабинета были благоприятно встречены в среде потенциальных инвесторов. Так, альянс с умеренными социалистами Василия Прелого снизил коэффициент странового риска, связанный с традиционной политической нестабильностью Пыльнёвского региона. Ещё более позитивно были встречены решительные действия в отношении анархо-радикалов Матвея Горшака и Федора Чумы. Политика кабинета, рассчитанная на подавление ультралёвого экстремизма, принесла ощутимые результаты: Федор Чума был вынужден эмигрировать, а отряд Матвея Горшака, потерпев сокрушительное поражение на подступах к Серой Балке, отступил вглубь и перестал сказываться на показателях фондового рынка. Не менее важной стала и победа в концептуальной дискуссии, развернувшейся между лидерами ведущих политических групп у Чёрного Камня. Убедительный триумф евразийски ориентированной идеологии Петра Мочалина ещё раз доказал населению Пыльнёва опасность социальных экспериментов и большевистских методов управления экономикой.

Как это ни странно, но именно режим автократии, установленный сторонниками Петра Мочалина, оказался весьма приемлемой формой (с учётом национальной ментальности). Рейтинг доверия к правящей элите достиг шестидесяти процентов, что в наше время является большой редкостью. Успех на идеологическом фронте следовало подкрепить принятием законодательных мер, налаживанием структур управления, подготовкой квалифицированных топ-менеджеров. Возможен был отказ от языческой религии ведунгов за счёт государственной поддержки христианства и других мировых конфессий.

Вместо этого Пётр Мочалин, подстрекаемый реакционной частью апологетов, учредил в

Пыльнёве культ национального героя Пиндара. Надо заметить, что Иосиф Виссарионович Пиндар, трагически погибший в борьбе с мировым финансовым капиталом, безусловно, яркая личность в истории пыльнёвского народа. Однако культ принял столь уродливо-извращённые формы, что все фондовые показатели не замедлили рухнуть вниз, к уровню 1993 года.

Пытаясь спасти положение, Пётр Мочалин привлёк в правительство когорту опытных управленцев, доверив контроль над всеми структурами Изику Найману, молодому выходцу из прослойки местных шаманов. Это был единственный человек, с 1992 года неуклонно проводивший в Пыльнёве программу приватизации. В результате торговли просветляющей жидкостью и раздела имущества в руках Наймана на момент его назначения было сосредоточено девяносто восемь процентов ссудного капитала Пыльнёвской монархии.

Архаический титул „батя“ он тут же поменял на звание коннетабля, что, по мнению аналитиков, служило лишь промежуточной ступенькой к его премьерству. Финансовые потоки были взяты им под контроль в течение двадцати часов. И самое главное: Найман был первый, кто предложил чёткую программу интеграции в мировое сообщество.

Несомненно, это был прогрессивный деятель той эпохи... Однако Пётр Мочалин и его окружение упустили из виду мелкорусский шовинизм местного населения. В результате рейтинг доверия был потерян, и народ перешёл на сторону Матвея Горшака, умело разыгравшего антисемитскую карту.

Правящую элиту обвинили в масонской линии, распродаже Родины, скотоложстве, педерастии и иных грехах (всё это, согласно традиции, следовало из обвинения в масонской линии). Не выдержав тяжести предъявленных обвинений, Найман написал заявление об отставке. Подписав заявление, Пётр Мочалин в тот же день отрёкся от престола и ушёл странствовать.

Восшествие на престол Матвея Великого потенциальные инвесторы встретили настороженной тишиной. Фондовые показатели достигли минимальной отметки в истории Пыльнёвского региона...»

На этой драматической ноте мы прервём цитирование Г. Е. Дотова. От себя заметим, что таким личностям, как Г. Е. Дотов, верить нельзя. Из текста, если знать метаполитические реалии конца века, хорошо видно, на кого работает этот насквозь продажный историк.

Его текст был помещён с единственной целью: показать, как низко пала мораль наших интеллигентов.

Дальнейший ход изложения затруднён.

Не наблюдая непосредственно ход событий, мы имеем ряд самых разных источников. О политической борьбе на территории Пыльнёва писали историки, политологи, журналисты. Естественно, все они ангажированы и намеренно искажают события. Мы выбрали по одному представителю из каждого лагеря: как правило, тех, кто отработывал свои деньги честно, то есть мог врать о происходящем в сердце Евразии с креном лишь в одну сторону. Работавших на нескольких хозяев мы отсекали.

Странная вещь: если, как говорят математики, подвести все тексты под один знаменатель, мы получим довольно правдивую картину событий. Лирический анархизм имени Иисуса Христа

Семён Вашнин, журнал «Экспрессия»:

«Матвей Горшак — будет ли понят этот человек в его истинном смысле, в ореоле его по-настоящему трагичной судьбы?»

Он пришёл почти как мессия, но только с обратным знаком. Этот человек настолько отвратителен, что его образ заставляет задуматься: а реальна ли его отвратительность, а не игра ли вся его жизнь?

Я долго вглядывался в эту судьбу и могу сказать лишь одно: Матвей Горшак, он же Матвей Великий, он же Матвейка-выпей-с-утра — выше нас всех, и выше Христа, ибо Христос принял крестные муки — и обрёл славу, а Матвей принял ради нас муки — и обрёл проклятие навсегда...

Он НАМЕРЕННО воплотил в себе все мерзости нашего многострадального народа, всё, чем грязна Россия, все нечистоты нашей ментальности, всё самое дерьмовое, что воплощает в себе так называемый „богоносец Достоевского“ и „естественный человек Руссо“, все ужасы, стоящие за словами „простой народ“ и „соль земли русской“. Всё самое мерзкое, что таится за якобы присущим народу стремлением к высшей правде, собрал он в себе. Всё, о чём гундосит русская классика, посрамил один человек.

Мало кто знает, что Матвей Горшак получил высшее образование в столичном вузе и, естественно, вести себя на своём уровне — а это, вне всякого сомнения, уровень истеричного животного — он просто не мог. Он, вне всякого сомнения, притворялся. Он был единственным, кто понимал французский Петра Мочалина, и единственным, кто догадывался о миссии таких паранормов, как батя Иван и батя Евстахий, и, может быть, — кто знает? — он раскусил даже цель визита полковника Джона Мейнарда (подчёркиваю — речь идёт об истинной цели, а смешной предлог, которым прикрывался Мейнард, нынче знают даже школьники). Он скорее всего прекрасно понимал феномен Пиндара, а также всё, связанное с изменёнными состояниями сознания и видами местных галлюциногенов.

А ещё он знал, зачем родился на свет. Он знал, зачем живёт и за что готов умереть, и я могу сказать, что его миссия вполне удалась... Матвей обманул всех, чтобы спасти. Он, несомненно, великий учитель, а его приём обучения — подвиг, не знающий примеров в нашей истории.

Он, молодой человек, прекрасно образованный, с шансами на карьеру в Москве или Петербурге, тем не менее уезжает в центр Сибири и поселяется в самом страшном месте, среди тайги, в так называемом „пыльнёвском квадрате“. Он общается с людьми, находящимися неизмеримо ниже его по интеллектуальному и нравственному критерию. Более того, он вынужден делать вид, что куда злее и глупее их всех — сначала ему не удаётся, а затем, ничего, Матвей Александрович привыкает, и вот он уже гроза здешних мест и Матвейка-выпей-с-утра.

Зачем? — спросите вы. А я улыбнусь в ответ. Теперь постарайтесь поверить мне, ибо другого объяснения просто нет.

В юные годы Матвей Горшак с гениальной точностью рассчитал, что если выбрать самое поганое место и быть в нём самым поганим обитателем, то рано или поздно — при современных средствах коммуникации — ты станешь мировой знаменитостью. Мир падок на сенсации, а „пыльневский квадрат“ издавна был обожаемым уголком для СМИ: областных, российских, мировых. И вот он решает добиться славы. Как видим, это легко удалось: если вы дочитали до этих строк, то вас волнует жизнь Матвея Горшака, а если вас волнует чья-то судьба, то этот человек знаменит.

Он знает, что его ждёт: его именем будут путать детей, материть соседей, называть злых собак... (Мы ведь знаем, что Чубайсами в русских деревнях называют, как правило, драных котов, — пожалуйста, ещё один мученик...) Но он идёт на это, чтобы воплотить дело жизни, раз и навсегда доказав ложь двух безумцев, двух шулеров, двух обманщиков: Толстого и Достоевского. А также всех, кто черпает воду из русской классики, этой реки шизоидного



безумия. И он, пожертвовав честью, всё-таки побеждает.

В чём ложь, с которой борется наш Матвей? Ложь гласит, что в глубинах нашего народа есть истина. А Матвей на своём примере показывает, что в глубинах нашего народа — как, впрочем, и любого другого — сплошное дерьмо, причём чем глубже, тем его больше. Ложь гласит, что по природе человек добр. Матвей показывает, что человек по природе зол. Ложь гласит, что простой народ как-то по-особому мудр, а Матвей доказывает, что простой народ по природе полный мудака, причём вполне заурядно, не по-особенному. Он доказывает ребячество нашей родины, и порочность спонтанной справедливости, и дурь православия, и много чего ещё, включая неизбежность исторического пути России. Иными словами, он твёрдо стоит на позиции жёстких философских школ Запада, преимущественно немецких: кантианства, ницшеанства и гегельянства. Я подчёркиваю: жёстких школ, ибо в их жестокости — сила. Кант — против Достоевского. Ницше — против Толстого. Нормальные люди — против доморощенных идолов. Матвей Александрович за нормальных, за тех, кто предлагал топить Матвейку-выпей-с-утра (чтобы эта мразь не плодилась), а не искал в ней дорогу на небеса. Кем надо быть, чтобы назвать бичей и потомственных раздолбаев созревшими богоносцами?

Матвей — апостол цивилизации.

Матвей — человек, положивший жизнь против варварства. Раньше него эту жизнь положили Парменид и Сократ, Джордано Бруно и Рене де Карт, Ф. В. Ницше и М. К. Мамардашвили, и он — продолжатель дела.

Вы скажете мне, что с ложью можно бороться и по-другому — писать книги, статьи, проводить реформы. Да, и это тоже. Но Матвей Горшак решил вопрос проще: он ничего не сказал, но всё показал.

Он довёл ситуацию до абсурда, чтобы все увидели её смысл.

Его короткое правление в Пыльнёве — венец того, во что может вылиться наша исконная дурь. Чего стоит культ Пиндара, детально разработанный и углублённый! Чего стоит охота на геев, от которой пострадало 40 процентов взрослого населения, из них половина — женщины! Чего стоят поиски агентуры, после которых выгорела треть Пыльнёва!

Чего стоит один закон, по которому разрешалось убивать „всякого подлеца“, если „чувство гнева было подсказано справедливостью“! Его отменили через двое суток, но население успело значительно поредеть. Чего стоит знаменитая пытка граблями и лопатой! Чего стоит диспут-клуб, куда заманили петровцев, заподозренных в верности эмигранту Мочалину! Чего стоит отрезание языка Кириллу Вознику лишь за то, что бедняга знал тринадцать слов на английском! Чего стоит указ, под страхом кастрации запрещающий верить в синих обезьян и прочую нежить! Наконец, чего стоит название новой формации! Лирический анархизм имени Иисуса Христа...

От смешного до ужасного — один шаг. И когда ужасного стало больше, в Пыльнёво, невзирая на опасения Москвы и протесты мирового сообщества, вошёл миротворческий корпус областного ОМОНа. От бандформирований Матвея Горшака Пыльнёвский район был очищен за двое суток. Цивилизация, как это подчас случается, пришла в дикие края на штыках. Несчастливым пыльнёвцам объяснили, что такое Конституция и законность. Народ впервые начал строить себе НОРМАЛЬНУЮ жизнь.

Имя же Матвея Горшака навсегда осталось вписанным в мировую летопись. И никто не поймёт, во имя чего этот одинокий человек взял на себя проклятие...» Свобода в крови

Леонид Зубан, общественно-политическое движение «Новая амнистия»:

«Оккупацию независимых государств мы называем восстановлением Конституции, расстрел деревень из гранатомётов — зачисткой территории, преследование народных лидеров — борьбой с терроризмом.

О да! Мы, конечно, белые либералы и пушистые демократы, а если наши дети где-то проливают свою и чужую кровь — это происходит слишком далеко от нашего дивана, чтобы об этом знать.

История ничему не учит — как и пятьсот лет назад, мы живём в империи варваров. „Пыльнёвская операция“ — из тех, что приносят звёздочку на погоны сталинским мясникам... Наши политики и генералы залили слезами всю жилетку: их, дескать, не понимают... Сиротливых палачей нестерпимо жалко: в их любимых странах за такие дела посвящали в рейхсфюреры, а в свободной России дают лишь прибавку к жалованью. Поэтому они сетуют на малопатриотичные времена... Но ничего: сегодня камуфляжные мальчишки пришли в дома пыльнёвских крестьян, завтра они сломают двери наших квартир. Они солдаты, и понятие совести не значится в списке их амуниции. Они всего лишь выполняют приказ... А приказывать, как мы убедились на днях, в России умеют.

Пыльнёво обладало культурой, пусть отсталой, но своей, самобытной, возникшей путём отбора, а не принятой под прицелом федерального автоматчика. Мы хотим убить эту культуру — а значит, убить душу народа, уничтожить его свободу. Неужели, убив свободу суверенной страны, мы рассчитываем сохранить свою собственную?

Обращая в рабство гордых, независимых пыльнёвцев, мы подходим к тому, чтобы самим выстроиться в шеренгу и с песней потопать в новый ГУЛАГ. Благо, нас есть кому конвоировать.

Матвея Горшака упрекают в необразованности, но вспомним историю: разве Жанна д'Арк — интеллектуалка? Вряд ли эта девушка знала высшую математику и тонкости парламентской демократии. Но такие люди, как Жанна д'Арк и Матвей Горшак обладают большим, нежели знание, — инстинктивной тягой к свободе. Быть свободным для Горшака столь же естественно, как дышать, ходить, спать и видеть сны. Они взяли в руки оружие не по злобе, а по инстинкту: мы слишком ленивы, чтобы понять людей, считающих смерть лучшей долей, нежели жизнь под ярмом московских государей и их своры — вечных ястребов, заиндевелых державников, потомственных шовинистов. Мы все под ярмом, только боимся себе признаться — ведь нам тепло, сытно и можно тешиться привычной иллюзией.

А Горшак не может жить так, как мы, трусливые россияне больших городов. И он прав. Важно понять, что он не один. Это признанный лидер пыльнёвского народа. Если пыльнёвский народ сплочён вокруг него и стоит за право жить по своим законам — разве он не заслуживает лучшей доли, чем мы?

Все так называемые репрессии Горшака — всего лишь защитные меры, направленные на сохранение независимости. Да, в Пыльнёве кое-кто преследовался... Но наши СМИ молчат, на кого был направлен превентивный удар Горшака! Правда проста: пострадал лишь тот, кто собирался встать на сторону агрессоров-федералов, предав свой народ, свободу, права человека. Вечное братство имени Железного Феликса, союз всех бывших и будущих кагэбэшных кадров — вот та клоака, в которой родился слух об автократическом режиме Матвея Горшака. Он защемил хвост нашей извечной крысы, и вот уже эта крыса пищит, а крысята, взяв „Калашниковы“, идут на приступ.

Силы были неравны, и гидра державности — на радость всем больным, негодьям и прочим патриотическим элементам — задушила в своих братских объятиях свободу маленького новорождённого государства. Бойцы Горшака до последнего патрона отстаивали своё право жить не по лжи (таков был девиз их лидера). Но, увы, наша варварская империя победила, и

в Пыльнёве с позором стоит оккупационный корпус.

Однако люди, у которых свобода в крови, никогда не смиряются с таким подданством. Борьба продолжается, и я молю Бога, чтобы нашим горе-генералам пробили их милитаристские черепа. В этих черепах давно не хранится ничего ценного — одна извилина, прямая, как приклад автомата, да пропагандистский бред, да умение жечь беззащитные сибирские деревушки.

Разве можно осуждать пыльнёвцев, взорвавших в среду представителя президента РФ? Сатрап приехал к ним погостить, но он перепутал. Он думал, что Пыльнёво — это уже часть Красносибирской области... Но Пыльнёво — не плантация рабов, а всё такая же линия фронта. Война никуда не делась. Война закончится лишь с уходом последнего нашего фашиста из пыльнёвских деревень. А пока война идёт, на ней погибают люди, и жаль, когда это беззащитные пыльнёвцы, и ничуть не жаль, когда это агрессоры. Представитель президента принял смерть за грехи своего режима, и разве не это называется Божьей карой?

Пыльнёвцы, повинувшись безошибочному инстинкту, саботируют так называемую „программу экономического выздоровления“. Они знают, что не всё продаётся за чечевичную похлёбку и московские трансферты. Более того, партизанские действия продолжаются. Проиграв битву, мы не проиграли войну, сказал своим людям Матвей Горшак, временно отступив на Запад. И люди ему поверили. И что им пожелать, им, настолько превосходящим нас? Того, в чём они и так выше всех, — мужества перед лицом неизбежной смерти...» Контр-инициация

Глеб Решайло, «Асгард», издательство партии социал-националистов:

«Осенью этого года мы пережили великое событие, но мало кто понял: с лица земли Евразии сметён последний островок инициатического культа, восходящего к гиперборейской, премордиальной Традиции. Используя низкую абраимическую природу людей и грубые энергии, ставшие в эпоху Кали Югу довлеющими,

иудо-христиане — а всё иудо-христианство есть только филиал авраамического пути посвящения в контр-традиционную школу — сокрушили то, что последние столетия сохраняло себя под именем пыльнёвского феномена. Удар, нанесённый в сердце Традиции, был щедро спонсирован мировым правительством финансистов, и это можно понять — Пыльнёво оставалось единственным уголком России, не попавшем под влияние неорозенкрейцеров, масонских лож и более чем сомнительного „Братства-666“ (имеющего истоки в том же тамплиерском ритуале, возрождённом в присутствии Сатанаила сэром Алистером Кроули — великим магом, поклявшимся на крови младенца отомстить Шамбале за смерть своего духовного наставника).

В наши времена уже не секрет, что до крещения Руси мы были не чем иным, как окраинной провинцией великой Арийской Империи, раскинувшейся на пространстве от Карпат до Тихого Океана. Империя существовала — по последним данным, сверенным с тибетскими пра-источниками, — порядка восьмисот тысяч лет. Наши предки знали светлого Бога, обряды подлинной инициации и воочию видели, что такое Золотой век. Они умели левитировать, ходить по воде, перемещаться посредством телепортации и т. д. (сейчас эти умения сохранили только отшельники на Востоке и высшие иерархи масонерии, дошедшие до перламутрового градуса посвящения, — как правило, это уже не человеческие сущности, причём по обе стороны великой черты; также кое-какие способности наших предков достались Христу, когда он проходил обряд в индийском храме Шивы, — их проявление вошло в историю под названием библейских чудес). Люди в те времена были выше ростом и могли мыслью отдавать приказы животным, растениям и рабам. Таково было царство гармонии, продлившееся почти миллион лет.

Но затем, примерно пять тысяч лет назад, подул космический ветер, несущий с собой низкие

энергии материального мира, и великая империя дала трещину. Боги полу-материального мира сошли в мир, и люди, забыв Единственного Бога и Отца всех богов, стали поклоняться в лучшем случае полубогам, в худшем — демоническим сущностям. Естественно, что те выдавали себя за Верховного Бога и многие ловились на крюк обмана. Такова, например, трагедия еврейского народа, взявшего себе богом заурядного демона, пришедшего из другого конца Галактики, — речь идёт о пресловутом Яхве, которому до сих пор приносит жертвы так называемый Лондонский Круг. В этом не столько вина, сколько беда простого еврея — мы, не будучи антисемитами, честно признаём этот факт... Но это и закон кармы: если бы в реинкарнациях эти люди не были грешны, то не родились бы среди иудо-магического дьяволопоклонства.

Империя ариев распалась на кровоточащие куски, а Враг рода человеческого, почувствовав своё время, вышел на свет. Тогда же родились все тёмные братства, ставящие целью подготовить землю к его приходу... Их оружие — материализм, прагматизм, вера в могущество товарно-денежных отношений. Позднее на этой почве возникли современные вероучения, инспирированные, как и следовало ожидать, самой тёмной частью масонства, приверженцами так называемого алого ритуала: марксизм и теория „открытого общества“. Особенно страшна идея прогресса, зачатая магистром Валленродом посредством ритуального совокупления с эманацией богини Кали в оккультном „Братстве Луксора“ — ведь если мир вырождается, то называть это движением прогрессом могут только Враг и слуги Врага!

Европа — как пространство тяжёлой, приземлённой энергетики — наиболее легко попала под пяту иудо-масонских магов. Извратив учение Христа, захватив науку и контроль над банковским капиталом, чёрные мистики утвердили своё господство. Но Европа — далеко не весь мир. Одной из преград на пути к мировому доминированию стала Россия, и адепты контр-инициации разработали чёткий план... Его осуществление началось полторы тысячи лет назад. Напомним, что в те времена Русь была анти-профаническим государством и преемницей Арийской империи, онтологически утверждающей доминирование Единого Бога. Поняв нереальность явной войны, нам навязали самую страшную духовную мясорубку из имевших место в истории человечества.

Тех, кого интересуют все нюансы борьбы, мы отсылаем к нашим книгам „Гиперборейский культ“ и „Ночная геополитика“. Напомним, что основными успехами контр-инициативных групп в нашей стране были введение православной веры, отвержение Золотой орды, разорение Новгорода руками Ивана Грозного, становление династии Романовых, петровские реформы, февральский и октябрьский перевороты, перестройка и приватизация всей страны. Гиперборейская вера победила только однажды, с подавлением масонского мятежа 1825 года.

Обратимся к недавней битве и последнему гвоздю в гроб премордиальной Традиции. Что же всё-таки случилось в Пыльнёве? Адепты знают, что „пыльнёвский квадрат“ (кстати, это профанированное название, данное тёмными братствами через СМИ; правильнее называть это место шестигранником Санкхья Лахар или кострищем Одина) — последний осколок Империи ариев, некогда занимавшей территорию от Рейна до Курильской гряды. Это заповедное место, русская Шамбала, сибирское царство Святого Грааля... Это территория, где древняя элита волхвов держала полноту власти. Тайным ритуалом их каста поддерживала жизнь на земле в согласии с законом Божества, данным два миллиона лет назад. Священные тексты запрещают нам детально описывать эту мистерию, скажем только, что суть заключается в планетарной работе с тонкими энергиями через Логос. Именно в этом, согласно сакральной Традиции, заключается земная функция высшего сословия посвящённых. Стержень БОГ — ЗЕМЛЯ — ЧЕЛОВЕК сохранялся в кристальной чистоте, что, исходя из основ Традиции, давало всему живому шанс на спасение... С надломом стержня — а именно таков итог страшных событий этой осени — шанс теряется и наша планета окончательно переходит в разряд проклятых.

Пятьсот лет назад волхвы, уцелевшие в ходе страшных репрессий якобы христианской Церкви, выбрали это место и оградил его барьером энергии, чтобы здесь, вдали от мира, вершить ритуал. Наряду с Тибетом и Памиром это был самый далёкий от действия контр-инициатических сил регион, что и послужило причиной его выбора. Волхвы понимали, что в эпоху Кали Юги дело Арийской империи безнадежно, но, несмотря на это, островок Традиции сохранить ещё можно.

На протяжении столетий защита стояла жёстко. Используя главным образом тонкий план, ведуны отводили любую опасность от шестигранника Санкхья Лахар заблаговременно. В своё время Екатерина Вторая подписала указ, в котором велела не проводить насильственную христианизацию данных мест. Она же придержала местного губернатора, когда тот решил любой ценой утвердить в Пыльнёве примат светского, уже порядком демонизированного законодательства над положениями Традиции. Повинуясь незримым импульсам, русские самодержцы всегда становились на сторону ведунов, как только возникала опасность утраты Пыльнёвом его духовного статуса. Получалось, что шестигранник всегда жил по своим законам, окружающий мир был для волхвов едва заметен.

Когда на деньги контр-инициации в стране пришли к власти большевики, статус Пыльнёва опять был спасён на самом высоком уровне. Сталин лично подписал директиву, давшую Пыльнёву автономию и спасшую пыльнёвцев от ужаса коллективизации.

Но вот пришли новые времена, а следовательно, и новые возможности у мировых сатанинских сект. В 1996 году на Совете тёмных иерархов в Лос-Анджелесе было решено покончить с шестигранником Санкхья Лахар любой ценой, ибо больше в России, по правде говоря, кончать уже было не с чем... Общину было решено развалить изнутри, пользуясь невежеством местного населения (вот что было серьёзнейшей ошибкой волхвов: будучи адептами высшего уровня, они не проводили обрядов инициации в среде местных жителей, с 1900 года направив все силы только на выполнение ритуала).

На деньги Ордена восточных тамплиеров и масонской ложи „Взаимодействие“ была подготовлена агентура: Пётр Мочалин, Матвей Горшак и ряд менее значимых специалистов. Располагая навыками оперативников и самой современной аппаратурой, они были внедрены в среду простых пыльнёвцев и довольно быстро, как и планировалось, стали неформальными лидерами. Главное условие, которое поставили перед ними при заброске, — ничем не отличаться от местных, и оно было выполнено. Джон Мейнард, масон тридцатого градуса и наследник медитативной техники Кроули, служил связным, но с целью конспирации был убран своими же.

Сценарий был утверждён в деталях. Рассчитав по астральным картам лучшее время, агенты подняли вооружённый мятеж, причём все группы, якобы оспаривавшие власть, подчинялись одному центру. Ведуны поначалу не придали значения мятежу, расценив его как чисто светский конфликт или даже бытовую свару никогда не трезвеющих мужиков. А к тому времени, когда они постигли истинный смысл происходящего, сопротивление было обречено. Предательство Наймана, в решающий момент перешедшего на сторону контр-инициации, лишило волхвов последнего шанса...

Возрождение люциферического культа Последней Свиньи и почитание Пиндара за её пророка показало миру истинное лицо восставших. Последние сомнения умерли: конспирологи разглядели, кто стоит перед ними.

Мятежники изначально преследовали две цели: во-первых, под видом обычных зверств начать планомерное истребление касты волхвов, во-вторых, — и это куда более важно — спровоцировать ввод Российской армии, а затем — установление чрезвычайного положения на территории Пыльнёва.

Расчёт идеально точный: вопиющее нарушение так называемых прав человека не позволило официальным российским властям оставаться в стороне. Нарушив суверенитет Пыльнёва, ОМОН пересёк границы запретной зоны. Матвей Горшак создал видимость кровавой борьбы, но уже через двое суток сдал все позиции и выехал к своим хозяевам за рубеж. Сейчас у этого народного кумира дом в Австрии, два миллиона долларов на счетах и пост в венском обществе почитателей Азраила. Сибирский самородок прекрасно говорит по-немецки и по-английски, а его любимый собеседник Пётр Мочалин проживает в том же пригороде. И это — не сказки. Это — часть подлинной истории мира, открытой нашими конспирологами.

Мы видим последний этап разгрома шестигранника Санкхья Лахар. Вслед за ОМОНОм в Пыльнёвский район вошли контролёры от ФСБ. Однако балом правят даже не они, а срочно приехавшие инквизиторы от Моссада, причём все они признают главенство восточных тамплиеров и „Братства-666“. Цель одна — вырезать то, что осталось от древней касты хранителей нашего мира... Лучшие спецы из лож приехали, чтобы довести до конца энергетическую зачистку. Ни губернатор Красносибирской области, ни Москва не могут им воспрепятствовать, ибо Россия признала контроль мирового финансового правительства.

Быть может, именно сегодня убили последнего ведуна.

Что из этого следует? Подлинный воин дерётся, даже оставшись один против целой армии. Подлинный воин дерётся, даже умирая. Так будем же воинами!

Слава России!

АУМ» Загадка русской души

Доктор исторических наук Г. Е. Дотов:

«Введение в Пыльнёвский район подразделений милиции было позитивно встречено всеми возможными индикаторами. У пыльнёвцев после двух месяцев жесточайшей тирании наконец-то появился шанс на стабилизацию.

Главари бандформирований бежали, поняв бесперспективность сопротивления. Первый же соцопрос показал, что в период правления Матвея Горшака пострадало девяносто три процента местного населения. Точнее сказать, такой процент назвал себя пострадавшими. Однако — и это удивительный факт! — лишь тридцать пять процентов населения осудило режим Горшака, сорок семь процентов его поддержало, остальные заняли промежуточную позицию. Специалисты, за неимением лучших версий, объяснили это загадкой русской души.

Назначив на 6 февраля 2000 года дату первых независимых выборов, пыльнёвцам доверили самим решить своё будущее. Фондовые показатели медленно, но верно поползли вверх... Избрание главы района по демократической процедуре должно было стать важнейшим этапом социально-экономического выздоровления. Надежда, что новый лидер совместит в себе харизматичность, столь необходимую в местных условиях, и легитимность, на которой настаивали Москва и Красноярск, воодушевила потенциальных инвесторов.

Однако, когда первые два кандидата пришли в избирком, индекс привлекательности региона рухнул на отметку 1994 года. Претендентами оказались деятель коммунистического подполья Василий Иннокентьевич Прелый и некто Корицо, не имеющий фамилии, имени и отчества, но известный как местная легенда и коренной пыльнёвец. Компетентные источники утверждают, что, не имея дома, Корицо жил в шалаше, обеспечивая себя редким подаянием и умеренным воровством... Демократы расценили это как вызов идеям гражданского общества. Недолго думая, они поставили на своего кандидата. Выбор пал на Эдуарда Альбертовича Корнелова, родившегося в Сивушках — самой бедной деревне Пыльнёвского района. В семнадцать лет он покинул малую родину, поступив на факультет экономики Красноярского университета. Получив в 1985 году красный диплом, Корнелов остался на кафедре. Защитив кандидатскую,

ушёл работать в исполнительные органы власти Красносибирской области, но, узнав о тяжёлом положении своего района, не мог остаться в стороне от его проблем и дал согласие на своё выдвижение.

Другие кандидаты были не менее экзотичны, чем первые два. Ими стали Евстахий Ботов, ради участия в выборах прервавший, как он сказал, долгосрочную поездку на небо, и студент пятого курса Георгий Лишков, которому, как он заявил, участие в выборах необходимо для написания дипломной работы. Шестой кандидаткой зарегистрировалась Екатерина Морская, объяснившая своё участие близостью к божеству. По её словам, когда-то она имела сексуальный контакт с Иосифом Пиндаром в форме вуайеризма, что изменило её жизнь и подвигло к активному участию в большой и малой политике. Её поддержала структура, созданная в правление Горшака, — „Церковь святого Пиндара и пророков“. Седьмым кандидатом стал Михаил Полекратов, по его словам — бизнесмен, по его же словам — приехавший в Пыльнёвский район из Москвы. Местное население тут же сошлось во мнении, что это ставленник олигархов.

Это мнение было опровергнуто самой жизнью: ни один базовый показатель не дрогнул от его участия в выборах». AL-2 и всё такое

Игорь Бондарев, майор КЧН:

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (сов. гл., 727.ФА, уровень допуска 8/5)

Этой осенью наш противник одержал значимую победу.

Цель — уничтожение следов Контакта — была во многом реализована, но у Комитета остаётся шанс изменить ситуацию в свою пользу. Осознав, что так называемая Сибирская Площадка (она же „пыльнёвский квадрат“ и, на языке малограмотных, шестигранник Санкхья Лахар) полностью рассекречена совместными усилиями КЧН, ЦРУ и службой Тхай Брэг, служители культа Великого Неизвестного, а попросту говоря, контактёры с цивилизациями Чёрного Пояса (на местном наречии — ведуны) на очередном собрании круга приняли решение стереть все паранормальные особенности „пыльнёвского квадрата“. Место, столетия служившее своеобразной космической явкой, перестало устраивать их ввиду слишком очевидных причин. Было решено перенести Площадку в иные, более закрытые для спецслужб места, а все следы существования Площадки на территории Красносибирской области уничтожить.

Стратегическое решение о переносе Площадки было принято ещё в начале 1998 года, однако ряд причин помешал приступить к немедленным действиям. Насколько мне известно, постепенная эмиграция ведунов началась примерно полгода назад, тогда же для местного населения был фактически закрыт существовавший веками выход на цивилизацию AL-2 (её визитеры в местном наречии назывались синими обезьянами). Это было сделано через монополизацию препаратов так называемой „группы Фауста“. Контакт с нежитью, то есть иными формами нашего земного существования, был сохранён ввиду безопасности такой связи для служителей культа Великого Неизвестного. Впрочем, и контакт местного населения с цивилизациями AL-2 прошёл без последствий для истории человечества. Причина проста: население Пыльнёва, в силу особенностей своего сознания, не могло видеть в контролёрах из Чёрного Пояса то, чем они являлись. Что касается проявления иных планов земной эволюции — речь идёт о драконах, кощеях, чертях и т. д., — то их можно наблюдать в любом месте, располагая нужным препаратом и „магией витязя“, кстати сказать, довольно простой. Скрывать эти планы нет никакой нужды, впрочем, они и не скрывались, невольным доказательством чего служит русский фольклор.

Не в силах сорвать глобальные планы Круга, я исходил из ряда локальных задач:

1) Следуя инструкции, ликвидировать убийц Мейнарда (форма цэ-эф один);

- 2) Собрать последние данные о Площадке и выяснить детальный план её переноса;
- 3) Оставить в среде контактёров хотя бы одного негласного сотрудника КЧН.

Все задачи были выполнены мной, но все — на частичном уровне.

Ликвидация исполнителей не составила большого труда, однако заказчик — предположительно им был иерарх, известный в своей среде как батя Иван, — ввиду неодолимых причин ушёл от ответа.

Последние дни Площадки изложены мной в детальном отчёте (сов. гл., 729.ФА, уровень допуска 8/5), северовосточная папка. Общий ход событий совпадает с моим прогнозом от 05.05.99.

Как и ожидалось, феномен Пыльнёва было решено стереть руками самих пыльнёвцев. Местное население, состоящее из люмпенов, алкоголиков и криминального элемента, идеально подходило для выполнения этой задачи. Спровоцировав бунт, ведуны поставили во главе его параноиков (Матвей Горшак, Пётр Мочалин и т. д.), пригодных лишь к разрушению. Снабдив их оружием и популистской программой действий, ведуны ускорили темпы эвакуации, наблюдая, как в революции сгорают остатки их высокой культуры... В ходе чудовищных репрессий Горшака не пострадало ни одного ведуна. Им позволили выехать из страны, оставив только координаторов (например, Артемия Наймана, более известного под кличкой Батя Изик, также Иоанна Лайоша, известного под кличкой Батя Иван и т. д.).

Под прикрытием революции спецотряд, снабжённый взрывчаткой, — так называемая пятая центурия Калигулы — разрушил всё, что могло послужить уликой Контакта. Когда задача была решена, нужда в правлении Горшака отпала, и губернатору области на тонком плане было велено ввести омовские подразделения. Лишённые протекции ведунов, мятежники не могли долго сопротивляться. Ополчение было разбито, тирания пала. С целью конспирации Матвей Горшак и Пётр Мочалин были увезены в Европу, где ведут жизнь состоятельных буржуа. Приём прост: их сознание очищено таким образом, что в нём не осталось даже упоминания о служителях Великого Неизвестного. Легко догадаться, что этих людей так или иначе допросят в наших структурах. Очевидно, что все данные, полученные таким путём, послужат нам отборной дезинформацией.

Перед противником встала последняя цель: превратить Пыльнёвский район в простую глубинку Красноярской области, лишённую не только улик, но даже исторической памяти. Для этого нужно поставить над ней своего человека, и такой человек баллотируется на пост главы районной администрации — это Евстахий Богов (подлинное имя: Лютеций Марбениум). С учётом парапсихического дара Евстахия Ботова можно уверенно назвать его фаворитом предвыборной гонки. Помимо дара, он обладает поддержкой красносибирского „Яко-банка“, основанного в 1995 году на средства Артемия Наймана. Наконец, он просто ведун, а значит, автоматически свят для пыльнёвского народа. Кроме его шансов, о нём практически ничего не известно.

Об остальных кандидатах.

Василий Прелый — истинный осколок революционной элиты. По убеждениям — сталинист-циклофреник, ранее — анималист, почитавший в качестве тотема социальной справедливости молодую свинью мужского пола (кличка животного: Пиндар). Восстание не дало ему власти, но подарило солидный рейтинг. Несколько раз завербован и перевербован, что только подчёркивает его опасность. Политическая программа достаточна, чтобы за ней пошли: сделать так, чтоб всем было хорошо и никому не было плохо. Несогласных с этой программой Василий Прелый предлагает топить и закапывать живьём в землю, что в глазах потенциального избирателя усиливает привлекательность его имиджа.



Плюсы: непредсказуемость (может пожертвовать собой, чтобы обмануть врага). Минусы: меланхолия, склонность к компромиссу, вера в кумира (при упоминании Пиндара плачет и теряет политическое чутьё). Особенности: равнодушен к смерти, холост по идейным соображениям. Спонсоров не имеет. Выражает интересы крайних социалистов.

Корыто — лоббист группы так называемых овражных бомжей. Имя и фамилия отсутствуют, возраст, по всей видимости, средний. Убеждения скрывает. До недавнего времени известен как самый божий человек в Пыльнёве. Причина того — его нестяжание. В восстании участвовал, но высот не достиг: пушечное мясо любого переворота. Политическая программа отсутствует, в чём состоит её популярность (каждый считает, что Корыто борется за него — в этом суть пыльнёвского менталитета). Рейтинг примерно равен рейтингу Василия Прелого. Возможен блок с учётом схожести их программ.

Плюсы: народность, простота, честное имя. Минусы: пропитость харизмы. Особенности... Он сам — особенность. Спонсоров не имеет. Помимо овражных бомжей, наиболее близок среднему классу.

Екатерина Морская — красивая девушка. Как политик рождена революцией. Во времена тирании Горшака создала „Церковь святого Пиндара и пророков“, ныне запрещённую (одно из оснований запрета: Церковь благословила геноцид). По убеждениям законченная пиндарка, нарекает себя невестой Пиндара и т. д. Психически, судя по всему, нездорова. Политическая программа состоит в том, что она богиня и на основании этого знает истину. После смерти жениха она стала легитимной правительницей и т. д. Борьба с неверными значится главным пунктом. Социально-экономически пиндаризм близок идеологии Василия Прелого, возможен их блок.

Плюсы: женственность, эротичность, доступность для избирателя. Минусы: паранойя, очевидная для любого непараноика. Особенности: женская логика, бесплодие, иммунитет к сибирским морозам. Спонсора не имеет, но может найти. Политическая база — сторонники пиндаризма.

Эдуард Корнелов — монетарист и ставленник губернатора. Родился в Сивушках Пыльнёвского района, но как личность сложился в большом городе. Женат, воспитывает сына, собирает взятки и ордена Второй мировой. Всю жизнь работал чиновником, баллотироваться не собирался... Губернатор, имеющий привычку ставить своих людей, убедил его это сделать.

Программа написана на сорока листах, написана плохо (автор не знал особенностей района). Набор пустых фраз: свобода слова, рост производства, семь страниц о тарифах и реконструкции... О том, что делать со сволочью, не сказано. Сволочь вообще не упоминается, хотя даже Корыто знает, что так нельзя: он, правда, ничего не говорит, но проводит агитацию с таким видом, что сволочь всё-таки видна... Одним словом, программа расходится с ожиданиями людей, но в этом и её преимущество: определённая часть пыльнёвского народа из принципа любит то, что расходится с его ожиданиями.

Плюсы: поддержка облизбиркома, хорошее финансирование. Минусы: далёк от народа, а кроме того, не заинтересован в своей победе. Особенности: бисексуальность. Спонсоры — банк „Инсайт“, „Наштяжмаш“, ОАО „Новые технологии“ и т. д. (ряд фирм, имеющих налоговые льготы взамен прямого финансирования идей губернатора). Пока ничьей поддержкой не пользуется, однако способен выйти во второй тур.

Георгий Лишков — см, предыдущий отчёт (726.ФА, уровень допуска 5/5). В настоящий момент проходит обучение у Бати Ивана (Иоанна Лайоша). С вероятностью пятьдесят процентов сохранил верность должностным инструкциям КЧН, с той же вероятностью — работает на противника. Согласно моей версии, все свои голоса отдаст Евстахию Ботову и идёт на

выборы ради этого.

Плюсы: возможное покровительство Иоанна Лайоша. Минусы: молодость, отчуждённость, социальное положение (происхождение плюс образование). Особенности: см. отчёт 726.ФА. Вероятность его победы равна нулю.

С учётом всех обстоятельств наш кандидат Михаил Полекратов попал в тяжелейшую ситуацию. Несмотря на кредитную линию, открытую под него в „Пинтобанке“, выход Полекратова во второй тур остаётся проблематичным.

Предлагаю два варианта: либо обработка основных конкурентов по форме цэ-эф один, либо вербовка Корнелова и ориентация нашей помощи на него.

Уже сейчас очевидно: следствием победы ставленника ведунов будет полное закрытие Пыльнёвского района для нашей работы». Как говаривал В. И. Ленин

Ким Запашной, газета «Сопротивление»:

«И вновь поганые ручки тянутся к тому, что веками обживал наш народ...

Чем было Пыльнёво последние десять лет?

Островком законченного народовластия — посреди мутного времечка и пира в период чумы. Страна задыхалась под гнётом новоявленных нуворишей, а в Пыльнёве простые люди решили: баста! Труженики, как это говорится, развернули оглобли. Взяли власть в свои кулаки и не продали её никому: ни Гайдарам, ни березовским, ни педерастам... Народ жил по своим понятиям. И что, народ жил хуже, чем надо?

Сейчас о Пыльнёвской республике сочиняют: якобы там низкий уровень жизни, повальная наркотизация, криминогенная обстановка. Но кто это говорит? Та сволочь, что всё пропила и заделала Великую Державу в бордель, где трахаются нерусские! Это у нас, в остальной России: голодрань, криминал, обнищание трудовой копейки... А Пыльнёво было последним авангардом СССР, местом, где жили по-честному. В. И. Ленин не молвил бы зла. Заработал — получи. Хочешь нажиться на горбу — получи в довольную харю. Не так, что ли?

Пётр Мочалин, Матвей Горшак — где вы, избранники, не пускавшие троглодитов на родные поля? Где вы?... Сгнули. Они в тюрьмах. Сейчас все честные люди в тюрьмах. Одни жулики на свободе, чтоб сосать наши гроши, обращая их в миллиарды долларов.

Как всем известно, в Пыльнёве обнаружены богатые залежи. И вот уже поганые ручки вынуты из карманов...

Троглодиты слетаются на халяву: мсье Полекратов залетел из Москвы, губернская крыса покинула нору, где облизывала хозяина, золоченый денди Лишков вылез из угара, прочухал и понял, что в этой жизни работать не собирается. А значит, пора дурить земляков... Впрочем, зелёную соплю можно и пожалеть. А вот крысу по имени Корнелов ждут кое-какие пожелания от народа.

Хочется спросить, как в русской народной басне: а спонсор-то кто? На чьи деньги голосование? Ясно, чем рассчитаются за подачку: залежи пойдут на известные буквы, а пыльнёвцы останутся с известным предметом.

Поэтому Василий Иннокентьевич Прелый — наш кандидат. Во-первых, это мужик. Во-вторых, он прошёл свой путь, начав буквально с лопаты... В-третьих, всё уже решено.

И хотелось бы добавить народной мудрости... Как говорил В. И. Ленин: русские не сдаются». Заратустра — не блядский фиг

Кочубей (на Лёхиной кухне):

«Слышал плюшку: Герка-то к чуханам поехал... Да не гоню. Хочет на выборах прикольнуться. Отсекаешь? Я спрашиваю: чё, совсем мозги завинтил? А он бухтит всякую хрень... Ладно, говорю, выживай. Да смотри, чтоб без косяков, а то так пригрузят, что не отмажешься. А он улыбается, как шизой. Отсекаешь, чё с Геркой-то? Нормальный парень был, не гопа. Да он и сейчас такой, только на политику вот пробило. Я так думаю: пусть себе пробило, главное, чтобы бабу нашёл. Женщину, говорю, мечты. А с бухлом у них всё как надо... Ладно, брат, за любовь, как говаривал Заратустра! Это философ тебе, а не блядский фиг...»

Карина Шаинян

Рыбка

Запоздалая весна пришла в город О. воскресным утром: растеклась киселём по дворам, отразилась низким небом в лужах, запуталась среди блёклых домов туманом, пахнущим канализацией и варёной рыбой. Это был запах из детства, запах невкусного обеда, который нужно съесть, чтобы не ругали родители, — или, если повезёт, улучшить момент и тайком вывалить в унитаз. Привычная тоска, наваливавшаяся на Артура каждое утро, от этого запаха стала невыносимой: понятно было, что она не развеется после утреннего чая. Требовалось что-нибудь подейственнее.

Поплескав в лицо водой, Артур прошлёпал на кухню. Холодильник распахнул попахивающее утро. Полки были пусты, лишь в углу сиротливо стояла банка горьковатой икры минтая. Артур выудил из дверцы бутылку и разочарованно вздохнул: портвейна оставалось на самом доньшке. В другой день этого бы хватило, чтобы вновь примириться с жизнью, но не сегодня: к унылым весенним запахам подмешивался аромат стружки, долетавший с площади перед мэрией, — ещё вчера начали строить трибуны, готовясь к традиционному соревнованию. От чужой жизнерадостности Артур чувствовал себя настолько несчастным и никому не нужным, что от жалости к себе перехватило горло. Нужно было идти в магазин.

С портвейном и мороженым минтаем на ужин (на боку обезглавленной тушки ясно виднелся отпечаток ребристой подошвы), уже предвкушая скорое облегчение, Артур шёл домой. По правую руку тянулся забор: строили новую школу. Из-за ограды доносились детские голоса.

— Рыбка-рыбка засоси, — нараспев причитал детский хор, — и назад не отсоси.

Приглушённые туманом голоса звучали торжественно и печально. У Артура засосало под ложечкой. Ворочались мысли об одиночестве и неприкаянности, о каких-то неясных возможностях, упущенных таким же туманным весенним днём, о главном в жизни соревновании, проигранном по глупости и малодушию. Он заторопился, охваченный желанием выпить, повернул за угол и налетел на давнего знакомого.

— Как на пожар, — недовольно буркнул Иван Петрович и, взглядевшись, воскликнул: — Артур! Куда это ты?

— Да так, гуляю, — с досадой ответил Артур.

Он сделал движение, собираясь идти дальше, но Иван Петрович поймал его за рукав.

— Давай вместе пройдемся. Я тоже сегодня дома усидеть не могу. Такой день! — он увлёл

Артура к дыре в заборе, подтолкнул вперёд и ловко протиснулся следом. — Ух, какая лужа, почти как у мэрии! — с восторгом заметил он.

По рыжей мутной воде понятно было, что дно огромной лужи сплошь состоит из размокшей грязи, густой и липкой. На берегу столпились дети, обутые в красные сапожки, — среди них были и шестилетние карапузы, и насупленные старшеклассники. Они заворожённо следили за белобрысым подростком, осторожно входившим в воду. Его лицо было сосредоточено и напряжено. Мальчик вошёл в грязь и задёргал коленками, ритмично и неглубоко приседая. Привычные движения казались почти непристойными, но не вызывали и тени улыбки, в них мерещилось что-то жуткое. «Рыбка-рыбка, засоси», — донеслось до Артура. Жидкая глина всхлипнула, и мальчик провалился по пояс. Дети радостно загомонили, вытаскивая приятеля на берег.

— Далеко пойдёт, — одобрительно заметил Иван Петрович и прищурился. — А вон и младшенький мой. Вовка! — крикнул он.

К ним подбежал взволнованный старшеклассник с широким лицом и цепкими глазами. Окинул Артура угрюмым взглядом и презрительно усмехнулся. Иван Петрович нахмурился.

— Ты чего здесь делаешь? — строго спросил он.

— Тренируюсь же, пап, — ответил Вова, — ещё целых три часа до начала.

— Марш домой, — сказал Иван Петрович, — тебе ещё переодеваться и сапоги мыть.

— Ну пап, — заканючил Вова, но отец рявкнул:

— Марш, я сказал!

Вова побрёл прочь, сунув руки в карманы. Иван Петрович развёл руками:

— Переживает. Днями напролёт тренируется, уроки запустил. А я разве не волнуюсь? Боюсь, как бы не переутомился...

Артур согласно покивал. Отступившая было тоска нахлынула вновь. Иван Петрович это заметил и сменил тему, спеша сгладить бестактность.

— Ты, Артур, про ремонт думал? Хотя бы ремонт для начала, а лучше и вовсе переехать. Живёшь в свинарнике, ни самому расслабиться, ни девушку пригласить...

— Да какие уж девушки, Иван Петрович, — возразил Артур.

— А то не знаешь! Люда из бухгалтерии с тебя глаз не сводит. Жалеет. На днях говорила — если бы Артур на меня внимание обратил, я бы ему помогла человеком сделаться. Погибает хороший парень, из-за единственной ошибки жизнь губит, — по лицу Ивана Петровича мелькнуло мечтательное выражение. — Романтиком тебя называет, — усмехнулся он.

Артур вздрогнул. Как всегда, слово «романтик» вызвало видение уныло оформленной витрины, на одной стороне которой выставлено рыбацкое и охотничье снаряжение, а на другой — спортивный инвентарь, игрушки и красные резиновые сапожки. Артур испуганно отбросил навязчивый образ: мысль о том, что его душа — прилавок, на котором пылятся в ожидании покупателя мало кому нужные вещи, была невыносима.

Он брёл за Иваном Петровичем, прислушиваясь к бульканью портвейна в пакете. Эти звуки направили мысли на привычные рельсы.

— Уеду я отсюда, — сказал он.

Иван Петрович удивлённо взглянул на него и похлопал по плечу.

— Ничего, — сказал он. — Придёшь сегодня?

Артур покачал головой, и Иван Петрович обиженно спросил:

— Неужели за моего сына поболеть не хочешь?

Артур молчал. Они шли сквозь тихие дворы; туман сгущался, оседал каплями на волосах.

— Правда уеду, — упрямо повторил Артур. \* \* \*

Артур Земляникин был закоренелым неудачником. Родители дали ему не терпящее сокращений имя в надежде на то, что сын вырастет серьёзным, культурным человеком, а в отдалённой перспективе, возможно, и одним из руководителей города. Ему пророчили блестящее будущее. Когда ровесники ещё очарованно застывали перед лупоглазыми куклами и кубиками замызганных оттенков, выставленными на полках «Романтика», Артур уже деловито проходил мимо, сжимая в ладонке влажные рубли, выданные на покупку тетрадок. Ему некогда было пялиться на игрушки: он был будущим своих родителей, и забывать об этом не позволялось.

Гулять Артура отпускали часто, но тщательно следили, чтобы драгоценное время не тратилось на глупые забавы вроде «казаков-разбойников». Поощряли только игру в рыбку. К огорчению родителей, Артур не обнаруживал склонности к этому виду спорта. Близилась уже традиционные соревнования, совмещённые с окончанием школы, а Артуру до сих пор ни разу не удалось засосаться глубже, чем по щиколотку. Дело было в постыдном, тщательно скрываемом страхе: Артуру всегда казалось, что привычная присказка, призванная помочь войти в нужный ритм, на самом деле — просьба, которую каждый раз внимательно выслушивают...

где-то там, расплывчато говорил себе Артур, имея в виду тёмные пространства, скрытые под жидкой глиной. Артур с ужасом догадывался, что однажды эту просьбу могут выполнить. Особенно пугала главная городская лужа, растекавшаяся каждую весну перед зданием мэрии: Артур подозревал, что окончательные решения принимались именно там. В глубине души он всегда радовался, что дети на площадь не допускаются, — эта густая грязь, чуть прикрытая мутной водой, была предназначена для общегородских соревнований. Постепенно родители смирились с ожидаемым провалом, и даже известие друга семьи Ивана Петровича о том, что на жеребьёвке Артуру достался счастливый седьмой номер, мало их утешило.

Ожидали провала, но не позора. Мать надеялась на то, что Артур засосётся до середины голени, а может, даже и по колено: он всегда был старательным и добрым мальчиком. Отец с тяжёлым вздохом признавал, что мальчику в лучшем случае удастся погрузиться по щиколотку — а может, и вовсе только подошву помажет. Действительность оказалась хуже. Подгоняемый ужасом и выстрелом стартового пистолета, Артур вылетел на середину лужи, обливаясь холодным потом, пару раз дёрнул коленками, даже не обратившись к рыбке, и рванул к финишу. Весь город наблюдал, как он бежит по жидкой глине, не то что не засасываясь, а даже и не приликая. \* \* \*

На следующий день раздавленные горем родители сняли Артуру квартиру на окраине, пристроили младшим помощником в архиве «Моррыбы» и вычеркнули так грубо обманувшего надежды сына из своей жизни. Артур долго искал в себе признаки раскаяния и грусти, но нашёл лишь облегчение: ему отчаянно, до слёз не хотелось быть чьим-то будущим. К тому же после позорного выступления на соревнованиях у него прошёл страх перед лужами — как тренировочными, так и главной городской. Обязательную просьбу рассмотрели и категорически отвергли, а значит, опасаться больше было нечего.

Работа в архиве не требовала общения, а вне стен «Моррыбы» от Артура шарахались, как от прокажённого: давний позор на площади перед мэрией не забывался. Единственными людьми, с которыми Артур изредка перекидывался парой слов, были бухгалтерша Людочка, выдававшая Артуру зарплату, да старый друг родителей Иван Петрович — он присматривал за Артуром из благотворительных соображений. Иногда Артуру казалось, что Иван Петрович преодолевает естественное отвращение, чтобы искупить какую-то вину, — поговаривали, что когда-то он засосался лишь краем подошвы, — но, судя по тому, что жизнь Ивана Петровича явно удалась, это всё были слухи, распускаемые недоброжелателями.

Артур привык доверять Ивану Петровичу, видя в нём наставника, и изредка вёл с ним душевные беседы, поверяя старому знакомому свои горести. Разговоры приносили облегчение, несмотря на то, что Иван Петрович никак не хотел вникать в напряжённую внутреннюю жизнь Артура, ограничиваясь размытыми советами зажить наконец по-человечески. На вопрос, как это сделать, Иван Петрович делался невнятен и, отводя глаза, хмыкал, что это надо самому понимать. Впрочем, обычно дело обходилось бытовой болтовнёй. Особенно Ивана Петровича волновала убогая квартира Артура. Артур с раздражением догадывался, что Иван Петрович направляет беседу в такое приземлённое русло нарочно, то ли из жалости, то ли из презрения, то ли потому, что о главном просто не принято было упоминать в приличном обществе, — но сам заговаривать об этом главном опасался. \* \* \*

В окно неслись отдалённые бравурные марши, зычные крики, искажённые микрофонами, и гул возбуждённой толпы. Артур сидел у окна, на подоконнике перед ним стояла ополовиненная бутылка портвейна. «Веселятся...» — озлобленно думал он. Скопившиеся на площади люди казались ему отвратительными рыбинами, смёрзшимися в магазинном холодильнике в единую массу. Артур, скривившись, налил ещё и вспомнил сына Ивана Петровича: взволнованные и строгие глаза Вовы, казалось, смотрели на Артура с укоризной. Одиночество стало острым, как никогда. Артур поболтал вино в бутылке, любясь тёмными кругами, и встал.

— А почему бы и нет, — сказав он пустой комнате, криво улыбаясь. Его охватила радость, смешанная со стыдом. Он представил себе Люду, как она возбуждённо подпрыгивает на берегу лужи, тревожно и счастливо улыбается, переживая за школьников, — сама похожая на школьницу, милую и озорную. Артур вдруг понял, что Людочка ждёт его на площади — возможно, уже не первый раз. Он выскочил из дома, натягивая на ходу куртку, в страхе, что новое чувство может угаснуть так же быстро, как и вспыхнуло. Артур не был уверен, что ему позволят участвовать в соревновании ещё раз, но прятаться он больше не будет. Это просто свинство — прятаться. У людей праздник, а он сидит над бутылкой и исходит завистью и злобой.

Туманные улицы были пусты. Несколько раз звуки, доносящиеся с площади, утихали, задавленные домами, и Артур каждый раз замирал в испуге, хотя и понимал, что соревнование не может закончиться так быстро. Наконец он добежал до последнего поворота; неожиданно громко грянул оркестр, и Артур упёрся в спины людей, стоящих в проходе между трибунами.

Отчаянно работая локтями и подпрыгивая, он наконец смог встать так, чтобы видеть лужу. Его сторонились, но Артур, захваченный энтузиазмом, не обращал на это внимания. На берег лужи выходила девочка с двумя косичками — из-под синей куртки сияла белизной блузка, красные сапожки были почти не запачканы, бледное личико дрожало от подавленных слёз. «Только по щиколотку засосалась, — вздохнули рядом с Артуром, — жаль, хорошая девочка». Распорядитель уже объявлял следующего конкурсанта. Артур увидел Люду — она стояла на противоположной трибуне, держа за рукав закаменевшего лицом Ивана Петровича. Артур вдруг понял, что сейчас произойдёт, и ему стало душно. Люди снова показались рыбами, но теперь Артур был одной из них и чувствовал, как его вмораживает в общую

массу. Грянул стартовый пистолет, Вова решительно ступил в лужу; уже на первом шагу жидкая глина хлынула в его сапоги, но мальчик продолжал брести. Отойдя от берега на пару метров и провалившись уже по пояс, он остановился. Губы его шевелились, и вокруг Артура зашелестели: «Рыбка-рыбка, засоси... — Вова провалился по шею, светлая макушка покачивалась вверх-вниз, как поплавков, — и назад не отсоси!» Заворожённый шёпот зрителей превратился в торжествующий рёв, хлынувший в уши Артура грязной водой. Он понял, что видит сейчас Вова; это было до того отвратительно, что Артура вырвало прямо на спину стоящего впереди мужчины — но тот, зачарованный зрелищем, ничего не заметил.

Артур осторожно попятился и побежал к дому. Никто его не окликнул. \* \* \*

Артур торопливо кидал вещи в раскрытый чемодан, валявшийся на кровати. Сладкая мечта превратилась в простое и ясное решение. Он уедет не попрощавшись — и избежав вопросов. Именно сегодня это будет просто — надо только дождаться, пока горожане разбредутся по домам и начнут готовиться к вечернему празднованию. Сесть в первый же поезд — и прощай, город О., навсегда; прощай, запах рыбы и канализации, прощай, вечный туман, прощайте, мутные лужи, скрывающие кошмары. Артур улыбнулся. Пусть Людочка ждёт на площади — она славная девушка, но он встретит ещё многих и, может быть, найдёт любовь, не отравленную жалостью. Где-то стоит поезд, готовый отвезти его к свободе и простому человеческому счастью, и Артур наконец готов купить на него билет.

Вспомнилось, как однажды он по совету Ивана Петровича пошёл в церковь. Проходя через двор, купил у тёмной старухи свечку и держал её на виду, поднимаясь к двери, — как будто восковая палочка была пропуском, который непременно нужно кому-то показать. В прохладной полутьме, испещрённой точками зажжённых свечей, вдруг стало не по себе. Лицо священника, бледное и рыхлое, не понравилось Артуру; он сосредоточился на словах и тут же покрылся холодным потом: «небеси» и «еси» отчётливо складывались в проклятую считалку. Артур задом выполз за дверь, едва не загремев по ступенькам, и долго стоял под дождём, глубоко дыша, выталкивая из лёгких запах ладана, который отдавал рыбой. Так провалилась единственная попытка приблизиться если не к людям, так хотя бы к Богу.

Сборы подходили к концу, оставалось только заглянуть на кухню. На столе обнаружился забытый пакет с минтаем; рыба уже подтаяла, от неё пахло весенним туманом, смешанным с вонью мокрой клеёнки. Артур брезгливо вышвырнул подтекающий пакет в окно; одна рыбина вывалилась, не долетев до форточки, и шлёпнулась под ноги, забрызгав Артура тапочки. Он поспешно вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Чемодан был ещё наполовину пуст, и Артур понимал, что оставшееся место предназначено для чего-то очень важного — только не мог вспомнить, чего именно. Наконец, хлопнув себя по лбу, он полез на антресоли. В самом углу он нашёл объёмистый пакет угловатых очертаний. Артур сунул его на дно чемодана и захлопнул крышку. \* \* \*

Выйдя из подъезда, Артур глубоко вдохнул густой влажный воздух и огляделся. Только сейчас он понял, что совершенно не представляет себе, где находится вокзал: ему ни разу не приходилось ни уезжать из города О., ни встречать приезжих. Артур растерянно завертел головой и увидел спешащего к нему Ивана Петровича — он махал рукой, будто просил подождать. За Иваном Петровичем семенила Люда. Уехать по-английски не получилось.

— Куда собрался? — ещё издали закричал Иван Петрович. Люда цеплялась за его рукав, путаясь в каблуках.

Артур пожал плечами.

— Уезжаю, — ответил он, дождавшись, пока они подойдут поближе.

— Артур, ты чего? — удивлённо спросила Люда.

— Придумаешь тоже, — подхватил Иван Петрович. — Р-р-романтик, блин. Пошли!

— Куда? — с недоумением спросил Артур.

— К мэрии, конечно, — ответил Иван Петрович и возмущённо добавил: — Мы тебя ждали, ждали, а ты вон чего...

Артур попятился, почувствовав, как слабеют колени. Только сейчас он заметил в руках у Людочки и Ивана Петровича жёлтые нейлоновые прыгалки.

— А это ещё зачем? — спросил Артур, сам не понимая, что имеет в виду.

— А это мы тебя душить будем, если не пойдёшь, — ответила Люда, небрежно помахивая прыгалкой. В этот момент она была как никогда похожа на резвую, чуть порочную школьницу.

Артур испугался: такие скакалки не продавались в «Романтике», а значит, припрыгали из другого города, а может даже, и из другой жизни, в которой, как почувствовал Артур, его и правда могли среди бела дня придушить детской игрушкой. Он заупирался, сжимая вспотевшими руками чемодан, и Иван Петрович подтолкнул его в спину.

— Иди-иди, не позорься! — добродушно сказал он.

Артур затравленно огляделся, ища помощи, но улица была пуста. «Перед банкетом чистятся», — злобно подумал он и замахнулся, пытаясь ударить Ивана Петровича чемоданом по голове. Тот ловко подставил локоть, прикрываясь.

— Милиция! — завопила Люда, обхватывая Артура сзади.

— Добра ведь желаем... — печально сказал Иван Петрович, задирая брови.

Артур молча брыкался, хватаясь за впившуюся в шею прыгалку, но Люда была проворней. Наконец Артуру удалось попасть ногой по её голени, и Людочка взвизгнула.

— Вот ты как, недососок! — прошипел Иван Петрович, заноса кулак, но тут за его спиной откашлялись.

— В чём дело? — спросил милиционер, поглаживая дубинку. У него было лицо несправедливо обиженного добряка.

Артур вспомнил, что у милиционера есть дочка-выпускница, — и тут же понял, что это та самая девочка, которая сегодня всосалась лишь по щиколотку. Артур потёр шею, переводя дыхание.

— Видите ли... — начал он, но его перебила Людочка.

— Ой, даже стыдно сказать... — вскрикнула она, отчаянно покраснев и умоляюще глядя на Ивана Петровича.

Иван Петрович взял милиционера за рукав и жарко зашептал, строго взглядывая на Артура. По лицу стража скользнуло недоверие, сменившееся удивлением; наконец он сурово нахмурился.

— Придётся пройти, молодой человек, — сказал он Артуру, крепко беря его под локоть. \* \* \*

Ветер шевелил увядающие цветы, посвистывал на опустевших трибунах, морщил поверхность лужи. Артура подвели к изрядно затоптанной стартовой черте, и тут возникла заминка: было ясно, что в потрёпанных кроссовках выйти на старт Артур не может. Мелькнула сумасшедшая надежда на то, что его сейчас отпустят и что весь этот вязкий



кошмар — просто затянувшаяся шутка, а может быть, и вовсе сон. События зашли в тупик, и самое время было рассмеяться или проснуться. Артуру даже показалось, что окружающие предметы наваливаются на него, расплываясь и темнея, — давление реальности на ткань сна перевалило какой-то порог, за которым сновидение становится невозможным. Как сквозь вату, услышал он слова Люды:

— А вы в чемоданчике посмотрите, может, в чемоданчике что-нибудь есть!

Трибуны отступили, снова приобретя отвратительно чёткие линии. Ветер тронул щеку, принесся сырой холодный запах лужи, пугающий и привычный. Иван Петрович, присев на корточки, рылся в чемодане; прядь зачёсанных поперёк лысины волос подрагивала на вялом сквозняке.

Он брезгливо выложил прямо на землю короткую зимнюю удочку, пакет с футболками, сборник стихов и обёрнутый в газету школьный дневник, и тут Люда радостно взвизгнула.

— Всё ведь понимаешь, — одобрительно сказал Артуру Иван Петрович, вытаскивая из чемодана большой пакет.

Из-под чёрного полиэтилена матово светилась красная резина сапог.

Артура переобули, и милиционер, пошарив в кармане, вытащил смятую программку.

— Седьмым номером, — звучно объявил он, — на старт выходит Артур Земляникин, школа номер четыре, одиннадцатый-гэ класс! Счастливый номер тебе выпал — повезло, — вполголоса сказал он Артуру. — Главное теперь — не паникуй. Воздуха набери побольше, если удачно пойдёт. Ну да что тебя учить! Давай, сынок, не посрами.

Он потянул из кобуры пистолет. Грянул выстрел, и полуоглохший Артур сделал первый шаг.

Он сразу провалился в грязь по щиколотку; резина и тонкие носки не защищали от холода, и лодыжки охватило ледяными кольцами. За спиной азартно засвистел Иван Петрович, и Артур побрёл вперёд, проваливаясь всё глубже. Выйдя на середину лужи, он задёргал коленками, приседая то ли от ужаса, то ли просто вспомнив нужные движения.

— Рыбка-рыбка засоси и назад не отсоси, — механически забормотал он.

В сапоги хлынула жидкая грязь.

— Рыбказасоси-и-и! — восторженно закричала Люда откуда-то издалека.

— Молодчина! — ревел Иван Петрович. — Давай-давай!

Грязь поднялась к подбородку, её запах стал невыносим, и Артур наконец понял, почему эта вонь всегда казалась ему такой привычной и домашней: это был запах чуть подтаявшего уже минтая, пару часов как вынутого из морозильника. Артура затошнило, он закашлялся, выталкивая драгоценный воздух, и ушёл в лужу с головой.

Перед тем как жидкая грязь хлынула в лёгкие Артура, в темноте перед его закрытыми веками проплыла рыбка. Это был среднего размера выпотрошенный и замороженный минтай. На раздавленном боку отчётливо виднелся след ребристой подошвы — ещё на рыбзаводе на серебристобурую тушку наступил неаккуратный рабочий. Слепо смотрели белые глаза, неподвижный рот был открыт. Артур вдруг понял, что он впервые видит морду минтая: в магазины города О. завозили только обезглавленные тушки, — и это почему-то напугало его больше всего. Вымороженные глаза рыбки повернулись, заглянув Артуру в самую душу, рот вытянулся в страстном поцелуе. Артур судорожно вздохнул и навсегда потерял сознание. \* \* \*

«Усаживайте», — шипела Люда. «Коченеет уже», — огрызнулся Иван Петрович, мостя чисто вымытый и переодетый в костюм труп Артура на стул. Тело, источавшее сильный запах одеколona, заваливалось на бок, никак не желая принять нужную позу. Иван Петрович отдувался и отирал пот. «Вовка, придержи!» — рявкнул он, оглядываясь, но сына за спиной не оказалось. Иван Петрович разогнулся, потирая поясницу, и выругался.

— Что ж вы при женщине ругаетесь, — осадил его Люда.

Через банкетный зал к ним спешил Вова с мотком проволоки в руках, за ним шёл секретарь мэра и какие-то мужики, тащившие веревки.

— Сейчас всё устроим, не волнуйтесь, — сказал секретарь и принялся распоряжаться.

Артура прикрутили к стулу, пропуская веревки под пиджаком. Один из мужиков умело прошёлся пальцами по лицу Артура, придав ему строгое, но оптимистичное выражение, поправил галстук. В руку вставили стакан.

— Отлично! — воскликнул секретарь, глядя на часы. — Речь подготовили? — отрывисто спросил он у Ивана Петровича.

Тот кивнул и смущённо засуетился:

— Сюда, сюда ставьте, рядом с Вовиным. Да не трясите так, опять переделывать придётся!

— Бледноват, — критически заметила Людочка.

— Волнуется, — объяснил Иван Петрович, — переживает, бедняга. Стыдится прошлого. Нормально. \* \* \*

Отзвучала традиционная речь мэра, выступил Вова, старательно прочитав написанный секретарём текст голосом, полным горячей благодарности. Банкетный зал нетерпеливо гудел, ждали отцовского слова.

Иван Петрович встал, утирая скупую мужскую слезу, и певуче заговорил, ритмично взмахивая руками:

— Дорогие горожане! Я счастлив поздравить наших детей со вступлением во взрослую жизнь. Много предстоит испытаний, многое сделать придётся, чтобы стать настоящими людьми, ответственными специалистами, заботливыми отцами и матерями. Я счастлив и горд, что мой сын оказался достойнейшим, — и не стыжусь суровых отцовских слёз. Мой сын оказался лучше меня — не об этом ли я мечтал! Но сегодня все наши дети, как один, сделали уверенный шаг в светлое будущее, и никто не остался за бортом!

Раздались хлопки, и Иван Петрович поднял руку, прося тишины:

— И ещё одно радостное событие произошло сегодня. Поздравим и всем вам известного Артура Юрьевича Земляникина! Лучше, как говорится, поздно, чем никогда!

Зал взорвался аплодисментами, зазвенели бокалы. Иван Петрович сел, его доброе лицо сияло. Перегнувшись через стол, он стукнул об стакан, вставленный в руку Артура, и умиленно сказал:

— Ну наконец-то выпьем с тобой по-человечески. Рад я за тебя, Артурка. Не зря за тебя душу надрывал — стал ты наконец человеком! Осторожнее, осторожнее руку жмите, — отвлёкся он на налетевших поздравителей, — свалите! Людочка, придерживай!

Люда подпирала труп Артура горячим бедром, обхватывала за плечи, шептала, ласково

поглаживая по голове:

— Артурчик, Артурчик, видишь, как хорошо! И зачем упрявился, мучил меня, глупый мальчик... Теперь заживём...

— Вы молодчина, дядь Артур, что решились, — вторил с другой стороны Вова, — дайте я с вами чокнусь!

Людочка ловко наклоняла голову Артура, Вова кивал в ответ и фамильярно подмигивал — мальчишку уже начало развозить. Звенело стекло, и портвейн выплёскивался из неподвижного стакана прямо в тарелку с жаренным в сметане минтаем — его бок уже был разворочен чьей-то вилкой. \* \* \*

Поднявшись на холм, Артур оглянулся. Пекло затылок, по обочинам сухо шуршала серебристо-бурая трава, но сквозь неё уже пробивались нежные зелёные ростки — их запах, терпкий и незнакомый, щекотал в носу, заставляя морщиться и улыбаться. Рыжая лента дороги тянулась к лежащему позади городу, похожему на кучку кубиков, разбросанных по прилавку «Романтика» нетерпеливым ребёнком. Артур удивился тому, что когда-то ему было важно, в каком из этих кубиков жить. «Чемодан забыл», — вспомнил он и рассмеялся, догадавшись, что никакой чемодан ему больше не нужен. В последний раз взглянув на город, Артур отвернулся и, старательно обходя лужицы, зашагал туда, где надрывался невидимый в солнечных лучах жаворонок.

Иван Наумов

Мумбачья площадка

Александр, Безопасность и Территории, не может удержаться и всё-таки смотрит через открывшийся люк в зенит. Глупость. Если долбанут с орбиты, всё равно ничего не увидишь. Да и меры приняты, ему ли не знать? Ближнее и дальнее обнаружение, три бота прикрытия, сетка из пятидесяти спутников — планета для пикника накрыта и готова к употреблению. Отдыхающим никто не помешает. Александер облизывает пухлые фиолетовые губы, царственным жестом даёт помощникам отмашку, и начинается разгрузка.

Софья Игоревна, Финансы и Собственность, подставляет плечи и шею острым струям воды. Истома уходит, остаётся смуть глупую улыбку, чтобы Ром не вообразил себе незнамо что. Хотя — она чуть выглядывает из-за занавески и несколько секунд разглядывает через полуприкрытую дверь щиколотку, пятку, ступню, смешные растопыренные пальцы — хотя имеет право. Улыбка опять гнёт уголки губ, и приходится засунуть лицо под воду.

Эдуард Валерьянович, Образ и Перспективы, жадно разглядывает в иллюминатор водную гладь, светлые проплешины мелей, золотистые каёмки пляжей. Бесценен каждый миг наблюдения — уже слишком много видано, испробовано, изучено и разобрано по косточкам в поисках ускользающей красоты. Без постоянного ощущения присутствия которой нельзя будет делать своё дело. Мозг жадно впитывает непривычные цветовые сочетания и узоры рельефа незнакомой планеты. Только с рельефом туго — плоскость до горизонта, трёхцветная размазня из травы, песка и воды.

Марат Карлович, Маратище, «Сын-Основатель», рассматривает в зеркале морщинки у глаз. Лучики разбегаются к вискам, как дельты великих рек. Никакой пластики, даже ЭдВа согласился, что так будет лучше. Пора стареть — начинаются недетские игры. Нужно выглядеть на свои сорок пять. Губы проговаривают вечернюю речь. За спиной сыто порывают псинки.

Роман Андреевич, Информация и Связь, блаженно потягивается, раскинувшись на кровати морской звездой. Ноги ватные, сердце колотится, но пульс постепенно приходит в норму. Хочется вздремнуть, но Софа может обидеться, так что не стоит. Она что-то мурлычет в ванной, сквозь шум воды мелодии не разобрать. Ром всё-таки прикрывает глаза, и из ниоткуда сразу выползают столбцы цифр, схемы, цепочки слов кода. Странное ощущение свободного времени, когда работать не обязательно, а напротив, запрещено... И подозрительная тишина вокруг, нет обычной дрожи обшивки. Уж не прозевали ли они посадку? Ром смеётся. \* \* \*

Пахнет песком, травой и чем-то палёным.

Бессмертные тётки из бухгалтерии центрального офиса гуськом спускаются по трапу, заранее начиная охать и ахать.

«Девочки, посмотрите, какой пляж!»

«Чур, я первая потрогаю воду!»

«Люся, надо было сразу купальники надеть!»

И всему они рады, потому что отчёты закрыты, балансы сданы, и впереди — подумать только! — полноценный месяц безделья и веселья. И ни копейки личных расходов.

«Жемчужина Карла», скромно именуемая яхтой — а на самом деле тысячеместный лайнер, флагманский корабль «Трансресурса», передвижной луна-парк и боевая единица класса семь, — начинает раскладываться, превращаясь в город-дом. Термообшивка уползает внутрь, освобождая место ярким секциям жилого сектора, ангарам и целевым блокам, дюзы исчезают в основании быстро растущей башни.

Праздничное настроение заставляет говорить чуть громче, чем нужно. Все одеты в легкомысленно-яркое. Там и сям хлопает шампанское, пластиковые стаканчики ударяются с обязательным шутовым «Дзынь!», члены экипажа в парадной форме следят, чтобы разбредшиеся пассажиры не вставали под стрелой, и взрывы смеха часто заглушают даже скрежет расползающихся конструкций.

«Ой, собачка!» — «Ой, обезьянка!» — одновременно вскрикивают две офисные дамы, и многие устремляются к ним, потому что на этой планете, в отличие от той, где прошлый раз проходила корпоративка, есть настоящая жизнь, а не только горы и снег, хотя там тоже было весело, и надо посмотреть, что же это за жизнь, раз уж всем кололи прививку, и дайте, дайте я её поглажу, как она называется?

Покрытое шерстью существо доверчиво тянет длинную шею к толстым унизанным перстнями пальцам, даёт погладить загривок, тыкается коротким носом в ладонь и издаёт очаровательные — правда, девочки? — курлыкающие звуки.

Да сколько их здесь! — словно по-новому взглянув на окружающую корабль с трёх сторон равнину, все вдруг видят, что зверей десятки, нет, сотни, они лежат, и сидят, и бродят вокруг, почти не реагируя на людей. И вот откуда этот противный запах — несколько бедняжек

попало под дюзы, вот глупышки! Софья Игоревна, Софья Игоревна! Их как-нибудь зовут? Они млекопитающие? Они не кусаются?

— Мумбаки, — лаконично отвечает Железная Софа. — Нет. Нет.

Трансформация корабля в город завершается пафосным поднятием флага на башне, и снова крики радости, и снова пенится, и возбуждённый гомон, и легкомысленная суета прибытия. Чуть в стороне топчутся, сбившись в неуверенную стайку, смущённые шахтеры и сортировщики, электрики, механики, наравне со своими директорами попавшие в сказку за ударный труд или выслугу лет.

Сразу три мумбаки прыгают за резвящейся Верой, имитируя её движения, и Ром смотрит на несостоявшуюся подругу по-другому, сравнивая — и удивляясь себе. Вопреки логике и его собственным вкусам, безупречно-беспечная и свежая, будто не было трёх суток в дороге, девочка-археолог ровным счётом ничего не может противопоставить зрелой чувственности Финансов и Собственности. Вера ещё иногда звонит, и как же сказать ей... Ведь оправдываться не в чем, а всё равно кошки на душе...

Стюарды с невероятной скоростью расставляют столы прямо в густой траве, стремительно сервируется банкет, и вот уже все полупьяные и умиротворённые, и вечереет, и основное блюдо сменилось десертами, и посмотрите, какие здесь звёзды, и Эдуард Валерьянович, мне как-то неудобно за ваш стол, ну что вы, лапушка, здесь все на равных, и в креманках горит мороженое, и глупая мумбака, убери уже свою голову, ты помнёшь мне платье, и Роман Андреевич, да, Софья Игоревна, не передадите тирамису? И чуть соприкасаются пальцы, над озером расцветает десятицветный салют, и какая же нам везуха подвалила с тобой, дружище, ведь на все шахты пояса — только два приглашения, и тише, тише, Марат Карлович собирается говорить, и вдруг слышно только, как позевывают и гуляют толстолапые мумбаки, и ветер шевелит траву, и Сын-Основатель неспешно идёт от своего столика к микрофону.

— Друзья! Коллеги! Соратники! — усилители разносят проникновенный голос прочь, туда, в темноту, за пределы занятого людьми кусочка пространства. Звёзды горят ярче, чем на Земле, целыми гроздьями, и парусиновые тенты чуть хлопают складками, и немеет рука, сжимающая хрустальную ножку бокала, и кто бы мог подумать, что придётся увидеть живьём этого великого человека...

— По старой доброй традиции, придуманной ещё моим отцом... — да, Карла Алексеевича все помнят, особенно старики, поэтому утвердительно кивают ветераны службы охраны, контролёры качества, отставные пилоты... Гибель отца была ударом для всех, но Маратище оказался достойным преемником.

— ...раз в два года мы собираемся, чтобы отвлечься от тягот и забот, чтобы восстановить силы и с новым напором продолжить наш не самый простой, — одобрительные смешки, несколько одиночных хлопков, — труд. Во благо Родины. Во имя роста и процветания «Трансресурса».

Те, кто здесь не впервые, знают, что сейчас им напомнят о достижениях разведчиков, о новых планетах и астероидах, застолблённых под российскую юрисдикцию, о достигнутых показателях — вразбивку по редким металлам, радиоактивным изотопам, органике... О погибших в явных и тайных стычках с конкурентами... Но это недолго, не отчёт же, а тост, и все с удовольствием участвуют в ритуале.

— И поэтому я с особым удовольствием... — Маратище выверенным жестом вскидывает руки, — говорю вам... — Все замирают. — Этот мир — ваш!

И снова салют, и настоящий хрустальный звон, и на счастье! на счастье! и едва заметная

нотка сожаления — часики-то уже тикают, месяц пошёл!

Скутеры, водные лыжи, гоночные катера, парaplаны — если вы любите экстрим. Футбол, волейбол, городки или кегли — если уже не те мышцы, и животик растёт, а спорта всё-таки хочется. Мягкий тёплый песок, бесконечные лагуны, и такие — ах, какие! — массажисты, и маникюрши, и диетологи... И уютные кресла в тенике под тентами, и преферанс, и бридж, и лото... И мотоциклы, и вездеходы, только бестолковые мумбаки даже не пытаются отойти с дороги, и нет, мне нервов не хватает, уже двух сбил, хватит!.. Кондиционированная прохлада кают, то есть номеров, и крахмальные скатерти, и вышколенные официанты, пытающиеся напичкать вас всеми напитками мира, и откуда они взяли живых устриц, а омаров, а лобстеров?

А вчера нос к носу столкнулся, представляете, с самим Ромом, это молодой, да, который американцам уронил протоколы два года назад! Эр-Ноль-Эм, великий хакер, его так все и зовут по нику! Талантливый мальчишка, всего двадцать шесть, и видишь, как поднялся!..

А в качалку заглянул этот, негр... Ну, здоровенный, по безопасности... Зубы — мел, глазами сверкает, красив как бог... или как чёрт?... В общем, двухпудовую гирию, играючи, отжал сто раз — можешь себе представить?!

А девчонки из аналитического чуть Маратовым псам на обед не достались! Ха-ха, им-то не смешно было! Марсианская сторожевая, которая как теленок лохматый — её Хендриксом зовут, та ещё добрая. А вот шарк-буль, Шлиман, — просто убийца. Первые дни мумбак штук по двадцать притаскивал, как не надоело? Они ж глупые, не убегают даже!

А Железная Софа одна в этот раз, заметили? Её муж у нас в прошлом году рудники инспектировал, неплохой мужик, душевный... Только такая фифа — всегда сама по себе будет. Говорят, кто триллион наличкой увидит один раз в жизни, тот уже человек пропащий...

И не говори, недели — как не было...

Шесть кресел — одно твоё. Чувство гордости, уверенности в себе,

равновеликости распирает Рома, щекочет самолюбие, отвлекает от пейзажей, уводит в грёзы. За спинками кресел, десятью километрами ниже, бесконечные заливы, отмели, луга складываются в загадочную фрактальную картинку, по которой впору проводить психологические тесты: в хаотичном рисунке привидится что угодно.

Ещё недавно мог ли он представить себя рядом с Маратищем и Большими Ребятами? Одним из них? Кресло напротив пустует. Паша Ким, Техника и Разработки, пренебрёг своим правом на отдых, как и два года назад, когда Ром оказался здесь впервые.

Верхняя палуба директорского катера словно висит в воздухе, лишь беззвучно поворачивается под ним разноцветная планета.

— Суть в следующем, — Марат Карлович не любит прелюдий. — Через два месяца мы атакуем «Кросс-Волд».

Реакция разная. У Александера в глазах разгораются недобрые радостные огоньки. В последнем конфликте он потерял обоих замов. Софья чуть вытягивает губы — продумывает, какие кроссволдовские кусочки ей хотелось бы иметь в своей епархии. ЭдВа мечтательно оглядывается через плечо на плывущие вдали облака, уже фантазируя, как поддержать миролюбивый имидж «Трансресурса». Ром ловит себя на том, что всю рисует цепочки

известных информационных систем конкурентов, пытаюсь угадать, где их придётся рвать. Мы совсем не умеем отдыхать — как взведённые ружья.

— Будет наживка? — логичный вопрос от Безопасности. Баланс корпораций столь устойчив, что возможен только гамбит.

Маратище довольно усмехается:

— Моя смерть.

ЭдВа аж подпрыгивает:

— Обеими руками «за»! Надолго?

— Недели на две.

В самый раз, прикидывает Ром, чтобы «Кросс-Волд» и «Вайпур Эксплорер» потянулись наперегонки к повторно обезглавленной империи великого Карла. Чтобы сменили планы патрулирования зон влияния. Наворотили экспромтов, настроили шатких юридических схем, растормошили биржи...

— И на время моего отсутствия кому-то из вас предстоит реально взять всё в свои руки. — сообщает Маратище. — Включая контрудар.

Ром сдерживает секундную дрожь. В разные концы Галактики тянутся ненасытные щупальца матушки-Земли. «Кому-то из вас» — возможно, и ему — придётся одно из этих щупалец обрубить.

И тут же вспоминает, как падали один за другим каналы связи, гасли мониторы святая святых — логистического центра, а на локаторах вспыхивали недостижимые цели кроссволдовских дестроеров — мерзавцы даже не потрудились врубить камуфляж. Как рассыпалась смертоносным радужным облаком драгоценная баржа-редкоземелка, наглухо блокируя портал к Земле. Как хлынула по защищённым линиям нуль-связи изящная взвешенная деза, нанося ущерб вдесятеро больший, чем от наскоков ударного флота.

Тогда золотой мальчик Эр-Оу-Эм по каналу «SOS» влез в координационную сеть кроссволдовцев, отключил им распознавание «свой-чужой» и, пока обезумевшие боевые корабли крошили друг друга, сообщил на их базу об успешном завершении операции. На единственном уцелевшем дестроере, взятом на бордаж, с ответным визитом отправился лично Александер... Ото всей той истории получил дивиденды только «Вайпур» — остальные лишь зализывали раны. Ну, и ещё — лично Ром. Роман Андреевич.

— Хочешь сказать, что ещё не знаешь, кому доверишь процесс? — спрашивает ЭдВа.

В салоне катера накапливается статичная, напряжённая дружелюбность. Каждый считает себя лучшим из равных. Все ждут решения шефа. Из-за того, что стены прозрачны, кажется, что гроза нависла над целым миром.

— У каждого из вас есть плюсы и минусы для исполнения этой роли, — Маратище крайне обходителен, жди заморочек. — Думаю провести тестирование. Чтобы выбрать окончательно.

— Отпуск закончился? — интересуется Железная Софа.

Далеко впереди на затуманенной поверхности планеты проступают десятки гигантских квадратов, будто нарисованных зубной пастой на зеркале.

У Эдуарда Валерьяновича брови ползут на лоб — наконец-то и его удалось удивить.

— Ты увлёкся граффити? — спрашивает он. — Или это Великая Маратова стена?

— Закончился, — отвечает Маратище Софе. — И продолжается.

Колышутся от прикосновений ветра пышные белые плюмажи. Под полуденным солнцем сияет медь доспехов и сталь клинков. Мумбаки то и дело опускаются на передние лапы, твякая и поскуливая. Но ни одна не выпускает эфеса, не бросает щит. Левый отряд одет в синее, правый в красное.

Четырёх лысых типов, что стоят среди мумбак по разные стороны огороженного белым надувным забором поля, Ром уже видел мельком в центральном офисе, когда Марат Карлович увлёкся шарк-булями. Хендрикс и Шлиман, оба на коротком поводке, тянутся зубами к мумбакам, но те не реагируют — почёсываются, зевают, переминаются с лапы на лапу.

— Шапито! — констатирует ЭдВа.

— Я поняла, на что они похожи, — шепчет Рому Софа. — Смотри!

Ставит руку пальцами на столик, средний вытягивает как голову, и перебирает остальными, изображая ходьбу. Ром смеётся.

— Принимаются ставки, — Марат Карлович весь в белом, величествен и красив. Ноздри чуть дрожат — он игрок.

— Синие, — хором говорят Софа и Александер.

Дрессировщик дует в жестяную трубу, вымучивая долгий негармоничный рёв, и мумбаки преобразуются. С обеих сторон поля возникает строй. Щит к щиту, синий и красные отряды устремляются друг к другу.

Толстозадые звери не выглядят потешно — это вам не медведи на велосипедах и не мартышки в платьицах. Оружие подогнано под захват их четырёхпалых лап, странной формы шлемы закрывают низкие широкие лбы и вытянутые загривки.

— А что такое «Дэ»? — спрашивает Ром, разглядывая выпуклые буквы на нагрудных пластинах.

Один из лысых протяжно свистит, и красный строй ломается, превращается в клин, и первые мумбаки врубаются в синюю шеренгу, бог ты мой, говорит ЭдВа, бледнея, звон и скрежет, и молчание зверей, держи строй, рычит Александер, будто кто-то может его понять, и свистки, и крики надсмотрщиков, высоко и ясно блистают широкие клинки, клинки, клинки в красном...

— «Дэ» — значит «Дарвин», — отвечает Марат, не отводя взгляда от мумбачьей возни.

Падают тела, а с обеих сторон голов по сто, и почему они совсем не кричат, так же не бывает, чтобы, теряя лапу или чувствуя, как острое входит под рёбра, не закричать, Софа так же хищно, как Маратище, щурится, всматриваясь, запоминая подробности, это уже не отдых, отдых кончился, когда они сели в катер, если тебе это показывают, то так надо, и чёрт бы побрал этих синих, они все разбились на группки, стоят и молча ждут, когда им поносят их безмозглые бошки, вместо того чтобы перегруппироваться, да они даже не моргают, принимая удар... Куклы, дурацкие шерстяные куклы!..



Дребезжащий рожок оттягивает почти не уменьшившихся числом красных на исходную позицию, и перед белыми летними столиками пытаются ползти или сесть, или хотя бы пошевелиться синие, которые теперь почти без синего, всё вокруг бурое, фиолетовое, чёрное, и случайно уцелевшая мумбака с любопытством поднимает за ухо голову другой мумбаки, и как это мы не замечали, какие у них длинные уши, с рысьими кисточками, и что-то тупое во взгляде, а Маратище любит шутки, любит играть с именами, а почему Шлимана так зовут, не знает даже Ким, а раз его здесь нет, то он не в числе претендентов, и другая мумбака пытается когтями забраться под собственные доспехи, откуда струёй хлещет кровь, а потом словно передумывает, ложится на бок и тянет шею, чтобы видеть странных, одетых в тряпки двуногих, у неё тоже были красивые тряпки и блестящий полукруг на груди, как полузакрытый глаз, и она закрывает глаза, Софья, хочешь лимонаду, спрашивает Марат уже деловым голосом, так можно спросить о годовом отчёте или о какой-нибудь реструктуризации, нет, чуть позже, она встаёт и идёт в поле, обходя пятна и тела на траве, рассматривая поверженных зверей. Ром, Ром, ты смотришь на неё и не можешь оторваться, она красива, да, Ром?

— Очень в стиле твоего папы, — говорит Марату ЭдВа. — Но малоэстетично.

Старшего дрессировщика смешно зовут Мухтаром, будто и над ним подшутил остроумный Марат Карлович.

— Для штрельбы по тшелям, — шепеляво объясняет он, — мы их приутшиваем к трафаретам. Это не шшобаки, утшатся быштро. Жа три дня натшинают попадать в тшель.

Его лицо когда-то явно было разодрано на части, а обратная сборка удалась не вполне. Мухтар выводит пращников, и весёлые мумбаки, не обращая внимания на разбросанные тела, приседая то влево, то вправо, раскручивают ремни, выпускают тяжёлые железные гири в трафареты в форме мумбаки со щитом и мечом. Некоторые даже попадают.

— Баланс воинов для ближнего и дальнего боя когда-то решал исход битв, — Марат стоит, покачивается на носках, руки в карманах, сама уверенность, — и у каждого из вас будет вдвое больше солдат, чем в моих отрядах. А у меня уже есть фора в две недели. Через двадцать дней ваши армии атакуют мою. Это и есть тест.

— А сколько солдат будет у каждого? — спрашивает Александер.

— Марат, а ты уверен, что всё это нужно? — ЭдВа единственный, кто на правах крёстного может говорить свободно.

— Эдуард Валерьянович, — чуть дрогнули желваки, и снова Маратище абсолютно спокоен, — это не нужно. Это необходимо. Тому, кто встанет на моё место, придётся самостоятельно принимать решения. Связанные в том числе со смертью людей. Не каких-то мумбак, а людей, с семьями, увлечениями, мечтами. И их тоже будет жалко. В «Трансресурсе» восемьсот тысяч человек. И я отвечаю за каждого из них. Я доходчиво объясняю?

— Скольких мумбак мы должны натренировать за эти двадцать дней? — Александера всегда волнуют прежде всего практические вопросы.

— В первые дни у каждого будет помощник, — кивает Марат на блистающих лысынами загонщиков. — Дальше — сами. Звери повторяют всё, что увидят, очень склонны к массовым играм. Не разбегаются, не понимают разницы между свободой и неволей, ничего не боятся, абсолютно не агрессивны.

— Видно, им было здесь без нас скучно, — Железная Софа обезоруживающе улыбается, —

застоялись...

— Сколько... — снова начинает Александер.

— Зануда, — усмехается Маратище. — У меня будет шесть тысяч солдат. У вас — по три на каждого. Вопросы есть?

Да, это проще, чем могло показаться сначала. Мало того, это выполнимо. Потому что Маратище не даёт невыполнимых заданий.

Четыре дня, и звери уже тянут на себя из громадной кучи белые с серебром одежды, пытаются засунуть головы в шлемы, часами маршируют, пристраиваясь одной группой к другой, размахивая мягкими блестящими палками, которые пока что заменяют мечи.

Ром испытывает странное чувство — он бог. Стоит показать зверям что-то на большом голографическом экране, как они начинают повторять то, что увидят. Мало того, они слушаются и почти не делают повторных ошибок. Легко запоминают сигналы рожка. Бесконечный забор, огораживающий квадратный километр территории, служит естественной преградой для мумбак, они не пытаются убежать, и Ром испытывает странное чувство — он чёрт. Пусть безмозглых, лишённых самых простых инстинктов, но всё-таки живых тварей он готовит к глупой показушной смерти. Но Маратище ничего не делает просто так. И обычно он прав.

Надувной дворец возвышается на три этажа над гигантским загоном. Ведь кто-то загнал сюда тысячи мумбак, с запасом приготовил и доспехов, и оружия! Построил игрушечный дом со всеми мыслимыми удобствами. Когда же Марат замыслил операцию с «Кросс-Волдом»? И как лучше выстроить войско... В памяти — только Фермопилы и Тразименское озеро, ну, ещё Канны...

— Роман Андреевич, есть предложение!

Каждому из них выделен маленький прогулочный катер, ведь ночью мумбаки спят и толку от них никакого.

ЭдВа управляет катером, старомодно приподнимая локти и крепко держась за штурвал.

— Интересное местечко — горы!

— Здесь нет гор, — возражает Ром.

— Я тоже так думал. Позвонили девчонки из археологического, клянутся, что там у них прямо скальные породы — плато метров тридцати в высоту и настоящий пещерный комплекс...

— Из археологии? — подозрительно переспрашивает Ром.

— Да, — кивает ЭдВа. — Милые девчушки. Хоть в чём-то польза от наших спонсорских программ.

Разумеется, там Вера. Глаза горят, чуть заикается, старается на Рома не смотреть, ЭдВа роет землю копытом, строит глазки Вериной подруге, хотя он просто весёлый старикан, без подтекстов, и любит приключения, а тут настоящая пещера, да, у них есть и фонари, и каски, не надо про Минотавра, но шнур мы всё-таки на входе привяжем, давайте, милочка, я вас подержу, нет уж, Эдуард Валерьянович, лучше мы вас, и как дела, Эр-Оу, кажется, что тихо, а своды играют эхом, и надо уже сказать ей, что всё, что ничего не будет, и не морочить ей голову, луч света выхватывает кудрявый локон, и бархат щеки, и почему же я так остыл к ней,

Вера, ты не изменилась, значит, изменился я?...

— Смотрите, — говорит Верина подруга, — и ставит луч фонаря на максимальную ширину.

В снопе света — высокие косые стены, покрытые тёмными линиями. Все задирают головы, четыре круга пляшут по смешным и страшным картинкам: вот хвостатый зверь держит мумбаку в зубах, вот стая гонит огромного ежа, вот перед мумбакой с восемью лапами маленькие мумбачата нанизывают на верёвку полевых мышей...

— Возраст? — выдавливают из себя Ром, осипнув в момент.

— Это не подделка? — неуверенно спрашивает ЭдВа.

— Триста тысяч, — говорит Вера. — Уже сделали радиологию. Здесь ещё вот это...

Она ведёт их дальше и даёт каждому в руку по несколько глиняных табличек. Кривые-косые значки не повторяются ни на одной, и какая разница, как это называть, хоть буквами, хоть иероглифами, и Вера грустно улыбается:

— На память... Я же всё понимаю.

Хотя на самом деле непонятно, кому и о чём она говорит...

— И что? — спрашивает Марат Карлович, взирая с балкона своего надувного донжона на поле предстоящего сражения.

Красные мумбаки бегут, замирают, перестраиваются, феерический гибельный танец. Все четверо дрессировщиков здесь.

— Вы самые умные. Самые гуманные. Перво, мать вашу, открыватели, да?

Маратище зол и не думает этого скрывать. Ром и ЭдВа ссутулились перед ним как провинившиеся школьники.

— Здесь всё проще, чем у нас, понимаете? От солнечных лучей поднимается трава. Мыши её грызут. Мумбаки ловят мышей. Все сыты и довольны. Это устойчивый мир, позавидуйте мохнатым зверушкам! Они победили! Если забрать каждую вторую мумбаку, через пару лет их всё равно окажется столько же. Им нечего делить и нечего бояться.

— Марат Карлович, — ЭдВа говорит тихо, но всё же говорит, — там все признаки цивилизации, наскальная живопись, творчество, письменность... — Ром кладет перед Маратищем глиняный прямоугольник.

— Не может быть! — саркастически восклицает тот, не глядя. — Наверное, где-то ближе к полюсу нашли? Летали куда-нибудь?

ЭдВа неуверенно кивает.

— А под ногами у себя копнуть не пробовали? — орёт Маратище. — Этим добром здесь всё усеяно, от горизонта до горизонта. А толку?! Познакомьтесь с победившей цивилизацией мумбак! Вы знаете, что они андрогинны? Высшие существа, да! Любые две — или два, как хотите, — друг другу могут передать свой генный материал. И обе-оба родят через два месяца. У них нет семей, нет прайдов, нет брачного дележа самок. А ещё нет наводнений, пожаров, землетрясений, они просто не знают, отчего можно умереть, кроме старости. Завидуйте, земляне, грызите локти, загляните в рай одним глазком!

Ром переминается с ноги на ногу, никак не может подобрать слова для мысли, что только

оформляется у него в голове. ЭдВа вытирает пот со лба. Красная волна мумбак устремляется из-под стен дворца вперёд.

— Очень не люблю, когда меня подозревают в некомпетентности, — говорит Марат Карлович уже спокойнее — и на мгновение превращается в нервного талантливого подростка, стремящегося выйти из тени своего великого отца. — Открыли Америку, понимаете ли...

И добавляет ещё тише:

— В конце концов, я никого не держу.

Откуда-то издалека навстречу бегущим мумбакам прилетает шквал снарядов. Тяжёлые гири не пробивают поднятых щитов, но несколько зазевавшихся зверей падает на землю с проломленными черепами и грудными клетками.

— Карл поступил бы так же, — задумчиво говорит ЭдВа. — Но я — пас.

Маратище смотрит на крёстного прозрачно, насквозь, думая о чём-то другом.

— Значит, у вас, — говорит он Рому, — задача усложняется.

Огни потушены, и надо идти низко, поменьше шуметь, хотя и так, наверное, все знают, здесь же каждый метр с орбиты виден, а раз знает Александер, то уж шеф-то точно, а значит, никто не против, шепчет она, и целует в дверях, и распахивает его рубашку, здесь всё шатается, так даже забавно, правда, а почему ты говоришь шёпотом, иди сюда, посмотри, какие красивые звёзды, я был у Александера, зачем сейчас об этом, глупенький, и да, минус ЭдВа — нас осталось трое, но про всё будем думать утром, какие сладкие губы, мы не можем, смех как звон бокалов, очень даже можем, мы всё можем, дотронься, тебе нравится?...

Исчезают двенадцать лет разницы в возрасте, растворяется внешний мир, лишь пульс, дыхание, яростная тяга, нам нельзя их убивать, Софа, ну что за дурак, зачем сейчас об этом, жадные руки, горячее к горячему, и мир плывёт, потому что в этом нет справедливости, испарина, щекотно, тиш-ш-ше, ещё, и звёзды подглядывают в окно всеми своими драгоценностями — шахтами, открытыми месторождениями, тяжёлой пылью облачных скоплений, самородками и дикими сплавами кометных хвостов, уходящими баржами, кормовыми сигналами патрульных крейсеров, делящих Галактику между тремя великими охотниками, и: ты так красива в этом свете, Железная Софа, и я знаю, что тебе льстит, когда ты слышишь своё прозвище, и ты сейчас совсем не слышишь меня...

На рассвете он стоит у ворот своего загона, седые от росы травы прилипли к земле, по прорезиненной ткани ограды то и дело скользят крупные капли.

Сонная мумбака неторопливо ковыляет к Рому, приседает на передние, крутит головой, подпрыгивает. Ах ты, чучелка! За забором — её счастливые сородичи, у них красивые белые одежды, блестящие пластины на груди и голове, и с ними играют каждый день. Эта мумбака тоже хочет играть.

Ром ищет палку, но на плоской неизобретательной планете нет ничего, кроме травы и дерна. И костей, кстати. Мумбака тычется лбом под колено и приветливо скалит мелкозубую пасть. Ром достаёт из отвисшего кармана глиняную табличку, вертит ей перед носом у зверя и с размаху бросает в сторону показавшегося солнца.

Мумбака высокими прыжками радостно уносится прочь, курлыканием будя других, спящих

поблизости.

— Так нечестно, — находятся наконец слова. — Они не умеют защищаться.

Когда довольная мумбака возвращается к белым воротам, двуногого там уже нет. Зверь выпускает из зубов глиняный квадратик, стоит, выжидая, несколько секунд и убегает прочь. Откуда-то подходит другая мумбака и кладет рядом ещё одну табличку.

Решение зреет болезненно, медленно... Нет мужества взглянуть в глаза своему отражению. Для чего было всё — до? Стоило ли усилий то, что уже совершено? И где, в конце концов, кончаются твои иллюзии, а начинаешься настоящий ты? И какой ты там, под шелухой занятого положения, мегатонной ответственности, хранимых тайн и жёстко просчитанного имиджа? Ром выглядывает из окна своего бутафорского дворца. Там, у ворот, гора табличек растёт, и скоро станет выше надувного забора, а мумбаки всё идут и идут. \* \* \*

Александр, Безопасность и Территории, вертит в длинных цепких пальцах ослепительно белый карандаш. Маратище не дурак, и лобовая атака заранее обречена на неуспех. Нужен план. Неожиданный, острый, результативный. И пусть пращники пока ещё не держат строй, а залп больше похож на пьяный салют, пусть будущие мечники то и дело сносят головы сами себе — время есть. Мумбаки учатся куда быстрее людей... И кому, как не ему, кадровому офицеру, выпускнику Академии Генштаба, — как давно это было, а, Чёрный Перец?... — построить бестолковых тварей в боевые порядки и доказать шефу, кто в этой фирме решает вопросы?

Софья Игоревна, Финансы и Собственность, брезгливо отталкивает ногой умирающую мумбаку с раскроенным черепом. Точно богиня войны, давно и безвозвратно повзрослевшая детдомовская девочка возвышается над полчищами зверей, вооружённых пока только колотушками. Слабость — единственное, чего она не выносит. Ни в ком и ни в чём. Бесхребетный муж, хотя сам об этом и не догадывается, навсегда застрял в геологоразведке на дальних рубежах. Но как же её подвёл Ром! Со своими стенаниями и причитаниями, пацифистской философией и заглядыванием в глаза... Что он там хотел увидеть? Её чуть не стошнило от этих правильных слезодавильных речей. Почти влюбиться в гения-слюнтяя... Брр! Говорят, что побеждает сильнейший... Что же ты, Софа, несгибаемая и властная, снова чувствуешь себя проигравшей?

Эдуард Валерьянович, Образ и Перспективы, отбрасывает в сторону ещё одну табличку и устало откидывается в шезлонге. Мумбаки, поняв, что игра закончилась, постепенно начинают разбредаться. Ни намёка, ни искорки... А чего ты, Эдичка, хотел? Контактвов третьего рода? Братания и меморандумов? Вот так: артефакты есть, а разума нет. Был ли — вопрос вопросов, только не пустит Маратище сюда никаких учёных, очень уж мальчик не любит делиться игрушками. ЭдВа несколько минут сидит неподвижно, а потом, усмехнувшись — это им понравится! — лезет в мешок и достаёт большой упругий красивый розовый мяч. Бродящие вокруг мумбаки замирают и смотрят на человека с любопытством.

Марат Карлович, хозяин и мозг «Трансресурса», сейчас по-настоящему отдыхает. Как любому сверхзанятому человеку, чтобы расслабиться, ему не нужно безделье — лишь другое, непривычное занятие. И он идёт перед строем радостно курлыкающих мумбак, треплет им загривки, поправляет сползшие доспехи, подтягивает ремни. Шесть тысяч голов. Это легион. Маратище не чувствует себя цезарем, но медные орлы на щитах и пышные гривы шлемов шевелят в душе какую-то струнку, и шипучее веселье распирает дыхание, как бывает всегда

перед большой битвой. Пусть понарошку, но ближайшей битвой из всех грядущих.

Роман Андреевич, Информация и Связь, замирает в неудобной позе над блестящей белизной пластика для трафаретов. В отражении — безоблачное небо, чужое солнце, и больше ничего. Он несколько раз примеривается и наконец, всхлипнув, берёт маркер. Из-под дрожащей руки на листе постепенно появляется контур человека.

Дмитрий Колодан, Карина Шаинян

Над бездной вод

Резиновая лодка покачивалась на слабых волнах подземного озера. Электрический фонарь на корме светил еле-еле. От влажности батарея быстро разряжалась, лампа то и дело гасла, но с завидным упорством включалась снова, расплёскивая блики по чёрной, как нефть, воде.

Здесь, в самом сердце городских катакомб, было холодно и сыро. Перегрин Остер кутался в плотную ветровку, прятал ладони под мышками и всё равно не мог согреться. Зубы стучали так, что он боялся прикусить язык; изо рта вылетали рваные облачка пара. Если бы не фляжка рома с перцем, было бы совсем плохо. Впрочем, Остер уже сомневался, что верное средство спасёт от простуды.

Идеально круглое озеро было больше ста метров в диаметре. Кирпич стен, крошившийся от старости и влаги, потемнел и оброс тиной. Из множества труб в подземное озеро текла вода — где слабыми струйками, где ревущими потоками. Вены города без усталости гнали тёмную кровь, но куда она уходила, оставалось загадкой. Остер изучил все доступные карты подземных коммуникаций, но не нашёл указаний на глубину этого огромного колодца. Кое-где из стен торчали проржавевшие скобы, — похоже, этими лестницами пользовались лет двести назад. Остер не решался проверить, куда они ведут: железо было слишком хрупким, а купаться здесь не хотелось ни за какие коврижки. Сам он добрался сюда по одному из туннелей — тому, что тремя километрами южнее соединялся с дождевой канализацией Юго-Западного района.

Над головой загрохотало метро, заглушив шелест падающей воды. Поезда проходили каждые четыре минуты — Остер привык отмерять время по далёкому перестуку. Точность, конечно, относительная, но в рамках допустимой погрешности. Он механически сделал пометку в блокноте на колене и склонился над шахматной доской. С прошлого раза ничего не изменилось.

Припаянные к краю доски медные струны слегка дрожали; к ним были привязаны индукционные катушки, сейчас скрытые в воде. На чёрно-белых клетках в беспорядке лежали магнитные фигурки из тех, какими украшают холодильники: два помидора с выпученными глазами, радостная груша, танцующий слон. Набор едва ли годился для игры, но будь на месте этих фигурок обычные туры и пешки, Остеру вовек бы не дожидаться объективных результатов. Потенциальные взаимодействия в шахматах слишком сильны, чтобы ими пренебрегать.

Остер смастерил прибор две недели назад, прочитав в «Популярной науке» о связи эфира с магнитными явлениями. Общий смысл двадцатистраничного труда остался неясен, однако кое-что вело к весьма интересным выводам. Автор работы, профессор Рисоцки, пытаясь показать то ли неуловимость предмета исследований, то ли свою начитанность, сравнивал

эфирные волны с Моби Диком. В этом ключе специально созданное магнитное поле превращалось в своеобразный «Пекод», чья встреча с объектом охоты была неизбежна. Идея такого использования магнитных полей показалась Остеру восхитительной. Но, в отличие от зыбких эфирных колебаний, наличие которых оставалось под вопросом, его цель была конкретнее — рыба Доджсона.

Остер не сомневался в том, что в озере под городом живёт огромная невидимая рыба. Для него этот факт не требовал доказательств, как Ахаву не нужны были доказательства существования белого кита. Правда, Остер до сих пор не встретил своего Моби Дика, но научное любопытство не давало покоя. Природа рыбы Доджсона — вот что занимало Остера. Реликт времён ледникового периода — или карп, мутировавший в городских стоках? Как рыба стала невидимой? Остер даже допускал, что рыба Доджсона могла быть двухмерной или четырёхмерной и попросту выпадала из структуры мира, но его знаний теоретической физики не хватало, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу. Однако изобретение должно было сорвать завесу тайны с загадочного существа.

Индукционные катушки создавали под днищем лодки сильнейшее поле. Если в него попадал хоть сколько-нибудь значимый объект, информация тут же передавалась на магнитные фигурки. Каждая клетка шахматной доски обозначала определённый участок подземного озера. Испытания, проведённые в комнатном аквариуме, дали хорошие результаты: фигурки ползали по доске, отражая перемещения двух сомиков рода астронатус. Дома прибор работал как часы. Здесь, под толщей земли, кирпича и бетона, всё шло не так гладко. Остер сидел в лодке третий час, но ни один магнит так и не сдвинулся с места.

Наверху беспощадный апрель заливал город тёплыми дождями. Весна пришла в тугих ливнях и синих тучах.

Под землёй смена сезонов почти не чувствовалась, только яростнее стали стоки, да прибавилось городского мусора в мутной воде. К бортам лодки приносило окурки, похожие на медуз обрывки целлофана и размокшие бумажки. Они сиротливо липли к резине, словно искали поддержки. Затхлый воздух пах бензином, серой и плесенью.

Снова загрохотал поезд.

Остер поставил в блокноте очередную галочку и посмотрел на доску. Ничего. Он взял фляжку и с сожалением отметил, что рома осталось на доньшке. Рыба Доджсона ускользнула. Ещё два поезда, и можно поворачивать к выходу. Остер вздохнул, — эти «два последних поезда» тянулись уже три четверти часа, и каждый раз он решал подождать ещё чуть-чуть. Забавная всё-таки штука — надежда.

Улыбающаяся груша дёрнулась и переползла на четыре клетки. От неожиданности Остер выронил фляжку; остатки выпивки пролились на резиновое днище. Фигурка остановилась, но тут же двинулась соседняя, широкой дугой скользнув к краю доски. Остер сверился с координатной сеткой и присвистнул: объект находился в ближайшем квадрате. Некоторое время фигурка не шевелилась, а затем рванулась вперёд и свалилась с доски. Метрах в пяти от лодки озеро вспенилось. Остер схватил фонарь и направил луч на бурлящую воду.

Из пучины быстро поднималась белёсая туша. Страх скользнул вдоль позвоночника. Это не рыба Доджсона: так просто, без оптических приборов, он бы её не увидел. Фонарь в руке моргнул и погас — разошлись контакты. Остер стукнул рукояткой о сиденье, ещё раз... Казалось, из темноты на него вот-вот бросится неведомое чудище. Представив, какие твари могут явиться из чёрных вод, он прикусил губу.

Лампа мигнула, вспыхнула, и на матово-белой шкуре лежащего перед лодкой существа заиграли влажные отблески. Остер еле удержал фонарь: волны плескались о массивную тушу крокодила-альбиноса, огромного, метров шести в длину. На месте глаз у рептилии

морщились складки тонкой кожи.

Едва сдерживая дрожь. Остер потянулся за веслом. В это время года крокодилы ленивые и вялые, ещё не отошедшие от зимней спячки, однако рисковать не стоило. Мозг рептилий устроен просто, и всё равно невозможно предугадать, что взбредёт им в голову. Остер где-то читая, что природная злоба крокодилов определяется железами, расположенными рядом с печенью и выделяющими особый «фермент жестокости», который вроде бы собирались использовать в армии.

Остер беззвучно погрузил весло в воду готовый к тому, что в любой момент распахнётся пасть и чудовищная рептилия разорвёт лодку в клочья. Надо избегать резких движений, иначе — пиши пропало.

Крокодил качнулся. К морде прилип оранжевый полиэтиленовый пакет. Остер замер, не сводя глаз с ящера. Медленно и почти величественно тот перевернулся на спину, показав белоснежное брюхо. Чуть ниже грудины зияла чёрная дыра.

Остер зажмурился и снова открыл глаза. В пару гребков подплыл к ящерице и толкнул его веслом. Крокодил не отреагировал, да и не мог: вся нижняя часть брюха представляла собой чудовищную рану с рваными краями, белеющую обломками рёбер. Слово кто-то невероятно огромный выел кусок, а остальное выбросил.

Грохот поезда заметался над головой. Остер вздрогнул, невольно оттолкнув тушу. Мёртвый крокодил перевернулся и пошёл ко дну, оставив Остера в полной растерянности. \* \* \*

На поверхности хлестал ливень. В решётки над стоками обрушивались настоящие водопады, автомобильные гудки глохли в насыщенном влагой воздухе. Тротуары заливало радужными волнами. Машины плыли тропическими рыбками: раздвигали рылами воду, поводили переливчатыми боками, плавно огибали рифы-небоскрёбы и сбивались в стайки перед светофорами. Остер заколебался у входа в метро, раздумывая, не поехать ли домой, махнул рукой и почти побежал по улице, высматривая, где бы перекусить и обсохнуть.

Брюки промокли до колен и липли к ногам, за шиворот натекло. Остер готов был сдаться и повернуть к дому, когда уловил жирный запах выпечки. Большая красно-жёлтая вывеска бросала маслянистые отблески на мокрый асфальт. Пригибаясь под струями с карниза, Остер нырнул в дверь.

В зале было битком. Остер протиснулся между столиками, к единственному свободному месту у окна. Напротив сидела высокая девушка; её длинные светлые волосы почти светились. Перед ней на подносе, застеленном рекламкой, стояли солонка, блюдец с четвертинками лайма и рюмка. Пахло текилой. Разноцветные блики дрожали на сером пластике стола. Пробормотав: «Вы позволите?» — и не дожидаясь ответа, Остер поставил сумку на свободный стул и отправился к кассе.

Дохлая крокодил не шёл из головы. Такую рану могло нанести только очень крупное животное. Стоя в очереди, Остер нервно притопывал. Слепая рептилия наверняка стала жертвой рыбы Доджсона, но нужны более весомые доказательства. Остеру впервые удалось подобраться к таинственному животному так близко, и он не хотел обольщаться раньше времени.

Очередь подошла. Остер ткнул пальцем в гамбургер. Вспомнив соседку по столу, спросил текилы. Рыжая кассирша прыснула в кулак и налила большой стакан колы. Задев стулья, Остер побрёл к своему месту. Ориентиром служили волосы девушки, — казалось, они светятся в чаду закуской.

Остер пристроил поднос на столик и, покосившись на соседку; вытащил из сумки потёртую



папку. Развязал коричневые шнурки, — синяя дерматиновая обложка, разбухшая от сырости, раскрылась, и Остер еле поймал просыпавшиеся листы. Здесь были карты канализационных систем, вырезки из газет и журналов, собственные заметки и расчёты — все материалы, что удалось собрать за годы поисков рыбы Доджсона. Остер машинально откусил от гамбургера и зарылся в бумаги.

Что-то в атмосфере закуской мешало сосредоточиться. Строчки скакали перед глазами; Остер заметил, что третий раз перечитывает один и тот же абзац. Отложив статью, он откинулся на спинку стула и осмотрелся. Наверняка отвлекала какая-то мелочь: найти её, осознать, и помеха будет устранена. Взгляд остановился на блондинке.

Острый запах лайма мешался со слабым ароматом водяных цветов — почему-то было понятно, что это не духи. В рюмке снова плескалась желтоватая жидкость. Стекло в царстве пластика и картона выглядело странно. Остер позавидовал девушке: промокший и замёрзший, он и сам не отказался бы от чего-нибудь покрепче, но в его фляжке не осталось ни капли.

Прикрываясь листом бумаги, Остер принялся рассматривать соседку. Очень белая кожа — будто её прятали от солнечных лучей. Девушку легко было представить под зонтиком и в шляпке, затеняющей нежное лицо. Блондинка закинула ногу на ногу; вместо грубого шороха джинсовой ткани Остер услышал шелест кисеи и шёлка. Вода билась в окно, жёсткая геометрия зала растворялась во влажном мареве. Фигура девушки зыбко дрожала, и Остер почти видел, как простенькая футболка превращается в украшенный лилией корсет.

«Свободная касса!» — деловитый крик разбил наваждение. Остер отвёл взгляд. Нездешний ореол исчез: за столиком сидела обыкновенная, хотя и симпатичная девушка. Остер увидел себя со стороны: небритый, с покрасневшими глазами. Рукав вымазан илом, под обкусанными ногтями — чёрная кайма. Кровь прилила к щекам, и Остер порадовался щетине, скрывшей краску. Он неловко пригладил волосы и исподлобья взглянул на девушку. Та задумчиво вертела рюмку, лицо было спокойным и неподвижным. Остер посмотрел на свои руки, встал, чуть не опрокинув стул, и, сжав кулаки, поспешил в туалет.

Жидкое мыло выдавливалось из дозатора крошечными каплями и не столько пенилось, сколько размазывалось скользкой плёнкой. Наконец чёрная кайма превратилась в коричневую, и Остер выключил воду. Раковина с чавканьем всосала остатки воды. Отверстие слива походило на дыхало кита — края слабо пульсировали, выгоняя в стерильную комнату воздух подземных лабиринтов. Антисептик не мог заглушить запахи гнили и мокрой ржавчины. Фундамент здания растаял, истончился, и прямо под сверкающей плиткой пола заколыхалась вода. Остер склонился над раковиной, пытаясь проникнуть взглядом в темноту канализационных труб, и отчётливо услышал долгий вздох. Он точно знал, что в этот момент в сумке мечутся обезумевшие магнитные фигурки. Похолодели ноги. Остер опустил глаза, готовый увидеть, как кафель заливают мутной водой, потерянно посмотрел на сухие плиты и торопливо вышел.

Подойдя к столу, Остер задохнулся от возмущения. Блондинка перебирала оставленные бумаги. Тонкие пальцы неторопливо, почти ласково прикасались к истёртым листкам. Девушка то приподнимала брови, то хмурилась, покусывая губу. Одни листки откладывала не глядя, другие внимательно просматривала, держа близко перед собой. Остер сухо откашлялся — блондинка повернулась к нему и отодвинула папку. Ни тени смущения: лишь интерес и что-то ещё, совершенно невозможное, — готовый взорваться, Остер вдруг понял, что это упрёк.

— А вы зачем её ищите? — спросила девушка.

— Кого — её? — буркнул Остер.

— Рыбу.

— Какую рыбу? — он запихал листы обратно.

Девушка по-прежнему смотрела на него, чуть улыбаясь.

Да что она понимает! Глупая, нахальная девчонка. Какое ей дело до научных исследований!

Остер кипел от злости, но в глубине души плескался ужас. Откуда-то он знал — девушка знает всё и об исследованиях, и о других, более важных вещах. С ней можно поговорить о рыбе Доджсона — ещё как поговорить! Это пугало, и Остер нарочно распалял возмущение, отталкиваясь от странной девушки.

Он затолкал папку в сумку, ободрав пальцы о застёжку-молнию. Зацепил доску — фигурки со стуком рассыпались по полу. Груша скользнула по плитке и остановилась под стулом блондинки. Остер присел на корточки — голова закружилась от накатившего запаха болотных цветов. Подобрал те магниты, до которых смог дотянуться, Остер бросился к выходу. \* \* \*

На следующий день Остер чувствовал себя совершенно разбитым. Спать он лёг поздно, проведя полночи в бесплодных попытках починить прибор. Что-то разладилось и упрямо не складывалось обратно. Остер увеличивал размеры и количество катушек, менял полярность, но магнитные фигурки то стояли на месте, то без причины начинали ползть по доске, толкаясь, как щенки у миски. Особенно усердствовал суровый морж в капитанской фуражке: он с яростью набрасывался на соседние фигурки и выталкивал их с доски.

Раздражение на девицу из кафе мешало, как камешек в ботинке. Остер ловил себя на том, что прокручивает неприятную сцену, выдумывая всё более оригинальные и злые ответы. Сейчас он бы поставил нахалку на место! Как она посмела? Возмущение кипело, глубоко внутри мешаясь с растерянностью и страхом. Остер не мог отделаться от ощущения, что встреча не была случайной. Словно блондинка заранее ждала его. Остер гнал эти мысли: истинный исследователь, он с глубоким презрением относился ко всякого рода таинственным совпадениям и мистическим знакам. Всему есть рациональное объяснение. Даже рыбе Доджсона.

Рано утром, так толком и не выспавшись, Остер вышел из дома. Он собирался вернуться к подземному озеру. Сейчас, когда рыба Доджсона активизировалась, нельзя было терять ни дня. Всё дело в магнитном поле: появление рыбы — явное следствие использования доски с фигурками. Если так, то вполне можно предположить, что существо имеет

эфирную природу. Правда, профессор Рисоцки настаивал на волновых проявлениях эфира, но почему бы эфиру не проявиться и в виде рыбы?

Вчерашний ливень выродился в холодную морось. Город просыпался медленно и лениво. По улицам брели редкие прохожие, безликие, как привидения. В хлопьях утреннего тумана город казался пустым и заброшенным. По лужам полз одинокий автобус, фыркающая, как тюлень.

Остер добрался до крошечного проулка, упирившегося в глухую кирпичную стену. Сбоку узкая лестница вела к приоткрытой двери полуподвала. Жесть навеса вспучилась уродливыми горбами. Раньше здесь был китайский ресторанчик, но хозяева давно разорились, помещение пустовало, и о прежних временах напоминали только скелеты бумажных фонариков под потолком. Цементный пол залило водой, в которой плавали обрывки гофрированного картона и пожелтевшие куски пенопласта. Отсюда через сложную систему заброшенных подвалов и подземных складов можно было выйти к Большой Трубе, где Остер оставил лодку.

Он включил фонарик и нырнул в затхлый коридор. Жёлтый луч скользнул по стене, покрытой

вязью свастик и похабных надписей. По углам болтались клочья испанского мха. Хлюпая по воде, Остер прошёл на бывшую кухню — там ещё сохранились длинные столы, обитые ржавым железом и заваленные полусгнившими одеялами. Иногда здесь ночевали бездомные, но надолго никто не останавливался: слишком холодно и сыро.

Дорогу Остер знал назубок: через пролом в узкий туннель, где под потолком тянутся пучки телефонных кабелей; потом через склад текстильной фабрики в сплетения катакомб под индийским кварталом, где даже камень пахнет корицей... Этим путём он ходил уже не первый год и чувствовал себя здесь гораздо увереннее и уютнее, чем наверху, на шумных и беспокойных улицах. Изредка, когда Остер подбирался совсем близко к границе миров, в тишину подземелий врвался гомон города. В остальное время единственными звуками были скрип битого кирпича и стекла под ногами, журчание воды да сиплый шорох собственного дыхания. Луч фонарика выхватывал то скопления бурых водорослей, то колонии бледных грибов. Белый, почти прозрачный краб размером с детскую голову метнулся в щель между трубами и тихо скрёбся там, пока Остер не отвёл фонарь. Порой очередной туннель разрезали косые полосы серого света, льющегося сквозь решётки стоков. Но вскоре пропали и они.

Остер почти вышел к Большой Трубе, когда впереди мелькнул слабый огонёк. Остер остановился и выключил фонарик. На мгновение он почти ослеп; темнота навалилась, сжав в тисках клаустрофобии. Он зажмурился и сосчитал до двадцати, дожидаясь, пока под веками исчезнут разноцветные пятна. Когда Остер открыл глаза, то уже мог различать что-то дальше собственного носа.

Огонёк то вспыхивал, то опять гас. Голубой отблеск расплывался в сыром воздухе тусклым гало. Остер нерешительно шагнул вперёд и замер. Может, это горит приманка подземного удильщика и Остера ждут оскаленные клыки неведомой твари? Или светится фонарик на шлеме такого же, как он, исследователя подземного мира?

В стороне от первого огонька вспыхнул ещё один, спустя мгновение — третий, пустой и холодный в кромешной темноте. Остер почувствовал себя астронавтом, потерявшимся в просторах дальнего космоса: на мириады световых лет вокруг — лишь бездушное сияние. Подземное созвездие, великое в малом. Адмиралу Бёрду и прочим адептам теории полрой Земли этот образ пришёлся бы по душе.

Огоньков стало больше десятка, и они приближались. Издалека донёсся напряжённый стрекот. Остер попятился, запнулся о торчащую из пола балку и замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Что-то резко ударило в грудь и отлетело в сторону — будто с силой швырнули скомканной газетой.

Остер щёлкнул выключателем. Фонарик пару раз мигнул, но всё-таки зажёгся. Прямо под ногами на цементном полу шевелил усами сверчок — огромный, почти с ладонь. Жирное брюшко пульсировало, будто насекомое никак не могло отдышаться. Суставчатые лапки дёрнулись, и в уши ударил оглушительный треск; вспыхнуло синим. Остер нагнулся, чтобы получше рассмотреть удивительное существо, но сверчок отскочил в сторону. Огонёк рассёк темноту туннеля, как метеор, а на рукав Остера прыгнул второй сверчок, немногим меньше первого.

Остер не заметил, как его окружили насекомые. Их становилось всё больше; звук нарастал, как рёв прибоя. От шелестящего гула заложило уши, свет бесчисленных фонариков сливался в мерцающее марево. Остер вжался в стену в надежде переждать нашествие, но насекомые прыгали на одежду, лезли в лицо и за ворот — он едва успевал сбрасывать с себя нахальных тварей.

Очевидно, это была массовая миграция — явление таинственное и уникальное. Сверчки

приходятся родственниками саранче и наверняка могли унаследовать её привычки. Правда, до сих пор Остеру не доводилось слышать, что подобные феномены возможны под землёй. В солидной монографии профессора Кларка «Фауна катакомб» об этом не было ни слова. Впрочем, в той же книге рыбе Доджсона посвящено два абзаца, сводившихся к тому, что «с большой вероятностью это миф, не имеющий научного подтверждения». Остер со злорадством отметил, что Кларк вновь оказался некомпетентен.

Мимо текла сверкающая, гудящая река. Остер вдруг осознал, что не видит ничего, кроме разноцветных кругов. Голова раскалывалась. Пошатываясь, он шагнул вперёд. В стрекоте отчётливо слышались слова: «Прочь бежать, прочь бежать, прочь бежать...» Не понимая, что делает, Остер побрёл за сверчками, с трудом продираясь сквозь копошащихся насекомых.

Звонкий крик как скальпель разрезал монотонный гул.

— Закрой глаза!

Властные нотки прозвенели с такой силой, что Остер подчинился. Перед глазами по-прежнему крутились радужные отблески. Остера схватили за рукав и потащили в сторону.

— Только не открывай глаза!

Под ногами липко хрустело. Невидимый проводник держал крепко и уверенно, и шёл быстро — Остер еле поспевал за ним. Ноги заплетались, нестерпимо хотелось развернуться. Прочь бежать, прочь бежать... Остер дёрнул рукой, пытаясь освободиться, но хватка стала только сильнее.

— Осторожнее!

Остер споткнулся о выступающий порожек и упал на четвереньки. Какой-то сверчок воспользовался этим и запрыгнул ему на макушку. Остер замотал головой, сбрасывая нахального пассажира, но тот, похоже, запутался в волосах. Насекомое дёргалось и больно царапало кожу.

Остера потянули за воротник; в шею впился замок молнии. Остер неловко перебирал руками и ногами, пытаясь хотя бы ползти, но сбивался и падал, оскальзываясь на цементном полу. Сверчок пронзительно верещал.

Дикая цветовая пляска перед глазами постепенно утихла, и Остер рискнул открыть глаза. Он лежал в узком боковом туннеле. Затылок упирался в пучок телефонных кабелей. Перед глазами колыхалось светящееся море, но здесь сверчков не было. Лёгкий ветерок принёс запах затхлой воды, к нему примешался настойчивый аромат водяных лилий. Задрав голову, Остер увидел водопад светлых волос.

Почувствовав взгляд, девушка обернулась. Сейчас она сама напоминала насекомое из-за дешёвых картонных стереочков с целлофановыми плёнками вместо стёкол — красной и синей. Остер узнал её сразу: нахальная блондинка из кафе! Какого чёрта она здесь делает?! Городские подземелья — не то место, где ожидаешь встретить молодую симпатичную девушку. Живую, во всяком случае.

Блондинка отпустила его и чуть отступила назад, пока он поднимался на ноги. Наверное, он выглядел очень глупо с гигантским сверчком на голове. Он как-то читал про одного коллекционера экстравагантных шляп. Помнится, у того была шляпа-клетка, в которой жил столетний говорящий попугай. Однако носить вместо головного убора живых насекомых было бы слишком даже для такого чудака. Остер хотел сбросить противное создание, но сверчок только сильнее запутался.

— Я помогу, — улыбнулась девушка.

Она легко сняла насекомое, посадила на ладонь и протянула Остеру. Фонарик на конце брюшка слабо тлел, словно в нём разрядились батарейки.

— Кажется, вы хотели посмотреть поближе?

Он отшатнулся. Девушка укоризненно покачала головой, и, вторя ей, закивал сверчок — будто перед Остером стояли королева насекомых и её преданный шут. Длинные усы шевелились, как подхваченные приливом водоросли.

— Что вы здесь делаете?

— Ну, только что спасла ваш рассудок, — сказала девушка. Она подбросила сверчка, и тот, мигнув напоследок, скрылся в туннеле. — А то вы, похоже, решили пойти вместе с этой компанией.

— Я? — Остер посмотрел назад.

Узкий вход ярко светился: шествие не убывало. Остер и не думал, что под землёй живёт столько насекомых. Девушка права — он чуть не отправился в путь вместе с ними. Видимо, дело было в каких-то особых колебаниях, свойственных мигрирующим животным, сочетании звука и света. Переселяющиеся лемминги, издавая писк определённой частоты, способны увлечь за собой даже овцебыков. Очевидно, Остера накрыло подобной волной, и, если бы не девица, кто знает, где бы он оказался. В ушах по-прежнему стрекотало.

— Будем знакомы, — девушка протянула руку. — Джулия Чатауэй.

Чуть помедлив, Остер пожал кончики пальцев, быстро, словно боясь обжечься.

— Перегрин Остер. Или просто... — он замялся, осознав, что не представляет, как звучит это «просто». В школе его иногда называли Пип, но сейчас это имя никуда не годилось.

Девушка терпеливо ждала.

— Остер, просто Остер, — смутился он и тут же разозлился на самого себя.

Джулия серьёзно кивнула, но Остеру почудилось, что её губы дёрнулись в подавленном смешке.

— Я знаю.

В целлофановой плёнке очков полыхнули отражения бесчисленных фонариков. Остер вздрогнул, услышав за сухим треском насекомых громкий плеск воды. Налетевший порыв ветра всколыхнул длинные волосы Джулии. Прядки взметнулись, извиваясь, как крошечные змейки. Остеру нестерпимо захотелось сорвать дурацкие очки и либо увидеть вместо нелепой маски человеческое лицо, либо — окаменеть навеки.

— Вы так и не сказали, что здесь делаете.

— Отчего же, — удивилась Джулия. — По-моему, как раз сказала: спасала вам жизнь.

— Как вы меня нашли? Вы за мной следили, да?

Джулия хихикнула — звук вышел бодрым и фальшивым.

— А если я случайно оказалась рядом, вы мне не поверите?

— Нет, — сказал Остер. — Что вам от меня нужно?

Джулия на секунду задумалась, поправила очки. У неё были красивые пальцы.

— Предположим, я журналистка, охочусь за сенсациями. Огромная невидимая рыба — чем не сенсация?

— Это неправда.

— Конечно. Хотя звучит вполне убедительно, согласитесь. Какая шикарная фотография могла бы украсить первую полосу!

Остер не выдержал и рассмеялся. Несмотря на все странности, девушка ему нравилась; однако нужно было держать себя в руках.

— Вы уходите от ответа.

Джулия вздохнула, смиряясь с его занудством.

— Вы можете привести меня к рыбе Доджсона. Вы это хотели услышать?

Остер смутился.

— Да, я... Я бы мог догадаться, — хотелось спросить, зачем ей понадобилась рыба, не просто же из любопытства, но он так и не решился. Собственная неуверенность бесила.

Остер до боли прикусил губу Ехидно и грубо спросил:

— А почему я должен вести вас к рыбе?

— Наверное, потому, что я знаю, как её увидеть, — пожала плечами Джулия.

— Что? — переспросил Остер. — Но... — он замотал головой. — Глупости! Её нельзя увидеть. Её природа исключает визуальное наблюдение — можно только зафиксировать проявления при помощи некоторых приборов...

— Нужно правильно смотреть, — перебила Джулия. — Все важные вещи заметны только краешком глаза. Так что иногда неплохо взглянуть на мир через стереочки. Получается, что на всё глядишь вроде как под углом.

— И мир выходит более объёмным, — съязвил Остер. — Чушь.

— Но что мешает попробовать? Не вежливо отказывать девушке, которая вас только что спасла.

Остер нахмурился. Совершенно не хотелось делить рыбу Доджсона с кем-то ещё, даже с Джулией. Но, как ни крути, она права: он ей обязан.

— Хорошо, — буркнул он. — Только не путайтесь под ногами.

Он смутился, представив, как глупо это прозвучало. Интересно, почему сверчки на неё не подействовали? Наверное, из-за очков. Сквозь цветные плёнки всё воспринимается иначе, и свет фонариков на брюшках получается искажённым и ослабленным. Но считать, что это поможет увидеть рыбу Доджсона, глупо. Или нет? Если предположить, что рыба невидима потому, что неправильно отражает свет...

Джулия сняла очки и повесила на воротник, зацепив картонной дужкой. В полумраке туннеля её большие глаза чуть блестели. Остер отвёл взгляд и достал из сумки сложенную вчетверо

карту. Не без труда отыскал место, где они находились (синяя обмотка кабелей — значит, «Единая телефонная», номер по схеме, номер ответвления...): на плане это была лишь тоненькая чёрточка. К счастью, туннель тоже выходил к Большой Трубе, — далековато от лодки, но возвращаться в кишасий сверчками проход было рискованно. Остер махнул рукой в сторону сгущающейся темноты:

— Нам туда.

Он, не оглядываясь, зашагал прочь от стрекочущего туннеля. Джулия неслышно пошла следом.

Проход заканчивался широкой вентиляционной шахтой. Когда-то её перегораживала решётка, но сейчас остались лишь ржавые лохмотья, густо заросшие мхом. Огромный, в два человеческих роста, вентилятор застыл намертво. Остер и Джулия протиснулись меж тяжёлых лопастей и наконец вышли к своей цели.

Большая Труба напоминала грязный канал, уместный скорее в Венеции, чем под землёй. Арочный потолок пересекали трубы, скалившиеся обломками грязных сталактитов. С проволочных растяжек свисали пучки электрических кабелей, похожих на мохнатые тропические лианы. По ним бесконечными вереницами ползли сверчки — будто в преддверии праздника Трубу украсили яркими гирляндами. То и дело насекомые падали в воду и гасли, барахтаясь в слабых волнах.

Кирпичная набережная была настолько узкой, что кое-где приходилось идти, прижимаясь спиной к скользким стенам. По краю тянулись железные перила. Местами они обрывались и, выгибаясь спиралями, уходили в воду. Кто пользовался этими лестницами, Остер не знал. С год назад он нашёл неподалёку круглый стеклянный аквариум размером с футбольный мяч, с приделанным сбоку обрывком гофрированного шланга. По всем приметам это был водолазный шлем, однако он не подошёл бы и ребёнку. Спустя три месяца Остер наткнулся на изодранный в хлам ботинок со свинцовой подошвой — величиной под стать шлему. К счастью, за всё время, которое он исследовал подземелья, похитить лодку никто не пытался. И сейчас она покачивалась на волнах там, где её оставили, крутобокая, похожая на толстого тюленя. Внутри копошился пяток сверчков.

Остер спустился по торчащей из стены железной лестнице, подтянул лодку к берегу и помог Джулии забраться в неё. Некоторое время они отлавливали незваных пассажиров. Лодка опасно раскачивалась, грозя перевернуться, но Остер не хотел плыть в компании насекомых. Достаточно общества Джулии. Он покосился на девушку — та сидела на носовой скамейке и, чуть перегнувшись через борт, водила рукой по воде, словно что-то писала.

— Будьте осторожны, — предупредил Остер. — Пока какой-нибудь крокодил не решил проверить, что здесь происходит.

Джулия повернулась с насмешливым недоумением.

— Думаете, крокодилы — самое страшное, что живёт в этих водах?

— Совсем нет, — вздохнул Остер, берясь за вёсла.

Он прекрасно помнил вчерашний случай. Действительно, здесь водятся твари пострашнее. И Остер с Джулией ищут, быть может, худшую из них.

Он вывел лодку на середину канала. Вскоре впереди замаячила арка — вход в подземное озеро. Течение усилилось, и Остер отложил вёсла. Уровень Большой Трубы был немного выше — вода на границе кипела белой пеной в маленьком водопаде.

— Держитесь крепче, — предупредил Остер. — Мы приплыли.

Под неожиданно усилившийся стрекот сверчков лодка устремилась к арке. \* \* \*

Нанесённый ливнями мусор прибило к стенам, и круглая поверхность озера очистилась. По смоляной ряби метались зелёные блики. Чуть выпуклый низкий потолок напоминал крышку — как будто Остер смотрел изнутри котла. Лодка покачивалась на поднятых вёслами волнах, и Остеру на мгновение почудилось, что его суденышко — один из кусочков, плавающих в кипящем супе. А где-то в глубине ходит главная часть этого блюда — рыба Доджсона.

Остер расчехлил доску, опустил в воду катушки. Джулия с интересом смотрела на эти приготовления. Остер, стараясь не обращать внимания на девушку, расставил магниты. Одна клетка осталась пуста: груша, наверное, до сих пор валяется под столиком в кафе. О том, как фигурки вели себя ночью, лучше было не вспоминать. Остер строго взглянул на моржа и погрёб к середине озера.

Отплыв подальше от тоннеля, он поднял вёсла и взглянул на доску. Заломило шею, и Остер понял, что напрягает мышцы, пытаясь защититься от глаз Джулии, устремлённых в затылок. Казалось, под этим взглядом рациональность Остера раскрывается, как ребристая раковина. Остер дёрнул плечом, стряхивая наваждение, и посмотрел на доску. Магниты не двигались, и проволока не отзывалась ни малейшей дрожью. Либо рыба Доджсона ушла из озера, либо ослабло магнитное поле. Ведь именно груша, вспомнил Остер, двигалась в ответ на перемещения рыбы. Он чуть поправил моржа, подвинув его ровно на середину клетки.

— Вам, наверное, не хватает этой детали, — сказала Джулия.

Остер вздрогнул от неожиданности и оглянулся. Девушка протягивала недостающий магнит.

— На самом деле, — продолжала она, — вам вовсе не нужны эти... — она махнула рукой, и Остер понял, что Джулия еле сдерживает смех.

— Эти глупости? Действие магнитов не зависит от того, в какую оболочку они заключены, — буркнул Остер, чувствуя, что краснеет — один в один помидор с доски. — Почти, — тихо добавил он, вспомнив про шахматы.

— И с надеждой искали его, и с умом, и с напёрстком в руках подстеречь...

Остер аккуратно, стараясь не задевать ладонь, взял фигурку — пластмасса нагрелась и казалась живой. Он поставил грушу на пустующую клетку и склонился над доской, приготовившись ждать.

Груша слегка дёрнулась. Остер затаил дыхание и потянулся за листом с координатной сеткой, боясь шорохом или движением спугнуть неуловимую рыбу. Не отрывая глаз от доски, он зашарил в сумке и замер.

Фигурки сошли с ума. Груша, ухмыляясь, поползла по доске. Следующим очнулся морж: он налетел на весело крутящийся помидор и спихнул его к самому краю. Остер еле успел поймать магнит. Уложив доску на дно лодки, он в отчаянии обхватил голову руками. Рыба была совсем рядом, но засечь её не получалось, и это сводило с ума. Ну почему именно сейчас? Магнитная буря? Остер посмотрел на Джулию — та с интересом наблюдала, как носятся по доске магниты. В её взгляде и движениях фигурок виделась связь. Остер укоризненно покосился на девушку. Как бы заставить её отвернуться и при этом не обидеть?

— Здесь не помогут никакие приборы.

— Почему это? — спросил Остер. — Что вы знаете про эту рыбу?



Он едва сдерживал возмущение. Глупая девчонка! Какое она имеет право учить его? Остер гонялся за этой рыбой столько лет, и кому, как не ему, знать, что здесь поможет, а что нет.

— Давным-давно один очень хороший человек написал для моей прапрабабушки стихи про эту рыбу. Правда, он придумал для неё другое название, он любил выдумывать новые слова. Говорят, в этих стихах он хотел рассказать прабабушке про её далёкого предка — доброго и славного короля Пелинора...

Джулия прикрыла глаза, склонила голову набок, и Остер невольно прислушался. Журчание воды в стоках превратилось в мелодию. Далёкие отсветы светляков на воде, отблеск фонаря на полиэтиленовом пакете, изгиб потолка, борода тины на кирпичных стенах — всё поплыло по кругу в торжественном танце. Джулия протянула руку, и Остер сжал тонкие пальцы. Лодка вздрогнула, медленно завращалась. Брошенные вёсла походили на раскинутые руки. Сырой воздух наполнился запахом мангровых болот, и тяжело вздохнула вода — будто озеро потягивалось, очнувшись от долгого сна. Откуда-то издалека донёсся перезвон колокольчика. Бледные пятна света замелькали в глазах, и подумалось, что Джулия спасла ему рассудок лишь для того, чтобы тут же лишиться его. Всё это — чтобы найти рыбу, напомнил себе Остер. Он должен быть в здравом уме, когда она появится, иначе поиски окажутся напрасными.

— Ах да, рыба, — отозвалась Джулия и высвободила руку.

Лодка замерла, мелодия стихла, и окаймлявшие озеро цветные сокровища вновь превратились в плавучий мусор. Джулия свесилась через борт. Она не стала надевать очки и смотрела не вглубь, как сделал бы на её месте Остер, а разглядывала мелкую рябь, словно морщинки на глянцево-чёрной поверхности были тайными знаками. Остеру показалось даже, что Джулия чуть шевелит губами — читает, повторяя про себя слова.

— Она рядом с лодкой, — прошептала Джулия. — Хотите посмотреть?

Остер со свистом втянул воздух. Джулия передала ему очки. Остер торопливо надел их — рассуждения девушки больше не казались безумными. Сливочный свет фонаря загустел. Остер направил луч в озеро. Вода осталась тёмной, и в тоже время стала прозрачной, как крепко заваренный чай. Рядом с лодкой в водяной тьме висела плотная тень. Остер моргнул, и тень превратилась в рыбу.

Крупное округлое тело — рыба была раза в три больше давешнего крокодила. Гладкая чёрная кожа без чешуи, выпученные белёсые глаза. Розоватые щели жабр пульсировали. Подавив растерянность, Остер приподнял очки. Рыба исчезла — вместо неё под водой остался лишь прозрачный сгусток, похожий на медузу. Он снова надел очки — животное по-прежнему пучило глаза и глупо разевало большой рот. Он опустил руку в воду — ладонь скользнула по гладкой коже, и рыба лениво повела плавниками, отодвигаясь. На пальцах осталась слизь, пахнущая тиной.

Разочарование окатило холодной волной. И за этим заурядным мутантом он гонялся так долго? Фотографиями подобных забиты и толстые научные журналы, и жёлтые газеты. Этот экземпляр, конечно, больше, намного больше... но и только. Остер уставился в дно лодки — оттуда ему подмигивали магниты, насмехаясь над его безумием.

Запах болотных цветов, к которому он успел привыкнуть, растворился в канализационной вони. Остер взглянул на Джулию. Заурядная, почти некрасивая девушка: на щеке мазок тины, волосы потускнели и спутались. Кожа казалась землистой. Глаза Джулии лучились сочувствием и странной, неуместной надеждой. В отчаянии Остер сорвал очки и швырнул их в воду. Они поплыли, чуть покачиваясь. На целлулоидных линзах серебристой икрой осели пузырьки воздуха. Рыба поднялась поближе к поверхности — почему-то Остер продолжал её видеть, мучаясь ощущением, что это лишь фантом, отпечаток на сетчатке глаз. Рыба открыла пасть и, вздрогнув, подалась назад. Её морда казалась озадаченной и такой надутой, что

Остер не выдержал.

Задыхаясь от злости, он обрушил на лобастую голову весло. Рыба ударила хвостом, и озеро вскипело нечистой пеной. Лодка качнулась, зачерпнув бортом. Джулия вскрикнула. Она балансировала на краю борта, размахивая руками. В лодку вновь хлынула вода. Джулия обернулась через плечо, её лицо перекосилось от ужаса. Остер рванулся к борту, пытаясь увидеть, что её так напугало. Лодка встала почти вертикально, и он, схватив Джулию за руку, подался назад.

— Это бу... — прошептала она.

Запястье выскользнуло из пальцев Остера, и Джулия рухнула в озеро. Громкий всплеск заглушил конец фразы.

Остер вскочил. Резина под ногами содрогалась, прогибаясь. Джулия неподвижно висела под водой, глаза были открыты, и Остеру показалось, что девушка не тонет, а истаивает, превращается в пустоту в ореоле потемневших волос. Сбросив сапоги, он нырнул следом. Ледяная вода впилась в тело, и навалилась удушливая паника — казалось, сердце не выдержит холода, а ведь где-то рядом парила в толще воды рыба Доджсона, и её невидимая пасть была жадно раскрыта. Захотелось замереть, чтобы не привлекать внимания, но мысль о Джулии помогла задавить страх.

Остер опустил лицо в воду и открыл глаза. Под ним тяжело колыхалась прозрачная безжизненная тьма. Представилось, как Джулия погружается всё глубже и глубже — вечное движение вниз, в недра бездонного озера. Остер нырнул, подумав, что может и не выбраться на поверхность, намокшая одежда тянула ко дну. Рука задела что-то скользкое и извивающееся. Он вскрикнул, хлебнул отдающей гнилью воды и выскочил на поверхность.

За рукав зацепились очки. Надев их, Остер опять нырнул. Тьма превратилась в гигантский кристалл, поставленный перед лампой, будто кусочки целлулоида были крошечными цветными прожекторами. Остер застыл, раскинув руки, чтобы рябь не мешала смотреть, и в прозрачной темноте увидел два сгустка — вода там уплотнилась, приобретя иные свойства. Джулия и рыба Доджсона бок о бок уходили во тьму вод.

Остер вынырнул и схватился за борт лодки. Комбинезон свинцовым коконом облепил тело. Остер тяжело перевалился в лодку. Зубы стучали, как кастаньеты, и Остер, сдерживая дрожь, изо всех сил сжал челюсти. Над озером повисла тишина, которую лишь подчёркивало далёкое журчание и удары капель с потолка.

Рыбу Доджсона нельзя увидеть, до неё нельзя дотронуться. Остер знал это с самого начала, но предпочёл забыть. Джулия намекала, но он не захотел услышать, и она ушла — ушла вместе с рыбой, оставив ему лишь пустоту. Остер раскачивался, обхватив руками плечи. Он должен найти настоящую рыбу — иначе этот вакуум никогда не заполнится и холод будет вечно терзать изнутри. И никакие приборы тут не помогут. И вся королевская рать...

Шахматная доска без всплеска канула в озеро. Следом отправились магниты — Остер выпускал их из горсти по одному каждые четыре минуты, пока под сводами колодца металось эхо очередного поезда. Только последняя фигурка, прохладная и гладкая, прилипла к руке и всё никак не хотела падать. Это была груша. Подумав, Остер сунул её в карман и взялся за вёсла. \* \* \*

Остер шёл по улице, вдыхая запахи мокрого асфальта и бензина. Скоро ему останется лишь сырой воздух подземных лабиринтов. Резиновые сапоги разбрызгивали лужи — забытое детское удовольствие наступать прямо в отражения лип и вывесок и смотреть, как они превращаются в яркую рябь. На него оглядывались. Из моря зонтиков, плывущих по людному проспекту, вдруг выныривало будничное лицо, вытягивалось вопросительным знаком, и

прохожий поспешно отступал в сторону. Дождь оглушительно барабанил по каске, и неумолчная дробь отделяла от всего мира. Хотелось включить налобный фонарик — рассеять пасмурную хмарь, но Остер удержался. Запасные аккумуляторы, подвешенные к поясу комбинезона, тяжело били по бёдрам, но экономить батареи всё-таки было надо.

Он шагал бездумно, надеясь, что ноги сами вынесут его к нужному входу в подземелье. Воспользоваться одним из привычных путей казалось неправильным, — Остер долго раздумывал, но так и не смог выбрать подходящий лаз. Неприметная дверца на одной из станций метро? Заброшенный бункер в парке? Люк во дворе на Юго-Западе, среди бетонных коробов спального района? Остер не хотел признаваться себе, что он, исследователь, привыкший во всём полагаться на вдумчивый анализ, ждёт знака.

И знак появился. Над улицей поплыл запах цветов и мангровых болот. Сердце дёрнулось и застыло, напуганное сбывшимся предчувствием. По другой стороне улицы шла высокая девушка. Тяжёлые золотистые волосы струились по спине, и казалось, что она пританцовывает на ходу. Остер ринулся вдогонку. Люди отшатывались, заслышав громкий топот. Джулия то и дело скрывалась за спинами. Он хрипло выкрикнул её имя, но девушка не оглянулась. Лёгкая фигура исчезла за мозаикой зонтов. С перекрёстка неумолимо надвигался полицейский. Остер побежал, расталкивая прохожих плечами. Какой-то толстяк шарахнулся, загоразживаясь зонтом, нейлон лопнул, и оголившаяся спица ткнула Остера в лицо. Он зажмурился от боли, но успел заметить блеснувшее в переулке светлое пятно. Перепуганный толстяк попятился, бормоча извинения. Остер бросился через дорогу. За спиной завизжали тормоза, в лужу посыпалось разбитое стекло. Не оборачиваясь, он нырнул в переулок.

Это был узкий, безлюдный тупик. Глухие стены смыкались над головой, как своды тоннеля. Остер сник, он принял за Джулию жёлтое граффити. В мусорном бачке деловито рылся кот — он сверкнул на Остера глазами и скрылся между наваленными вокруг коробками. Возбуждение погони сменилось едкой горечью.

Мелкий дождь пропитался отчаянием и обволакивал, точно мокрый саван. Спотыкаясь, Остер побрёл к выходу из тупика. Нога зацепила волглый картон, коробка перевернулась. Из неё выкатилось несколько подгнивших груш, и одна ударилась о ботинок. Мятый бок пересекала царапина-улыбка.

«Всё не так просто», — пробормотал Остер и огляделся. Тупик по-прежнему оставался пустым и тусклым. Единственным ярким пятном было граффити — на фоне сырой штукатурки оно почти светилось. Остер отступил к стене, чтобы рассмотреть рисунок, и обмер: бессмысленные надписи и завитушки сложились в искажённый, но явственно различимый рыбий скелет. Между разинутыми челюстями виднелась железная дверь.

Разум раскрылся, как раковина. Рыба ждёт, когда Остер найдёт её — не жалкое холоднокровное животное из скользкого мяса и тонких костей, а настоящую рыбу Доджсона. Он надел очки и обернулся. Из тупика проспект выглядел далёким, словно Остер смотрел из колодца. Разноцветье машин и вывесок помертвело, превратившись в сплошные оттенки серого. Звуки города таяли в шорохе дождя, журчании ручьёв, звонком стуке капель по жестяному карнизу.

Остер навалился на дверь. Мокрое железо было шершавым от ржавчины и оставляло на пальцах рыжие следы. Надрывно заскрипели несмазанные петли. Дверь приоткрылась, выпустив из тёмного нутра клуб холодного воздуха. Пахло стоячей водой, водорослями и рыбой. Сразу за порогом зиял чёрный провал, в него вели обросшие тиной скобы. Остер включил фонарь и начал спускаться.

Весна на пороге зимы — особое время года. Апрель, беспощадный месяц, грохотал штормами, бился в гранит границы земли. Каждую ночь море нещадно набрасывалось на берег, оставляя вдоль тусклой полоски пляжа намёки на дни творения — медузу, рыбий хребет или панцири крабов; возвращало дары — обглоданные до блеска кости деревьев, кусок весла, бессильный обломок ржавой пружины, оснастки чужих мертвецов.

По утрам побережье окутывал туман. Его тугие щупальца, подхваченные бризом, скользили по краю воды, карабкались по камням к маяку, и дальше, к скалам. Во влажном воздухе бухта расплывалась, словно плохой фотоснимок. На пляже, среди островков жёсткой травы, жались друг к другу старые лодки, облепленные ракушками и плетями водорослей и похожие на гигантских трилобитов, явившихся из глубин сумрачного девонского моря. Порой в непрерывном мареве казалось, что они и вправду перебираются с места на место, и тогда я не мог с полной уверенностью сказать, что это всего лишь шутки тумана и воображения...

Дом у моря я снял ещё летом. Меня интересовала обитавшая неподалёку колония морских игуан — удивительных ящериц, которых Мелвилл не без оснований назвал «странной аномалией диковинной природы». «Популярная наука» как раз заказала серию акварелей этих загадочных рептилий. Конечно, с лёгкостью можно было взять в качестве натуры фотографии и чучела из Музея естественной истории, но я абсолютно убеждён — настоящий анималист не имеет права на подобные полумеры. Чтобы нарисовать животное, надо понять его характер, заглянуть ему в душу, а много ли можно увидеть в стеклянных глазах?

Игуаны, надо отдать им должное, по достоинству оценили моё рвение, и работать с ними оказалось настоящим удовольствием. Я ещё не встречал более внимательных натурщиц: они были готовы часами неподвижно лежать на окатываемых волнами камнях, игнорируя нахальных крабов, ползающих прямо по их спинам. К осени набралась внушительная подборка эскизов, однако меня не покидало ощущение незавершённости работы, и я продолжал лазать по скалам в поисках сюжета, который бы наилучшим образом закончил цикл. В итоге, поскользнувшись, я рассадил руку и надолго лишился возможности рисовать.

Этот досадный инцидент имел и другие, гораздо более неприятные последствия. Пустяковая, на первый взгляд, рана загноилась, рука распухла, и почти неделю я провёл в постели, в горячечном бреде. По ночам, когда ветер неустанно бился в оконные стёкла, я метался на влажных простынях, безуспешно пытаюсь уснуть. Несмолкаемый рокот прибора навевал странные видения панцирных рыб и гигантских аммонитов — доисторических чудовищ, затаившихся в толще вод, и, подозреваю, я был не далёк от истины. Видимо, уже тогда доктор Северин начал свои опыты.

Северина я знал давно, но знакомы мы не были. В кругах, что вращались вокруг Научной Академии, он был известен едва ли не каждому, в первую очередь из-за скандала с механическим кальмаром. Тогда, основываясь на последних достижениях механики и вивисекции, доктору удалось сделать почти невозможное — создать живое существо и, быть может, вплотную подойти к разгадке творения. Не спорю, он был талантливым учёным, гением, но его методы вызывали глубокое отвращение. Собаки и обезьянки, выпотрошенные без анестезии ради пары желёзок, — это только полбеда. Я слышал от некоторых специалистов, что в создании кальмара использовались и человеческие органы. Кажется, именно тогда вивисекция была объявлена вне закона. По слухам, когда всё открылось, Северин бежал в Южную Африку, где в секретной лаборатории продолжил заниматься запрещёнными экспериментами. Признаться, я удивился, встретив его в посёлке.

Северин жил по соседству, в покосившемся особняке с выбитыми стёклами. На улицу доктор

практически не выходил, и долгое время я был уверен, что дом необитаем, пока Густав Гаспар, смотритель маяка и поэт, не рассказал о хозяине. А спустя пару дней я и сам увидел Северина, прогуливавшегося на заднем дворе.

Несмотря на солнечный и тёплый день, доктор был одет в тяжёлый плащ из плотной прорезиненной ткани, застёгнутый на все пуговицы. Мне сложно объяснить, но было в Северине что-то отталкивающее, из-за чего при встрече с ним хотелось перейти на противоположную сторону улицы. Что-то, что лишь подчёркивалось асимметричными чертами лица и блестящей, болезненно жёлтой кожей. Острое горло вздымалось с каждым вдохом. Северин ходил по кругу, беззвучно шевеля губами.

Продолжалось это около часа и закончилось нелепым и жутким образом. На край забора тяжело опустилась толстая бронзовка. Доктор тут же шагнул к жуку и схватил, крепко сжав двумя пальцами. Некоторое время он разглядывал его — и вдруг положил в рот и старательно разжевал. Я был в шоке.

Как рассказал мне Густав Гаспар, Северин объявился в посёлке пару лет назад. Он выдавал себя за отошедшего от дел ветеринара. Местные жители даже пробовали обращаться к нему за помощью, но это быстро прекратилось, после того как он без всякого наркоза отрезал лапу коту прямо на глазах изумлённой хозяйки. И нисколько не сомневаюсь, что за закрытыми дверями Северин занимался и другими мерзостями, которые в его представлениях назывались «наукой». Густав Гаспар как-то нашёл на пляже мёртвую игуану со следами хирургического вмешательства — не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто стоит за этим.

Северин действительно проявлял интерес к ящерицам. Несколько раз я видел его рядом с колонией, обычно поздно вечером. После заката игуаны особенно ленивы, поймать их не составляет труда, и доктор пользовался этим. С помощью длинной удочки с нейлоновой петлей на конце он стаскивал их с камней, каждый раз унося с собой одну или две рептилии. Страшно подумать, что ждало их в лапах чудовищного вивисектора.

Чувствуя некоторую ответственность за игуан, я пытался проследить их дальнейшую судьбу, но мне так и не удалось узнать, для чего они понадобились Северину. А после неудачного падения я и вовсе вынужден был прекратить свои детективные изыскания.

Когда боль в руке поутихла, я попытался вернуться к работе, но было ещё рано. Так что я просто гулял по пляжу, наблюдая за игуанами, собирая раковины и интересные камни — и по большому счёту изнывая от безделья. В один из таких дней, кажется в четверг, и началась история с рыбами.

В то утро меня разбудил пронзительный лай прямо под окнами. Я где-то читал, что собачий лай входит в пятёрку самых раздражающих звуков, опережая даже скрип мела по грифельной доске; в данном же случае налицо была попытка побить все рекорды. Я выглянул в окно.

Открывшаяся картина носила отпечаток нездорового гротеска. Окно моей спальни на втором этаже выходило во двор, за которым начинался огород госпожи Феликс. Разделял их невысокий кирпичный забор, увитый сухим плющом, — эта граница и послужила сценой. Актёров было всего двое: смотритель маяка Густав Гаспар и Лобо, старый пудель госпожи Феликс, но их вполне хватило, чтобы разыграть самый нелепый фарс из тех, что мне доводилось видеть.

Собака срывалась на визг. Сознаюсь, при всей моей любви к животным, Лобо не вызывал у меня симпатии: грязное, неопрятное и чертовски склочное создание, упивающееся собственной безнаказанностью. У бедняги был паралич задних лап, поэтому передвигался он на плетёной тележке с колёсами от детского велосипеда, но, надо признать, с поразительной ловкостью. Лобо обладал удивительным даром появляться в самый неподходящий момент

лишь затем, чтобы вас облаять, а то и вцепиться в ногу. К сожалению, ни у кого не поднималась рука проучить подлого пса, а жалобы, обращённые к хозяйке, натыкались на стену полнейшего непонимания. Сейчас Лобо с торжествующим видом возвышался над своей добычей — ботинком Густава Гаспара.

Самого хозяина обуви я заметил не сразу. Сначала я увидел ноги, торчащие над забором подобно беспокойной букве «V». На ветру трепыхался полусдёрнутый с ноги полосатый носок. Присмотревшись, я сообразил что Густав свесился с забора вниз головой, в лучших традициях Белого Рыцаря. Одной рукой он опирался о землю, в другой сжимал корявый сук, которым пытался подцепить ботинок. Пёстрая гавайская рубашка сползла чуть ли не до подмышек. Лобо, прекрасно сознавая своё превосходство, держался вне досягаемости от палки и явно издевался. Он то и дело переносил ботинок с места на место, но так, чтобы у Густава оставалась надежда дотянуться. Риска свёрнуть себе шею, несчастный смотритель извивался, словно угорь, благо сам был длинным и тощим. Признаться, мне было непонятно, что же мешает Густаву слезть с забора и попросту отнять башмак, но, видимо, на то были свои причины.

Развязка пантомимы наступила совершенно внезапно. Густав вытянулся и исхитрился воткнуть сук между спицами. Собаки, насколько я помню, лишены мимических мышц, однако на морде у Лобо появилось выражение крайнего недоумения. Он умолк. Густав неторопливо слез с забора, поднял ботинок. Пудель попытался отползти.

Именно тогда выяснилось, что я был не единственным, свидетелем этой сцены. Не успел Густав занести руку, как в доме госпожи Феликс распахнулось окно и в тёмном проёме возникло бледное, перекошенное от злобы лицо хозяйки. Я чужд предрассудков, но положительно уверен в том, что ведьмы существуют. И госпожа Феликс — одна из них. И дело, пожалуй, не в обширной оккультной библиотеке, составлении гороскопов и гадании на Таро. Важнее поразительное и нелепое убеждение госпожи Феликс в том, что её все ненавидят.

На зрителя обрушился такой поток брани, что Густав поспешил ретироваться. Он перемахнул через забор, что-то поднял с земли и заковылял к моему дому. Госпожа Феликс не унималась: если бы ей хватило сил, в зрителя полетели бы тарелки и цветочные горшки или, если хотите, жабы и змеи.

Смотритель, тяжело дыша, ввалился в дом. В одной руке он держал ботинок, а в другой — мятую жестянку из-под краски. По покрасневшему лицу струился пот. Густав попытался плечом стряхнуть запутавшуюся в бороде травинку.

— Вот, — сказал он. — Думал напрямик быстрее будет, да...

Он обречённо взмахнул ботинком. Посочувствовав зрителю, я предложил ему рому, но, как ни странно, тот отказался. Он был сильно взволнован, и, как выяснилось, причиной тому были отнюдь не Лобо с госпожой Феликс. Гораздо важнее оказалась его утренняя находка. По словам Густава, ничего подобного он не встречал, хотя за свою жизнь насмотрелся всяких диковинок. Он протянул мне жестянку, наполовину заполненную водой. Но предосторожность была излишней: три рыбки, что болтались на поверхности, судя по всему, давно сдохли. От удивления я даже присвистнул. В отличие от зрителя, я эти создания узнал — рыбы из рода *Argyrogirelescus*, иначе известные как топорики, маленькие монстры, достойные кошмаров Лавкрафта. Трудно представить рыбу с более мрачной внешностью: тело, сжатое с боков так, что выпирает скелет, выпученные глаза, задумчиво устремлённые вверх, и вечно угрюмое выражение огромного рта. Я прекрасно понимаю смятение Густава, на топорика невозможно смотреть без содрогания.

Прежде я видел топорики исключительно в Музее естественной истории — желтушные

призраки, застывшие в формалине. Но обитают они на таких глубинах, что шансов оказаться выброшенными на берег у них практически нет. находка меня крайне озадачила. И кто бы мог подумать, что эти рыбки окажутся лишь предвестниками чудовищного и таинственного нашествия?

На следующий день Густав нашёл уже больше десятка топориков, и, что самое удивительное, некоторые рыбки были живыми. Жуткие уродцы бессильно бились на песке, и, по словам зрителя, их обходили стороной даже крабы. Правда, в дальнейшем я не замечал подобной щепетильности. К концу следующей недели бухта буквально кипела чайками и крабами, собравшимися, наверное, со всего побережья на жуткое пиршество, но их всё равно не хватало, чтобы справиться с неожиданным обилием глубоководных тварей.

Хотя топорики оставались в большинстве, вскорости к ним присоединились и другие не менее поразительные создания: удильщики, мелапиды, хаулиоды и гигантуры, гигантские креветки и крылатые осьминоги — бухту заполнили самые невероятные чудища. Казалось, море вдруг решило разом выдать все свои тайны. Тем не менее мои попытки найти объяснение феномену не увенчались успехом. Я тщетно пытался сопоставить это явление с фазами луны, магнитными бурями, землетрясениями и вспышками на солнце, но не находил связи.

Надо сказать, именно тогда мучившие меня призрачные видения девона окрепли и превратились в навязчивую идею. Свою роль сыграл тяжёлый запах гниющей рыбы, проникавший даже сквозь плотно закрытые ставни, но, как выяснилось впоследствии, дело было не только в этом. По ночам я подолгу не мог уснуть, ворочался, преследуемый кошмарными фантомами оскаленных пастей, клешней и щупалец. Сон приходил лишь под утро — странное зыбкое состояние, полное туманных образов и чудовищ. Просыпаясь, я никак не мог избавиться от ощущения, что превращаюсь в доисторического моллюска, быть может аммонита.

Я совсем забыл про игуан. Наверное, со времён Биба ещё никому не выпадал шанс так близко познакомиться с обитателями бездны, и я не собирался его упускать. Вместе с Густавом мы расчистили небольшой участок пляжа и соорудили навес из жердей и куска старого брезента. Кроме того, зритель притащил ржавый железный лист, на который мы стали складывать находки. Всё своё время я проводил в этой импровизированной студии и, невзирая на боль в руке, делал зарисовки морских чудовищ.

Как ни странно, нашествие совсем не заинтересовало доктора Северина. С тех пор как оно началось, я ни разу не видел доктора на пляже. Подобного безразличия я никак не ожидал. Похоже, вместо науки доктор вдруг решил заняться строительством — именно такие мысли возникли, когда Северин начал покупать камни.

Началось это где-то спустя неделю после того, как Густав нашёл первых рыбок. К тому времени на заднем дворе Северина выросла гора щебня высотой мне по пояс. В камнях не было ничего особенного — самый обычный известняк, и я не придавал этому значения. Но через пару дней камней стало раза в два больше, и доктор определённо не собирался останавливаться на достигнутом.

Однажды, возвращаясь вечером с пляжа, я увидел, как перед домом учёного остановился маленький грузовик. Не знаю, что меня удержало, но вместо того чтобы пройти мимо я, неожиданно для самого себя, спрятался за корявым деревом у забора госпожи Феликс. Грузовик просигналил, и вскоре появился Северин. Я никогда не видел доктора таким взволнованным. К грузовику он почти бежал, размахивая руками. Из кабины вылез водитель, но Северин не обратил на него внимания. Перегнувшись через борт, доктор схватил горсть щебня. Лицо его переменялось. В этот момент он напомнил мне Сильвера над сокровищами Флинта — того и гляди, начнёт хохотать и осыпать себя камнями, словно золотыми монетами. По всей видимости, только присутствие водителя грузовика удержало его от столь

бурного проявления чувств. Северин бережно положил камни обратно и принялся рыться в щебне. Наконец он откопал булыжник размером с апельсин и уставился на него с благоговением. Он заговорил, обращаясь, как мне показалось, совсем не к водителю. Слов я не разобрал. Северин прижал камень к уху и замер.

Всё это было настолько загадочно, что я не сразу услышал предательское поскрипывание за спиной, а когда спохватился, было поздно, и зубы Лобо сомкнулись на лодыжке. Вскрикнув от боли, я выскочил из укрытия, но, пробежав несколько метров, споткнулся и растянулся прямо у ног Северина. Эскизы разлетелись во все стороны. Лобо разразился радостным лаем. Я был готов придушить наглого пса. Медленно подняв голову, я встретился взглядом с Северином. Сочувствия я не увидел, скорее наоборот — доктор был явно раздражён моим внезапным появлением. Мне даже стало обидно. Я начал молча собирать рисунки. Однако доктор выказал неожиданный интерес к моим работам и поднял ближайший листок. Я насторожился.

— Мешкорот, — наконец сказал доктор. — Нет, не то. Ещё не то...

Он отбросил рисунок и, повернувшись к водителю, принялся отдавать распоряжения по разгрузке камней. Я не стал задерживаться.

В тот вечер доктор меня порядком разозлил, но, отбросив эмоции, я был вынужден признать, что Северин вёл себя весьма необычно. Всё-таки не каждый день встречаешь человека, который разговаривает с камнями. Знал я одного парня, у которого была внушительная коллекция садовых жаб из терракоты. Каждую субботу он расставлял их на заднем дворе и читал вслух Диккенса. Но у меня язык не поворачивался назвать Северина эксцентриком. Чудаки не режут по ночам ящериц, чтобы посмотреть, как они устроены и что там стоит исправить. У них хватает юмора и такта радоваться миру такому, какой он есть. Оставалось только смириться с очевидным — Северин сошёл с ума. Слетел с катушек, как метко выразился Густав Гаспар, выслушав рассказ о выходке доктора.

Последующие события, впрочем, вынудили на время забыть о Северине. Причиной стала самая потрясающая находка с начала нашествия. По странному стечению обстоятельств, случилось это на следующий день после встречи с доктором.

Утро выдалось пасмурным и холодным. Всю ночь шёл дождь, к рассвету выродившийся в колючую морось, и выходить из дома в такую погоду совсем не хотелось. К тому же я почти не спал: к моим собственным кошмарам неожиданно решил присоединиться Лобо. Жуткий пес определённо решил свести меня с ума и полночи выл так, что даже спрятав голову под подушкой, я не мог избавиться от этих отвратительных звуков. В итоге наутро я чувствовал себя окончательно разбитым, и добраться до пляжа мне стоило немалых усилий.

Смотрителя я заметил, только подходя к навесу. Он стоял по колена в воде и тащил что-то к берегу. Его добыча была довольно тяжёлой — Густав шёл с трудом, постоянно останавливаясь и переводя дыхание. Волны захлёстывали его по пояс, норовя сбить с ног, но Густав не отступал. Гавайская рубашка пузырилась на ветру, словно парус жизнерадостной яхты. Увидев меня, он замахал рукой, и я поспешил на помощь.

Вдвоём мы выволокли на песок крупную рыбу, размером и весом с невысокого человека. Несмотря на то, что солнце было скрыто облаками, плотная чешуя отливала синим металлом. Не веря своим глазам, я смотрел на рыбу, забыв обо всём на свете. У меня в голове словно взорвалась бомба, — кажется, так писал профессор Смит, которому впервые выпала честь встретиться с этим созданием. Латимерия, рыба-целакант, живое ископаемое, чудовище из прошлого...

Густав устало сел на землю, раскуривая огрызок сигары.



— Это же надо, — сказал он. — Рыба с ногами...

Я рассеянно ответил, что это плавники, но Густав замотал головой.

— Мне не понять эту рыбу, Бог её вне пределов моего Бога. Шекспир ну или кто ещё. Я начинаю понимать, что он имел в виду.

На мгновение лицо зрителя скрыли клубы густого дыма. Сидя над таинственной рыбой, он был похож на Челленджера в зените славы.

— Кстати, — заметил он. — Я уже видел подобную тварь, но никак не думал, что она существует на самом деле. Тут у одного парня есть чучело — всегда думал, что это подделка. Умный парень, но со странностями. Пару лет назад он сделал железный шар, чтобы спускаться под воду и смотреть, как там рыбы живут. Думаю, вас надо познакомить.

Я перевёл взгляд с латимерии на Густава.

— Ты говоришь о батисфере? У вас здесь есть батисфера?

— Ну да. А что в этом такого?

Моя бурная радость весьма озадачила Густава. Но я не мог сдержаться, батисфера давала такие возможности, о которых я даже не мечтал. Теперь разгадка нашествия рыб была близка — я ничуть не сомневался, что ответ нужно искать на глубине. Кроме того, я смог бы завершить работу над циклом для «Популярной науки» и нарисовать игуану под водой: когда на горизонте появилась батисфера, я сразу понял, какого рисунка не хватает. Осталось уговорить этого парня на серию погружений. Было решено, что, как только я закончу с латимерией, мы немедленно отправимся к нему.

Создателя батисферы звали Людвиг Планк, и жил он на другом конце посёлка. Дом изобретателя я опознал с первого взгляда: во дворе валялись шестерни, велосипедные цепи, трубки, ржавые моторы и совсем уж непонятные железные конструкции. Пробравшись через этот хлам, Густав постучал в дверь и, не дождавшись ответа, предложил пройти в мастерскую.

Мы направились к небольшому сараю. Из приоткрытой двери доносился тихий гул, время от времени заглушаемый гудками и позвякиванием. Я боялся представить, что за таинственные механизмы скрываются за этими звуками, — от человека, построившего батисферу, можно было ждать чего угодно. Густав толкнул дверь, и мы вошли. Впрочем, я тут же остановился в восхищении.

Почти весь сарай занимал макет железной дороги, настолько большой и сложный, что в голове не укладывалось, как он функционирует. По сути, это была целая фантастическая страна, смыслом существования которой была перевозка грузов. Миниатюрные леса, поля и горы — всё было оплетено густой сетью рельс. Разводились стрелки, поднимались и опускались шлагбаумы, перемигивались семафоры. Не менее десятка крошечных составов куда-то спешили, ныряли в туннели и карабкались по горам из папье-маше, замирали на станциях и вновь устремлялись в свой бесконечный путь. На искусственной траве паслись пластмассовые коровы и динозавры.

— Людвиг! — крикнул Густав. — Ты здесь или как?

Из-за горы, поразительно похожей на Фудзи, выглянула растерянная физиономия.

— Да, я...

В это мгновение раздался пронзительный звонок — половинки разводного моста не успели

соединиться, и над рекой из эпоксидной смолы повис состав.

— Парарам, — мрачно констатировал Густав. — А ведь катастрофа. Число жертв пока не известно.

— Сам вижу, — нахмурился Людвиг и щёлкнул выключателем.

Поезда замерли.

— Мы тут по твою жестянку, — сказал Густав. — Ту самую, чтобы за рыбами смотреть.

— Нам нужна батисфера...

— Батисфера? — переспросил Людвиг, выходя из-за макета. — Это из-за тех рыб, что заполонили пляж?

Людвиг был невысоким и щуплым. Видимо стесняясь ранней лысины, он носил кепку с прозрачным козырьком, отчего его лицо имело странный зеленоватый оттенок.

— В точку, — сказал Густав. — Сегодня я выловил рыбу с ногами...

— Латимерию.

Некоторое время Людвиг нервно грыз ноготь на мизинце.

— Нет, я так и знал, что этим всё кончится. Когда рыбы только появились, я сразу понял — понадобится моя батисфера. А вы уверены? Без погружения никак не обойтись?

Батисфера лежала на заднем дворе за горой деревянных ящиков, кое-как укрытая куском брезента. Людвиг стянул полог, и чудо техники предстало предо мной во всей красе. Стальной шар чуть более полутора метров в диаметре сиял полированными боками и тяжёлыми медными болтами. На меня уставились мрачные глаза-иллюминаторы из толстого кварцевого стекла. В этом взгляде было что-то запредельное, я почти чувствовал скрывавшийся за ним вечный холод морских глубин, где в непроглядной тьме живут самые невероятные и чудовищные создания.

— Точная копия той, что была у Бартонна и Биба. — с гордостью сказал Людвиг, похлопав по крошечному люку.

За его спиной Густав корчил рожи своему отражению на блестящей поверхности. Я осторожно провёл рукой по холодному железу.

— И сколько было погружений?

Людвиг виновато улыбнулся.

— Вообще-то...

— Да ни одного, — перебил его Густав.

Я удивлённо посмотрел на Людвига. Тот пожал плечами.

— Между прочим, это чертовски опасно. Бездна полна монстрами, кто знает, что встретится на глубине?

— Тут ты прав, — сказал Густав. — Видел я вчера одну тварь — прям как из ада. Сплошные шипы и зубы. Тем парням, что сочиняют страшные истории, стоило бы на неё взглянуть.

Я замотал головой.

— Глупости. Какое создание сможет нанести вред батисфере?

— Левиафан? — нахмурился Густав. — Тот зверь морской, кого из всех творений, всех больше создал Бог в пучине водной. Мильтон.

Меня порой поражала фантастическая начитанность Густава, всплывавшая в самые неожиданные и неподходящие моменты и совсем не вязавшаяся с его обычной манерой разговора.

— Некоторые рассказы о морских чудовищах звучат, конечно, нелепо, — назидательно сказал Людвиг. — Но ещё более глупо — не принимать их в расчёт, планируя погружение. Я провёл небольшой опыт, думаю, вам стоит посмотреть.

Он провёл нас на кухню. Посреди стола сверкал чистотой круглый аквариум. Внутри, на большой раковине с задумчивым видом сидел красный краб. Людвиг достал свинцовый шарик на леске и начал опускать в воду. Краб насторожился. Глаза на толстых стебельках внимательно следили за приближающимся грузилом. Неожиданно он рванулся и вцепился клешней в леску. Людвиг разжал пальцы, шарик опустился на дно. Краб изучил его и обиженно уставился на нас через стекло.

— Ну, это ещё ни о чём не говорит, — наконец сказал я. — В море нет настолько больших крабов, чтобы напасть на батисферу.

— Одно из самых известных погружений закончилось как раз подобной встречей, — заметил Людвиг. — К тому же гигантские раки на самом деле обитали в океане. И я подозреваю, что они до сих пор там плавают. Как латимерия.

— Гигантские раки? — встрепнулся Густав. — Я тут, кстати, видел огромного рака. Во сне. Думаете, сон вещей?

Людвиг поёжился.

— Надеюсь, нет.

Он постучал по стеклу. Краб демонстративно отвернулся. Людвиг вздохнул.

— Фактов, подтверждающих, что в океане обитают ещё неизвестные науке чудовища, слишком много. Например, не далее чем в прошлом месяце у острова Кенгуру поймали креветку размером с автомобиль. А семиметровые личинки угрей? Каких же размеров должна быть взрослая особь?! Гигантские кальмары с каждым годом становятся всё больше и больше. Ещё совсем недавно считалось, что пятнадцать метров — это предел, а сейчас уже есть свидетельства существования спрутов тридцатиметровой длины. Акулы зубы размером с ладонь...

— Я бы не назвал это фактами.

— Хорошо, — Людвиг хлопнул ладонью по столу. — У меня есть доказательства.

Он провёл нас в комнату, заваленную разнообразным хламом. Раковины, шестерёнки, африканские маски, инструменты, пустые аквариумы, сломанные модели поездов и самолётов валялись на полу, пылились в углах и на многочисленных полках. Со шкафа на всё это печально взирала латимерия с отломанным плавником. Людвиг долго копался среди вещей и наконец достал видеокассету.

— Сейчас всё сами увидите. «Тайны Бездны» — один из лучших фильмов Академии...

— Мне больше нравится про сумчатого волка, — сказал Густав, садясь на пол. — Там меня снимали.

— В отличие от сумчатого волка, — сказал я. — Я уже видел «Тайны». Что-то не припомню там никаких чудищ.

— Просто невнимательно смотрели.

Людвиг включил старый телевизор и некоторое время перематывал фильм в обе стороны в поисках нужного места.

— Это здесь...

На экране куда-то ползло жизнерадостное оранжевое создание. Голос за кадром занудно вещал о трудностях жизни плоских червей. Ничего чудовищного в этом существе размером с мизинец я не видел.

— Вот оно! — Людвиг нажал на паузу.

Изображение замерло, покрывшись беспокойной сеточкой помех. Людвиг подскочил к телевизору.

Признаться, я не сразу понял, что так привлекло изобретателя. Но в конце концов я разглядел на заднем плане неясный силуэт. С равной вероятностью это могла быть и тень скалы, и рыба, кажущаяся огромной из-за рефракции света, и неведомое морское чудовище.

— Видите, — Людвиг ткнул пальцем в дрожащее изображение. — Вот глаз, вот плавник...

— Левиафан, — с восхищением сказал Густав.

— Всё может быть, — я пожал плечами. — Но я бы не стал делать скоропалительных выводов.

— Да ну его, — Густав махнул на меня рукой. — Дальше-то что?

Людвиг нажал на кнопку, и фильм продолжился. Спустя секунду план переменялся, таинственная тень исчезла. Я задумчиво смотрел на оранжевого червя, продолжавшего свой путь, словно и не было в океане никаких монстров. Возможно, он был прав, но в контурах чудовища Людвиг я уловил что-то удивительно знакомое, неразрывно связанное с моими кошмарами, и я никак не мог понять что.

— Батисфера — не подводная лодка, если что, уплыть не получится. И вы до сих пор думаете, что погружение необходимо?

Я повернулся к изобретателю.

— Я в этом уверен.

Тем временем голос диктора неожиданно изменился. Я взглянул на телевизор и замер с раскрытым ртом. С экрана смотрело знакомое скуластое и злое лицо.

— Это же Северин!

— А ведь и правда! — воскликнул Густав. — Не знал, что его тоже в кино снимали. Сделай погромче.

Доктор говорил о том, как мало мы знаем о тайнах океана. Справиться с ними сможет лишь пытливый ум истинного исследователя. Не за горами создание новых средств познания

глубин, которые откроют перед человечеством новые горизонты...

— Пытливый ум, — фыркнул Густав. — Это он про то, как котов и ящериц резать?

— Почти, — кивнул я. — Думаю, он имеет в виду механического кальмара. Изначально его создавали как раз для подводных исследований.

— Жуткий тип, — поёжился Людвиг.

Некоторое время все молчали. На экране Северина сменили танцующие кальмары — зрелище забавное и прекрасное.

— Вспомнил я одну историю, — вдруг сказал Густав. — Один человек в Девонпорте играл тюленям на виолончели. Так вот, тюлень его не достаивал даже взгляда.

Он внимательно оглядел присутствующих и расхохотался.

— Проверка на чувство юмора, — выдавил он сквозь смех. — Правда, мало кто её проходит...

— Хорошая шутка, — согласился Людвиг. — Пожалуй, такая же хорошая, как те кальмары.

— Об этом я и говорю. Я тут подумал — беда Северина в том, что он не умеет довольствоваться простыми шутками. Вот вскрыть череп и набить мозги шестерёнками — это, пожалуйста, как раз в его духе. Ничуть не удивлюсь, если рыбы на пляже — его рук дело.

Я уставился на зрителя. Признаться, столь очевидная мысль просто не приходила мне в голову. Если Густав прав, то с погружением нельзя медлить. Кто знает, что затеял Северин? Если для своих целей доктору понадобится взорвать мир, он не промедлит ни секунды.

Мои доводы окончательно убедили Людвигу. Было решено, что погружение состоится через неделю — за это время изобретатель подготовит батисферу, закупит кислород и натронную известь.

Дни перед погружением тянулись утомительно долго. Ожидание вконец измотало меня. Я перестал бывать на пляже: рисовать мёртвых рыб, когда скоро мне предстояло увидеть их в родной стихии, казалось глупым. К тому же нашествие, по непонятным причинам, пошло на убыль. Уже в четверг Густав нашёл всего-навсего десяток топориков и светящихся анчоусов, что не шло ни в какое сравнение с прошлой неделей.

Оставив рыб, я снова стал следить за Северином, дабы понять, какую роль он играет в этой истории. К сожалению, доктор не спешил выдавать свои тайны. За неделю я видел его лишь дважды, когда приезжали новые машины с камнями. К этому времени гора известняка была уже выше моего роста. Северин не делал особого различия между камнями разных партий. Всё ссыпалось в общую кучу, и только несколько самых крупных образцов доктор унёс в дом. Если нашествие устроил Северин, то причину надо было искать именно среди его булыжников, но я, признаться, не видел никакой связи. В один из вечеров я даже стащил несколько камней из кучи и дома изучил их со всей внимательностью. Стоит ли говорить, что я так и не нашёл ничего необычного?

Мучившие меня кошмары приутихли, а после двух спокойных ночей я решил было, что они вообще прекратились. Однако я поспешил, в ночь перед погружением они вспыхнули вновь с неожиданной яркостью.

Весь вечер я не находил себе места. Томительное ожидание мешало сосредоточиться. Бумага, краски, карандаши и кисти лежали на столе, готовые к предстоящему приключению.

Я то и дело перебирал их, проверяя, всё ли в порядке. Чтобы чем-то себя занять, я попытался упорядочить свои рисунки, но бросил это дело на середине. Пробовал читать, но отложил книгу на второй странице. В результате мне ничего не оставалось, кроме как отправиться спать.

Но сон не шёл. Завернувшись в одеяло, я представлял погружение, выдумывая самые невероятные встречи и ситуации. Я почти видел огни рыб, проносящихся за толстыми стёклами иллюминаторов, оскаленную пасть рыбы-дьявола, полёт гигантского ската и кошмарного адского вампира. Истории Биба и Маракота, Кусто и Аронакса перемешались в моей голове, и я уже не мог отличить фантазии от реальности.

Я так и не понял, когда уснул. Просто в какой-то момент вдруг осознал, что на самом деле нахожусь под водой. И что я не человек. Сильное, закованное в твёрдый панцирь тело доисторической рыбы рассекало тёплые воды девонского моря. Нас было много. Я не мог повернуть голову, но знал что рядом сотни, тысячи таких же безымянных рыб — ибо время ещё не пришло и никто не дал нам имён. Мы кружились в ослепительных лучах солнца четвёртого дня.

Тень поднималась из глубин — неторопливо, уверенно. Я не видел её, но почувствовал всем телом, почувствовал мощь и злобу. Мне стало страшно. Я заметался, пытаюсь вырваться, уплыть, спастись, но натёкался на других рыб. Именно в этот момент под нами разверзлась пасть, блеснули клыки. Изо всех сил я рванул наверх...

И с криком сел на кровати. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, я задышался. Одеяло комком лежало на полу. Ветер яростно дребезжал стёклами. Я начал считать вслух. Я узнал приснившееся чудовище — монстр из фильма. Левиафан.

Было около пяти часов утра. Бледно-голубая луна пряталась меж рваных облаков, нерешительно выглядывая сквозь просветы. С улицы доносился скрип тележки Лобо, — похоже, собаке тоже не спалось. Я оделся и вышел из дома.

Было холодно. По земле ползли липкие клочья тумана, забираясь под куртку, словно пытаюсь согреться. Спрятав замёрзшие руки в рукава, я обошёл вокруг дома. Из-за забора пару раз тевкнул Лобо — как мне показалось, без особого энтузиазма. В доме госпожи Феликс громко хлопнула дверь. Некоторое время я всматривался в ту сторону, но разглядеть что-либо сквозь туманную дымку не представлялось возможным. Лишь на мгновение на пороге появился расплывчатый силуэт, который я принял за хозяйку, но тут же порыв ветра развеял мираж.

Сам того не замечая, я зашагал к дому Северина. Ещё издалека я заметил, что в окне горит свет, — что было несколько странно, учитывая время. Пару раз я прошёл мимо дома, не решаясь подойти ближе и посмотреть, что же там происходит. Но всё же мне удалось собраться. Действуя как можно тише, я отворил калитку. Под ногами неестественно громко зашуршали камни; я остановился. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, и лишь с огромным трудом удалось убедить себя, что это мне только мерещится. На цыпочках я подошёл к окну и заглянул внутрь.

Комната была небольшой. С потолка на витом шнуре свисала единственная лампочка, и её тусклый свет лился на длинный металлический стол. Стены комнаты тонули в полумраке, но я разглядел, что они обклеены изображениями китов, спрутов, гигантских рыб и морских змеев. Лёгкий ветерок колыхал старинные гравюры, фотокопии и грубо вырванные страницы книг и журналов, отчего казалось, что эти таинственные создания переплывают с листка на листок, живут своей собственной непостижимой жизнью. «Книга Рыб, — подумал я. — Главное — не промочить ноги».

Северин, по счастью, стоял ко мне спиной. На столе перед ним лежала игуана, вспоротая от

горла до хвоста. Рядом были аккуратно разложены внутренности. Ящерица дёргала лапками, но я не мог сказать, были ли это остаточные рефлексy либо она действительно была ещё жива. Зная доктора, я всё-таки склоняюсь к последнему. Крышка черепной коробки была срезана, и Северин длинным пинцетом пытался приладить какие-то проводки прямо к обнажённому мозгу. Мне стало дурно и страшно. Я едва удержался от крика.

Присмотревшись, я увидел ещё несколько ящериц — в огромных колбах у стены. Все рептилии были тщательно препарированы, внутренние органы перемешались с проводами и непонятными приборами. Они беспомощно извивались, скреблись лапками по стеклу. Огромные, исполненные ужаса глаза ящериц следили за доктором.

Северин прикрепил провод парой тонких булавок и взялся за скальпель. Игуана задёргалась. Доктор крепко сжал горло ящерицы и держал до тех пор, пока она не утихла. Затем он медленно срезал полоску ткани и отбросил в сторону. После чего облизал скальпель и воткнул в разрез ещё один провод.

Провода соединяли ящерицу со старинным граммофоном на дальнем конце стола. Широкий раструб был заполнен камнями и слегка прогнулся. Хотя пластинки не было, доктор быстро закрутил ручку. Игуана выгнулась дугой, и раздался тихий, еле слышный гул. В этот момент я почувствовал, что камни под ногами завибрировали. Не все вместе, а каждый по отдельности. Я отвернулся от окна и увидел, что вся куча ходит ходуном, а над ней... Я в ужасе попятился. Над камнями сгустился туман, принимая странные, расплывчатые очертания огромной, чудовищной рыбы...

Резко заболели виски. Задыхаясь, я прижался к стене. Голова была готова взорваться. Мир таял на глазах, и вместо корявых деревьев я уже видел колышущиеся стебли водорослей, меж которых скользили неведомые мне рыбы, и казалось, ещё чуть-чуть — и я сам присоединюсь к их таинственному хороводу. Призрачные аммониты проплывали прямо сквозь меня, рядом шевелились гибкие стебли морских лилий. А издали донёсся тихий ответный гул.

Всё прекратилось так же внезапно, как началось. Холодный ветер швырнул в лицо горсть водяных капель. Фантомы растаяли, и я понял, что лежу на земле, барахтаясь и извиваясь в несуществующей воде. Опираясь о стену, я поднялся и снова заглянул в окно. Северин складывал инструменты в эмалированный поддон. Игуана, похоже, умерла: всего мастерства вивисектора было недостаточно, чтобы заставить её выдержать подобные пытки. Доктор вырвал провода и брезгливо бросил ящерицу в ведро.

Пятясь вдоль стены, я вышел на улицу и вернулся домой. Первым делом пропустил две приличные порции джина, не раздеваясь забрался под одеяло и попытался прийти в себя. Хотя алкоголь немного согрел тело, меня била крупная дрожь. Мысли разбегались, словно боялись сложиться в общую картину. Конечно, не было никаких сомнений, что за всеми загадочными видениями и явлениями стоит Северин, но что за мерзость он затеял, я даже не представлял. Уснуть я не смог.

Как бы то ни было, к утру мне удалось немного отдохнуть. Есть совершенно не хотелось, но я заставил себя позавтракать — день предстоял тяжёлый, — после чего отправился к Людвигу. Густав уже подогнал грузовик, на который погрузили батисферу, закрепив металлическими тросами. Надо сказать, после ночных кошмаров меня начали одолевать сомнения. Я уже не испытывал прежнего энтузиазма перед погружением, но отступать было поздно. Людвиг с Густавом тоже выглядели неважно. Мы почти не разговаривали, ограничиваясь деловыми замечаниями.

Закончив с погрузкой, мы поехали к морю. Лишь подъезжая к дому Северина, Густав не выдержал и прервал молчание.

— У меня дурные предчувствия, — сказал он. — Боюсь, плохо всё кончится. Мне приснился сон. Станный и страшный. Снилось, что я какой-то осьминог, живущий в раковине. Плаваю я себе в море, и тут...

Его рассказ прервал пронзительный визг. Словно из воздуха, из лоскутьев тумана перед грузовиком возникла госпожа Феликс.

— Проклятье! — Густав ударил по тормозам.

Машина резко остановилась, и тут же звонко пропел лопнувший трос.

— Проклятье!

Мы выскочили из кабины. Госпожа Феликс яростно лупила по грузовику зонтиком, за её спиной заливался Лобо, но никто не обращал на них внимания. Взгляды были прикованы к батисфере. Тяжёлый шар медленно, с достоинством завалился набок, и вдруг сорвался и покатился к дому Северина. Дорога шла под уклон, и, разогнавшись, батисфера снесла забор и с грохотом врезалась в груды камней. Я уставился на разбитый иллюминатор.

— Ну, вот и поплавали, — сказал Густав.

Мы осторожно подошли к батисфере. Сейчас она больше походила на голову исполинского водолаза, сражённого неведомым рыцарем. Из-под корпуса выползала струйка маслянистой жидкости, растекаясь по камням.

В этот момент из дома выскочил Северин. Признаться, мне стало жутко от одного его вида. Лицо доктора перекосила страшная гримаса, волосы торчали во все стороны. Я попятился, залепетав нелепые оправдания про лопнувший трос и возмещение убытков. В воспалённых глазах сверкнула злоба. Он бросился к камням и, упав на колени, принялся выгребать кучу из-под батисферы, крича что-то про точную настройку и годы работы.

— Всё в порядке? — спросил я.

— В порядке? — визжал Северин. — Я потратил годы на то, чтобы создать и настроить фонограф. Он уже был у меня в руках...

Я был озадачен. Обернувшись на Густава с Людвигом, я увидел то же недоумение.

— Смотрите, что вы наделали!

Северин бережно достал из камней стеклянный цилиндр, заполненный жёлтой жидкостью, которая сочилась из большой трещины. Одну из тех колб, что я видел ночью. Внутри, путаясь в проводах и собственных внутренностях, извивалась игуана. С ужасом смотрел я на бьющееся сердце. Сейчас, при свете дня, она выглядела гораздо ужаснее и противней — ящерица распухла, блестящая чешуя выцвела и отслаивалась, осыпаясь на дно цилиндра. От колбы отходил толстый кабель, исчезая среди камней.

Я судорожно сглотнул.

— Что это? — раздался за спиной дрожащий голос Людвига.

Северин криво усмехнулся.

— Хотите сказать, что это

было ? Приёмник фонографа. Лучший из всех, что мне удалось сделать. Без него всё бессмысленно.



— Фонографа?

— ДА! — Северин со всей силы швырнул колбу в батисферу. — Фонографа! Думаете, всё это просто так? — он сунул мне под нос пригоршню камней. — Думаете, его можно поймать на удочку?

Я с ужасом смотрел на доктора.

— Поймать? Кого поймать, доктор?

— Кого? — Северин расхохотался. — Левиафана! Зверя Бездны!

Я медленно склонил голову. Всё стало на свои места. Стоило бы догадаться, что в своей гордыне Северин не станет размениваться на мелкую рыбёшку. Это для нас топорики и хаулоиды были чудом, для Северина они ровным счётом ничего не значили. Доктор тем временем продолжал:

— Я сделал кальмара, но на эту наживку он не клюнул. Для него это слишком мелко. И тогда я понял — он придёт только на зов равного себе. И кто же это? Он сам! Я потратил годы на то, чтобы вновь зазвучала его песнь. Песнь, миллионы лет заключенная в камне, с тех времён, когда он безраздельно владел пучиной. Я построил эту машину, фонограф. Я смог прочитать звуки, скрытые в тверди. Я провёл сотни экспериментов в поисках животного, способного стать лучшим приёмником. Я нашёл его песнь, и вот когда он был почти у меня в руках... Теперь всё придётся начинать сначала.

— Да не слушайте вы их, господин Северин, — заверещала госпожа Феликс. — Я всё сама видела. Они каждую ночь ходили, камни ваши воровали. Это они специально сделали — вам помешать хотели. У них аура чёрная, я в кристалл смотрела. Как прознали, что я знаю об их замыслах коварных, так чуть не убили. Чудом спаслась...

Северин даже не взглянул на неё. Он разжал пальцы, камни упали на землю, и тут же в руке доктора сверкнул скальпель. Он шагнул ко мне, но в этот момент Густав со всей силы ударил его в челюсть. Северин упал, и Густав быстро наступил ему на ладонь.

— Ублюдок, — прошипел он. — Сумасшедший ублюдок.

Он вырвал скальпель. Северин корчился среди камней и бормотал что-то бессвязное. Густав схватился за провод и резко потянул, вырвав из груды камней ещё одну колбу. Удар ботинка оборвал мучения игуаны.

— Ты хоть представляешь, кого ты хотел разбудить? Просто большую рыбу?

Я бросился к дому Северина. Распахнув раму, я влез в окно и принялся выкидывать на улицу колбы с ящерицами — около дюжины, кажется. Густав с Людвигом тут же их разбивали. Северин тихо скулил. Госпожа Феликс поспешила скрыться.

Когда мы закончили, Густав устало прислонился к батисфере. Его руки тряслись. Он поднял один из булыжников, всмотрелся в него и криво усмехнулся.

— Я видел во сне эту тварь...

Смотритель передал мне камень. На шершавой поверхности отпечатался трилобит.

Начал накрапывать дождь.

К вечеру погода окончательно испортилась. Море разбушевалось не на шутку. Тяжёлые тучи висели низко, почти сливаясь с волнами. Молнии вспыхивали почти ежеминутно. Косой дождь

неистово барабанил в окна.

Мы сидели в каморке под маяком и пили тёплый ром. Прижавшись лбом к холодному стеклу, я смотрел на море. Волны вздымались, тянулись к небу с непостижимой яростью, и за каждым новым валом мне чудился Левиафан. Бесконечно древнее чудовище, всех тварей завершение.

Неожиданно моё внимание привлёк огонёк, вспыхнувший на пляже. Присмотревшись, я понял, что это свет фонаря. На пляже определён кто-то был. Но только полный безумец решился бы выйти к морю в такую погоду.

— Северин!

Выскочив из маяка, мы побежали к пляжу. Дождь хлестал по щекам. Я тут же вымок до нитки, но не обратил на это внимания. Ветер валил с ног. Я падал, раздирая колени и ладони, но вскакивал и продолжал бежать. Если это действительно доктор, а в этом я не сомневался, медлить было нельзя.

Как мы добрались, я не помню. Просто бег внезапно прекратился, и мы, задыхаясь, остановились перед доктором. Северин возился с моторной лодкой, грузя в неё непонятные приборы. Из-за бортов выглядывала труба граммофона, заполненная камнями — остатки чудовищного фонографа. Северин нас не заметил. Должно быть, поломка механизма окончательно подкосила учёного. Печать безумия маской застыла на его лице.

— Доктор! — заорал Густав.

Северин резко развернулся, вскинув руку. В свете молнии блеснул пистолет. Гром заглушил выстрел. Людвиг дёрнулся, схватился за плечо и медленно осел на песок. По рубашке изобретателя расплзлось тёмное пятно. Мы с Густавом бросились к нему. Людвиг растерянно переводил взгляд с меня на смотрителя.

— Я умру?

— Чёрта с два, — огрызнулся Густав.

— Ну что? — хохотал Северин. — Кто ещё хочет меня остановить? Есть желающие?

Он выстрелил в воздух. С каждой молнией лицо доктора вспыхивало бледно-зелёным светом. Густав выругался. Северин навалился на лодку, но смог лишь слегка сдвинуть её.

— Вы двое, — он ткнул в нашу сторону револьвером.

— Доктор, одумайтесь, — прокричал я. — Это безумие... Самоубийство.

— Заткнись! — взвизгнул Северин и снова выстрелил в воздух.

Людвиг вздрогнул.

— Бесполезно, — покачал головой Густав. — Он окончательно свихнулся.

— Быстрее!

Северин забрался в лодку. Вместе с Густавом мы смогли столкнуть её в воду. Суденышко билось на волнах, словно предчувствуя скорую катастрофу.

— Доктор, — я всё ещё пытался образумить Северина. — Это же верная смерть...

— И что ты знаешь о смерти?

Холодный ствол упёрся мне в лоб. Лицо доктора очутилось совсем рядом. Я посмотрел ему в глаза, но не увидел ничего, кроме пустого всепоглощающего безумия. Губы учёного скривились в жуткой усмешке. Мне стало страшно.

Я так и не понял, почему Северин не выстрелил. Совершенно неожиданно он опустил пистолет и бросился на корму. Я попятился. Северин истерично дёргал за шнур, заводя мотор, и где-то попытки с пятой ему это удалось. Разрезая волны, лодка устремилась в море.

Мы выбрались на берег. Людвиг был совсем плох. Скорчившись на песке, он беззвучно шевелил губами.

— Держись, парень, — наигранно бодро сказал Густав. — Ещё никто не умирал от дырки в плече.

Людвиг улыбнулся. Мы подняли его и медленно повели к маяку. Напоследок я обернулся. Лодка Северина упорно боролась с волнами, и отступать он не собирался. Густав проследил за моим взглядом.

— Бедняга. Всё-таки простых шуток ему было мало.

Я до сих пор не могу точно сказать, что произошло в следующее мгновение. Была ли это большая волна, или же Северин действительно разбудил Левиафана и тот явился на зов. Над лодкой нависла огромная тень и обрушилась, увлекая за собой суденышко. Лодка исчезла. Я всматривался в бушующее море, тщетно силясь хоть что-нибудь разглядеть среди беснующихся вод. На долю секунды мне показалось, что над волнами промелькнула голова, но тут же очередной вал накрыл её, и Северин скрылся там, где скверну жжёт пучина.

## ВЗГЛЯД ВПЕРЁД

Дмитрий Захаров

Корочка диссидента

— Ты веришь в собаку Баскервильей?

— Я верю в победу демократических сил. А собаку я — слышу. В. Шендерович

Дротик ударился в дырку от нуля и отскочил куда-то под стол.

Ну и чёрт с ним. Вот второй обязательно воткнётся в президентский орден.

Не попал. Как говорил Винни-Пух, не то чтобы совсем не попал, просто не попал в шарик.

Ладно, зато в любви мне обязательно повезёт.

Я выбрался из-под одеяла и подошёл к мишени-календарю подобрать дротики. Один вижу, один под столом и ещё один... Эй, парень, короче, ты не хочешь втыкаться в нашего

президента? Не хочешь быть слепым оружием в руках мастодонтов старого мира? Протестуешь против насильственной попытки диссидентского реванша? Тогда сам виноват.

Выкатился? Ну, то-то...

Я включил телевизор и снова плюхнулся на кровать. До работы ещё два часа, а до начала интенсивных сборов на работу — час. Так что календарь вряд ли выживет — сегодня не его день. Сегодня праздник. Не помню какой.

Родители рассказывали, что раньше на праздники ходили толпы людей, а по телевизору показывали толпы танков и ракет. Вот это я понимаю, перформанс. А сейчас в ящике не то новости, не то передача для садоводов. Ведущая с халтурно приклеенной улыбкой восхищается урожайностью зранга зелёного... Ну и название придумали... а зранг этот весь ещё и в каких-то бородавках.

Я уже хотел потянуться за дистанционкой, когда заслонивший синелистное растение мужик сказал: прогноз погоды на сегодня — и через паузу — благоприятен.

Я удивлённо хлопнул глазами, а телевизор завёл про решение проблем озоновых дыр и беспокойство экологов.

Однако.

— ...состоялось подписание совместного коммюнике. Лидеры мирового сообщества выразили уверенность в том, что они и их партнёры останутся верны курсу на интеграцию и углубление взаимовыгодных связей.

Вот это хорошо сказано, про взаимовыгодные. Это мне нравится. Коротко и по существу. Враньё, конечно, зато по-доброму.

С народом именно по-доброму и надо. И ещё: «Грудью вперёд бравоу, Флагами небо оклеивай».

А то без этого эффект смазывается.

Друзья считают, что я — диссидент. Мои высказывания записываются на диктофоны и прослушиваются в уединении. Раза два их пытались транслировать местные радиостанции, но после этого им срочно приходилось закрываться. На проверку соответствия трудовому кодексу.

В кругах, близких к городской элите, считается, что я человек свободомыслящий, а посему должен сообщать всю правду...

И тут есть проблема. Я не совсем понимаю, что это такое — правда.

А на слово не верю. Ни на слово, ни на жест, ни на ошупь... Некоторое время назад я решил: пусть правдой будет считаться всё, что бы я ни сказал. У диссидентов, говорят, так принято. Друзья меня поддержали, все, кроме, пожалуй, Киры. Возможно, именно за это я её и люблю.

Система пытается меня сослать. Думаю, по инерции. Уже два раза мне предлагались регионы, а вчера приходил чиновник из эмиграционного управления. Смотрел грустными глазами, теребил усы, а потом сказал:

— Лан?тольд Александрович, нельзя же так, в самом деле.

А я и не утверждаю, что можно.

Нет, эмиграция — это слишком глупо. В ссылку — с роялем, на каторгу — по справке о состоянии здоровья... Иногда я думаю, что система должна меня казнить. Грустный чиновник перестанет из-за меня страдать, Лёничка получит Киру в безраздельную собственность, а я в последнюю минуту жизни трагично взгляну в глаза любимой девушки. Кира заплачет, а потом будет видеть меня во сне.

Неплохую картинку нарисовал, аж где-то самому себе убитому завидую.

Только ведь чушь всё это. Бред — и-го-го! — сивой кобылы.

Во-первых, умирать мне хочется только в определённые моменты, сейчас, например, желание ушло. Во-вторых, кто сказал, что на казнь будут рассылаться приглашения? И наконец, кто наследовать станет мне?

А теперь без шуток.

Мне не нравится картина ближайшего будущего. И она не нравится мне тем сильнее, чем больше её сторонников я замечаю. Так уж получилось, что я не склонен доверять мнению большинства. Особенно в глобальных проектах. Старая истина: своё мнение, как и задница, есть у каждого...

Начал изрекать истины. Ещё немного, и до правд дело дойдёт. Чёрт знает что. Нет, в душ, два горячих бутерброда с чаем и яблоко. А потом по улице Победы до Пушкинской. Посижу в сквере, посмотрю на фонтан...

Погоду действительно можно было назвать благоприятной.

Люди казались весьма довольными собой, друг другом и, возможно, даже мной. Нелюди пока не казались никак.

Я шёл по мощённому именными камнями тротуару и ел мороженое.

Почти каждое утро я прохожу здесь и размышляю над тем, за что же я люблю Киру. Выводы бывают самыми разными. К примеру, вчера мне казалось, будто дело в её космическом оптимизме, а дней пять назад — что в слегка раскосых серых глазах. Иногда я думаю, что люблю её просто так, а иногда вообще не думаю ничего.

Тем более что всё это — пурга. Глаза у Киры на самом деле карие, оптимизм — в рамках, а любить просто так нельзя...

Мимо вереницей протопали Новые граждане. Да... и некоторым ещё не нравятся панки...

— Сударь, вы нацист? — строго спросили меня откуда-то с северо-западного направления.

Я чуть замедлил шаг и повернул голову в сторону говорившего. Похож на мента. Форма камуфляжно-асфальтовая, глаза глупые. Изо всех сил стережёт родину и не высыпается.

— Если у вас нет нацистского удостоверения, то придётся уплатить штраф, — сказал мент. — Так смотреть на Новых граждан не разрешается.

— А как я на них смотрел?

— Грубить будете, сударь?

— Буду.

— Пройдёмте.

— Пройдёмте.

Я взглянул на часы — времени вагон. Можно и прогуляться. В самом деле, не платить же этому козлу деньги, которые он вымогает.

Кстати, он не мент. Шевроны другие.

— Сударь, — обратился я к своему провожатому, — а к каким силам правопорядка вы принадлежите?

— К охране посольства.

Надо же, подумал я, козлов уже берут охранять посольства. А может, и не подумал, может, сказал. Не знаю.

По крайней мере, козёл развернулся ко мне нефотогеничным лицом и потянул из кобуры парализатор. Э, подумал я, да вы, батенька, масон в худшем смысле этого слова.

И сделал два шага назад. В кармане — пятидесятирублевая купюра, пистолет и коричневая корка удостоверения. Вот интересно, какая из этих вещей мне сейчас пригодится?

Козёл решил наступать. А я решил, что мне всё равно.

Я — диссидент, а у него — дубинка. Значит, я выше по статусу.

И вот как только ты это открываешь, все козлы мира теряют для тебя актуальность.

Пистолет бахнул в воздух, и охранник посольства попятился. Проходившая мимо женщина закричала.

А я положил пистолет в карман, развернулся и ушёл.

В магазине осталось ещё два патрона.

Считается, что я состою на службе у корпорации «Палп Эмпайр». Считается также, что я специалист по базам данных. Сам я верю в это слабо.

В инспекции уже два года идёт спор, можно ли допускать к обработке важной государственной информации человека с корочками диссидента. Начальство меня давно бы выгнало, но профсоюз вступился. Теперь меня бесконечно вызывают на слушания и собрания, просят изложить свою точку зрения на ситуацию. Я зову СМИ и провожу сетевые конференции.

Начальство на меня плюнуло, и, я думаю, это к лучшему.

Сижу себе за пластиковой перегородкой и составляю картотеку на Новых граждан. Никто результатами моих изысканий не интересуется — да и как интересоваться, если это подсудное дело.

За соседним столом обитает Лёва Новгородцев. Вот он — действительно специалист по базам данных. Неплохой парень, но слишком подчинённый. Никогда не поймёшь, с чем он согласен, а с чем соглашается.

Начальник отдела на него всё время орёт. На меня, впрочем, тоже орёт, но я из этого

выводов не делаю. А Лёва имеет привычку под давлением менять мнение о проделанной работе. И очень зря.

Когда разговариваю с Лёвой, он всё жалуется. Хотел бы, говорит, ко всему относиться как ты, а не получается. Становись диссидентом, советую. Нет, отвечает, у меня жена, дети, старые родители...

Однажды интересуется: почему это, говорит, Лан, ты в своё время решил получить коричневые корки? Все бочком-бочком, а ты — на амбразуру. Очень просто, говорю, у меня тоже жена, дети, старые родители.

Вру, конечно. Жены у меня нет, и детей нет. Старые родители умерли ещё до Официальной встречи с Новыми. А что касается корки...

— Почему эта сволочь опять съела последние ячейки! — прошипел у меня над ухом Слав. — Её ведь только из сервиса притащили.

Слав — мой второй сосед. Он начальник сектора, и мы с Лёвой, по идее, находимся у него в подчинении. Слав тоже неплохой парень. Я бы сказал, что у него вообще нет недостатков. Разве что — он волк-оборотень.

Я, говорит, в полнолуние покрываюсь шерстью и, разорвав оконную штору, бегу на проспект Тридцати Двух Мотоциклистов. А там — по домам и рву всех, кто против наших замышляет.

Лёва как-то на это сказал: «Наш Слав — просто внутренний партизан. Ему бы орден — за скрытую борьбу в самом себе». А я думаю, какая разница? Некоторые и в себе не спешат быть партизанами.

Слав вскочил и убежал в сервисный. Потом снова материализовался, прошёл мимо меня в одну, в другую сторону. Вернулся, по очереди выдвинул все ящики стола, надо полагать, ничего в них не обнаружил и принялся хлопать себя по карманам.

— Что потерял-то? — спросил я, крутанувшись на стуле.

— Да вот, понимаешь... — начал Слав и не договорил.

Он вытащил из кармана пиджака правую руку и с удивлением на неё воззрился. В руке был винчестер. Тогда он вытащил и левую руку — в ней тоже был винт.

— Хочешь, угадаю? — сказал я. — А во внутреннем кармане у тебя кролик.

Наш сектор в полном составе спустился в буфет. Лёва принялся рассуждать, как всё-таки хорошо, что Энки Харуму взяли с поличным. Слав скептически поглядывал на него сквозь дымчатые стёкла очков, а я кивал в такт интонационным ударениям. Я не люблю Энки.

В буфете стоял запах.

То есть не чего-то конкретно, а всего сразу. Что-то варилось и пахло, кто-то сидело и воняло, и ещё в воздухе присутствовал некий освежитель.

Запах краски витал отдельно, концентрируясь над новыми плакатами, сохшими на подоконнике. Бело-голубые девизы гласили: «Помни о небе над головой!»; «Наше будущее — в Объединении!» и «...ело всех и каждого».

Непонятно о чём, но бодрит.

Слав морщил нос и посматривал в сторону полотниц неодобрительно.

— Не любишь запах краски? — поинтересовался Лёва.

— Не люблю.

Лёва хмыкнул и ушёл за компотом. Слав задумчиво проводил его взглядом и непонятно чему кивнул.

— Взгляни, — сказал он, доставая из кармана вчетверо сложенный бумажный лист.

Я развернул его и пробежал глазами по коротким строчкам письма Новых. Посмотрел на иероглиф инстанции, на инициалы автора. Ссылки на информатора, конечно, нет. И числа нет.

— Забавно, — сказал я, возвращая лист.

— Более чем.

— Кстати, ты ничего не знаешь о последних двух строчках?

— И о первых пяти тоже.

Нарисовался Лёва. В одной руке тарелка с булкой и соус, в другой — два стакана.

— Вы съели что-нибудь нехорошее, пока меня не было? — поинтересовался он, подходя к столу. — Чего рожки такие кислые?

Слав пожал плечами.

— Да вот разговор тут у нас завязался...

— На тему?

— Без темы, но с бумагами.

— Понятно, — сказал Лёва и принялся за компот.

Я сидел и думал, сказать Славу, о чём первые пять строчек, или не надо. Наверное, не надо. И про инициалы тоже. Спать он будет от этого легче, что ли?

Слав снял очки и посмотрел в их стёкла.

— Что будем делать? — спросил он.

— Всех расстреляем в тёмном подвале, — предложил я.

— Но куда-то этот лист надо передать.

— Куда?

Слав покачал головой.

— Не знаю.

— И я не знаю. Может, Лёва знает?

Лёва посмотрел на меня поверх стакана и хмыкнул.



— Нет, мужики, давайте, все эти ваши штучки без меня.

— Вот видишь, — сказал я, — некуда нам это девать, Слав, некуда.

Слав прижал ладони к вискам и закрыл глаза.

— Хоть на диск закатать да спрятать, — сказал он.

— Закатай, — согласился я, — может быть, это и выход. Закатай, а я попробую перевезти.

Слав кивнул и резко — как он любит это делать — поднялся и ушёл.

Я посмотрел на стакан остывшего чая и тарелку с сосисками. Есть не хотелось.

— Ну что, — предложил Лёва, — выпьем за всеобщее Объединение, новые горизонты интеграции и сверкающие звёзды?

— Угу, — сказал я. — Именно так. Только против.

После работы я пошёл к Кире.

Имею обыкновение иногда к ней заглядывать. Мой рабочий день укороченный, и с Лёнечкой мы не пересекаемся. Он ведь допоздна на своём ответственном посту.

Кира каждый раз, увидев меня, разводит руками и говорит про лета-зимы. Мы целомудренно чмокаем друг друга в щёчку и идём пить чай. Обсуждаемых тем три: что нового, искусство и политика. Именно в такой последовательности.

Вот проговариваю это всё, и получается, что наши встречи — протокольное шарканье ножкой. А ведь на самом деле они мне кажутся очень даже непринуждёнными. И небезынтересными для высоких разговаривающих сторон.

С другой стороны, иногда я думаю, что есть что-то ущербное в самой идее подобного общения с любимой девушкой. Как есть что-то ущербное и в однонаправленной любви. Тут ты равнодушен не столько к предмету «нежной страсти», сколько к своей рефлексии по поводу неразделённости чувств. Возможно даже, что это разновидность мазохизма. Ибо я убеждён, неразделённая любовь — индивидуальный феномен личности, её осознанная позиция...

Мы сидим за маленьким круглым столом. По-моему, ему лет пятьдесят, как и электрическому самовару, в котором долго закипает вода. Как там у классика: «И самовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренние»... А всё-таки есть что-то в этом самоваре, и в столе есть. Наверное, потому, что псевдорусский стиль лучше псевдореального.

— Через двадцать лет мы уже будем жить после Объединения, — сказала Кира и, зажмурившись, улыбнулась.

— А ты уверена, что после Объединения мы вообще будем жить? — спросил я, размешивая в чашке несуществующий сахар.

— Ты просто злишься, Лани.

Она с полуулыбкой посмотрела в мою сторону и тряхнула головой.

— Нельзя быть таким меланхоликом. В конце концов, почему бы и не радоваться идее Объединения?

— Сейчас ты скажешь: разве не для этого жили наши отцы и деды. Было это уже. Поверь мне на слово, было.

— А между тем Леонид говорит...

— Ну, если сам Леонид...

— Лани, а это уже мелко.

Ну, и что, что мелко, подумал я. А вслух сказал:

— Извини.

Странно. Вот я уже и извиняюсь из-за Лёнечки.

А в кармане у меня лежит диск, на котором помимо прочего весь Леонид Клаевский, в разрезе и с комментариями специалистов. Получается, что Лёня — стукач. Что он продаёт личные номера и пароли своих сослуживцев. Что он сторонник с восьмилетним стажем.

И вот я сижу, смотрю на его жену и говорю ей: извини.

Наверное, это любовь.

Не отдать ей диск — любовь. И отдать ей диск — тоже любовь.

Такое липкое холодное чувство.

Про него много ввали в умных и красивых книжках, и только старина Шопенгауэр тихо говорил нечто, похожее на правду.

— Мне можно быть немного злым. Я вчера сдавал кровь.

Кира сразу напряглась. Она внимательно посмотрела мне в глаза, и я подумал, что они не такие уж и карие.

— И что? — спросила она.

— В ближайшие три месяца выбраковывать не будут.

— Слава богу, — вздохнула Кира.

— А вот это лишнее.

— Ты о чём?

— Об упоминании религиозного термина. Тебе нельзя, ты на хорошем счету.

Кира поджала губы.

— Ты прав. Хотя я этого и не понимаю.

— Если так, тебе пора записываться в диссиденты.

Кира налила себе ещё чаю, но вместо того, чтобы его пить, поставила чашку на подоконник.

— Ты же прекрасно понимаешь, что это бутафория.

— Что бутафория? — поинтересовался я, разглядывая календарь — такой же, как у меня, но не истыканный дротиками.

Кира чертила пальцем на стекле слова какого-то нового откровения.

— Всё бутафория, Лани. Ты делаешь вид, что борешься против властей, а они — что считают это серьёзной проблемой.

— Не люблю я это слово — борьба.

— Ты вообще не любишь конкретных слов.

— Почему же, конкретное слово «любовь» мне очень даже нравится.

— Снова будешь ко мне клеиться?

— Что ещё значит «снова», я разве когда-нибудь переставал?

Кира засмеялась.

— Ты — идиот, — сказала она и положила руки на спинку стула.

— Можно считать это комплиментом?...

Я знаю её одиннадцать лет... Хотя, нет, неверно выразился. Я знаком с ней одиннадцать лет. А знаю три года с четвертью — ровно столько, сколько Кира с Лёничкой женаты... Абсолютно не понимаю, почему Кира вышла за него замуж. И зачем он на ней женился — не понимаю. А ещё почему-то на ней не женился я. И это самая большая загадка.

— Четыре доходит. Нас будут ждать в музее, — сказала Кира.

— Кто нас будет ждать?

— Леонид.

Ах, Леонид, захотелось сказать мне.

— Что молчишь? — Кира отошла к зеркалу и стала внимательно его разглядывать.

— Да вот думаю, как бы точнее сформулировать вопрос. Давай так: Леонид там ждёт нас или тебя?

— Какие глупости, — сказала Кира.

— Это не ответ.

— Всё-таки ты зануда, Лани.

— Не зануда, а человек, относящийся к делу с необходимой долей ответственности.

— Учебник политкорректности читаешь?

— Нет, пишу.

Синее пудингоподобное здание называлось Музеем футуризма. Об этом говорили указатели на дороге и телепередача, которую я видел на прошлой неделе — что-то про выставку новомодных естественных картин. Я их никогда не видел, но думаю, это волосяные холсты с

мозаиками из кусочков ногтей. А может, и что-нибудь похуже.

Сам я никогда бы в подобное заведение не пошёл. А Кире такие скопления интеллектуальных экскрементов нравятся. Она любит ходить в галереи некрописцев, клуб «Пассатижи» и на концерты официального андеграунда.

При входе в музей стоял муляж летающей тарелки, попираемой мраморными ногами Нового гражданина. Пропорции были таковы, что статуе ничего не стоило взять валявшийся под её ногами диск одной рукой. Я бы назвал композицию: «Реванш карликов», но она уже носила имя: «К звёздам».

В самом музее, как я и ожидал, было скучно.

Единственный обходчик показался мне персонажем Туве Янссон. У него была большая бесформенная шляпа и длинный ширококрылый нос. На полосатом форменном жилете оранжевый значок-звезда с восемью лучами. Очень похожа на реквизит из космического сериала.

Я подумал, что все остальные экспонаты на фоне экскурсовода-Снусмумрика должны выглядеть просто классикой реализма. И точно, мы принялись ходить вокруг блестящих межпланетных конусов и коробок — ремонтных модулей и континентальных экспрессов, больше похожих на швейные машинки.

Мой зелёный пиджак здесь казался абстракцией.

Кира остановилась около экрана с картой районов Второго Пришествия. Рядом с ней автоматика тут же запустила голо-макет Апокалипсиса-2.

— Вот что могло бы случиться с человечеством, если бы идея Объединения не была привнесена... — случайным образом расставляя паузы, заговорил грустный голос.

Заглушая его, вопили жертвы бессмысленных войн. Остановившимися глазами они смотрели на красивые сполохи над своими домами.

— Даже не верится, — сказала Кира.

— Пропаганде с первого раза почти никогда не веришь.

Мы ещё немного походили по экспозиции.

Я отыскал голо первого контактёра и посмотрел ему в глаза. Глаза, как у всякого нормального человека, были испуганные — явная недоработка Совета по нравственности.

И зовут его забавно — Пётр Иванов. Впрочем, это, наверное, только у нас. В Англии он Джон Смит, в Китае — какой-нибудь Чанг... Национальный раритет, в общем, Кира нырнула в дверь зала Объединённых миров, и я последовал за ней. Здесь абсолютно все экспозиции рассказывали, как хорошо нам будет жить лет этак через двадцать. Смотреть было не на что.

— Где же твой суженый? — поинтересовался я у Киры. — Мы уже час ходим по этой сокровищнице ущербной мысли, а Лёнечки всё нет. На твоём месте я бы начинал ревновать и беспокоиться.

— Сразу или по очереди?

— Это как тебе удобней, — сказал я и подумал, что лучше бы Лёне придти прямо сейчас. Я уезжаю, и очень важно успеть переговорить. Отвести в сторонку и рассказать о собранных данных. То-то он удивится.

Кира улыбнулась.

— А ты не думаешь, что я пригласила тебя сюда на тайное свидание?

— Не думаю.

— А почему?

— Для неверной жены у тебя слишком яркий нимб над головой.

— Звучит как оскорбление, но ты прав, — Кира села в стилизованное под spase-стиль кресло.

Проектор объёмных слайдов щёлкнул и родил какую-то черно-пластиковую загогулину.

— Однако беспокоиться и ревновать я не буду, — сказала Кира, рассеянно глядя на экран пояснения. — Он наверняка сразу поехал за подарком.

— За каким подарком?

— За подарком на нашу годовщину. Мы с ним встретились в этом музее.

— О господи, — сказал я.

— С ума сошёл! — цыкнула на меня Кира. — Ты соображаешь, что это за здание?

— Ещё как. Я только не соображаю, что ж ты раньше мне ничего не сказала.

Вот и поговорил с Лёничкой, подумалось мне.

По-моему, Кира удивилась. А может быть, даже обиделась.

— Лани, ты всё-таки друг семьи...

— Очень хорошее определение. Ладно, Кира, я же говорил, что буду здесь казаться лишним. Да ещё в праздничный день.

— Лани...

— Не спорь, я пошёл, привет Леониду.

Наверное, нужно было поступить как-нибудь иначе. Может быть, даже дождаться Лёничку и, дежурно улыбаясь, поздравить их обоих. Может, даже пойти с ними в ресторан и посидеть за столом. Сказать нечто праздничное, поднять бокал... Только это абсурд. Так нельзя, потому что нельзя так. И вообще я всё испорчу: скажу что-нибудь не то... или Лёне по морде надаю.

Достаю из кармана диск и протягиваю его Кире.

— С годовщиной. Посмотри: на нём много занимательного.

Кира стояла где-то у меня за спиной и смотрела на удаляющийся зелёный пиджак.

А по залу Пришествия уже шёл Лёничка.

Модельная причёска, белый костюм и букет роз. Плюс улыбка и золочёная булавка в галстук.

— Привет, — сказал Лёня, протягивая руку.

— Виделись, — ответил я, пнул отъезжающую в сторону дверь и вышел.

На улице было тепло. Водители такси сидели на плоских каменных скамейках и пили пиво. Ветер время от времени накатывал свежей волной, и я вспомнил, что где-то в окрестностях должно быть искусственное озеро.

— Сударь, вы не подскажете, как мне найти озеро, — спросил я у одного из водителей.

Он махнул рукой в сторону аллеи акаций, я кивнул и пошёл в указанную сторону.

Озеро оказалось лужей, которую по периметру окружили жёлто-песочным пляжем. Посередине плавала яхта под оранжевым парусом. Людей не было.

Я сел на песок и стал кидать в воду камешки. Совершенно не умею заставлять их скакать по воде. В детстве вроде бы умел, а теперь разучился.

Ой, сколько всего я умел в детстве...

Во внутреннем кармане пиджака лежит диск Слава, и часа через три мне придётся ехать в Новосиб. Там он, глядишь, пригодится. Было бы, кстати, забавно, если бы я отдал Кире его, а не болванку с какими-то картинками. Стоп. А я не мог их перепутать?

Вытащил прозрачную коробочку и посмотрел на вставленный в неё золотистый кругляк — конечно же, это диск Слава. Всё в порядке.

— Можно и нам полюбопытствовать? — спросили из-за спины.

Нельзя сказать, что я подпрыгнул от неожиданности, но дёрнулся, это точно. Повернул голову — стоят двое. Как в плохом боевике — в чёрных костюмах, правда, без очков. Шатен и брюнет.

— Чем, собственно... — начал я и тут же получил ногой по уху. Пришлось упасть в песок.

Диск я выронил, а люди в чёрном его тут же подобрали и вставили в ноутбук.

— Так-так, — сказал шатен, когда по экранчику побежали первые строки, — и откуда у нас такая информация?

Я приподнялся и помахал удостоверением. Мальчики не знают, с кем имеют дело, подумалось мне. Ладно, сейчас проясним обстановку.

— Киньте его сюда, — посоветовал брюнет.

Я картинно швырнул корочки к его ногам. А он ничего — спокойно поднял.

Обсмотрел со всех сторон, ухмыльнулся и вытянул личную карточку. Но считывать не стал. Просто повертел в руках.

— Интересно, — сказал шатен, — а всё-таки откуда информация?

— От Леонида Клаевского, — приложив ладонь к виску, сказал я, — координатора проекта «Титаны».

— Опять же интересно, — кивнул шатен. — Только Ланитольд Александрович, выньте,

пожалуйста, руку из кармана, и желательно без пистолета.

Брюнет меланхолично наставил на меня ствол.

— Переигрываете, ребята, — сказал я, показывая им обе руки, — излишне усердствуете.

— Бывает, — не стал спорить брюнет. Левой рукой он вытащил из пиджачного кармашка носовой платок и повозил им по своему лбу.

— В каком ведомстве вас зачали?

Шатен оторвался от экрана и с улыбкой посмотрел на меня. Гадкая какая у него улыбка...

— Мы не от ведомства, — сказал он, — мы, можно сказать, посланцы мироздания.

— Посланцам мироздания ублюдков от человеческого мироздания физкульт-привет.

— Напрасно, Ланитольд Александрович, — укорил меня шатен. — Мы позволили себе несколько некорректное поведение исключительно во избежание...

— Неожиданностей, — подсказал брюнет.

— Неожиданностей, — подтвердил шатен. — Опасались, знаете, утери информации с принадлежащего вам диска.

— Козлы, — пожал я плечами.

Мои собеседники пропустили сказанное мимо ушей.

— Ланитольд Александрович, — не унимался шатен. — Нам выпала честь поздравить вас с присвоением почётного звания. Сегодня утром конвент Новых граждан решил признать ваши заслуги в сохранении системы выдающимися. Вас и ещё двоих удостоенных президент и посол поздравили во всех средствах массовой коммуникации.

— Какой бред, — сказал я.

— Отчего же бред, — удивился шатен. Он закрыл ноутбук и взял у компаньона моё удостоверение. — Всё вполне логично. Вы достаточно долго противодействовали конвенту, обеспечивая существование связки система-диссидент. Теперь ваше место займут другие — кандидатуры уже рассматриваются. А вы получите социальные гарантии и пожизненную президентскую пенсию.

Брюнет опустил ствол.

— Справедливость в действии, а? — сказал он и засмеялся. — Только вот диск мы изымем.

— И удостоверение, — добавил шатен, — но не беспокойтесь, всё будет честно.

И он сунул мне в руку синие корочки.

— Поздравляю, — сказал он очень серьёзно и даже встав несколько прямее. — А теперь позвольте откланяться.

Яхта с оранжевым парусом причаливала к берегу. Людей всё не было.

Я посмотрел на подвешенное к небу солнце и кинул в воду очередной камешек. В голове

было пусто и прохладно. В кармане лежало удостоверение «Ветеран борьбы с режимом».

Вечерело.

Николай Желунов

Рагомор

Юджин лежал на Пьяной Скале и смотрел на город. Сверху Рагомор напоминал салат из крошёных огурцов, морковки и сваренных вкрутую яиц — словно кто-то гигантской ложкой взболтал и рассыпал в зелёной долине алые, белые и цыплячье-жёлтые кубики домов. Горы сжимали Рагомор со всех сторон каменными объятьями — оттого солнце появлялось в городе поздно, уходило рано, и взор привыкал к дневной тени. Впрочем, всем было плевать на это, и только Юджин иногда жалел, что солнце соскальзывает за мраморные спины гор слишком быстро; он ехал на Пьяную Скалу и подолгу торчал здесь, до рези в глазах смакуя согретые солнцем краски.

— В тёмной комнате без окон я тоскую по тебе, — тихо напевал он, забывшись, а ветер тёплой ладонью касался его губ, оставляя на них едва уловимый вкус цветочного мёда, и Юджин время от времени проводил по губам языком.

Пьяная Скала была местом паломничества любителей ночных оргий, отсюда и название. От скалы до Рагомора почти миля, но Юджин видел и слышал всё, что происходит в городе. Вот механические уборщики подметают мусор на главной улице, а мальчишки бегут за уборщиком, с хохотом колотят по стальному контейнеру палками, тот опрокидывается, и мусор разлетается по асфальту. Роботы терпеливо подбирают его вновь и вновь, пока мальчишкам не надоедает. На площади перед мэрией Лу Моргенштерн — высокий и толстый, как боров, — строит очередную жутковатую инсталляцию: переплетение чёрных бронзовых прутьев, в которых каждый должен увидеть что-то своё; и люди, чтобы не обижать его, говорят, что видят, а может быть, и в самом деле видят. Солнце жарит. Моргенштерн пыхтит и утирает рукавом струящийся по лицу пот — он с гордостью принимает эти страдания во имя прекрасного. Толпа с уважением следит за его действиями. Юджин никогда и ничего не мог разглядеть в этих безумных работах, но когда Моргенштерн вцепился в него однажды, требуя ответа, Юджин соврал, что видит чье-то лицо, и Моргенштерн надменно кивнул, приняв враньё. Моргенштерн — единственный художник в Рагоморе.

На детской площадке играют ребята. В Рагоморе женщины не рожают детей — это больно и отнимает немало времени; если кто-то из женщин по неосторожности забеременеет, робот-гинеколог всегда к её услугам, он делает аборт по предварительной записи (это быстро и даже не лишено приятности). А ребёнка можно заказать в Инкубаторе — вон в том овальном, похожем на яйцо здании, что напротив мэрии. Юджин любил детей, он собирался тоже как-нибудь заглянуть в Инкубатор и сдать свои клетки, чтобы через две недели получить здорового краснощёкого карапуза лет трёх-четырёх.

— В тёмной комнате без окон... — мурлыкал Юджин.

Дети собрались вокруг столика на площадке для игр, они с интересом глядят, как рыжий Джеки Пейот всовывает в зад лягушке травинку и надувает амфибию до размеров бейсбольного мячика. Бедная тварь таращит буркала от ужаса и боли и судорожно дрыгает лапками. Один из близнецов О'Керри — Люк или Бивер, не поймёшь — зажмуривается и прижимает ладони к ушам. Вдруг Джеки швыряет лягушку в Келли Остин, и девочка с визгом отпрыгивает, падает на изумрудный шёлк травы, в глазах её отвращение... и восторг.



Юджин нахмурился, и словно в ответ серое облачко закрыло солнце. Над дорогой, убегающей к городу, взметнулся маленький смерч, он подхватил белый клочок бумаги и опустил его на камни перед лицом Юджина. Тот с трудом оторвался от созерцания города, взял бумажку в руки. На идеально ровном прямоугольнике крупными чёрными буквами была отпечатана какая-то бессмыслица:

KYZaa50981FXC-MC426-01992

Юджин скомкал и отбросил листок в сторону. У него вдруг пропал всякий интерес к происходящему внизу. Он осознал, что голоден и хочет пить. Еды у него с собой не было, зато в машине нашлась фляга с прекрасным французским вином. Юджин с жадностью выпил несколько глотков и, свистнув машине, живо зашагал вниз по дороге, размахивая прутиком. Машина послушно ползла следом.

У городских ворот он допил вино, запульнул флягу в кусты и хрипло затянул:

— О-о-о, в тёмной комнате без окон я останусь навсегда!

Вечер опустился на Рагомор влажной фиолетовой грудью, облепленной блёстками звёзд. В воздухе носился запах моря (хотя моря поблизости не было), на улицах вспыхнули огни, из распахнутых окон летели звуки джаза и кантри. Многие жители города просыпались только с началом сумерек и сразу окунались в бурный водоворот ночной жизни. Юджин шагал по заполненной народом вокзальной площади и не успевал отвечать на приветствия.

— Салют, Кортни! Как дела, Курт? Ты вроде бы скинул пару фунтов?

— Иди к чёрту, Юджин.

Курт весил почти двести фунтов и передвигался с помощью дубовой трости с золотым набалдашником. Он всё время что-то жевал, и Юджин верил, что будущим летом Курту не будет равных на ежегодном конкурсе толстяков.

— Хорошо выглядишь, Донна!

— Не льсти мне, Юдж, я знаю, что похожа на мумию.

— В таком случае, ты хорошо сохранилась в своём саркофаге!

Донна когда-то была мужчиной по имени Карл. Он сделал операцию по смене пола, но, несмотря на все усилия роботов-врачей, грудь его оставалась сухой и дряблой, а кожа лица и рук пожелтела и сморщилась, как палый лист. Донна-Карл не теряла надежды всё исправить и тоннами ела гормоны, но с каждым годом выглядела всё безобразней.

Из темноты над городом оглушительно проревел гудок, и площадь огласилась радостными криками. Толпа колыхнулась, дрогнула и потекла к перрону — река разгорячённых спиртным, полуголых, полурасслабленных тел. В стремнинах мелькали возбуждённые лица детей — малышня никогда не пропускает прибытие поезда.

Свистя паром, сверкая стальными боками, к перрону подкатила серебряная сигара, обдала сладковатой вонью машинного масла и нагретого металла. За сигарой, словно нанизанная на нитку гирлянда сосисок, — длинная череда вагонов. Все багажные. Двери распахнулись —

а-а-ах! — и из вагонов хлынул навстречу бегущим людям разноцветный огонь. А внутри этого сказочного огня — всё, что только может пожелать человек.

Сэм — худенькая, вся какая-то ломкая девочка одиннадцати лет с небольшим. У неё маленький нос, усеянный конопушками, которые она тщетно старается скрыть под дорогим тональным кремом. У Сэм густые каштановые волосы и злые жёлто-зелёные глаза, как у кошки.

— Чего ты припёрся? — спросила она.

— Я пришёл... поцеловать мою маленькую... принцессу, — икая, сообщил Юджин. Он пил весь вечер.

— Пошёл вон! — Сэм отвернулась и скрипя зубами принялась натягивать на Барби розовый спортивный костюм.

За окном протяжно пели пьяные голоса.

— Фу, какая злючка... а где твоя мама?

— Мама спит! Напилась и дрыхнет, понял!? Отойди, от тебя воняет! Вонючий козёл!

Юджин рассмеялся и вдруг прижал Сэм к себе. От него волнами растекался густой аромат виски. Девочка не отстранилась, но словно закаменела. Барби с тихим стуком упала на ковёр. Юджин погладил Сэм по голове, тихонько щёлкнул по носу:

— Ну? Чего ты? Чего?... Ревнуешь меня к своей м-ма-маше, да?

Краска залила лицо девочки, конопушки на носу проступили ярче.

Юджин взял её руки в свои, сказан примирительно:

— Не надуйся так. Ну да, я люблю т-твою... ик... маму. Что тут плохого? Она всё равно остаётся т-твоей мамочкой... ик... а ты — её любимая дочка.

Он провёл шершавой ладонью по её щеке:

— Мама любит тебя...любит, глупая...

Сэм отдёрнулась:

— Не лапай меня!

— Ш-ш-ш... да что с тобой?

Девочка схватила куклу и прыгнула в кресло, с ненавистью глядя на Юджина.

— Ты что? — Юджин глупо моргал, чувствуя, как трезвеет. Волна злости вдруг поднялась от живота к горлу, залила глаза багровой мутью.

— Тебя кто-нибудь лапал? — спросил он. — Кто это был?

— Никто! — с вызовом сказала девочка. Она смотрела в стену.

— Если кто-нибудь... хоть пальцем тебя...

Слова запутались, переплелись своими неуклюжими ножками на его языке, в горле замер

холодный комок.

— Отстаньте от меня все, — прошептала Сэм. Дверь распахнулась, Клаудиа, раскрасневшаяся и весёлая, ввалилась в комнату.

— Саманта! Ты ещё не спишь? — она погрозила дочери пальцем, — ну-ка быстро в кровать!

— Не хочу!

— Неделю без сладкого! — весело крикнула Клаудиа, хватая Юджина за руку и увлекая его прочь из комнаты.

Она на лету чмокнула его в губы и потащила по лестнице на второй этаж. Юджин вяло сопротивлялся.

— Ну и пожалуйста! — Сэм выскочила в коридор следом за ними, в глазах девочки стояли слёзы. — Очень надо! Всё равно я не буду спать!

— Кармела! Кармела! — позвала Клаудиа.

— Я здесь, госпожа, — робот-служанка быстро спускалась сверху.

— Уложи Сэм в кровать!

— Слушаюсь, госпожа.

— Я тебя ненавижу! — закричала Сэм и бросила Барби в мать. Кукла попала Юджину в плечо, отскочила и исчезла под лестницей. — Всех вас ненавижу! Я уйду от тебя, слышишь? Буду жить на улице!

— Закрой свой поганый рот и немедленно иди спать! — Клаудиа слегка нахмурилась. — Кармела, я что тебе сказала?! Отведи Сэм в постель!

Служанка схватила девочку металлическими руками и утащила обратно в комнату. Сэм бессильно колотила её маленькими кулачками.

— Спать пора, спать пора, усни, дитя, — затянула хрустальным голоском Кармела, — божьи ангелы поют, малышам наказ дают, усни, дитя! Усни, дитя!

— Я убегу! — сквозь слёзы крикнула Сэм.

Кармела захлопнула дверь в спальню.

Юджина тошнило. Он шагал следом за Клаудией по коридору, уставившись на её голые круглые плечи и крепкую талию, стиснутую синими шёлковыми бинтами платья, и по лицу его бежали крупные капли пота, похожие на слёзы. По левую руку тянулись бесконечным кошмаром ярко освещённые комнаты, заполненные пьяными людьми, грохотом музыки, звоном хрусталя, стрекотом рулеток. Здесь, в доме Клаудии, вечеринка не прекращалась никогда.

— Юджин, Юджин, мальчик мой, — сказала Клаудиа, — я скучала по тебе. Почему ты так редко заходишь?

— Прости... я буду приходить чаще.

— Чёрт, везде занято. Идём сюда.

Клаудиа увлекла его в голубой будуар, закрыла дверь, прильнула к Юджину всем телом, покрывая лицо поцелуями. Юджин не ответил. Он смотрел на широкую, как аэродром, сбитую постель, на которой спали, переплетаясь телами, двое мужчин. В голубом пламени светильников они казались мертвецами.

— Кто это?

Клаудиа грустно усмехнулась:

— Эти жеребцы нагнали на меня такую скуку, что я хотела даже выгнать их вон, и выгнала бы, не будь я такой доброй. К тому же они больше занимались друг другом, а не мной. Юджи, милый, ты знаешь, я люблю только тебя, а эти дурачки — просто для забавы... что с тобой? Тебе плохо?

Юджин рванулся в туалет. Его желудок болезненно сжался и вывернулся наизнанку. Ещё раз. И ещё. Юджин корчился над золотой ракушкой унитаза и молился про себя, чтобы этому пришёл конец.

— Ну-ка выпей, — Клаудиа протянула ему стакан с пузырящейся жидкостью.

Юджин заставил себя сделать несколько глотков.

Тошнота почти сразу исчезла.

— Лучше? — с улыбкой спросила Клаудиа.

Вместо ответа Юджин допил остатки жидкости и попросил ещё.

— Сейчас мы тебя приведем в норму. Ты мне нужен сегодня бодрым и полным сил.

Две таблетки тетрациклодоксицилина, словно по волшебству, за минуту изгнали слабость, прояснили голову, пробудили аппетит.

— Извини, — сказал Юджин, целуя густые платиново-белые волосы своей возлюбленной, — я ем слишком много устриц в земляничном соусе.

— Вот что, мой сладкий, — Клаудиа снова загадочно улыбнулась, — поехали отсюда.

— Поехали к чёрту отсюда!

— Покатаемся по горам.

— Развеемся.

— Будем любоваться звёздами и танцевать в лунном свете.

— Я хочу тебя.

— Возьми вино и фрукты. Потом заводи машину и жди меня во дворе.

— Ты куда?

— Скажу Кармеле, чтобы присмотрела за Сэм.

— Хорошо.

И Клаудиа ушла, ступая босиком по рассыпанным на ковре лепесткам роз.

Она добрая и славная, думал Юджин, перекладывая в бумажный пакет виноград и апельсины

из вазы на столе. Она, конечно, кричит на Сэм, и даже бьёт иногда, но всё-таки любит и заботится о ней.

Юджин выкатил из гаража рубиновый кабриолет Клаудии, бросил пакет на заднее сиденье и сел за руль. Бриллиантовые кристаллики звёзд катились по небу, переливаясь алыми и лиловыми гранями. Ветер доносил запах цветущих роз. Вечеринка наверху продолжалась. Звуки печальной песенки прорвались сквозь пьяный смех:

В тёмной комнате без окон

Я тоскую по тебе

Я шепчу твоё имя

Твоё странное имя

Я тону в пустоте...

Юджин курил и смотрел на небо. Клаудии не было уже минут двадцать. Наконец она показалась на пороге; следом, громко сопя, вышагивал с бокалом в руке Моргенштерн. Юджин вцепился в руль и сжал зубы.

— Мадонна, богиня любви, — ворковал толстяк, — куда же вы?

— Отстань, Лу, ты пьян, — смеялась Клаудиа.

— Один поцелуй на прощанье... как знак надежды, — толстяк вдруг по-хозяйски обхватил женщину за талию и, словно вампир, впился губами в её шею. Клаудиа даже не сделала попытки отстраниться.

Юджин выпрыгнул из машины, взлетел по ступенькам и толкнул Моргенштерна в грудь. Бокал выскользнул у того из рук и разбился вдребезги.

— Какого чёрта! — взревел Моргенштерн.

— Ты что, не видишь — женщина не хочет?

— Тебе-то что? Хочет — не хочет! Убирайся к дьяволу! Живот Моргенштерна колыхался, как пудинг на блюде.

— Убери лапы! — приказал Юджин.

— Сам убери, — ловко парировал Моргенштерн.

— Не надо портить эту чудесную ночь, мальчики! — Клаудиа, с интересом следившая за перепалкой, ослепительно улыбнулась, взяла Юджина под руку и увлекла прочь. Юджин с ненавистью оглядывался назад.

— Галатее! Сусанна! — рванув воротник рубашки, Моргенштерн жалобно простёр вслед пухлые ладони.

— Ты ревнуешь, Юджин? — с весёлыми искорками в глазах спросила Клаудиа. Глаза у неё

были громадные, тёмно-синие, как небо в ясный январский вечер.

Истекающий брызгами огней проспект пронёсся мимо кабриолета, убежал в прошлое, а впереди вставали чёрные — чернее ночного неба — призраки гор.

— Меня тошнит от этого сукиного сына, — буркнул Юджин.

— Ты ревнуешь! — расхохоталась Клаудиа. — Боже мой, Юдж, но это же так глупо!

Юджин молча смотрел на дорогу, кусая губы.

— Не всё ли тебе равно, с кем я сплю? Какое тебе дело? Чудной, чудной мальчишка...

— Я не мальчишка.

— Для меня — мальчишка, я гораздо старше тебя! Послушай, мы живём только один раз. Нужно наслаждаться каждым днём, каждой минутой. Да, я люблю тебя, но я люблю и всех моих друзей. Я не хочу принадлежать только тебе, я не вещь, которую ты можешь спрятать в своём доме и никому не показывать, я живой человек, пойми!

— Разве я спорю... делай что хочешь, твоё право.

— Вот и хорошо. И больше не смотри на меня таким букой.

Она щёлкнула прикуривателем, зажгла тоненькую зелёную сигарету.

— Клаудиа... — Что?

— Давай уйдём отсюда. Ты, я и Сэм.

Юджин, крутя руль одной левой, другой рукой извлёк из сумки флягу с вином и сделал большой глоток. Клаудиа смотрела, как он пьёт. Смысл его слов доходил до неё очень медленно.

— Ты имеешь в виду — уйдём из города?

— Из этого чёртова Рагомора.

— Ты шутишь! — она с готовностью засмеялась.

Огонёк её сигареты бешеным светляком тлел на ветру.

Юджин ждал.

— И как ты хочешь уйти?

— По рельсам.

— Через тоннель? Сумасшедший!

— Ты знаешь другой путь?

— Нет.

— Как только пройдёт поезд, мы двинемся следом.

— И следующий поезд размажет нас по полотну, как джем по куску тоста. Юджин, никто не знает, как далеко тянется тоннель.

— Не размажет, — неуверенно сказал Юджин.

— Ну хватит! Я не хочу даже обсуждать это.

— Подумай о Сэм...

— Нет, Юджин, нет!

Она не отказалась сразу, отметил Юджин, отхлёбывая ещё вина. Это хорошо. По рельсам, через перевалы — он твёрдо решил уходить. Может быть, построить летающую машину? Говорят, раньше были такие. Он пробовал заказать — для этого нужно было лишь захотеть — и целый месяц ходил к поезду, но ничего похожего на такое транспортное средство поезд не привёз. Это озадачило Юджина. Роботы-снабженцы, сидящие где-то далеко за горами, никогда не отказывали жителям Рагомора ни в чём. Хочешь изысканного вина — только пожелай этого в своих мыслях, машина синтезирует для тебя жидкость, ни цветом, ни вкусом, ни свойствами не отличающуюся от столетнего бордо. Хочешь, к примеру, манго — и в ту же секунду где-то далеко металлическая рука срывает в оранжерее золотисто-красные спелые плоды, несёт их к поезду, и в тот же вечер ты встречаешь посылку. Захотелось золотой унитаза — получи. В духовной пище недостатка тоже не было. Мощный компьютер за горами пачками пёк сериалы, боевики и триллеры, и каждую весну поезд доставлял в город диск с записью церемонии вручения «Оскара» их виртуальным актёрам.

Но летающей машины Юджин не получил.

— Приехали.

На Пьяной Скале было пусто. Юджин расстелил на камнях пушистый плед, разложил еду в пластиковые тарелочки. Ночной пикник на природе. Они пили вино и смотрели на тлеющий город внизу. Далеко-далеко, у противоположной стены гор, разноцветная гирлянда поезда — уже опустошённая — поднялась над обрывом, на минуту замерла, словно собираясь с силами, и потекла к невидимому тоннелю. Спустя несколько мгновений гора поглотила её.

— Там ничего нет, Юджин. Убитая природа, жёлтый от дыма воздух и города роботов.

— Я не верю в это.

— Юджин, я знаю, что говорю. Рагомор строил мой дед.

— Твой дед? Родной? — глупо спросил Юджин.

— Да. Он и несколько его богатых друзей. Это было почти двести лет назад.

Сколько же тебе лет, хотел спросить Юджин, но прикусил язык. Клаудиа выглядела на тридцать пять — тридцать семь, может быть, на сорок, но это не значило, что ей и в самом деле столько.

— Они ушли сюда, спасаясь от того, что осталось там, — Клаудиа махнула рукой вслед исчезнувшему поезду, — они устали от жизни в кислородных масках, от свинцового неба, устали лечить детей от неизвестных болезней. Эти горы — творение их рук, это небо — стеклянный купол, а звёзды на нём — разноцветные лампочки.

— Звёзды... лампочки... — шёпотом повторил Юджин.

— Разве тебе здесь плохо, любимый? — улыбнулась женщина, — здесь есть всё, что ты только можешь пожелать. Тебе не нужно работать, не нужно ни о чём беспокоиться, и у тебя есть моя любовь. Чего же тебе не хватает?

— Свободы, — быстро сказал Юджин.

— О какой свободе ты говоришь? — улыбка Клаудии истаяла, стянулась, словно кусок резины. — О свободе умереть?

— О свободе быть другим. Не таким, как Курт, Донна и Кортни. Я должен отдохнуть от Рагомора. Здесь и вправду очень хорошо, но я почему-то ужасно устал от всего этого.

Клаудиа вздохнула и взяла бокал. Юджин с ужасом смотрел на звёзды-лампочки.

— Не мечтай о невозможном, милый.

— Почему бы не попробовать?

— Я сказала нет.

Тогда я уйду один, едва не крикнул Юджин — но промолчал. Он знал, что один не сможет. Вся его жизнь пройдёт здесь. Каждый день он будет лежать над Рагомором на Пьяной Скале и размышлять о вечном; ветер будет приносить с лугов хмельной коктейль ароматов, и сладость мёда на губах будет смешиваться с горьким вкусом полыни.

— Иди ко мне, — улыбнулась Клаудиа, выскользнула из платья.

Юджина не нужно было просить дважды.

Он ласкал её долго и терпеливо. Наконец Клаудиа виновато улыбнулась:

— Подожди.

Она вытряхнула из сумочки связку хрустящих фольгой упаковок, выдавила горсть таблеток на ладонь и проглотила, не запивая.

— Теперь давай.

В тихий предутренний час Юджин медленно шёл домой. Небо (стеклянный купол, только стеклянный купол) на востоке побледнело, и звёзды (разноцветные лампочки) гасли одна за другой. Улицы опустели, огни потухли, последние гуляки разошлись по домам. Юджин свернул в тёмное ущелье проулка и ускорил шаг.

— Отпусти меня, урод! — знакомый голос.

Юджин замер. Навстречу ему двигались две тени — большая и маленькая.

— Поздно отказываться, малышка, — просипел ещё один знакомый голос, — с мужчинами так не поступают, запомни это.

— Я передумала! Я не хочу!

Сэм. Что она здесь делает?

— Шевели ножками! Мы почти дошли.

Моргенштерн.

— Пусти! Я закричу!

— Не закричишь, маленькая дрянь!



Боров-художник схватил Сэм в охапку, зажал ей рот пухлой ладонью и почти бегом потащил навстречу Юджину.

— Стоять! — Юджин выступил из темноты, чувствуя мгновенно закипающее в груди бешенство.

— Опять ты! — прорычал Моргенштерн.

— Отпусти ребёнка.

— Уйди с дороги!

— Отпусти ребёнка, сволочь, или я вызываю шерифа, — Юджин отцепил с пояса светящийся карандаш мобильного телефона.

— Ч-ч-ч-чёрт...

Моргенштерн бросил Сэм, и девочка, тяжело дыша, отползла к стене.

— А теперь беги со всех ног, свинья, пока я тебя не убил, — Юджин говорил спокойно, но на щеках гуляли желваки.

— Я тебе припомню это, ублюдок, — отступая, прохрюкал Моргенштерн, — ты у меня будешь землю жрать.

Юджин сделал шаг по направлению к Моргенштерну, и тот быстро скрылся в темноте.

— Сэм... Саманта... Господи, что ты с собой сделала?

По лицу девочки текли чёрные от косметики слёзы. Помада, густым слоем уложенная на губы, размазалась по подбородку. На Сэм была коротенькая серебряная юбочка, тонкая полоска лифчика и прозрачная жилетка.

— Ты с ума сошла! Ходить ночью по улице в таком виде!

— Я... я... — девочка боролась с рыданиями, — я уже... взрослая.

— Вот дура! Как же ты из дома сбежала? Почему Кармела тебя отпустила?

— Я... в окно...

— Всё с тобой ясно, — он крепко сжал её мокрую ладошку, — ну-ка пошли домой.

Сэм шла, спотыкаясь. На её ногах были туфли на высоком каблучке.

— А почему ты с этим уродом была?

Сэм не ответила. Она шагала, шмыгая носом и глядя под ноги. Юджин вспомнил, как в первый раз увидел её у Клаудии дома — Сэм было тогда лет пять или шесть, её всего несколько дней назад привели из Инкубатора. Мать за что-то накричала на неё, и девочка сидела на диване в своей комнате, точно так же шмыгая носом и глядя вниз.

— Знаешь что? — сказал Юджин. — Нужно тебя хорошенько выпороть!

— Не говори, пожалуйста, ничего маме, — угрюмо попросила Сэм.

— Вот бы она тебя отхлестала — и была бы права! — Но Юджин уже решил, что ничего не скажет Клаудии. — Обещай, что больше не будешь так делать!

— Обещаю, — быстро сказала Сэм.

Она уже успокоилась.

— Поклянись!

— Клянусь, — тихо сказала Сэм.

Дом Клаудии стоял тихий, словно покинутый. Гости спали. Ставень окна в спальне Сэм был приоткрыт.

— Давай подсажу тебя, — прошептал Юджин.

Он легко, словно котёнка, подхватил девочку на руки и буквально закинул в окно. Сэм, красная как помидор, повернулась к нему:

— Спасибо, Юдж. Пока.

— Убью в следующий раз.

Юджин быстро зашагал прочь, борясь с искушением разбить что-нибудь. Сволочь Моргенштерн! Чёртов любитель прекрасного. Дрянь. Скот.

Он поднял глаза. На стене гаража белела в сумерках выведенная мелом надпись:

RTYww95981GSP-MC426-01993

Юджин пришёл в себя в мусорном контейнере.

Поблизости перекликались металлические голоса роботов. Он узнал голос шерифа.

— В переулках смотрели?

— Так точно, шеф. Пусто.

— Ищите следы. Улики.

— Ищем, шеф.

— Допросите свидетелей.

— Свидетелей нет, шеф.

— Ищите.

Юджин, стараясь не дышать, приподнялся и выглянул в узкую щель между крышкой и стенкой стального бака. Улицу заливал яркий солнечный свет. Прямо напротив, на крыльце своего жёлтого особняка, лежал без движения Моргенштерн. Голова его была в крови. Рядом с ним, словно изваяние, замер робот-часовой в синей фуражке.

Сердце Юджина колотилось так громко, что он боялся, как бы часовой не услышал. Он попытался вспомнить, что произошло, но в мутном кинофильме памяти мелькали лишь неясные обрывки. Кажется, он шёл следом за толстяком. Кажется, отломал зачем-то от инсталляции на площади чёрный бронзовый прут. На улицах было пусто, по пути никто не встретился. Дальнейшее скрывала багровая пелена.

Покрытый пятнами крови бронзовый прут лежал рядом с телом.

Юджин вздрогнул. Он всё понял.

— Шеф, результат поиска — ноль.

— В переулках смотрели?

— Так точно, шеф. Пусто.

— Ищите следы, улики.

— Ищем, шеф.

Тупые роботы. Они будут топтаться здесь, пока программа не сообщит им, что срок, отпущенный инструкцией на поиски, истёк. А если она сообщит через неделю?

Юджин лёг на ворох мусора, пытаясь унять сердцебиение. Почему он оказался в контейнере? Он не помнил. Как бы то ни было, здесь сейчас самое безопасное место.

Его глаза привыкли к темноте, и он разглядел на руках кровь. Выругавшись про себя, Юджин вытащил из мусора, на котором лежал, какую-то тряпку и тщательно вытер руки.

— Шеф, результат поиска — ноль.

— В переулках смотрели?

Внезапно контейнер сдвинулся с места. Юджин подавил желание вскочить, отбросить крышку и бежать куда глаза глядят. Контейнер медленно ехал вниз с холма, голоса полицейских удалялись. Что за ерунда? Юджин слышит размеренный стук шагов позади. В голову пришла безумная мысль — Сэм узнала, что он убил Моргенштерна, и теперь помогает ему уйти от полиции.

Через несколько минут контейнер остановился, крышка поднялась, и вместе с потоком солнечного света на Юджина обрушился град пустых пластиковых бутылок и ворох бумажного мусора.

— Здравствуйте, сэр. Что вы делаете в контейнере?

Бесстрастное лицо робота-уборщика походило на алюминиевую миску, в которой кто-то смея ради прокрутил отверстия для глаз и рта. Юджин, стараясь не дрожать, перекинул ногу через борт и выпал на тротуар.

— Извини. — Сказал он. — Я очень устал и решил здесь немного поспать.

— Надеюсь, я не испугал вас, сэр?

— Всё в порядке, я уже проснулся и собирался выходить.

— Вы не нажалуетесь на меня в Управление?

— Нет, что ты, всё хорошо, правда.

— Разрешите вас немного почистить, сэр. Вы испачкались.

— Не надо! Я пойду домой и приму душ.

— Удачного дня, сэр.

Юджин почти бегом добрался до дома. Он постоял под холодной стеной душа, и это привело его в чувство, но ненадолго. Едва он вышел в залу, его снова начало трясти. В висках стучала кровь. Ему смутно чудились далёкие, невнятно бормочущие голоса. Чтобы заглушить их, он взял в мини-баре бутылку джина и целый час пил его маленькими глотками, уставившись в стену перед собой. Было далеко за полдень. За окном шумел просыпающийся город, но Юджин ничего не слышал. Его мутило, и он упрямо заливал эту муть спиртным. Наконец он откинулся на диване и забылся тяжёлым сном, похожим на обморок, но даже в обмороке призрачные голоса не оставляли его. Они ругались, галдели, толкались в уши. Истекающий кровью Моргенштерн просил пощады. Маленькая, испуганная Сэм кричала, что она взрослая, что ей можно есть любые таблетки и устраивать вечеринки. Где-то за стеной тупо твердили своё «ищем, шеф» полицейские.

Внезапно бормотание изменилось. Новые голоса обрели стальную чёткость, они будто выплёвывали в Юджина короткие рубленые фразы.

Эксперимент провален. Город будет уничтожен. Эксперимент провален. Экстренный канал связи. Код шесть. Код шесть.

Юджин вскрикнул во сне и свалился на пол. Волна неопишемого ужаса захлестнула его. Он катался по ковру, желая только одного — проснуться, убежать от этих страшных голосов, но сон не отпускал, он словно держал его сердце стальной клешней.

Эксперимент завершён. Город будет уничтожен сегодня. Код шесть.

— Остановитесь! — возопил он. — Не надо! Прошу вас!

Ты не должен был убивать художника. Было задание следить, говорить с ним. Теперь поздно. Код шесть.

— Пожалуйста! Я не хотел!

Ты потерял контроль. Убил последнего в мире художника. Код шесть активирован. Эксперимент завершён.

— Дайте мне ещё один шанс! — простонал Юджин, слёзы катились ручьями из-под его закрытых век. — Последний шанс... пожалуйста... я люблю её...

Он вынырнул из сна, словно из глубокого омута, жадно хватая ртом кислород. Тяжёлая стальная лапа выпустила его, но он чувствовал — ненадолго. Не теряя ни секунды, он бросился вон и побежал, спотыкаясь, по улице, распугивая прохожих. Солнце, маленькое и жалкое, катилось к западному краю гор, сжимавших Рагомор в гранитном плену, а в зените стонала, клубилась чёрная, небывалая хмарь. В глубине этой хмари жили чудовища, и сейчас они спускались вниз. Юджин своим нечеловеческим зрением видел то, что было недоступно другим, — по поверхности стеклянного купола зазмеились первые трещины.

Он выудил её, вусмерть пьяную, из клубка недовольно мычащих голых тел, на руках вынес в соседнюю залу и захлопнул за собой двери.

— Что с тобой? Где пожар? — проямлила Клаудиа.

— Одевайся! Надо бежать!

— Да пошёл ты... чудной мальчишка...

Она неловко повернулась и упала с кресла на сияющий платиновыми вставками паркет. Удивлённо засмеялась.

Юджин нашёл аптечку, растворил тетрациклодокс в стакане воды, насильно влил женщине в рот. Клаудиа едва не захлебнулась, но выпила.

— Слушай, что я тебе скажу, слушай очень внимательно, — отчеканил Юджин, ловя её трезвеющий взгляд, — сегодня город погибнет. Я должен был наблюдать и ни во что не вмешиваться, но я не сдержался и сегодня утром убил Моргенштерна.

Клаудиа подняла одну бровь, но на лице её оставалось всё то же равнодушное выражение — смесь иронии и скуки:

— Юджин...

— Я не Юджин. Понимаю, как это звучит, но ты должна верить мне. Послушай меня хоть раз, Клаудиа, во имя нашей любви, прошу тебя! Они решили уничтожить Рагомор!

— Кто — они?

— Те, кто послал меня.

— Кто тебя послал? Куда?

Юджин указал рукой на небо.

— Бог, что ли? — расхохоталась Клаудиа.

— Да не Бог! — рявкнул Юджин.

В дверь застучали. Пьяные голоса потребовали, чтобы Юджин открыл. Он не обратил внимания.

— Мы с другой планеты. Я не могу тебе больше ничего рассказать, у меня... какой-то блок в памяти. На случай, если меня раскроют. Проклятье, если бы у меня были доказательства! Мы уже давно следим за Рагомором, это последний человеческий город на Земле, понимаешь?

Клаудиа заползла в кресло, кинула одну голую ногу на другую, положила подбородок на кулак и печально смотрела Юджина.

— Мы следили, собирали информацию, — сбивчиво говорил тот, — ты же знаешь, я каждый день торчал на Пьяной Скале — зачем торчал, спрашивается? Я наблюдал, записывал всё вот сюда! — он постучал себя по голове.

— Значит, инопланетяне такие же, как мы? — спросила Клаудиа.

В дверь заколотили громче. Пьяные голоса стали злее.

— Да не такие же, нет, совсем другие... это только я такой. Я как машина, понимаешь? Они управляют мной с помощью кодов! Сбрасывают сверху бумажки или пишут прямо на стенах — буквы, цифры, значки...

Клаудиа тихонько оттолкнулась ногой от пола, и кресло проехало несколько дюймов к дверям, за которыми всё нарастал шум голосов.

— Ты должна верить мне! Бери девочку, и уходим!

— Почему же ты раньше не рассказал?

— Я ничего не помнил, я же говорю — блок в памяти!

— Вот оно что, — как бы в задумчивости сказала Клаудиа, снова отталкиваясь ногой от пола и проезжая ещё несколько дюймов.

— Милая, заклинаю тебя, просто поверь! Уходим отсюда! Они в любой момент могут послать мне последний код, и тогда сработает бомба!

— Какая бомба?

— Внутри меня биобомба!

— Ах вот оно что, — Клаудиа была уже совсем близко к дверям.

— Они давно наблюдали... решали, оставить вас на планете или прибрать её к рукам всю!

Пьяные голоса обещали Юджину, что вырвут ему ноги, если он немедленно не откроет.

— Мы уйдём из города, и она не сработает, потому что я не увижу код! Они сказали, что я не могу уйти один — только с тобой! Если ты идёшь — Рагомор получит ещё один шанс, и я стану обычным человеком, а те, кто послал меня, — уйдут и оставят Землю людям! Скорее, вставай, надо одеваться и идти, и не оглядывайся, не то — кто знает — вдруг превратишься в соляной столб!

Клаудиа действовала молниеносно. Она прыгнула к дверям, одним взмахом пальца сорвала щеколду, и Юджин не успел ничего сделать. Толпа ввалилась в комнату, как наводнение, прорвавшее плотину.

Они почти не били его — Клаудиа успела остановить. Здесь, в Рагоморе, её слово было главным.

— Вина! — потребовала она.

Появилось вино. Его было так много, что Юджину казалось, вся зала тонет в вине. Чьи-то руки держали его голову, пока вино лилось ему в рот. Он глотал, чтобы не захлебнуться, а когда ему давали подышать, он пытался что-то втолковать им про последний шанс, про инопланетян и биобомбу.

— Пей! Это мы тебе даём последний шанс! — рычали ему в ухо.

— Всем веселиться! — воскликнула Клаудиа.

Восторженный рёв был ей ответом. Нагая и прекрасная, танцевала Клаудиа на огромном дубовом столе, вино лилось ей в рот, красными ручьями стекало по её груди и животу, и теряющему сознание Юджину казалось уже, что это не Клаудиа, что это голый, окровавленный Моргенштерн кривляется в центре всех миров.

Вскоре о Юджине забыли. Он на четвереньках выбрался из дома, и бледный, дрожащий, прислонился к холодной стене. Перед глазами всё плыло.

Код шесть, — напомнили голоса.

Ему было уже всё равно. Он хотел только одного — уснуть.

— Тебе плохо?

Юджин с трудом разлепил веки и увидел перед собой Сэм. Словно стыдясь своего вчерашнего поступка, девочка надела строгий зелёный костюм. Она наклонилась над

Юджином и погладила его по голове.

— Они тебя не очень били?

— Не очень, — выдавил Юджин.

— Надо идти домой, — грустно сказала девочка, — погода портится.

Юджин взглянул вверх и похолодел. Чёрная туча уже скрыла солнце, она почти полностью заволочла небо.

Над Рагомором печально растянулся гудок тепловоза — поезд прибыл на перрон, но едва ли кто-то пришёл встретить его.

— Ты можешь идти? — сочувственно спросила Сэм.

Юджин, пошатываясь, поднялся.

— Идём со мной, Сэмми.

— Куда?

— Не спрашивай ничего. Просто пошли.

— Хорошо.

Они шли долго. Юджина качало, он то и дело хватался за стены. Сэм покорно плелась следом, иногда она брала его за руку и помогала идти.

— Не бойся ничего, ладно, Сэм?

— Я не боюсь.

Под ногами прошелестел белый клочок бумаги. Юджин поспешно отвернулся и зашагал быстрее, но ветер подхватил бумажку и снова бросил к его ногам, тогда Юджин просто втоптал её в алмазную придорожную грязь.

Когда они проходили мимо детской площадки, ребята бросили своих лягушек и заорали:

— Нажрался, нажрался! Пьяная свинья!

— Заткнитесь, придурки! — крикнула в ответ Сэм.

— Жених и невеста! — захохотал Джеки Пейот.

— Ребята, — позвал Юджин, — подойдите сюда.

Что-то было в его голосе такое, что заставило их примолкнуть и подчиниться.

— Идите все за мной. Ни о чём не спрашивайте, просто... идите. Пожалуйста.

Он двинулся дальше по улице, боясь смотреть по сторонам. Он знал, что код уже появился на стенах домов.

— Что встали? — спросила Сэм. — Сказано вам — марш за ним!

Дети молча пошли следом, тихие и серьёзные — впервые в жизни кто-то из взрослых позвал их за собой.

В лицо ударил ветер, почти сбил Юджина с ног, но Сэм поддержала его. По тротуару зашелестела целая стая белых прямоугольников. Келли Остин поймала один ладошкой:

— Здесь какие-то циферки...

— Брось сейчас же! — прохрипел Юджин, закрывая глаза ладонью. — Порви и брось! Это... это смерть!

Келли выронила бумажку и быстро вытерла руки о подол платья. Дети стайкой брели за Юджином, в ужасе глядя на шелестящую вокруг белую реку.

В тёмной комнате без окон я останусь навсегда...

Выбрались из города. Дорога убегала вверх, к обрыву, оставляя Пьяную Скалу далеко справа, и бумажные послания запутались в высокой придорожной траве, отстали от их маленького отряда. Юджин несколько раз останавливался, чувствуя, как начинает кружиться голова. Дело было не только в выпитом вине, какая-то сила держала его, разворачивала, словно магнитом тянула назад, в Рагомор. Каждый шаг давался ему всё тяжелее, но одного взгляда на серьёзное бледное личико Сэм хватало, чтобы заставить себя идти дальше.

— Куда мы идём? — громко прошептал один из близнецов О'Керри, Люк или Бивер — не разобрать.

— К обрыву, — уверенно заявил Джеки Пейот, — он прыгнет вниз, а мы будем смотреть.

— Дурак, — сказала Сэм.

На обрыв вела крутая лестница, вырубленная в гранитной стене, — сто двадцать ступенек. Юджин поднимался по ним зажмурившись — ещё издали он увидел, что на каждой ступеньке мелом написан код. Дважды во время подъёма его стошнило, но он всё равно не открыл глаз.

— Пришли, — выдохнул он наверху.

Голова раскалывалась — в виски словно вбивали стальные клинья.

— И что теперь? — спросил Джеки.

— Ждать...

— Давайте подождём, ребята, — неуверенно, непохоже на себя, пробормотала Сэм.

Они уселись на бетонную плиту площадки и стали ждать. К счастью, ждать пришлось недолго. Поезд, натужно пытаясь, вполз на обрыв и, как обычно, остановился на минуту, словно собираясь с силами перед рывком в темноту. Двери вагонов были раскрыты, внутри, в разноцветном сиянии лежало всё, что только может пожелать человек.

— Если хотите жить — лезьте в вагон, ребята, — тихо сказал Юджин.

— Вы нас убьёте, если мы не полезем? — серьёзно спросила Келли.

Ты права, хотел сказать Юджин, когда сработает бомба, я погублю всех. Вместо этого он ласково потрепал её по голове и сказал:

— Ну что ты... просто... уезжайте. Не спрашивайте ни о чём, — в который раз повторил он, — просто залезайте внутрь. Когда поезд выйдет из тоннеля и остановится... прыгайте. Возьмите побольше еды... тёплые вещи...



Язык не ворочался, перед глазами плавали какие-то пятна.

— Скорее... он сейчас уйдёт...

Странно — дети послушались. Они все забрались в один вагон, расселись на мешках с золотыми украшениями и дорогими духами.

— А ты? — спросила Сэм.

Юджин покачал головой:

— Нельзя. Ты же видишь... я сюда еле дошёл.

Состав лязгнул и медленно тронулся с места.

— Я не хочу без тебя! — крикнула Сэм.

— Ты, как старшая... отвечаешь за малышей.

Сэм плакала.

— Куда идёт поезд? — испуганно спросил Джеки.

— Сиди тихо! — рявкнула Сэм, размазывая слёзы.

Юджин прошёл несколько шагов, держась вровень с Самантой, споткнулся, упал. Медленно, с трудом, поднялся на ноги.

— Если увидишь маму... — крикнула Сэм. — Если увидишь её ещё раз, передай... Если увидишь...

Она не договорила. Двери вагонов синхронно опустились, захлопнулись, и поезд, стремительно набирая ход, полетел к тоннелю.

Юджин спускался по лестнице, закрыв глаза, — он решил, что постарается как можно дольше не смотреть на цифры. Ноги, с таким трудом донёсшие его наверх, теперь словно сбросили невидимые гири, и Юджин уже через пять минут вернулся в Рагомор.

Небо над куполом съёжилось чёрной кляксой, набухло, вздрогнуло. Из сердцевины кляксы выпала электрическая веточка молнии, и купол взорвался.

В своём особняке в центре города Клаудиа вдруг покачнулась и схватилась за сердце.

— Сэм, — прошептала она, но в накатившем грохоте никто её не услышал, — где Сэм? Вы не видели мою девочку?

Она шла по дому, открывая все комнаты подряд, но в каждой видела только плавающие в дыму раскормленные сонные лица, похожие на маски.

— Кто-нибудь знает, где Сэм?!

Вислощёкие маски, так похожие на свиные морды, отрицательно качались из стороны в сторону.

Юджин почти бежал. Вернее, его ноги неслись вперёд, давя летящие навстречу клочки бумаги, а сам он отрешённо наблюдал за действиями тела, окончательно вышедшего из

подчинения. Пульсирующая боль в висках отступала, сменялась странным оцепенением, зато застучало, задёргло что-то в груди — горячее, незнакомое, словно живое.

Ветер ревел. Огромные осколки купола падали на Рагомор, перерубая стволы деревьев, пробивая крыши, одна из сияющих глыб стекла рухнула на последнюю инсталляцию Моргенштерна и превратила её в кучу металлолома.

— Где моя дочь!? — спрашивала Клаудиа у ревушей вокруг пустоты; она всыпала полпачки тетрациклодокса в стакан и одним глотком осушила его.

Юджин вылетел на площадь, и ноги его остановились. Он стоял в самом центре белого бумажного шторма.

Не бывать этому, подумал он. Даже если есть в городе двадцать, десять, хотя бы только пять праведников — не бывать. Если уж ноги не слушаются меня, то глаза всё ещё мои — просто закрою их и буду стоять так, пока не умру.

Он зажмурился и не увидел, как чёрное небо внезапно посерело, затем стало молочного цвета. Комья белоснежного тумана с громким, давящим шорохом опускались на город. Сотни тысяч, миллионы белых прямоугольничков повисли в воздухе, ветер подбрасывал их, играл, увлекая к главной площади, где застыл, вскинув руки, уже не Юджин — биоробот МС-426, изо всех сил жмуривший веки. Бумажный вихрь окутал его позёмкой, засыпал по колению, по пояс, но глаза его оставались закрытыми.

Рагомор ждал свершения своей участи.

Клаудиа выбежала из дома, бросила взгляд на площадь и всё поняла. Она бросилась к Юджину, громко крича, но в бумажном грохоте бури он ничего не услышал.

В оглушительной пустоте, обнявшей его, он боролся с видением, заполнившим внутренний взор. Его любовь, вся в крови, танцевала на дубовом столе. И в тот самый момент, когда она обратила к нему смеющееся лицо, МС-426 не выдержал и поднял веки — всего лишь на коротенькое мгновение, но в это самое мгновение маленький листок бумаги упал ему на лицо, прямо перед глазами.

6-МС426

Шесть.

Что ты наделал?

В тот же миг бумажная буря прекратилась, улёгся ветер, и обречённый город застыл в оцепенении.

Пять.

Клаудиа схватила его за грудь, затрясла, выкрикивая имя дочери. Губы её беззвучно, по-рыбьи открывались и закрывались, но сгустившийся воздух не пропускал ни звука.

Четыре.

— Сэм просила передать, что любит тебя, — сказал голос Юджина из глубины МС-426, и Клаудиа услышала; бледнее бумаги, засыпавшей площадь, она отступила на шаг, в глазах её

— отчаяние, боль, раскаяние, пришедшее слишком поздно.

Три.

Он вновь зажмурился, на этот раз от страха перед неизбежным.

Два.

Постой, сказал он себе. Ты всё выдумал. Это же неправда, это же чушь несусветная, бред! Нет никакой биобомбы, нет никаких инопланетян. Ты убил Моргенштерна и двинулся из-за этого рассудком. Но теперь-то ты всё понял, теперь всё будет хорошо!

Один.

Стремительная волна голубого пламени вырвалась из его груди, прокатилась по городу, люди сгорали в ней, словно головки спичек, они умирали, не успев проснуться, удивиться, не успев воскликнуть: «За что?» Их дома, вещи, машины, роботы остались неповреждёнными. Когда всё закончилось, ветер некоторое время удивлённо носился по опустевшим улицам, а затем ушёл и он.

Эксперимент завершён.

Азамат Козаев

Джокер

Второй день кошмара. Существование миров, подобных этому, расцениваю как провокацию Всевышнего, направленную против меня лично. К столь резким заявлениям меня понуждает не только абсолютное бесстрашие, где-то даже идиотское, но и горькая правда жизни (налоговый комиссар Джанте, царствие ему небесное, сказал бы иначе — суровая действительность). Об одном жалею: невозможно плюнуть в ответ — создать мир, населённый ошибками господнего гения. Получился бы тот ещё шедевр — неудачно сотворённые твари кособоко щерятся Демиургу в лицо и, кривляясь, канючат: «Ты испо-о-о-ортил нас! Во искупление собственных грехов, божечка, даруй прощение Адаму и сынам его до самого последнего колена!» Получи я вожделенное прощение, клянусь, часовенка св. Иезекии напротив моего дома не знала бы переводу свечам, мирре и ладану! Но что делает этот провальный режиссёр? Путиами неисповедимыми забрасывает меня в какой-то вселенский медвежий угол, на блюдечке с голубой каёмочкой преподносит этот дурацкий мир и включает счётчик! Бездарная постановка, ремесленные декорации, глупейшая режиссёрская находка! Мало было театра одного актёра, теперь появился театр одного зрителя! Говорю о себе. Прав старик Шекспир, ой прав! Мир — театр, люди в нём — актёры, но вся беда в том, что мне не нравится наш главреж, и в этом состоит ярчайшая моя индивидуальность...

Почуял неладное ещё в космосе, когда автопилот взбрыкнул и потащил корабль чёрт знает куда (теперь-то ясно — куда). Мирок так себе, камни да скалы, одна радость — небо синее. И уж куда в бочке мёда без ложки дёгтя — этот булыжник суть овеществлённая совесть. Гнуснейшая шутка! Как результат здесь мне не хватает дыхания и ругательств, «подъел» весь их запас и каждый день вдохновенно творю новые. О нет, я вовсе не отрицаю существования совести, однако замечу, что сия эфемерная материя в руки умникам пока не далась и документально фиксироваться не желает. Раньше я с нею не встречался, как

выглядит — не знаю, сужу о ней лишь по книгам да по рассказам бедолаг, но, по-моему, это она! Говорят и пишут, что совесть — тётка весьма надоедливая и нудная. Если так, выходка вполне в духе Всевышнего. Создать что-нибудь стоящее вечно не хватает времени и таланта, зато на мелкие, пакостные безделки времени и желания — суцая бездна.

Ночь прошла тревожно, спал и не спал. Видел странный сон в двух актах с дурацкими репликами, сценаристу за такие диалоги руки оборвать! В первом акте просто и без затей могильным голосом принесли отнюдь не благую весть. Дескать, в аду сохнет от нетерпения Чалый Бен и точит десантный нож, коим и развалит меня крестообразно: сначала по-самурайски — от ребра до ребра, потом как поросёнка — от грудины до паха. Ещё и подвывали с чувством: «Ме-е-е-есть!» Весь второй акт потусторонний голос до утра бубнил где-то за кадром: «Грехи, грехи, они не пустят тебя в рай!»

Эй, эй, стоп, машина! Занавес, я сказал, занавес! Что за шутки? Ранним утром вскочил помятый и злой как чёрт, бегал по миру, кривлялся, размахивал руками и орал, будто резаный. Впрочем, зачем махать руками, куда кричать, если адресат присутствует везде и всюду, даже в этом корявом, уродливом деревце? От щедрот душевных обильно «поливал» скособоченный ствол и злорадно выговаривал: дубляж гнусавый, задумка самодеятельная, режиссура провинциальная! \* \* \*

Корабль словно умер, покинуть мир не могу. Ясное небо который день тупо голубеет над головой, и это начинает надоедать. Лазоревая прорва стремительно обретает сходство с безмятежно улыбчивым дауном. Мне не нравится дурацки-безбрежная улыбка в тридцать два зуба, никогда не нравилась, кстати, Чалый Бен обладал именно такой, пока его кривую дорожку не перешёл я. А в аду... ну зачем ему в аду тридцать два зуба? В продолжение дурацких хроник — на пятые сутки полез в автоматику, весь день провозился с кораблём и вымотался так, что едва не уподобился жирафу, который спит стоя и горя не знает. Чуть не задремал на ходу, не удивлюсь, если даже похрапывал. Надеялся измотать себя и уснуть без задних ног, едва голова коснётся подушки, без снов, декораций и бездарных диалогов. Глупец, самонадеянный глупец!

Сон таки нагрязнул, мои ухищрения не помогли. Целый вечер накручивал себя, занимался самовнушением, пока язык не опух, всё твердил хриплым басом: «Сны — к чёртовой матери!» Однако жалкие потуги отгородиться от совестливой пропаганды забил гнусавый голос: «Джон Газз по прозвищу Партер, искупи грехи — попадёшь в рай!»

— Я за неделю выстроил схему аферы государственными долговыми расписками, ты обыкновенную курицу лепил миллионы лет, и теперь спрашиваешь, кто из нас творец? — утром устало плевался в тупо-лазоревое небо, но лишь тишина была ему ответом (то бишь мне, пардон, заигрался).

Прозреваю иезуитский сценарий — на этом дурацком мире инфицировать мне смертельную болезнь, подсадить симбионта-паразита, наблюдать корчи здорового организма и записать всё это безобразия для социальной рекламы: «Своевременное покаяние — ключ к выздоровлению». Так вот: импресарио разобью физиономию, а контракт не подпишу... нет, подпишу, но от размеров гонорара, что непременно затребую, у продюсера глаза полезут на лоб! \* \* \*

Хорошо, принимаю условия! Принимаю! Больше не могу кричать, всю ночь орал в кошмарных видениях и сорвал голос. Об одном прошу — потом, как всё будет сделано, яви, пожалуйста, одно из пресловутых своих чудес! Прошу тебя, божечка, воплоти совесть в уродливого детину, и я с лёгкостью душевной повяжу ему «колумбийский галстук». Ещё лучше — воплоти её в боязливую монашку, напоминаю, мне нравятся крутобокие шатенки с пышным бюстом, а дальше можешь отвернуться и заткнуть уши.

Две недели пролетели как один день. Теперь главный режиссёр представляется мне гением, а либретто я основательно «пощипал» и растащил на цитаты, к примеру, эту: «Душегуб и убийца Джон Газз по прозвищу Партер, раскайся и воздастся тебе по заслугам!» Против воли звучит в ушах денно и ночью. Непонятно только, воздастся из расчёта «до покаяния» или «после»? Если «после» — вариант приемлемый, если «до» — категорическое нет! Хорошо, хорошо, готов покаяться, скажите только, где и как, иначе сдам билет и напишу злобную рецензию в «Театральный вестник»!

Как-то, в одной из ночных постановок, у совести проскочило что-то насчёт цены, стоимости и расплаты. Не будь дурак, «прокрутил» этот кусок несколько раз подряд и едва не проснулся от радости. Вот же оно! Всё имеет свою цену, а значит, продаётся и покупается! Покупаю свои грехи! Оптом! А чем расплачиваться буду? Э-э-э... остатком жизни! Жаль, конечно, но существовать вечность на острие чудовищного ножа, которым орудует Чалый Бен, — то ещё удовольствие. Впрочем, Чалый — бездарь! Мой нож был тоньше и уже, а дыры в теле Бена получились глубже и длиннее. Парадокс? Не знаю, не знаю... Это как раз тот случай, когда «парадокс» и «искусство» становятся синонимами. Жди меня в аду один, Чалый, плевать на совесть с высокой колокольни. Но там плотоядно щерится не один только Бен. А Кривой Чунки? А рыжий Эрни? А одинаково уродливые близнецы Ууйво? \* \* \*

Оптом не выйдет. Высочайшую санкцию на обмен я добыл, но никакого опта. Во сне получил от продавца жестокий отлуп. Жаль, идея неплоха, да что там неплоха, просто блестяща! Но очень не понравилась хитрая улыбка контрагента. Очень! В конце концов, с выкупом грехов я тоже неплохо сообразил, как-никак за неделю выстроил схему аферы государственными долговыми расписками! Мне бы только в прошлое заглянуть, уж я бы сумел уравнять дебет и кредит! Представления не имею, как они поняли, но там же, в грёзах, всё и началось. Время ощутимо сгустилось, уплотнилось, приобрело цвет, вкус, запах. Запахло виски, малость зарябило, корабль затрясло, будто на форсаже. И, как в дурном Зазеркалье, вижу впереди картинку прошлого, будто подёрнутые дымчатым маревом, всё узнаваемо и свежо. Уже началось? Это и есть моё искупление грехов? Вот так, без генеральной репетиции, без прогона, в любительских декорациях? Как там, в либретто: грустным взглядом окидываешь прожитую жизнь в шаге от чистилища?

Сзади поддувает вселенским холодом, меж лопаток чешется, подмывает оглянуться, но странное дело — боюсь, в условиях сделки чёрным по белому прописан категорический запрет на самодеятельность. Посему иду вперёд, не оглядываясь. Я хорошо помню «Орфея» в театре Кьячче, малый сыграл не по сценарию, бросил за спину один единственный взгляд и вызвал гнев второго режиссёра.

Нет, вы только посмотрите! Кого я вижу! Бартоломью Эстевес, как же, как же: драка в игорном заведении после партии в покер, нож в сердце и мгновенная смерть.

— Здравствуй, Газз. Не могу сказать, что искренне желаю тебе здоровья, просто так принято.

— Привет, Барт. Удар в сердце, э-э-э... один год.

— Экий быстрый! Всего год? Впрочем, никогда тебя не понимал! А это тихое театральное помешательство? Знал бы, как недоумевают ребята!

— Темнота! Я актёр по призванию, джентльмен удачи по карме, а кресло в театральном партере даст сто очков форы любому барному табурету!

— Призвание, карма... Ничего не напутал? Ножом крутишь мастерски, и призвание твоё не театр — кровопуск!

— Талант многогранен. Повторяю, удар в сердце, один год.

Барт горестно кивает и на глазах тает в воздухе. Иду дальше. Чередой, как в кино, наплывают картины из прошлой жизни. Карточные махинации, крапёж, подставы, сговор, всё вместе едва тянет на год жизни, и то я слишком щедр. Симпс. Мог его не трогать, но подонок сам напросился. Где это видано, чтобы ловкие, но недалёкие пройдохи стяжали себе львиную долю дохода? Контрабанда Карассайского ветивера в обход таможи стоила мне клубка сгоревших нервов. Самолично увязал в один узелок многочисленные нити, и тут на сцену выходит Никто из Ниоткуда и снимает мои сливки. Всё просто до безобразия — чёртик выпрыгнул из табакерки в нужном месте в нужное время. Симпс, ты ошибся — это всё, что могу сказать. Год, больше никак.

Экзерсисы с налоговой декларацией — сущая безделка, максимум полгода. Близнецы Ууйво. Мерзейших тварей природа не лепила. Квазимодо, возведённый в N-ую степень уродства и помноженный на два! Как частенько и выходит, груз оказался под стать упаковке — обоих оставил подыхать в Гранатовом переулке, недалеко от отделения полиции. Деньги, полученные за «работу», сунул обоим в их отвратительные, кривые рты. Сдали полиции меня и ребят, как бродяги стеклотару. И добро, что нюх у меня оказался тоньше, чем у полицейских, вывел ребят из-под «ножа» за три минуты до облавы. Впрочем, братьев распостёртая сень шерифа не спасла. Полтора года на двоих. Не больше.

Это что такое? Толкнул старуху в поезде? Неделя. Езда на красный свет? Месяц. Нагрубил секретарше мэра? Красивая куколка, но я был чертовски взвинчен — неделя. Петерсон, Ляго и Кавальери тянут вместе на три года. Все остались живы, этот чудный мир видят в красках и в движении, но исключительно с колёс инвалидной коляски, и кормят их через трубки в пузе. Налоговый комиссар Джанте... ай-ай-ай, комиссар, разве *la vostra madre* не остерегала от неумеренного аппетита к денежным купюрам? Данный тип несварения не лечится и, увы, не проходит бесследно. Год. Ещё год за полицейского, того глупого стажёра, который, как ему показалось, ухватил бога за бороду.

Шестым чувством веду свою бухгалтерию — по крохам отмеряю каждому по делам моим. Запас «наличности» тает поразительно быстро, и к финишу — грубость родителям, воровство в лагере скаутов, драки в младенческом возрасте — подошёл с почти пустой сумой. Кажется, всё! Без остатка отдал себя людям! Чем не Прометей? Через мгновение сердце моё перестанет биться, и последняя искра возлетит куда-то в небеса. Искупил! Сзади воет, свистит и грохочет, в спину тянет мертвенной стужей, а я будто стою на вершине скалистого фьорда, совсем как принц Датский, и готовлю бессмертную сентенцию. Где там вожделенные врата? Можно поворачиваться? \* \* \*

Божечка — это джокер, который смеётся всегда и над всеми. Постановка впечатляет, финал непредсказуем, пьеса определённо удалась. И в тот момент, когда я повернулся, дабы смело шагнуть в Царствие Небесное, путь мне преградило нечто, и перекупить его не нашлось даже секунды жизни. Это нечто, будто злокачественная опухоль, выросло, пока я занимался калькуляцией грехов, и, как злорадно пояснил голос за кадром: бездумно раздарить остаток жизни, но не выстрадать раскаяния годами раздумий суть наитягчайший из моих грехов. Как в воду глядел — очень уж не понравилась улыбка во сне давешней ночью. Оказывается, я просто неправильно понял совесть, особенно тот рекламный блок, где говорилось про «цену, стоимость и расплату». Шедевр моей греховной жизни завалил вход в рай, пришлось идти в соседние ворота — в ад, и вот оно, преддверие! Не-е-ет, второй режиссёр мне тоже не нравится! Что за отсебятина, откуда эти вольности со сценарием, из какого запасника чудовищный реквизит: котлы, огонь, дым?! Осветителя гнать в три шеи, а красный фильтр разбить на тысячу осколков! Разминаю пальцы, грею рукоять ножа, искоса оглядываю игорный зал. Ба, Чалый Бен, братья Ууйво, Симпс, Барт Эстевес и компания! Хищно улыбаются, потирают руки. Идиоты! Чалый Бен стоит один, близнецы угрюмо топчутся в трёх шагах, Симпс трусоват, Барт не слишком резв. Чалый не выстоит против меня и двух секунд, братья тупы и неповоротливы, все остальные не успеют организовать и навалиться скопом. А Чалому его же «свинорезом» устрою замечательные крестины!

— Привет, ребята!

— Ш приеждом, Гажж! — Чалый, поигрывая ножом, медленно двинулся ко мне. — Я так долго этого ждал!

С каждым шагом Бена расстояние между ним и братьями Ууйво лишь увеличивалось. Четыре шага, пять...

— Ждраштвуй, Щалый. И прощай!..

Ирина Бахтина

Зачем я тебе?

14.30

«Жили-были Андерс и Айра, их дочь Христина и её кот Патриот...»

— Собачий сын!

Христина сняла Патриота с клавиатуры.

— Тоже мне Мур выискался! — укоризненно сказала она и поцеловала кота в морду.

На мониторе светилась зашифрованная приписка Патриота к её сочинению. Христина покрутилась в кресле, решила «да будет так», встала и вышла из комнаты. Патриот свернулся калачиком на насиженном месте и сладко заснул.

Праздники — это время, на которое назначают сделать больше, чем возможно успеть, и не делают ничего. Христина спустилась в нижний ярус и отыскала папу на диване в библиотеке. Поцеловав его в щёку, она уселась на своём любимом подоконнике и оттуда пожаловалась:

— Андерс, мне так лень уроки делать, что я бы чего-нибудь съела.

Папа закрыл книгу, откинул волосы со лба и предложил:

— Поймай мышь.

— Сегодня праздник, Андерс. Лягушки стынут, царевны не едут, сочинение не пишется. Можно, я возьму у тебя сигарету?

— В твоём возрасте пора иметь свои, — сказал папа, и в ту же минуту у входной двери заиграл туш.

— Вот и покурили.

Оказалось, по дороге «царевны» заехали в зоопарк, потом в винный погребок, купили двухлитровую бутылку шампанского и теперь с удовольствием потирали руки. Папа, покрытый праздничными поцелуями, понёс бутылку в столовую. Айра расшнуровывала ботинки. Вплетённые в волосы шнуры, амулеты на длинных цепях, талисманы, брелки и браслеты цеплялись друг за друга и звенели. А она сердилась.

В холл вернулся папа и сказал, что уже затемнил окна в столовой и включил телевизор и что там транслируют демонстрации в разных странах мира. Все пошли в столовую.

Вокруг стола, над которым свисал куб телевизора с экранами на все четыре стороны, расположились стулья, а на них Лю, Христина, Андерс и Айра. Родинчане вместе со всем просвещённым человечеством праздновали восемнадцатилетие Христофора. Пусть виновник торжества не дожил до своего совершеннолетия семнадцать с половиной лет — 12 июня празднуется главным образом не как День матери-мужчины, а как Христофоров день. Сейчас дикторы интернационального телевидения в который раз рассказывают грустную историю короткой жизни Христофора Экзиста. Он родился 12 июня 2000 года в Нью-Йорке после драматических событий: молодой врач Иосиф Экзист сумел трансплантировать в себя зародыш из тела погибшей в автомобильной катастрофе сестры. Биологический отец ребёнка так и остался неизвестным. Потом Иосиф Экзист получил миллион долларов как первый родивший мужчина. Через полгода маленький Христофор умер, истерзанный врачами и журналистами. А ещё через два месяца Иосифа Экзиста убили какие-то сектантки.

Экзист умер, но дело его живёт. В третьем тысячелетии мужчины могут не только вынашивать детей и производить их на свет посредством кесарева сечения, но и зачинать.

Экзист-маленький был назван Христофором в честь Колумба, а уже в его честь дети, рождённые мужчинами, стали называться христофорными младенцами. У Христины тоже был шанс стать христофорным младенцем. Ради этого её родители и переехали в Родинку, где расположилась лучшая клиника подобного рода. Но переезд настолько благотворно повлиял на Айру, что в середине февраля 2002 года она самостоятельно родила Христину, причём самым примитивнейшим способом. После чего все втроём счастливо зажили в вольном городе Родинке. Там их изредка навещала Лю, живущая по всему миру. Прошедшую зиму она провела на небольшом курорте в Восточной Европе и даже чуть не вышла там в очередной раз замуж. Но, как всегда, вовремя распознала

его скарედную сущность.

Валь, о котором непонятно почему вдруг вспомнила Христина, родился в нулевом году, тоже в Родинке. Но ему гораздо меньше повезло с родственниками. Сейчас он у своей бабушки в Ретрограде. И Валькина кузина Клара Цеткин, наверное, печёт торт. Вот она выходит из кухни, вытирая руки о передник, и становится от смущения красной, точно горькая редиска, когда Валь суёт ей чёртову мимозу. За спиной у Валя улыбается довольная Баба Яга. II хотя Валькину бабушку зовут не Ягой, это дела не меняет.

Христина улыбалась своим мыслям и не слышала, как к ней обращаются, пока папа не подёргал её за рукав.

— Что? — очнулась Христина.

— Расскажи Лю, как ты заработала фингал на шестнадцатилетие.

— На штурме Зимнего? Так это же было ещё в марте. Мы дрались, и Валь неосторожно махнул рукой.

— Не умеешь ты рассказывать! — перебила Айра. — Сначала они построили за школой снежный городок, назвали его «Зимний дворец». Потом разделились на две группы и принялись за штурм. Поскольку Стинни состояла в женском батальоне, красноармейцам пришлось подбить ей глаз. Ничего случайного здесь нет. Лезешь в драку — запасайся зелёной.

— Ничего не поняла, — сказала Лю, — ты рассказываешь о взятии снежного городка. При чём тут красноармейцы?

— Эх, вы, это же ролевые игры! Погружение в историю. Эта метода — моя ровесница, если не старше, — объяснила Христина.



— Чудесно, — сказала Лю. — Отстояли Зимний?

— Нет. Сдали по всем правилам. Великая Октябрьская социалистическая революция в очередной раз совершилась. Ура!

— Ты-то чего «ура» кричишь?

— А чего бы и не покричать и не помахать руками, когда после драки уже сто лет прошло?

— Девяносто девять с половиной.

— Сто один, — поправила Христина.

— А потом они устроили настоящую Гражданскую войну, — снова заговорила Айра, — и в нашем доме была Ставка. Стинни у нас была барон Врангель, а Валь, ты подумай, — Ворошилов.

— Валь — это твой френд-альтерсекс, Стинни? — поинтересовалась Лю.

— Можно и так сказать. Но лучше азэхсекс.

— И он красный?

— Коммунист с 1903 года. Член Реввоенсовета Первой конной армии. Командующий Царицынским фронтом.

— Превосходно, барон. Как ваши успехи в Гражданской войне?

— Мы проиграли.

— Что же так?

— Это же история, Лю. Согласно учебнику, мне пришлось сдать позиции Добровольческой армии на юге. Крымского белого государства не стало.

В кармане жилета у Христины зазвонил телефон. Она прервала свою лекцию и сказала в трубку:

— Христина. Привет. Конечно помню. Перезвони, пожалуйста, после... Что?

После «что» Христина ещё раз извинилась, встала из-за стола и поднялась к себе в комнату.

— Настоящий Врангель — твоя внучка, — сказала Айра бабушке, — она даже спит с телефоном.

— Смотрите, нападение на процессию беременных мужчин в Гонконге! — закричал Андерс, не отрывая взгляд от телевизора.

Лю и Айра уставились в свои экраны и обменивались репликами типа: «Ужасно!» — «Потрясающе!» — «Гонконг, ведь это Китай?» — «Нет, уже не Китай» — «Но по сути-то, Китай» — «О-о! Какой кошмар!»

— Перестаньте вы ужасаться, — попросил Андерс.

— Она пинает его в живот! — воскликнула Лю.

— Куда же ещё пинать беременного человека? — цинично сказал Андерс.

— И где только их мужья и жены?! — не унималась Айра.

— Зачем беременному мужчине жена? — спросил Андерс.

— Чтобы защищать его от фанатичек.

Картинка на мониторах сменилась, но тема незащищенного беременного мужчины ещё продолжала обсуждаться в столовой, когда вернулась Христина. Она тихо села на своё место и, казалось, не слушала разговора, пока вдруг резко не спросила:

— Как по-вашему, если мужчина залетит, а женщина не захочет за него замуж, то она подлец?

На секунду все замолчали, а потом Андерс, уже ответивший за свою жизнь не менее чем на миллион дурацких Христининых вопросов, спокойным и лишь слегка менторским тоном сказал:

— Если женщина зачинала, а мужчина на ней не женился, он, в большинстве случаев, считался подлецом. Так было испокон веков, пока не появились феминистки, не произошла сексуальная революция, не прошла тотальная феминизация населения. Пока мужчины не уравнились с женщинами социально и биологически. Сейчас существуют матери-одиночки обоих полов. И на жизнь не жалуются. А почему тебя это взволновало?

— Так просто, — неуверенно ответила Христина.

А бабушка Лю авторитетно заявила:

— Женщин-подлецов не бывает!

— Бывают, — сказала Айра, — всё, что могут мужчины, могут и женщины. Равно как и наоборот.

— Кто же посмеет назвать женщину подлецом? Она же женщина, — удивилась Лю.

— Вещи надо называть своими именами, — упёрлась Айра.

Андерс засмеялся. Все посмотрели на него и засмеялись тоже. Даже Христина засмеялась. Хотя на душе у неё было погано, и смех получился несколько истеричный. Едва успокоившись, Айра спросила:

— По какому поводу веселимся?

— Вы так активно обсуждаете право женщин быть подлецами, как будто собираетесь включить его в Билль о правах. И как будто это вообще имеет какое-нибудь значение.

— Это имеет концептуальное значение! — заявила Айра. — Если женщина ведёт себя как подлец, то пусть она и называется подлецом.

— А не выйти замуж — это подло? — спросил Андерс.

— Для мужчины подло, для женщины — нет, — внесла ясность Лю, посмотрела на часы и сказала «Ой»!

Все тоже посмотрели на часы и переместились на диван — поскорее выпить кофе, чтобы не опоздать в театр «из-за этих подлецов».

После КВНа, в котором было много красивых музыкальных номеров и несколько шуток, Христина поднялась с родственниками на Кофейную башню. Решено было провести там за коктейлями время до фейерверков. Они заняли столик у перил на балконе третьего этажа и заказали пунш. Нахохлившись, точно воробей на ветке, Христина курила, потихоньку потягивала из бокала и смотрела на быстро вечереющий город во влажной дымке. Она мысленно возвращалась к телефонному разговору во время обеда, и настроение её портилось. Она договорилась с Анно встретиться завтра, но понятия не имела, что ему скажет. Андерс осторожно потрогал её за рукав:

— О чём задумалась?

Христина повернулась к нему. На папином лице морщинки пролегли уже и у глаз, и в уголках губ. Поэтому, даже когда Андерс не улыбался, его лицо хранило память об улыбке. Сказать ему? Он поймёт. Он вообще продвинутый. И довольно далеко. Иначе бы не женился на Айре. Ей было двадцать шесть, когда они встретились. Она сочиняла истории в манере Арцыбашева. Андерс тогда ещё не был модным оформителем. И случилось это не в Родинке. Христина с грустью подумала, что нет надежды встретить пусть даже через десять лет мужчину, похожего на папу. Да и как его узнать? Папа, когда познакомился с мамой, был похож на обыкновенного небритого неудачника...

В кармане Христины зазвонил телефон.

— Извини, Андерс. Алло! Конечно. Я на Кофейной башне. Да. Вижу. В каком? А, да, всё, вижу. — Христина помахала рукой. — Годится. Спускаюсь. Господа! — громко сказала Христина, кладя трубку в карман. — Я откатываю вниз, на площадь. Закончите квасить, просигнальте. Авось я к вам причаляю на фейерверки.

Христина встала и столкнулась с кудрявой блондинкой, неслышно подошедшей к их столику. «За автографом к Айре?» — подумала Христина. Как хорошо, что ей досталась папина фамилия. Если б досталась мамина, она бы чокнулась, читая её на ярких глянцевых обложках популярных изданий. Христина ловко обошла поклонницу и, не оборачиваясь, быстро сбежала по ступенькам.

Перейдя шумную площадь, освещённую праздничными гирляндами и их отражениями в лужах, Христина приветствовала «своих». Клавдия сшила себе кардиган из Андреевского флага и теперь сзади была похожа на мушкетера. Подруги поцеловались. Да, определённо, спереди ей не хватало усов. Сколько раз они сражались и умирали плечом к плечу! На последней войне Клавдия была генералом Антоном Ивановичем Деникиным. И она познакомила Христину с Анно... Но сейчас об этом ни слова. Христина ещё сама не решила, как относиться к тому, что сказал Анно. Любой совет, любая жалость или осуждение сейчас могут сбить её с толку. Значит — молчать и ничем себя не выдать. Скандал, наверное, всё равно будет, даже если (дай-то Бог!) Анно блефует. Но это будет потом. Что-что, а неприятности не следует торопить.

Как всякий человек, мучимый тайной мыслью, Христина вдруг становилась то рассеянна, то излишне возбуждена. Но никто на это не обращал внимания, пока болтались по площади, и потом, когда спустились в бар. Лёшик предложил Христине партию в бильярд. Играли на пиво. Он выиграл. Христина беспорядочно рылась в карманах в поисках карточки. Лёшик прощупывал её рентгеновским взглядом. Потом подошёл почти вплотную и сказал тихо: «Ещё партию. Отыграешься». Христина кивнула. Они снова взяли в руки кии и хищно кружили вокруг стола. Лёшик при этом рисуясь и немного нервно. Христина сосредоточенно.

— Предлагаю попутно ещё одну игру, — с наигранной небрежностью сказал Лёшик.

Христина пожалала плечом, и он продолжал:

— Кто отдаёт ход, отвечает на вопрос.

— На какой вопрос? — осторожно уточнила Христина.

— Вопросы здесь задаю я. Согласна?

— Согласна. Ты слуховался, игрок. Скажи-ка, ты не родственник Онегину?

— Я однофамилец Огинскому, которого, кстати, звали не Полонезом. А Онегинским меня прозвали за то, что «легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно». Ты не находишь, что я «умён и очень мил»?

— Спросишь об этом, когда я промахнусь, — ответила Христина, лихо отправляя шар от борта.

— Это не вопрос, а так...

— Раз «так», то нахожу тебя милым, умным и интересным. Но учти, это не признание, а дань вежливости. И ещё: про Онегина тоже было «так».

— Ах, так! Тогда спроси меня о чём-нибудь по правде.

Христина намелила кий, наклонилась над столом, прищурилась и, загнав шар в лузу, спросила как бы между прочим:

— Скажи, ты женился бы на девушке, которая ждала бы от тебя ребёнка?

— У тебя что, неприятности с этим красным комиссаром? — мгновенно отозвался Лёшик.

— Это тебя не касается. Отвечай, пожалуйста, на вопрос.

— Как на него ответишь? На тебе бы женился.

— А не на мне? На ком-нибудь другом, кто бы тебе, в общем, даже и не нравился? Так, случайная связь, минутная слабость, морок. Да мало ли. Ты бы женился?

— Ты что, Марсова, с Марса свалилась? Кто сейчас на минутной слабости женится!

— Лёшик, марс — это площадка на верху мачты. Какой-то предок мой был марсовым матросом. Он поднимал и опускал паруса. У него, наверное, был хриплый голос, обветренное лицо и сильные руки. И по женщине в каждом порту. Вполне возможно также, что разок-другой он падал с марса, иначе как бы его угораздило жениться?

Лёшик засмеялся:

— Теперь двадцать первый век на дворе. И нейрохирургия, и вся медицина в целом достигли такого уровня, что никакое падение не может заставить девушку выйти замуж.

Они балагурили, полуприсев на край бильярдного стола, и совсем забыли об игре. Зазвонил телефон.

— Христина, — сказала Христина в трубку. — Нет ещё. Глупости. Ладно. — Она кивнула Лёшику. — Идём! Клавдия велела не марьяжить тебя. Я куплю пива.

— Нет, пива куплю я, — уверенно сказал Лёшик, ставя кий на место, — если бы мы закончили партию, ты бы выиграла. Исходя из счёта.

— Во-первых, мы не считали, во-вторых, не закончили. Я ставлю пиво за свой первый

проигрыш.

— Давай в складчину.

— К чёрту компромиссы! Я проиграла — я плачу.

Они вместе подошли к стойке, уселись, и Христина заплатила за пиво для всех.

— Ты уже написала сочинение? — спросила она у Клавдии.

— Сказку про себя и свою семью? Написала.

— Расскажешь?

— Если хочешь.

Клавдия оглядела друзей. На неё смотрели одобрительно, глумливо или не смотрели вовсе. Она начала довольно небрежным тоном:

— Я взяла сюжет из кино. Помнишь, осенью мы смотрели римейк «Назад в будущее»? Так вот, я начала с того, как проснулась в праздничный день рано утром, решила сделать уроки, чтобы вечером отдыхать, ни о чём не заботясь, и с этой мыслью уснула снова. И мне приснилось, что я лечу над Атлантикой в одном самолёте со своими родителями. Дело происходит лет двадцать назад. Я знакомлюсь с ними, представляюсь ворожеей и прорицательницей. Для начала вкратце рассказываю им их прошлое. Потом разглядываю линии на их ладонях. Делаю вид, что сама потрясена, когда произношу: «Да вы созданы друг для друга!» Наконец пророчу скорое рождение Христофора, их переезд в Родинку, новый город, о котором они тогда, понятно, ещё и слыхом не слыхивали. И на прощание скромно прошу назвать их дочь Клавдией, в мою честь, если мои предсказания сбудутся. С тем и просыпаюсь. В общем, весело получилось.

— Интересно. Значит, твои родители познакомились в самолёте?

— А почему ты у меня не спросишь, где познакомились мои родители? — хитро подмигивая обоими глазами, влез в разговор Дон-Педро.

— Потому что твои папочки наверняка подружились в «Голубой устрице», — усмехнулась в ответ Христина, — все же знают, что ты христофорный. И сочинение ты, наверно, назвал не иначе как «Голубая мечта сбылась».

— Сочинение я назвал «Трое в лодке, не считая женщин», — засмеялся Дон-Педро и часто замигал глазами.

— А ты написала? — обратилась Христина к коротко стриженной ясноглазой девушке, которую, после того как она стреляла в Ленина, стали звать Каплан.

Каплан ответила, что написала, будто она принцесса, дочь злой ведьмы. «Нагородила такую волшебную сказку, что Гайдар ногу сломит. Потому что на самом деле папа Яша женился на маме из-за того, что должна была родиться я. Пару лет они помучились, да и развелись. Что тут писать?» Христина внимательно посмотрела на Каплан, а Лёшик на Христину.

— Вы с ним видитесь?

— Мама запретила. Но мы связались через Интернет года три назад. Он даже за меня математику решал. Даром что размазня — голова умнящая!

— Лёшик, а ты расскажешь о своём опусе? — ответила в конце концов на пристальный взгляд

Христина.

— У вас было достаточно времени наговориться, — вмешалась Клавдия. — Ясно, что ты, милая, ничего не написала и ищешь, у кого украсть идею. Не выгорит, однако.

— Брось! Я написала уже «жили-были». Полдела сделано. Вернусь домой — закончу. Расскажу романтическую историю о том, как мама, вся в чёрном, курила на мосту и сплёвывала через перила. Папа подошёл, встал рядом. У мамы были в руках жёлтые цветы, а с папой чёрный пудель. Или наоборот. А может, цветов не было и пудель был не чёрный. Это не важно. Важно, что они поженились и переехали в Родинку. И в Родинке всё у них стадо хорошо. А про хорошо сказки не пишут. Герой непременно должен вляпаться в какую-нибудь дрянь, чтобы стать сказочным. Никак не могу представить себя в образе сказочной героини. На кого я похожа?

— На Дюймовочку. — сказал Лёшик. — Все подряд хотели на ней жениться, а она втихаря откормила огромную птицу и сделала им нос.

Присоединившись к дружному смеху, у Клавдии на поясе запищал брелок.

— Дай-ка свой телефончик, — сказала она Христине.

Христина протянула Клавдии трубку, и та позвонила Анно. Вернее, она сначала позвонила, сказала, мол, приходи, мы в «Шарашке», пьем пиво за стойкой, а только потом, отдавая трубку, заявила Христине, что сейчас придёт Анно. Трубка снова зазвонила, как только Клавдия выпустила её из рук.

— Христина! — сказала Христина. — Да... Да... Да... Сейчас. — И положила трубку снова в карман.

— Родители ждут меня, — сказала она торопливо. — Я обещала... Потом у нас гости. Извините, но... — Христина повысила голос, чтобы слышали все. — Мне надо идти! Всем пока!

— Тебя подбросить? — спросил Лёшик.

— Здесь недалеко.

— Но всё-таки!

Они встали и пошли к выходу. Клавдия крикнула вслед:

— Возвращайся, Лёшик!

На улице Христина попросила аспирина.

— Что с тобой?

— Ничего. Просто я весь день сегодня пью. Голова разболелась. Едем?

— Едем.

Усевшись за руль, Лёшик достал из аптечки аспирин, а из бара воду. Христина выпила. Машина тронулась.

— Что с тобой? — снова спросил Лёшик, припарковавшись у бокового входа на Кофейную башню.

— Не беспокойся обо мне, Лёшик, не надо. Если что-нибудь случится, ты узнаешь. Только не

сегодня. Потом.

Христина уже открыла дверцу, но Лёшик взял её за руку:

— Твои ещё не спустились.

— Не твоя забота. Спасибо за аспирин. Тебе пора.

Христина вышла, с силой толкнула бесшумную дверцу и помахала с тротуара рукой. Машина сдала назад и свернула в проулок. Оставшись одна, Христина снова закурила, достала трубку и позвонила папе.

— Алло, Андерс, это Христина. Я не приду. Знал? Но на ужин я тоже не приду. Вот и славно. Вы ещё на башне? Хорошо. Целуй лягушек в холодные щёки. Потом расскажу. Я вас тоже. Счастливо!

Христина курила, стоя на краю тротуара. Её немного штормило, немного тошнило, немного ломило в виске, а она смотрела на тёмное небо. Вот-вот должны были вспыхнуть фейерверки. Христина ждала.

— Здравствуйте! — услышала она сзади высокий женский голос, обернулась и оказалась лицом к лицу с блондинкой, которую раньше приняла за поклонницу Айры.

— Вы ведь Христина? А я Александра — сестра Анно.

Над головой сестры Анно распустились в тёмном небе призрачные цветы фейерверков. Девушка в быстро увядающем звёздном венке взглянула вверх и предложила:

— Спустимся в Городской сад?

Христина кивнула. В горле только судорога и горечь. Она даже не поздоровалась. Сестра Анно в ореоле огней представилась Христине Ангелом Мщения: строгий профиль, большие, прозрачные, как стекло, глаза, длинные светлые кудри. Возмездие за тот вечер, когда суховатый Анно смотрел на Христину через отблёскивающие стёкла очков, пока рассказывал об эмиграции. А потом снял очки, близоруко поморщился, потёр пальцами переносицу. Христине вдруг стало до боли жалко всех разбросанных на восток и на запад неприкаянных, ненужных людей. Так жалко...

21.40

Чугунные птицы на невысокой решётке сада. Несколько комочков снега на земле у ворот. Шахматные дорожки. Низкие скамейки на тяжёлых чугунных ногах. Нагие тёмные деревья. И чернильное небо, по краям замысловато исчерченное ветвями. Фейерверк закончился. Две зябкие фигуры в холодных влажных сумерках дошли до половины пути.

Сначала блондинка говорила через паузы, подбирая слова. Потом её речь полилась как заученная.

— Вы знаете, — говорила она, — как сложны и опасны мужские аборты. Анно едва исполнилось восемнадцать. Он всё рассказывает мне как старшей, но на этот раз мне пришлось на него нажать. Я сказала, что он обязан со мной посоветоваться. Ведь спросить совета — значит проявить доверие. Он просил меня не вмешиваться, но я не могу сидеть сложа руки. Моё мнение на этот счёт таково... — блондинка повернулась к Христине. — Я потом выслушаю и ваше мнение тоже, но сначала дайте мне закончить.

Христина в очередной раз угрюмо кивнула. Она и не собиралась перебивать сестру Анно. И своё мнение высказывать тоже не хотела. Сначала она вообще думала, что они с Анно разберутся вдвоём, и если будут умны, то никто ничего даже не заподозрит. Несмотря на то, что до сих пор они умны не были. Но когда его сестра предложила встретиться, всё рухнуло. Что толку делиться мнениями и выяснять, кто прав, кто виноват, когда... «Прощай, Валь», — с грустью подумала Христина.

— Моё мнение на этот счёт таково, — продолжала тем временем сестра Анно, — вы как честная девушка должны выйти за него замуж.

«А почему это я — честная девушка?» — хотела спросить Христина, но вместо этого неуверенно, тихо сказала:

— Я ещё не окончила школу.

— Ну и что? — спокойно возразила сестра Анно и почему-то вдруг перешла на «ты». — Школу ты окончишь к следующему лету. Тогда же назначим свадьбу. А пока достаточно будет помолвки.

— Не надо за меня думать, — попросила Христина.

— В смысле? Ты хочешь сказать, что не выйдешь за Анно?

— Я ещё не решила.

— А что ты решила? Поматросить и бросить? — грубо сорвалась блондинка и из Ангела Мщения превратилась в наёмного мстителя.

На длинной аллее под потускневшим небом без звёзд их было только двое. И одна за другую уже всё решила. Христине стало страшно. Как пловец в штормовом море, она запретила себе бояться и заговорила. Звук её голоса от волнения хрипел и срывался.

— Анно красивый, молодой... Он на любой может жениться... Но он ещё школьник. Вы живёте с родителями? Я тоже. Мы никогда не платили за свет и за телефон, не умеем готовить, я... Какая из меня жена? Он будет счастливее без меня. В Родинке лучшие гинекологические клиники. И мои родители...

— Перестаньте! — эхо разнеслось по парку, уснувшие птицы проснулись и, хлопая крыльями, сорвались с веток.

— Что? — жалобно прошептала Христина.

— Перестаньте! — уже тише повторила сестра Анно. — Он оставит ребёнка. Это решено. Пусть это будет только его ребёнок.

— Я не буду отказываться от отцовства, — промямлила Христина.

— А о чём вы только что говорили? О плате за телефон и о счастье? Анно носит вашего ребёнка. И все ваши отговорки звучат низко. Да, он сумеет быть счастлив и без вас, но вас это не оправдывает. Вы поступаете не по-женски. Да и не по-мужски. Не по-человечески. Подло как-то. Но если вы этого не понимаете, то надо ли и объяснять?!

— Значит, только брак? Без компромиссов? — с отчаянием заговорила Христина. — Aut Caesar, aut nihil...

— Можете умствовать, если хотите. Если вам легче спрятаться за чужими фразами.



«Начинается блошиный цирк, — с сожалением подумала Христина. — Уж если ты праведный Ангел Мщения, ты не грызи по мелочам. У тебя же Огненный меч в руках! Не можешь подобрать ко мне отмычку? То ты надменно вежлива, то груба. То сверкаешь очами, как Эвменида, то кусаешь, как блоха. Комедиантка...» — испуг совсем прошёл. Осталась только тоска.

Они миновали тёмную аллею и вышли к реке. Вдоль набережной горели фонари, и тени от двух фигур то вырастали у них из-под ног, то скукоживались, таяли и вдруг оказывались позади. Тени метались. Наверное, спорили о белокурое Анно. О высоком бледном юноше с голубыми близорукими глазами, который сейчас пьёт пиво в «Шарашке». Может быть, играет с Лёшиком на бильярде. А может, сидит за стойкой рядом с Клавдией, расстегнув длинную шинель и поблёскивая стёклами очков. Сидит на месте Христины. Знает ли он, что сестра уже всё за него решила? Знает ли он, что сказать завтра Христине, или только хочет спросить: «Что теперь?»

— Я замёрзла, — сказала Христина.

Блондинка ничего не ответила, только прибавила шагу. Очень скоро, поднявшись по длинной, широкой лестнице, они снова оказались в потоке жизни.

— По кофе? — робко предложила Христина.

— Без меня, — ответила сестра Анно. — Мне больше не о чем с вами разговаривать. — Она отвернулась и ушла. Просто смешалась с толпой.

Христина толкнула дверь, увидев за стеклом стойку, подошла к ней, не вынимая рук из карманов, сказала: «Грог»!

21.45

Зачем только эта девушка, Александра, сразу накинулась? И зачем она говорила, что выслушает моё мнение, когда её от всех моих слов кидало в ярость? Получается, говори то, что думаешь, но думай, как я. Ночь, путь до реки, шахматный тротуар, кабак какой-то... Что мне это напоминает? Где это было? Что это была за блондинка? И вот ещё: чем это в тот раз кончилось? Всё уже когда-то с кем-то было и чем-то кончилось. Кончится и в этот раз. Почему я не сказала ей о Вале? Сказала бы, что у меня есть другой... И не сказала бы, что, как только он всё узнает, его у меня не будет? Бедный Валь. Я уже сняла тебя с баланса. (Христина пила грог, согревалась, и мысли её становились спокойнее.) Надеюсь, ты обидишься достаточно сильно, чтобы не сделать мне сцены. Какая пошлая история: она его соблазнила и не вышла замуж. Просто романс! Ах, на окраине городка жил бледный юноша с прозрачными глазами. Дитя душой, дитя годами, невинен был и чист. Но встретила она. (Душещипательный проигрыш.) Она пила коньяк, курила и смеялась, она в него влюблённой притворялась. Но то была коварная игра. (Трагический аккорд.) В ненастный вечер тот они в лесу гуляли. Предчувствие томило грудь его. И не напрасно: бросив одного, она с другим ушла. (Снова проигрыш.) Идут года. Ребёнок подрастает. Но, ах, увы, он матери не знает! (Трагический аккорд, а лучше даже два.) Не знает и отца... Он умер от тоски. О, пусть злодейку небо покарает!

— Ещё грогу, — сказала Христина бармену, развеселившись от собственного экспромта.

Люди не меняются. Пусть они научились за час облетать земной шар. Пусть с пультом домашнего управления они могут стирать, убирать, готовить, гладить, не вставая из кресла. Пусть они могут даже отправиться при этом в джунгли, всего только надев очки и наушники. Пусть они меняют климат планеты, свой облик и пол, плодятся любыми способами... Всё

равно. Они сидят в стенах собственных страхов и условностей, как древние египтяне. Что хорошего, в сущности, они придумали, кроме Бога и презумпции невиновности? Но Бог наплевал на них. А они сами наплевали на презумпцию. Всё это тривиальные мысли. Да и при чём тут презумпция? Она свою вину признаёт без доказательств.

Христина с кисло-сладкой усмешкой посмотрела на бармена. Он давно уже втихомолку поглядывал на неё. Она кивнула: «Что?» Бармен на мгновение изобразил ртом улыбку и мотнул головой. Христина приподняла брови. Мол, как хочешь. Тогда бармен передумал, подошёл и признался, наклонившись над стойкой:

— Я давно за вами смотрю.

— Вы детектив? Психолог? Или нравлюсь?

— Нравитесь. Я поэт. Я смотрел, как меняется ваше лицо. Завораживает.

— Напишите с меня «Незнакомку»?

— Предпочту познакомиться, — улыбнулся бармен.

— Все поэты таковы!

— Не все. Только плохие. Ещё грогу?

— Конечно. Хотя я уже захмелела. Впрочем, я захмелела с утра. С тех пор не могу ни протрезветь, ни напиться.

— Хотели бы напиться?

— Меня и без того блевать тянет, — призналась Христина.

Бармена слегка передёрнуло. Но он быстро справился и затянул профессионально, речитативом:

— Рекомендую закусить. Сосиски: свиные, куриные, рыбные, вегетарианские; в тесте, жареные, варёные, в горшочках, с грибами, с луком, с хреном...

— Ладно, — прервана Христина, — давай этот чёртов луковый хрен и сосиску, с каким хочешь запахом, а лучше и без запаха вовсе. Кстати, из чего вы варите кофе? Из цикория или из жареной морковки?

— Я так сварю, что вы от настоящего не отличите, — резво заявил бармен и скромно добавил: — Я умею.

Он отвернулся и стал колдовать у бар-компьютера. Христина улыбалась безмятежной хмельной улыбкой. Щёки её горели. Она думала: как странно, бывают дни длиннее года или даже нескольких лет. В эти дни всё меняется. Встаёт с ног на голову. Голова больше не болела. В баре играла музыка. И всё казалось ерундой. Как можно всерьёз думать об этих чёртовых блондинах? Обсуждать брак, не произнося ни слова не то что о любви, но даже о симпатии. От денег сестрица отказалась так оскорблённо, что всех птиц в парке перебудила. Потом дёргалась всю дорогу, срывалась, ушла не простившись. И таким способом она набивается в золочки? Вряд ли. Что же она тогда хотела? Зачем этот брак без любви, без расчёта? Из-за ребёнка. Но как можно позволить одному нерождённому маленькому человечку испортить жизнь двум большим живым людям? Или я рассуждаю не по-женски?

Вернулся бармен.

— Ваш кофе, мэ. Меня, вообще-то, зовут Христофор.

— А-а-а! Очень польщена знакомством. А я — Мария-Магдалина.

— Ваш ужин, Магдалина. Меня на самом деле зовут Христофором.

— Меня тоже никогда не зовут без дела, — сказала Христина, расчленила вилкой сосиску и принялась возить её в хрене.

Помолчали.

— Почитайте свои стихи.

— Ни за что. Я плохой поэт — никому своих стихов не читаю.

— Ни за что? Готова поспорить, что мы сторгуемся.

— Поцелуй за строчку, — по-деловому предложил бармен.

— Сомневаюсь, что вы станете со мной целоваться после того, как я попробовала вашей стряпни, — невозмутимо ответила Христина, отправляя кусок сосиски в рот.

Бармен проследил путь вилки. Посмотрел на месиво неопределённого цвета, припахивающее уксусной кислоткой. На жующий рот. И с сожалением проговорил:

— В другой раз...

— Другого раза не будет! — Не очень-то учтиво, но очень уверенно заявила Христина и вдруг перестала жевать. — Слышишь? Что это?

— Гром, как будто... — недоумённо предположил бармен.

Тёмное небо за стеклянными дверями на мгновение озарилось электрическим синим светом.

— Гроза, — без интонации констатировала Христина и отпила кофе. — Будет град или просто дождь?

— Осадки, — зло сказал бармен. — Как вместо мужчин и женщин у нас есть некое народонаселение, а во множественном числе — потребители, и в единственном — электорат. То же самое и с осадками.

— Да, — задумчиво отозвалась Христина, — а ведь я про кару небесную как будто в шутку подумала.

— На кого кара?

— На меня, — Христина посмотрела ему прямо в глаза, в упор. — Грехи молодости — знаешь, что такое?

Глаза бармена стали испуганными, недоверчивыми, и он их потупил. Потом заговорил, непонятно, обращаясь к ней или в пустоту.

— Все и вся притворяются не собой. Кофе из морковки. Кофеин в капсулах отдельно. Пиво безалкогольное, зато кока-кола от трёх до двадцати градусов. Искусственное оплодотворение. Синтетическая кровь любой группы, на розлив... — бармен взглянул на Христину испытующе и продолжал, обращаясь теперь именно к ней: — Эта стойка с позолотой, как ты понимаешь, из металлопластика. Ничто не хочет оставаться собой.

— Да ты и впрямь поэт! — вместо ожидаемого признания похвалила Христина.

— Я соврал, — сердито сказал бармен. — Я не пишу стихов.

— Это не важно. Не все же поэты пишут стихи, — утешила Христина, доставая запищавшую в кармане трубку: — Христина. А который час? Догадываюсь, что не рано. Конечно зайду. Как будто, нет. До скорого, Андерс.

— Тебя кто-то ждёт?

— У Патриота консервы кончились.

— Ты его так называешь?

— Нравишься ты мне, Христофор! Кого его?

— Нравишься, это значит нравишь себя. Я действительно хочу себя тебе понравить. Получается?

— Не знаю.

Снова раздался гром. И небо, в который раз за этот день, озарилось сначала с одной стороны, потом с другой. Гроза взяла Родинку в кольцо. Христина торопливо допила кофе. Встала, застегнула курточку. Махнула рукой Христофору.

— Ты промокнешь, — сказал он.

— Как промокну, так и высохну, — бросила она и пошла к выходу.

— Магдалина!

Христина обернулась.

— Возьми меня с собой.

«Только тебя мне ещё не хватало для коллекции», — грустно подумала Христина, а вслух сказала:

— Прости, Христофор, но зачем ты мне?

И решительно вышла, хлопнув дверью пустого бара. За порогом подумала, что жестоко это, пожалела, оглянулась. На стеклянных дверях прочла: «Кофейня „Валгалла“». Прочла и пошла прочь. Не стала возвращаться.

23.50

Было темно и тепло. Наверное, плюс двадцать пять по Цельсию. Осадки весьма походили на дождь. Христина шла по шершавой, впитывающей воду плитке. Широким шагом, заложив руки в карманы. Мимо домов, покрытых дождевыми потёками, как трудовым потом. Домов, вырастающих из темноты при вспышках молнии, а потом на мгновение исчезающих вовсе. Кроме слабо светящихся витрин. Сколько Христина себя помнит, ни один маркет никогда не закрывался на ночь. Даже паршивая лавка скобяных товаров. Впрочем, Христина шла к центру, и витрины по обе стороны дороги сияли всё ярче, становились всё больше. На одной из них пушистые разноцветные котята карабкались на крупного кота с пошлой мордой. Надпись внизу гласила: «С 12 июня, папочка!»

Христина толкнула высокую дверь. Дверь мякнула. Мимо стеллажа с бесплатными рекламными образцами. Мимо Великой китайской стены консервных банок. Мимо книжных стендов, стендов с игрушками и с кошачьей одеждой. Христина подошла к прилавку. Длинному и белому, как лыжная трасса. Навстречу ей с другой стороны из кресла встал селлер. На селлере надета полосатая куртка и такая же шапочка с ушками. Этот пухленький розовощёкий котик показался Христине ребёнком, наряженным к рождественской ёлке.

— Ливер нарезной в вакууме, — попросила Христина, — и две банки кошачьей «амброзии».

Когда селлер заговорил, Христина подумала, что ошиблась. Что это никакой не ребёнок, а скорее травести.

— Ливер есть «с кровью» и есть «нежнейший», вам какой?

— Только без крови, — кисло поморщилась Христина.

Интеллигентный Патриот похож на хищника не больше беззубого очкарика, шамкающего паровую котлетку. Христина даже вполне допускала, что при виде мыши (не компьютерной, а настоящей) Патриот упал бы в обморок.

— А «амброзию» для какого возраста? — спросил селлер, грациозно приподнявшись на цыпочках и шаря по полке большой рукой.

«Нет, — подумала Христина, — это не травести, а чистый голубчик».

— «Амброзию» из рыбных костей, — сказала она громко.

Теперь селлер поморщился и поправил:

— «Золотая рыбка».

— Конечно. Конечно, «Золотая рыбка», как же ещё! — поспешно подтвердила Христина.

Селлер сложил покупки в огромный пакет и передал его через прилавок в комплекте с дежурной улыбкой.

— Возьмите, пожалуйста, на выходе одноразовый клозет.

Христина тоже улыбнулась: «Спасибо» — и пошла по бесконечно длинной полосатой же дорожке к выходу. Смотрела под ноги, перед полкой с рекламой не остановилась. Дверь за нею мякнула.

Дождь ещё не кончился, но гуляющие все как один шли без зонтиков. Чем ближе к центру, тем сильнее чувствовался праздник. Огни, музыка, смех. Христина вошла в дом через парадное, с улицы. На крыльце целовалась какая-то парочка. Одна из девушек обернулась к ней спросить, который час. Христина неопределённо ответила, что, наверное, уже за полночь. Девушки вернулись к своему занятию, а Христина взялась за ручку двери, была опознана «центральный домашним» и впущена внутрь. Поднимаясь по квадратной спирали лестницы, она расстегнула курточку, достала пульт домашнего управления и послала сигнал: «Пришла. X».

Андерс ждал в холле, подпирая плечом косяк. Патриот сидел у его ног. В квартире было тихо, только где-то далеко, за множеством приоткрытых дверей, едва уловимо, монотонно шумел какой-то прибор.

— Что это? — спросила Христина, отдав папе пакет и переобуваясь.

— Айра чистит у тебя воздух. Ты оставила окно открытым.

Христина улыбнулась.

— Осталось что-нибудь вкусненькое?

— Мы и половинки не съели. Но ты же сказала, что не голодна.

— И не сыта. Я надкусила сосиску. А это так же бесполезно, как и безвредно.

— Тогда вооружайся, идём на сафари в холодильник. Тебе, кстати, Модест звонил.

Андерс развернулся и пошёл первым, за ним прихвостился Патриот, последней брела Христина. Она окликнула папу:

— Андерс...

— М-м-м? — спросил он через плечо.

— Сейчас я как-то особенно тебя люблю.

— Спасибо. А что произошло?

— Может быть, я выйду замуж.

— Потрясно. За Валя?

— Нет. Будет скандал. Валь назовёт меня белогвардейской сволочью и останется праведным, но одиноким. Так ему и надо.

— Тебе не жалко?

— Нет.

— А за кого замуж?

— Я не знаю, кто он такой. Его зовут Анно.

— Зачем тебе?

— Он ждёт от меня ребёнка.

— Ясно, — сказал Андерс, на минуту задумался, потом спросил. — Ну и что?

Христина пожала плечом: мол, понятия не имею «что», но...

— А ты сможешь его полюбить?

— Андерс... Я не уверена, что смогу сделать вид, что...

— Я о ребёнке.

— А-а... — неопределённо протянула Христина и ничего больше не добавила.

— Мы могли бы поговорить. Я, ты. Айра, Лю, Анно, его родители.

— Ересь всё это! Я сама приму решение. И когда я это сделаю, мне станет плевать на всех родителей в мире, прости за откровенность. Я всех вас очень люблю. Но это моя жизнь. И она не тема для круглого стола.

— Пусть, — согласился Андерс. — В любом случае я на твоей стороне.

— Спасибо, папа, я знаю.

Они вошли в кухню и стали копаться в холодильнике. Папа держал поднос, а Христина складывала на него всё, на что глаза глядели. Кое-что пришлось греть. Но в итоге и горячее, и холодное было свалено на одной тарелке. Огромный кусок воздушного торта, опасно накренившись, подрагивал на другой. Чёрная бутылка с бальзамом задевала рюмку, и та отзывалась слабым звоном. Христина поднималась к себе. Папа сказал, что его можно найти в кабинете, если понадобится. Никто в их доме не ложился спать раньше двух ночи. Даже Лю до двух спала в кружевных юбках, в кольцах и серьгах, обложившись раскрытыми журналами и бутербродами. В два она просыпалась, выключала телевизор, переодевалась в ночную рубашку и укладывалась в постель. Христина прошла мимо её комнаты, мимо неплотно закрытых дверей малой гостиной и пнула свою дверь. Айра сказала на вдохе: «А-х!»

— Не пугайся, ма, это я.

— Привет, ангелочек, где тебя черти носили?

— Только не говори, что ты переживала.

— О чём?

— О чём, ком. Предложный падеж. Как прошёл ужин?

— Строго по сценарию. Ты расстроена?

Христина поставила наконец поднос на стол, рядом с клавиатурой и некоторое время стояла молча, опустив голову и руки. Потом очнулась, пожала плечом. Айра подошла сзади, погладила её по волосам, сказала, что всё образуется или что всё будет хорошо, Христина не расслышала. Она в этот момент внезапно осознала, что никогда уже ничего хорошо не будет. Что этот рай, в который она пришла, как к себе домой, уже не существует. И это тем ужаснее, что снаружи всё кажется как прежде. Как свет звезды, которая погасла.

— Mam, выпьешь со мной?

Айра посмотрела в лицо дочери и сказала, что выпьет. Она вышла в малую гостиную за рюмкой, вернулась, выключила кондиционеры. Христина разлила бальзам. Обе дегустировали стоя. В полной тишине. Айра не выдержала и сказала:

— Модест звонил. Поздравил нас с Христофоровым днём.

— Вот как!

Христина плюхнулась в кресло, положила руки на клавиатуру, вышла в Интернет. На мониторе возникла физиономия дяди Модеста. С неизменным уже много лет глумливым и самодовольным выражением. Сейчас он был на сафари в Африке. Загорел, как негр. Светлая рубашка без рукавов теперь особенно ему шла. Христина выслушала оставленное «до востребования» поздравление и чертыхнулась. Дядя Модест на экране вмиг поменял рубашку.

— Вот уж не думал на тебя наткнуться! — сказал он в живой связи. — Как поживаешь, кочерыжка?

— Я убью тебя! — весело ответила Христина.

— Я сам кого хочешь убью, — сказал дядюшка, затягиваясь сигарой.

На подлокотник Христининого кресла уселась Айра. Они с Модестом поприветствовали друг друга: «привет, бродяга» — «здорово, Рыжая». К Христине против ожиданий и против воли вернулась бодрость духа. Она неожиданно для себя бесшабашно заявила дядюшке, что от неё тут «залетел» один кретин. И его сестра теперь хочет, чтобы она, Христина, вышла за него, кретина, замуж. Айра засмеялась. То ли не поверила, то ли не поняла.

— Пошли их в задницу с наилучшими пожеланиями, — сказал Модест.

— Тебе легко говорить. Твоих детей сосчитать — пальцев не хватит.

— Хватит, если считать сотнями. Но я всегда точно знаю, в каком направлении эту армию отправить. Делюсь секретом бесплатно. По-родственному.

— Чему ребёнка учишь, старый кот!

— Я? Кочерыжка, разве я тебя научил мальчиков портить?

— Дядя Модест, этот мальчик старше меня и выше ростом. К тому же какой он, к чёрту, мальчик, если он беременный!

— Развели педофилию у себя в Родинке, а сами даже толком в задницу послать не умеете.

— Модест! — с деланной строгостью одёрнула Айра. — Сейчас ты убедишься в обратном.

Она посмотрела на Христину.

— Это правда, солнышко? Кто он? Это не Валь?

— Так ты не в курсе?! — закричал дядюшка на весь Интернет.

— Теперь уже в курсе, — важно сказала Айра. — Какой срок?

Христина задумалась.

— Около месяца, наверное.

— Дело поправимое.

— В том-то и штука, что нет.

— Пнуть его в живот, будет поправимое, — посоветовал дядя Модест.

— Живодёр! — ужаснулась Айра и посмотрела укоризненно.

— Тогда как хотите. Брак — дело добровольное. Хочешь — вступи, не хочешь — расстреляем. Но, если что, звоните. Я вашему эмбриону беременному и всему его семейству сделаю аборт без хирургического вмешательства, даже по телефону. Поздравляю вас, отцы-командиры, с днём матери-мужчины. Адью.

— Адью... — сказали обе в голос монотонно-синему экрану.

Модест исчез, но молчанию, которое царствовало здесь до него, уже не было места в комнате. Айра потянулась за бутылкой и ещё раз наполнила рюмки. Они сидели в одном кресле, ели из одной тарелки, пили и лениво переговаривались.

— Стинни, а ведь мужчины так легко не беременеют, как женщины.

— Думаешь, блефует?



— Не знаю. А может, он специально «залетел»?

— Зачем?

— Ну, может быть, он тебя любит. Он тебе не говорил?

Христина замотала головой.

— Нет. Я не думаю, чтобы он меня любил. Разве он тогда стал бы меня мучить? Я не знаю, зачем я ему. Правда не знаю...

02.25

Все уже спят. Патриот сидит в кресле и замороженно смотрит на монитор. Там по-прежнему светятся слова недописанного сочинения, о том, что когда-то «жили-были Андерс и Айра, их дочь Христина и её кот Патриот»...

Об авторах

(а вернее, авторы о себе)

Ирина Бахтина

(Дополненное собрание фрагментов автобиографии)

Как я родилась

Родилась я 24 сентября 1972 года в Красноярске. И, подобно Печорину, считаю этот факт своей биографии величайшим несчастьем своей жизни. Было утро, без четверти девять. Я увидела восход солнца, но не узнала его.

Торжество солипсизма

В детстве, когда я закрывала глаза, становилось темно, потом я их открывала и видела много всего красивого и яркого. И думала: если Я не открою глаза, сколько красоты пропадёт!

О любви к пиву...

«Я» тогда ещё не было, была Иа. Дедушка всегда давал ей попробовать из своей кружки, если пил пиво.

Но тут вернулась мама с сессии. Иа «засветилась», громко троекратно прокричав при виде нарисованной пенящейся кружки: пибо! пибо! пибо!

А досталось-то дедушке.

...И табакокурению

Другой дедушка разрешал мне затануться, когда курил. Ну и «р» я научилась выговаривать на слове «сигареты». Вторым словом стало «папиросы», а всякие там глупые «рыбы» и «ракеты» исполнялись уже по заказам родственников.

Как я познакомилась с Еленой Мальченко

Один раз (было это уже в 1984 году) подошла ко мне моя школьная подруга и говорит:

— Сегодня мы остаёмся в школе после уроков. Я познакомилась с одной девочкой, она пишет роман. Она согласна взять нас в соавторы.

С самого раннего детства и до той поры я полагала, что романы пишутся так: подбирают томик с определённым количеством страниц (смотря какой длины роман), на титульном листе пишут название и собственное имя, а на первом листе: том I, часть I, глава I. Поэтому, когда юная романистка достала из портфеля тетрадку, на обложке которой значилось: Елена Мальченко, «Крылатый конь Пегас», а на первой странице сверху: том I, часть I, глава I, я ахнула. Дожила ведь таки, вижу воочию живую писательницу и настоящую рукопись.

Примечание 1: о Пегасе в этой рукописи не было упомянуто.

Примечание 2: Больше за 10 лет в школе не произошло ничего примечательного.

Как я стала театралкой

Тому было много предпосылок. Но до октября 1986 года я любила театр только из зрительного зала. А в тот роковой год мы с упомянутой Еленой Мальченко пришли во Дворец пионеров и школьников и записались в студию с борзым названием «ТЮЗ». Между собой она называлась «ЗЮТ». Потом она стала называться «Театр на нервах». Потом вообще перестала называться, потому что перестала быть. Но театр это не прививка от оспы — одним шрамом не отделаешься.

Как всё изменилось

8 ноября 1987 года мы пошли всем ТЮЗом за город. Пошли по путям и попали под электричку. Не буду вдаваться в подробности, но лично я с тех пор хожу на протезе.

Почему я не комплексую

Разумеется, мне бы очень хотелось покомплексовать. Но как только я начинала своим протезом кичиться, меня спрашивали: ну и что? И скоро отбили охоту.

Было это в Ленинградском институте протезирования в 1988 году. Главного героя главы по сей день зовут Евгений Соломонович Креславский. Тогда он был детским психологом. Кстати, он же мне впервые сказал, что я — мужественный человек. А потом все как сговорились...

О таланте

Ну не взяли меня в актрисы. Но ведь и в космонавты тоже не взяли.

Как я была замужем

«Раньше сядешь — раньше выйдешь», — решила я и вышла замуж в 18 лет. Спустя три года мы расстались, спустя ещё два — оформили это официально. Теперь, если кто-нибудь назовёт меня старой девой, я покажу ему паспорт с двумя штампами.

Как я перестала беспокоиться

Когда в очередной раз на меня напал маньяк, я сильно разнервничалась. Я стала просыпаться по ночам и думать, что вот я лежу в постели, пока в мире каждую минуту...

Тогда-то мне и попалось бессмертное руководство Карнеги к жизни. Через пару недель я совсем перестала беспокоиться. А вот жить так и не начала. Может, стоило дочитать до

конца?

Как я училась в университете

Идёт старый Абрам по улице. Встречает родственников.

Они ему:

— Как здоровье?

А он им:

— Не дождётесь!

Так и я. Сколько ни спрашивали у меня друзья: «Как учёба?» — университет я всё-таки окончила. И мне выдали «корочку», в которой написано: «филолог-преподаватель». Это единственный случай, когда я видела анекдот, оформленный в отдельную книжку, да ещё в твёрдом переплёте.

Как я изучала китайский

Такой забавный язык! Матернёшься ненароком, всегда оправдаешься: говорю по-китайски.

Один раз я сломала протез

Случайно. Дело происходило в Сочи. Протезка там за рынком, на улице Роз (!). Раньше в ней работали незнакомые мне люди, а теперь они мои друзья. Я их очень люблю. Иметь друзей гораздо лучше, чем 2/3 левой голени.

Поверьте на слово.

У меня была машина...

Я её разбила. Моя была «Таврия», а другая была «тойота». Вечером 9 октября 1995 года, выбравшись из останков моей единственной в жизни собственности, я спросила у водителя «тойоты»:

— Это мы с вами столкнулись?

Он сказал:

— Да.

Я сказала:

— Извините.

А мой брат сломал в этой аварии средний палец на левой руке. Ему этот палец загипсовали. Вы представляете!

Как я была влюблена

Всё началось и кончилось в апреле...

Я плачу. Неужели?

Примечание: В другие месяцы «всё» происходило по тому же сценарию. Может быть, именно этот эпизод не стоил бы упоминания, но... совсем без любви тоже нельзя.

Как я приобщилась к журналистике

Выхожу я из отпуска. На дворе трескучий мороз. На работе не трескучий, но тоже не месяц май. А мой начальник тогда и говорит:

— Издадим-ка мы журнал нашего Межнационального центра, а вас назначим ответственной, можете приступать.

— Что вы, Владимир Викторович, — отвечаю, — я не справлюсь.

— Да вы с чем угодно справитесь, — уверил он.

И всё заверте... А остановиться уже не может. Вероятно, оттого, что журнал, любовно названный «Источником», никогда не был раскритикован (он так и не вышел в свет).

Примечание: Владимир Викторович Коновалов, к сожалению, больше не мой начальник.

Иногда думаю: решил бы он, что Межнациональному центру надо лететь в космос, — быть бы мне космонавтом. Доверял. Соответствовала.

Осеннее

Как-то вечером идём мы с Еленой Мальченко по улице, а она мне и говорит:

— Не написать ли нам роман?

— Отчего же, — говорю я, — и не написать?

Сказано — сделано. Роман мы не написали. А вот бумаги испортили...

Как я пришла в семинар

Я обула ботинки, надела шубу, повязалась шарфом и пришла по известному адресу. Я подошла к двери, внимательно на неё посмотрела, убедилась, что заперто, спустилась на несколько ступенек вниз. Тут мимо меня прошагал Андрей Лазарчук.

Я сказала:

— Здравствуйте, это я.

Он сказал:

— Заходите.

Мы вошли в редакцию и тогда познакомились.

Как я стала безработной

Нет больше в мире того кабинета, где мне нужно сидеть с девяти до шести.

Как я чуть не стала лютеранкой

Я много кем не стала. Не смогла.

Как я познакомилась с Дмитрием Борисовичем Пирадовым, редактором «Красноярской недели»

В то время я воображала себя театральным критиком (мне и свидетельство об том дали), а в Красноярске происходил фестиваль кукольных театров. Написать шибко хотелось,

опубликовать ещё шибче. Но ни в одной газете в моих услугах не нуждались, кроме... «Красноярской недели». Дмитрий Борисович — друг молодёжи. Правда.

Как я перестала быть безработной

Того кабинета по-прежнему нет. Сажу в чужом. Ну и хватит о грустном.

Как обо мне позаботился Сергей Ятмасов

Добрейшей души человек. У меня теперь есть E-mail:

bahtinal@krk.ru

О чём я вам с радостью сообщаю.

Карина Шаинян

Я не сильна в хронологии и постоянно путаюсь в датах. География кажется мне намного надёжнее. Вот места, где со мной происходило важное:

Грозный. Там я родилась в 1976 году. В Грозном жили мои бабушки и дедушки, и я приезжала к ним почти каждое лето — до 1991 года. Там мне показали первые аккорды на шестиструнной гитаре.

Оха, север Сахалина. В Охе я жила почти с рождения и до шестнадцати лет. Училась играть на скрипке. На всю жизнь полюбила бродить по тайге (а также лесотундре, джунглям и прочим горам и сопкам). Дурила друзей (и себя заодно), придумывая про живой лес и странности, которые в нём происходят — и проникают потихоньку в город. До сих пор не уверена, что врала. Много и бестолково рисовала. Училась в классе с физико-математическим уклоном. Работала в геологической партии на полуострове Шмидта — «за козлётка». Закончила школу в 1993 году.

Хребет Иолго, Горный Алтай. Впервые я попала туда случайно — в 1998 году подвернулась путёвка в конный поход. Съездила и поняла, что бродить верхом по горной тайге две недели мне мало. И туристкой быть — мало. Что я хочу быть там своей и знать эту жизнь изнутри. С 2001 года работаю там каждое лето. Могу кормить туристов, могу водить их по маршруту, могу обкатывать молодых коней. Но чаще — кормлю. Едой и баснями.

Эквадор. В 2002 году я сунула в рюкзак зубную щётку и пару футболок, села в самолёт и через сутки оказалась в Кито, в гостях у виртуального знакомого. С ним я объездила всю страну — такая у него была работа. Анды и автобусы, туристические центры и глухие индейские деревни, амазонская сельва и болотная духота Гуаякиля. Но больше всего, кажется, было автобусов. В Эквадоре моя робкая влюблённость в Южную Америку превратилась в бурный роман, который продолжается до сих пор.

Танзания — там я залезла на Килиманджаро. До сих пор не понимаю как.

Москва — здесь я живу с 1993 года. Здесь влюбилась в лошадей и научилась ездить верхом. Не слишком старательно пыталась стать геологом. Была вокалисткой рок-группы с сильным уклоном в панк, просуществовавшей пару лет в моей голове и целую неделю — в реальности. Написала первый рассказ, съеденный взбесившимся винчестером. Закончила факультет психологии МГУ. Поработала школьным психологом. Написала второй рассказ и через пару лет обнаружила, что пишу почти постоянно — и даже публикуюсь.

Юрий Гордиенко

Что же это за человек такой?

По-разному. Для кого-то — вечно улыбающийся с картинки в Живом Журнале Рыбачка Соня на берегу Днепра, в обнимку с друзьями. Он же — грустный взгляд с Росконовской фотки, уже после травмы. Они ведь, заразы, бесследно не проходят. Только вот грусть эта — по-любому светлая. И взгляд у него такой, люди говорят — светлый, хоть весёлый, хоть грустный.

А вообще-то Юрка — романтик и поэт. В принципе больше ничего и объяснять не нужно, но пусть хотя бы сделает попытку прояснить — откуда и почему.

«Родился я в самый разгар лета 1972 года, на Украине, в маленьком, красивом, зелёном, а главное — очень молодом городе Комсомольске-на-Днепре. Как видно из названия — очередной комсомольской стройке, куда мои родители, как и положено, приехали по комсомольской же путевке.

В принципе немаловажным в моей биографии является тот факт, что роддом, да и вообще городская больница в Комсомольске находится прямо в сосновом лесу. И если вы спросите, где я родился, я могу смело отвечать — в лесу.

А ещё я — человек Реки, потому что до сих пор предпочитаю морям разных расцветок тихие чистые заводы Днепра или песчаные пляжи впадающего рядом с родным городом Псла. Когда попадаю на родину, конечно.

Уверенно читать начал в три года, причём тут же получил первое в своей жизни общественное поручение — читать детям в детсадовской группе сказки. Затем, уже в старшей группе, умудрился накормить других детей плодами вьюнка, вполне убедив их, что это фасоль. А заесть ягодами какого-то другого декоративного цветка. Всё обошлось без жертв, но марганцовку кружками внутрь помню до сих пор. Как говорила потом моей маме методический работник, „в общем, парень у вас шустрый“.

Первое стихотворение написал в школе, в первом же классе, а первый рассказ — понятно, юмористический (откуда иначе вполне одесское „Рыбачка Соня“?) — в третьем.

Запоем читал все доступные книжки — из детской библиотеки скоро стали выгонять, мол, „иди, мальчик, летом приходи, с мамой“. Ходил с родителями во взрослую. Чаще всего читал фантастику и сказки. Хотя немало попадалось книг о полководцах, путешественниках. Много — о войне.

Ходил в кучу спортивных секций и кружков, особо нигде не задерживаясь до старших классов. Пока не стал туристом. Как, вы не знаете, кто такие туристы? О, это страшные люди! Они бредут пешком, сплавляются в байдарках, бегут на лыжах или лезут в гору, при этом тащат за собой огромные рюкзаки, спальники и палатки, а также гитары, жгут костры и поют вокруг них свои дикарские песни!

Потом ещё понесло в стрелковый кружок, уже когда зимы в Приднепровье совсем кончились и лыжную секцию закрыли. А так хотелось совместить и заниматься биатлоном!

Серьёзно занялся поэзией в четырнадцать лет, наслушавшись Высоцкого. Первые стихи были явным подражанием, потом — влюбился, и понеслось. Чуть позже, классе в девятом, впервые попытался писать что-то похожее на фантастику, но всё это быстро вылилось в бесконечную сагу о странствующих и путешествующих, которая не дописана и по сей день.

Пытался охватить в старших классах буквально всё, два года был комсоргом школы, руководителем школьного театра, входил в поисковый отряд — искали и возвращали безымянным солдатам их имена на могилах.

Всё решал, кем буду, пока друзья, которые были лет на десять старше меня и поэтому привили мне особый, хиповый стиль (для туриста это, в общем-то, не сложно), то есть приучили слушать „Лэд Зеппелин“, „Дип Пёрпл“, „Пинк Флойд“ и „Кинг Кримсон“ одновременно с едва становившимся на ноги советским роком, — так вот, эти самые друзья как-то среди февральской ночи 1989 года, когда мы вышли с очередного сэйшна, сказали мне: а не пойти ли тебе выучиться на юриста?

В общем, так оно и получилось — уехал в Днепропетровск учиться на юриста. А уже там, во второй универовской общаге, в 98-й комнате, я познакомился со своим лучшим и по сей день другом — Сергеем Легезой, который (о ужас!) уже тогда серьёзно писал фантастику. А уж сколько он её читал!!! Представить сейчас не могу, сколько всего бы я никогда не прочитал в фантастике, если бы не Серёга.

Собственно, благодаря ему я и поверил всерьёз, что могу писать что-то, кроме стихов.

А было это так. Где-то к концу выпускного курса у нас с Сергеем Легезой и Олегом Патерило (собственно, есть такой автор, тоже пишущий фантастику, — Эргостасио Парагогис. В общем, это мы и есть. Плюс присоединившийся куда позже Стас Теплов) объединились в эдакое „Общество мёртвых поэтов“ — литературный клуб „Р. М.“ Постмодерн, стало быть, как мы его позиционировали. Вообще-то не понимаю, как меня, отъявленного романтика, туда взяли, — видать, под честное слово, что влюбляться я буду пореже, а стихи писать посерьёзнее. Просчитались, ой просчитались... Стали выпускать журналы со своим творчеством и творчеством наших универовских собратьев. Выпустили числом три, самиздатом, а затем призадумались и решили-таки воплотить это в сборник. Тираж у сборника получился офигенный, аж 120 экземпляров, но по друзьям раздариваем до сих пор, хотя шесть лет уже прошло.

Собственно, всё изменила „Демосфера“. Осенью 2001 года Стас Теплов, заядлый днепропетровский КЛФщик ещё с тех времён, когда его вёл Головачев, стал всеми доступными способами зазывать пишущую (фантастику, разумеется) днепропетровскую братию в литературную мастерскую, которая на первом же заседании получила название „Демосфера“. Где-то ко второму-третьему заседанию в „Демосферу“, благодаря Серёге, влилась и наша мистическая пиэмовская компания.

И вот тогда мне Стас, более известный в фэндоме как Базука Джон, и говорит:

— А ведь стихи-то у нас и не подойдут, Юра. Придётся тебе или писать фантастику, или искать поэтический кружок.

Подчинился силе.

Главное — появился стимул: то, что я стал писать, читали и обсуждали уже не двое-трое, а десять-двенадцать человек, причём открыто. Устраивались конкурсы, мастерские с приглашёнными мастерами. В общем, пошло-поехало. Понеслись рассказы то об антиглобалистах (собственно, тех же партизанах постиндустриальной войны), то о кельтах, живущих везде и всюду, даже в Якутии. Вообще, кельты — это мой бзик, то есть я вообще люблю индоевропейскую историю, но кельты...

Мечтаю побывать в Ирландии и Шотландии. И побываю!

Как оказалось, пишу я магический реализм.

Публиковаться, если честно, за редкими исключениями, не пробовал. То ли смелости не хватало, то ли — не считал свою писанину достойной публикации.

Собственно, в том, что я могу писать и у меня получается, убедился только на „Росконе-2006“, на мастер-классе А. Г. Лазарчука.

С тех пор работаю над собой.

Как выгляжу? До 28 лет был „вьюноша бледный со взором горящим“, едва двадцать кто давал, потом почему-то решил „потягать железо“, в результате поправился на двадцать кило, а когда бросил, стал похож на доброго хоббита с пивным пузцом, круглым лицом с добрыми глазами и бородкой. Впрочем, на фото виднее.

Что обо мне говорят друзья? Беспокойный. Одержимый. Нервно-психический. Иногда — сумасшедший. Но очень добрый.

Что бы я ещё о себе сказал? Писал — и буду писать. Жил — и буду жить. Любил — и буду любить. „Бороться и искать, найти и не сдаваться“.

А, совсем забыл! Играю в меру сил на гитаре и пою песни. Иногда — свои. „Апрельский блюз“ на зимнем „Москоне“ многие должны помнить, правда, тогда гитары не было.»

Вот такой он, поэт и романтик Юрка Гордиенко, вдруг вздумавший писать фантастику. Мечтающий слиться с природой, но живущий в переполненном выхлопными газами воздухе большого города. Мечтавший в детстве стать трактористом, а ставший адвокатом. Человек, умеющий мечтать. И — иногда — воплощать мечты в действительность.

По словам одной Прекрасной Дамы, его любимого соавтора, — «летающий тигр».

Пожалуй, остановимся на этом.

Дмитрий Колодан

Родился 20 ноября 1979 года в Ленинграде. Окончил биологический факультет РГПУ им. Герцена, но по специальности так и не работал. Писал книги с описаниями компьютерных игр, как существующих, так и выдуманных. Сейчас работает дизайнером в рекламном издании. В свободное время занимается анималистической фотографией.

Первая фантастическая публикация появилась в 2005 году в журнале «Если».

Публиковался в журналах «Реальность Фантастики», «Арт-Город», сборнике «Мифотворцы: Портал в Европу». Победитель конкурса «Роскон-Грелка 2006» (рассказ «Последняя песня Земли»).

Живёт в Санкт-Петербурге с женой и дочерью. \* \* \*

Про контрабанду редких видов попугаев через малайскую границу решил не писать. Всё равно я не имею к ней никакого отношения.

Николай Желунов



Я родился вечером 1 июля 1977 года в роддоме у метро «Шаболовская». В утробе матери я вертелся и егозил, и, когда появился на свет, был весь обмотан пуповиной, словно катушка нитками. Полузадушенного, меня подняла за ножку старая суровая акушерка, освободила от пут и лупила по заднице, пока я не заорал, как положено всем новорождённым.

— Богатырь, — пробасила акушерка.

Рос я в коммунальной квартире на Щипке. Отец всё время пил и, когда напивался, падал под стол и невнятно пел две-три строчки из одной и той же песни про цыган. Мама, к счастью, не пила — наоборот, ненавидела всех пьяниц и говорила мне: «Только попробуй пить и курить. Я тебя породила, я тебя и убью». Она с детства настойчиво внушала мне, что я должен стать учителем, и, может быть, как раз поэтому во мне погиб замечательный педагог. В то же время мама активно занималась моим образованием, в результате я знал все буквы алфавита к двум годам, а к четырём уже бегло читал. Кроме того, я без конца слушал пластинки со сказками и некоторые из них знал наизусть. Я пересказывал их в «тихий час» другим детям и за своё культурное мессианство получал от воспитателей по балде.

Читал я не только днём, но и по ночам — с фонариком под одеялом, и даже при свете уличных фонарей, падавшем в окно. В результате мои слабые детские глазки уставали, скашивались к носу, и во второй класс я перешёл со зрением -2,5; но читал с каждым годом только больше и больше. Мир грёз манил меня. Первый свой роман я сел писать в шесть лет. Роман был про войну. В нём суровый майор смотрел сквозь окуляры бинокля на вражеские позиции, вокруг майора рвались снаряды и гранаты, но майор продолжал отважно смотреть. Не знаю, чем бы там всё кончилось — я бросил писать на второй странице, — но уверен, что майор с биноклем дал бы врагам прикурить. Время от времени, начитавшись любимых авторов (а до старших классов я читал только беллетристику), я хватался за перо и пытался что-то написать, но меня никогда не хватало надолго.

В школе я учился безобразно и еле-еле переходил из класса в класс. К точным наукам я оказался вообще неспособен, гуманитарными заниматься было лень. Единственным предметом, увлекавшим меня, была история. Мне очень нравились учебники по истории с красочными картинками, и ещё в начальной школе я прочёл весь учебный курс до шестого класса включительно. Родители, видя такое рвение, покупали мне историческую литературу и даже разжились на макулатурной распродаже тринадцатитомной «Всемирной историей». Несколько лет даже четвёрок я не получал по этому замечательному предмету, только пятёрки.

Однако к старшим классам из-за своей ужасной и постыдной лени я перестал учиться вообще. Если бы в последний момент не взялся за ум, не знаю, какое будущее меня ждало бы. Буквально за год до окончания школы я основательно взялся за русскую классическую литературу, перешёл в гуманитарную гимназию, где отлично преподавали отечественную историю. В 1994 году я поступил на исторический факультет МГУ, где тоже учился плохо, потому что появилось много других интересных занятий.

С детства я очень увлекающийся человек. Если я натякаюсь на интересное дело, я отдаю ему все силы и всё свободное время. Так было с историей, потом — лет в 12 — увлёкся палеонтологией. Ходил в кружок юных палеонтологов, два раза в месяц ездил на раскопки (даже если был простужен, а на улице зима), раз пятнадцать посетил Палеонтологический музей в Коньково... Занял первое место на городской Геологической олимпиаде и ещё дважды брал «лауреата» на Обнинских молодёжных конференциях, но карьера геолога мне не светила: на геофак надо сдавать математику, а я до сих пор не уверен, сколько будет дважды три.

На первом курсе я увлёкся политикой. Я вступил во все леворадикальные молодёжные объединения, куда принимали, а потом и в КПРФ, где тоже дорос до члена райкома. Бороться с кровавыми ворами-«демократами» было очень интересно и благородно, но после института я ушёл и из партии, и из комсомола (там можно состоять одновременно) — я не сжигал партбилет, просто перестал ходить на собрания. Мне стало там скучно, к тому же показалось, что наша оппозиция больше говорит, чем делает, хотя в ней очень много достойных людей.

1 декабря 1997 года (я учился на 4 курсе) увлёкся английским языком. Произошло это так: я купил на «Горбушке» кассету с битловским фильмом «Help» без перевода. Очень люблю «Битлз». Включив фильм, я принялся мыть в своей комнате полы, как вдруг случилось странное. В моей голове прозвучал некий голос (или вроде того), приказавший мне учить английский и «знать его так, чтобы понимать всё, что говорят в этом фильме». Я домыл пол, обложился словарями и учебниками и стал учить. Не то чтобы я совсем плохо английский знал до того момента, но понимал с трудом, а сказать мог ещё меньше. Через несколько месяцев упорного труда (учил по 70-100 слов в день) я уже без проблем читал американские книги и газеты, написал на английском письмо своему любимому писателю Стивену Кингу, а на госэкзамене получил «пять». По инерции я выучил также французский и украинский (но уже не так хорошо).

Жестоким разочарованием в этой жизни стало для меня то, что по окончании Университета я никуда не смог со всеми этими языками устроиться на работу. Всё, что мне предлагали, — преподавать в школе (привет маме) за 1000 рублей в месяц или учить английскому ребят в детском саду (за 700 рублей в месяц). Никому также не был интересен мой диплом «Электорат левой оппозиции в регионах Российской Федерации в 1993–1998 годах», защищённый на «отлично». До сих пор я уверен, что Центризбирком потерял тогда очень ценного и перспективного сотрудника.

После долгих бесплодных поисков мне помогли. По знакомству устроили подработать в страховую компанию, где я в итоге и остался. Страхование мне тоже нравится, это очень интересная специальность. Не нравятся только законы, по которым живёт современный российский бизнес вообще. Шесть лет я работал в отделах перестрахования различных компаний, даже дорос до начальника отдела, но сейчас я очень рад, что ушёл из этой отрасли.

Во время работы в одной из вышеупомянутых компаний я познакомился со своей будущей женой Ксюшей. Мы встретились в Интернете, на сайте поклонников «Битлз» и быстро полюбили друг друга, хотя ни разу не видели друг друга в глаза. По стечению обстоятельств, Ксюша проживала за пять с лишним тысяч километров от Москвы, в Иркутске, а в тот момент и вовсе находилась на стажировке в китайском университете в Шеньяне. Мы очень долго ждали встречи, а когда встретились, немедленно расписались и переехали жить в съёмную квартиру в Москве.

Вскоре мой младший брат по имени Сан Саныч ушёл в армию и оставил мне на хранение компьютер. Вот тут и началось... знаете, товарищи, творить литературу посредством ручки и бумажки (или, на худой конец, пишущей машинки) — это не для меня. Я иногда каждое слово переделываю по десять раз. Кажется, Маркес говорил, что, если бы в его время были компьютеры, он написал бы в несколько раз больше, — так вот Маркес бы меня понял. Всю свою сознательную жизнь я пытался писать, планировал в уме целые книги, но не создал ничего, кроме пары никудышных рассказиков-ужастиков. Зато когда в доме завёлся компьютер, я тут же сел писать огромный роман про разведчиков! И я его почти дописал. Остановило меня только осознание того, что я занимаюсь ерундой. Роман был чистейшим эпигонством, к тому же настолько дилетантски состряпанным, что даже я видел все ляпсусы.

Однако литература уже увлекла меня. Вот, теперь пишу время от времени разные (в основном фантастические) рассказы и даже работаю над повестью. Есть у меня и большая

законченная книга под названием «Биомасса», но я её никуда предлагать не собираюсь, она тоже совсем ученическая.

Сейчас мы с Ксюшей находимся в Китайской Народной Республике, в городе Нинбо. Здесь мы работаем торговыми представителями российской фирмы, занимаемся поставками в Россию всякой мелочевки типа шторок для ванн, крышечек для баночек и мячиков для настольного тенниса. Я пытаюсь учить китайский. По сравнению с английским или французским это очень трудный язык. Какие там сто слов в день... вчера я выучил всего пять иероглифов, а сегодня их уже забыл. Хорошо ещё, что Ксюша по-китайски говорит, а то не знаю, как бы мы тут работали и жили.

В Китае очень интересно. Когда выходишь на улицу, кажется, что попадаешь в тёплый кисель — такой здесь влажный и горячий воздух. Слава богу, всё время дует ветерок. Китайцы пялятся на нас на улице, как на инопланетян, и чуть с велосипедов не падают, когда мы идём через перекрёсток. Пару дней назад китайские дети напали на меня, принуждая купить у них цветы, и даже порвали мне футболку. Но я не расстраиваюсь, потому что они не со зла.

Сижу, смотрю в окно. За окном небоскрёбы тонут во влажной дымке, и музыкальный фонтан пускает в небо струи под музыку Чайковского и Вагнера (и ещё под сиртаки почему-то). Хорошо здесь. Интересно, что будет дальше?

Азамат Козаев

Тот, из зеркала...

Знаю этого типа как облупленного. Мне есть, что о нём рассказать, ему есть, чем удивить. Утром глядит до того загадочно, что не всякий раз и сообразишь: отсутствующий взгляд — вовсе не чайльдгарольдовское высокомерие, но простая человеческая заспанность. А как он бреется!? Нет, вы только посмотрите, как он это делает! Готов биться об заклад, проживи дедушка Фрейд чуть дольше, легендарного *wiwi*maner'a в мужском варианте анализа сменил бы бритвенный станок. Покажите мне, как вы бреетесь, и я скажу, кто вы и чем комплексовали в детстве. Ещё проще заглянуть в дневник, что при современном уровне развития электронного дела особого труда не представит. Эй, дядька в зеркале, ты хочешь об этом поговорить? Молчит загадочно, моргает таинственно... Будем считать, согласен. Ну что, поехали?

Не знаю, с чего начать. Тот, в зеркале, странный. Пожалуй, будь он единственно странным типом на всём белом свете, и слова бы к тому не добавил. Но каждый вокруг странен по-своему, и чем же странность этого отличается от странностей других? А пожалуй, лучше всего расскажет о человеке случайная выборка чего-нибудь: цитат, реплик, душевных порывов (тут выставим вербальный фильтр в охоте за инфернальным аргументом). Должно быть интересно...

...Четвёртое: Хочу снять собственный фильм. Для этого чувствую себя достаточно наглым и наивным. Знаю, что и как буду делать и — самое главное — как фильм должен выглядеть и смотреться. Единственное, чего не знаю: что получится? Может быть, попробовать компьютерный мульт? Срочно займусь самообразованием.

Ага, и пусть это будет фэнтезийный мульт, вроде «Льда и пламени». А саундтреком к нему возьми две Mapowag'ские вещицы: ту, где текст начитал настоящий индеец чероки, и ту, где в конце кто-то зловеще смеётся. Купи права на эти вещи, каких бы денег ни просили, ты слышишь, дядька из зеркала!?

Пятое: Кажется, нам повезло с Хиддинком. Австралы уделали японцев. Есть лишь одно опасение — все благие начинания завязнут в нашем болоте. Мы удивительная страна. Страна — чёрная дыра, страна-конструктор. Как ни собирай танк, выходит всё равно паровоз.

Наш паровоз вперёд летит, в ЮАРе остановка...

А недавно в Сети шквалом пронеслось поветрие на всякоразличные флешмобы, каковые «подняли» массу народу, словно волна на стадионе. Понимаю, пара месяцев — срок вполне достаточный, чтобы наивно считать себя мудрее того молодца, что шестьдесят дней назад писал у кого-то в ЖЖ чушь несусветную. И какую же чушь писал наш Зазеркальный Герой? Полюбопытствуем... Ишь ты! Флешмоб озаглавлен звонко: «Ваши странности» — и предполагает массу интересного. Ну-ка, ну-ка! Хвост флешмоба отловлен этим зазеркальным в ЖЖ Вани Наумова, нафарширован странностями и там же брошен на растерзание толпе:

1. В детстве был крайне дезорганизованным ребёнком, чем, вероятно, разозлил мать-природу: отыгрывается, сволочь, с большим чувством юмора. Сейчас стремление видеть все вещи на своих местах постепенно переходит в патологическую стадию. Сын протестует, но он ещё не знает гримас злодейки-судьбы.

Зато тому, кто живёт в Зеркале (крошка Енот не обидится за нечаянную цитату?), это прекрасно известно, а законы Мёрфи пополнятся ещё одним следствием: если в нежном возрасте вы были обаятельным блондинчиком, тоннами грызли конфеты и разбрасывали носки и прочие предметы туалета по всей квартире, с вероятностью процентов эдак девяносто можно предположить: сейчас вы чернявый, угрюмый тип, ненавидите сладкое и патологически занудны. Занудство — штука страшная, злит домашних и не находит понимания у ребёнка. Но... если в нежном возрасте вы... далее по тексту. Это же зеркало! Дурная бесконечность! И даже если блондинчиком дядька из зеркала никогда не был, следствие всё равно работает.

2. Желание упорядочить жизнь начинает превалировать над всем остальным. С этим же связываю изменение вкусовых пристрастий — в дизайне чего бы то ни было хочется видеть чёткие, прямые углы и ровные грани. Наверное, это болезнь. Недавно «приторчал» с дома, который с'архитектил Альберто Кампо Баэза, — прямоугольник со стеклянным кубом на плоской крыше (комната отдыха). По-моему, у меня странный вкус.

Старина, ты, как никогда, прав. Вкус у тебя действительно донельзя странный. А куда, позволь спросить, подевалось вполне объяснимое стремление обзавестись житейским уютом в виде аккуратного домика с двускатной крышей, тёплой верандой и прочими прелестями жизни? Откуда прямые углы и ровные грани? Нет, ты только представь себе пасторальный пейзаж с современным творением Баэзы на переднем плане! Поймут ли простодушные пейзажане? Впрочем, готов спорить на что угодно — даже часы у тебя с чёткими углами, а на рабочем столе не валяется ни единого листка бумаги. Угадал? Ах, бедолага! Наелся беспорядка? Тошнит? Хочется ясности во всём? Ну-ну, только палку не перегибни, прямоугольный ты наш...

3. Никогда не понимал сверстников, условно лазающих в окна к девушкам, а посему казался странным юношей на их фоне — всегда «ходил в дверь». Никогда не делал того, что называется «милые глупости». Глупости делал только крупные, как советовал барон

Мюнхгаузен «с серьёзным выражением лица». Если не случится чего-то экстраординарного, кредо по глупостям не сменю.

Молодец! Впрочем, спокойное отношение к «окнам» ещё никого не избавило от вполне осознанной глупости, — насколько это известно, Герой Из Зеркала таки женат. Но... только дурак делает глупости по незнанию. Свободный, мыслящий человек делает их осознанно, ибо тем и отличаемся мы от животных. Нельзя отнять у свободного человека права совершать немотивированные поступки. Хоть раз в жизни каждое мыслящее существо обязано сделать осознанную глупость, ибо не место безгрешным ангелам в нашем мире. И как ни кинь — всюду клин! Женишься — сделаешь глупость (прощай, спокойная жизнь, здравствуй, непонятное существо в квартире), не женишься — сделаешь глупость (здравствуй, одинокая старость, прощай, непонятное существо в квартире). Вот и выходит, что свобода выбора — в выборе глупости. Каково?

4. Систематизирую всё, до чего могу дотянуться. Жена протестует и пугается, но даже приблизительно не представляет себе, как испуган я. Уже готов прописать алгоритм улаживания конфликтных ситуаций в семье. «Я скажу это... она ответит так... я предложу это, и все останутся довольны...» По-моему, странно, хотя и удобно. Себе на горе вырастил фронду, домашние делают вид, что возвращены на свободе чувств, и им чужды мои механистические замашки... Но есть подозрение, что сыну его расхлябанность надоест ещё раньше, чем мне моя. По-моему, тогда-то я и заплачу.

Плач, Зеркальный Герой, плач. Это слёзы очищения. Поплачь и оглянись, всё ли находится на своих местах? Потом будет поздно. И кажется, время уже пошло...

Сергей Ястребов

Считаю своим долгом предупредить, что всё, сказанное ниже, будет основано на двух тезисах:

1. Человек, всерьёз пишущий художественное произведение о себе, — или гений, или дурак.
2. Всё сущее состоит из атомов.

Вывод? Если уж сочинять литературный автопортрет, то писать нужно не о «себе, любимом», а об атомах, из которых ты сложен. Чужие мысли, предложения, интонации, нечувствительно вызванные ощущения — отдельные, как ноты. «Травинки, вздохи, столбики из пыли». Элементы влияний и взаимодействий.

И с другой стороны: каждый из нас — звено некоего преемственного ряда. Или даже нескольких рядов. Личность есть «скрещение судьбы» — пересечение импульсов, идущих от нескольких других людей; а живут ли эти люди в твоей эпохе или в совершенно иных, не так уж и важно. Это — учителя.

Великий Лоренс Стерн, например, называл своими учителями троих: Рабле, Сервантеса и гамлетовского шута Йорика.

Так вот, себе-то я особого значения не придаю. Зато своим разнообразным учителям — очень даже.

Но начнём с простого.

Мне тридцать лет. В активе у меня красный диплом биофака Московского университета,

аспирантура там же — и единственная крупная литературная публикация: повесть «Лунная соната», журнал «Полдень, XXI век», 2/2003.

Биологией увлекаюсь с детства, с тех пор как мне подарили на мой восьмой день рождения книгу Джеральда Даррелла; последний много лет был моим любимым писателем, и только уже после университета мои предпочтения сменились: теперь мне больше нравится его великий старший брат — Лоренс. Тем не менее я — самый настоящий биолог, из тех, у кого эта наука «сидит в хромосомах». Диссертацию, правда, до сих пор не защитил, но надеюсь.

Главный мой научный интерес — эволюция онтогенеза; что это такое, сейчас объяснить не буду, иначе ни на что другое не останется места. Вообще по мировоззрению я — завзятый эволюционист («эволюционист с большой дороги», как выразился один мой приятель). И раз уж я рассказываю о себе, назову моих главных учителей с биофака. По крайней мере — тех нескольких, без которых бы меня не было (это не преувеличение). Борис Дмитриевич Васильев, Феликс Янович Дзержинский, Александр Сергеевич Раутиан. Двое — профессора моей родной кафедры, третий — человек без званий и степеней, но при этом более авторитетный в своей науке, чем иной академик. Борис Дмитриевич — специалист по слуху животных и (что куда важнее) человек-легенда; именно он уже много лет читает в МГУ общий курс зоологии, с которого студенты полевого отделения биофака — зоологи и ботаники — начинают изучение этого предмета. Феликс Янович — сравнительный анатом, один из лучших специалистов в этой области в России, а может быть, и в мире. Александр Сергеевич — палеонтолог, известный работами по исторической биогеографии и по теории макроэволюции. И все трое — великие педагоги.

О каждом из этих людей стоит написать книгу, и именно поэтому не стану сейчас больше ничего про них рассказывать. Но назвать их имена я был обязан.

Кстати, в своём «активе» я числю ещё и то обстоятельство, что мои научные взгляды формировались достаточно самостоятельно: очень много взяв от учителей, я в итоге всё-таки выбрал себе в качестве основного интереса тему, которой никто из них никогда непосредственно не занимался. Я просто сам для себя решил, что хочу изучать именно это. Такая самостоятельность, кстати, и есть одна из причин того, что моя кандидатская диссертация до сих пор не закончена. Но здесь, думаю, не всё потеряно.

Литературой, и в частности фантастикой, я интересовался с детства, хотя созревание здесь было поздним: например, будучи по тогдашнему складу всё-таки естественником, поэзии я лет до 16 совершенно не понимал. То есть вообще — не понимал, зачем она нужна. А потом, наоборот, увлёкся. В студенческие годы я читал довольно много (именно тогда, например, прочёл всех Стругацких), перечислять всё прочитанное нет смысла; но всё-таки хочу назвать одного автора, книги которого стали для меня — выразимся пафосно — открытой дверью в русскую литературу. Это Вениамин Каверин. Сейчас я имею в виду не «Два капитана» и «Открытую книгу», а прежде всего каверинские мемуарные, автобиографические и критические произведения. Они очень интересны (роман «Освещённые окна» — вообще шедевр), и именно из них я узнал о существовании многих писателей, которых потом оценил уже непосредственно. Для примера: именно Каверин познакомил меня с Юрием Тыняновым.

Вставлю сюда небольшое, на один абзац, литературоведческое эссе.

Характерная цепочка: Вениамин Каверин — Виктор Шкловский — Лоренс Стерн; последнего я читаю уже сейчас, две недочитанные главы осталось в «Тристраме Шенди». Вообще, раз уж я пишу о себе, а одна из самых важных для меня вещей — это литература, скажу немного о моих литературных вкусах. Кратко, как в анкете. Самый любимый поэт — Заболоцкий; ещё очень люблю Гумилева, а из XIX века — Тютчева и Баратынского. Крупнейшим поэтом русского XX века считаю О. Э. Мандельштама, и вот это последнее стало сейчас наводить на странные мысли. Ведь Пушкин и Мандельштам — оба! — в каком-то смысле положили жизнь

на то, чтобы срастить русскую поэзию с культурой Западной Европы. Значительная часть их творческой энергии ушла на эту работу. Но как же тогда должна была развиваться поэзия в тех странах, где поэты были изначально свободны от такой задачи?...

Очень похоже, что русский Киплинг ещё попросту не родился.

Если же говорить о прозе... Стоит ли рассказывать о том, что я очень люблю Ремарка или, скажем, Крапивина? Вряд ли, ибо их-то любят почти все. Да и вообще, всерьёз рассуждать о художественной прозе здесь не место, и я скажу лишь то, с чем, быть может, согласится не каждый. Например, самым виртуозным русским прозаиком XX века мне кажется не кто-нибудь, а Булат Окуджава. Читали «Свидание с Бонапартом»?... А самый великий роман всех времён, по моей шкале, — это «Моби Дик» Мелвилла. Увы, в русской литературе я не знаю подобной книги — настолько глубокой и одновременно захватывающей...

А лично мой самый любимый писатель — Торнтон Уайлдер. «Мост короля Людовика Святого» и «Мартовские иды». Более близкого мне автора в мировой литературе нет.

Самый гениальный — не обязательно самый любимый и близкий. У Николая Степановича Гумилева в стихотворении «Фра Беато Анджелико» про это хорошо сказано.

Всё это — скрытая, латентная, если так можно выразиться, часть моих литературных увлечений. Да, в студенческие годы я иногда пытался чёркать на бумажках, сочиняя прозу; но серьёзного значения этим попыткам не придавал и сам. Всё изменилось в 1999 году, когда я из чистого интереса купил в магазине книгу совершенно мне тогда неизвестного Андрея Лазарчука. «Опоздавшие к лету», том второй. «Жестяной бор» и «Солдаты Вавилона».

«Солдаты Вавилона» — книга, которая сделала меня писателем.

Прочитав «Солдат Вавилона», я убедился, что об очень сложных и безумно интересных для меня вещах можно писать. И даже примерно понял, как это делается.

Дальше рассказывать не так интересно. В конце 2002 года я познакомился (сначала по Интернету) с Лазарчуком, и он рекомендовал к печати мою повесть «Лунная соната». Повесть, заметим, вначале была вполне реалистической — программную оболочку «альтернативной истории» я добавил уже в процессе переделки. Но с самого начала я понимал, что область литературы, к которой я хочу принадлежать, — это Фантастика.

Чем я сейчас занимаюсь? Во-первых, продолжаю научную работу в биологии, хотя на данный момент и не так интенсивно, как хотелось бы.

Вероятная тема моей диссертации, если кому интересно: «Особенности морфологии черепа личиночных стадий бесхвостых амфибий и проблема происхождения отряда Anura». Вообще эволюционная биология — это ведь целый мир. Закономерности, которые она выявляет, распространяются так или иначе на все сложные системы. Но даже и без этого, в качестве отдельно взятой науки, она очень увлекательна.

А сколько блестящих умов в ней поучаствовало! Помимо Дарвина — Нэгели, Гексли, Осборн, Берг, Гольдшмидт, Четвериков, Шмальгаузен, Ярвик, Красилов, Жерихин, Шишкин... Последние трое — уже наши современники; Владимир Васильевич Жерихин ушёл безвременно года три назад, остальные живы и работают. И не только они.

Сравнительная анатомия (это моя узкая специальность) как наука, впрочем, тоже прекрасна. Работы таких авторов-классиков, как Гуннар Сёве-Седерберг или Алексей Петрович Быстров, впечатляют понимающего человека не меньше, чем сочинения великих поэтов.

И самое главное — здесь очень даже есть что открывать.

Помимо чистой науки, я довольно много преподаю. В этом году на биофак МГУ поступило около десятка бывших моих школьников, и, пожалуй, я горжусь этим. Причём многие школьники — из дальней провинции, а познакомиться с биологической наукой и добраться в конце концов до МГУ им помогла Летняя Экологическая школа. Есть такая организация, в работе которой я весьма активно участвую.

Ну и пишу, конечно. Правда, медленно. Ох, не зря говорит Борис Натанович Стругацкий, что второй роман всегда даётся начинающему автору гораздо труднее, чем первый. Романов сейчас у меня в работе два, каждый — предполагаемым объёмом примерно в 20 листов. Первый, очень для меня трудный, называется «Созвездие Девы» и рассказывает о докторе Фаусте, точнее — о попытке последнего изменить мир. Он написан больше чем наполовину. Замечу, кстати, что доктором Иоганн Георг Фауст не был, ибо бросил в какой-то момент академическую науку и стал вагантом. Знаете, кто такие «ваганты»? Все толкования в духе романтики дорожного плаща («как в пыли площадей поднимали мы наше вагантское знамя...») прошу сразу же отбросить. Согласно определению, которое мне попало в одной хорошей научной статье, ваганты — это средневековая и возрожденческая **ДЕКЛАССИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ**. Очень точно. Такие вот мы и есть.

Мой второй роман — о Второй Мировой войне, до сих пор не имеющий даже рабочего названия, но готовый примерно на четверть. По крайней мере, «Лунную сонату» его написанная часть объёмом уже превзошла.

Вспомнилось много раз повторяемое тем же Кавериним приветствие ордена «Серрапионовых братьев»: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно». И правда трудно, чёрт возьми. Значительная часть моих усилий сейчас направлена на то, чтобы сделать из себя литератора-профессионала, способного не действовать «по вдохновению», а регулярно производить заданные объёмы текста. Вроде начинает получаться.

Последнее актуально, т. к. кроме вещей, находящихся в работе, у меня есть и несколько идей, ждущих воплощения. (Что за дьявол? — опять откуда-то вылезает пафос.) «Лунная соната» выросла из подобной же идеи, которую я взращивал и лелеял несколько лет. А упомянутые несколько замыслов уже вполне оформились — по принципу: «Моя Венера уже готова, остаётся только изваять её!» В смысле, сесть и написать. О великом полководце Велизарии, о боге Дионисе, о русском императоре Константине...

«А на это господин дракон велел сказать: „Посмотрим!“»

И мы действительно посмотрим...

Рустам Карапетьян

I

Родился я в 1972 году в Красноярске. Было холодно и темно. На чёрном небосводе висели Весы. Когда я родился, плохой дяденька-врач предложил сразу меня усыпить, чтобы я долго не мучился. Но мама решила, что, мол, пускай помучится, и забрала меня домой. Таким образом я вошёл в нашу жизнь. Следующий период жизни я сладко проспал и знаком с ним, большей частью, по фотографиям. II

Говорят, что когда-то я был трудолюбивым ребёнком. Мне почему-то верится с трудом. Хотя за годы детсада и школы я вполне сносно научился поддерживать видимость бурной деятельности. Долгое время я пытался перебороть себя, воспитывая силу воли (интересно, как её воспитывать, если её нет?). И вот лет пять назад один товарищ затащил меня на курсы по астрологии. Я прилежно отходил несколько занятий. Там мне и объяснили, что, когда я



родился, Солнце было в сожжённом Фаэтоне, и вся моя энергия изливается в Космос. «Так вот оно в чём дело!» — воскликнул я и бросил попытки бороться со своей ленью (а заодно и занятия астрологией), разумно посчитав, что чем сильнее я борюсь, тем больше моей энергии в этот самый Космос изливается. III

Перед самой школой я научился читать и считать. Поэтому, когда пришёл в первый класс, мне поначалу было довольно скучно. Это «поначалу» длилось, наверное, с полгода. За это время я научился входить в состояние полной отрешённости на уроках, предаваясь внутреннему созерцанию (дремал, короче). Благодаря своим достижениям в самоуглублении первый класс я закончил почти на одни двойки. Дальше пошло легче, поскольку все учителя ко мне привыкли и особенно умных вопросов уже не задавали. И где-то классу к пятому я вошёл в стабильную когорту ударников. IV

Все мои школьные годы прошли под знаменем плавно сменяющихся влюблённостей. Наверное, именно тогда я начал свои первые попытки в написании стихов. К сожалению, никаких творений того периода не сохранилось. Помню только:

«Давай с тобой дружить

Мне без тебя не жить».

Ну и всё такое прочее, проникнутое тончайшим лиризмом и высоким чувством. Спасибо вам, мои милые любимые! Теперь вы далеко от меня. Успели повыходить замуж, разъехаться по границам. Зато я теперь пишу стихи. V

Всю свою сознательную жизнь я занимался спортом. Сейчас жизнь у меня несознательная и спортом я уже не занимаюсь, о чём совсем немножко жалею. Я был очень талантливым спортсменом. Я занимался плаванием — и не утонул, занимался дзюдо — и не сломал шею, занимался лыжами — и не замёрз. Если бы я захотел, я, наверное, стал бы чемпионом мира. Меня бы любили женщины и носили на руках поклонники. Мне бы давали золотые медали и много-много денег. А потом бы я вышел из спортивного возраста, и все бы про меня забыли. И я бы спился и умер в больнице. И никто бы про меня не вспомнил. Поэтому я решил спортом не заниматься. Тем более что не очень-то у меня и получалось. Хотя отжаться от пола несколько раз я могу и сейчас. Останавливает только одно: зачем? VI

А ещё я был студентом. Случилось это так. Я пошёл сдать экзамены и поступил в университет, на математический факультет. На этом факультете преподавали математику, причём не простую, а со всякими там сложностями. Через какое-то время я начал понимать, что ничего уже не понимаю. Как ни странно, преподаватели обнаружили это ещё раньше меня. Таким образом, мы оказались в данном вопросе вполне солидарны, и я перевёлся на психолого-педагогический факультет. На нём было очень интересно учиться, а в конце учёбы выдавали дипломы. Мне достался синий. Так вот я побыл студентом. VII

А однажды я сходил в армию. Было это так. Меня вызвали в военкомат. Я очень испугался, но пошёл. Но оказалось, что это всего лишь допризывная комиссия и в армию меня пока никто брать не собирается. В тот раз я в армию так и не сходил.

Потом мне исполнилось 18 лет, и меня опять вызвали в военкомат. Но я был уже студент, а студенты им были не нужны. Мне сказали, чтобы я получал высшее образование, а потом, может быть, на что-нибудь и сгжусь. Так я второй раз не попал в армию.

После института мне опять пришла повестка. Но к тому времени знающие люди мне уже объяснили, что ходить в военкомат людям с высшим образованием очень опасно, потому как могут забрать в армию. А если не ходить, то могут и не забрать. Я и не пошёл. Так я в третий раз не попал в армию.

Но в армию я всё-таки ходил. VIII

В конце концов я устроился на работу. Я ходил по разным фирмам, и все умоляли меня, чтобы я там поработал, но я гордо отказывался, потому что я человек творческий и работа мне нужна такая же. И вот теперь я работаю на компьютере. Компьютер — это такая штука с телевизором (в который я смотрю) и клавиатурой (в которую я тыкаю пальцами). И что самое удивительное, вот за то, что я тыкаю пальцами, — мне и платят деньги. Называется это — программирование. Здорово, правда? IX

Почему-то до настоящего момента ещё никто так и не удосужился написать мою биографию, и этот факт чрезвычайно удручал меня на протяжении долгого периода времени. Но, в конце концов, если биографы сами не понимают, в чём их счастье, то это их головная боль. И я решил написать свою биографию сам. Всё, что вы только что прочли, — это лишь начало многотомного труда. Копирование и использование данного материала в коммерческих целях — чревато разнообразными последствиями (от обращения за защитой в Организацию Объединённых Наций до тривиального битья морды, хотя за пиво можно и договориться).

Иван Наумов

О себе

Бывает же так, что давно забытые детские мечты вдруг странным образом начинают реализовываться? Так со мной и произошло.

Лет с двух-трёх начал читать и к пяти уже был уверен, что стану писателем. Первые опыты — всегда подражание. Любимому автору, любимой книге. Попытка сделать «ещё интереснее». Я продумывал сюжеты великих романов и многотомных эпосов, которые мне предстоит написать, — хотя дальше оглавления дело обычно не двигалось. Но я был спокоен, потому что уже знал всё про своё будущее.

В этой спокойной уверенности доучился до восьмого класса. И понял, что Литинститут — недоступная горная вершина, а у меня не то что альпинистского снаряжения, а даже подходящей обуви для прогулок на природе нет. Тогда для поступления надо было представить печатные работы — или изданные книги, или хотя бы что-то в сборниках или солидных журналах. А у меня даже толком законченных рассказов не имелось — одно только детское желание.

Тогда мы с мамой (она всегда поддерживает меня в подобных начинаниях) решили, что журфак МГУ — почти полпути к Литературному институту. То, что это не совсем так, выяснилось уже в ходе моего обучения в ШЮЖе — Школе юного журналиста. Всё было здорово, пока летом после девятого класса я не попал на практику в газету. Там мне быстро объяснили, что такое

прогибаться, и журналистика автоматически выпала из числа моих насущных интересов.

Поскольку с математикой и физикой дела обстояли ничуть не хуже, чем с литературой, год спустя я обнаружил себя студентом МИРЭА, славного разгильдяйского института на Юго-Западной. Там мне легко и необидно доказали, что не такой уж я и умный, поставив на первом экзамене двойку по физике, а на втором — тройку по высшей математике. Что, впрочем, не помешало мне вполне прилично доучиться и присвоить себе гордое имя инженера-оптика. Надо сказать, что сегодня из всех научных премудростей вспоминается лишь магическая фраза: «Дырки Бенета, сходясь, образуют провал Лэмба». Одна, зато

красивая и загадочная.

Поскольку в лаборатории, где мне предлагали задержаться после защиты диплома, работа заключалась в ожидании особо ценной гайки для подставки лазера, которую уже полгода выпиливали на каком-то секретном заводе, я счёл возможным отказаться. И пустился в плавание по незнакомому миру.

Надо сказать, что к тому времени, помимо мирэшной корочки, которая так никогда и не пригодилась, у меня имелся ещё один навык — я выучил эсперанто. Сейчас это может показаться смешным преувеличением, но подобное специфичное знание определило всю мою дальнейшую жизнь.

Во-первых, в среде эсперантистов (а это отдельная тема для разговора) я познакомился со своей будущей женой.

Во-вторых, я стал всё чаще писать стихи, и те из них, что «не по-русски», заранее были обречены на определённую известность. Меня почти сразу стали публиковать, приглашать на литературные вечера, цитировать. Безусловно, это было приятно и помогло устранить многие комплексы начинающего литератора.

В-третьих, я загорелся идеей Движения — сделать эсперанто «вторым для каждого, общим для всех» — и надолго погрузился в кипучую общественную жизнь. Даже со старшей дочерью до шести лет я вообще не разговаривал по-русски, что неизбежно заставляло не только говорить, но и думать на чужом языке.

В-четвёртых, через пару месяцев после окончания института, в апреле девяносто второго, я стал сотрудником компании, специализирующейся на зарубежном туризме. Как агенты неведомого государства, мы разыскивали по всему миру такие же фирмы, где всем заправляли эсперантисты, и на базе этих отношений выстраивали весьма интересные поездки. К примеру, мы первыми предложили соотечественникам готовое кругосветное путешествие...

А в-пятых, эсперанто, точь-в-точь как написано во всех рекламных брошюрах, послужил мне мостиком ко всем прочим языкам. Языковой барьер рухнул, и я начал много читать по-английски, по мере надобности — для работы — подтягивал финский и шведский, турецкий, итальянский, французский. Не стремясь к совершенству, но доводя знание языка до уровня базового общения. Мой отец обычно говорит: «Человек проживает столько жизней, на скольких языках говорит». Что ж, я жадный!

В девяносто пятом вышел сборник моих стихов «Музыка — это сны / Plejo (Самое)». Не в силах определиться, какая часть — русская или эсперанто — должна стоять первой, я нарисовал две обложки, и получилась вполне политкорректная книжка-перевертыш, начинающаяся с обеих сторон сразу.

А потом наступил долгий, почти десятилетний, период, когда моя «творческая составляющая» оказалась порабощена предпринимательством. Если существует та штука, которую называют «жизненный опыт», то я получил её там. Работая уже в другой фирме, мы начали открывать зарубежные представительства, «строить бизнес», сражаться с конкурентами, привлекать клиентуру. Боролись с воровством подчинённых, находили компромиссы или цеплялись за своё до последнего, обходили, не нарушая, законы десятка государств и нарушали там, где нельзя было обойти. Мотались по Европе и городам России, засыпали за рулём, работали от рассвета до рассвета и ощущали, что делаем не только деньги для себя, но и полезное дело для тысяч людей.

Но энтузиазм не может полыхать вечно. Понемногу всё устаканилось, успокоилось. Кавалерийские атаки середины девяностых перестали приносить пользу в эпоху

бетонированных линий обороны начала нового века. Да и мы посолиднели, заматерели. Обросли семьями, детьми, привычками, капризами. Прошёл раж, но творческая энергия никуда не делась. И попросила выхода.

Как это случилось со многими моими новыми знакомыми, толчком послужило предисловие к «Гаджету» Сергея Лукьяненко — оттуда я узнал о сетевых литературных конкурсах. Терпеливо ждал полгода, желая попробовать сыграть. Всегда хочется быстро получить оценку того, что делаешь, и конкурсы казались подходящим полигоном. Когда мой первый за двенадцать лет рассказ не вышел в финал и занял сто какое-то место из пятисот, я удивился... Да нет, я просто был шокирован — как же так, гениальное произведение не оценили по достоинству!

И дальше был «пристрелочный» год, когда с каждым разом я понимал лучше и лучше, что не всё, что крутится в голове, может быть адекватно воспринято за пределами этой головы. Что читатель не обязан терпеть, если автор пытается излить в текст свои внутренние проблемы. Что сюжет и идея должны определённым образом соотноситься — иначе получится пустышка или заумь. Фантастика как способ видения мира даёт автору право моделировать ситуации, невозможные в обыденности. Но и налагает ответственность: мир рассказа должен быть интересным, вкусным и непротиворечивым, иначе сюжет и идея будут бледно выглядеть на фоне картонных декораций.

Я искренне рад, что «потерял» больше пятнадцати лет с того момента, как закончил первую повесть. Перерыв, кажется, пошёл на пользу. Теперь мне есть «о чём поведать миру».

А детскую мечту — поучиться в Литературном — я осуществил уже будучи взрослым. Прекрасные преподаватели Высших литературных курсов дали мне очень многое. Без изумительных лекций по философии, эстетике, истории, теории литературы, возможно, и не появились бы некоторые из моих последних рассказов.

Что я пишу? О чём я пишу? Да по-всякому. Может быть, меня ведут несколько максим, которые выросли внутри меня? Вот они.

Самая фантастичная история правдива, если рассказана честно и правильно.

Готовым рецептам — место на кухне, готовым решениям — в экономике и в сказках.

Всё самое интересное происходит на стыке — технологий, языков, религий, времён.

Почти все люди считают себя хорошими — это инстинкт самосохранения.

Бывает, что намерения оказываются важнее самих дел.

Человек всегда противостоит государству. Великие мечты мостятся на трупах мечтателей. Химеры всеобщего равенства — что коммунизм, что демократия — ещё примут новые жертвы.

Моё дело — задавать вопросы, ваше — искать ответы.

И что мне кажется наиболее интересным, так это проблема выбора. Мир абсолютно нелинеен, и нельзя раскрасить его чёрным и белым (если только речь не о комиксах). Есть ситуации, когда нужно выбирать из двух зол. Когда личное становится вровень с общественным. Когда совесть подсказывает отказаться от выбора вообще. Об этом я и пытаюсь рассказать.

Многие спрашивают, зачем я делаю им больно. Я не нарочно.

О себе

Родился?

В 1978 году в Красноярске. Я рад всем обстоятельствам моего рождения. Смотрите сами.

Силаев — лучшая из фамилий. Настолько удачная, что кажется литературным псевдонимом или партийной кличкой.

Россия — самая лучшая страна, большая, неожиданная, розовая, как поросёнок. Здесь возможно решительно всё. Тут весело жить (если не верите, то проверьте сами и убедитесь). Просто не страна, а неумытый подарок ко дню рождения. Я обожаю свою Родину, как не снилось даже русским фашистам.

Красноярск — не самый большой город в этой стране. Но всё-таки не заимка... Весь пакет цивилизации: телевидение, Интернет, мафия, не говоря уже о коррупции. Есть даже политика, хоть и местная.

Учился ли?

Я заканчивал двадцатую школу города Красноярска, в своё время её заканчивал Вячеслав Бутусов, но школа, конечно, про то не помнит...

В пионерах был, комсомол отменили накануне моего вступления в эту организацию. Я клятвопреступник: в десять лет, когда мою шею повязали красным, я обещал поддерживать дело Ленина. Ну и что я сделал — до сих пор-то — для дела Ленина?...

Мои школьные годы — серые и скучные. Виноват в этом только я сам.

После окончания скучных лет мне выдали золотую медаль. Потом было дальше, высшее. Потом: три года аспирантуры.

Школьный класс был физико-математическим, специальность в вузе — экономическая, аспирантура — по философии.

Где-то лежат четыреста незащищённых страниц предположительно диссертации.

Работал ли?

С семнадцати лет. В 1996 году назначен политобозревателем газеты. Работал так более трёх лет. Был редактором политэкономической и литературных полос. Хвастался... Союз журналистов наградил меня дипломом «за лучший дебют года»... Добрый дядька Сорос выделил грант «за работу в области культуры»... Губернатор дал губернаторский приз... В итоге я уволился.

Как многая гуманитарная молодёжь, немного занимался PR. Как редкая молодёжь, был зампредом «Союза защиты пенсионеров Красноярского края» (хотя это, правда, тоже PR). Был редактором небольшой газеты. Преподавал: журналистику, философию, историю экономики.

В литературе?

Чего-то писал с семнадцати лет, с двадцати — то, что немного нравится, хотя бы себе. Много рассказов (1998). Повести: «Армия Гутэнтака» (1999), «Подлое сердце родины» (2000), «Братва по разуму» (2001). Романы: «Недомут» (1998), «Бог умер, и всё такое» (в соавторстве, 2001).

Пребываю, себе на удивление, в трёх Союзах писателей (включая ПЕН-клуб). Пребываю в редколлегии журнала «День и ночь» (с 2001). Лауреат премии Астафьева (2000), финалист премии «Дебют» (2001).

Был ли в партии?

Ну был. С кем не бывает?

Пил ли?

Ну пил. Одно время — много.

За кого я голосую на выборах?

Это почти неважно, за кого. Ну, за наших... Важнее, наверное, почему...

Верю ль? В Бога и т. д.?

Верить можно только в то, чего нет. Сущее в вере не нуждается. Таким образом, легко создаётся мнение, будто верить в Бога — надо, что это — синтез привилегии и обязанности... Но сегодня точнее и добродетельнее верить во что-то иное.

Верю пошлым образом... В то, что люди хорошие (иначе, боюсь, они — апостериори — поголовно будут козлы). Некоторые виды веры вредны, от них хочется избавиться. Допустим, от пресловутой веры в себя. Пусть в себя верят — дураки, бандиты, подростки... И те, кто им завидует. Гуру разные. Президент США. Полезнее верить в то, что тебя ещё нет.

Чего хотел бы пожелать (людям)?

Нормальным людям — больше желаний. Лучшим — избавления от них. Ну и здоровья там. Остальное — приложится.

Чего хочу?

См. предыдущий пункт.

Чего боюсь?

Принято бояться либо жизни, либо смерти, либо того и другого сразу. Это банально. Я банален по-своему и всерьёз боюсь только боли, простой, физической.

Чего я не знаю?

Жизни. В исконно российском смысле этого слова. И не хотел бы.

Что я знаю?

Как и все: те знаковые конструкции, которые сам выбрал или придумал.

Есть ли тайна?

Как у всякого. К счастью, свою главную тайну человек обычно не знает сам.

Александр Резов

Глубокое детство

Родился я 19 июня 1982 года в 11:15 утра.

Самое раннее воспоминание: ясельная группа, маленький кудрявый мальчик, который оступается и падает, а я начинаю закатывать его в ковёр. Зачем это сделал — ума не приложу, но воспитательница, рассказывая маме о случившемся, несколько раз срывалась на смех. Представляю, что пережил бедный мальчик.

В дополнение к детским воспоминаниям — жуткая аллергия и вечно забинтованные руки. Поездки на отдых в Крым, где аллергия становилась ещё сильнее, и сыпь переползала на лицо. Приплюсуйте к этому выбритую от вшей голову и получите весьма чёткий портрет меня пятилетнего, изображающего на дискотеке модный тогда брейк.

Воспитательница в первом детском саду чем-то напоминала директора школы, куда отправили учиться маленького Дэвида Копперфильда. Звали эту богатую телом даму Раиса Яковлевна. Она убирала волосы в пучок, имела довольно грозный вид, пинала кошек, часто орала и таскала детей за уши. Я, меж тем, обещал вернуться повзрослевшим и взорвать весь детский сад. Повзрослев, передумал.

Будучи выпускником другого сада, я поехал в так называемый «детский сад на даче», то есть летний лагерь для самых маленьких. Где и произошло много чего интересного: например, там я в первый раз тонул — поскользнулся на поросшей водорослями бетонной плите и, незамеченный взрослыми, ухнул в реку. Выбрался каким-то немислимым образом, даже пилотка с головы не слетела. Зато понимание того, «почему рыбки под водой не разговаривают», осталось на всю жизнь.

## Пан-спортсмен

В первом классе я стал заниматься баскетболом. Продлились эти занятия чуть меньше года: группу отчего-то распустили и прикрыли всю секцию. Затем была попытка пополнить ряды гимнастов, но из-за большого роста брать меня отказались. Однако посоветовали пойти в плавание: мол, данные хорошие, стоит попробовать (кстати, в то время прочитал «Хоббита» и начал писать «Золотой кувшин» — явное ему подражание; сломался на второй тонкой тетради). Таким образом, на протяжении следующих семи лет я осваивал подводный мир бассейна ЦСКА. В соревнованиях ничего не завоевывал, разве что в эстафете, в купе с четырьмя другими брассистами, занял второе место.

Учился при этом в спортивной школе, где отвратительней всего преподавали английский язык. Вела его учительница по немецкому и заставляла нас перед контрольной работой учить варианты ответов: а, б, в, а... was, were, has been... И, что не удивительно, ставила всем неплохие оценки. Я, в свою очередь, уверился в своём отличном познании иностранного языка. Усомниться в этом пришлось чуть позже, после ухода из плавания. Тому было много причин, одна из которых — режим: с тренировки в школу, с мокрой головой, пусть даже в мороз. В итоге — хронический бронхит и присоединившийся к нему гайморит. И закономерный вопрос врача: спорт или здоровье? К этому времени плавание мне порядком надоело, поэтому я выбрал пункт второй.

Весь девятый класс я усердно писал — всё ещё в тетрадях, компьютера тогда не было. В основном шёл «заκος» под «Байки из склепа», после них принялся за роман, который, понятное дело, сильно не продвинулся. Но очень хотелось довести его до конца.

My name is...

Следующим на очереди стоял лицей с углублённым изучением английского языка. Первые вступительные экзамены в десятый класс я не сдал, поэтому пришлось в срочном порядке и самые короткие сроки учить язык. Заодно и русский, в котором я оказался также очень слаб. Тяжело было невероятно, приходилось на протяжении двух месяцев пахать каждый день, проходить заново с пятого по девятый классы. И, надо сказать, удалось.

В Англию мы полетели уже в июле: учителя, будущие одноклассники и действующие лицеисты, а также директор лицея и его заместитель. Команда собралась шикарная. Я даже подумывал — не написать ли про это повесть, но всё как-то не решался.

Три недели путешествия по насыщенности событий не уступали прошедшему году. Мы приезжали в город, селились в хостел или кампус одного из университетов. Жили там от пяти дней до недели, в течение которых выезжали на экскурсии с Беном — неизменным англоязычным экскурсоводом, — всю практикували язык, а в свободное время изучали окрестности; после чего снимались с места и ехали дальше. Илкли, Честер, Йорк, Ливерпуль, Лондон...

Была и вторая поездка в Англию — через год, — но сразу по прибытии я недосчитался чемодана, оттого путешествовал налегке...

Ну а лицей оказался местом просто замечательным и не шёл ни в какое сравнение с предыдущими двумя школами. Сперва вообще приходил туда минут за сорок до начала занятий, жаждал общения. По литературе регулярно получал тройки, совершенно не умел писать сочинений. Старался понять принцип — не получалось. Лишь в выпускном классе на всё плюнул и стал придавать сочинениям художественный вид. Помогло.

После появления компьютера начал писать с новыми силами. Теперь рассказы выходили в



основном комедийными. Чуть позже предпринял попытку написать-таки роман. Перепечатывал главы из тетради, ощутило их увеличивая. После двух авторских листов дело вновь застопорилось.

«Учись, студент»

В 1999 году я поступил в Московский авиационный институт на факультет интеллектуальных систем, робототехники и вооружения, на кафедру автоматизированного управления боевыми авиационными комплексами. Долгое время запоминал, куда же я, собственно, поступил, при этом, что удивительно, не пропуская ни одной лекции и уж тем более — семинара. Тем не менее пересдавал.

Писал в то время что-то совсем тяжеловесное: мысли, образы, описания и вялое развитие сюжета. Читал Леонида Андреева. «Красный смех».

На четвёртом курсе неожиданно вернулся к спорту. Стал заниматься восточной борьбой «илицюань» у родного дяди. Управление собственным телом, использование силы противника против него же самого. Никаких приёмов, только упражнения, помогающие понять те или иные принципы работы мышц, сухожилий. Удивительное дело — наблюдать со стороны: два человека стоят на месте, крутят руками, а пот с них льётся градом. Хватило меня на полтора года.

В то же время, благодаря другу, я начал осваивать сноуборд: сперва недоумение — разве можно управлять

этим ; затем — ажиотаж. В Словакии впервые увидел горы. Правда, видел и в Англии, но не такие, не настоящие. Тут же — прямо дух захватывало.

Вплоть до написания диплома я был убеждённым иждивенцем. Затем, в издательском доме «Коммерсант», стал осваивать такие профессии, как менеджер по републикациям и контент-менеджер. Круглыми днями сидел перед компьютером, отлаживал работу ссылок на сайте, продавал статьи в другие издания и пытался бороться с их пиратским распространением.

А через два месяца забрал в военкомате предписание в Военно-воздушную инженерную академию.

Левой-правой

В Академию имени Жуковского я пришёл сразу после института. Точнее, после военной кафедры — лейтенантом, на два года. Нахожусь там и поныне, с нетерпением ожидая окончания означенного государством срока. Самое интересное, что за это время я успел дважды побывать вожатым в детском оздоровительном лагере. В первый раз отправили туда принудительно, во второй горячо попросился сам. Быть может, мне везло и с детьми, и с вожатыми, но получил огромное удовольствие.

Параллельно со службой в академии я стал работать в японском ресторане. До этого люто ненавидел рыбу, употреблял её только в консервированном виде. Теперь же — суши, роллы, сашими — не морщась, но пока без должного наслаждения. Готовую рыбу — исключительно без костей.

Так что, желающим отведать японскую кухню — милости просим.

Дмитрий Захаров

### 1. Звуки в моей голове

В первый раз открыв глаза, я смекнул: «Ага»... И больше эта мысль никогда меня не покидала.

### 2. Всё хорошо

В восьмом классе меня отправили в газету, чтобы я «хорошо написал о школе». Я написал. А потом опять, но уже не так хорошо. А потом побеседовал с завучем. И с другим завучем. И с директором тоже побеседовал. После меня водили к школьному психологу — наверное, узнать, какую социально-опасную болезнь я подцепил. С тех пор пишу в газетах разные гадости. Отыгрываюсь, должно быть.

### 3. Чёрный плащ

Мой друг Саша Силаев обычно презентует меня так: «Этот парень судился с мэром города».

Пресс-секретарь другого мэра (после его отставки) допытывался, чувствую ли я ответственность «за свержение Андрея Васильевича».

Сейчас пресс-секретарём работаю я сам. Шеф — градоначальник Железногорска.

В общем, я — страшный человек.

И главное — последовательный.

### 4. Труп врага

Как-то руководитель одной очень крупной компании распорядился, чтобы меня уволили из всех мест, где я работаю. Через месяц его сняли с должности, а ещё через месяц он попал в реанимацию в состоянии комы.

Недавно один зам губернатора пообещал, что будет лично вышвыривать меня с официальных мероприятий.

С тревогой слежу за его дальнейшей судьбой.

### 5. Люди хотят поэзии

Как-то позвали меня на семинар молодых писателей Андрея Лазарчука. Я подумал: ну что там делать? Собрались близ мэтра гении пера, беседуют об онтологических смыслах, метафизических категориях и квантово-лептонных скоррелированных структурах... Пришёл. Люди как люди. Говорят о губернаторе Лебеде, прочитанных книгах, пиво пьют. Я и остался.

## 6. Всё страньше и страньше

Однажды я написал сентиментальный роман. Главные действующие лица — плюшевый медведь и оловянный солдатик. Название — «Оловянный сок».

Накатило, наверное.

## 7. Выбор-2006

Я голосовал за Явлинского. Был членом странной партии СПС. Вёл избирательные кампании ЛДПР и «Родины». Больше не буду.

## 8. О судьбах России

Ничего не знаю. Но могу долго рассуждать.

## 9. Мы ещё посмотрим...

...кто кого вскрывать будет. Так говорил один мой друг — хирург. Теперь так говорю я... некоторым товариСЧам.

## Примечания

1

Ф. Тютчев.

2

Ю. Лорес.

3

Какой цвет тебе больше нравится? (

исп .)

4

Зелёный (

исп .).